

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ КОМСОМОЛА



Сборник



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

Книга рассказывает о героях-комсомольцах, чей подвиг стал символом патриотизма, преданности высшему долгу - служению Родине.

- [СЛОВО К МОЛОДЫМ](#)
-
- [Василий АЛЕКСЕЕВ](#)
- [Виталий БАНЕВУР](#)
- [Николай СОКОЛОВ-СОКОЛЕНОК](#)
- [Николай ОСТРОВСКИЙ](#)
- [Борис ДЗНЕЛАДЗЕ](#)
- [Гани МУРАТБАЕВ](#)
- [Макар МАЗАЙ](#)
- [Паша АНГЕЛИНА](#)
- [Иван СИДОРЕНКО](#)
- [Виктор ТАЛАЛИХИН](#)
- [Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ](#)
- [Александр МАТРОСОВ](#)
- [Лиза ЧАЙКИНА](#)
- [Юрий СМИРНОВ](#)
- [Клава НАЗАРОВА](#)
- [Олег КОШЕВОЙ](#)
- [Зинаида ПОРТНОВА](#)
- [Людмила ПАВЛИЧЕНКО](#)
- [Имант СУДМАЛИС](#)
- [Марите МЕЛЬНИКАЙТЕ](#)
- [Василий РАГУЗОВ](#)
- [Юрий ГАГАРИН](#)
- [Севиль ИАЗИЕВА](#)
- [Борис ГАЙНУЛИН](#)
- [Надежда КУРЧЕНКО](#)
- [Михаил МОРОЗ](#)
- [Владимир ГРИБНИЧЕНКО](#)

- [Анатолий МЕРЗЛОВ](#)
 - [Николай ПЯСКОРСКИЙ](#)
 - [Владимир ТОКМАНЬ](#)
 - [СОДЕРЖАНИЕ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
-

СЛОВО К МОЛОДЫМ

Этот сборник посвящен правофланговым комсомола, тем, кто под руководством Коммунистической партии создавал его, вел нашу молодежь на ратные и трудовые подвиги.

Горжусь ими! И преклоняюсь перед их духом и делом. Они отдали свои светлые жизни новому обществу, всем нам. Они были людьми разных возрастов и поколения, разных национальностей, но всех их объединяло одно: беспредельная преданность идеалам ленинской партии, советский патриотизм и глубокая убежденность, большевистская решимость и энергия, беззаветное служение Родине.

Это драгоценное достояние ушедших от нас замечательных людей есть наследство всего Ленинского комсомола, маяк и ориентир для современной советской молодежи.

Вот уже более шести десятилетий комсомол несет звание помощника и резерва партии.

Комсомольцы героически сражались за власть Советов на фронтах гражданской войны, «Дан приказ: ему на запад, ей — в другую сторону... Уходили комсомольцы на гражданскую войну» — так пели комсомольцы 20-х годов. Только в ходе трех всероссийских мобилизаций по призыву ЦК РКСМ ушло на защиту завоеваний Октября более 17 тысяч человек. В героическую летопись комсомола навсегда вписаны волнующие строки; «Райком закрыт. Все ушли на фронт».

В период осуществления ленинского плана строительства социализма в нашей стране новые задачи встали перед комсомолом. Ритм и дыхание гигантского созидания доносят до нас строки Владимира Маяковского:

*Вперед,
тракторами по целине!
Домны
коммуне подступом!
Сегодня
бейся, революционер,*

*на баррикадах производства
Раздувай
коллективную
грудь-меха,
Лозунг
мчи по рабочим взводам
От ударных бригад
к ударным цехам.
От цехов
к ударным заводам.*

В суровые годы Великой Отечественной войны миллионы юношей и девушек проявляли чудеса героизма. Более семи тысяч членов ВЛКСМ и воспитанников комсомола были удостоены звания Героя Советского Союза. В многочисленных музеях и комнатах боевой и трудовой славы бережно хранятся заявления юных патриотов: **«Прошу принять меня и ряды Ленинского комсомола. Обязуюсь уничтожить гитлеровских фашистов до последнего, не жалея крови, а если нужно, то и жизни».**

Под руководством Коммунистической партии комсомол принял активное участие в восстановлении народного хозяйства, сооружении новых производственных мощностей на Волге и в Сибири, в Средней Азии и на Урале, освоении целинных и залежных земель.

Комсомолец герой-первоцелинник Василий Рагузов писал жене:

«Дорогая моя Симочка! Не надо слез. Знаю, что будет тебе трудно, но что поделаешь, если со мной такое. Кругом степь — ни конца ни края. Иду просто наугад. Буря заканчивается, но горизонта не видно, чтобы сориентироваться. Если же меня не будет, воспитай сыновей так, чтобы они были людьми. Эх, жизнь, как хочется жать!»

«Письмо это, казалось бы, имело сугубо личный, семейный адрес. Но стало оно обращением ко всем живущим, — вспоминает Генеральный секретарь нашей партии Л.И. Брежнев в «Целине». — Когда мне показали

листки с расплывшимися буквами, когда разобрал их — перехватило горло. Позвонил журналистам посоветовал, получив согласие жены, напечатать это письмо. Опубликованное в газете, оно вызвало десятки тысяч откликов по всей стране. Новые отряды добровольцев двинулись на целину, чтобы довести до конца дело, которое начали Василий Рагузов и подобные ему мужественные люди! Сопка, близ которой погиб Василии, названа теперь его именем». Так было в 50-х, когда миллионы комсомольцев осваивали целину, и так было в 60-х. когда воспитанники комсомола штурмовала космос. И весь мир услышал имя делегата XV съезда ВЛКСМ Юрия Гагарина. И в наши дни комсомол под руководством Коммунистической партии решает самые ответственные задачи. Начинается строительство БАМа — и ударный отряд прямо из зала заседания XVII съезда ВЛКСМ отправляется на стройку века. Идет освоение тюменских месторождений нефти — и XVIII съезд комсомола посылает новый отряд в суровые края добывать черное золото. Партия призвала преобразовывать Нечерноземье — и тысячи юношей и девушек с комсомольскими путевками прибыли трудиться в этот край... И так будет всегда! Потому что комсомол — это преемственность поколений, это вечная эстафета, которую несет молодость Страны Советов.

В. П. ВИНОГРАДОВ,

член КПСС с 1915 года.

Герой Социалистического Труда

Василий АЛЕКСЕЕВ

Есть в мире реки полноводные изначально. Они проливаются из переполненных чаш великих озер, как Ангара из Байкала, Святой Лаврентий из Онтарио, Нил из Виктории-Ньянцы. Эти реки не имеют родникового детства, по своей широте их верховья похожи на устья...

Жизнь некоторых людей напоминает такие реки: им неведома пора колыбельной немощи, сомнительных искании русла своего течения. Из самого раннего детства они текут широким и цельным потоком, поражая нате воображение своей мощью и напором, вызывая восхищение и желание понять: откуда эта бьющая через край энергии, эта неукротимость и неохватность? Их не так уж много, таких людей, отмеченных печатью высокого таланта отдавать свою жизнь для других, не думая о себе, они не теснятся в истории толпами. Но тем интересней они для нас: в конце концов все люди должны учиться этому...

История нашей Родины, партии и комсомола хранит немало имен людей, с которых мы делаем нашу жизнь. Среди них имя Василия Петровича Алексеева — одного из основателей коммунистического молодежного движения нашей страны, страстного большевика-ленинца, перед памятью которого нынешнее поколение молодежи с гордой грустью и благодарностью склоняет свои головы...

«Алексеев В. П. (1896–1019). Член партии с 1912 г. Партийную работу вел в Нарвском районе Петрограда. После Февральской революции 1917 г. член Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Один из основателей Социалистического союза рабочей молодежи в Петрограде, член первого Петербургского комитета союза молодежи, редактор журнала «Юный пролетарий». После Октябрьской революции — председатель народно-революционного суда Нарвско-Петергофского района Петрограда» (Шестой съезд РСДРП (б). Протоколы. М., 1958, с. 44). К этой справке добавим: В.П. Алексеев избирался делегатом VI съезда РСДРП (б), был заместителем председателя и председателем Петербургского комитета союза социалистической рабочей молодежи, заместителем председателя

Петербургского окружного совета народных судей, а в конце своей жизни — председателем Гатчинского революционного комитета...

1896 — 1919-й... Черточка, разделяющая два ряда цифр, — это и есть жизнь Василия Алексеева длиной в 23 года и семь дней. Но сколько событий и дел вместила она в себя, как богата! Короткая и такая долгая жизнь... Портретом Алексеева начинается аллея Почета прославленного производственного объединения «Кировский завод» (бывший Путиловский), где он когда-то работал. Бороздит океаны мощный пароходище — сухогруз «Вася Алексеев», Одна из улиц Ленинграда носит имя Алексеева, а у памятника ему, открытого рабочей молодежью города 2 сентября 1928 года за Нарвской заставой, ветераны повязывают галстуки юным пионерам, вручают билеты новым и новым поколениям комсомольцев. На могильной плите с надписью «Василий Алексеев» всегда лежат свежие цветы...

Главное в жизни Василия Алексеева произошло в июле 1917 года, когда он, делегат VI съезда РСДРП (б) вместе с лучшими революционерами-большевиками решал коренной вопрос «текущего момента» — о характере нараставшей революции, о вооруженном восстании пролетариата против Временного правительства, о захвате власти. Именно этого требовала обстановка. Хозяйственный развал в стране достиг последнего предела. Остановились многие заводы и фабрики, транспорт был практически парализован. Неудержимо росла безработица. Не хватало хлеба, соли, обуви, гвоздей и карандашей. Россия шила на голодном пайке, на краю гибели. Большевики были загнаны в подполье. Ищейки Временного правительства разыскивали В.И. Ленина, чтобы арестовать и уничтожить его. VI съезд был решающим моментом в жизни партии, ковавшей в этих сложных условиях оружие победы грядущего Октября.

«Пулей не накормить голодных. Казацкой плетью не отереть слез матерей и жен... Генеральским окриком не остановить развала промышленности, — говорилось в манифесте съезда «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим солдатам и крестьянам России», — ... Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи!.. Копите силы, стройтесь в боевые колонны!»

Одним из основных условий осуществления ленинского плана вооруженного восстания был вопрос о завоевании на сторону большевиков народных масс, в том числе революционной и прежде

всего рабочей молодежи, представителем которой на съезде был Алексеев.

1917 год — это время, когда массовые организации пролетарского юношества России только начинали возникать, когда ленинские идеи об их строении, целях и задачах деятельности, взаимоотношениях с партией большевиков проходили первую проверку практикой. Момент был исключительный. В статье «Борьба за рабочую молодежь», опубликованной незадолго до VI съезда партии, Н.К. Крупская писала: «Организация молодежи в России только складывается. Первые шаги самые важные, самые ответственные. От них в значительной степени зависит то, по какому пути пойдет все движение». Именно поэтому вопрос «О союзах молодежи» был включен в повестку VI съезда РСДРП (б).

Сначала он обсуждался в подсекции организационной секции съезда. Делегаты собрались поздно вечером в тесном помещении дома номер 23 по Новосивковской улице. В целях конспирации свет решили не зажигать: работа съезда проходила полулегально. С докладом выступила Надежда Константиновна Крупская. Развернулись жаркие дебаты. Наметились две точки зрения по вопросу о взаимоотношениях партии и Союза молодежи. Часть делегатов считала, что следует ограничиться созданием узких по составу союзов молодежи, состоящих только из молодых членов партии. Эти делегаты высказывались за то, чтобы Союз молодежи был тесно связан с партией организационно, создавался при партии и фактически стал бы ее частью. По существу, речь шла об организации «молодежной партии». Большинство же, к которому принадлежал и Василий Алексеев, считало, что молодежи следует ориентироваться на организационно самостоятельные союзы, но идейно-политически связанные с партией большевиков.

— В союзе, — говорил Алексеев, — имеется и некоторое оборонческое крыло, но и меньшевики и эсеры потеряли уже всякое влияние на молодежь, а большевики на деле завоевали себе весь союз. Необходимо это оформить, необходимо перед всей молодежью ясно наметить пути, по которым мы призываем ее идти.

В поддержку раздались одобрительные возгласы.

— Тут некоторые высказывали мнение, что союз не следует называть социалистическим, — продолжал Василий. — Наименование

«социалистический» надо принять именно потому, что нам следует отмежеваться от беспартийно-социалистических влияний на молодежь, которые на деле развращают ее революционной фразеологией.

Спор, как видим, шел не о мелочах, а о главных сторонах жизни уже действовавших молодежных организаций, об основополагающих принципах строения и деятельности комсомола, до создания которого оставалось еще пятнадцать месяцев: быть ему массовой или узкой по составу организацией; самоуправляемым, самодеятельным союзом или секцией партии, опекаемой ею; единым или разрозненным по возрастному признаку и т. д.

Дважды Алексеев вступал в дискуссию на самом съезде. Первый раз вне очереди, после одного из содокладов. Делегат от Кронштадтской организации предложил называть союзы молодежи не социалистическими, а «союзами молодежи, стоящими на классовой точке зрения», заменить слова «духовно связанные с партией» словами «организационно связанные с партией». Это было новое наступление меньшинства, потерпевшего поражение на подсекции. Алексеев среагировал мгновенно:

— Прошу слова!..

И, не дожидаясь, пока председательствующий объявит о его выступлении, пошел к трибуне.

— Товарищи, я являюсь представителем Союза молодежи и на основании опыта этих месяцев настаиваю на принятии, резолюции, одобренной большинством голосов на организационной подсекции, как наиболее обеспечивающей интересы социалистической рабочей молодежи. В нашем союзе борются два течения: оборонческое и интернационалистское. В то время как интернационалисты ставят вопросы об охране детского труда и другие вопросы, тесно связанные с положением рабочей молодежи, оборонцы говорят только о науке, о занятиях химией и т. п. Четыре района (Невский, Нарвский, Коломенский) откололись от общего союза и хотят организовать другой, более соответствующий интересам рабочей молодежи. В то же время мы считаем необходимым оставить название «социалистический», так как название «стоящий на классовой точке зрения» может быть непонятно для широких слоев.

Слушала Алексеева аудитория из 157 делегатов с правом решающего и 110 делегатов с правом совещательного голоса. Бабушкин, Володарский, Ворошилов, Джапаридзе, Енукидзе, Косиор, Мануильский, Ногин, Ольминский, Орджоникидзе, Подбельский, Подвойский, Преображенский, Сталин, Свердлов, Урицкий, Усиевич, Шаумян, Шотмак, Ярославский... Цвет большевистской партии, насчитывавшей в ту пору более двухсот сорока тысяч человек.

Речь Алексеева делегаты встретили аплодисментами. Они были поддержкой его позиции, которую разделяло большинство, выражением уважения к Алексееву-человеку, Алексееву-личности, Алексееву, уже тогда признанному лидеру молодежного движения Петрограда. Многие делегаты съезда хорошо знали его и высоко ценили. В то время Центральный Комитет большевистской партии находился в Петрограде, и одно время Петроградский комитет Социалистического союза рабочей молодежи вместе с Петроградским комитетом, партии размещался в общем с ним здании. За Нарвской заставой в те дни готовили вооруженное восстание Свердлов, Орджоникидзе, Володарский, Урицкий. Секретарем Нарвско-Петергофского райкома партии, в состав которого входил Алексей, был Станислав Косиор. Алексей часто встречался с Н.К.Крупской. Деталь: когда у здания на Выборгской стороне, где открылся VI съезд, появились подозрительные люди и было решено тайно перенести его в другое место, не кто другой, а именно Алексей посоветовал Я. М. Свердлову осмотреть дом № 2 по Петергофскому шоссе. Предложение было принято, и вскоре съезд продолжал работу на новом месте.

В дискуссии по проекту резолюции «О союзах молодежи» высказалось девять человек. Десятым, во второй раз, выступил Алексей.

— Мне хочется указать на то, — сказал он, — что юноши из рабочего класса по самой своей природе являются боевыми... Поэтому нельзя опасаться, что партии не будет иметь влияния, если союз будет беспартийным. Партийный союз оттолкнет многих, потому что многие заявляют, что в партию не пойдут. В то же время тактика их большевистская. 18 июня совет Союза молодежи постановил не выходить на демонстрацию, мы подчинились, но вынесли протест и в резолюции указали, что стоим на интернационалистской точке зрения. Бояться, что и в дальнейшем партия не будет иметь влияния, не

приходится. Рабочая молодежь не хочет раскола в своей среде, но на собрания всегда зовет большевика, эсеры и меньшевики успеха не имеют, Я предлагаю съезду голосовать за резолюцию товарища Харитонова, так как она вполне нас удовлетворяет. В ближайшем будущем мы собираемся создать свой орган (речь идет о будущем журнале «Юный пролетарий». — И.И.) и просим съезд через ЦК оказать нам материальную поддержку. Орган будет не партийным, но социалистическим, будет внедрять в умы и сердца молодежи идеи Интернационала. Мне думается, что он должен находиться под нашим партийным руководством.

Эти слова произнес рабочий — двадцатилетний парень с пятью классами церковноприходской школы. Произнес в то время, когда многие теоретические вопросы о месте и роли молодежной организации в социалистической революции только начинали возникать и впервые осмысливаться, когда в них путались куда более опытные революционеры.

В конце концов резолюция «О союзах молодежи» была утверждена единогласно. Подчеркнем: в том виде, в котором она была предложена группой делегатов, в число которых входил Алексеев.

Да, участие в работе VI съезда партии, и особенно в принятии резолюции «О союзах молодежи», было «звездным» часом Алексеева, ибо свидетельствовало о признании его заслуг в пятилетней революционной деятельности, в борьбе за создание социалистического союза рабочей молодежи Петрограда. Резолюция «О союзах молодежи» помогла большевикам организовать рабочую молодежь для участия в Октябрьской социалистической революции, утвердить ленинские принципы строения и деятельности социалистических союзов рабочей молодежи, а затем и комсомола. И сегодня эта резолюция — действующий теоретический документ партии.

Родился Василий Петрович Алексеев 22 декабря 1896 года в семье рабочего, в Петрограде — революционном сердце России.

В раннем детстве Василий тяжело болел, был при смерти, но выжил. С восьми лет пошел в школу и учился хорошо. Двенадцати лет его отдали в ремесленное училище. В тринадцать работал мальчиком на побегушках в заводской Конторе, в четырнадцать встал к токарному станку в пушечной мастерской Путиловского завода. Это была судьба

многих детей рабочих, у которых детства в его нынешнем понимании не было, да и быть не могло: семье лишней рот в обузу, а владельцам фабрик — и заводов нужны были даровые детские руки. Подрос — на завод.

Но многое в эти ранние годы Алексеева было и необычным. Его сверстники, отработав 10–12 часов на заводе, нет-нет да и выбегали все-таки на улицу поиграть в «козла», в «чику» или какую-нибудь другую незатейливую игру. Василий редко бывал вместе с ними. В тринадцать лет он распространял листовки. В четырнадцать, едва начав работать на заводе, участвовал в забастовках, распространял «Правду». В шестнадцать (1912 г.) принят в партию большевиков. Алексеев получает задание вступить в общество «Образование», созданное меньшевиками-ликвидаторами и потому существовавшее легально. Задача состояла в том, чтобы «обольшевить» его работу, взять в свои руки: большинство членов общества были рабочими.

Прошло меньше года, и уже не просветительские, а политические речи звучали в доме № 16 на Нарвском проспекте, где собирались кружковцы. Алексеев пишет заметки в «Правду», становится одним из организаторов забастовки на фабрике «Треугольник», работает в подпольной типографии, распределяет и сам распространяет нелегальную литературу, держит связь с партийными группами мастерских завода. В шестнадцать с небольшим...

В начале 1916 года восемнадцатилетний Алексеев избирается членом бюро подпольного Нарвско-Петергофского райкома РСДРП (б). Ему поручается создать на Путиловском заводе новые партийные группы и революционные кружки молодых рабочих, которые распространяли бы листовки, готовили агитаторов. Два подпольных кружка, по двенадцать человек в каждом, были созданы, одним из них руководил Василий. Места собраний кружка постоянно менялись. О партийных заданиях, которые давал кружковцам Алексеев, знали только он и исполнитель. Отчеты принимались также наедине. Строжайшая конспирация позволила избежать провалов.

Так начиналась деятельность Алексеева как молодежного организатора.

Шел 17-й год... Позади была Февральская революция, но уже шли и зрели новые классовые бои. Эсеры, кадеты и меньшевики старались нейтрализовать молодежь, оторвать её от большевиков. Анархисты

призывали жечь и рушить ненавистное старое и на его пепле строить новую цивилизацию. Какую? Этим вопросом они себя не угнетали.

Большевики заботились о том, чтобы энергию молодежи не использовали врага революции, чтобы ее сознание не задурманили левой фразой, не свернули ее силы с пути классовой борьбы. Партия начала создание массовых организаций рабочей молодежи. Огромную роль в этом играла Н.К. Крупская, которая часто встречалась с активистами молодежного движения, бывала на собраниях рабочей молодежи. По прямому указанию В.И. Ленина на протяжении мая — июня 1917 года она трижды выступала в «Правде» со статьями: «Союз молодежи» (27 мая), «Борьба за рабочую молодежь» (30 мая), «Как организовать рабочую молодежь» (20 июня). В последней из этих статей предлагался проект Устава Союза рабочей молодежи России. Разобраться молодым в вопросах, что такое Союз молодежи и чем он должен заниматься, помогал Я.М. Свердлов. Алексеев встречался и беседовал с ними, выполнял их задания.

Но чтобы союз молодежи возник, одних советов и желания старших было недостаточно. Нужно, чтобы этого захотела сама молодежь. Вся обстановка тех месяцев 1917 года побуждала ее к этому. Февральская революция практически не изменила положения юношей и девушек на производстве и в общественной жизни.

В начале апреля 1917 года молодежь завода «Русский Рено» решила выйти на первомайскую демонстрацию отдельной колонной во главе завода. К ним присоединились молодые люди других предприятий Выборгского района. Молодежь поддержали большевики. Сохранился интересный документ — обращение Организационной комиссии Выборгского районного комитета РСДРП (б), опубликованное в «Правде» 11 апреля. В нем говорилось: «Мальчики завода «Русский Рено» обратились к Выборгскому районному комитету с просьбой предоставить мальчикам 18 апреля право особо демонстрировать при группе одних малолетних всего Выборгского района впереди всех рабочих со своим оркестром и со своими флагами...

Районный комитет постановил удовлетворить их просьбу...»

В первомайской демонстрации приняло участие более ста тысяч молодых людей, подростков и детей. Энергия юношества требовала организационного оформления. Партия поручила эту работу молодым

большевикам: Василию Алексееву, Петру Смородину, Оскару Рывкину, Елизавете Пылаевой, Николаю Фокину, Ивану Тютикову, Ивану Скоринко и другим.

3 апреля в Россию из Финляндии вернулся Ленин. Вместе с группой нарвскозаставских партийцев Алексеев участвовал в организации его встречи, слушал речь Ильича. Боевой дух большевиков еще более окреп. Алексеев получил задание создать молодежную организацию Путиловского завода. Опорой в выполнении этого партийного поручения служили члены его бывшего подпольного кружка. 7 апреля Василий собрал их и еще нескольких активных рабочих-подростков, всего около тридцати человек, дал им подробные инструкции о работе с молодежью в цехах. Так было положено начало организации молодых рабочих в возрасте от восемнадцати лет на Путиловском заводе. Во главе организации встал Алексеев.

13 апреля в столовой завода «Рено» состоялось общегородское собрание представителей рабочей молодежи, которое от имени Петроградского комитета большевиков приветствовала Н.К. Крупская. Она рассказала собравшимся о социалистических молодежных организациях Европы и призвала молодежь объединиться в свой союз.

Через несколько дней в проходной Путиловского завода по инициативе Алексеева, Скоринко и Тютикова проходило собрание заводской рабочей молодежи, на которое пришло более 3 тысяч молодых людей и примерно столько же взрослых. С докладом о положении рабочей молодежи, задачах ее будущего союза и об участии в первомайской демонстрации выступил Алексеев.

А в канун Первомая в зале ремесленной школы Путиловского завода, где когда-то учился Василий, он от имени районного комитета партии приветствовал первую Нарвско-Петергофскую районную конференцию рабочей молодежи, председательствовал на ней.

...Рвались из окон «Марсельеза», «Варшавянка». Алексеев долго стучал по графину карандашом, пытаясь утихомирить собравшихся. Наконец стало тихо. Он начал доклад о текущем моменте и задачах объединения молодежи. Когда Алексеев закончил, зал взорвался: крики «Да здравствует Союз социалистической рабочей молодежи!», «Ура!» и «Долой!», аплодисменты, свист и топот говорили о разброде собравшихся.

На трибуну, не спросив ни у кого разрешения, ужо взобрался кудлатый парень с бешеными цыганскими глазами. Он размахивал руками, стучал кулаком, требуя внимания. Но пока не выкричались, не высвистелись не натопались, не затихли.

— Долой! — на высоченной ноте закричал оратор, вдруг запнулся, словно засомневавшись в правильности того, что сказал, растерянно помолчал и вновь взвился: — Мы не позволим ставить на свой лоб социалистическую печать! Мы смоем ваши названия кровью! Даешь свободные юношеские федерации!

Снова разразилась буря. Кудлатый что-то кричал, но его не было слышно. Он сник, поскуачил лицом, как-то безразлично посмотрел в зал, неожиданно ощерился, выхватил кольт и загрохотал по трибуне рукояткой. Шум усилился.

— Долой анархистов!

— Не балуй штукой, дура!.. Стрельнет еще.

Анархист, словно вспомнив, что из револьвера можно стрелять, пальнул два раза в потолок.

— Трепещите, тираны! Молодежь на страже! Смерть сытым!

Анархист было сошел с трибуны, потом вернулся, что-то хотел сказать, но вдруг запустил руку под рубаху и яростно зачесал грудь. Раздался хохот.

— Эй, вшивая команда! В баньку сходи-ка лучше!.. Анархист погрозил залу кулаком, сплюнул и уселся на корточки перед самым президиумом.

— Прощу слова! — К трибуне шел белокурый стройный парень в студенческой тужурке. — Прощу слова! Здесь докладчик говорил о задачах нашего союза... О наименовании... Мы не согласны. Они разъединяют, а не объединяют нас. Они ставят нас под знамена большевиков. Мы должны... Мы должны хранить свою беспартийность, как... как девицы целомудрие. Да! Красные знамена несут кровь! Мы пойдем под голубыми... Это цвет свободной морской стихии, это цвет общего над нами неба... Синий цвет — эмблема природы и беспартийности. Синева — это поэзия женских глаз... Это...

— А как по части целомудрия и женских глаз у оратора? — выкрикнул кто-то с ехидцей из середины рядов, но тот словно не расслышал.

— Это смешно нам, еще юнцам, говорить о политике и классовой борьбе. Мы, молодые, исполнены жаждой жизни и знаний, устремлены помыслами в будущее!..

Алексеев что-то быстро-быстро писал. Выступления не кончались, по было ясно, что в общем они отражают настроения трех групп собравшихся. За кем пойдет большинство? Было уже за полночь, Василий встал.

— Никто не настаивает на выступлениях? Голосуем за предложения выявившихся фракций. Кто за предложение большевиков... Повторяю: цель Социалистического союза рабочей молодежи — готовить свободных сознательных граждан великой борьбы за освобождение всех угнетенных, которую ведет партия большевиков... Борьба за экономические и политические права молодежи. Что вы там кричите, не пойму? Наши лозунги? Вот они: «Долой эксплуатацию детского труда!», «Шестичасовой рабочий день для подростков!», «Всеобщее бесплатное обучение!», «Мир — хижинам, война — дворцам!», «Да здравствует социализм!» Самый главный? «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Кто-то топал и вопил «Долой!», но многие вскочили ана ноги, кричали «ура». Резолюция молодых большевиков была принята большинством голосов.

Такое оно было, это время: смутное, грозное, лозунговое...

Совсем еще мальчишки и девчонки спорили о лозунгах, которые состоят из слов, но поиск лозунгов не был игрой в слова. Это был важнейший момент классовой борьбы. Лозунг, как формула, в двух-трех самых главных словах должен был с математической точностью выразить потребности, настроение и политическую ориентацию масс и в то же время дать им эту ориентацию вызвать новый прилив революционного энтузиазма, помочь осознать свои коренные интересы. Лозунги в то время писали на знаменах, под знаменами шли на баррикады, вступали в бой и умирали. Дать массе лозунг, верно отражающий существо исторического момента, значило завоевать ее на свою сторону, повести за собой и победить в смертельной борьбе. Большевики понимали это и к лозунгам относились «архисерьезно».

Понимал это и Алексеев. Признание большинством Нарвско-Петергофской молодежной конференции лозунгов и программы РСДРП (б) было для его партии одной из маленьких побед «местного

значения». Маленьких, если смотреть на эту конференцию как на «еще одну» среди многих других, проходивших в то время в Петрограде, Москве, Харькове и других городах России. Но это была не рядовая конференция, ибо далеко не везде и не сразу большевикам удавалось завоевать рабочую молодежь на свою сторону. Меншевики и эсеры старались придать союзам культурнический или хотя бы экономический, но не политический характер. Пестрота и неопределенность названий юношеских организаций отражали сумятицу и пестроту во взглядах молодежи.

Так, в Петрограде Василеостровский райком Союза молодежи именовал себя Исполнительной комиссией учеников заводских предприятий, Московский комитет — Исполнительным комитетом малолетних рабочих, Петроградский — Районным бюро юношеских исполнительных комитетов, Выборгский — Исполкомом юношей Выборгского района и т. д. Каких юношей, каких малолетних рабочих, каких учеников? — вот вопрос, который волновал большевиков. Историческая обстановка требовала абсолютной определенности.

И только в наименовании Нарвско-Петергофской организации, которая создавалась под руководством Алексева, ясность была полной. Во многом благодаря ему организация приняла название «Социалистический союз рабочей молодежи». Позже так же будет названа — опять-таки при активном участии Алексева — городская Петроградская организация. Это же наименование будет отстаивать Алексей и на VI съезде партии. Много позже первые исследователи истории комсомола отметят: «Главным отрядом рабочей молодежи идет Петергофско-Нарвский район — этот истинный основатель Ленинградского комсомола».

Конференция нарвско-петергофской молодежи — это успех «местного значения, из разряда тех, которые готовят большую победу. Тем более значительной предстает перед нами фигура Алексева, представлявшего на конференции райком партии, избранного председателем оргбюро (по-нынешнему — первым секретарем райкома). Он же немного позже разработает устав и программу районного союза. В оргбюро вошли еще двое большевиков, два меньшевика, левый эсер, анархист (тот, кудлатый) и четверо беспартийных. Состав руководящего органа союза обещал продолжение борьбы...

Так рождались первые организации молодежи. Центральный Комитет большевистской партии внимательно следил за ходом событий. Вскоре после Нарвско-Петергофской конференции Алексеев вместе с С.В. Косиором, А.Е. Невским, А.Е. Васильевым (председатель завкома путиловцев) и В.Е. Васильевым (старшим подвижной группы по охране В.И. Ленина) был приглашен на беседу к Владимиру Ильичу. Тема предстоящего разговора была означена заранее — о молодежи. С первых минут В.И. Ленин забросал пришедших вопросами; во всех ли цехах на Путиловском большевики прикреплены к молодежным группам? Велико ли влияние меньшевиков, эсеров, анархистов? Какие формы организации молодежи возникли на заводах? Каково в настоящий момент положение и настроение рабочей молодежи? Ответы на них вызывали у В.И. Ленина новые и новые вопросы.

Алексеев рассказывал о Нарвско-Петергофской конференции. С.В. Косиор и А.Е. Невский — ее участники — дополняли. Затем Алексеев по просьбе Владимира Ильича сделал весьма подробное сообщение о митинге молодежи на Путиловском заводе, где, как уже говорилось, он выступал с основным докладом.

Владимир Ильич слушал, комментировал сказанное, давал советы, которые так были нужны первым организаторам молодежного движения...

Разброд и шатание в массах были еще велики, но уже становилось ясно — большевики все активнее завоевывают на свою сторону трудящиеся массы, придают их борьбе правильное направление. Об этом говорили лозунги, с которыми сотысячная колонна молодежи Петрограда вышла на первомайскую демонстрацию. Нарвско-Петергофская колонна во главе с Алексеевым несла транспаранты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует III Интернационал!». Коломенцы шли под лозунгами «Мы требуем охраны юношеского труда!», «Довольно работать на барышников и капиталистов!», «Да здравствует охрана труда малолетних!» Подростки с завода Розенкранца (ныне «Красный выборжец») на своем знамени начертали трогательное «Долой эксплуататоров! Да здравствует детский социализм!» на углах знамени, внизу, стояла подпись «Мальчики завода Розенкранц».

Борьба за молодежь была в разгаре. Алексеев играл в ней большую роль, особенно на крутых поворотах развития молодежного движения.

На Петроградской стороне меньшевики и эсеры в апреле удалось создать клуб молодежи под названием «Труд и Свет». Его возглавил Петр Шевцов — двадцатисемилетний молодой человек, в прошлом студент. Начитанный, с задатками неординарного демагога, он мечтал о славе и признании соотечественников, пробовал себя в журналистике, литературе, но слава что-то задерживалась. Революция открыла путь в «народные вожди». Шевцов решил создать партию «всеобщего труда и равенства», «беспартийную партию», как он говорил, хотя его собственные политические вкусы были вполне определенными: в студенческие годы он работал секретарем черносотенной «Маленькой газеты», теперь не скрывал своего молитвенного восхищения Керенским, копировал его даже в мелочах.

На второе общегородское собрание рабочей молодежи состоявшееся 28 апреля на заводе «Русский Рено», Шевцова привел случай. Дальше он действовал сам, и весьма успешно. Дело в том, что на этом собрании представителей молодежи восьми районов Петрограда не было основных «заводил» юношеского движения, в том числе и Алексеева. Шевцова никто не знал. Его речи о правах молодежи на учебу и культуру, красивые лозунги произвели впечатление на собравшихся подростков, в большинство своем малограмотных. Получилось так — и это теперь исторический факт, — что Шевцов стал тут основным докладчиком по вопросу о задачах общегородской юношеской организации, был избран в состав созданного здесь же Всерайонного правления, а на следующий день — его председателем.

Он сумел добиться того, что городская организация стала именоваться так же, как и его «родная» районная — «Труд и Свет». Ему поручили разработку воззвания к молодежи Петрограда, устава и программы этого союза. Следующим шагом, по плану Шевцова, должно было стать создание Всероссийской юношеской организации во главе, само собой разумеется, с Шевцовым.

Ситуация в молодежном движении Петрограда складывалась серьезная. Идеи Шевцова расходились с большевистскими не в частности, а в главном. Их суть легко понять даже из нескольких

строк воззвания «Труда и Света» к молодежи, которое Шевцов составил и утвердил на президиуме Всерайонного правления 10 июля. «В завоеванной свободной жизни, — писал Шевцов, — нам необходимо стать наряду с другими также организованными. Но организованными не партийно, а на началах братства и просвещения... Необходимо взять в руки светоч, а в сердце поселить лишь желание добра и красоты жизни». «Товарищи девушки и юноши, пролетарии! — говорилось далее в воззвании. — Царизм свергнут, капитализм рушится, буржуазия трясется. Об окончательной победе над ним пусть позаботятся наши матери и отцы». Классовая борьба, политика не дело молодежи — вот основной смысл призывов Шевцова. Его имя зазвучало в гостиных господских особняков. Принц Ольденбургский предоставил одно из своих зданий на Камеиноостровском проспекте для собраний «Труда и Света». «Нефтяной король России» Нобель выделил довольно крупную сумму на имя Шевцова «для нужд молодежи». Политическая физиономия Шевцова становилась все более конкретной. Тин людей подобного рода был точно определен В.И. Лениным: соглашатели. Отсюда и название их политики — соглашательская...

И все-таки молодежь валом валила в союз. Она еще не поняла авантюристичности идей Шевцова вроде создания «Комитета самозащиты пролетарского юношества», «Свободного литературного дома пролетарского юношества» и тому подобных. Но что-то в них влекло. Сказывалась огромная тоска молодежи по знаниям, культуре, организованности. Давали себя знать всеобщее ликование VI восторг от победы над царизмом, разгул мелкобуржуазной стихии, бессознательно-доверчивое отношение к Временному правительству, которыми были поражены не только молодые, но и зрелые по возрасту рабочие.

ЦК и Петроградский комитет РСДРП (б) должны были выбрать верную тактику в этой обстановке. Вывести всех большевиков и сочувствующих им из «Труда и Света»? Но это значило бы потерять надолго тех, кто просто заблуждался и примыкал к противнику скорее бессознательно, чем по убеждениям. Потребовать удаления Шевцова? Но большевики с самых первых дней были против опеки молодежной организации, стояли за ее самостоятельность. Было решено дать молодежи возможность «перебродить», самой осознать свои ошибки и

заблуждения при условии бескомпромиссной критики программы и политики Шевцова и его сторонников со стороны партии. «Взорвать» шевцовскую организацию изнутри — так стояла задача.

Представители Нарвско-Петергофского союза молодежи, которые поначалу в знак протеста против политики Шевцова вышли из Всерайонного совета, по указанию В.И. Ленина вернулись в него. В совет от Нарвско-Петергофской организации был введен Алексеев. Вместе с Петром Смородиным, Иваном Скоринко и другими товарищами они повели борьбу с Шевцовым и его приверженцами. В эти дни в «Правде» и появилась серия статей Н.К. Крупской.

А 1 июля «Правда» опубликовала объявление:

«Социалистический союз рабочей молодежи сегодня, 1 июля, в 6 часов вечера, в цирке «Модерн», Петр. стор. Троицкая площадь, устраивает митинг молодежи.

Выступят ряд ораторов, хор певчих завода «Новый Лесснер» и духовой оркестр музыки Измайловского полка.

Билеты по 20 коп. можно получать при входе.

Товарищи от 16 до 20 лет, приходите все!

Организационный комитет молодежи»

В тот день родился Межрайонный социалистический союз рабочей молодежи, которым стал руководить Петроградский комитет РСДРП (б). Это был еще один «противовес» «Труду и Свету». Алексеев и Смородин в Межрайонный совет не вошли, продолжали готовить роспуск организации Шевцова. Требования об этом уже раздавались из районных комитетов. Ряд из них отозвали из «Труда и Света» своих прежних и направили новых представителей — большевиков или сочувствующих им. 2 июля Петроградская общегородская конференция большевиков обсудила вопрос «О союзе рабочей молодежи». С докладом выступила Н.К. Крупская. На конференции обозначились разные точки зрения по вопросу о характере союза, которые затем нашли отражение на VI съезде РСДРП (б), начавшем свою работу 26 июля. А 27 июля, когда «Труду и Свету» исполнялось три месяца, Шевцов собрал Всерайонный совет предложил ему распространить манифест этой организации по всей России. Он последовательно осуществлял свой план...

В докладе Шевцов развивал идеи манифеста, которому в своих замыслах создания всероссийской юношеской организации он отводил важное место. Чутье подсказывало ему, однако, что сегодня предстоит тяжелый бой. Почему пришел Алексеев? По расчетам Шевцова он должен был отсутствовать: шел съезд партии большевиков. Когда Алексеев взял слово, Шевцов не сдержался — повернулся спиной к трибуне.

Закончив детальный, критический разбор манифеста, устава и доклада Шевцова, Алексеев внес предложение распустить «Труд и Света, как не отвечающий насущным интересам молодежи. Его поддержало подавляющее большинство делегатов. Это был крах Шевцова. Вскоре непризнанный «вождь молодежи» покинул Петроград, хотя шевцовщина еще долго давала себя знать в молодежном движении.

Алексеев же вернулся на съезд партии, чтобы продолжить дискуссии о целях и характере союзов молодежи уже там...

После VI съезда партии Алексеев включился в кипучую работу по подготовке питерской молодежи к вооруженному восстанию, набирал молодых рабочих в ряды Красной гвардии, принимал участие в подготовке первой общегородской конференции Социалистического союза рабочей молодежи. Она открылась 18 августа на Петергофском шоссе, в небольшом деревянном доме № 2, где всего две недели назад работал VI съезд партии. В этот день в большевистской газете «Пролетарий» (под этим названием продолжала выходить преследуемая Временным правительством газета «Правда») была напечатана резолюция VI съезда РСДРП (б) «О союзах молодежи». Многие делегаты знакомы с ней впервые. От имени Петроградского комитета большевиков конференцию приветствовал Д.З. Мануильский.

179 молодых заинтересованных лиц были обращены к Алексееву, когда он вышел на трибуну. Нет, не на курсы кройки и шитья, не в кружки хорового пения, как это делал «Труд и Свет», звал Алексеев молодежь — на баррикады, на бой с буржуазией, на вооруженное восстание! Такой курс принял VI съезд партии, и теперь он, его делегат, проводил этот курс в жизнь.

В резолюции конференции говорилось, что цель союза — подготовка рабочей молодежи «к решительной борьбе за

освобождение всех угнетенных и эксплуатируемых от ига капитализма — к борьбе за социализм». Была утверждена также «Резолюция рабочей молодежи о задачах организации», программа и устав союза, подготовленные редакционной комиссией во главе с Алексеевым. Конференция направила приветствие В.И. Ленину. «Мы громко заявляем, — писали делегаты, — что не остановимся ни перед какими жертвами в борьбе за уничтожение проклятого капиталистического строя, на развалинах которого мы новый мир построим».

В Петроградский комитет ССРМ избрали Алексеева, Смородина, Леске, Пылаеву, Рывкина, Левенсоиа, Глебова. Утвердили название журнала Союза молодежи, о необходимости создания которого Алексеев говорил на VI съезде партии, — «Юный пролетарий». Редактировать его поручили Алексееву и Леске, который стал председателем Петроградского комитета ССРМ. Но прошло совсем немного времени, и Петроградский комитет РСДРП (б) был вынужден поручить Алексееву возглавить городскую организацию.

Весна и лето 1917 года полны событий, составивших пролог к Великому Октябрю.

Через несколько дней после городской конференции начался корниловский мятеж. Генерал сдал Ригу немцам и открыл им путь на Петроград. 25 августа Корнилов двинул на революционную столицу 3-й конный корпус в другие соединения. Нарвская застава оказалась первой из районов Петрограда на их пути. Петроградский комитет ССРМ обратился к молодым рабочим города вступить в Красную гвардию, и тысячи «сокомольцев» влились в её ряды. На заводе «Анчар», где председателем завкома был Алексеев, винтовки получили все члены союза.

А когда Корнилова разбили, большевики приказали рабочим: оружия не сдавать. В воздухе пахло грозой.

В сентябре членов Нарвско-Петергофского райкома партии собрали Я.М. Свердлов и Н.И. Подвойский и ознакомили большевистский штаб за Нарвской заставой с письмом В. И. Ленина к ЦК и Петроградскому комитету партии. «История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь», — писал Владимир Ильич.

Вскоре Алексеев в числе восемнадцати делегатов своего района, среди которых были Косиор, Володарский, Невский, присутствовал на III Петроградской конференции большевиков. В своем новом письме

Ленин звал пролетариат и партию к свержению правительства Керенского.

В плане вооруженного восстания Ленин отводил важную роль молодежи. «Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно и лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях...» — писал он.

И вот он грянул, последний, решительный... В ту, октябрьскую ночь Алексеева видели в районном штабе Красной гвардии — отправлял отряды на охрану Смольного, в Петропавловскую крепость за оружием, на вокзалы, на телеграф; в районной боевой дружине; на Дворцовой площади в отряде Григория Самодеда, с которым он штурмовал Зимний; в Смольном...

После победы Октября Алексеева назначили председателем 1-го Народного революционного суда Нарвско-Петергофского района. Буржуазная государственная машина была уничтожена, «следовала немедленно заменить ее новой, социалистической. Враг внутренний свирепствовал. Голод и безработица сеяли ужас и панику, умножали воровство, мародерство и спекуляцию.

Новое назначение Алексеев принял с восторгом. В те дни молодежь — да только ли молодежь? — горела одним желанием: немедленно, завтра же! — построить новое общество, полное правды и справедливости, Алексеев не был исключением. Он бросился в незнакомое дело со всей неистовостью своей неугомонной натуры и помчался по заводам агитировать молодых товарищей работать в судах.

Жизнь Алексеева стала неимоверно сложной. Ведь он оставался членом Нарвско-Петергофского райкома РСДРП (б), депутатом того же районного и Петроградского городского Советов рабочих и солдатских депутатов, председателем Нарвско-Петергофского районного и заместителем председателя Петроградского городского комитетов Союза социалистической рабочей молодежи. Надо было успевать везде. Днем — один за другим судебные процессы; контрреволюционеры, спекулянты, хулиганы, проститутки... Вечером, от десяти до двенадцати-часу ночи, — выполнение партийных заданий, депутатских обязанностей, работа в Союзе молодежи, в журнале. Глубокой ночью — чтение. Чтобы поступать справедливо

самому, Алексееву хватало его честной рабочей души. Но чтобы судить и карать других, устанавливать меру вины даже самых виноватых, нужны были знания. Часто Алексеев оставался ночевать в комнате ПК ССРМ, укладывался спать на огромном столе постелив пальто и газеты.

Много времени отнимал журнал — его идея и инициатива, его детище. Алексеев любил комнату на третьем этаже в доме № 201 на Фонтанке, где размещался «Юный пролетарий». Сюда приходило много народу.

Вот он — первый номер «Юного пролетария», тоненький, пожелтевший от времени, на ветхой бумаге, где расплываются чернила. Первое молодежное издание молодой Страны Советов, прообраз мощной индустрии печати, которой располагает ныне комсомол. Алексеев искал место для редакции, типографию и бумагу, заказывал статьи, встречался с авторами, правил их материалы, выпрашивал деньги, для того чтобы выкупить тираж. «Весь мир и будущее принадлежат молод!» — справедливо утверждали «сокомольцы». Но денег у них не было ни гроша.

Когда Алексеев сдал отредактированный им материал в типографию и его набрали, оказалось, что написанного хватило только на половину номера, хотя почта вся эта половина была подготовлена им: передовая «Наши задачи», статьи «Рабочая молодежь и Красная гвардия», «Язвы нашей жизни», поэма «Детство и юность». Писал Алексеев по долгу редактора и по велению страстной своей души, рвущейся к людям. Слово было его оружием.

Через три месяца после создания журнала, 28 ноября, первый его номер вышел в свет. Выкупить пяти тысячный тираж Алексееву помогла Н.К. Крупская, выделившая из фондов Наркомпроса необходимые средства.

Закоченевший от мороза, Алексеев ворвался с охапкой «Юного пролетария» на заседание городского комитета ССРМ и сорвал его напрочь. Это был праздник всего Петроградского союза молодежи. Но самым счастливым был Алексеев. Его поймет всякий: дело, которое он задумывал, в которое вложил столько сил, свершилось. Вот он, у него в руках, этот пахнущий краской журнал, его мечта!..

«Юный пролетарий» разошелся по Петрограду, по многим уголкам страны и там делал свое дело: агитировал, пропагандировал,

организовывал. Журнал резко критиковал состояние дел в Петроградском союзе молодежи. Статья Алексеева «Язвы нашей жизни» посвящалась именно этим вопросам.

На делах ССРМ сказывалась, конечно, общая обстановка в городе и стране. Многие члены союза ушли на фронт, часть (из-за голода) подалась в деревню. И в этой ситуации председатель Петроградского комитета Э. Леске вместо мер по укреплению и расширению состава союза предложил распустить его. Вскоре Леске перейдет на позиции анархизма, и тогда его предложения станут понятными. Но в тот момент анархист в нем только зарождался, и Алексеев вместе с другими членами ПК ССРМ никак не мог взять в толк, откуда появилась у него идея заменить союз бытовыми коммунарами, где все общее: квартира, еда, деньги.

1 декабря 1917 года проходила II общегородская конференция ССРМ, на которой председателем Петроградского городского комитета был избран Алексеев. Он же был делегирован представителем союза в Наркомпрос и Пролеткульт. Конференция поручила новому составу Петроградского комитета совместно с Московской и другими организациями созвать Всероссийский съезд союзов молодежи.

Союз молодежи «учился ходить», все тверже вставал на ноги. А было это делом непростым. Все впервые!.. При этом во всем Петроградском комитете ССРМ, который руководил почти пятидесяти тысячной организацией, не было ни одного освобожденного сотрудника. Работа активистов в Союзе молодежи начиналась после тяжелого десятичасового рабочего дня на заводе или фабрике. Оторваться от работы на пару часов для выполнения общественных обязанностей означало потерять часть и без того скудного заработка.

Алексеев распределил членов Петроградского совета по районам и крупнейшим предприятиям. Началась агитация в Союз молодежи, вступление в который по тем временам было делом небезопасным. Большевики и эсеры нападали на членов ССРМ, избивали их, шли на различные уловки, чтобы дискредитировать зарождающуюся организацию в глазах молодежи. По Петрограду начали распространяться, например, «карточки на поцелуи», отпечатанные в типографии. В них говорилось, что девушка, вступившая в союз, не может отказать в поцелуе тому, кто предъявит эту карточку. На нем

стояла поддельная печать райкома Союза молодежи. Забавно? А тогда это действовало.

18 февраля в Петроград пришла тревожная весть; Брестский мир сорван, немцы идут на Петроград. Совнарком, В.И. Ленин обратились к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». На следующий день собрался Петроградский комитет ССРМ. Алексеев информировал о создавшемся положении и решении ЦК партии: все большевики, все рабочие и крестьяне должны выступить на защиту Республики Советов. Прейди не открывали. Постановили: организовать красногвардейские отряды из рабочей молодежи, и прежде всего членов ССРМ, немедленно выступить па фронт. Затея с молодежными отрядами не вышла: молодые уходили на фронт вместе со старшими. Но отряд из членов Петроградского и районных комитетов ССРМ сколотить удалось.

Через несколько дней сто девять парней и одиннадцать девушек прощались с родными на Балтийском вокзале и помощник командира отряда по строевой части Петр Смородин, который через три года станет первым секретарем ЦК РКСМ, стоял смиренный, смущенный присутствием подчиненных, и упрашивал бранившую его мать: «Ну не надо, мам... Алексеев, скажи ей, что я не нарочно» А они смотрели на командира с сочувствием: многие свой уход на фронт скрыли от родных.

Это в те дни забелели на дверях райкомов листки с ныне знаменитыми надписями: «Райком закрыт. Все ушли на фронт...» Но жизнь огромного города не закроешь, жизнь продолжалась, только стала еще трудней — основная часть лучших партийцев и «сокомольцев» дралась на передовой, а значит, активизировавшую свою деятельность контру надо было бить меньшими силами и бить крепче.

Алексеева вместе со всеми на фронт не пустили: нужен в Петрограде.

Проходило время, а двери одного за другим райкомов стали открываться. Раненые активисты возвращались в город и тут же брались за работу. Союз пополнялся новыми людьми. Для того Алексеев и был оставлен в городе. Это был его фронт, линия которого значительно расширилась, когда Каплан совершила покушение на Ленина: Алексеев вступил в ВЧК — комиссию по борьбе с

контрреволюцией и спекуляцией. Теперь приходилось жертвовать чтением: ночных дел поприбавилось.

Много лет позже, когда жизнь войдет в спокойную колею, когда Алексеева уже не будет в живых, его боевые товарищи, суммируя обязанности, возложенные на него партией, дела, которые он успевал делать в одни и те же для всех нас двадцать четыре часа суток, семь дней недели и двенадцать месяцев года, поразятся тому, как успевал он их перемалывать, выносить невероятные нагрузки, не скуля и не похваляясь собой.

Ответ? Он прост: Алексеев был рабочий. Всегда, независимо от того, как называлась его должность. А рабочий — от слова «работа» в его первородном смысле: «нахождение в действии, процесс превращения одного вида энергии в другой». Алексеев превращал энергию своей души в убеждения тысяч его современников...

Василий валился с ног, засыпал, едва донеся голову до подушки. Но ранним утром: все видели быстрого Алексеева, веселого Алексеева, брызжущего идеями и оптимизмом Алексеева. Его карие глаза, как два огромных топаза, смотрели в души людей честно и горячо, высвечивали глубоко. Однажды эти воспаленные бессонницей и ночным чтением глаза вдруг перестали видеть. Он не мог их даже открыть — такую боль вызывал свет, словно на содранную кожу насыпали горячей соли.

Стало страшно... Алексеев не знал, что где-то в сабельных атаках носится по ковыльным степям его духовный побратим Павел Корчагин, который скоро докажет, что в любом состоянии, даже слепым и парализованным, человек может найти дорогу к людям, если исповедует добро, если силен духом. А пока Алексеев страдал от безделья, мучился мыслью о своей бесполезности, ненужности. Привыкший помогать другим, теперь он сам нуждался в помощи, и это оказалось до слез обидным...

29 октября 1918 года в Москве собрался I съезд РКСМ. Мечта Алексеева о единой всероссийской юношеской организации сбылась. Однако сам Алексеев в работе съезда не участвовал. Почему?

Мы все время говорим об Алексееве как деятеле юношеского движения. Между тем это лишь одна из сторон его многогранной жизни. Алексеев — работник государственный: председатель районного суда, а с 1918 года — заместитель председателя

Петроградского окружного совета народных судей. Алексеев — партийный работник, большевик, работавший в Союзе молодежи по заданию партии. По биографии Алексеева можно изучать не только биографию его поколения и историю молодежного движения страны, но также историю партийного руководства его развитием. Работа среди молодежи была для него одним из поручений партии. Он выполнил его и в канун своего двадцатидвухлетия, пораженный болезнью, больше всего на свете мечтал выздороветь и уйти на фронт.

Осуществить свою мечту Алексееву удалось только в мае 1919 года. Родзянко и Булах-Булахович наступали на Гатчину. Алексеев был назначен помощником начальника особого отдела 7-й армии. Но прослужил он в этой должности недолго. Вскоре за нарушение воинской дисциплины был откомандирован в запасной полк, что стоял в Торжке. Рядовым красноармейцем.

Что такое совершил Алексеев — неизвестно. Само упоминание об этом проступке встречается в воспоминаниях его товарищей только раз. Вероятнее всего, на чем-то сорвался, он был вспыльчив, резок в оценках, это хорошо известно. Еще в конце 1917 года во время процесса в суде Алексеев назвал одного из присутствующих господ дураком (было за что). Тот оскорбился и потребовал занести слова судьи в протокол. Тогда Алексеев тут же написал справку, в которой указал, что господин такой-то является дураком. Расписался и тиснул почать. Господин бумажку взял и показал где надо. Это едва не стоило Алексееву его поста. Вступился исполком Советов рабочих депутатов. Алексеева взгрили, но на работе оставили.

Может, нечто похожее случилось и на этот раз. Это очень непросто для человека — проявить себя доказать, что ты что-то можешь и значишь. Но Алексеев выдержал испытание «на удар», не сломался, из критического положения выбрался честно, сам, своим трудом.

В запасном полку, куда направили Алексеева, его никто не звал: полк пополнялся людьми из глубинных губерний. Как и все, Алексеев проходил боевую выучку с полной выкладкой. Перед выходом на фронт полк построила для митинга, Комиссар напутствовал бойцов — долго и скучно, словно не в бой уходили люди, а картошку полоть. И тогда слова попросил Алексеев. Люди слышали то, чего ждали. Алексеев стал полковой «знаменитостью». На следующий день его

назначили руководителем школы политграмоты полка. А вскоре избрали в состав полкового бюро РКП (б), хотя для этого пришлось вести двухнедельную переписку с политотделом армии — там помнили о проступке Алексеева.

Полк стоял в Гатчине, а Гатчинскому городскому Совету в тот момент истек срок полномочий. Полк избрал в Совет Алексева, а Совет назначил его своим секретарем. Новая должность, новый поворот в судьбе. Но не к должностям Алексей рвался, а в бой...

На Петроград наступал Юденич. Путиловские рабочие по просьбе Ленина построили бронепоезд, дав ему имя В. Володарского. Бронепоезд вышел навстречу белым, чтобы держать Гатчину со стороны Детского Села. Алексей списался из полка и занял место в пулеметном расчете бронепоезда. Но силы были неравны: пришлось отступить. В эти короткие часы Алексей едва не попал в руки врага.

А 3 ноября, преследуя белых, он ворвался в город и остался там — его назначили председателем Гатчинского ревкома.

Это был его последний боевой пост. Но тогда он этого не знал. Падал наземь лохматый снег, было тихо, и о плохом не думалось...

Считается, что человек — это то, что он сделал, что говорят о нем другие. Но разве мечты и планы наши ничего не рассказывают о нас? И разве, оценивая человека, не нужно принимать в расчет, что думает о себе он сам, кем сам себя ощущает? Да, человек — это то, кем он стал и что успел. Добавим: и то, кем мог бы быть, что мог бы сделать...

Сделанное Алексеевым значительно. Потому и говорим о нем: «Замечательный человек!» Но он мог стать прекрасным юристом, видным журналистом, крупным партийным или государственным деятелем. Он успел «попробовать» себя во всех этих должностях, к нему, очаровательно молодому, в той сумасшедшей пляске событий и новом загадочном мире, который он творил сам, каждое из этих трудных дел оказалось по плечу.

А может быть, он стал бы поэтом... Ну в самом деле — почему бы нет? Ведь если в те три коротких месяца, от августа до ноября 1917 года, забитых до отказа событиями и делами, он писал свою поэму в «Юный пролетарий», значит, он не мог не писать. И значит, он смог бы писать, я думаю. Он понимал и чувствовал слово. И умел любить.

Он любил Революцию и Марию, разрывался между ними. Два-три раза в неделю Алексеев уезжал из Гатчины в Петроград — к Марии, и столько же раз возвращался от нее обратно в Гатчину — к делам. Мария тоже была большевичкой и не могла бросить свою работу в Питере. А у него и мысли не возникало сказать: переведите в Петроград, к жене, к матери. Несколько месяцев Алексеев мотался между городом великим и городом маленьким в теплушках, жертвовал сном, отдыхом, рисковал жизнью и должностью — из-за любви. Однажды ему, председателю ревкома, вынесли выговор за то, что он на час с лишним опоздал на совещание, им же назначенное. Это же надо — опоздать на заседание из-за любви, а?

Она была красивой и юной, со смешной фамилией Курочко и лучшим в мире именем Мария. Алексеев увидел ее в приемной у коменданта Нарвско-Петергофского района Г. Егорова и впервые в жизни подумал, что мать все-таки права: костюмчик на нем действительно слишком потрепан и пора бы сходить в парикмахерскую. Дома он долго изучал в зеркале свое лицо...

На следующий день Алексеев увидел Марию в зале судебных заседаний. Она смотрела на него неотрывно, и Алексеев сбивался, путался в словах. И еще дважды в этот день она встретила его — во время лекции, которую читал на Петроградской стороне, и на встрече с ранеными красноармейцами. Удивился — Как нашла его? И обрадовался: это судьба.

Они бродили по весеннему Летнему саду, и им было о чем говорить. Она даже тихонько пела ему на русском и полуродном польском. Василий читал стихи.

*Любовь? Да нет. Откуда? Вряд ли это...
А просто так: уйдешь — и я умру.*

Тут все было ясно — любовь. Мария отпросилась со службы и целую неделю была всюду, где бывал Алексеев: в суде, в райкоме партии, в редакции, в Петроградском комитете, на лекциях. Пыталась пойти даже в ночную облаву, но на это ей разрешения не дали.

Через неделю, 6 мая 1919 года, они поженились. Жили в доме бывшего лесоторговца Захарова по Старо-Петергофскому проспекту

№ 27, в гостиной, обставленной роскошной мебелью. Было жалко ступать разбитыми ботинками на блестящий паркет, садиться в потрепанной одежде на шелковые диваны и кресла, есть воблу на инкрустированном столе.

Соседи, работники Нарвско-Петергофского райкома партии и народного суда, дома бывали так же редко, как и Алексеев. Женская половина своеобразной «коммуны» часто собиралась у камина в комнате Алексеевых. А когда дома были мужчины, ели «дурандовый бисквит» из жмыха подсолнечника, пили из жестяных кружек чай с сахарином. Мария набрасывала на плечи «Васенькину кожанку», забиралась с ногами в кресло, и в лучинном свете влажно светились ее глаза. Он пел — она слушала. Он молчал — она слушала. Он был рядом — она грустила: вот-вот уйдет. Он уходил — тосковала: сейчас, ну вот еще немножко — и он появится.

Редки, очень редки, коротки, очень коротки были эти вечера.

Вскоре Алексеев ушел на фронт.

...В те годы опасность поджидала людей не только в бою, в ночи, за углом. Не меньше погибло их от голода и тифа, свирепствовавшего именно там, где было больше людей. Мотаясь в теплушках из Гатчины в Петроград и обратно, Алексеев рисковал. Но пока мы живы, верится, что смерть не суждена нам. Алексеев не раз встречался с ней; когда убегал от жандармов, дрался с хулиганами на Невском, носился по Петрограду февральской ночью 1917-го между Нарвской заставой и Таврическим дворцом, арестовывал контрреволюционеров и бандитов, ходил в атаку и в разведку под Гатчину, Пули облетали его.

Но однажды по дороге в Петроград еще в вагоне по его спине пробежал озноб и сразу — в жар. Подумал: «Тиф?» Не поверил. И только когда вышел из вагона, почувствовал, что идти не может. И сел к забору — отдышаться. Но силы не возвращались. И тогда он окликнул пробежавшего мимо мальчишку.

— Эй, малец! А ну-ка помоги...

И тут же отогнал его — заразится парень.

Как он донес себя до дому — не помнил.

Это был сypняк.

Дни и ночи напролет проводила Мария у постели Алексеева. Он был без сознания, бредил. Очнулся совсем ненадолго. Прошептал:

— Открой сумку... полевую... конверт...

Мария разыскала конверт с надписью «Мария», открыла его. Там лежало несколько листков, исписанных мелким разборчивым почерком Василия. Стихи.

*...Ты мне нужна —
Во всем, всегда,
Никто другой на свете.
Ты мне нужна, моя жена,
Всю жизнь. И после смерти.
Прошу тебя:
Переживи
Меня,
беду,
сомненья.
И сохрани и разбери
Мои стихотворенья.*

Она плакала, а он молча смотрел на нее. Прошептал:
— Не плачь, Мария... Улыбнулся и умер.

Проходили часы, а Мария никого не впускала в комнату. Все сидела, все не верила, все ждала: шелохнется, приподымет, встанет, скажет...

Под утро в комнате грохнул выстрел. Когда сломали дверь, Мария была мертва. На полу рядом с ней лежал браунинг, подаренный Василием. Ей было девятнадцать лет.

Их хоронили 2 января 1920 года под одним знаменем, па одной трамвайной платформе везли на Красненькое кладбище. Тысячи людей прощались с дорогим человеком и его любимой.

И никто не судил Марию.

...Вот и вся жизнь Василия Алексева. Всего двадцать три года, а человек состоялся. Ибо не писал он свою жизнь на «черновик», не собирался жить, а жил — сразу «набело», на всю «катушку», не экономя ни ума, ни души, ни сил своих. Ибо было в его жизни крепкое зерно — раскаленная добела вера в лучшую человеческую долю и необходимость борьбы за нее. И был он счастлив. Ибо верил в

возможность счастья, знал, что в жизни есть одна несомненная радость — жизнь для другого.

Он был из первых комсоргов, которые вступали в борьбу мальчишками, успевали пройти подполье, испытать аресты, перестрадать в тюрьмах и ссылках, взять власть в свои руки, командовать полками, получить свои смертельные раны, выжить, чтобы строить новую жизнь, продолжать бороться... и умереть — на взлете, с распахнутыми для полета крыльями, так и не отведав плодов своей борьбы, совсем еще мальчишками — умереть... Они умирали и верили: придут новые бойцы, сильнее и смелее их, пойдут дальше, сделают жизнь счастливой. Такой, о которой они мечтали.

Игорь ИЛЬИНСКИЙ

Виталий БАНЕВУР

...Мглистым, морозным днем 12 января 1918 года в бухте Владивостока Золотой Рог бросил якорь японский крейсер «Ивами». Жерла его орудий зловеще развернулись в сторону города, словно возвещая, что мирная жизнь трудящихся Советского Приморья теперь будет прервана. Очень скоро за незванным пришельцем придут военные корабли под американским, английским, французским и другими флагами империалистических держав, а по городским мостовым зацокают подкованные ботинки иноземных солдат, и начнется организованный грабеж дальневосточного угля, леса, пушнины — несметных богатств края, на который давно уже зарились заморские толстосумы.

Но все это станет очевидным потом, а сейчас у причала Торгового порта стихийно возникла толпа. Высказывая негодование, люди хмуро смотрели на японский крейсер, на палубе которого выстраивались солдаты, чтобы сойти на берег.

Среди вездесущих мальчишек, прибежавших на пристань, был четырнадцатилетний гимназист Виталий Баневур, шустрый, худощавый, невысокого роста парнишка. Он протиснулся к самому пирсу, когда вдруг раздались голоса: «Демонстрация началась! На демонстрацию!»

Толпа хлынула на Светланскую улицу, по которой уже шли люди, направляясь на привокзальную площадь, где должен был состояться митинг. Мерным, неторопливым шагом двигались портовые грузчики, рабочие заводов Эгершельда, рефрижераторов, почтовики, телеграфисты — крепкие, мускулистые люди труда. Над головами реяли красные транспаранты. Ярко полыхал лозунг «Да здравствует Советская Республика от Балтики до Тихого океана».

Виталий увидел среди рабочих Лиду, старшую сестру. Лицо ее возбуждено, глаза оживленно блестят.

— Где тебя носит? Давай к нам! — замахала она брату рукой.

Виталий шел потом рядом с сестрой, держась за ее узкую ладонь, всем своим существом ощущая единение с монолитной колонной движущихся людей.

В их твердых взглядах, в сомкнутых рядах он видел непреклонную решимость и железную волю защитить отстоять родную Советскую власть в Приморье.

На квартире Баневуров стали нелегально собираться большевики. Примостившись тихонько за дверью, Виталий жадно вслушивался в каждое слово. И однажды не выдержал, вошел в комнату, попросил, чтобы ему дали боевое задание. Седоусый, пожилой рабочий ласково потрепал мальчишку по черным как смоль волосам, тихо произнес:

— Рановато еще тебе, сынок, обожди чуток, настанет и твой черед.

И он вскоре наступил. Щуплый с виду подросток не привлекал внимания шпииков. Виталий стал связным у подпольщиков.

Стремясь сохранить за собой Приморье, японское командование в апреле 1920 года вероломно нарушило перемирие с большевистской земской управой — началась вооруженная агрессия. Над Владивостоком опустилась черная ночь террора и репрессий, начались повальные аресты, массовые расстрелы.

Японским интервентам удалось захватить руководителей штаба партизанского движения во главе с Сергеем Лазо. После чудовищных пыток и издевательств отважного пролетарского командира враги сожгли в топке паровоза.

Но жестокие расправы с патриотами не запугали людей, лишь вызвали гнев и ненависть к интервентам и белогвардейцам, поднимали на вооруженную борьбу. Тысячи народных мстителей уходили в сопки, в тайгу, вливались в партизанские отряды. В это суровое время формировались политические взгляды и убеждения Виталия Баневура, выковывался характер борца.

Он ходил с поручениями большевиков на явочные квартиры, помогал переправлять оружие, под носом у белогвардейцев и японцев распространял листовки. По вечерам надевал просторный плащ, пристраивал незаметно под ним баклажку с клеем и, когда наступала темнота, вместе с напарником, прятавшим листовки в рукаве, расклеивал их на домах и заборах. Сколько раз он ускользал от шпииков и провокаторов, скрываясь в рабочих кварталах и глухих переулках, выручали прирожденная сметка, отличное знание города.

Но, главное, у этого худощавого, общительного и веселого, с твердым характером паренька был прирожденный дар трибуна,

организатора. Обладая живым, цепким умом, превосходной памятью, начитанный и образованный, Баневур легко сходилась с людьми, о сложных политических вопросах говорил понятно и просто. Вскоре он становится вожаком молодежного подполья Владивостока.

Было и еще обстоятельство, способствовавшее этому. В октябре 1920 года Баневур вместе с несколькими товарищами побывал в Москве на III съезде комсомола, видел Ленина и почти наизусть знал его программную речь о коммунистическом воспитании молодежи, произнесенную на съезде.

Виталия часто просили рассказать об этом, и он охотно соглашался, вспоминая незабываемые дни, проведенные в Москве. Почти месяц добирались они до столицы. Никто и подумать бы не мог, взглянув на этих совсем еще мальчишек, ради маскировки облаченных в отрепья, исхудалых от недоедания и недосыпания, что они авторитетные посланцы комсомола Приморья, его гордость и слава.

Много трудностей и опасностей преодолели в пути, чтобы не попасть в лапы контрразведки. Шутка ли — десять тысяч верст, где товарняком, где пассажирским поездом через несколько фронтов, через районы, занятые врагом. Под канонаду орудийных выстрелов и пулеметных очередей, под пристальными взглядами белогвардейской охраны.

Зато какая красота открылась их взорам, необъятный, душу захватывающий простор, когда ехали по Советской России, где уже отпыхала гражданская война и началась мирная жизнь! Тайга, степь, горы, реки, озера... Ребята не могли наглядеться, налюбоваться обликом Родины, обретенной в огне революции.

Виталий зримо ощутил, насколько она прекрасна и необъятна, понял, что дело, которому он служит, — необходимая, важная частица общенародного дела.

В Москву они приехали ночью, а утром, выйдя из общежития, пошли по улицам. Как замороженный, ненасытно смотрел Виталий на бульвары и памятники, оживленно текущую, пеструю людскую толпу, живописные стены и купола, гранитные набережные и площади, от которых словно веяло и седой стариной, и спокойной уверенностью бурной молодой жизни, рожденной Октябрем.

Зачарованно стояли приморские делегаты на Красной площади возле Спасской башни Кремля — сердца России, над которым, как

символ советской нови, трепетал алый стяг. И вдруг раздался звонок. Из ворот Спасской башни выехала открытая машина. Солнечный свет, затопивший Красную площадь, осветил и машину и человека, сидевшего в ней. Виталий почувствовал, как от волнения что-то сжалось в груди, гулко забилося сердце.

— Товарищ Ленин! — невольно прошептал Виталий и вытянулся по струнке, словно сердцем приветствуя Председателя Совнаркома.

Машина промчалась мимо, но какая это была минута! Память бережно сохранит ее на всю жизнь!

А потом был комсомольский съезд, шумная, веселая, незабываемая молодежная «буча», где глаза рябило от пестроты одежд — серых шинелей красноармейцев, черных бушлатов моряков, аккуратных курток гимназистов, ярких халатов дехкан.

Здесь собрались молодые шахтеры Донбасса, ивановские ткачи, строители Каширской гидроэлектростанции, корабелы, металлисты — строители нового мира. И всех окрылила, зажгла, придала невиданный заряд энергии и целеустремленности речь Владимира Ильича Ленина, взволновало его участие в работе съезда.

— А какой он, Ленин? — спрашивали потом Виталия. Каждый раз он немного терялся от этого вопроса, боясь ненароком неточно выразить словами то большое, значительное, чем наполнилось сердце, что составляло отныне глубинный смысл его жизни, определяло ее ясную цель. Он твердо знал: Ленин — это сама правда, сама совесть человеческая. И какие бы преграды ни встали на пути, он, Баневур, будет сражаться за эту правду со всей страстью, со всей самоотверженностью и непреклонностью своего сердца, будет сражаться до последнего вздоха, до полной победы ленинского дела...

После массовых арестов нужно было восстановить связи комсомольцев с большевистским подпольем. Баневур приходит на явочную квартиру Марии Фетисовой, работавшей в библиотеке. Белогвардейской контрразведке и в голову не могло прийти, что молоденькая библиотекаряша, интеллигентная, скромная, совсем еще ребенок, — член боевой городской партгруппы, надежная связная коммунистов.

За плечами бывшей подпольщицы, «товарища Маруси», — большой, полный значительных событий жизненный путь. В совершенстве владея японским языком, Мария Григорьевна Фетисова

долго работала на Сахалине, на Дальнем Востоке, училась в Академии коммунистического воспитания у Надежды Константиновны Крупской, преподавала в Институте востоковедения. Человек большой культуры, щедрой души, она, уйдя на пенсию, не прекращала работу, занималась переводами, встречалась с молодежью и всегда охотно вспоминала годы боевой юности, полной опасностей борьбы с интервентами.

Враги не догадывались, что эта «тихая барышня» была «красным» агитатором, что она вместе с рабочими грузила в шлюпку прикрытое мешковиной оружие под носом военного крейсера «Маньчжур», получала на углу Буссе и Портовой в японской прачечной таинственные свертки от коммуниста Цоя. А потом среди японских солдат обнаруживались листовки на их родном языке. Несколько сотен рабочих проводила «товарищ Маруся» в сопки к партизанам, зная заветную тропу, что вела за город в укромное место, где поджидали другие связные — проводники.

Она встретилась с Баневуром в декабре 1921 года. Он знал, какой отважный боец хозяйка скромно обставленной городской квартиры. Когда после работы Мария, придя домой, вошла в комнату, из-за стола быстро встал черноволосый темноглазый паренек, представился:

— Виталий.

После короткого знакомства он вспорол воротник пиджака, достал полоску белого шелка. Мария сразу узнала — «шелковка». На такой полоске белого шелка, хорошо сохранявшей машинописный текст, руководители подполья писали важные задания и донесения. Одновременно «шелковка» служила мандатом подпольщика, его своеобразным паролем.

Распоряжение было послано из урочища Анучино, где находился тогда подпольный обком партии и штаб партизанских отрядов Приморья. Мария прочитала о том, что Баневуру необходима связь с коммунистами городского подполья.

— Тебе придется подождать, — сказала она, накидывая платок.

А вскоре пришла вместе с Леонидом Бурлаковым, одним из членов боевой партийной группы. Они тут же договорились обо всем необходимом. Леонид сказав Марин:

— Это очень нужный человек. Отведешь Виталия к Левановым.

На конспиративной квартире Левановых часто кто-нибудь скрывался. Провокатор выдал белогвардейцам этот адрес. Враги налетели внезапно, арестовали Семена — отца нескольких детей, старого коммуниста. После тягчайших пыток его расстреляли. Баневур чудом ускользнул от ареста и снова продолжал свою опасную работу.

Белое офицерье, японское командование бесновались от ярости, разыскивая неуловимого комсомольского вожака, имя которого стало легендарным. Продажная анархистская газетенка «Блоха» поместила его фотографию с обещанием выплатить пять тысяч иен в качестве вознаграждения тому, кто доставит Баневура живым или мертвым.

Виталий узнавал и не узнавал себя на фотографии, где он был запечатлен в пору учебы в гимназии, — худенький, большеглазый, со впалыми щеками подросток.

— Хотел бы встретиться с тем, кто раздобыл эту школьную фотографию, — сказал Виталий товарищам.

— Нашелся какой-то, кто хотел подзаработать. Только никому не шли впрок тридцать сребреников, — говорили Друзья.

Рабочие берегли, укрывали Баневура от вражеских ищеек. Мария еще несколько раз встречалась с ним, передавала задания коммунистов, которые он затем выполнял. И все же пребывание его в городе с каждым днем становилось опаснее. Подпольная большевистская организация предложила Баневуру временно покинуть Владивосток. Он поступил работать в депо на станцию Первая Речка.

Здесь он не стал «отсиживаться», как в тихой гавани, — организовал подпольную группу молодых рабочих, которые повели с японцами решительную борьбу. В мастерских депо строили бронепоезда. Виталий имел задание тормозить их строительство, срывать важные заказы врагов. Он стал одним из организаторов «итальянских» забастовок: люди вроде занимались делом, но оно почти не продвигалось вперед.

Взбешенное начальство подсылало провокаторов, но их быстро распознавали рабочие и расправлялись с изменниками. В депо назначили надсмотрщиками солдат, белоказаков, установили самый строгий контроль за работой.

Но и это мало помогало — строительство бронепоездов шло «черепашьими» шагами. И в то же время в вагоне, где жил Баневур,

печатались листовки, а рано утром комсомольцы разносили их по всей станции.

Передавая из рук в руки прокламацию, рабочие читали: «Товарищи! Близится час победы! НРА (Народно-революционная армия. — Ред.) — у Имана. Настают последние дни развязки. Белые чувствуют свою гибель, но они еще сопротивляются. Они готовятся еще к кровавым схваткам, формируют войска, готовят бронированные поезда, ремонтируются в нашем депо!

Не бывать тому, чтобы мы своими руками помогали врагам!

Бастуйте! Срывайте воинские перевозки белых! Комитет».

Снова начались аресты. Но и это не остановило подпольщиков. Отправленные на фронт бронепоезда на полном ходу попадали на запасные пути, летели с рельсов, разбивались.

В депо рыскали десятки сыщиков, хватали и тащили в застенки по малейшему подозрению. Круг вокруг Баневура сжимался, но неуловимый юный патриот бесследно исчез: ему было приказано уйти из депо в тайгу, в партизанский отряд Топоркова.

Оказавшись на новом месте, Виталий с интересом оглядывал укрытый под кронами лиственниц партизанский лагерь — шалаши, повозки, коновязи, дымки костров. Всюду ходили люди с гранатами, пистолетами в кобурах у пояса, некоторые перехлестнуты пулеметными лентами. У каждого на фуражке или шапке алая ленточка — отличительный знак «красного» партизана.

Выросший в городе, Баневур немного оробел от нахлынувших на него ощущений новой, необычной жизни. Ведь придется столькому учиться, начиная с азов, — езде на лошади, стрельбе из оружия, владению шашкой, умению вести разведку и бой по канонам партизанского искусства. Не оплошать бы, не ударить в грязь лицом перед этими закаленными в жарких схватках людьми, подумал он.

Из палатки вышел высокий мужчина, статный, в кожаной куртке, туго перетянутой ремнем.

— Командир наш, Афанасий Иванович Топорков, — уважительно шепнул Баневуру сопровождавший его парень.

Был Топорков немолод, строг лицом. Глаза лучились живой, энергичной мыслью. Все сидело на нем как влитое. Ступал он легко и твердо, словно не чувствуя за плечами бремени лет.

Командир сразу понравился Виталию. А тот, уже осведомленный о назначении Баневура комиссаром, просто сказал:

— Ну что ж, давай знакомиться, — крепко пожал руку, на секунду задерживая на юноше пристальный взгляд.

Перед Топорковым стоял невысокий, с ладной сухощавой фигурой парень. Сквозь смуглую кожу впалых щек пробивался здоровый румянец. Из-под черных, чубом нависавших волос смело и открыто смотрели темные, живые глаза. Что-то еще юношески-мягкое, угловатое было в лице, в подбородке, еще не знавшем бритвы, но твердая линия сомкнутых губ, прямой взгляд придавали ему не по годам серьезное выражение.

— Думал я, постарше будешь, — с добродушной откровенностью сказал Топорков.

— Так ведь состариться успею, — в тон ему ответит Виталий.

— Тоже верно, — согласился Топорков, улыбнувшись широко, открыто, так, что сразу почувствовалось — человек этот большой души, щедрого сердца. — Что ж, вместо жить и воевать будем. Проходи, — пригласил он жестом в шалаш.

Между ними установились искренние, душевные отношения. Чутьем опытного подпольщика-большевика Топорков сразу оценил способность Баневура быстро сходиться с людьми, свободно ориентироваться в политической обстановке, говорить о ней так, что и малограмотным крестьянам, которых в отряде было немало, все становилось ясным.

Виталий же с глубоким уважением относился к Топоркову, ведя его командирский талант, железную волю, гибкий ум. Партизаны беззаветно любили своего командира, готовы были идти за ним хоть в огонь, хоть в воду.

По-отечески заботливо принялся Топорков обучать Баневура всем премудростям партизанской жизни, и тот, сметливый и понятливый, быстро освоился на новом месте.

«Как там, в городе, дела? — интересовались партизаны. — Поди, отсиживаются рабочие? Ждут, когда мы припожалуем?» И Баневур рассказывая об организованной, отважной борьбе подпольщиков, коммунистов и комсомольцев, о росте рядов народных мстителей, несмотря на непрекращающиеся расстрелы и аресты. Партизаны, недостаточно осведомленные о положении в городе, сочувственно,

понимающе говорили: «Значит, и там война. Придет час — вместе ударим по белопогонникам...»

Весной 1922 года белогвардейцы решили разгромить отряд Топоркова, который своими активными действиями наносил им большой урон — пускал под откос эшелоны, нарушал связь, дерзкими налетами уничтожал оккупантов. На выполнение этой операции белые бросили большой конный карательный отряд, значительно превосходивший партизанские силы.

И все же, узнав об этом, Топорков принял решение дать бой врагам, устроив им засаду на дороге в лесу, где они не могли бы развернуться и использовать свое превосходство в силах.

— Пойдешь на ответственный участок, — сказал он Баневуру. — Возможно, беляки полезут именно туда, когда прижгем им пятки. Держитесь во что бы то ни стало,

— Будет исполнено, товарищ командир, — заверил Виталий,

Он залег в цепи партизан среди кустарника, подступавшего к дороге. Рядом, за пеньком, пристроился седоусый, седобородый дед с берданкой, таежный охотник. Из его потертого малахая торчали ветки багульника — в пяти шагах дед среди кустов был неразличим. Когда показались едущие на рысях конные, он тихо заговорил, словно заманивая их, поддаваясь проснувшемуся в нем азарту боя:

— Ну, подходи, подходи, голубчики, поближе. Давненько вас поджидаем...

Виталий уже отчетливо видел усатые, разгоряченные лица карателей, слышал храп коней, цокот копыт, тяжелое дыхание людей. Взял на мушку дородного белоказака, когда раздался громкий голос Топоркова:

— По белой сволочи огонь!

Длинной очередью ударил партизанский пулемет, загрохотали выстрелы карабинов, винтовок. Лес огласился гулкой канонадой, ржанием испуганных лошадей, дикими криками врагов. Виталий стрелял старательно, как учил его Топорков, видел, как падали, сраженные пулями, каратели. А рядом спокойно и внешне неторопливо вел огонь дед, приговаривая при каждом выстреле: «Ось ишо одному гаду каюк...»

Придя в себя, белые напролом ринулись в атаку, но со всех сторон их встречали, разили партизанские пули.

Виталий не смог бы сказать, сколько длился бой. Оглохший от выстрелов и криков, он тщательно делился, посылая в карателей пулю за пулей, вскочив на ноги, что-то кричал своим соседям — молодым парням, когда те было попятились, увидев перекошенные яростью и страхом лица белоказаков, которые с отчаянием обреченных бросились на партизан. Вместе со всеми он поднялся в атаку, под грозное, раскатистое «ура» бежал вперед, стрелял на ходу, бил прикладом и пришел в себя лишь тогда, когда стало вдруг удивительно тихо. Десятки трупов лежали на дороге, в траве. В лесу умолкал конский топот панически ускакавших уцелевших карателей.

Виталий почувствовал страшную усталость во всем теле. Сел прямо на землю, расстегнув ворот взмокшей от пота рубахи.

Чья-то рука легла на его плечо. Он поднял голову. Перед ним стоял седоусый дед, таежный охотник.

— А ты, комиссар, молоток! — От яркого весеннего солнца дед щурил глаза, лицо его светилось доброй улыбкой. — Будут знать теперь беляки, почему наша Советская власть, — полез он в карман за кисетом с махоркой.

— Могут еще сунуться. Ко всему надо быть готовым, — сказал Баневур, вставая. Только тут заметил он, что вокруг хороводилась, бушевала весна. Красными, синими, фиолетовыми огнями расцвелились травы, лес лучисто блестел па солнце молодой листвой, гудели пчелы. Виталий расправил плечи, вдохнул полной грудью дурманящий ароматами трав голубоватый воздух тайги. Так безумно хотелось жить, любить, работать до одури на этой благодатной, благословенной земле, видеть ее мирной и цветущей в лесах новостроек.

И горько становилось при мысли, что сколько еще крови людской прольется, пока освободят родной край от вражеской нечисти, — предстояли новые бои, новые походы,

В отряде оставалось мало боеприпасов. На одном же отдаленном разъезде были спрятаны патроны и гранаты. Но взять их и доставить в отряд крайне трудно — путь к разъезду проходил по местам, занятым белыми и японцами. Виталий вызвался привезти боеприпасы.

— Как же это тебе удастся? — спросили его.

— Наряжусь под деревенского паренька. Кто заподозрит в чем-то мальчика, у которого и усы-то еще не растут.

Топорков замысел одобрил. И вот трусит по дороге старенькая лошаденка. На скрипучей телеге сидит в затасканной рубаше, в залатанных портах деревенский хлопец. Первый же белогвардейский конный патруль окликнул его.

— Эй, куда прешь? — строго спросил хмурый мордастый казак.

— Сенца, дяденька, надо привезть. Совсем отоцала коровенка. А стог-то наш тут, на лугу, недалеко.

Чумазый босоногий паренек, весь его жалкий вид, покорное, просительное, глуповатое лицо смешат конных.

— Давай шпарь дальше. Да смотри скакуна-то не растрясси, — гогочут белоказаки, пропуская телегу...

Баневур вернулся в отряд на рассвете. Из-под стога сена извлекли гранаты и патроны. Топорков крепко обнял Виталия, уколов его щеку колючей бородой.

— Что только не передумал за эту ночь... Ну, спасибо тебе, комиссар...

Наступали решающие события в борьбе за освобождение от оккупантов Советского Приморья. В сентябре 1922 года белые начали наступление против Народно-революционной армии. Возглавлявший его генерал Дитерихс, ярый монархист, слепо ненавидевший Советскую власть, лишившую его помещичьих владений в Прибалтике, объявил новый «крестовый» поход на Москву. Но трудовой народ, исстрадавшийся под гнетом интервентов и белогвардейцев, от мала до велика поднялся на последний бой с новоявленными «хозяевами».

Народно-революционная армия вскоре остановила продвижение белых и сама перешла в наступление, погнала их к морю. Еще на фронте шли ожесточенные бои, во Владивостоке хозяйничали американцы и японцы, еще в застенках лилась кровь патриотов-подпольщиков, а становилось уже ясно, что дни белогвардейцев и интервентов сочтены. Советская власть победоносно охватывала все новые уезды и волости Приморья.

Дальбюро ЦК РКП (б) приняло решение в занятых белыми и интервентами районах тайно провести съезды крестьянских уполномоченных, выделенных бедняцко-средняцким активом. Съезды должны были избрать комитеты по установлению Советской

власти в Приморье. 13 сентября такой съезд проводился в деревне Кондратеновке.

Накануне отряд Топоркова получил приказ в составе сводной части партизан Никольского района прорвать фланг белых. Отряд в полном составе построился на центральной площади деревни. В вечерних сумерках слышался немолчный гомон людских голосов, звон оружия, храп застоявшихся коней.

— Не хотелось бы с тобой расставаться, — говорил Баневуру Топорков, когда настала минута разлуки. — Привык к тебе. Славный ты мальчик.

— Спасибо за доброе слово, Афанасий Иванович. Я и сам с отрядом бы — душа в бой рвется. Но съезд — дело не шутейное. Помочь надо товарищам.

— Позаботься об охране. Остается с тобой восемнадцать человек. За командира — Корнилов. Он много лет воюет, опытный партизан.

— Все сделаем как надо, — заверил Виталий.

— А теперь скажи, комиссар, бойцам несколько слов.

Виталий встал на возвышение, оглядел площадь, заполненную вооруженными, притихшими, так хорошо знакомыми ему людьми. Сколько вместе пережито, сколько пройдено боевых дорог! Как хотел Виталий быть бы сейчас в их рядах, а завтра в открытом бою бить белых. Но партия поставила перед ним сейчас другую задачу» И пусть каждый в своем посту выполнит до конца то, что повелевает партия.

— Товарищи! — раздался в тишине звонкий молодой голос. — Пришло наше время за все рассчитаться с японцами и белогвардейцами! За муки наших отцов и братьев, сестер и матерей. За товарищей, что томятся в застенках. Ничто уже не поможет врагам. Идя в бон, мы победим. Да здравствует партия большевиков! Да здравствует Ленин!

— По коням! — скомандовал Топорков.

Площадь загудела от перестука конских копыт, людского гомона. Топорков трижды расцеловался с Баневуром, легко вскочил в седло,

— До встречи! — ободряюще вскинул он руку.

— До встречи! — высоко поднял Виталий кепку над головой.

Еще долго стоял Баневур, слыша в вечерних сумерках затихающий конский топот. Не знал он, что все это время за ним

наблюдает провокатор — фельдшер Кузнецов, оставшийся в деревне при лазарете.

Партизаны не слишком доверяли ему, но держали в отряде потому, что использовали его опыт и знания по уходу за ранеными. Худой, длинный, он получил прозвище «ворона» за большую, старую, черную шляпу, напоминавшую воронье гнездо. Он не снимал эту шляпу даже в самые жаркие летние дни. Бывший тайный осведомитель жандармского управления, он тщательно скрывал свое прошлое, живя постоянно в страхе перед разоблачением.

Ночью Кузнецов бежал из Кондратеновки в Никольск-Уссурийское, где располагался большой гарнизон белых. Узнав, что в деревне собрался съезд уполномоченных и что партизаны ушли на задание, враги решили одним ударом разгромить съезд, обезглавить крестьянский актив, уничтожить партизанский штаб, а заодно по возможности раскрыть владивостокские явки. Два карательных конных эскадрона, из Раздольного и Никольск-Уссурийского, выступили в Кондратеновку.

В час дня на дороге, ведущей в деревню, показался столб пыли — это приближался один из эскадронов. Дозорный вскочил в седло, галопом помчался в Кондратеновку. Оставшиеся в дозоре двое партизан открыли огонь по карателям. Те неожиданно остановились, укрылись за придорожными деревьями — решили подождать второй эскадрон.

Дежуривший на крыльце Корнилов, выслушав дозорного, вошел в избу, где проходил съезд крестьянских уполномоченных, громко сказал:

— Товарищи, белые наступают. Прошу сохранять спокойствие. Все, кто имеет оружие, — ко мне. Повозки с ранеными, с имуществом — переправить через речку в лес...

В это время второй эскадрон карателей заблудился, направляясь к деревне с другой стороны лесной дорогой. Пока враги разобрались в своей ошибке, объединили силы, партизаны успели эвакуировать раненых и имущество, организовали оборону. Но силы были далеко не равны. Беяки с нескольких сторон обошли Кондратеновку. Загремели выстрелы.

— Уходить огородами! — приказал Корнилов. К нему подбежал Баневур.

— В штабе осталась пишущая машинка. Не оставлять же ее врагам! И кепка там моя.

«Наверное, парень зашил в кепке какие-то документы. — подумал Корнилов. — А здание штаба рядом — улицу перебежать*».

— Давайте, только быстро!

Баневур одним махом взлетел на крыльцо штаба и вскоре показался в кепке, неся в руках пишущую машинку. Ее он сунул в кусты, забросал ветками.

На площадь влетели всадники. Меткими выстрелами партизаны свалили нескольких верховых, отстреливаясь стали отходить.

Корнилов и Баневур покидали деревню последними. Миновав огороды, они выскочили на чистое поле, лишь кое-где покрытое кочками. Вокруг ни кустика, ни деревца — не укроешься. Белые заметили, открыли огонь. Но пока стреляли с разгоряченных коней, пули пролетали где-то в стороне. Положение изменилось, когда каратели спешили, установили пулемет.

Фонтанчики прошитой свинцом земли заплясали у ног. Когда Корнилов добежал до опушки леса и оглянулся — Виталий залег между кочек, рассчитывая, видимо, вскочить и скрыться в лесу, как только у белогвардейцев кончится пулеметная лента. Но наперерез ему уже мчалась группа конных, отрезая путь к лесу. Он успел еще оторвать подкладку у кепки, сунуть в рот небольшой листок с адресами явок подпольщиков, проглотить его, когда подскочившие белогвардейцы сбили наземь, навалились, связали веревками руки...

Его привели в избу, бросили в подвал, а вечером вызвали па допрос. Баневур вошел в комнату, огляделся. На хозяйской кровати поверх одеяла, в сапогах, развалился белогвардейский полковник. Перед ним навтыжку стояли офицеры, его подчиненные.

— Так вот каков ты, партизанский комиссар?! — щуря побелевшие от злости и ненависти глаза, процедил сквозь зубы полковник. От него разило луком, винным перегаром. — Еще во Владивостоке за тобой охотились, а птичка сама в руки попалась. Будешь говорить?

Баневур молчал.

— Советую, мой друг, не упрямиться, — тонкая, язвительная улыбка скривила губы полковника. — Мои орлы умеют языки развязывать. Сделают из тебя отбивную котлету, если будешь молчать.

Итак, куда подались уполномоченные? Где партизанский отряд и каковы его силы? С кем из Владивостока поддерживаете связь?

Баневур понял, что крестьянские уполномоченные, а с ними и подводы с ранеными, с имуществом отряда благополучно ускользнули от белых, и это обрадовало, придало сил. Он по-прежнему молчал, глядя в грязный, затоптанный сапогами деревянный пол.

— Вздуть его, паршивца! — вскочил с постели полковник, ощерившись злобным, звериным оскалом.

С Виталия сорвали рубаху, бросили на лавку, стали выламывать руки. Он до крови закусил губы, чтобы не закричать, не застонать.

— Шомполами его! — зарычал полковник.

В избе засвистели шомпола. Кровь брызнула на пол, па бревенчатые стелы избы. Временами Виталий терял сознание, но палачи окатывали из ведра водой, плескали в лицо, и снова в ушах назойливо звучали вопросы: «Где уполномоченные? Где отряд? Назови явки...»

Хозяин избы, пожилой крестьянин, отец нескольких детей, повалился полковнику в ноги.

— Господин офицер, ради бога, ради детей моих не делайте больше этого.

— И ты, свинья, захотел шомполов! — заорал полковник, уже порядком уставший от истязаний и пыток. — Ладно. На сегодня будет. В подвал «красного»!..

Допросы, жесточайшие пытки продолжались и на следующее утро. Но ничего не добились белые — Баневур молчал. Каратели не намеревались задерживаться в Кондратеновке, боясь появления партизанского отряда, его возмездия. Отряд построился, собираясь в обратный путь. Крестьяне видели, как вели по деревне окровавленного, избитого до неузнаваемости комиссара в окружении конных конвоиров.

У развилки дороги возле пустыющего Пьянковского завода эскадрон остановился. Конвоиры отвели Баневура в сторону. К нему подскочил полковник, взбешенный железной выдержкой, невиданной стойкостью духа юноши.

— Так будешь говорить, красная сволочь? — замахнулся нагайкой и, не получив ответа, начал исступленно хлестать по лицу, по обнаженному телу Баневура. — Подвесить его!

Баневура подтянули на веревке за руки, вывернутые за спину, к толстому сосновому суку. Невыносимая боль пронзила истерзанное тело. Стон вырвался из стиснутого, окровавленного рта. Но и новыми пытками враги не добились от Баневура признания.

Он стоял перед ними, прислонившись к стволу сосны, едва держась на ногах. Весь забрызганный кровью, обезображенный, с вывернутыми, переломанными руками, но не сдавшийся...

Он немного не дожил до победы — погиб 17 сентября 1922 года, а 25 октября части Народно-революционной армия сбросили остатки белогвардейцев и интервентов в море, освободили Владивосток. Над Советским Приморьем взвился красный флаг. На другой день, 26 октября Владимир Ильич Ленин телеграфировал председателю Совета Министров Дальневосточной республики;

«К пятилетию победоносной Октябрьской революции Красная Армия сделала еще один решительный шаг к полному очищению территории РСФСР и союзных с ней республик от войск иностранцев-оккупантов. Занятие Народно-революционной армией ДВР Владивостока объединяет с трудящимися массами России русских граждан перенесших тяжкое иго японского империализма. Приветствуя с этой новой победой всех трудящихся России и героическую Красную Армию, прошу правительство ДВР передать всем рабочим и крестьянам освобожденных областей и города Владивостока привет Совета Народных Комиссаров РСФСР».^[1]

Юрий ПАХОМОВ

Николай СОКОЛОВ-СОКОЛЕНОК

Представьте себе небольшой губернский город Владимир в начале нынешнего века. По сохранившимся документам сделать это не так уж трудно. Здесь живет около тридцати тысяч населения, «торговля и промышленность не процветают», вывозят из Владимирской губернии в основном лес, а ввозят хлеб. Крупных, значительных предприятий нет, а из учебных заведений можно назвать лишь несколько — мужская и женская гимназии, духовная семинария, детский приют, городское училище да несколько начальных школ.

Еще одно свидетельство тех времен: «Санитарное состояние города неудовлетворительно, почва загрязнена до крайности». Что касается продолжительности жизни, то она немногим более двадцати лет. Двадцать лет!

По современным понятиям — это возраст студентов, учащихся, возраст женихов и невест. А вообще, как писали об этом городе в конце прошлого века: «Во Владимире, кроме древностей, ничего нет замечательного».

Теперь представьте себе ученика четвертого класса городского училища Николая Соколова. Он невысок ростом, явно пониже своих сверстников, да и телосложение далеко не богатырское, он из тех, кого обычно в народе называют щупленькими. У него тонкие черты лица, большие темные глаза. На нем громадные отцовские валенки, какое-то пальтишко, шапка-ушанка. По происхождению Николай Соколов из безземельных крестьян — одно лишь это говорило о многом. И об образе жизни, и о достатке, об образовании и даже о надеждах на будущее. Его мечты в те годы ограничивались губернским городом Владимиром, и самые несбыточные, и вполне реальные. Кем мог стать этот парнишка, Николай Соколов, после окончания городского училища? Приказчиком в магазине, рабочим в какой-нибудь захудалой артели, поскольку больших предприятий, как мы знаем, не было в городе, оставалась, правда, еще железнодорожная станция, там тоже иногда требовались рабочие на ремонте путей, строительстве складов. Правда, в ста семидесяти верстах была Москва но это было так далеко!

Сто семьдесят верст не шли ни в какое сравнение с километрами, которые мы сегодня легко и незаметно проскакиваем на электричке.

Все свободное время Колька Соколов проводит в городе, знает его наизусть, знает и полицейское управление, и казармы солдат, и магазины, рынок, улицы, знает настолько хорошо, что даже не представляет, что могут быть иные города, иная жизнь.

Какой отчаянный провидец мог хотя бы предположить, допустить, что всего через несколько лет этот мальчишка окажется в водовороте невероятных исторических событий, будет командовать сотнями людей, решать судьбы и этих людей, и земли, на которой они живут. Сказать, что Николай Соколов был брошен в водоворот событий волею обстоятельств, было бы неправильно, поскольку свой первый шаг в другую жизнь он сделал сам, вполне сознательно и обдуманно, будучи всего-навсего учеником четвертого класса городского училища.

Началось все с того, что однажды в феврале к нему домой прибежал товарищ и задыхающимся от волнения голосом прокричал прямо с порога:

— Колька! Революция! Царя скинули!

Казалось, весь город высыпал тогда на улицы. Вряд ли древние владимирские храмы видели когда-нибудь столько людей одновременно. Одни опасливо жались к родным воротам, готовые тут же спрятаться, нырнуть в оставленную открытой калитку, другие решались пройти на центральную площадь, к городской управе. Колька был среди тех, кто с утра до поздней ночи носился по улицам, стараясь везде поспеть, все увидеть и навсегда, теперь мы уж это знаем, навсегда проникнуться духом бунтарства, отчаянной смелости, стремлением переделать мир на свой лад, улучшить его, сделать справедливее, интереснее, разбудить от той спячки, которую он видел в родном городе все свое детство и юность.

В те холодные слякотные дни он видел и разгром полицейского участка, и восстание солдат местного гарнизона, видел митинги и демонстрации. Запомнились улицы, усыпанные бумагами, вчера еще такими важными и недоступными, запомнились солдаты, выпрыгивающие на матрацы из окон второго этажа казармы, — офицеры не придумали ничего лучше, как запереть двери, надеясь тем самым сохранить солдат от влияния революции. Какие стены могли тогда удержать их, какие приказы!

Люди, убедившись, что царя действительно скинули, ждали дальнейших сообщений из Петрограда и Москвы, понимая, что главные события развиваются там, что там в эти дни решается судьба России. А Колька Соколов, узнав, что в каком-то московском госпитале лежит его отец, раненный во время последних событий, воспользовался этим случаем как счастливой возможностью и, оставив матери успокаивающую записку, первым же поездом отправляется в Москву.

Шаг, надо сказать, довольно отчаянный. В самом деле, парнишка, который никогда не видел ничего, кроме тихих улиц своего городка, вдруг оказывается в громадном, взбудораженном революцией городе. Но он не затерялся в нем, не потерялся. Нашел и госпиталь, в котором лежал отец, нашел и отца. Тогда-то и прозвучало впервые словечко «соколенок», которое потом, через годы, стало частью его фамилии.

— Соколов! — крикнул один из «ходячих» больных, узнав у Кольки, кто он, кого ищет, откуда прибыл. — Встречай! К тебе вот соколенок прибыл!

И было в этом случайном прозвище что-то и от характера Кольки, и от его внешности, и от той неуспокоенности, которая сохранилась в нем до самых последних дней жизни.

Все лето и осень 1917 года Николай Соколов вместе с отцом был в Красной гвардии Красной Пресни, а когда ее расформировали, Соколовы вернулись во Владимир.

Николай вроде бы приехал в город, который оставил совсем недавно, ходил по знакомым улицам, встречал знакомых людей, но насколько же теперь все было иначе! Притихшие улицы, замершие мастерские и в то же время напряженность, перестрелки, схватки с врагами революции. И отец и сын Соколовы сразу же вступили в часть особого назначения, Николай одним из первых в городе стал комсомольцем. И это было не просто естественное решение, это было решение мужественное. На следующий же день после свершения Октябрьской революции генерал Краснов двинул конный корпус на Петроград, захватил Гатчину, Царское Село, приблизился к Пулковским высотам. Но вскоре войска Краснова были разбиты, и теперь уже все ждали вестей с юга — из Москвы. В начале ноября белогвардейцы были разбиты и здесь.

А во Владимире Советская власть установилась в течение первой же недели после революции. Но остались многочисленные враги, которые не жалели ничего, чтобы повернуть события вспять. С ними и приходилось бороться частям особого назначения.

Он родился на самом стыке веков, месяца за полтора до наступления XX века и с первых же своих сознательных лет впитал предчувствие перемен, жажду перемен. И вряд ли стоит удивляться, что Николай Соколов становится одним из организаторов владимирского комсомола. Трудности, с которыми он столкнулся, нетрудно себе представить. Городок небольшой, сплоченного и организованного рабочего класса нет, как, например, в Петрограде или Москве. И находить молодых людей, искренне преданных революции, убеждать слабых, отсеивать лукавых, временных, чужих — для всего этого требовалась не только преданность делу, но и определенный жизненный опыт, готовность взять на себя ответственность. Именно в это время проявляются в Николае Соколове организаторские задатки, те качества, которые позволили ему в девятнадцать лет стать комиссаром полка, увлекать за собой людей в самые жаркие и кровопролитные схватки. Но об этом позже.

1917 год. Декабрь. Николаи Соколов — активный участник многочисленных митингов, собраний, демонстраций па улицах и площадях древнего Владимира. Это надо признать: одно дело установить Советскую власть, по не менее важно ее сформировать, организовать, наладить работу многочисленных звеньев, участков, найти людей, которые бы взяли па себя и смелость и мужество отвечать за работу этих участков. А это, согласитесь, не так просто, учитывая многовековую, довольно однообразную жизнь этого небольшого городка, в котором совсем недавно, лет за тридцать до революции, населения было вдвое меньше — что-то около пятнадцати тысяч.

И все-таки, несмотря на напряженную, полную опасностей жизнь, Николай Соколов прекрасно понимал, что главные события происходят отнюдь не во Владимире. Как бы ни были важны, значительны их дела здесь, в городе, главное решается на фронтах гражданской войны, на Украине, па Дону, на Волге.

Когда в начале 1918 года была разбита так называемая белая Добровольческая армия, Центральный Комитет комсомола обратился к

молодежи с призывом поехать на Дон и Кубань для укрепления Советской власти, Едва узнав об этом, Николай Соколов отправился в губком комсомола.

— Прошу направить меня добровольцем, — сказал он.

— А здесь?! — удивились товарищи, — У тебя полно работы здесь!

— А главное решается там, — настаивал на своем Николай.

— Ну что ж... — Товарищам оставалось только согласиться с Соколовым.

Все ребята, прибывшие на Дои, были разосланы по ближним и дальним станицам, хуторам. Получили назначения в ревкомы — кто в станичные, кто в окружные, в школы, местные органы власти.

Николая Соколова направили в станицу Малоделскую Усть-Медведницкого округа. Обязанности восемнадцатилетнего комсомольца были настолько широки и многообразны, что фактически он представлял собой Советскую власть чуть ли не во всех областях жизни станицы. Прежде всего его назначили заведовать местным загсом. Одно лишь это было далеко не простым и неоднозначным делом. Ведь едва ли не все считали тогда, что брак законен лишь в том случае, если состоялось венчание в церкви, и переубедить, ломать вековые обычаи, противопоставить себя всем мудрецам станицы — для этого нужно было обладать не только убежденностью, но и умением попятить людей, умением разговаривать с ними, не оскорбляя насмешкой, неверием, отрицанием.

Кроме того, Николай был еще и секретарем станичного ревкома, организатором местной комсомолки, попечителем школы, к нему шли решать самые различные вопросы, связанные с житейскими неурядицами, воспитанием детей, семейными конфликтами.

Почти пятьдесят лет спустя генерал-лейтенант авиации Николай Александрович Соколов-Соколенок рассказывал на встречах с комсомольцами семидесятых годов об этом едва ли не самом напряженном годе своей жизни — с июля 1919-го по сентябрь 1920-го, рассказывал о том, как стреляли в него на улицах самой станицы, как пытались отравить, как устраивали засады,

— Скажите, Николай Александрович, — спросила его как-то девушка, — что вам больше всего помогло в то время?

— Что помогло? Рост, — улыбнулся генерал-лейтенант. — В меня трудно было попасть,

Всего через месяц комсомольцы из Владимирского губкома, которые рекомендовали Николая Соколова на эту работу, получили от него первый подробный отчет о том с чем пришлось ему столкнуться за это время. Это письмо ходило по рукам, его перечитывали на собраниях. Второго отчета, который обещал Николай прислать в самое ближайшее время, его друзья не дождались. Белые начали наступление. Тут уж было не до переписки, Николай Соколов полностью был поглощен организацией первого на Северном Дону партизанского отряда.

Он с боями провел свой отряд сотни километров по открытой местности, пересек линию фронта и влился в состав 23-й дивизии Красной Армии. Во время этого рейда по тылам белой армии проявилось не только личное мужество Николая Соколова, но и воинское призвание. И тогда уже более взрослые и многоопытные бойцы отряда неизменно называли своего командира Соколенком. К этому времени Николай прекрасно сидел в седле, владел шашкой, причем настолько, что даже бывалые казаки, которые овладевали этим воинским делом чуть ли не с детства, признавали за Николаем первенство.

— Признавайся, Соколенок, ведь из казаков ты вышел, а? — говорили ему. — Потому и здесь оказался... Откуда на Владимирщине такие удалыцы?

То, что в состав Красной Армии вошел партизанский отряд, состоящий из казаков Северного Дона, имело, помимо военного, и политическое значение — трудовое казачество недвусмысленно заявило о принятии Советской власти, и отныне генералы Каледин, Корнилов не могли уже считать Дон своей надежной базой. Дальнейшие события полностью это подтвердили — застрелился под Новочеркасском Каледин, убит на Кубани Корнилов. Казаки Дона откликнулись на призыв Совнаркома и выступили против контрреволюционных верхов.

Вскоре Николая Соколова принимают в члены партии, а когда его стаж составлял всего несколько недель, он получает назначение комиссаром полка. Ему было тогда девятнадцать лет. В этом назначении — и признание его заслуг перед революцией, и признание

способностей к военной науке и того влияния, которым он пользовался среди бойцов,

— Когда же вы стали Соколенком официально? — спросили как-то у Николая Александровича.

— Вскорости после назначения комиссаром полка, — усмехнулся своим воспоминаниям генерал-лейтенант, — Мне тогда и двадцати еще не было, в партии что-то около месяца, а тут вдруг раз! — и комиссар полка. Пришлось доказывать, что не случайно оказался на этом посту. Доказывать не только своим бойцам, но и самому себе, А доказать тогда можно было только делом, в бою. Вот я и лез в самое пекло... Прозвали ребята Соколенком. Рост небольшой, тощий, шустрый... В самый раз прозвище. А тут как-то пришлось документы оформлять. Писарь, знавший меня как Соколенка, возьми да и запиши... С тех пор и пошло — Соколов-Соколенок. Так что для меня это не просто вторая половинка фамилии, это моя юность, молодость... Если хотите — партийная кличка.

Первый свой орден Красного Знамени Николай Соколов получил за бон под Терсой. Белогвардейцы, захватившие село, укрепились в нем, и выбить их оттуда казалось совершенно невозможным делом. Атаки захлебывались одна за другой, не принося никакого результата.

Что было делать? Терса сдерживала наступление целой группы войск. Тогда Николай Соколов принимает смелое решение. Ночью, до наступления утра, он во главе нескольких человек глухим оврагом на лошадях въехал в Терсу. Лошади бесшумно ступали по мягкой прохладной пыли, и им удалось незамеченными проехать в самый центр села. Встречавшиеся им по дороге несколько жителей буквально замирали на месте, узнавая красноармейцев по шлемам. И хотя их было всего семеро, многие в предрассветных сумерках полагали, видимо, что в село въехал целый отряд. Все ближе позиции белых, но Соколов с товарищами приближались к ним с той стороны, откуда их наверняка не ждали.

Наконец они услышали далеко за селом выстрелы — значит, свои пошли в атаку.

— Пора! — сказал Николай и первым пришпорил коня.

Появление в собственном тылу всадников в шлемах с красными звездами произвело на белых ошеломляющее впечатление. Прошло какое-то время, пока они разобрались, что перед ними всего несколько

человек, что все их вооружение — шашки да винтовки. Но этих недолгих минут было достаточно, чтобы обеспечить успешную атаку основных сил.

Вот текст приказа о награждении Николая Соколова орденом Красного Знамени...

«Приказ РВСР № 478 от 24 сентября 1920 года. Утверждается присуждение на основании приказов РВСР Реввоенсовета 9-й кубанской армии ордена Красного Знамени бывшему комиссару 119-го стрелкового полка товарищу Соколову Н.А. и коменданту штаба 1-й бригады 23-й стрелковой дивизии товарищу Михину И.П. за то, что в бою у села Терси они с пятью всадниками, оставив свои цепи далеко позади себя, вошли в названное село и, произведя среди находившихся там казаков панику, обратили их в бегство, благодаря чему село было занято без потерь с нашей стороны и взяты пленные».

Первые знаки отличия Советского государства, первые ордена, первые звания — все это пользовалось большой популярностью среди народа, награжденные почитались героями, а если вспомнить, что Николаю Соколову к тому времени было всего лишь девятнадцать, нетрудно себе представить его чувства тогда, его настроение.

Прошло всего несколько месяцев, Николай едва начал привыкать к своему ордену, как был награжден еще одним, вторым. Этот бой произошел 18 января 1920 года при форсировании реки Маныч. Сеча была жестокая. Падали убитые, стонали раненые, бились на снегу окровавленные лошади. Не прекращая боя, увозили в тыл пострадавших. Только командир кавалерийской группы не покидал поля боя, несмотря на ранение.

Позже Реввоенсовет издал приказ по армии, в котором были такие строчки:

«Награждается орденом Красною Знамени вторично бывший комиссар 199-го стрелкового полка товарищ Соколов Н.А. за то, что 18 января при форсировании реки Маныч он во главе кавалерийской группы атаковал превосходящего численностью противника и, несмотря на полученный удар саблей, продолжал руководить боем, в результате которого противник был разбит. Своей храбростью и самоотверженностью товарищ Соколов Н.А. способствовал успешному форсированию реки Маныч и дальнейшему поражению врага».

В начале октября 1920 года со всех фронтов, со всех концов страны съезжались в Москву делегаты III съезда комсомола. К тому времени в его рядах насчитывалось около четырехсот тысяч юношей и девушек. Они сражались в рядах Красной Армии, трудились на заводах и фабриках, восстанавливали индустрию. Среди делегатов съезда был и комиссар бригады, дважды орденосец Николай Соколов. Но он приехал не только на съезд комсомола — командование направило его на учебу в академию Генерального штаба, в которой готовились кадры высшего командного состава. Позже она была переименована в военную академию Красной Армии, а с 1925 года ей присвоено имя М.В. Фрунзе.

Так вот, 2 октября 1920 года шел по Москве паренек в подогнанной военной форме, и светились на его груди два самых почетных ордена республики. Оглядывались прохожие, бежали следом мальчишки, смущая Николая неумным любопытством, — он сам-то выглядел ненамного старше этих мальчишек, да и солидностью тоже не больно отличался от них.

— Дяденька, вы откуда?

— За что ордена?

Мальчишки сыпала вопросами, даже не надеясь на обстоятельный ответ. Да у Николая и времени не было — в этот день на съезде комсомола выступал Владимир Ильич Ленин, Опаздывать было никак нельзя.

Во время выступления Ленина Соколов сидел в конце зала, и, когда в перерыве Владимира Ильича окружили депутаты, Николай уж было решил, что вперед ему никак не пробиться. Но выручила смекалка и опять же небольшой рост. Не смущаясь высоких наград, Николай стал на четвереньки и сумел протиснуться к самому центру. Случилось так, что он оказался едва ли не единственным во всей толпе, окружавшей Ленина, с двумя орденами, и, может быть, поэтому Владимир Ильич обратился именно к нему.

— А ваши планы, военный? — спросил он у Соколова.

— Приехал учиться в военной академии, Владимир Ильич! — от волнения громче обычного отчеканил Николай.

— Очень хорошо! — улыбнулся Владимир Ильич, — Учитесь! Это так необходимо!

И вышло так, что всю жизнь Николай Соколов выполнял это пожелание Владимира Ильича, всю жизнь учился, а когда вышел в отставку, на груди его рядом с многочисленными орденами висели три ромбика, врученные ему за окончание трех военных академий.

Соколов закончил гражданскую войну с двумя орденами, тремя контузиями и перерубленной белоказаком левой ключицей. Но летом 1921 года уже командовал войсками по борьбе с бандитизмом на Нижней Волге, Это была новая опасность, не столь сильная, не столь организованная, как белогвардейские армии, но и она требовала полной отдачи сил, и она отнимала жизни.

А на следующий год Николай Соколов — командующий частями особого назначения во Владимирской губернии.

Да, прошло семь лет, прежде чем он вернулся в свои родные места. Позади остались бои гражданской войны, смертельные схватки, многодневные переходы. Он ушел мальчишкой, а вернулся закаленным в боях воином.

Город показался ему маленьким и тихим. И в этом был такой разительный контраст с той жизнью, которой жал до этого, что Николай сразу понял — он не сможет задержаться здесь надолго, хотя должность у него была куда как боевой. Он уже привык быть там, где происходили главные события, привык к передним рубежам, к опасности, ответственности, привык жить на полном напряжении сил. Даже в учебе, в академии Николай Соколов стремился загрузить себя до предела.

Вот пример. После окончания двух курсов Академии имени М.В. Фрунзе он написал командованию рапорт с просьбой разрешить ему заниматься еще и в военно-воздушной академии.

Давайте попытаемся оценить этот маленький вроде бы факт. Николай Соколов провел гражданскую войну в седле, заслужил признание, командуя кавалерийской бригадой, и было бы вполне естественно ожидать, что он и дальше пойдет по этому пути, тем более что и в Академии имени М. В. Фрунзе он продолжал именно это направление в своей военной специальности, в своей жизни. И вдруг авиация! С коня на самолет! Может ли быть поворот более крутой? Вряд ли.

Можно представить себе и удивление руководства, получившего такой вот несерьезный рапорт от уже сложившегося командира. Но

припомним — этому «сложившемуся командируй было немногим более двадцати. Николаю Соколову было разрешено заниматься одновременно в двух академиях. Вначале он получил диплом красного командира, через год — диплом авиационного инженера. И работать он после этого начал именно в авиации. Начальник Военно-Воздушных Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии Петр Ионович Баранов назначает Николая Соколова-Соколенка вначале постоянным членом, а затем председателем одной из секций научно-технического комитета управления Военно-Воздушных Сил. Вот вам и еще одно толкование второй половинки фамилия — Соколенок.

Чем объяснить столь резкую перемену — от кавалерии к авиации? Наверно, все-таки без особой натяжки можно вполне обоснованно признать, что Николай Соколов тогда уже понял, что будущее вовсе не за кавалерийскими армиями, что дальнейшее развитие военной техники, развитие вооружений пойдет под знаком авиации. И, поняв это, осознав, снова без колебаний поступил так, как поступал всегда, — бросил себя па главное направление.

Казалось бы, все, можно и успокоиться. У него важная работа, ответственные задания, он является одним из образованнейших военных специалистов. Но Николай Александрович находит пробел в своем образовании. И подает рапорт. Вот как об этом сказано в архивных документах: «Находясь с 1928 по 1932 год на руководящей работе в Управлении Военно-Воздушных Сил, Николай Александрович Соколов-Соколенок просит командование разрешить ему без отрыва от производства посещать школу летчиков».

Разрешение получено.

Соколов-Соколенок поступает в школу летчиков и заканчивает ее, получив, таким образом, еще одну специальность.

В этом маленьком факте проявляется не только характер самого Николая Александровича, но и весь ход развития нашей страны, В самом деле, всадник, как сказано в одном из документов, прошедший через годы гражданской войны верхом на коне, пересаживается на самолет в то время, когда эти машины были большой редкостью, когда сама профессия пилота была почти легендарной. Слишком сложной и опасной казалась она, слишком ненадежными были сами самолеты, слишком многое зависело от мужества, хладнокровия, мастерства пилота. Вспомним; ведь не было почти никаких навигационных

приборов, кроме самых простых; аэродромы зачастую представляли собой лишь улучшенную грунтовую дорогу; в кабине пилот был открыт и ветрам, и морозам, и солнцу. Поэтому за преклонением перед этой профессией стояло не только восхищение летающими людьми, но и невероятная сложность полетов.

В 1929 году Николаю Александровичу Соколову-Соколенку поручается руководство совершенно необычным для того времени делом — санным пробегом, вернее, аэросанным. Учитывая то, что он все-таки авиационный инженер, овладел полетами, а у аэросаней двигательная сила — это пропеллер.

К тому времени наша промышленность, научные учреждения, конструкторы создали несколько видов, несколько конструкций аэросаней, которые предполагалось широко использовать для оснащения воинских частей в оборонных целях. Чтобы испытать различные модели аэросаней, выявить их сильные и слабые стороны, выбрать одну, наиболее удачную конструкцию, и решено было провести этот гигантский аэросанный пробег. Общая протяженность маршрута превышала три с половиной тысячи километров. Он начинался в Москве, проходил через Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Владимир и заканчивался в Москве.

Для пробега были отобраны четверо саней. Двое саней представил Центральный аэродинамический институт и двое — научно-автомобильный институт, где они были разработаны и построены. Время и маршрут были выбраны с таким расчетом, чтобы гонщики могли испытать машины в самых сложных и погодных и дорожных условиях. Действительно, во время пробега в феврале — марте 1929 года им пришлось столкнуться и со снежными бурями, и с сильными морозами, испытать аэросани на ледяных покрытиях рек, на проселочных, заметенных снегом дорогах, а в конце пробега гонщики оказались застигнутыми еще и оттепелями, весенней распутицей.

Надо сказать, что, помимо чисто технических целей, перед участниками пробега стояла и агитационная, просветительская задача, как было сказано «в целях выявления технических данных аэросаней лучшей конструкции и ознакомления широких слоев населения с аэросанным делом». Николай Александрович был назначен вице-командором пробега, а командором — Андрей Митрофанович Розанов.

Пробег увенчался блестящим успехом, были решены поставленные задачи, а его участников встречали на Красной площади как настоящих героев, первопроходцев. Правда, из четырех саней смогли закончить весь маршрут лишь трое, но в этом и была задача — отсеять слабые, неудачные конструкции.

Это был один из первых праздников на Красной площади в Москве. Впереди были полеты в стратосферу, полеты на Северный полюс, в Америку, полеты в космос, впереди били грандиозные свершения Страны Советов, но начиналось все вот так — с аэросаней, с не очень известного пробега по областям России. Но это было начало быть иным. И Николай Александрович Соколов-Соколенок, герой гражданской войны, смог внести свой достойный вклад и в техническую революцию.

Основное направление последующей его работы — тактика и боевое применение авиации в современном бою. Эта важная проблема разрабатывалась в самом начале тридцатых годов, когда еще у всех при слове «авиация» перед глазами возникали прозрачные этажерки, пилот, обдуваемый со всех сторон ветром, слабый, задыхающийся рокот моторов. Но разработка таких тем не была поспешной, она была очень своевременной. Одним из результатов такой предусмотрительности было то, что наши летчики к моменту начала Великой Отечественной войны были вооружены не только современными самолетами, но и весьма действенной тактикой ведения бои.

В эти годы Николай Александрович познакомился на совместной работе с будущим академиком, трижды Героем Социалистического Труда С.В. Ильюшиным, с создателем теории штопора, будущим профессором В.С. Пышновым, другими нашими учеными, создателями боевых машин.

18 августа 1933 года был проведен воздушный парад. Это был не только праздник, в гораздо большей степени это было подведение первых итогов по созданию современной авиации, целой индустрии, способной выпускать достаточное количество современных машин, моторов к ним, запасных частей. Результаты поразительны. Всего лишь за четыре года первой пятилетки выпуск самолетов увеличился в четыре раза, а выпуск моторов к ним — в шесть раз.

Вскоре после августовского парада подвиги наших знаменитых авиаторов подтвердили высокий класс советских самолетов. Самое

непосредственное участие во всех этих делах принимал и Николай Александрович Соколов-Соколенок. Его большой летный опыт, широкая образованность, знание всех тонкостей авиационного дела оченьгодились при подготовке перелета С.А. Леваневского из Америки в СССР, при подготовке экипажа В.П. Чкалова для прыжка через Северный полюс.

Эти перелеты как бы вобрали в себя весь накопленный советскими летчиками опыт, вобрали в себя мастерство конструкторов, высокий производственный уровень предприятий. Одним из результатов перелетов» помимо демонстрации чисто технических достижений, было и то, что они остудили многие горячие головы за рубежом. Страну, которая в состоянии осуществлять подобные перелеты, не назовешь беззащитной.

Примерно в это время Николай Александрович был переведен с должности помощника начальника НИИ Военно-Воздушных Сил старшим руководителем кафедры военно-воздушной академии. Казалось бы, должность куда как спокойная, уравновешенная. Конечно, готовить летчиков и почетно, и ответственно, но все-таки характер Николая Александровича требовал большего, душа, как говорится, просила горячего дела.

Поэтому наряду с преподавательской деятельностью Соколов-Соколенок в те годы много летает, участвует в работе лётно-испытательной станции академии, много работает над проблемами высотных полетов. То, что сейчас, в наши дни, считается чем-то само собой разумеющимся, в те годы было совершенно неизвестным. Каждый новый шаг в освоении воздушного пространства давался громадными усилиями летчиков-испытателей, конструкторов, ученых.

Когда стало известно, что намечается перелет по маршруту Москва — Севастополь — Москва, Николай Александрович по своему обыкновению, не раздумывая, подает рапорт с просьбой разрешить ему участие в этом перелете. И он совершает полет, без кислородного прибора. Это была, разумеется, вовсе не бравада, не хвастовство, это было испытание на выдержку человека, еще одна попытка определить крайние возможности пилота. Отчет Николая Александровича об этом перелете, его замечания, суждения дали ученым основания для самых серьезных выводов, поправок, уточнений, а его многочисленные

встречи с медиками, конструкторами позволили внести немало усовершенствований в существующие модели самолетов.

Еще одно почетное задание Соколова-Соколенка в то время — он командирован в Соединенные Штаты Америки для закупки самолетов. И прекрасно справляется с этим поручением. Причем в этой поездке ему потребовались не только знания, но и отчаянный опыт командира кавалерийской бригады времен гражданской войны, когда успех дела нередко решала неожиданная атака против превосходящих сил противника. Был случай — власти Соединенных Штатов в нарушение достигнутых договоренностей «попридержали» уже закупленные и оплаченные самолеты в самом порту, поскольку предназначались они для республиканской Испании. И тогда Николай Александрович, — как говорится, частным образом договорился с докерами порта, не мудрствуя лукаво, погрузил самолеты на пароход, и тот немедля отчалил в море.

Началась Великая Отечественная война.

Соколову-Соколенку поручается один из наиболее ответственных участков — руководство тылом Военно-Воздушных Сил. За двадцать предыдущих лет Николай Александрович прошел весь путь — от рядового частей особого назначения до генерала авиации. Его новые обязанности в первые дни войны были настолько широки, что можно без преувеличения сказать — не было буквально ни одной мелочи в деятельности наших Военно-Воздушных Сил, которая так или иначе не касалась бы Соколова-Соколенка. Одно лишь краткое перечисление его забот дает достаточное представление о той роли, которую ему довелось сыграть в первые годы войны. В обязанности Николая Александровича входила организация авиационного технического обеспечения фронтовых аэродромов, снабжение авиачастей всем необходимым для жизни и для боя, ремонт техники, обеспечение самолетов запасными частями. Даже обмундирование, питание авиаторов входили в его обязанности,

Работа была тем более тяжелая, что в первые же дни войны оказались нарушенными все привычные связи, врагом были захвачены склады, горючее, промышленная база. Естественно, наладить четкую жизнь военных аэродромов после вероломного нападения фашистских войск было делом далеко не простым, но все же в первые месяцы войны наша авиация, если и уступала вражеской по количеству

самолетов, то быстро наверстывала это отставание, а в конце 1942 года вообще наметился явный перелом в пашу пользу, И Николай Александрович возвращается в Военно-воздушную академию имени Жуковского.

Теперь он руководит подготовкой кадров для фронта, и от его работы, от уровня мастерства летчиков, от их знаний и мужества зависит очень многое на фронте. И если во второй половине войны наша авиация явно превосходила немецкую и по количеству самолетов, и по их мощности, и по мастерству летчике», то, право же, есть в этом немалая заслуга ж генерала Соколова-Соколенка.

В 1947 году Николай Александрович возглавил кафедру авиационной техники при академии Генерального штаба и... И на шестом десятке лет защищает диплом в этой академии. Так на его кителе появляется третий ромбик.

Здесь он работает до выхода в отставку в 1958 году — болезнь не позволила продолжать активную работу.

И тогда генерал-лейтенант авиации в отставке Николай Александрович Соколов-Соколенок обращается к комсомолу, как и пятьдесят лет назад. Но если тогда он был семнадцатилетним парнишкой, одним из первых комсомольцев губернского города Владимира, и вся жизнь — неведомая, таинственная и бесконечная — была впереди, то теперь он понимал, что большая часть этой жизни пройдена, большая ее часть оставлена позади. Но понимал и то, что его жизненный путь, его мысли и убеждения, встречи с людьми, вошедшими в историю нашего государства, — все это представляет большой интерес для молодежи, представляет собой некую реальную ценность. И он направляется в Центральный Комитет комсомола, просит включить его в лекторскую группу. Другими словами, как бы пишет еще одни рапорт. И надо сказать, что и на этот раз решение он принимает сильное и мужественное. В самом деле, ему ли, генерал-лейтенанту, на седьмом десятке ездить по стройкам, общежитиям, меняя самолеты, поезда, автомашины?

Конечно, решение далось не сразу, нелегко, были раздумья, колебания: как распорядиться временем, которого у него впервые в жизни было так много, как распорядиться знаниями, оставшимися силами? Не один километр прошел он по переулкам Красной Пресни, по тем самым переулкам, по которым когда-то, пятьдесят лет назад,

шагал рядом с отцом в рядах Красной гвардии. И как бы вернувшись мысленно в молодость, в те отчаянные рискованные времена, Николай Александрович принимает решение связать свою дальнейшую жизнь с комсомолом, и остается верным ему до конца.

Люди, хорошо его знавшие, рассказывают, что это был один из самых безотказных лекторов. Достаточно было телефонного звонка, короткого разговора — просьбу не приходилось повторять дважды.

— Николай Александрович, как вы относитесь к Братску?

— Очень хорошо!

— Собираем группу... Как вы?

— А что я... Я прекрасно понимаю, что звоните вы вовсе не потому, что делать вам нечего. Включайте.

И это была не бездумная исполнительность, нет. Он жил, хотя, может быть, лучше сказать, оживал в этих поездках, во встречах с сотнями, тысячами людей, видя, что, как и прежде, нужен, как и прежде — на рубеже. «Идеологический фронт, — говорил он, — не зря называют фронтом, здесь тоже все всерьез, все как на войне, — победы, поражения, жертвы, пленные, здесь тоже есть и кавалерия, и орудия тяжелого калибра. Как лектор я, наверно, отношусь к кавалерии... Как и прежде. Очень мобильный и действенный род войск. Надо поддерживать репутацию кавалерии», — улыбался Николай Александрович.

О мобильности. Как-то ему с группой пришлось около месяца провести в республиках Средней Азии. И за это время — почти шестьдесят выступлений. По два в день. Нет, это была далеко не увеселительная поездка, это была самая настоящая, тяжелая, изнурительная работа, которая тем не менее давала ему новые силы.

Его выступления пользовались неизменным успехом, да и могло ли быть иначе! Перед нашими современниками, перед девушками и ребятами скептическими, образованными, казалось бы, обо всем способными рассуждать легко и снисходительно, которых отнюдь не назовешь восторженными, перед ними выступал человек в полном смысле слова из легенды. Он во время революции сражался в частях особого назначения, не единожды участвовал в жестоких сабельных сечах. С его именем связаны и наши достижения тридцатых годов в авиации. Ему приходилось выполнять особые поручения командования, правительства. Он был делегатом III съезда комсомола,

почетным гостем нескольких комсомольских съездов, несколько раз встречался с Владимиром Ильичем Лениным...

И ребята из Братска, с Кольского полуострова, с Алтая и родной Владимирщины, Удмуртии и Таджикистана слушали его затаив дыхание. А генерал чаще всего рассказывал не о себе, а о своих друзьях — двадцатилетнем комиссаре Верхнекамского полка Сергее Косареве, сыне путиловца Саше Кондратьеве, который, окруженный врагами, последнюю пулю оставил себе, об Альберте Лапине, девятнадцатилетнем командире 30-й дивизии, которая в свое время взяла в плен Колчака.

Вот один из рассказов Николая Александровича.

— Это было в двадцатом году на Южном фронте. Командовал войсками Василий Константинович Блюхер, первый орденосец нашей страны. Белые к тому времени были изрядно потрепаны, серьезного сопротивления оказывать уже не могли, однако бои продолжались, а значит и продолжали гибнуть наши бойцы. И тогда было решено послать к белым парламентаря с предложением сдаться. Пойти вызвался молодой политрук, совсем еще мальчишка, во всяком случае, он был моложе большинства сидящих в этом зале. Взял белый флаг, пакет с предложениями, одернул гимнастерку, оглянулся на ребят, как бы прощаясь, и шагнул за окоп. Он не прошел и сорока шагов, мы считали его шаги — пулеметная очередь прошила его насквозь. Конечно, после этого белые были смяты, опрокинуты, но политрук погиб. И что, ребята, получается... Проходят десятилетия, мало ли разных, казалось бы впечатлений выпало на мою долю, а вот стоит, до сих пор стоит перед глазами парнишка в потрепанной гимнастерке с белой тряпкой на черенке от лопаты... Он знал, что рискует жизнью, белые нередко расстреливали наших парламентарей, но была возможность спасти от смерти многих ребят, и он пошел навстречу залегшим цепям...

Николай Александрович Соколов-Соколенок умер в апреле 1977 года. А за несколько дней до этого намечал с комсомольцами новые маршруты поездок, шел разговор о новых выступлениях.

До последнего дня этот человек находился в строю, чувствовал себя бойцом.

Виктор ПРОНИН

Николай ОСТРОВСКИЙ

Дорогу называют символом вечного движения. Сколько помнил себя Николай Островский, в его жизни не было остановок, он всегда находился в пути. Кроме вынужденных, в киевском госпитале, после тяжелого ранения 19 августа 1920 года, во время кавалерийской атаки, при операциях и лечении. Да и можно ли считать это остановками! «То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек, — писал Островский своему близкому товарищу П. Новикову в Харьков. — Это неверно! Это чушь! Я совершенно здоровый парень! То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу, — сплошное недоразумение, идиотская какая-то шутка, сатанинская!»

В декабре 1926 года, в день приезда в Новороссийск Марты Пуринь, товарища по партии, старшего друга, Николай Островский с трудом сделал несколько шагов ей навстречу, своих последних самостоятельных шагов. Ему было горько, что Марта Яновна, с которой он познакомился совсем недавно, летом, в Евпатории и клялся преодолеть все болезни, увидела его беспомощным. А именно так сказала вполголоса Ольга Осиповна гостье; «Беспомощен, как дитя».

Гордость не позволила ему согласиться с матерью. Из многих близких людей Николай выделял Марту, человека необычной, героической судьбы. Ему при знакомстве, первых разговорах не верилось, как могла эта невысокая худощавая женщина столько увидеть и пережить. Вступила в семнадцатом в партию в буржуазной Латвии, вела нелегальную работу. При выполнении ее схватили, заключили в Центральную рижскую тюрьму. Не сломили, не заставили говорить. А в девятнадцатом Пуринь в порядке обмена приехала в Советский Союз, училась в Институте красной профессуры, работала в редакции «Правды». Ее слова звучали для Николая веско, убедительно. Особенно, когда она внушала: для человека сильного, мужественного преград не существует. Непреодолимых преград, которые бы помешали ему в той или иной форме служить народу, А себе записала; «Среди санаторных больных Николаем был самым юным и наиболее тяжело больным. Карие глаза его смотрели на мир

сосредоточенно, с оттенком грусти, порой сурово. Чуть-чуть лукавая мальчишеская улыбка придавала облику неповторимое обаяние».

В белокаменном доме по улице Павки Корчагина, 4, в городе Сочи, где за минувшие годы побывали сотни тысяч человек из всех стран мира, Николай Островский жил недолго, всего несколько месяцев. Поселился он в нем с семьей 17 мая 1930 года, вернувшись из Москвы. Свою, на этот раз творческую командировку в столицу называл «северной экспедицией».

Вернулся из Москвы, стал усиленно изучать историю, возвращался к архивам, диктовал роман «Рожденные бурей», работал по десять-двенадцать часов в сутки.

Николай не терпел, чтобы перебивали, переспрашивали. Позже — пожалуйста, сам просил высказать замечания многие из них учитывал. Да и в течение дня не раз просил вернуться к готовому тексту, внести поправки, удивляя феноменальной памятью.

18 октября 1936 года в новом доме праздновали сразу три события — новоселье, день рождения Островского и проводы в Москву. Собрались гости, гремел патефон, все танцевали, пели «Наш паровоз...», «Орленок, орленок...». Он сказал тогда: «Самый счастливый человек — это тот, кто, засыпая, может сказать, что день прожит не напрасно, что он оправдан трудом». Николай любил такие вечера, любил, чтобы вокруг веселились.

Островский отрицал вдохновенье, считал пустым для каждого человека прожитый в праздности день. Почтальон, вежливо удивляясь, приносил пачку периодики — Островский выписывал 49 газет и журналов, ежедневно знакомился с ними, обычно с утра. Затем диктовал, диктовал, дорожа каждой новой строкой. Первая часть романа «Рожденные бурей» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в канун похорон Островского — студеным декабрьским днем. На Новодевичьем кладбище близким и друзьям вручали на память экземпляр книги в скромном черно-желтом переплете...

Членский билет Союза писателей № 616 помечен 1 июня 1934 года, подписал его А.М. Горький, которого Островский глубоко почитал и считал своим наставником. Алексея Максимовича, познавшего тяжелый труд с детских лет, глубоко трогала и восхищала биография, молодого писателя. Вот и к Николаю пришли признание, известность, получал тысячи писем со всей страны, одолевали гости.

Пришло все то, что не планировал, не ставил в числе своих целей скромный паренек из Шепетовки, поражавший всех, с кем соприкасался, твердостью убеждений, мужеством, правдивостью, отрицанием всего того, что считал мещанством. И исключительной жизнерадостностью. Его Павка Корчагин отправился в свое победное шествие по планете, преодолевая самые закрытые границы, самые зоркие кордоны. Вспомним, однако, что жизнь, самого Островского была еще более яркой и трагичной, чем его героя Павки, ставшего примером для целых поколений.

Полностью роман «Как закалялась сталь» вышел в 1934 году. Сразу же его автор получил около двух тысяч писем, а в следующем году — больше пяти тысяч, в основном от молодежи. Одно из них тронуло до сердечной боли. «Дорогой дядя Коля! Мамуля мне о тебе говорила все, — писал в Сочи московский мальчонка с Чистых Прудов. — Я тебя стал очень любить. Пиши скорее; книгу о Павке. Я буду храбрым, как ты и Павка. Я буду летчиком. Целую тебя крепко. Валя Кононок». А внизу уже взрослым почерком дописано: «Это письмо мой сынишка Валя 5 лет написал по своему почину».

А кто для маленького Коли Островского был в детстве примером?

Островские жили в бедности. Снимали избенку в селе Вилия. Приходилось Ольге Осиповне и на соседней порой стирать, и ковригу хлеба просить взаймы. А характер у нее был ровный, веселый, все с душой делала — готовила ли, вязала или песню затягивала. И отступала нужда, радостнее становилось на душе. Коля самый младший, сестры, Надя и Катя, утром в школу идут, брат Дмитрий в мастерской у немца Форстера на побегушках. И Коля в школу — сядет на порожке, слушает, а дома из тетрадок, учебников сестер буквы переписывает. Так в четыре года и научился читать. С тех пор книги стали для него самой большой радостью.

Одаренный от природы, мальчик жадно впитывал все окружающее. И горечь от постоянной нужды, и гордость матери, и ее напевные рассказы с извечной живущей в народе верой в победу добра над злыми силами. Мальчик гордился отцом, Алексеем Ивановичем, которого в селе мужики звали «батькой», приходили к нему за добрыми советами. Нужда гнала его на заработки — работал сезонно на винокуренном заводе, зимой плотничал в соседних селах, батрачил на панском фольварке. Тяжело жилось семье Островских в то время.

Зато как они радовались, когда Коля принес по окончании сельской школы похвальный лист и сказал, протягивая матери: «Смотри, мамуся».

— Молодец, сынок, ты у нас сегодня вроде именинника. Получай первую лепешку.

Дальше учиться у Николая не было возможности, и он стал работать кубовщиком в станционном буфете. Зарабатывал восемь рублей в месяц. Новый кубовщик не пришелся в буфете, где обыденным были брань, цинизм, подачки. «Жизнь видел я всегда снизу, как грязные ноги прохожих из окна», — скажет впоследствии Н. Островский об этом периоде. Николай часто убегал в депо к брату Дмитрию, помогал слесарю Федору Передрейчуку, матросу с Балтики. Рассказы Федора о революции заслоняли «чужие» приключения любимого Гарибальди и страдания Овода.

В Шепетовку семья Островских перебралась в начале первой мировой войны, да и от семьи-то остались лишь Николай и Дмитрий, бежавший из мастерской. Сестры замуж вышли, разъехались. Станция — конечный пункт эшелонов, отсюда войска двигались своим ходом к фронту. Уходили составы с ранеными. Мальчишки играли в войну. Но что игра! Дважды пытался одиннадцатилетний Коля бежать на фронт — первый раз из вагона вывели, второй раз успел-таки до Ровно добраться. Вернули встречным поездом.

Грянула весна 1919 года. Отошли от Шепетовки немецкие части, бежали петлюровцы. Учительница высшего начального училища Рожановская увидела утром Колю среди красноармейцев — он что-то рассказывал им, размахивая руками. А 9 августа пятнадцатилетний Коля Островский с отрядом добровольцев в составе воинской части ушел из города.

Почти через год, в июне 1920 года, встретились ученик и учительница в родной Шепетовке, освобожденной частями Красной Армии от белобандитов. В суровом, подтянутом бойце Мария Яковлевна не сразу узнала Колю. А он, возбужденный встречей, говорил, как воевали, как отбрасывали врага. Под Новоград-Вольнском требовалось взорвать мост. Заложили динамит, и он, Николай, вызвался зажечь шнур. Не хотели посылать, жалели, но ему ведь упрямыства не занимать. Вынул из кармана гимнастерки плотный лист серой оберточной бумаги, протянул гордо. Это была

благодарность командира, наспех написанная крупными буквами карандашом.

А уже осенью пришло Островским печальное известие — 19 августа, под Львовом, Николай тяжело ранен: осколки попали в голову, живот, ударило взрывной волной... Больше трех месяцев провалялся в киевском госпитале. Что ж, на то и война. Так утешал Николай мать. Остались на всю жизнь шрамы, а правым глазом он теперь почти не видел. Сердце матери не обманешь, и Ольга Осиповна за бодрыми восклицаниями сына о том, что готов хоть до утра гопака танцевать, почуяло лихо — знала по отцу и мужу, тоже солдатам, что не проходят вот так следы войны.

Ах, мама, мамуся... Когда уже лежал, прикованный недугами к постели, сразу узнавал ее по шагам, легкому прикосновению руки, даже дыханию. «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, это мать», — сказал Н. Островский. Он знал о своей мамусе все. И что тянутся незримые нити семьи Островских к Чехии, откуда выехал в поисках счастья отец Ольги Осиповны. Тогда чехи покупали участки земли под городами Дубно, Ровно, Луцк, устраивались колониями, выращивали хмель для пива. У нее и перенял чешскую поговорку: «А чего с горы не дано, того в аптеке не купишь». Осталась Ольга Осиповна полуграмотной — да ведь с двенадцати годков «в люди» пошла. Вначале нянькой, потом горничной. Устояла против житейских невзгод, не ожесточилась сердцем, учила детей не отступать перед трудностями. Сама оставалась для них вечной нянькой. Когда вышла из печати первая часть романа «Как закалялась сталь», то из Москвы по недоразумению вместо двадцати авторских экземпляров прислали один, и на этой самой дорогой для него книге Николай надписал: «Ольге Осиповне Островской — моей матери, бессменной ударнице и верному моему часовому. Н. Островский. Г. Сочи, 22 декабря 1932 г.».

Сколько Николаи себя помнил, только раз пришлось обмануть мать. Попросила Ольга Осиповна сходить в церковь, кулич освятить, — нездоровилось самой. Часа через два пришел Коля, положил на стол узелок с куличом и весело сказал «Ешьте, святой». Позже, через несколько лет, при случайном разговоре о религии признался что к церкви в тот раз и близко во подходил.

Окончилась гражданская война. В Шепетовке стадо пусто, тоскливо, Группа ребят, а с ними и Островский, надумали ехать учиться в Киев. Так попал Николай в электромеханический техникум. Сохранялась фотография того времени. Николай в гимнастерке, тяжелых австрийских ботинках и обмотках. Плотные сжатые губы говорят о рано сформировавшемся характере. Однако учился в техникуме недолго — Соломинский райком комсомола Киева направлял свой актив на укрепление в ячейки. Так попал в комсомольские вожаки главных мастерских Юго-Западных железных дорог вчерашний конармеец с тонким шрамом над правой бровью, не окрепший еще от ран, но полный энергии, желая включиться в строительство новой жизни. Техникум походатайствовал о назначении его на должность помощника электрика.

О напористости, непримиримости к расхлябанности, оптимизме Островского сходятся в воспоминаниях многие его товарищи. Иные уверены, что именно в главных мастерских и родилась тогда известная всей стране песня о паровозе, которому в коммуне остановка. Доподлинно известны две суровые вехи на пути секретаря комсомольской ячейки Островского — участие в строительстве узкоколейки от станции Боярки и спасение леса на Днестре. Сомнений не было, в результате диверсии Киев остался без топлива, в любой день мог остановиться транспорт, Губком партии призвал коммунистов и комсомольцев в ударные сроки построить железную дорогу и подвезти лес к городу. Во главе группы добровольцев своей ячейки ехал Николай, в худом пальтеце, обмотках, кепке. Строители жгли от ранней стужи костры, спали по-походному, редко раздевшись. В Киев Николая привезли совершенно больного — жестокая простуда, осложнение на суставы, тиф... Ольга Осиповна забрала его домой, лечила по-своему; отпаивала молоком с медом, парила ноги в отварах трав. Губком комсомола выхлопотал Островскому путевку на берлинский курорт, где лечили целебными грязями. В уютном двухэтажном особняке с просторным общим балконом лечилось человек тридцать, преимущественно шахтеров Донбасса. Здесь он пробыл с 9 августа по 15 сентября 1922 года, получив в день отъезда дорожное довольствие — фунт леденцов и три фунта хлеба. Главное же, сломал на прощание палку, с которой прибыл в Бердянск.

Казалось бы, недуги позади, молодой организм сам врачевал пораженные суставы, продолжая начатое специалистами курорта. Ну как тут не вспомнить высказывание о том, что происходящее с человеком похоже на него самого. Только вернулся Островский в Киев, только повидался с друзьями, заехал в техникум, чтобы заpastись программой и заниматься самостоятельно... Новое испытание. Осенний паводок на Днепре грозил унести плохо скрепленные плоты, смыть штабеля бревен, заготовленные с таким трудом. Вместе с добровольцами в ледяной воде спасал лес и Островский, едва начавший передвигаться самостоятельно. Его уговаривали; «Обойдемся и без тебя». Он даже слушать не хотел. И вот простуда, вспышка ревматизма, возвратный тиф. Одновременно воспаление легких и воспаление почек. После сыпного тифа опухли коленные суставы, была тупая боль, ходить не мог. Эти строки — из истории болезни. Вновь отхаживала сына Ольга Осиповна, сидела подолгу у постели, пряча глаза. Всеми силами боролся Николай с болезнью и твердо говорил: «Я здоров, а кровать это просто какая-то чертовская ошибка». Он все же вернулся в Киев, худой, обритый, истощенный, с неугасимым пламенем в глазах, по которому его только и узнавали. И здесь снова тяжелый удар — приговор врачей: 11 января 1923 года Островский признан инвалидом первой группы, ему назначена пенсия. Справку он спрятал и никогда никому не показывал. Вот что писал Николай Островский в ту пору дочери главного врача Берлинского курорта Л. Бернфус: «...Слишком мало осталось жить... Мне не жаль утеряннoго, и я пишу Вам, Люси, не плача на судьбу, и зная закон, закон природы, где слабые уступают место сильным, я не уступаю и стараюсь как-нибудь иначе уйти. Я теперь сижу здесь, в Шепетовке Волынской губернии, в местечке захолустном, грязном до непроходимости... Я болен, не могу ходить... Не все ли мне равно, что вместо слушателя техникума я стал студентом и что вместо техника по окончании буду инженером, это где-то в будущем далеко, через 4–5 лет, в то время, когда над тобой стоит вопрос — стоит или не стоит болтаться дальше и черное дуло «браунинга» все чаще смотрит на тебя с большою кажущейся готовностью сделать последнюю услугу...»

Насчет браунинга было обмолвлено увлеченным юношей не для красного словца. Возможно, Николай принес пистолет с фронта. Во всяком случае, 17 ноября 1923 года районному политруку всеобуча

выдано официальное разрешение на право ношения и хранения оружия. Лечащий врач Островского в Сочи Михаил Карлович Павловский свидетельствует, что Николай Алексеевич никогда не расставался с бельгийским браунингом калибра 7,65, не расставался до самых последних дней. Пистолет лежал иод подушкой, он часто трогал пальцами холодную сталь. Однажды обронил: «Пусть он всегда лежит около меня. Он немой свидетель моей победы над ним»,

В Берездовский район Николай Островский приехал ил Шепетовки весной 1923 года. В райкоммунхозе устроился техником-смотрителем. По приезде он был на беседе у председателя Берездовского райисполкома Лисицына — граница проходила рядом, проверялся каждый новый человек. #С этого времени два Николая стали большими друзьями — и на всю жизнь», — пишет Р.П. Островская, жена писателя.

Дружба «двух Николаев» закалила характер Островского, помогла ему глубже разобраться в себе, выверить политические ориентиры. Под влиянием Лисицына Николай созревает духовно. Он был, как свидетельствуют очевидцы, буквально влюблен в Лисицына, считал его «самым лучшим большевиком», старался подражать ему во многом.

О Николае Николаевиче в округе ходили легенды. Этот суровый, несмотря на свои двадцать шесть лет, немногословный человек в армейском френче с орденом боевого Красного Знамени, маузером в деревянной кобуре, без устали ездил по хуторам нового района, где рождались новые ячейки Советской власти, — отличался личной храбростью в схватках с бандами и проникавшими из-за кордона контрабандистами.

Бывая в селах и хуторах, видел нужду раболепно срывавших %перед каждым представителем района шапки крестьян, видел неграмотных парней и девчат, плохо представлявших себе, что же происходит вокруг. Выход был один — вовлекать сельскую молодежь в комсомол.

Выписка из политдоклада РК КП(б)У Берездовского района: «В районе создана ячейка КСМУ в составе 11 человек. Работает первый месяц. Материальное положение членов КСМУ, которые в большинстве своем работают на селе, крайне тяжелое... В районе

действуют банды. У некоторых слоев населения имеется оружие. Секретарь Берездовского РК КП/У Богомолец».

Речь о первой ячейке, секретарем которой стал Николай Островский. На том же заседании бюро Шепетовского окружкома утвердило Николая и райорганизатором комсомола.

Попробуй тут организуй — хлопцы почти сплошь по селам неграмотные, граница в восемнадцать километрах. То банда прорвется, то контрабандисты. Ксендзы, кустари, кулаки слушки пускают о непрочности новой власти. Да только здесь разве — на Вольни 400 тысяч неграмотных, есть безработные, многие по богатым дворам в батраках ходят...

В окружкоме КСМУ Николая в шутку называли «страдающий манией беспокойства». Слишком уж много поручений брал. Мог сразу же поехать в село, сагитировать молодежь, создать новую ячейку. Послали однажды Островского в соседний, Славутский район. До села восемь километров пешком шел, замерз. Парни и девчата собрались в начальной школе — под нее дом у местного богатея отобрали. Только собрание открыли, священник заходит, осенил всех крестным знаменем, предложил свои услуги.

— Гражданин комиссар, — обратился к Островскому, — власть ваша сильная, так зачем же несмышленных еще детей от бога отрывать? Они ведь могут вырасти недостойными своего Отечества. Организуем молодежь при церкви, молитвами и песнопением возвеличим их души.

— Согласен, гражданин священник, — весело отозвался Николай. — Только запишем для начала в комсомол бога-сына и святую деву Марию.

Возмутился священник, хлопнул в сердцах дверью.

В поездках Николай использовал малейшую возможность, чтобы выступить. «Любили его крестьяне слушать, больше всех районных руководителей любили, — вспоминает председатель сельсовета И. Закусиллов. — Ну и скромн был, никогда о себе, об участии в войне даже не упоминал».

Вскоре в Берездов приехал Яков Корсун. Крепенький, светлоголовый, в тяжелых армейских ботинках и фуражке со звездой. С пятнадцати лет в Красной Армии, воевал, там и в комсомол вступил. Николай обрадовался ему, обнял дружески:

— Здорово, что приехал. Выходит, мы с тобой тут пионеры будем.

— Почему пионеры? — не понял Корсун. — Я же комсомолец.

— Ну, самые первые, понял? — улыбнулся Островский.

Бюро Шепетовского окружкома КСМУ утвердило первую комячейку в Берездове и рекомендовало Николая Островского ее секретарем. А вскоре не без участия Лисицына первый комсорг был выдвинут в политруки райвсеобуча.

Островский носился на гнедом жеребчике по району — пропыленный, всегда стремительный, юношески открытый для всех. В хуторах его называли «завзятым комиссаром». Он знал, что его так называют, втайне гордился этим, потому что в его понимании комиссары были самыми смелыми и самоотверженными бойцами.

Мог ли Николай Островский тогда мечтать о том, что в конце января 1936 года ему присвоят звание бригадного комиссара и легендарный Клим Ворошилов лично подпишет его военный билет? Хранил его Николай до конца дней в кармане. Очень любил парадную гимнастерку с ромбами в петлицах, которую впервые надел 8 марта.

Мило шутил накануне со своими: «В честь Международного женского дня, в знак уважения и дружбы к могущественному полу я впервые завтра надену свой комиссарский мундир...» Всего несколько раз надевал эту гимнастерку, сшитую специально для него, с разрезом как на кителе. Обычно же его видели гости в вышитой рубашке или сшитой сестрой Катей хлопчатобумажной гимнастерке без знаков различия. Зато всегда был чисто выбрит, причесан. «Следил за собой», — вспоминают близкие.

Все это случилось много позже, а пока здесь, в Берездове, «неистовый комиссар» встречался с допризывниками, сам выявлял неграмотных, создавал школы.

За несколько месяцев в районе произошли большие перемены. Для хуторян открылись избы-читальни, на уроки грамоты стали приходиться даже бородатые дядьки. Созданные ячейки комсомола в той или иной форме участвовали в решении важных для населения вопросов о заготовке топлива, условиях работы батраков, ликвидации безграмотности, организации отрядов «юных ленинцев», сельхозинвентаре, торговле.

27 октября 1923 года. Состоялось незабываемое для Николая Островского комсомольское собрание. «...Слушали: о переводе в

партию в день 5-й годовщины РКСМ на торжественном заседании членов КСМУ Берездовской организации (тов. Лисицын).

Постановили: провести кандидатами КП(б)У самых выдержанных и стойких членов КСМ: секретаря Райячейки Островского...» Первым поручился за него Лисицын.

А ровно неделю назад, 20 октября, Островский выполнял важное поручение — в качестве уполномоченного райизбиркома провел выборы в Малопраутинском и Манятинском сельсоветах. Об этом и говорит недавно найденный документ — докладная записка Островского. В селах Большом и Малом Праутине кулачество оказалось крепко спаянным, вело постоянную агитацию против проводимых властью мероприятий. Незаможники же сплочены слабо, не смогли дать отпор. Выборы закончились в четыре утра, намеченные кандидаты избраны в сельсовет. Можно представить, как трудно пришлось уполномоченному.

Зато иную картину, судя по докладной, встретил Островский в Манятинском сельсовете. Здесь кулаки притихли — так слаженно и организовано выступали активисты. Крестьяне проявили большой интерес к международному положению, и беседа с ними после выборов затянулась до вечера. В докладной появилась строка: «Там же, между прочим, удалось убедить крестьян посылать детей в школу и купить учебники».

В ту пору Николаю еще не исполнилось девятнадцати лет. Поздней осенью болезнь обострилась. В начале зимы стало еще хуже, приехала Ольга Осиповна, вновь парила ноги, не разрешала подниматься с кровати. И только в конце января неожиданное, как удар молнии, событие всколыхнуло Николая. В шинели, с палкой, он шел, спотыкался и снова шел эти долгие метры до райпарткома. Над знакомым порогом увидел портрет в траурной рамке, стал расстегивать шинель, задохнулся и, прежде чем войти, долго тер непослушными пальцами сведенное судорогой горло. В кабинете секретаря райкома собрались почти все райработники, кто-то, он не смог разобрать кто, читал сообщение ЦК РКП (б) о кончине В.И. Ленина. «...Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине великого и

героического: бесстрашный ум, железная, негибкая, упорная, все преодолевающая воля...»

Домой Николая привели товарищи.

Имя Ленина Островский пронес в своем сердце через всю жизнь. «Меня спросили: «Скажите, товарищ Островский, какой день в 1935 году взволновал вас больше всего?» Я мгновенно вспоминаю первое октября. Мягкий сочинский вечер. Открывается дверь, и мне» говорят: «Мария Ильинична Ульянова, Дмитрию Ильичу Ульянову». И сердце мое вздрогнуло радостным приветом. Вот они сидят рядом со мной, простые, но такие прекрасные, сестра и брат нашего великого вождя, отца и учителя...» В тот же день звонок — из Москвы сообщили о награждении писателя Островского орденом Ленина. А через несколько дней он получил от Ульяновых письмо. Начиналось оно так; «Дорогой и родной Николай Алексеевич! Горячо поздравляем с заслуженной высокой наградой. Завоеванной могучей волей и настоящим большевистским упорством. Гордимся и радуемся высокому качеству добытой стали. Верил! вместе с вами в дальнейшие успехи на новом фронте. Крепко жмем руки ваши».

Успехи, признание окрылили Островского. Он хотел закончить роман о Павке книгой «Счастье Корчагина», хотел закончить фантастическое повествование, книгу для детей. И учиться, «учиться вглубь и вширь», учиться до последнего вздоха. В комнате у него под рукой были радиоприемник, патефон, шахматы. На стене висела карта Испании с флажками, отмечающими движение войск... Он умер 22 декабря 1936 года, вечером, в Москве, в доме на улице Горького, где сейчас расположен музей. Здесь он диктовал последние страницы романа «Рожденные бурей», стремясь во что бы то ни стало закончить его к двадцатой годовщине Великого Октября, отсюда передавалась в Киев его яркая речь на IX съезд украинского комсомола, делегатом которого избрали писателя-коммуниста. А за день до смерти, уже впадая в забытие, спросил: «Держится ли Мадрид?»

Ромен Роллан в предисловии к французскому изданию романа «Как закалялась сталь» называл людей, рожденных революцией, величайшими произведениями искусства, которые в будущем станут прообразами и героями эпических поэм и песен. «Николай Островский — один из этих людей, — писал он, — один из этих гимнов пылкой героической жизни...»

Весной 1924 года Лисицына перевели председателем райисполкома в более крупный, Изяславский район. По его настоянию сюда же направили вскоре райорганизатором комсомола Николая Островского. И здесь «неистовый комиссар» работал, как всегда, не щадя себя, с «шести утра до двух ночи». Ибо в его понимании только так и мог относиться большевик к своему делу. А примером был для него Лисицын. Не раз ездили вместе по хуторам, не раз засиживались чуть не до петухов за книгами в маленьком домике, где Николай Николаевич жил с женой и сестренкой.

За короткий срок он стал своим человеком в районе. Его энергия, неутомимость в работе зажигали комсомольцев, Николай не терпел пассивности, открыто возмущался, если кто-то не выполнял данных ему поручений, мог в гневе накричать, сказать обидное слово.

— Умеряй свой пыл, — не раз советовал ему Лисицын. — Нельзя требовать, чтобы все вот так сразу перековались, сознательными стали. Убеждать людей надо.

Николай соглашался с этими доводами, не раз клял себя за несдержанность и вновь срывался, когда сталкивался с ленью, разгильдяйством...

Нина Львовна Гутман, одна из первых изяславских комсомолок, рассказывала: «Николаю прощали горячность. Он ведь по натуре был очень отзывчивым, последним всегда поделится. И скромным. Нигде себя не выпячивал... Его очень уважали...»

И все, кто работал с ним тогда, единодушны в оценках: был горяч в работе, верил в людей, ни в какой форме не воспринимал ложь, скрывал мужественно болезнь... Все знали и о «слабости» комиссара. В любую свободную минутку заскакивал в детский дом, что недавно при его содействии открыли в Изяславе. Городская комсомольская ячейка устраивала субботники — ремонтировали помещение, благоустраивали двор. Подключили и молодежь из воинской части, те помогли бельем, одеялами, выделили для летнего лагеря палатки.

Любил Николай с детьми петь: «Орленок, орленок...», «Мы кузнецы...», «По морям, по волнам...», «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем...» Пели все азартно. В годовщину комсомола устроили обед с конфетами и пряниками. Ребята собрали для него кулечек, тронув Островского до слез. Уходя, он незаметно передал этот

кулечек воспитателям, и те на другой день раздали ребятишкам сладости. Любил говорить: «Дети — наше будущее».

И еще одно письмо Николая Л. Бернфус, дочери врача бердянского курорта, где он лечился после госпиталя: «Спросите меня: что у меня осталось родного, дорогого? Только одна партия и те, которых ведет она. Вы мне писали: что дает она мне? А дает то, что я не имею, это то что движет нами — сильное, могучее, чему мы преданы всей душой...»

Это письмо было послано накануне события, ставшего праздником всей его жизни.

На 9 августа 1924 года было назначено собрание коммунистов Изяславской партячейки. В протоколе отмечалось единогласное решение: перевести тов. Островского в действительные члены КП(б)У, считать его коммунистом ленинского призыва. Это было выражением особого доверия. И здесь первым поручителем Николая был Лисицын. Встретились они с Лисицыным не скоро, уже после выхода книги «Как закалялась сталь». После Изяслава Николая Николаевича направили парторгом ЦК партии на завод имени А. Марти в Николаев. Затем партмобилизовали в Военно-техническую академию, работал в одном из военных округов. В архивах сохранилось его последнее письмо от 13 июля 1935 года: «Здравствуй, дорогой Коля! Сегодня у меня удача — я вновь увидел на вокзале Митю, и именно тогда, когда он едет к тебе. Итак, я имею возможность передать тебе мои пожелания п, главное, здоровья...»

Николаю осталось прожить в Изяславе считанные недели: еще проведет он Праздник урожая, еще объедет сельские комсомольские ячейки. Окружном партии будет рекомендовать Островского в партшколу, и он, колеблясь, станет советоваться с Николаем Николаевичем, ехать ли ему на учебу.

Медицинская комиссия внесла в эти планы свои жесткие коррективы: Островского направили на лечение в Харьковский медико-механический институт. Он уедет с надеждой на скорое выздоровление, и Николай Николаевич стиснет его на прощание в стальных объятиях, пожелает побыстрее вернуться... Начнутся тяжелые годы жизни неистового комиссара. Островский будет прикован к больничной койке — и, непокоренный, удивит мир железной стойкостью, не вмещающейся в рамки обычного понимания

целеустремленностью. Он выплеснет на страницы своих книг врожденный талант рассказчика, они с триумфом обойдут всю планету, он высоко пронесет звание коммуниста. И первый космонавт мира Юрий Гагарин скажет, что его духовным наставником был Николай Островский.

Обращаясь к молодежи, Николай Островский призывал не просто созерцать, как растет «дворец человеческого счастья», а требовал: «... пусть ваши руки будут по локоть измазаны цементом и глиной, иначе в доме, построенном не вашими руками, будет вам и холодно и стыдно». Он имел моральное право так говорить, ибо руки его всегда были по локоть в цементе, до последнего вздоха он находился на посту, — боец, коммунист, писатель. Романы «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» обошли планету. И не данью читательской моде можно объяснить миллионные тиражи, выход книг Островского в далеко не прогрессивных издательствах капиталистических стран. С этих страниц поднялся новый герой, человек, рожденный революцией, воспитанный партией. Павка Корчагин вместе со всеми строил ДнепрогЭС, заводы, каналы в пустыне. С оружием в руках отстаивал святыне рубежи нашей Родины в лихую годину фашистского нашествия, а затем восстанавливал из руин города. Павка Корчагин вместе с нами покоряет космос и добывает уголь, плавит сталь и водит тяжеловесные поезда, прокладывает великую магистраль в тайге и поднимает гиганты энергетики.

«Самое прекрасное для человека — всем созданным тобой служить людям и тогда, когда ты перестаешь существовать». Эти слова Н. А. Островского могут служить эпиграфом ко всей его жизни.

— Скажите, вы очень страдаете? Ведь вот вы — слепой. Прикованы к постели 6 течение долгих лет... — Это вопрос корреспондента «Москау дейли ньюс».

— У меня просто нет времени на это, — ответил Островский.

Слова «комсомол» и «партия» были наполнены для него особым созидательным смыслом. И не случайно он сказал однажды: «В моем партийном билете лежит маленький сынишка, билет Ленинского комсомола, и этот сыночек старше своего папаши, партийного билета, на пять лет. И в этом есть что-то прекрасное и замечательное...»

Георгий ЯКОВЛЕВ

Борис ДЗНЕЛАДЗЕ

Март семнадцатого года. Тифлис. Медь оркестров «Марсельеза». Лобзания. Восторги по поводу волшебной свободы...

В здании городской управы на Эриванской площади неторопливо, с большой помпой заседает конференция «Союза учащихся марксистов Закавказья». Тщательно отрепетированный «экспромт». Объединенная делегация тифлисской дворянской мужской гимназии и реального училища предлагает направить приветственный адрес высокочтимому ОЗАКОМу. Полностью — Особый Закавказский комитет, облеченный Временным правительством «всеми правами наместника».

Зачитать приветствие угодно самому председателю конференции. Его обрывает невысокий худощавый паренек Борис Дзнеладзе. Тонкое, к подбородку суженное лицо Бориса бледнее обычного.

— Опомнитесь! Отдайте себе отчет — кого вы собираетесь приветствовать?! Тех, с кем завтра нам неминуемо вступать в борьбу! Не забывайте — наша революция еще впереди!..

Смятение, шум, крики: «Долой, выведите его из зала!» Возгласы одобрения: «Браво, Борис!.. Ура большевикам!»

Инцидент обсуждался в высших сферах. «Отец кавказской демократии» Ной Николаевич Жордания с некоторой долей снисходительности:

— Борис Дзнеладзе? Помню, тихий мальчик-сирота. Наша кухарка в Озургетах зазывала его помочь выбить ковры, наколоть дров... С малых лет предоставлен себе. Заблудшая овна... При случае надо вразумить...

Будет случай, хотя и не так скоро. До того многое еще произойдет и в государственном устройстве Кавказа, и в борьбе политических партий, и в людских судьбах.

Разношерстный «Союз учащихся марксистов» продержится недолго. Тихо уйдет в небытие. Вместо него с сентября девятьсот семнадцатого года — «Организация молодых специалистов-интернационалистов «Спартак». Заслуженный, прямой предшественник комсомола Грузии и Армении. И два «внеклассовых, всенациональных» объединения грузинской и армянской молодежи.

На первом учредительном собрании «Спартака» в клубе на Авлабаре Дзnelадзе оглашает манифест:

«Ко всем тем, кому дороги интересы и будущее пролетариата... кому еще не вскружил голову шовинистический угар... «Спартак» обращается к вам, ко всем молодым борцам, призывая вас создать свои местные и общие организации и всегда и всюду горячо поддерживать революционное движение интернационального пролетариата... в особенности на Кавказе, где атмосфера пропитана национальной рознью. Здесь еще больше трудностей придется побороть интернационалистической молодежи, ее «Спартаку»...»

Оценка положения, довольно скоро подтвержденная жизнью. 26 мая 1918 года «Грузинский национальный совет» провозглашает отделение «независимой Грузинской республики» от Советской России. Во дворце бывшего царского наместника теперь полностью хозяйничают меньшевики. Туда, во дворец, и является Борис Дзnelадзе. Требуем приема у самого Жордания.

Аудиенция дается по наивысшему разряду. Помимо Жордания, в беседе с восемнадцатилетним Борисом желает участвовать и главный меньшевистский оратор, лощеный Ираклий Церетели. Оба внимательно разглядывают столь неожиданного пришельца. Борис смотрит, как всегда, в упор. Учтиво излагает свое дело.

— Молодежная организация «Спартак» добивается истины. Вот устраиваем доклад Михи Цхакая: «Итоги и перспективы Октябрьской революции». Пожалуйста, Ной Николаевич, и оппонируйте Цхакая. Приводите свои доводы!

Жордания удивленно восклицает:

— Разве вы до сих пор не определились, не их соратник?

Дзnelадзе, особенно четко выговаривая слова:

— Господин Жордания, лично я свой выбор сделал давно, я в партии большевиков с семнадцатого года, как только позволил возраст. А в «Спартаке» сотни молодых людей, еще колеблющихся. Приходите, боритесь за них на равных!

Деваться некуда. Маскировки ради надо обещать — такова уж служба Ноя Николаевича.

— Да-да, обязательно буду. Очень интересно!.. И лучшие пожелания от меня батано Михе. Нам с Цхакая не впервые скрещивать

шпаги. И с вашим уважаемым Владимиром Ильичей доводилось не раз... Было, было...

Вечером десятого октября цирк братьев Есиковых переполнен молодыми рабочими, ремесленниками, учащимися. К восьми часам, как условлено, приходит Цхакая, начинает доклад. Жордания нет и не будет. Вместо него прибывает начальник особого отряда — так именуется меньшевистская охранка — Кедия. С ним несколько десятков «народных гвардейцев».^[2] Раздается резкая команда: «Никаких рассуждений! Немедленно разойтись!!» Той же ночью арестован и увезен в Метехский тюремный замок Борис Дзnelадзе. С ним и остальные организаторы митинга.

Подавление живой мысли, преследования, репрессии — не прискорбное исключение и еще меньше своеволие исполнителей, это государственная политика «свободной Грузии». Второй после Жордания лидер меньшевиков — Евгений Гегечкори — покорнейше заверяет в Екатеринодаре^[3] генерала Деникина на совместной конференции белогвардейцев и кавказских националистов: «По вопросу об отношении к большевикам могу заявить, что борьба с большевиками в пределах нашей республики беспощадна. Мы всеми имеющимися у нас средствами подавляем большевизм, и я думаю, что в этом отношении мы дали ряд доказательств, которые говорят сами за себя...»

Впереди многие месяцы жесточайшего террора — смертные приговоры, убийства «при попытке к бегству», расстрелы из пулеметов рабочих митингов и сельских сходов. Испытания, далеко не всем посильные. Тогда и появится запись в самодельном блокноте Михи Цхакая:

«Этот удивительный юноша Борис в 1918 году на моих глазах настолько вырос и возмужал, настолько развились его способности, что во всех организационно-политических мероприятиях начатой тогда нами нелегальной работы он разбирался с поразительной быстротой и заслуживал такого же доверия, как революционер, закаленный долголетней борьбой».

Главнокомандующий британских военных сил в Закавказье генерал Форестье-Уокер находит возможным разрешить литератору, редактору официальных меньшевистских издания Сеиду Девдариани

прочесть в тифлисском оперном театре лекцию «Ужасы большевистской азиатчины. Личные наблюдения».

Начало лекции достаточно привычное: «В Грузии большевизм абсолютно невозможен!» Тут же в полное подтверждение на публику обрушиваются белые, черные, почти совсем желтые — какая нашлась бумага — листы.

«Мы против меньшевиков, мы за Советскую власть, мы твердо стоим на платформе Коммунистической партии!..

Организаций молодых коммунистов «Спартак».

Прокламация «Спартака», подпольные его издания — не ошеломляющая тифлисцев новизна. В немалых количествах расходились они по городу и в минувшем, восемнадцатом, году. Не редкость и выступления против меньшевиков. Не одному Девдариани приходилось торопливо сбегать. Но чтобы так, в лоб, с таким предельным вызовом: «Организация молодых коммунистов»!.. Это из событий чрезвычайных, дотоле неслыханных.

И обновленный «Спартак», изрядно пополненный рабочими парнями ив Надзаладеви — это как Выборгская сторона в Петрограде, Красная Пресня в Москве, — только-только начинает свой особый отсчет времени. С нелегальной конференции 31 марта — 2 апреля девятьсот девятнадцатого года.

Борис Дзнеладзе, докладчик о новом уставе, неуступчив до предела:

«Членом коммунистической организации молодежи «Спартак» может быть лишь тот, кто безоговорочно признает Программу Коммунистической партии и ее идейное руководство. Также необходимо согласие с тем, что «Спартак» — неотделимая часть Российского Коммунистического Союза Молодежи. Устав, принятый на первом съезде РКСМ, одинаково обязателен для Москвы и для Тифлиса. Это первооснова. Полностью приемлешь — оставайся. Колеблешься — уходи с миром. Борьба в условиях, сложившихся на Кавказе, требует чистоты воззрений, непреклонности, немалой доли суровости».

Положения этого устава обязательно надо сравнить с тем, что защищалось в начале пути — на учредительном собрании «Спартака» в клубе на Авлабаре.

«Слова «социалисты-интернационалисты», а не «социал-демократы-большевики» были выбраны нами не случайно, — рассказывает тогдашний секретарь Тифлисского комитета партии Анастас Микоян. — Имелось в виду, что такое название облегчит приток в наш союз тех левых элементов из молодежи, которые еще не самоопределились как большевики, но склонялись к нашей тактике в революции».

Теперь на конференции подчеркнуто твердо, чтобы никаких разночтении, названа политическая принадлежность — верность большевизму, солидарность с российским комсомолом.

На последнем заседании конференции «Спартак» — выборы руководящего центра. Называют его бюро Тифлисского комитета. А направлять, налаживать работу ему по всей Грузии, в большей части Армении. Все голоса за то, чтобы Дзnelадзе возглавлял бюро, Борис не отказывается. Просит лишь разрешения на время отправиться в Озургетский уезд — в места, где прошло его невеселое» сиротское детство.

В Западную Грузию, в селение Бурнати, Борис с братом попали, скитаясь после смерти родителей. Свой очаг у семьи Дзnelадзе был в Гори. Старый отчий дом у железной дороги. Родился Борис там 19 августа. Год точно неизвестен. Не то тысяча девятисотый или девятьсот первый...

Существует версия, будто, вступая летом семнадцатого года в Тифлисскую организацию РСДРП, Дзnelадзе один год себе добавил, указав в анкете: «Родился в 1900 году». Проверить теперь невозможно.

Оттуда, из Западной Грузии, родом и Ной Жордания. Там, в крестьянском крае, давний оплот меньшевизма. В понимании Бориса именно в Озургетах, или, как говорят грузины, в Гурии, ему теперь надлежит искать крестьянских парней и создавать организацию молодых коммунистов.

Если весной в патриархальных гурийских селениях за Борисом шли одиночки, то осенью за Борисом в его повстанческий отряд устремляются десятки людей, убежденных в невозможности поступить иначе. Сражаться с карателями гурийские спартаковцы будут в местах наиболее трудных, продержатся дольше других. И никому так яростно не будут мстить цепляющиеся за власть меньшевики. Не миновать тогда озургетской тюрьмы и Дзnelадзе.

Начиная с ноября он будет пять раз арестован, дважды выслан из Грузии.

Пока же Борис отправляется в Баку на началах вполне добровольных. «Общим желанием, общим требованием тифлисского «Спартака» и Бакинского интернационалистического союза рабочей молодежи является, — сообщает Дзnelадзе подпольному краевому комитету партии, — созыв Кавказской объединительной конференции организаций молодых коммунистов».

Крайком согласие дает. Начало конференции 22 сентября в Баку. Там по сравнению с Тифлисом дышать чуть свободнее. Рабочий класс сильнее, организованнее, умеет постоять за себя. Заседая в Центральном рабочем клубе, молодежная конференция в относительной безопасности.

Дебаты шумные. Характеры кавказские, горячие, за острым словом никто в карман не лезет. Далеко не сразу достигается согласие между «спартаковцами» и «интернационалистами». По несколько раз выступают делегаты. И Борис Дзnelадзе в том числе. А решение единодушное: «Никакой отчужденности, никаких разделений! Быть общекавказской организацией Российского Коммунистического Союза Молодежи. Для руководства — краевой комитет РКСМ».

С официальной частью покончено. Можно делегатам — бакинцам, эриванцам, тифлисцам, александропольцам, кутаисцам — подхватить на руки своего строгого председателя Бориса и что есть силы подбрасывать к потолку. «Качать, качать!..» Борис хохочет не меньше других. При всех его обязанностях, полномочиях ему неполных девятнадцать лет.

Всего девятнадцать или уже девятнадцать?

Написано Дзnelадзе на узких листках линованной бумаги. Когда, где — остается только догадываться:

«После возвращения в Тифлис узнаю, что здесь подготавливается восстание. Наиболее реальная цель, по моему, — создать угрозу тылу Деникина, заставить его перебросить побольше полков к границам Грузии в момент, особенно грозный для отступающей Красной Армии.

Партия нам поручает добыть сведения о противнике; о дислокации его войск, о местонахождении и состоянии складов вооружения и обмундирования. Поручает также дать хороших разведчиков...

Мы дали своих лучших товарищей для этой работы, разбили их на маленькие отряды, десятки и пятерки. Товарищи снимали планы более или менее важных государственных и военных учреждений, записывали, сколько дверей и выходов имеет тот или иной дом и тому подобное. Так, например, был снят план арсенала и тифлисского юнкерского училища. Нет нужды распространяться о том, с какой опасностью была связана эта работа. Собираение таких сведений меньшевики рассматривали как военный шпионаж, как «деяние, наказуемое исключительно смертной казнью».

За два дня до начала восстания англичане и меньшевики арестовали почти весь состав Военно-революционного штаба и гарнизонный совет. Начались облавы, повальные обыски, разоружение большевистски настроенных войск. Мы выступили с листовкой: «За каждого расстрелянного коммуниста — 10 чиновников меньшевистского правительства!» Отпечатали, как обычно, в типографии ЦК меньшевиков...»

У Бориса: «как обычно, в типографии ЦК меньшевиков»! На листовках, на тех, что сохранились, — «Типография крайкома РКП» или «Издательская организация «Спартак» № 1. Город Баку». Ни ошибки, ни противоречия — просто конспирация. Какая же солидная фирма станет раньше времени разглашать свои производственные секреты, ставить под удар своих тайных поставщиков и доброжелателей?!

Разве что непредвиденный случай... Примерно полгода всю нелегальную литературу на грузинском языке и газету для солдат «Джарис каци» набирали, и печатали на Ольгинской улице в главной типографии ЦК меньшевиков «Эртоба». Там же заимствовали бумагу из лучших сортов. А в одну трудную ночь, рассыпая перед уходом уже ненужный набор прокламации, забыли верхнюю строку: «Российская Коммунистическая партия (большевиков)». Утром строку нашел

заведующий типографией Бухадзе. Самолично доставил Кедия... Тут уж ничего не поделаешь. На время пришлось Борису — главе Техколы — Технической коллегии, ведавшей всей издательской деятельностью, — перенести заказы в другое место. В типографию, так же хорошо оборудованную, — ЦК социал-федералистов...

Нужда приводила Техколу и в типографию «Борьбы» — меньшевистской газеты на русском языке. Еще в середине девятнадцатого года Дзиеладзе для большего удобства снял квартиру по соседству. При всех строгостях комендантского часа рядом, из дома в дом, перейти все-таки возможно. А ключи — по счету тридцать семь — от всех типографий Тифлиса предусмотрительно добыл консультант Техколы старый печатник Аветик Назаров. Так, в типографии «Борьбы» исправно печатались и подпольные газеты крайкома большевиков, и прокламации, и брошюры. Общим тиражом за восемьдесят тысяч экземпляров вышли: «Принципы коммунизма» Фридриха Энгельса, «Государство и революция», «О среднем крестьянине», «Письмо к американским рабочим» В.И. Ленина, «К народу и интеллигенции» Максима Горького.

Иногда складывалось презабавно. Владелец типографии «Труд» Мачковский известил Борису о своей готовности выполнять заказы «срочно и с гарантией качества, если будет принято неременное условие, а именно: доставлен в мою контору приказ на сей предмет». Ладно, написали:

«ПРИКАЗ

Немедленно выдать бумагу и напечатать прокламации (текст прилагается). Деньги будут возвращены после установления Советской власти.

В случае неисполнения данного приказа будут приняты строгие меры.

Начальник штаба (витиеватая закорючка)».

Или совсем юмористическое. Работали всегда ночами. Тиражи для тогдашних машин обременительные. Торопились. Корректуру правили кое-как. И однажды утром тифлисы читали:

«Не успели три премьера — Хатисов, Гегечкори и Хан-Хойский — расчесаться (это вместо «разъехаться»), как полилась кровь...»

Эффект потрясающий — все три премьера совершенно лысые...

Посмотрим строки из документа, переправленного через Баку и Астрахань Исполкому Коммунистического Интернационала Молодежи:

«Вся нелегальная издательская работа, распределение и распространение партийной литературы в Грузии и Армении в руках Коммунистического союза молодежи. Сотни летучек, газет, брошюр являются делом молодежи. Созданы особые отряды для распространения подпольной литературы. В этих отрядах работают молодые коммунисты. Они наводняют театры, фабрики и улицы летучками, умудряются расклеивать прокламации в казармах и во дворе правительства, укладывают в карманы министров...»

Под вечер 17 января 1920 года от перрона тифлисского вокзала с небольшой задержкой отходит поезд на Баку. Вагоны оцеплены «народными гвардейцами» и союзными солдатами в шотландских юбках. Бог знает, которая по счету проверка документов.

Английский офицер бесцеремонно наводит электрический фонарь, затем сверяется с какой-то фотографией. Не миновать этой процедуры и курчавому, слегка рыжеватому, средних лет землемеру Самтредской уездной управы Деви Бахтадзе. Тревожиться ему не приходится. Еще на вокзале он слышал, что ищут опасного московского агента, некоего Дзнеладзе. Ну и пусть себе ищут. Лишь бы ночью не мешали спать. До сна землемер большой охотник!

Вполне благополучно Бахтадзе проходит осмотр и на станции Баку. На привокзальной площади неторопливо выбирает фаэтон по вкусу. Приказывает отвезти себя на Молоканскую улицу. Там находит мастерскую Сергея Мартикяна — слесарные, лудильные, паяльные работы. Зачем-то дважды пересчитывает выставленные на витрине никелированные самовары. Убедившись, что число нечетное, входит. Улыбается, заговаривает по-грузински. Мартикян обрывает: «Не понимаю чужой разговор!» Пришелец громко смеется, жаждет обнять. Мартикян раздражается: «Зачем играешь, кто такой?!»

Не остается ничего другого, как снять парик, сорвать пышные усы, стереть с лица морщины. Теперь совсем другое дело. Парень

вполне соответствует приметам, заранее сообщенным Мартикяну членом Кавказского крайкома Виктором Нанейшвили. Сам Виктор и другой член крайкома, Мирза Давуд Гусейнов, нетерпеливо ждут Бориса Дзнеладзе в задних полутемных комнатах мастерской. Бакинским и тифлисским подпольщикам необходимо согласовать план подготовки к восстанию, обсудить, как надежнее переправить в Грузию оружие, прибывающее на баркасах с Волги от Кирова.

Безупречные документы землемера Деви Бахтадзе до норы до времени останутся в Баку. А Борису надо срочно вживаться в новый образ — князя Визпрова, старшего дипломатического курьера Совета обороны Кавказа. Князь следует из Порт-Петровска^[4] в Тифлис. С ним охрана и особой важности почта. Должно быть предоставлено отдельное купе в спальном вагоне. Никаких проверок, никакого беспокойства. Преотличная возможность доставить в сохранности вооружение боевым дружинам.

Путешествия с дипломатическим паспортом весьма удобны. Когда осенью Дзнеладзе по комсомольским делам придется предпринять кратковременную поездку в Персию, снова выплывет на свет «князь Визиров»...

До осени еще надо дожить. Предугадать ничего нельзя.

По северную сторону дымно-белой гряды Кавказских гор неудержимо наступают советские войска. 25 марта освобожден Грозный, 30-го — Владикавказ^[5] и Порт-Петровск. В ночь на 28 апреля мусаватистское правительство сдало власть восставшему бакинскому пролетариату. На площади Свободы первомайский парад, праздничное шествие. В Тифлисе в те самые минуты демонстрацию расстреливают ружейными залпами, пулеметными очередями. «Народные гвардейцы», английские военные полицейские хватают уцелевших, скручивают руки, избивают. Многие из последних сил шагают в Метехский тюремный замок. По хорошо проторенной дороге.

На той же неделе правители Грузии в полное подтверждение предельно точной характеристики, данной им Лениным, — «Что такое меньшевики? Это — люди, которые держат нос до ветру»,^[6] - сообщают в Москву о своей полной готовности заключить мирный договор. Обязуются дать большевистским организациям «право свободного существования и деятельности, в частности, право

свободного устройства собраний и право свободного издательства (в том числе — органов печати)». На свободу выходят больше тысячи коммунистов. Среди других, к огромной радости Бориса, его «крестный отец» Миха Цхакая.

Пользуясь моментом, совсем дерзкий поступок совершает Дзnelадзе. Захватывает в центре Тифлиса на Ново-Бебутовской улице «особняк» — бывшую кухню и чулан при ней. К дверям прибывает две от руки написанные таблички: «Центральный Комитет комсомола Грузии» и «Редакция газеты «Молодой пролетарий». Это не остается без внимания. Будет спрошено при первой возможности...

...К чему другому, а к неожиданным поездкам в любое место в любом качестве Борис привык. Потрясает сейчас не внезапность, не дальность дороги. Совсем другое. То, что словами не выразить, то, чего он так и не сумел высказать заглянувшему к нему в «особняк» Михе Цхакая. Он, Борис, полномочный делегат Грузии в конгресс Коминтерна. Вместе со старейшими, выдающимися большевиками. С Цхакая, Махарадзе, Тодрия|

От Баку дальше на север грузинская делегация едет в вагоне Серго Орджоникидзе. Серго подолгу стоит с Борисом у окна, расспрашивает о том о сем, сам рассказывает. Перед остановкой поезда на станции Минеральные Воды снова уединяемся с Дзnelадзе. Заставляет себя сказать: «Бичико^[Z] надежд на то, что после конгресса меньшевики дадут тебе вернуться в свои края, почти ни каких. Рисковать нельзя. Дело быстро идет к тому, что в Грузии нашему брату опять работать в подполье. Кем заменить тебя, я не представляю... Сходи, Борис, с поезда, добираться в Тифлис!.. Я не приказываю, прошу! Дай руку!»

Как оценить, насколько нрав Орджоникидзе, предупреждая о неизбежном скором уходе в подполье?

25 августа в 4 часа 30 минут в Тифлисе в помещении Национального совета открывается съезд комсомола Грузин. С предварительного разрешения министерства внутренних дел Дзnelадзе просит посторонних удалиться. Вежливое напоминание слегка переодетым агентам особого отряда и «народным гвардейцам». Тот, кто желает быть глухим, никогда не слышит. Борис все-таки повторяет еще раз, еще: «Все, кто не имеет делегатских удостоверений иди пригласительных билетов, обязаны уйти!» Объявляется вице-

директор министерства, рекомендует времени не терять: «Мы зала не покинем. Заседайте при нас!»

Кое-что можно и при них. Пусть слышат из первых уст,

Дзнеладзе: «Все равно, как бы ни преследовали, как бы ни истязали в тюрьмах наших товарищей, меньшевистский режим не спасет себя, он обречен, противоестествен. В один прекрасный день трудящаяся молодежь Грузин вместе со всем народом отпоеет заупокойную господам Жордания и Гегечкори...»

Неполные сутки спустя тот же вице-директор руководит операцией по разгрому ЦК комсомола и редакции молодежной газеты. Борис уже в тюрьме, в Метехи. Обвинение неизменное: «Призыв к вооруженному восстанию». Следует резкий протест полномочного представительства Советской России, напоминание об обязательствах по мирному договору. Циничный ответ: «Государственные интересы настоятельно требуют, чтобы Дзнеладзе Борис Дегович был выслан из Грузии». Высылают в Азербайджан.

Тот случай, когда меньшевистский произвол оборачивается помощью, неожиданно снимает трудные заботы. Он выслан. На 9 сентября в Баку назначен первый съезд молодежи Востока — Кавказа, Туркестана, Бухары, Хивы, Турции, Персии. Борису на съезде быть обязательно. Выступать с основным докладом. Баллотироваться в бюро Совета молодежи. Есть неотложные дела и в иранском Азербайджане — Тебризе, Кавзине.

...В Москве, на Малой Дмитровке, 6, в здании бывшего купеческого собрания, — III Всероссийский съезд комсомола.

Для Бориса всё впервые, необычайно, сверхудивительно. Москва... Комсомол, свободно обсуждающий свои дела... Речь Ленина, обращенная к ним — молодым!..

Хочется жадно впитывать в себя. Слишком боязно неосторожным движением вспугнуть чувство, вдруг возникшее в груди, горячим клубком подкатившее к горлу»

Не сразу доходит содержание переданной ему из президиума записки: «Приготовься! Фамилии твоей называть не будем».

Председатель: «Слово для приветствия имеет представитель красной молодежи Грузии».

Представитель Грузии: «Я приветствую вас от имени ЦК Коммунистического союза молодежи Грузии. Вы, пролетарская молодежь России, счастливы тем, что имеете возможность свободно устраивать съезды и решать свои дела. Коммунистическая молодежь Грузии лишена этой возможности. Нас арестовывают и сажают в тюрьмы за то, что мы говорим, что в конце концов пролетариат Грузии должен восстать и свергнуть изменников рабочего класса, чтобы соединиться со свободной Россией. Коммунистический союз молодежи Грузии ведет самую ожесточенную борьбу против меньшевистского правительства за то, чтобы сделать нынешнюю Грузию Советской.

...У меня хватит смелости заявить от имени наших молодых коммунаров, что в самом скором времени этой меньшевистской Грузии не будет, а скоро будет Красная рабоче-крестьянская Советская Грузия!»

Скоро... После одной зимы. Возможно, наиболее трудной.

В третью годовщину Октябрьской революции арестован полностью весь Тифлисский комитет комсомола. Делегаты, прибывшие на республиканский съезд Союза молодежи, собираются на... крыше здания представительства Советской России. Зато самая фешенебельная гостиница Тифлиса «Ориант» предупредительно отдана «городскому правительству», «комитету содействия горцам и терским казакам по их освобождению от большевиков» «комитету возрождения Баку»...

По требованию министра внутренних дел Н. Рамишвили объявлена «чрезвычайная мобилизация» — гимназистов и их почтенных дедушек хватают на проспектах и бульварах, под конвоем доставляют в казармы. Карательные отряды артиллерийским огнем сжигают селения нейтральной зоны, установленной после войны Грузии с Арменией. Демонстративно разорваны отношения с Азербайджаном, его посольство заключено в тюрьму.

...Весеннее половодье прорывает глухую плотину Восстание перекидывается из уезда в уезд. Из Восточной Грузии в Западную, в горы Рани, в приморские долины Абхазии. Борис среди тех, кто на рассвете 25 февраля 1921 года — в Грузии это как раз начало подлинной весны — водрузил над Тифлисом Красное знамя Советской власти.

Сразу два назначения — секретарь 2-го городского комитета партии и член Кавказского бюро ЦК РКСМ. Бюро, впервые учрежденного для руководства комсомолом по обе стороны Главного Кавказского хребта: в Азербайджане, Армении, Грузии, Дагестане, Горской республике.

Два месяца спустя участники пленума ЦК комсомола Грузии энергично атакуют Серго Орджоникидзе; «Дзnelадзе должен вернуться! Настаиваем, чтобы он был ответственным секретарем нашего ЦК!» В конце концов Серго сдается: «Быть по-вашему!»

Много это или мало — вся жизнь Бориса обидно коротка — еще почти год Дзnelадзе будет заниматься исключительно комсомолом. До письма Ленина: «...Во что бы то ни стало и немедленно развить и усилить Грузинскую Красную Армию. Пусть I бригада для начала, пусть даже меньше. 2–3 тысячи красных курсантов, из них полторы тысячи коммунистов... Тут шутить нельзя. Это политически абсолютно необходимо, и Вы лично и весь Грузинский ЦК ответите перед всей партией за это».^[8]

Это и для товарища Серго, и для всех членов ЦК Грузинской компартии.

«Партией мобилизованный», Борис уходит комиссаром Грузинской военно-свободной школы. Тогда точно и уважительно о них говорили: «Кузнецы красных командиров». Двадцать пять генералов, более двухсот полковников, сорок Героев Советского Союза из курсантов того первого набора.

И в каждом немало от комиссара Дзnelадзе.

Начало октября двадцать третьего года застаёт Бориса в горах Абастумана — в туберкулезном санатории.

Из Тифлиса депеша с пометкой: «Особо важно. Срочно!» Приглашение на республиканский съезд комсомола. Врач категорически против. Годы пребывания в меньшевистских тюрьмах, подполье оставили слишком заметный след. Болезнь лечению поддается плохо. Уверенности никакой.

«Не надо уговаривать! Я обязан поехать. Хотя бы для того, чтобы попрощаться... Другого случая уже не будет».

Не будет и этого. Живым до Тифлиса Борис добраться не сумеет. В пятницу, 5 октября, из горла хлынет кровь, 10-го в театре имени

Руставели траурное заседание, 11-го — похороны.

Прожито двадцать три года. Потом будет памятник в центре Тбилиси — в саду Коммунаров, баллада, сложенная армянским поэтом Егише Чаренцем. И память поколений.

Илья МУХАДЗЕ

Гани МУРАТБАЕВ

Гани Муратбаев принадлежал к новому поколению Востока, рожденному в огне пролетарской борьбы, не знающему национальной ограниченности, свободному от проклятых националистических пережитков прошлого... Всегда и везде в трудной и сложной обстановке Туркестана он проводил в жизнь выдержанную пролетарскую линию, укрепляя союз трудящихся Туркестана с российским пролетариатом.

«Правда», 1925, 17 апреля

Если посмотреть отвесно вверх, туда, где распластались во все небо ветви старого карагача, тогда можно представить, что вместе с деревом отделяешься от земли, от пожухлой холодной травы, отделяешься медленно, исподволь, и столь же медленно поднимаешься над вечеряющим Ташкентом. И вот уже летишь ты вместе с деревом по воле ветров, среди туч, рассеивающих на земные нивы дождь.

Зимой здешние ветры стремятся обычно на запад. Значит, вместе с ветрами, тучами и старым карагачем можно достичь Аральского моря. А там родная сторона — рукой подать...

При мысли о родине Гани опустил голову и плотнее запахнулся в намокшую шинельку. Смеркалось... Из соседнего сада тянуло дымом кизяка. Напротив, в двухэтажном доме, скрипнула дверь, и на пороге показался грузный человек в сером. Он посмотрел на небо, постоял, поднял воротник плаща. Еще мгновение — и он растворится в сумерках. Нужно было действовать незамедлительно. Гани отошел от дерева, перешагнул канаву, заполненную мутной водой, и спросил по-казахски:

— Скажите, пожалуйста, где находится директор педагогического училища?

Тот, в сером, молчал, по всей вероятности, разглядывал Гани. Может быть, он не понимая казахского?

— Мне бы директора, — неуверенно проговорил Гани на этот раз по-русски.

— Подойди-ка поближе, парень, — наконец услышал Гани казахскую речь. — Э-э, да ты промок до нитки. Давно здесь стоишь?

— Приехал утром часа в четыре. И прямо с вокзала сюда.

— Что же не зашел в училище? Так под карагачем и околачивался?

— Директора бы мне увидеть, — неуверенно повторил Гани.

— Дире-е-ектора, — протянул нараспев тот, в плаще. — А вот в прошлую неделю в школе на Чиланзаре так и убили одного директора. И между прочим, тоже вечером. Вызвали на улицу по какому-то делу да из нагана всю обойму и всадили. Басмачи треклятые!

— А у нас комиссара зарезали. Бандиты. Прошлой весной, — тихо сказал Гани.

Грузный развел руками, потом отворил двери и произнес оттаявшим голосом;

— Заходи. Надо бы тебе обсушиться. Заодно потолкуем.

Они поднялись по лестнице на второй этаж, миновали несколько дверей с белевшими во мраке табличками и наконец оказались в просторной комнате. Спутник Гани засветил лампу с зеленым абажуром и указал глазами на вешалку:

— Раздевайся, парень. С тебя течет как из дырявого казана.

Снимая длинную, до пят, шинель, Гани разглядывал диковинное убранство комнаты. В углу возвышался большой глобус. В шкафах покоились какие-то склянки причудливых форм, байки с заспиртованными змеями, ящерицами, лягушками. На стене висела географическая карта Российской империи, вся испещренная красными флажками. Возле стола на деревянных полках поблескивали золотым тиснением корешки книг. Гани подошел поближе и с радостью прочел знакомые имена: Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой.

— Читал кого-нибудь из них?

— И Толстого читал, и Лермонтова и другие, Все книги перечел, которые были у нас в библиотеке.

— Где у вас?

— У нас в Казалинске в высшем начальном училище, затем в городской библиотеке. Я русский язык сызмальства знаю, еще с русско-туземной школы.

— Молодец. Теперь садись поближе к столу. Давай знакомиться, книжник. Я и есть директор этого училища Тохтыбаев моя фамилия, А ты кто?

— Муратбаев я. Гани Муратбаев. Хочу здесь учиться.

Директор достал из стола желтую тетрадь, раскрыл сделал карандашом какую-то пометку. Затем спросил:

— Сколько тебе лет, Гани?

— Полных шестнадцать.

— Стало быть, так и запишем: «Рожден в году одна тысяча девятьсот втором».

— Третьего июня, — добавил Гани,

— И это запишем... Далее. Что ты, Гани Муратбаев мог бы рассказать о себе?

...Многое мог бы рассказать о себе Гани. Но, как большинство из тех, кто пережил тяжелое детство, он не любил вслух вспоминать прошлое.

Он родился среди песков пустыни Каракумы, за сотни верст от Казалинска. Отца своего он почти не помнил: тот умер, когда Гани едва исполнилось четыре года. Честным, справедливым, готовым помочь соседу-бедняку, защитить слабого от самоуправства сильных мира сего — таким остался в памяти народной Муратбай. О любви и уважении к нему свидетельствовал такой факт: когда в 1897 году проводились перевыборы скомпрометировавшего себя управителя Калыкбасской волости, выборщики, несмотря на запугивания местных феодалов и царских чиновников, проголосовали за Муратбая. Однако новый волостной управитель недолго пробыл на своем посту: будучи бедняком, он, естественно, старался как-то облегчить простым людям их трудную судьбу, прекословил местному начальству, так что в конце концов за свою неподкупность и непокорность угодил в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, он ни в чем не изменился: любой обездоленный, гонимый судьбою мог найти у него приют и защиту. Об одном до конца своей долгой жизни горевал Муратбай: он так и не сумел выучить русский язык. Умирая, он завещал жене непременно определить Гани в русско-туземную школу.

Мать Гани, Батима, исполнила последнее желание Муратбая. Эта маленькая хрупкая женщина нашла в себе силы решительно восстать

против вековых законов шариата и амангерства. Ни увещевания сородичей, ни заклинания муллы — ничто не смогло заставить ее выйти замуж за кого-либо из родственников мужа. Вопреки родовым запретам она покидает аул и перебирается с нищенским скарбом в Казалинск. Чтобы не умереть с голоду, ей приходится идти в услужение к одной из жен местного купца Хусаинова. От зари до зари склонялась она над чаном с чужим бельем, выбивала чужие ковры. А ночами, при тусклом свете сального огарка, Батима занималась рукоделием, шила платья, шаровары, камзолы — была мать Гани на все руки мастерицей...

Жизнь уездного городка была полна социальных контрастов. Одни утопали в роскоши, другие — их было подавляющее большинство — прозябали в ужасающей нищете. Голод, дикость, невежество, родовая месть, болезни царили в городе и окрест. С самого детства Гани проникся заботами и чаяниями простого трудового люда, его опасениями и тревогами, надеждами па лучшую долю. Особенно ужасало положение кочевников-скотоводов. Любой купец-богачей, любой чиновник мог избить несчастного степняка, ограбить, замордовать, даже убить, и все это без каких-либо последствий. Жаловаться в этих краях было некому — сильный вершил суд и расправу над слабым как заблагорассудится. О состоянии дел по части просвещения можно судить по такому факту: первым председателем совета единственной в уезде библиотеки был сам начальник уезда, его высокоблагородие полковник Арзамасов, а членом совета — начальник городской тюрьмы! Одна библиотека, свыше ста мечетей, около трехсот торговых лавок — таковы были плоды просвещения, возросшие на казалинской ветви того чахлого дерева, которое именовалось когда-то Киргиз-кайсацкой ордой.

Четыре года в высшем начальном училище многое дали любознательному Гани. Он быстро выучил русский язык, знал наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тараса Шевченко. Кое-кто из казалинских старожиллов еще помнил великого Кобзаря, побывавшего здесь вместе с экспедицией А.И. Бутакова.

Год 1916-й врезался в память Гани Муратбаева страшной метой. Правительство объявило среди населения мобилизацию на фронт, и в ответ на это вся степь восстала. Казахи не хотели участвовать в империалистической войне. Гани видел своими глазами, как пылали

аулы, как длинные вереницы беженцев потянулись на юг, в Бухару. Над разоренными селениями кружило воронье, шакалы оглашали ночь протяжным воем. Поползли болезни: черкая оспа, холера, тиф. Холера и унесла мать Гани. Четырнадцать лет он остался круглым сиротой и теперь мог рассчитывать лишь на самого себя. Многие советовали ему бросить училище, заняться каким-нибудь «мужским» делом — пойти приказчиком в лавку, или рабочим на маслобойню, или грузчиком на мельницу того же купца Хусаинова. Но он не внял ничьим советам. Сказалось упорство, унаследованное от родителей. Он продолжал учиться — в чужих обносках, впроголодь, с вечной думой о хлебе. Науки ему давались легко, и к третьему классу он заметно обогнал сверстников.

События, последовавшие после Февральской революции, разделили Казалинск на два враждующих лагеря. Гани был в рядах тех, кто разносил по домам большевистские листовки, кто разъяснял людям смысл происходящих перемен. А перемены были немалые; 4-й Сибирский стрелковый полк, квартированный в Казалинске в полном составе перешел на сторону революции. Отряды рабочих и солдат захватили жандармское отделение, разоружили полицию. На митингах распевали «Марсельезу». «Отречемся от старого мира», кричали «ура!».

Гани Муратбаев всей душой отдался делу революции. Давно уже подмечено, что революция во сто крат быстрее формирует характеры людей: история задевает их своим крылом, жизнь обнажается в невиданно резких изломах, заставляет о многом думать, многое понимать заново, и понимать не одним умом, а как бы всем опытом личной судьбы. Недолгий, но многотрудный жизненный опыт подсказал Гани безошибочное: правда за большевиками.

...Обо всем этом и о многом другом мог бы рассказать Гани Муратбаев директору Ташкентского педагогического училища, который сидел напротив, возле лампы с зеленым абажуром. Но Гани смущала непривычная обстановка, и потому он ограничился коротким пересказом биографии. Он закончил свое повествование так:

— Я не один приехал сюда учиться, товарищ директор, а вместе с друзьями. Они на вокзале остались.

Директор улыбнулся и сказал устало:

— Между прочим, что вас понесло среди зимы за столько верст в Ташкент? Ты же сам говорить: учился в третьем классе.

— Какая там учеба, — загорячился Гани. — Мы зашли в уездно-городской Совет, а там людей раз, два и обчелся. Все ушли на борьбу с атаманом Дутовым. А те, кто остался, большей частью скрытые, а то и явные враги мировой революции. Вполне могли пристукнуть нас за иконы.

— Какие такие иконы? — удивился директор.

— Мы ночью с друзьями залезли в школу, все иконы снимали со стен и во дворе сожгли. А заодно и книги поповские, Библию, Псалтырь. Много их было разных. На другую ночь в училище наши нагрянули. И опять все в костер.

Директор укоризненно посмотрел на Гани:

— Это вы напрасно куролесили. Революция провозгласила свободу вероисповедания.

— А декрет Советского правительства об отделении церкви от государства, а школы от церкви?! — воскликнул Гани. — Когда он вышел? Еще в январе прошлого года. У нас же до сих пор бубнят закон божий. Что ни утро, тащат на молебен. А потом начинается: «Ирод родил Михиаеля; Михиаель родил Мафусаила; Мафусаил родил Ламеха...» Чепуха все это, дурман для народа. Мы так и потребовали в училище: пора кончать с преподаванием закона божьего, а попов выгнать в шею!

— Ты не горячись, не горячись! — осадил Гани директор. — У нас, в Туркестанской республике, декрет об отделении церкви издан когда? Не знаешь? Совсем недавно, месяца два назад — Вы же когда начали борьбу с попами?

— Весной! — сознался Гани.

— Вот и выходит: действовали самочинно, как разбойники или анархисты. — Директор посмотрел на виноватое лицо Гани и вдруг, хотя и понимая, что это в высшей степени непедagogично, проговорился: — Впрочем, правильно действовали, хватит народу мозги забивать религиозной отравой. Только о подвигах своих особенно не распространяйся. — Он поднялся, снял с вешалки плащ. — Идем на вокзал за твоими друзьями. Ночевать нынче будете в пансионате. Завтра утром шинель свою сдашь, а вместо нее получишь все, что нужно. И учись себе на здоровье. А об анархизме и разных

кострах из икон забудь на веки вечные. Революция это твердый порядок, железная дисциплина. Ты в этом сможешь не раз еще убедиться... Ну, двинулись да вокзал.

Гани Муратбаев начал занятия в педагогическом училище. И одновременно работал: заведовал цейхгаузом. До глубокой ночи просиживал он над книгами, делал выписки из них, составлял конспекты. Он и здесь удивил своих новых наставников начитанностью, смекалкой, умом, топкостью и глубиной суждений буквально во всем, что волновало его воображение. Сокурсники встретили его поначалу настороженно, но вскоре новичок многим приглянулся. Был он весел, незлобив, знаниями своими перед однокашниками не кичился. Не раз он начинал спор об особенностях книг Достоевского или каверзным вопросом ставил в тупик преподавателя биологии. Все удивлялись его политической зрелости. Однажды на перемене родственник какого-то муллы завел провокационную речь о том, что теперь, мол, после победы революции, неплохо бы очистить Туркестан от русских, поскольку ничего кроме насилия, они-де в здешние края не принесли, что еще неизвестно, чем кончится революция, поскольку кольцо блокады вокруг Туркестанской республики сжимается все теснее, и т. д. Все слушали, переминались, прятали глаза. И тут заговорил Гани. Он сжато и внятно объяснил: без русского народа Средняя Азия еще века прозябала бы в рабстве, в дикости, в нищете. Ханы эмиры, мюриды, баи никогда не расстались бы добровольно ни с властью, ни с богатством. «Если вы бесплатно учитесь, если бесплатно лечитесь в больнице, если вас теперь уже не убивают, как собак, без следствия и суда, скажите спасибо России, революции, — продолжал Гани. — Русский народ делает все, чтобы дать свободу своим братьям на Востоке. И пусть вас не обманут листовки с призывами точить длинные ножи на русских, эти подлые бумажки, которые по ночам разбрасывают по городу предатели и убийцы, — они еще получают по заслугам».

Правоту слов Гани подтвердило время. В январе 1919 года в Ташкенте назрел контрреволюционный заговор. Возглавлял его изменник, платный агент английского империализма Осипов. Предатель самолично расстрелял 14 красных комиссаров. Днем и

ночью не смолкали выстрелы на улицах города. Однако усилиями красногвардейцев восстание вскоре было подавлено. Похороны убитых революционеров — Вотинцева, Першина, Шумилова и других — превратились в грандиозную демонстрацию пролетарского единства.

Январские события в Ташкенте послужили тяжелым уроком для тех, кому были дороги судьбы республики. Стало ясно, что, только объединившись, можно было противостоять внутреннему и внешнему врагу. К весне 1919 года Ташкентский союз социалистической молодежи уже очищен от мелкобуржуазных, колеблющихся элементов, примыкавших к заговору, и переименован в Коммунистический союз. «Создание мощной комсомольской организации в Средней Азии является лучшим памятником верным сынам рабочего класса — 14 ташкентским комиссарам» — такой призыв был брошен в массы, и вскоре на него откликнулись тысячи. Среди них был Гани Муратбаев.

Гани не только сам вступил в комсомол, но и организовал в училище ячейку. Вместе с друзьями он участвует в коммунистических субботниках, разъясняет политику Советской власти молодым рабочим Красновосточных железнодорожных мастерских, рассказывает о положении, сложившемся на фронтах.

А положение на фронтах было не из легких — молодая Россия отражала объединенный поход Антанты. Едва оттеснила Колчака на Восточном фронте, как тут же приходится думать о наступлении Деникина. В августе 1919 года был создан Туркестанский фронт, которым командовал М.В. Фрунзе. Не прошло и месяца, и вот в районе станции Мугоджарская кольцо блокады вокруг Туркестана уже разорвано! 4 ноября в Ташкент прибывает созданная по инициативе Ленина Туркестанская комиссия, на которую возлагалось представлять ВЦИК и Совет Народных Комиссаров и действовать от их имени в пределах Туркестана и сопредельных с ним государств. Посланцы великого вождя привезли его знаменитое письмо «Товарищам коммунистам Туркестана», в котором Ленин писал: «Установление правильных отношений с пародом Туркестана имеет теперь для Российской Социалистической Федеративной Советской Республики значение, без преувеличения можно сказать, гигантское, всемирно-историческое.

Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч и миллионов людей будет иметь практическое значение отношение Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, донныне угнетавшимся пародам».^[9]

Не сразу и далеко не везде дошли слова Ильича до сознания безграмотных, забитых кочевников. Их рабская психология складывалась столетиями, тысячелетиями. Они привыкли к надменности, коварству, бездушию и жесткости как своих правителей, так и царских чиновников. Первые грабили беззастенчиво, ссылаясь на родовые нрава и привилегии, вторые — прикрываясь монархическими лозунгами, непонятными кочевым племенам. Но затрубили, запела трубы революции, и «туземцы» услышали: другие слова: «свобода», «равенство», «братство». Оказывается, все люди равны между собой. Оказывается, муллы вовсе не живые наместники аллаха на многогрешной земле, а угнетатели, кровопийцы. Оказывается, все не только могут, но и должны учиться.

И люди начало ведать большевикам. Большевики дали беднякам землю и скот, заботились о беспризорных детях, открываем новые школы. Гани Муратбаев был одним из тех, кто помогал партии в переустройстве старого общества.

В начале 1920 года Гани познакомился с Валерианом Владимировичем Куйбышевым, который, будучи начальником политуправления Реввоенсовета Туркестанского Фронта, в то же время возглавлял борьбу с голодом и детской беспризорностью. Впоследствии ветеран комсомола Алимгерей Ершин вспоминал: «... После приезда в Ташкент Валериан Владимирович большое внимание уделял работе Центральной комиссии по оказанию помощи голодающим (ЦК Помгол) и комиссии по борьбе с детской беспризорностью. Его указания выполнялись всеми безоговорочно и немедленно;

— передать все свободные и не занятые другими учреждениями в Ташкенте, национализированные и конфискованные губернаторские, княжеские и купеческие дома и дачи создаваемым детдомам и интернатам для безнадзорных детей;

— передать частично, а впоследствии полностью весь продовольственный и промышленный товарный фонд ЦК Помгола ТуркЦИК на содержание и обмундирование обездоленных детей.

А фонды эти были довольно большие: нам, например, было отпущено только одной кустарной узбекской маты, фабричного коленкора, сукна и других материалов до двух миллионов метров и десятки тысяч тонн риса, сахара, фруктов, не говоря уже о скоропортящихся продуктах — мясе, рыбе и т. д.

В.В. Куйбышев строго контролировал нашу работу, часто приглашал к себе представителей органов просвещения, соцобеспечения, воспитателей детских домов и интернатов. Он сам лично занимался мобилизацией коммунистов, комсомольцев, членов профсоюзов на борьбу с детской беспризорностью. Валериан Владимирович постоянно с любовью говорил о работе комсомольцев... Гани Муратбаев не раз вместе со мной бывал на таких совещаниях и на приеме у В.В. Куйбышева».

Позднее, весной 1920 года, Гани едет читать лекции в Джетысайскую область — вопросы просвещения стояли не менее остро, чем проблема детской беспризорности. В первую очередь это касалось окраин Туркестана, таких, например, как глухое Семиречье. Уполномоченный Реввоенсовета Дмитрий Фурманов неоднократно телеграфировал из Верного (Алма-Аты) на имя Фрунзе и Куйбышева: «Семиречью следует дать просвещение в срочном порядке и преимущественно перед другими областями, так как события здесь будут будоражить мусульман всего Востока»; «Просвещение мусульман стоит впереди всех вопросов, кроме вопросов экономического благополучия...» Фурманов настойчиво просил: ускорьте присылку учителей, лекторов, агитаторов, тех, кому надлежало вести пропаганду среди казахов, киргизов, уйгуров.

Шариф Забиров, один из организаторов комсомола Семиречья и близкий друг Гани, вспоминает: «...В первые дни мая 1920 года Николай Фокин и я были вызваны в ЦК Туркестана. Когда пришли туда, там уже оказались многие ответственные работники партийно-советских, профсоюзных органов, Народного комиссариата просвещения республики. Мы были коротко проинформированы о сложной обстановке в Семиречье, о том, что там уже находится бывший начальник политотдела РВС Туркфронта Д. Фурманов и что нам, представителям различных ведомств и общественных организаций, следует подобрать к отправке для работы в Семиречье

лучших коммунистов и комсомольцев. Когда мы вернулись в ЦК комсомола и собрали членов исполнительного бюро, первым назвали имя Гани, ибо были уверены, что он всегда готов идти в огонь и в воду ради защиты интересов Советской власти. И он оправдал наше доверие. В Семиречье Гани не только читал лекции, но и непосредственно принимал участие в развитии и укреплении только что зародившейся там областной комсомольской организации, помогал Д. Фурманову в проведении агитационно-массовой работы среди местного населения и в воинских подразделениях, состоящих из казахов, киргизов, уйгуров, дунган. Вместе с организаторами семиреченского комсомола Ш. Ярмухамедовым, Д. Бендюковым он принял участие в подавлении известного кулацко-контрреволюционного мятежа, возникшего в Верном в июне 1920 года».

В книге «Мятеж», написанной по горячим следам событий в Верном, Дмитрий Фурманов во всех подробностях описал свое путешествие по Ташкентскому тракту в Семиречье, в «дыру», в «глухую трущобу», «чертово пекло». Спустя два месяца вслед за отрядом Фурманова отправился Гани Муратбаев. В ту пору поезда шли лишь до станции Бурная. Остальные шестьсот верст предстояло одолеть на перекладных, по рытвинам, ухабам, через горы, ущелья, камнепады, бурные реки. За год, проведенный в пыльном Ташкенте, год, наполненный до отказа выступлениями перед рабочими, встречами в горьком комсомола, бессонными бдениями над учебниками, Гани отвык от красоты природы. Теперь он с наслаждением вдыхал целительный воздух тянь-шаньских предгорий, подолгу засматривался на снежные пики вдали, вознесенные к ультрамариновому небу. Многое он увидел на томительном пути к Верному, о многом передумал. Как и в родном Казалинском уезде, здесь на первый взгляд пока еще мало что имелось после революции. Запуганный баями, басмачами, народ молчал, затаился, как бы чего-то выжидая. Все так же выкупали невест за калым, пасли господские отары, все так же умирали от голода, болезней, нищеты. Но зорким глазом потомственного кочевника замечал Гани и другое: в одном селении провожают в Красную Армию сыновей, в другом косят сено в угодах сбежавшего в Китай атамана, в третьем однорукий солдат-

красногвардеец учит односельчан штыковому бою, в четвертом бедняки поголовно вступила в партию.

Мысленно Гани поднимался над этими взгорьями, озерами, падами и созерцал всю свою многострадальную прекрасную родину. Плескался Балхаш на севере; на востоке, в выжженных песках, лежала, как ветвь саксаула, река Или; Тянь-Шань па юге слепил белизною вечных снегов; самумы на западе клубились. Гани пытался представить, как изменится лик этой земли, какие города и дворцы возникнут в диких степях.

Он приехал в Верный и угодил в пекло — надвигался мятеж семиреченского кулачества и бывших белогвардейцев, проникших в части Красной Армии.

«Я до сих пор отчетливо вижу, как Гани впервые пришел к Дмитрию Андреевичу, — рассказывает Лидия Августовна Отмар-Штейн, в свое время личный секретарь Фурманова. — Совершенно неожиданно в конце рабочего дня появился в приемной, где я сидела, незнакомый мне молодой человек и, вежливо поздоровавшись, назвал себя Муратбаевым. Он сказал, что приехал из Ташкента» комсомолец и что обязательно должен поговорить с Фурмановым. Я пошла к Дмитрию Андреевичу и доложила его просьбу. Фурманов распорядился: «Немедленно веди его ко мне».

Я должна сказать, что этот незнакомый молодой человек на меня произвел впечатление: у него были очень яркие, умные, вдумчивые глаза, какой-то он был весь напряженный, целеустремленный и в то же время твердый. Первое впечатление о нем не обмануло меня. В этом я убедилась в дни июньского мятежа верненских контрреволюционеров. Он длился семь дней и семь ночей. В день начала мятежа в городском сквере состоялся митинг молодежи, где выступали Фурманов, Муратбаев, Шегабутдинов. Между прочим, Дмитрий Андреевич очень серьезно относился к выбору ораторов, которые могли бы заразить массу и объяснить ей, кто и почему поднял руку на Советскую власть. Муратбаев и Шегабутдинов были Фурмановым привлечены к выступлению, как люди, которым он доверял и которые стояли на правильных партийных позициях. Муратбаев выступал страстно, и, мне кажется, он убедил собравшихся с оружием в руках защищать завоевания трудящихся от врагов, так как, за исключением отдельных

отщепенцев, почти все комсомольцы города встали на сторону горстки большевиков во главе с Фурмановым...»

Участник этого митинга Шаяхмет Ярмухамедов писал:

«...В начале 20-х годов на формирование нашего мировоззрения огромное влияние оказывал Д.А. Фурманов... Работа Фурманова и армейских большевиков среди молодежи сыграла решающую роль в определении отношения комсомольской организации к мятежу.

Дни мятежа были критическими. Как известно, часть городской парторганизация оказалась на стороне мятежников, и только ее лучшая часть (Розыбакиев, Джандосов и другие) пошла за Фурмановым. Перед комсомольцами встал вопрос; как быть, с кем идти? Для обсуждения этого вопроса было созвано городское собрание молодежи. На этом собрании после горячих выступлений Гани Муратбаева, Даниила Бендюкова, Бари Шегабутдинова договорились: к мятежникам не пойдем, будем поддерживать Фурманова...

В дни мятежа выявились лучшие качества Гани: смелость, находчивость, способность мгновенно принимать верное решение. Поддерживая Фурманова, и он, и его друзья рисковали, по существу, своей жизнью: гарнизон взбунтовался, город был наводнен уголовниками, кулаками, мародерами. Скорой помощи ждать было неоткуда. Вот тогда, постоянно находясь рядом с Фурмановым, убедился Гани в том, как важно руководителю народных масс быть разносторонне образованным, политически зрелым. Соверши Дмитрий Андреевич малейшую ошибку в единоборстве с клокочущей страстями, наэлектризованной провокаторами толпой — и все было бы кончено. Волны мятежа далеко раскатились бы по Семиречью, стихия разрушения разгулялась бы повсюду.

И другое понял Гани: ему следовало не только просвещать других, но и самому продолжать учебу. Вернувшись через три месяца в Ташкент, он с радостью узнал об открытии здесь Среднеазиатского университета. Советская власть начала войну, рассчитанную на долгие годы вперед, — войну за народное образование.

В конце сентября 1920 года Гани Муратбаев расклеивает на столбах и заборах декрет о ликвидации неграмотности среди населения. Пока он обмакивает кисть в ведро с клеем, пока расправляет лист серой бумаги, за его спиной неизменно

останавливаются прохожие. Среди них и степенные аскеры, убеленные сединами, и дехкане окрестных кишлаков, приехавшие на базар, и беспризорники, и даже покрытые чадрой женщины. Люди недоверчиво выпытывали у Гани:

— Эй, бала,^[10] говорят, там написано, что в школу будут водить под конвоем?..

— А вот мой дед совсем не знал грамоты и прожил сто семь лет. Зачем же мне идти в школу?..

— Говорят, не станешь учить русский язык в Сибирь отправят на поселение...

Гани зачитывает вслух декрет, потом терпеливо разъясняет каждому, что к чему. Одни ему верят, другие уходят в сомнения; шутка ли дело, дожив до седых волос, садиться за букварь...

Как ни сожалел Гани, с мечтой о поступлении в университет в этом году пришлось распрощаться. Сначала надо было завершить среднее образование. Сразу же Гани поступил в школу. Там среди прочих преподавали и общественные науки — историю социализма, политэкономии.

Каждый день, закончив занятия, он спешил в горком узнать, не возвратились ли из Москвы его друзья: Шаяхмет Ярмухамедов, Даниил Бендтоков, Юсуп Абдурахманов, уехавшие на III съезд комсомола. Наконец они вернулись в начале ноября, и Гани забросал их вопросами: что происходило на съезде? О чем говорил Ильич? Как выглядит Москва?

Прочитав речь Ленина, он надолго задумался, а потом сказал:

— Ребята, многие ли в Средней Азии знают русский язык? Немногие. Считанные единицы. Значит, бесценный ленинский документ надо перевести, притом незамедлительно, и на казахский, и на узбекский, и на киргизский, и на туркменский. Я за перевод на казахский примусь сегодня же. Если что будет непонятно, посоветуюсь с вами.

Заповеди Ильича молодежи Гани переводил, вникая в каждое слово, подолгу выверяя смысл каждой фразы, каждого абзаца. Медленно, строка за строкой, ложилась на бумагу арабская вязь. Порой он зачеркивал только что написанную страницу и начинал все заново. Он хотел, чтобы живое ленинское слово пришло к народным массам во всем его своеобразии, точности политической страстности.

Поначалу он рассчитывал управиться с переводом за две-три недели. Но вот миновал месяц, потом другой, а работа едва-едва близилась к концу. И тут новое важное событие нарушило все планы Гани.

Стояла ранняя весна. Уже набирали силу южные ветры. В оврагах, на косогорах мальчишки поджигали прошлогоднюю траву — она сгорала мгновенно, как порох. Гани смотрел из окна школы на ажурную вязь карагачей с распускающимися почками, на ручьи, где отражались облака, белые, как коробочки хлопка.

— Муратбаев! Муратбаев! — вывел его из задумчивости голос учителя. — Ты что, не слышишь? Тебя в ЦК комсомола вызывают. Как когда? Прямо сейчас и вызывают. Ступай. А портфель можешь пока оставить в школе.

Перепрыгивая лужи, единоборствуя с непролазной грязью, заполнившей даже центральные улицы, Гани недоумевал, зачем и кому он мог так скороспешно понадобиться. Тем более он удивлен, когда машинистка — быстрая, подвижная, с венцом русских волос — раскрыла перед ним двери кабинета ответственного секретаря.

— А он один там? — успел шепнуть Гани девушке заговорщицки кивнув на дверь.

— Один, один. И давно уж тебя ждет. Приготовься к повышению.

Последних слов Гани не разобрал, поскольку дверь за ним уже закрылась.

Он давно знал Николая Фокина, не раз встречался с ним по самым разным делам и потому, войдя, поздоровался и тут же спросил, слегка улыбаясь:

— В чем дело, Коля? Опять ехать в Верный или разгонять басмачей?

— Мятежи, басмачи — это одно, — в тон ему ответил Фокин. — Тебе же, друг, пришла пора заняться... — Он порылся в бумагах на столе и раскрыл голубую папку. — Прочти, пожалуйста, подчеркнутое.

— Да это же резолюция Третьего съезда комсомола. Я ее и без того знаю почти наизусть.

— Читай, читай. Теперь тебе частенько придется туда заглядывать.

— «Комсомол... — медленно начал Гани, — в своей работе среди национальных меньшинств стремится прежде всего к поднятию

общего культурного и политического уровня молодежи и к самому тесному сближению между собой молодежи различных национальностей. Исходя из этого, формы нашей работы среди национальных меньшинств должны, с одной стороны, дать полную возможность молодежи различных национальностей развиваться в политическом и культурном отношении, с другой — не носить характера национальной замкнутости и обособленности, а, наоборот, способствовать единению в Союзе молодежи различных национальностей... В целях выполнения этих задач при местных комсомольских органах создавать комиссии, секции по работе среди молодежи той или другой национальности...»

— Дальше можешь пока не читать, — сказал Фокин. — Так вот, с сегодняшнего дня бюро по работе с киргизской и казахской молодежью надлежит возглавить тебе. Комната здесь, в ЦК, тебе уже выделена, завтра и приступай к работе.

— А как быть с занятиями в школе, с переводом речи Ильича? — запротестовал было Гани, но секретарь нетерпеливым жестом остановил его.

— Учиться будешь по вечерам, как и все мы учимся. Что же касается ленинского выступления на съезде, тебе пора уже закапчивать перевод. Давно пора. И сразу в печать. Кстати, сегодня же наметь программу действий на ближайшие два-три месяца. Как по-твоему, что сейчас важно для нашей работы не только в городах, но и в глубинке, в дальних аулах, кишлаках?

Гани помолчал, а потом, все более увлекаясь, заговорил:

— Главное, создать на местах крупную комсомольскую ячейку. Ведь что теперь творится — голова идет кругом. Басмачи, вредители, агенты контрреволюции, а с другой стороны — остатки разных организаций, кружков и кружочков с буржуазно-националистическим уклоном. Ты думаешь, недобитые националисты на своих сходках только тем и занимаются, что поют народные песни да говорят о культурной революции? Э-э, не только об этом. Песенки их совсем о другом. Норовят не только духовно, но и территориально отгородиться от России. Вековой гнет, мол, господство тиранов. А того не понимают, что без России, без Советской власти были бы они все жалкими рабами до скончания веков. Об этом следует говорить в народе. Для этого нам нужна повсеместно крепкая комсомольская ячейка.

Пока Гани говорил, Николай Фокин внимательно к нему приглядывался. Он и раньше неоднократно удивлялся, какой силой убеждения обладает этот внешне неказистый щуплый паренек. Теперь же секретарь ЦК понял окончательно: комсомол не ошибся в выборе, новый председатель бюро неплохо разбирается в национальных проблемах,

И вот еще что, — сказал Фокин, прощаясь с Гани. — Скоро в Туркестане начнут выходить молодежные газеты. Казахскую будешь редактировать ты. Если встретятся в чем-либо трудности, обязательно заходи ко мне. Днем, вечером, ночью — все равно заглядывай. А теперь иди бери ключи от своего нового кабинета, начинай действовать.

Дел на новой должности оказалось невпроворот. Из разных мест приходили вести одна тревожней другой. То вдруг возникнет в районе кружок мусульманской молодежи, а ежели копнуть, то никакой это вовсе не кружок, а антисоветское сборище. То жалуются на муллу, который под угрозой проклятия запретил сдавать излишки хлеба безбожникам-большевикам. То не хотят без калыма отдавать замуж девушку. То, не желая учить детей в школе, насильно увозят их в горы, в глухие медвежьи углы. Гани приходилось уговаривать, приказывать, кричать, порою даже угрожать. Напряженно, день за днем, в недосыпании и недоедании текла жизнь Гани.

Но он горячо верил в силу комсомола, высоко оценивал ответственную роль каждого комсомольца.

Вот один из таких документов, в составлении которого, возможно, принимал участие и Гани Муратбаев.

«Наказ

Центрального Комитета комсомола Туркестана студенту института просвещения комсомольцу Маггу Масанчину, отъезжающему в Семиречье на летние каникулы:

1. Где бы ни находились, Вы должны установить тесную связь с местной организацией Союза и оказать ей деловую помощь.

2. Вы, как комсомолец, не имеете права возвратиться в свое учебное заведение после каникул, не сделав что-либо на местах пребывания для поднятия культурного уровня молодежи.

3. После Вашего пребывания в аулах и кишлаках должна остаться память в виде школы грамоты, красной чайханы с газетой и литературой. Вы должны пробудить у местной молодежи желание познать окружающий мир и стать сознательным строителем нового общества.

4. То, что Вы сумеете выполнить во время каникул, будет служить мерилom Вашей способности быть в будущем сознательным борцом с темнотой и настоящим работником по поднятию культурного уровня трудящихся Туркестана».

Так, на заре нового мира начиналась борьба за будущее, за переустройство общественных отношений. Она начиналась в ту пору, когда, казалось бы, нельзя было помышлять ни о чем другом, кроме удовлетворения самых простых нужд. Империалистическая и гражданская войны оставили после себя голод, запустение, разруху, безнадворных стариков и детей. «Перед вами стоит задача хозяйственного возрождения всей страны, реорганизация, восстановление и земледелия, и промышленности на современной технической основе, которая покоится на современной науке, технике, па электричестве»^[11] — наставлял Ильич молодых строителей социализма. Великий вождь прозорливо понимал, что такую задачу можно решить только одним путем: нести в народ свет знаний. И Гани Муратбаев был одним из тех, кто считал своим гражданским долгом объяснить величие ленинских идей многим миллионам простых тружеников Востока.

По воспоминаниям и ныне здравствующего Жумагали Есиуснзова, обстоятельства появления на свет исторической речи вождя в казахском переводе были таковы:

«Стояла весна 1921 года. Не было ни бумаги, ни средств. Но Гани все это сумел достать. Теперь нужно было найти человека, который умел бы писать грамотно и красиво. Гани из числа немногих грамотных казахских комсомольцев избрал Рахата Тулешова. Писал Тулешов тушью на камне, с которого потом с большим трудом делал

оттиски. Гани не знал покоя сам и постоянно подгонял нас, пока не были сброшюрованы первые экземпляры, которые Муратбаев вручил всем, кто принимал участие в издании...

Другому ветерану комсомола, Осиану Кашкынбаеву, тоже довелось работать с Гани Муратбаевым. В его воспоминаниях есть интересный эпизод:

«В 1920–1921 годах я учился в Ташкентском казахско-киргизском институте просвещения. В начале апреля 1921 года я и мой сокурсник Рустембек Кыстауов были приглашены в ЦК комсомола Туркестана к Муратбаеву. Когда мы явились к нему, то увидели, что в его кабинете находятся много других студентов — казахов, киргизов, которые учились в других учебных заведениях Ташкента, Гани был немногословным, Он прямо начал с того, что в кочевых аулах Сырдарышской и Семиреченской областей по существу, нет ни одной постоянно действующей комсомольской ячейки и некому заниматься политическо-просветительной работой среди молодежи. ЦК комсомола предлагает нам в период летних каникул выехать в Верный, Аулие-Ату (Джамбул), Перовск (Кзыл-Орду), Казалинск, Чимкент и оказать помощь уездно-городским комитетам комсомола в создании комсомольских ячеек в кочевых аулах, проведении агитационно-массовой работы. Перед нами была поставлена еще одна важная задача: принять активное участие в сборе продовольствия для голодающих. Дело в том, что 1920–1921 годы были неурожайными, в стране, особенно в Центральной России, Поволжье, западных областях Казахстана, царил голод, и партия поставила перед Туркестанской республикой задачу — снабдить их продовольствием.

15 апреля 1921 года мы выехали на место. Перед отправкой сфотографировались вместе с Муратбаевым. Этот снимок до сих пор бережно хранится у меня. Я с Рустембеком Кыстауовым был направлен в распоряжение Казалинского уездно-городского комитета комсомола. Нам в основном пришлось работать среди молодых аральских рыбаков. Мы создали несколько комсомольских ячеек и снарядили эшелон с рыбой, который в 1921 году был отправлен в Москву.

Я часто перечитываю знаменитую телеграмму В.И. Ленина аральским рыбакам, в которой он благодарит их за помощь голодающим, и вспоминаю боевые будни тех лет».

На борьбу с голодом, который распространился по всему Казахстану и по низовым губерниям Поволжья, были мобилизованы все делегаты I съезда комсомола Казахстана (съезд состоялся в Оренбурге в июле 1921 года). Естественно, прежде всего надлежало позаботиться о детях. Положение было катастрофическим. Грязные, оборванные подростки, тысячными толпами стремившиеся добраться в Ташкент — город хлебный, нигде не могли найти пристанища и пропитания. Приходилось скороспешно организовывать детские дома, коммуны, интернаты, открывать биржи труда, ячейки содействия, заботиться о 6-часовом рабочем дне для несовершеннолетних и т. д. Теперь-то Гани Муратбаеву и его сподвижникам пригодился опыт подобной: работы под руководством В.В. Куйбышева!

«Мы еще не успели ликвидировать последствия голода в Туркестане, как эта беда нагрянула в северо-западные районы Казахстана, — делился воспоминаниями Алимгерей Ершин, бывший в те времена пленом правительственной комиссии по оказанию помощи голодающим детям. — Комсомольцы Туркестана сразу откликнулись на просьбу своих сверстников помочь им в борьбе с голодом детей. Опираясь на помощь Компартии и правительства края, изъявивших готовность принять на попечение Туркестанской республики не менее 100 тысяч человек голодающих из Казахстана, мы наряду со сбором продуктов питания, одежды организовали новые детские дома и интернаты. Если в Ташкенте до начала 1921 года было всего 4 интерната, то в течение года стало 14, где воспитывалось около 9-10 тысяч ребят.

Комсомольцы Казахстана и Туркестана совместно организовывали рейды по железной дороге от Чимкента до Оренбурга, собирали беспризорных, умирающих на дорогах детей, подростков и доставляли их в Ташкент и другие районы Средней Азии.

В течение 1921–1922 годов нами было вывезено из Казахстана на 24 санитарных поездах около 17 тысяч детей».

Прошло полгода с тех пор, как Гани Муратбаев возглавил бюро по работе с казахской и киргизской молодежью. В отчетном докладе III съезду комсомола Туркестана ответственный секретарь Николай Фокин, рассказав о плодотворной деятельности бюро, особо отметил самого Гани, его умение сплотить молодежь, его авторитет среди товарищей. Несколько позднее делегат съезда Мария Потрепалова

писала в казахстанской газете «Комсомолец»: «Собрались мы на съезд еще неопытные, еще неумело нащупывающие формы работы комсомола в условиях начавшейся новой экономической политики.

Помню, как оживилось и закипело все с появлением Гани. Будучи сильной натурой, он внес много нового в работу комсомола Туркестана.

Где бы ни появлялся тов. Гани, там сразу оживлялась и поднималась работа. Вся его сила воли была отдана организации...»

На своем заключительном заседании съезд единодушно проголосовал за избрание Муратбаева членом Центрального Комитета УСМ Туркестана,

Вскоре только что избранный секретарь уезжает на IV съезд комсомола в Москву. Красная столица оставила в душе Гани впечатление неизгладимое, восторженное.

Гани сожалел, как коротко, мимолетно это свидание с Москвой — время на съезде было расписано буквально по минутам. На съезде он познакомился с Петром Смородиным, Николаем Чаплиным, Александром Мильчаковым. Гани рассказывал им о положении дел в Средней Азии, интересовался, какие изменения внесет в деятельность молодежных организаций новая экономическая политика. После нескольких таких встреч его новые друзья сразу же отметили в нем все то, что обычно выделяло Гани: его недюжинный ум и начитанность.

Когда съезд закрылся, Гани отыскал в президиуме Петра Смородина, поздравил его с избранием генеральным секретарем и начал торопливо прощаться.

— Пстой, как так уезжаешь? — удивился Петр. — Да ты же собирался денька три-четыре побродить по Москве, в библиотеках посидеть. Оставайся. Гостиница за тобою забронирована. Расскажешь поподробнее о туркестанских делах.

Гани достал из кармана вчетверо сложенную телеграмму, помахал ею в воздухе:

— Не могу, друг. Вот известие пришло; басмачи оживились, сволочи. В Самаркандской области банды настолько осмелели, что многие комсомольские ячейки либо самораспустились, либо ушли в подполье. Так что басмачам надо дать по зубам, да основательно. Потому сегодня и уезжаю.

Смородин помрачнел и сказал:

— В подполье, говоришь, силятся загнать комсомолию? Кукиш с маслом, ничего у них не выйдет. Езжай, Гани. Со своей стороны мы кое в чем тебе поможем. О том, как развернутся события, докладывай регулярно, притом лично мне. Ну прощай. Мы с тобой не раз еще свидимся, попомни мое слово.

Возвратившись в Ташкент, Гани узнает, что басмачество разгулялось вовсю. А в Ура-Тюбинском районе шла настоящая война между ними и отрядами ЧОНа. Гани тут же принимает решение: немедленно ехать в Самарканд. В мандате, выданном ЦК Компартии Туркестана, Муратбаев наделялся чрезвычайными полномочиями.

«Муратбаев Гани командирован в Самарканд как представитель Центрального Комитета КСМТ при Самаркандском областном комитете КСМТ.

Тов. Муратбаев имеет право приостанавливать постановления обкома, распускать и создавать организации, делать переброску работников как в Самаркандской области, а также и в распоряжение ЦК...»

Он приехал в древний город поздно вечером. На фоне звездного неба чернели купола, минареты. Улицы были безлюдными, ничто не нарушало глухой, давящей тишины. Казалось, город вымер. Однако в горкоме несколько окон светилось, там мелькали какие-то тени. Гани легко взбежал по ступеням. Навстречу ему уже спешил здешний секретарь, распахнув, как для объятий, короткие руки.

— Не обессудь, Гани, что не встретили, мы ждали тебя завтра утром, — начал было он, но осекся под пристальным взглядом Муратбаева.

— Значит, в подполье уходят ячейки. Стало быть, как мыши, будем прятаться от басмачей, разбежимся по норам, да? На нелегальное перейдем положение, да? В колодцах высохших, в пещерах, в шалашах укроемся? — Вопросы, задаваемые Гани, падали жестко и резко.

Секретарь начал оправдываться, ссылаясь на нехватку людей, оружия, продовольствия, на коварство подлых врагов.

— Лошади к утру найдутся? — спросил Гани. — Свежие, заседланные и не клячи какие-нибудь, а настоящие скакуны?

— Сколько лошадей?

— Чтобы хватило на всех, кто завтра ровно в пять ноль-ноль поскачет вместе со мною в Ура-Тюбе. В том числе и о себе позаботься — поедешь моим заместителем.

Секретарь побледнел, нагнулся к Гани и зашептал на ухо:

— Вчера там опять двух учителей убили. А на прошлой неделе шестерых красноармейцев. Поймали их у реки и... — Он оттопырил указательный палец и провел им по горлу.

Гани сощурил глаза и отрезал:

— Значит, договорились. Выступаем в пять ноль-ноль. А ты уж сам реши, какой компанией нам ехать — вдвоем, впятером, вдесятером. Тебе виднее. И не забудь — по приезде в район сразу же, в тот же день, организуем боевой отряд.

Вскоре главари басмаческих банд почувствовали, что обстановка складывается далеко не в их пользу. Бывший командир красных конников, сражавшихся тогда в Ура-Тюбинском районе, а ныне старейший художник, заслуженный деятель искусств Валентин Антощенко-Оленов во всех подробностях помнит, как с появлением отряда, возглавляемого Гани Муратбаевым, наметился перелом в безуспешной дотоле борьбе с контрреволюционерами. Перелом произошел прежде всего потому, что ряды красноармейцев начали пополняться местной молодежью, которая хорошо знала все уловки басмачей.

«Комсомольцы-добровольцы воевали с врагами отчаянно. Мне особенно запомнился случай, когда один из них с юной супругой, тоже комсомолкой, до последнего патрона отстреливались от озверелых басмачей и погибли. Жаль, что тогда я не записал их имена в свой неизменный спутник — дневник. Наконец Ура-Тюбинский район был очищен от басмачей, и по всей Самаркандской области установилось относительное спокойствие, люди вновь приступили к мирному труду».

...Однако и мирный труд в условиях нэпа давался нелегко, особенно для батрацкой, дехканской молодежи, которая снова попала в зависимость от своих прежних хозяев. 17 марта 1922 года, выступая на I конференции КСМТ, Гани Муратбаев говорил: «Задача комсомола — объяснить молодым, дехканам, что нэп — это временное явление. Надо во что бы то ни стало восстановить народное хозяйство. Для этого требуются от них терпение и организованность». Развивая эту

мысль, Гани отметил, что нэп отразился не только на экономическом положении молодежи, но и привел к ряду идеологических, духовных сдвигов, к оживлению внутренней контрреволюции. Следовательно, комсомольским организациям надлежало решительно вести борьбу с нездоровыми настроениями, усилить разъяснительную работу среди широкой массы трудящейся молодежи, принять меры к укреплению рядов комсомола, направить все силы на восстановление народного хозяйства республики. В заключение Гани предложил почтить вставанием память комсомольцев, погибших в борьбе с басмачами.

Гани недаром призывал к укреплению рядов комсомола. Часто в Союз молодежи старались пролезть сынки феодалов, крупных промышленников — для них это было удобным поводом «деклассироваться», «смешаться с народом». С другой стороны, порою в комсомол принимали тех, кто даже отдаленно не представлял себе его целей и задал.

«У нашей трудящейся молодежи еще недостаточно развито классовое самосознание, — писал Гани Муратбаев в одной из своих статей. — Она в большинстве инстинктивно стремится в комсомол. В этом отношении более революционным элементом является рабочая, батрацкая и дехканская молодежь. Трудящаяся молодежь видит в комсомоле не только своих защитников в экономическом отношении, но и в духовном. Она знает, что комсомол дает ей знания, общественное развитие и политическое воспитание... Быть членом комсомола для них — великая честь».

В мае 1922 года, незадолго до открытия II Всероссийской конференции комсомола, в кабинете Куйбышева (он был в то время секретарем ЦК партии) обсуждалось предложение о необходимости создать Среднеазиатское бюро ЦК РКСМ.

— Кого предлагаете ввести в состав нового бюро? — спросил Валериан Владимирович у Петра Смородина. Тот отвечал не раздумывая:

— Прежде всего Муратбаева Гани. Он в прошлый приезд в Москву рассказывал мне о борьбе с басмачами, об опасностях нашего движения в Туркестане. Так я его, Валериан Владимирович, слушал часа полтора, не перебивая. Светлейшая голова. У нас на окраинах подобных вожakov раз, два и обчелся.

— Я хорошо знаю Гани еще по Ташкенту, — улыбнулся Куйбышев. — Да и Фурманов не раз его вспоминал: оказывается, однажды в Верном Гани прочитал красноармейцам целую лекцию об исторической миссии русского народа в деле революционного освобождения Востока. Да, оратор он первостатейный: и звонкоголос, и остроумен. К тому же и работник отменный. — Куйбышев быстро записал что-то в календаре. — Кстати, пригласите его завтра утром ко мне. Нужно будет привлечь Гани к разработке положения о Среднеазиатском бюро. Теперь переходим к следующим кандидатурам...

В постановлении ЦК РКСМ о создании Среднеазиатского бюро, в частности, говорилось:

«Среднеазиатское бюро объединяет союзные организации Туркестана, Хивы, Бухары и имеет свои задачи:

а) руководит работой этих организаций, как полномочное представительство ЦК РКСМ в Средней Азии, ответственное за постановку союзной работы в них, на основе постановления конгрессов КИМа, Всероссийских съездов и конференций РКСМ, применяя их к местным социально-бытовым и культурно-политическим условиям;

б) направляет практическую деятельность центральных комитетов Туркестана, Бухары, Хивы, концентрирует опыт их деятельности, поддерживает тесную связь этих организаций с ЦК РКСМ...»

Создание Среднеазиатского бюро было ответом партии и комсомола национал-уклонистам всех мастей, которые настойчиво проповедовали теорию пантюркизма. По их взглядам, среди местного коренного населения в Средней Азии не было классовых противоречий точно так же, как не существовало национальностей, а был единый тюркский народ. Некоторые горе-теоретики договорились до того, что потребовали официально назвать Коммунистическую партию «тюркской». Оппозиционеры пытались подорвать в глазах трудящихся освободительный, характер Великой Октябрьской социалистической революции, опорочить ленинскую национальную политику. И порою им это удавалось. Сказывалась отсталость широких народных масс (в Туркестане, например, было всего 3 процента грамотных). Важно было противопоставить мелкобуржуазной идеологии политику равенства и дружбы всех без исключения народов,

наций, племен. Этой задаче была подчинена деятельность комсомольских организаций.

В документе, вошедшем в историю туркестанского комсомола под названием «Тезисы тов. Муратбаева», есть замечательные строки, не утратившие своей актуальности и по сей день:

«а) считать главной задачей КСМТ скорейшее оформление Союза организации трудовых слоев молодежи, прилагая усиленные меры к внедрению в ее сознание общности интересов трудящихся, что может обеспечить интернациональное воспитание;

б) ознакомить массы членов КСМТ с революционными движениями российского и международного пролетариата, с историей и Программой РКП (б), юношеского движения в различных странах, Октябрьской революцией по отношению к ранее угнетенным нациям, систематически ставя эти вопросы на собраниях ячеек, секретарей, организаторов кружков и т. д.».

За год, прошедший после организации Среднеазиатского бюро, Гани исколесил буквально всю Среднюю Азию. В Киргизии, Казахстане, Туркмении, Таджикистане, не говоря уже об Узбекистане, — везде он оставил о себе добрую память. Он поднимался на джайляу — высокогорные пастбища, пересекал пустыни, переправлялся через бурные, стремительные реки.

После того как Гани побывал в Пишпекском уезде, в семиреченскую областную газету «Гилши» прислал письмо батрак Тастанбек Сулейманов: «Вот уже три-четыре года, как организация коммунистической молодежи расправила свои крылья в Семиречье. Раньше мы знали только название этой организации, но не знали, что она собой представляет, потому что в нее влезли байские сынки, и в организации молодежи до осени текущего года не чувствовалась ее классовая сущность.

Мы и раньше слышали, что у нас есть руководители, которые заботятся о нуждах и интересах батрацкой молодежи и что они организуют бедняцко-батрацкую молодежь вокруг комсомола. Мы же, все еще находясь в бесправном состоянии, думали идти к ним с жалобой на нашу горькую долю.

В начале августа 1923 года в Пишпекском уезде побывали прибывшие из Ташкента товарищи Муратбаев и Амиров. Они проверили социальный состав ячеек, подолгу беседовали с членами

союза, разъясняли им необходимость сплочения бедняцкой молодежи вокруг комсомола.

Бедняцко-батрацкая молодежь становится сознательной, она войдет в союз и будет стремиться к утверждению классового равенства. Принимается за дело батрацкая молодежь и других местностей».

Гани был деятелен, неутомим, пренебрегал отдыхом, покоем, вдохновлял своим примером и других. Все удивлялись его железному здоровью, и только один Гани знал, что стоит казаться на людях богатырем, а по ночам сдерживать кашель, рвущийся из груди. Эти хрипы и свисты в легких он заметил уже давно, но сначала не придавал им никакого значения: обычная простуда, думал он, выпить горячего чая с медом, отоспаться — и как рукой все снимет. Но боль в груди все чаще напоминала о себе, и однажды, отирая платком рот, он заметил на платке кровь. Взял ненадолго отпуск (стояла весна 1923 года), съездил в родной Казалинск, повидал друзей детства, отдохнул от забот. Кашель вроде бы прошел. А потом Гани опять забыл о себе в сумятице бесчисленных выступлений, переездов, заседаний.

«...Шаг за шагом мы упорно двигаемся вперед к той цели, которая всегда стоит перед нами. Пять лет борьбы и работы дали нам многое, мы многому научились, многое получим в будущем. Мы прекрасно знаем, что все, что мы получили и получаем, добыто передовой группой, отдавшей все, что можно дать, в первые дни борьбы и работы славного комсомола. В этой группе состоишь и ты. Первые дни работы, первые тяжести легли на твои плечи; ты с честью их вынес и смело несешь вперед славное знамя комсомола...»

Эти строки взяты из поздравительного адреса руководителей Туркменской областной организации, посланного Гани Муратбаеву 29 октября 1923 года, в день пятилетнего юбилея комсомола.

Тогда же вожак Туркестанского комсомола в статье «На грядущие победы», которая была опубликована в газете «Юный Восток», писал: «...Задачи привлечения молодежи в ряды комсомола, участие ее в гражданской войне, организация революционного молодняка являлись задачами громаднейшей сложности и трудности. Территориальная распыленность, национальная разнородность, экономическая и культурная отсталость Туркестана, влияние байских элементов и духовенства тормозили работу комсомола. В институтах просвещения,

в интернатах, среди детей улиц стали появляться первые комсомольские ячейки. Теперь это область воспоминания. Теперь мы имеем определенные задачи, оформленные организации, мы крепким фронтом двинулись на борьбу за знания, и это захватило всю молодежь... В этом многим помог РКСМ.

Если мы сейчас имеем крепкий комсомол, если движение молодежи докатилось до Памира, захватило высокие горы и широкие степи Туркестана, если мы стали действительным авангардом на Востоке, то в этом еще раз сказалась победа и мощность Российского союза молодежи...

В дружном единении мы вместе закрепляем позиции Октября и поднимаем факел пролетарской революции в угнетенных восточных окраинах.

Вместе идем мы на грядущие победы — в этом наша сила и крепость...»

Беда нагрянула поздней осенью 1923 года. Ветреным, пасмурным днем у Гани пошла горлом кровь. Врачи были единодушны в диагнозе: туберкулез. Сказалось нечеловеческое напряжение последних лет, бесконечные командировки, хроническая бессонница. В санатории Гани отказался поначалу ехать наотрез: слишком много было дел. И все же ему пришлось в конце концов уступить. Но и оказавшись на лечении в Сухуми, он постоянно держал связь с Ташкентом и Москвой. Из Москвы шли тревожные вести. 5 декабря 1923 года Лев Троцкий вкуче со своими единомышленниками выступил с фракционным манифестом против генеральной линии ЦК, озаглавленным «Новый курс». Девять членов ЦК РКСМ — Смородин, Леонов и другие — немедленно опубликовали в «Правде» письмо «О двух поколениях», где дали достойную отповедь политическим отступникам в комсомоле, которые пытались обвинить старые большевистские кадры в буржуазном перерождении, противопоставить молодежь испытанной в боях партийной гвардии, утверждая, что «барометром» партии является учащаяся молодежь, и т. д.

Когда в Сухуми пришла печальная весть о смерти Ильича, Гани попытался самовольно покинуть санаторий и немедленно ехать в Москву. Однако врачи и друзья решительно этому воспрепятствовали: здоровье

вожака туркестанского комсомола внушало серьезные опасения. В январе 1924 года в связи с непрекращающимися вылазками троцкистов состоялся пленум ЦК РКСМ. В его постановлении, в частности, говорилось:

«Признавая правильной политическую линию Центрального Комитета партии во всех вопросах политической и хозяйственной жизни республики и организационного строительства партии, пленум ЦК РКСМ высказывается... решительно против попыток противопоставить молодежь старшему поколению, партии, ее большевистскому костяку, ее испытанному руководящему штабу. Пленум считает, что лишь под руководством старой гвардии партии, окрепшей и выросшей в боях не только против буржуазии и царизма, но и против оппортунизма, придет вся партия, а с ней и ее молодежь к закреплению политического могущества и хозяйственной мощи нашей первой в мире пролетарской республики, придет к победе революции. Комсомол с каждым годом все более становится основным источником, из которого партия, находящаяся на пути к победе, но стоящая еще перед суровыми боями, будет черпать свежие рабочие силы для пополнения своих рядов. Выдвижение этих новых сил, дальнейший рост и воспитание молодежи мы не мыслим себе иначе, как на основе ленинизма — испытанной теории и практики революционного пролетариата».

Гани казалось, что здесь, вблизи неприветливого, штормящего моря, он оторван от жизни, что главные события обходят его стороной. А тут еще в Сухуми пожаловал сам Троцкий. Видимо, он решил набраться сил и энергии для дальнейших своих политических вылазок. «В нашей санатории появился «Арыстан»,^[12] сказывается больным и утверждает: «Выздоровею». Едва ли», — с иронией сообщал Гани одному из своих друзей в письме от 5 февраля 1924 года. Гани не раз возмущался, какие почести воздают Троцкому его прихлебатели и изустно и в печати. «Вы поглядите, поглядите, — говорил Гани товарищам по палате, потрясая каким-то журналом. — Надо же додуматься, стихи хвалебные о Троцком пропечатали, целую оду какой-то щелкопер излил в рифмах. Уста его лирического героя хотят произнести слово «любимая», а вместо этого, видите ли, слышится: «Лев Троцкий». Да я за такие вирши к стенке бы ставил продажных писак! Потомки прочтут когда-нибудь — краснеть за нас им придется!

Нет, такое терпеть неумоготу. Сегодня же напишу письмо Петру Смородину! Может, разрешит бросить этот проклятый санаторий!»

В конце концов он не выдержал и сбежал в Москву.

«Гани, несмотря на наше запрещение о досрочном выезде из Сухуми, неожиданно появился в Москве во второй половине февраля 1924 года, — вспоминал член тогдашнего Бюро ЦК РКСМ Сергей Николаевич Белоусов. — Я с большим удовлетворением могу сказать, что при первой же встрече Гани выразил свою радость по поводу разгрома последователей Троцкого в нашем союзе и решения Пленума ЦК о присвоении имени Ленина РКСМ и Всесоюзной пионерской организации. Особенно запомнилась мне беседа с Гани о том, как нужно организовать па месте, в Туркестане, борьбу с вылазками троцкистов, как нам лучше выполнить заветы Ильича и провести ленинский призыв в комсомол... Пробыв в Москве день-два, Муратбаев выехал в Ташкент...»

В Ташкенте уже цвел дикий миндаль и продавали букеты первых цветов. Азиатская весна вдохнула в Гани свежие силы. Как и прежде, он работал с упоением, просиживая до глубокой ночи. В скором времени предстояло создание национальных республик, суверенных государств, состоящих в братском союзе с другими советскими народами. Надо было заботиться о подборе комсомольских кадров, об издании новых газет и журналов, о строительстве новых клубов, театров, Дворцов культуры. Среди всех этих поистине необозримых дел и обязанностей Гани выкраивал время поработать над докладом на предстоящем V съезде комсомола Туркестана — следовало отчитаться за три года бессменной работы на посту ответственного секретаря.

Однако сам Гани на съезде доклад прочесть не смог. К середине июня болезнь настолько обострилась, что по настоянию Центрального Комитета партии Туркестана и Средазбюро ЦК РКСМ он вынужден был лечь в больницу. Здесь к Гани пришла радостная весть: правительство Хорезмской республики наградило его Красным Орденом Труда ХССР. В мандате значилось: «Дан тов. Муратбаеву, вождю трудящейся молодежи в Средней Азии, в том, что он согласно постановлению третьего Всехорезмского курултая комсомола Центральным Исполнительным Комитетом награждается Красным Орденом Труда ХССР за проявленную им энергию и руководство

работой комсомольских организаций в Средней Азии, в частности Хорезма, что удостоверяется подписями и приложением печати».

Приходили друзья, делегаты Всетуркестанского съезда, поздравляли своего вожака с наградой, желали как можно скорее выздороветь. Превозмогая боль в груди, Гани грустно улыбался, задавая вопросы, шутил.

Болезнь не отступала. Все же он нашел в себе силы, несмотря на категорические запреты, уехать через полмесяца в Москву, к началу VI съезда комсомола. На этом съезде он был единогласно избран членом ЦК РЛКСМ, а вскоре стал членом Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала Молодежи. Его сподвижник по этой работе Александр Мильчаков спустя полвека вспоминал:

«Мы вместе учили иностранные языки: Муратбаев — английский, я — немецкий и французский. Муратбаеву в Исполкоме КИМа поручили заведовать восточным отделом, я был включен в работу отдела романских стран и отдела по работе среди крестьянской молодежи.

Собрались втроем, Гани, Чаплин и я, по-товарищески делились раздумьями, предположениями, беседовали о кимовских делах и о всесоюзных. Так продолжалась наша дружба, которую прервала только смерть Гани...»

Он умер 15 апреля 1925 года после тяжелой болезни, не дожив даже до двадцати трех лет. Никто не знает, о чем он думал в последние мгновения своей короткой неистовой жизни, безраздельно отданной революции. Быть может, он вспоминал детство, Казалинск, первые дни революции. Или, как тогда, на пути в Верный, он мысленно поднимался над прекрасной многострадальной родиной. И плескался Балхаш на севере и на востоке, в выжженных песках, лежала, как ветвь саксаула, река Или, и Тянь-Шань на юге слепил белизною вечных снегов, и самумы на западе клубились...

Его провожали в последний путь, на Ваганьковское кладбище, тысячи и тысячи комсомольцев, и двести моряков Балтийского флота стояли в почетном карауле у его гроба. А когда начался траурный митинг, ученик и соратник Ленина Николай Ильич Подвойский сказал:

«Смерть не щадит и тех, кто должен идти на смену старшим. Мы лишились крупной фигуры Советского Востока, лучшего побегу большевизма, умеющего не только умереть, но и победить. Товарищ

Муратбаев сгорел от непосильного труда, от которого он не мог и не хотел отказаться».

Сейлхан АСКАРОВ

Макар МАЗАЙ

Уже вышли из цехов новых советских заводов первые сотни тысяч тракторов и первые десятки тысяч комбайнов; по дорогам и проселкам страны неслись автомобили с эмблемами Горьковского и Московского автомобильных заводов.

С лихвой перевыполнен был план ГОЭЛРО. Новые железнодорожные пути соединили Сибирь со Средней Азией и Уралом. Поднимались громады новых и новых заводов.

Взятый советской экономикой старт не знал прецедентов. И при всем том темп экономического роста мог быть еще более высоким. Но в стране не хватало стали, хотя выплавка ее выросла по отношению к самому высокому уровню дореволюционного времени (1913 г.) в три раза. Уже варили сталь Магнитогорск и Кузнецк, «Азов-сталь» и «Запорожсталь»... Омолодились и старые заводы — Макеевский, Днепродзержинский. А стали все не хватало. Недостаток черного металла приходилось восполнять ввозом из капиталистических стран.

Задачей задач было отыскать резервы для дальнейшего повышения выплавки стали. О том, что такие резервы имеются, обстоятельно говорили на состоявшемся в ноябре 1935 года Первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев новаторы этой отрасли.

Участник Всесоюзного совещания стахановцев, сталевар завода имени Дзержинского Денис Дегтярев добился небывалого в то время съема — почти десять тонн с квадратного метра вместо трех-четырёх тонн, которые давали на других печах. На вопрос, в чем состоит его метод, Дегтярев в своей речи на совещании сказал просто: «В том, что стали лучше работать, больше заботиться, чтобы задержек не было».

И в Таганроге тоже сделали попытку перейти до тех пор неприступный рубикон — съем в три-четыре тонны с квадратного метра. Сразу же за Дегтяревым на кремлевскую трибуну поднялся таганрогский сталевар Дмитрий Бобылев.

«Мы не рекордисты и не спортсмены, — говорил он. — Но мы задались целью обнаружить прорехи, через которые утекает время —

часы и минуты. Ведь потерянные минуты и часы — это потеря десятков, сотен килограммов стали».

Бобылев говорил уже о съеме в 12 и даже 14 тонн с квадратного метра пода печи. А затем сталевар с завода имени Коминтерна в Днепропетровске Алексей Сороковой привел цифры — сколько минут и часов удастся им сэкономить на каждой плавке.

И Бобылев, и Дегтярев, и Сороковой объясняли свои первые успехи лишь тем, что они навели на рабочих местах элементарный порядок, стали считать и беречь минуты — и ничего более. И на других заводах крепко задумались о том, как повысить выплавку. Сталь нужна была стране до зарезу. И вот первые вести: 8, 9, 10, 12 тонн с квадратного метра пода мартеновской печи.

Вопрос о том, как добиться увеличения выплавки стали на действовавших печах, был в центре внимания состоявшегося в июне 1936 года совета при наркомате тяжелой промышленности — этом хозяйственном парламенте страны.

«Мы сегодня даем, — говорил народный комиссар тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе, — 42, 43, 45 тысяч тонн стали в сутки. Нам этого мало. Надо давать в сутки в календарное время 60 тысяч тонн стали в натуре.

Могут ли это дать наши металлурги? Могут!»

Товарищ Орджоникидзе привел убедительные цифры.

«Мы имеем, — говорил он, — около 10 тысяч квадратных метров площади пода мартеновских печей... Надо для получения 60 тысяч тонн в сутки снимать с квадратного метра площади пода мартеновских печей только 5,5. А мы сегодня имеем больше 33 мартеновских печей, дающих от 5,5 до 8 1/4 тонны съема с квадратного метра площади пода мартеновской печи, а нам надо для выполнения суточной выплавки — 60 тысяч тонн — только 5,5 тонны.

То, что достигнуто на 33 печах, надо распространить на все печи».

Обратите внимание: в обоих случаях ударение на слове «только».

Пять с половиной тонн с квадратного метра пода! Кажется, не так уж и много, если давали уже и по девять, и по десять тонн. Однако средний съем на всех мартеновских печах Союза тогда был меньше четырех. Подъем предстоял нелегкий. Все говорило, однако, за то, что нашей индустрии он посилен.

Кто же первый поднимется в наступление?

В дореволюционное время все металлургические заводы юга страны принадлежали иностранному капиталу. Места для постройки заводов выбирали там, где залегают уголь или железная руда — два главных компонента, необходимых для производства металла. Несколько заводов расположилось у моря — не так далеко от руды и угля и благоприятные возможности для вывоза металла за границу.

Вблизи города Мариуполя (ныне город Жданов) обосновались два завода: один «Русский провиданс» (бельгийский капитал), другой — Никополь-Мариупольский (капитал американский). В короткий срок на просторных приазовских степях стали дымить заводы. Оборудование привезли не новое, а бывшее в употреблении.

Заводы эти, как и все другие капиталистические предприятия, росли и развивались за счет зверской эксплуатации рабочих.

В годы гражданской войны они были порядком разрушены. Советская власть их восстановила и объединила в одно предприятие, ему дали имя Ильича.

Металлургический завод имени Ильича не вошел в список подлежащих реконструкции или модернизации. Производство на нем оставалось почти таким же, каким оно было в дореволюционное время.

Здесь и встретились два молодых человека: сталевар Макар Мазай и инженер Яков Шнееров. Впрочем, в момент их встречи, в 1932 году, Мазай был лишь третьим подручным сталевара.

...Макару Мазай было двадцать лет, когда он впервые попал на металлургический завод, но он уже успел много пережить, много перенести.

Отец и дед Макара переехали на Кубань в начале 900-х годов. Малоземелье и голод погнали их с родной Полтавщины в этот край. О Кубани говорили как о стране чудесных богатств. Вот и потащились они туда со своим скудным скарбом. Однако их надежды зажить сытой жизнью не оправдались. Мазай поселились в станице Ольгинской, вблизи Азовского моря. Там было много полтавских. Это была кулацкая станица. Несладко было бедным, бездомным людям смотреть на чужую сытую жизнь. Мазай жили на хуторе в семи километрах от станицы, батрачили у попа. Так хутор и назывался — Поповским.

Зимой Никита Мазай уходил на заработки на железную дорогу. Ездил он в Баку. И где он только не перебивал в поисках куска хлеба!

Когда Макару было четыре года, отца взяли на войну, вернулся он зимой 1918 года в крещение, или, как говорили, в «холодную кутью». Его уже и не ждали. Мать решила, что он убит, — ведь долгие месяцы от него не было никаких вестей. Первая радость встречи прошла, и снова надо было думать о куске хлеба. Никита Мазай ходил сумрачный. Были у него в то время стычки с дедом.

— Так, стало быть, ты в большевики вышел?! Антихристом стал, — корил его дед.

В начале весны дед сказал, что надо бы сходить к попу, договориться о работе, тогда у них крупная ссора и вышла.

— Весь век мы будем холопами, что ли? Землю переделить надо, вот что! — кричал отец.

Дед не соглашался. Он говорил, что земля искони казачья.

Тогда Макар впервые услышал из уст отца слово «Ленин». Отец говорил, что бедняки должны объединиться и взять землю.

Однако весной 1918 года станица сеяла еще по-старому. Кулаки понимали, что пробил их последний час, и стали организовываться в отряды. И беднота организовала свой военный отряд, в который вошло около двухсот человек. Командиром избрали казака из бедняков Планиду, а Никита Мазай был у него в помощниках.

Началась гражданская война. В 1919 году возле станицы Прохладной Терской области Никита Мазай попал в плен, беляки его долго мучили и зарубили.

Макар перешел жить к тетке. Держала она его не из милости, он у нее работал по хозяйству. Но это продолжалось недолго. Не научился еще Макар читать — только полгода походил в школу, как его отдали батрачить на соседний хутор Бейсуг, к кулаку, фамилия его была Черныш. Работать приходилось много, хозяин выматывал из парнишки все силы, бил нещадно. Макар попал в больницу. После выхода из больницы вернулся к матери, но она снова вышла замуж, а отчим смотрел на парня косо, куском хлеба попрекал.

Пришлось Макару уйти из дому. У него было немного денег — профсоюз Работземлес помог ему взыскать за работу у Черныша, и он поехал в Ростов-на-Дону. Там попал в компанию беспризорных.

Беспризорничал полтора года. Думал все о том, чтобы вернуться домой, но не решался. Написал письмо. Вскоре пришел ответ — мать писала: пусть приезжает, отчим выгонять его больше не будет. Все же, когда приехал, он не решился войти в дом. Дождался, пока из дома вышел младший брат. Макар его окликнул. На задворках в укромном месте они вели беседу о... жизни.

Брат спросил его:

— Хорошо так жить?

Макар задумался и тихо, очень тихо ответил:

— Нет, не дюже. Плохо так жить. Как затравленная собака.

Макара давно тянуло к комсомольской молодежи. Вечером он пошел в станичный комитет, рассказал обо всем: как жил, как попал к беспризорным. Вспомнил, конечно, и об отце. Слушали его хорошо, внимательно. «Исповедь» свою Макар кончил так:

— Отбился я от людей. Вы как знаете — примете к себе или же мне к беспризорным возвращаться?

Макара устроили на работу в сельскохозяйственное товарищество. Он пас скот, работал в хлебопекарне, ездил помощником проводника эшелона со скотом из Кубани в Москву. Три дня пробыл он в Москве и решил перебраться в город, на завод.

Вернувшись в свою станицу, Макар пришел в комсомольский комитет, попросил, чтобы его послали на завод. Уже шла индустриализация, люди на заводах нужны были. Ему вместе с четырьмя односельчанами, его ровесниками, дали направление на завод.

И вот они пятеро едут из станицы Ольгинской на металлургический завод в город Мариуполь. Их путь лежит через Ростов-на-Дону. Там пересели на пароход, расположились на корме.

Наступил вечер. Поели, напились чаю. Макар лежал на спине и смотрел на звездное небо.

— Который здесь будет Марс? — спросил он у оказавшегося рядом человека в пенсне.

— А почему вы об этом спрашиваете меня? И к чему вам Марс понадобился? — вопросом на вопрос ответил незнакомец.

— Вы мне показались человеком ученым, — сказал Макар. — А о Марсе я в книжке читал.

В больнице, в которую Макар попал после того, как его избил хозяин, ему кто-то дал книжку о марсианах. И хотя читал Макар по складам, книга эта его заинтересовала и запомнилась.

Человек посмотрел на небо, долго искал и наконец смущенно ответил:

— Не найду. Небо сплошь усеяно звездами, и откуда их столько! А вот и звезда упала...

— И что с ней будет? — спросил Макар. Незнакомец задумался, стал объяснять:

— Это я зря так сказал — не звезды падают, а метеориты. Они приносят нам из вселенной железо, какого на земле нигде не найдешь.

Макар был удивлен.

— То есть почему это не найти?!

— А потому, что чистое железо в земной атмосфере не сохраняется.

— То есть как? — продолжал допытываться Макар. — А вот мой нож, например?..

— Это ты ошибаешься, брат. Нож у тебя стальной. А сталь — это железо с примесями. Чистое же железо на земле не сохраняется.

— Вы, хлопцы, куда направляетесь-то? — спросил незнакомец, чтобы окончить разговор о Марсе. — Не в Мариуполь ли? Вот там на заводе вы увидите, сколько человеческого труда требуется, чтобы из бурого камня получить такую сталь, какая нужна хотя бы для этого ножичка. Повидаете и поймете.

— А вы-то не с завода?

— Оттуда.

— Верно, инженер?

— Нет, бухгалтер. Только дело это мне знакомо. На этом заводе я родился. Сам металл не варю и не катаю — здоровьем не вышел. Там здоровые нужны, такие, как вы...

Оба замолчали. Волны тихо плескались о борт судна.

— Сегодня тихо, — сказал немного погодя человек в пенсне. — Попали бы вы в шторм, тогда так не разлеживались бы. И машине легко сегодня. А в шторм машине нагрузка большая, выдерживает ее сталь — в ней силища...

Макар с интересом слушал.

Ему очень понравилось, когда незнакомец сказал: «Там нужны здоровые, такие, как вы». Да, он был здоров и подумал: «Я бы мог сталь варить, у меня силища вон какая!»

С этим приятным сознанием он уснул и проснулся, когда пароход загудел и народ уже готовился к выходу.

Вечером станичники сидели у своего земляка Подрезова. Тот уже несколько лет работал на заводе. Говорили о станичных делах и больше всего о том, куда бы им лучше устроиться.

— Дел тут хоть отбавляй, — рассказывал Подрезов. — Но за какое вам взяться — это уж сами решайте.

Сам Подрезов работал на прокате. Образно рассказывал он, как кусок металла весом пудов эдак в двести сплющивается, вытягивается, превращается в лист. А там его скрутят — и готова труба...

Назавтра пошли на завод, в отдел кадров. По дороге им встретился сосед Подрезова по дому, старый сталевар Камольников. Он стал спрашивать, что это за «команда» и куда Подрезов ее ведет. А узнав, что парни только из станицы и собрались на завод, Камольников стал их убеждать, что им надо проситься в «мартын» — главный корень завода в нем!

...Им дали направление в мартеновский цех номер один.

Макар стал работать на шихтовом дворе. Было это 16 августа 1930 года.

В обязанности Макара входило следить за тем, как магнитный кран заполнял мульды с железным ломом; иногда он подправлял куски металла, которые неправильно ложились, а затем по узкоколейным рельсам подкатывал их к печи. Так Макар оказался рядом с теми людьми, которые варят сталь. Как-то он попытался заглянуть внутрь печи, но его обожгло, и он, конечно, ничего не увидел. Попросил у подручного сталевара фуражку с синим стеклом. И тогда перед ним открылась феерическая картина: казалось, что печь бесконечна, что в ней бурлит море — не синее и не голубое, а огненное, всепожирающее.

Позже Макар где-то раздобыл свое синее стеклышко. Ему нравилось засматривать в печь, наблюдать, как тает металл. И, загружая мульды, укладывая непослушные куски железного лома, он порой приговаривал: «Эй ты, не брыкайся!»

Несколько недель работы на заводе разбудили в Макаре интерес к процессам производства стали. Товарищи же его испугались горячей работы и вскоре отбыли домой, в станицу.

Макар частенько спрашивал:

— А внутри в печи здоровая жара?

— Ты поближе подойди, тогда и почувствуешь. А то, может быть, перейдешь с шихтарника на печь?

Макару дали место в общежитии. Однако он перебрался на квартиру к старому сталевару Тихону Сергеевичу Камольникову. Как раз в то время Камольников вышел на пенсию. Молодой парень ему приглянулся. Макар часто бывал в гостях у старого сталевара. И жена Тихона Сергеевича Пелагея Сидоровна предложила Макару:

— Чем тебе по общежитиям слоняться, переезжай к нам.

И Тихон Сергеевич рад был этому: будет ему с кем толковать, от кого узнавать, что происходит в цехе. Стал Макар вроде его приемного сына.

Интерес Макара к процессам сталеварения был замечен. Как-то, когда Макар в очередной раз любовался картиной плавления стали, к нему подошел начальник смены и спросил:

— Не пора тебе к печи стать? Не хочешь настоящему делу учиться?

Начальник смены попал в точку. Макар как раз и думал о том, чтобы ему настоящему делу научиться.

Мазая определили четвертым подручным. Работал он со сталеваром Махортовым. В его обязанности входило подносить к печи заправочные материалы, поднимать и опускать крышки окон печи. Порой приходилось, как говорил мастер, «побеспокоить» металл. Тогда Макар вместе с другими подручными, вместе со сталеваром брался за штангу. И хотя руки его были от печи последними и от огня он стоял дальше всех, но и его обжигало жаром, которым дышала печь. В несколько минут рубаха становилась мокрой. Но именно тогда, когда людям становилось почти нестерпимо жарко, сталевар покрикивал, что печь «застудили». А приходя домой, Макар вел долгие разговоры с Камольниковым; и тот рассказывал ему, как плавил сталь раньше, намекал, что со временем передаст ему какие-то «секреты». Макар, в свою очередь, делился новостями цеха.

А Тихон Сергеевич рассказывал, как работали во времена, когда хозяевами на заводе были бельгийцы, о том, что печи загружали лопатами и что лично ему печь доверили лишь спустя не то десять, не то двенадцать лет, после того как он попал на завод. И главное, к чему много раз возвращался старик, — это что не каждому дано совладать с тайнами сталеварения и что тут нужен... талант.

После таких разговоров Макар начинал сомневаться: а сможет он овладеть этой профессией? Все же он решил во что бы то ни стало добиться цели. Разговоры насчет того, что «секреты» производства передаются будто бы по наследству, Макар всерьез не принимал. Он тогда уже знал, что страна выполняет пятилетку и все делалось по плану. Не мог он поверить, чтобы такое важное дело, как выплавка стали, зависело от того, захочет или не захочет какой-то сталевар передать ему «секреты».

«А если мой отец или дед не были сталеварами, так что же, мне тогда никогда и не быть сталеваром, не научиться атому делу?.. Не может этого быть!» — так думал Макар.

Он пришел в комсомольский комитет и заявил, что хочет стать сталеваром. Не четвертым и даже не первым подручным, а сталеваром! Там над ним посмеялись: «Высоко сразу метишь». Но напористость его понравилась. И Макара направили на курсы техминимума.

Трудное это было для него слово — техминимум. Невзлюбил его Макар. А когда узнал, что это слово означает, он и вовсе расстроился:

— Разве я за тем на завод пришел, чтобы самую чуточку узнать? Мне все знать надо, все!

Макар учился настойчиво. Занятия перемежались долгими беседами и со своим сталеваром Махортовым, и с Камольниковым.

Камольников рассказывал Макару случаи из практики своей работы. Между ними случались и ссоры, и тогда старик сердито покрикивал:

— Где это видано, чтобы яйца курицу учили?!

Пелагея Сидоровна верно как-то сказала: старый сталевар немного завидовал молодому. Для молодых уже не было «секретов», за которые держались в старику. Над ними не висела угроза, что придет мастер и ни за что ни про что оштрафует или вовсе из цеха прогонит.

А когда Макар раскладывал на столе свои тетрадки и книжки или когда он рассказывал о разных новшествах, которые вводили в цехе,

чтобы облегчить труд рабочих, Тихон Сергеевич порой вроде бы наперекор говорил:

— И к чему все это? Настоящий сталевар и без анализов узнает, поспел ли металл. А теперь завели мороку — бегай по десять раз в лабораторию.

Макар перешел из третьих подручных во вторые, затем уже и в первые.

— Первым подручным тебя уж поставили? — непритворно дивился Тихон Сергеевич. — Ну, теперь держись, а то снова на шихтарник пошлют. Тогда сраму не оберешься.

И видно было, что от доброты своей, от любви он парня и пугал, и ругал, и холил.

Макара избрали комсоргом печного пролета, и он стал бывать на заседаниях заводского комитета комсомола. Обсуждалось положение дел в мартеновском цехе. Были они тогда неважными: плавки задерживались, выходило много брака, за короткое время произошло несколько случаев ухода жидкого металла из печи. Как нередко бывает, причины цеховых неполадок стали искать где-то на стороне: все дело будто бы было в том, что огнеупорные материалы очень низкого качества. Решили обратиться с письмом к поставщикам огнеупора. В составе комитета был паренек с бойким пером, любил он письма строчить.

Секретарь комитета комсомола уже стал голосовать за предложение об отправке послания, когда Макар не то про себя, не то обращаясь к собранию, но настолько громко, что все слышали, сказал:

— Вот и нашли козла в чужом огороде.

Реплика Макара вызвала замешательство. Члены комитета, уже поднявшие было руки, чтобы проголосовать, непроизвольно их опустили.

— А почему до сих пор молчал? — спросил недовольный вмешательством Мазая секретарь заводского комитета комсомола Дугин. — Расскажи нам, в чем, по-твоему, причины неполадок?

Дугин спешил: он намеревался на этом заседании «провернуть» еще много разных вопросов.

Но Макар уже знал, что к чему.

— Разве в одном огнеупоре дело? — сказал он. — А как мы печи загружаем?! Шихта-то какая? — Одним сталеварам одну стружку дают, а она как солома горит. Другие же получают сплошь обрезки готового проката. А отчего у сталевара Гармаша плавка в под ушла?! Тоже из-за огнеупора или он решил обогнать Махортова?

— Ты что же, против социалистического соревнования выступаешь? — оборвал Макара секретарь комитета комсомола.

У Макара внутри все кипело. Пробудившаяся в нем ответственность за дело, которое он теперь делал, внутреннее чутье подсказывали ему, что в цехе нарушены главные принципы социалистического соревнования. Ведь он слышал и читал, что социалистическое соревнование — это не состязание вперегонки. Соревнование тогда только достигает цели, когда каждый болеет за всех, когда идущие впереди помогают отстающим, а не ставят им подножки.

— Это же не соревнование, когда плавки уходят в под! — выкрикнул он в сердцах.

— А ты бы картуз свой подставил, — раздался чей-то насмешливый голос из-за колонны.

Макар посмотрел в ту сторону, откуда донеслась реплика.

— Кто там за столбом прячется? Пусть выйдет да расскажет, отчего у нас такие безобразия, — вызвал он.

Было ясно, что в схватке с секретарем комитета комсомола верх взял Макар. И сам Макар чувствовал это и с усмешкой сказал:

— Видите, глаза показать боится.

Тогда секретарь стал выговаривать Мазая:

— Кто тебе право дал такое говорить? На любой печи уход плавки случиться может.

Сильно рассердившись и потеряв над собой контроль, Мазай ударил кулаком по спинке стоявшего перед ним стула и выкрикнул;

— Нет, не может уйти!

Удар был таким сильным, что стул рассыпался. Дугин еще пуще стал кричать:

— Держать себя не умеешь! Смотри, комсомольский билет отберем...

Макар не стал дослушивать. Схватив шапку и выкрикнув какие-то грубые слова, он выбежал из помещения, где шло заседание.

А очутившись на улице, Макар понял, что совершил непростительную ошибку, и решил: теперь у него один выход — уехать с завода.

«Все кончено», — сказал он себе и поплелся по улицам куда глаза глядят. Так он дошел до «Павильона минеральных вод». Там всегда толкались любители выпить. Макар несколько минут постоял у входа и... вошел внутрь. Сколько он там пробыл, Макар потом и сам не мог вспомнить. Где еще бывал — тоже сказать не мог. Домой он пришел под утро, растерзанный, в рваной рубахе, без пиджака, с большим синяком под глазом.

Пелагея Сидоровна только руками всплеснула:

— Тебе же в ночь на смену надо было.

Но Тихон Сергеевич буркнул:

— Дай ему выспаться, разговор будет потом.

Макар, однако, не стал ложиться, он начал собирать свои вещицы.

Тихон Сергеевич строго спросил его:

— Куда это ты собираешься-то?

— Не вышла моя жизнь, — глухим голосом ответил Макар. — Уеду куда глаза глядят.

Он рассказал Тихону Сергеевичу о собрании и о том, как на него взъелся секретарь комитета комсомола и как он, Макар, в конечном счете не выдержав, выругался и удрал с собрания. А теперь ему больше мартена не видать.

Тихон Сергеевич долго молчал, потом сказал:

— Выходит, не тебе с завода уходить надо, а Гармашу. Дожил человек до седых волос, а плавку упустил. А тебе зачем уходить? Молодой ты, чересчур горячий! Я сам в цех пойду. К Боровлеву пойду. Поговорю с ним. Заодно узнаю, как они до такой жизни дошли.

Камольников и в самом деле собирался в цех. Положение в мартеновском цехе давно беспокоило заводской партийный комитет. Об инциденте, происшедшем на заводском комитете комсомола, стало известно секретарю парткома. Решили создать комиссию, чтобы разобраться в причинах участвовавших в цехе аварий. В состав комиссии включили ушедшего на пенсию старого сталевара коммуниста Камольникова. Тихон Сергеевич от души порадовался, когда к нему зашел секретарь заводского партийного комитета и

предложил принять участие в комиссии — конечно, если здоровье это ему позволяет.

И на второй день Камольников вместе со своим подопечным отправились в цех. Пришли к началу предсменного собрания.

В помещение красного уголка они вошли в момент, когда председатель только что объявил открытым сменно-встречное собрание. Народу набилось много. Не всем хватило места на скамьях, многие устроились на подоконниках или сидели на корточках прямо на полу. Окна были открыты, но было сильно накурено, и дым плыл над головами. Тихона Сергеевича пригласили занять место за столом.

Заступившие на смену сталевары поочередно докладывали о положении на печах. Оказалось, что к трем часам поспеют плавки сразу на трех печах. Принять сразу три плавки нет возможности — не хватит ковшей. Начальник смены обещал принять меры, чтобы выйти из трудного положения, но всем было ясно, что придется задержать готовые плавки.

— А потом будете спрашивать, с чего под разъедает?! — с места сказал Гармаш.

— На спрос, Никита Иванович, обижаться нельзя, — ответил мастер.

До начала смены еще оставалось минуты три, народ стал расходиться по рабочим местам. В цех направился и мастер; он остановился возле печи, на которой вторым подручным в эту смену стоял Мазай. Из нее вот-вот должны были выпустить плавку.

Макар взял пробу, сталь оказалась мягкой — такой, какая требовалась по заказу. Решили металл выпускать. Камольников тоже подошел к этой печи, посмотрел пробу. Но его интересовала не проба. Хозяйским глазом он окинул площадку возле печи и не обнаружил заправочных материалов.

— После выпуска металла вы разве печь не заправляете? — спросил Тихон Сергеевич.

Если бы такой вопрос задал кто-нибудь другой, то можно было бы подумать, что человек азов сталеварения не знает. Но этот вопрос задал опытный сталевар.

— Как же без заправки-то?!

— Я и подумаю. Однако не вижу нигде заправочных материалов.

А тем временем у задней стенки печи собрались мастер, технолог. Первый подручный раз-другой ударил по выпускному отверстию — оно не поддавалось. Пришлось применить кислород, но и с его помощью не скоро удалось прожечь отверстие. И только когда сталь пошла, вспомнили, что печь надо готовить к следующей плавке, а на площадке все еще не было заправочных материалов.

Теперь уже и сталевар взволновался и стал кричать на подручных. Те куда-то побежали, на носилках стали подносить к печи что требовалось.

Печь опорожнилась. Сталевар и его подручные взялись за лопаты, чтобы забросать в печь доломит. Делали они это кое-как, как бы выполняя скучную обязанность. Камольников это почувствовал, он быстро подошел к печи и сказал:

— Это же не заправка! Давайте-ка цепочкой! Расставив людей по цепи, он сам взял в руки лопату.

Он забросил лопату, за ним то же самое сделал сталевар, затем первый, второй подручные. Камольников следил за тем, чтобы материал ложился в печь ровно, без бугров, чтобы он быстро и хорошо приваривался. Те самые люди, которые еще несколько минут назад вяло, едва передвигая ноги, тащились к печи, теперь ритмически, словно они делали гимнастические упражнения, забрасывали материалы в печь.

Тихон Сергеевич работал в цепочке. Дело подходило к концу, когда у печи снова появился мастер Боровлев. Увидев среди шедших в цепочке Камольникова, он его почти силой потянул к себе и строго стал выговаривать:

— Разве вам можно такое делать, Тихон Сергеевич?! Кладите лопату!

Но Камольников не хотел отдавать лопату. И только закончив заправку, Камольников пошел к следующей печи. Он давал советы, сам брался то за лопату, то за штангу, смотрел пробы стали.

Кончилась смена, и вместе со сталеварами он пошел на рапорт к начальнику цеха. Он не умолчал о всем том, чего навиделся за эту ночь, хотя первоначально решил, что будет только смотреть, накапливать материал для парткома.

— Как вы дошли до жизни такой, — горячо говорил Камольников на рапорте, — что в течение получаса не могли открыть выпускное

отверстие? Лишних полчаса в печи держали сталь, а ведь в это время металл ест подину.

Больше недели день за днем ходил Камольников в цех. Боровлев пытался убедить его, что дела в цехе не так уж плохи.

— Мы же теперь выдаем гораздо больше металла, чем при бельгийцах, — доказывал Боровлев. — Факт это или не факт? Факт! Зачем же народ зря ругать?

— А кто же его ругает? Но ты же сам говоришь, что то было при капиталистах! Как же сравнивать можно? Советское государство о народе как заботится! Чем вы оплачиваете? Металл в под выпускаете?

— Опять ты за это. Ну, был случай...

— Один? Ты думаешь, это случай? Если так будете заправку делать, то каждый день у вас такое случаться будет.

На партком комиссия пришла с обстоятельными выводами. Докладывал инженер Черняк. Когда он кончил, выступил Камольников. Он говорил о том, что в цехе недостаточно серьезно относятся к работе сталевара, не ценят опыт, плохо готовят новых сталеваров.

Тихон Сергеевич говорил как будто самые простые вещи, но они казались откровением.

Все это произошло вскоре после того, как на завод прибыл новый начальник цеха Яков Шнееров. Осмотревшись, Шнееров пришел в цеховой комитет партии и предложил созвать партийно-техническую конференцию.

Конференция проходила в столовой. Всем ее участникам раздали листки для предложений. В цехе появились плакаты, лозунги, призывы, как вносить предложения, как добиться, чтобы все плавки получались по анализу, как лучше организовать шихтовку.

Конференция имела успех. Было собрано много ценных предложений, разбор их занял несколько недель. Некоторые осуществили тотчас же. Это очень подняло авторитет нового начальника цеха.

В это время в цехе восстановили одну из мартеновских печей. Выяснилось, что для работы на этой печи нет сталеваров. Начальник цеха еще не знал коллектив настолько хорошо, чтобы решить, кому доверить восстановленный агрегат. Он посоветовался со старшим

мастером Боровлевым. Тот перебирал фамилии сталеваров и первых подручных. В конечном счете остановились на кандидатуре Ивана Чашкина. Его сделали бригадиром, а других сменных сталеваров подобрали из подручных.

Вскоре пустили и еще одну печь. Бригаду ее сформировали из комсомольцев, а печь объявили комсомольской. Бригадиром решили поставить Макара Мазая. а прошедший год он сделал большие успехи, стал дисциплинированнее; и главное, он с настоящей страстью относился к делу.

Кандидатуру Мазая назвал сам Иван Гаврилович Боровлев. Его предложение единодушно поддержали и начальник цеха, и цехком комсомола. Дугин больше уже не был секретарем комитета комсомола завода.

1 сентября 1932 года — в Международный юношеский день — Макар Мазай выпустил свою первую плавку.

После того как Мазая сделали сталеваром, Боровлев не спускал с него глаз. Старики между собой говорили: «Выдвинули, а теперь нянчатся с ним, как с малым дитем». За Макаром в самом деле нужен был глаз да глаз. Увлеченный вопросом о разгадке каких-то особых тайн сталеварения, он порой забывал о самых простых вещах. Упускал из виду, что хорошая работа печи зависит от того, подадут ли вовремя лом и руду, будет ли ко времени жидкий чугун, а к выпуску стали — ковш и изложницы.

А когда Боровлев чуть ослабил свою опеку над комсомольской печью, дела на ней пошли совсем плохо. Плавки надолго задерживались. Комсомольская печь оказалась на одном из последних мест. У Макара руки опустились. Стали поговаривать, что его слишком рано выдвинули.

Как-то время завалки шихты в печь затянулось часа на четыре. Начальник смены, им был комсомолец Моисеев, вспылал и стал кричать, что он снимет Мазая с работы.

Через час или два Моисеев снова оказался у печи:

— Макар, давай поговорим по душам. Макар ему ответил:

— Давай! Если по душам, тогда другое дело. А то зарядил — «сниму да сниму»...

Спорили долго. Тогда Моисеев неожиданно сказал:

— Знаешь что, Макар. Во всем виноваты мы оба — ты да я.

Макар встрепенулся:

— То есть как так? Как я могу отвечать, если скрапу долго не подавали, и какой же это скрап — одна мануфактура! И вот завалка...

Моисеев его прервал:

— Ты ведь комсомолец! Завод-то ведь наш! Твой и мой! Так и будем отвечать за все вместе. Кто здесь наведет порядок? Ты да я.

Сильно подействовал на Макара личный пример Моисеева. Сын кадрового металлурга, он в семнадцать лет начал работать горновым на домне, затем перешел на мартен, быстро выдвинулся. И вот он начальник смены. Молодой парень не знал усталости. Он и сменой руководил, и в это время учился в металлургическом институте.

Кончился разговор между Моисеевым и Макаром так:

— А я уж на тебя было рапорт написал.

— Написал, так и подавай!

— Теперь вижу — погорячился. А ты вон как: завалку затянул, зато расплавление быстро пошло. Как ты сумел?

Макар ответил:

— Продумал я все как следует. Вижу, большие куски у стены лежат и долго не расплавляются. Ну, думаю, надо иначе распределить шихт. Вот и пошло дело. Стратегия помогла.

Это слово Макару понравилось. Но не все задумки Мазая удавались. Порою он опускал руки, и комсомольско-молодежная печь, которая должна была показать пример всем, проложить путь к новому, оказывалась в хвосте. Да и поведение Мазая порой вызывало вполне справедливые нарекания.

Так прошло три с лишним года. Печь Мазая то «взлетала» вверх и на доске соревнования сидела на «самолете», то она «опускалась» и занимала место на «черепаше».

* * *

Из металлургических заводов Таганрога, Днепропетровска, Днепропетровска приходили в Мариуполь сообщения об успехах местных сталеваров. Они не давали покоя Макару. И он зажегся мыслью сломить устаревшие приемы работы на мартеновских печах. Но как? Какими путями?

Почувствовав, что он все еще плохо знает, какие процессы происходят в печи, Мазай по совету начальника Цеха Шнеерова и начальника смены Моисеева вновь принялся за учебу.

День за днем Макар пробивался к цели. Ему пришла мысль подсчитать, сколько же тепла можно сжечь в печи и сколько ему требуется, чтобы нагреть материалы, загружаемые в печь. Расчет его поразил. Оказалось: если в печь давать столько калории, сколько позволяет топка, то можно расплавить вдвое больше материала, чем теперь.

Вдвое больше! Но столько не вместит ванна печи.

Это поставило Макара в тупик. Как-то в выходной день у Макара обедал Боровлев. После обеда они, как обычно, вели разговор о всяких делах.

— Как думаете, — неожиданно спросил Макар, — если в печь нагрузить не столько шихты, сколько мы теперь грузим, а вдвое больше?

Боровлев удивился:

— Как так вдвое больше?

— Да так — вместо шестидесяти сто или все сто двадцать тонн.

Боровлев посмотрел на покрасневшее лицо Макара, сказал:

— Пойди, Макар, поспи. Кажется, ты лишнего хватил. Макар не был пьян, но упорствовать не стал.

«А ведь он и не подумал, что я это вправду спросил», — думал он.

Уйдя от Мазая, Боровлев подумал: «А может, и не такая уж несуразная мысль — полнее загружать печь? — Но тут же засомневался: — Уровень шихты высоко поднимается, факел пламени может ударить в свод. Опять же после расплавления жидкий металл выше порогов окажется. Нет, фантазирует парень! — решил Боровлев. — Бесится, в герои выйти хочет».

Боровлев все же рассказал начальнику цеха о своем разговоре с Мазаем.

Не успел Боровлев сказать, в чем идея Мазая, как начальник цеха тотчас ее подхватил и один за другим стал приводить доводы «за» и «против». Тепловая мощность печи достаточна, чтобы расплавить вдвое больше шихты. Это неоспоримо! Но существовало много «но». Уровень шихты... Отражение факела... Предел огнеупорности

динасового кирпича. Все это надо продумать, обговорить... С кем? Прежде всего, конечно, с Мазаем.

Начальник цеха пошел к печи Мазая. Шла завалка шихты. Шнееров наблюдал за тем, как Мазай распределяет на поду лом. Насмотревшись, он спросил Мазая, какие у него планы на вечер.

— Может быть, вы ко мне зайдете? Посидим поговорим, — сказал он.

Макар этому приглашению удивился, но сразу согласился.

Как только прогудел гудок, Макар поспешил домой переодеться.

— Куда ты собрался? — спросила его жена.

— Начальник цеха позвал меня к себе.

— Так ты ведь только из цеха. И зачем новый костюм надеваешь?

— Не в цех он меня звал, а к себе домой. Видать, дело у него какое-то ко мне.

— А ты не выдумываешь... — Но тут же осеклась. Она видела, что Макар волнуется, и его волнение передалось и ей: «В самом деле, зачем его начальник цеха зовет к себе домой?»

Инженер приступил к делу без особых предисловий. И Макар изложил свой план.

— У меня такая мысль, — сказал он, — что наши печи вроде неладно сделаны. Пробовал я подсчитать: чтобы нагреть и расплавить шестьдесят тонн шихты, надо... а в нашей печи можно ведь сжечь гораздо больше топлива. Стало быть, и металла можно больше расплавить. Тепловая мощность печи позволяет расплавить вдвое больше металла. Но вот вопрос: выдержит ли огнеупор, металл высоко стоять будет в печи, а в общем, скажу вам такое — у нас печь похожа на автомобиль, у которого сильный мотор, а кузов чуть больше тачки.

— Это, пожалуй, верно, — сказал начальник цеха. — Вы это правильно подметили. Выход какой же?

— Вот об этом я и думаю. Представляется мне, однако, что есть выход...

Мазай взял со стола газету и сделал из нее лодочку. Молча он поставил ее перед начальником цеха.

— Это что же? — спросил тот.

— Это наши печи — плоскодонки, — ответил Мазай. Затем Макар сложил газету по-иному, лодка получилась глубокая, вместительная.

— Вот, по-моему, — сказал он, — выход. Хватит ездить на плоскодонках!

— И тогда?.. — допытывался начальник цеха.

— В печи с глубоким дном мы разместим все сто тонн шихты, кузов большой...

— Кузов большой, — сказал ему в тон начальник Цеха.

Этот разговор между сталеваром Мазаем и начальником цеха происходил летом 1936 года. А через несколько дней во всех газетах была опубликована речь наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе на совете. Нарком привел подробные расчеты, какого съема стали с квадратного метра пода мартеновской печи надо добиться, чтобы суточную выплавку металла в Советском Союзе поднять с 40–45 тысяч тонн до 60 тысяч.

Не один и не два раза прочел Шнееров ту часть речи, в которой нарком анализировал положение на сталеплавильном фронте. Он пришел к выводу: наступило время двинуться вперед. При очередном ремонте решил углубить ванну печи, на которой работал Мазай, — девятой печи.

Чтобы осуществить такую серьезную реконструкцию, требовалось, по крайней мере, разрешение главинжа, если не более высокой инстанции.

Однако начальник цеха понимал: начни он согласовывать это дело — поднимутся дискуссии и план, который он себе наметил и в успехе которого уже не сомневался, могут и завалить. Тогда он начал действовать на свой страх и риск.

13 октября 1936 года Мазай провел первую плавку на печи с углубленной ванной. В печь загрузили свыше 100 тонн шихты вместо обычных 60. Чтобы удержать такую массу жидкого металла, сделали ложные пороги. Налили 99 тонн стали, съем составил 11,1 тонны с каждого квадратного метра пода печи вместо обычных пяти.

— Это наш потолок? — спросил начальник цеха, когда Мазай сдавал вахту.

— Нет, — ответил Мазай, немного подумав. — Завтра дадим двенадцать и в следующие дни не меньше. Двенадцать — наш техминимум, наша новая норма!

На следующий день — 14 октября — бригада вышла на работу за двадцать минут до гудка. Провели летучее собрание. Выяснилось, что

налицо все условия, чтобы добиться еще лучших показателей, чем накануне. В 9 часов утра выпустили плавку, которую они приняли от ночной бригады.

Мазай, его подручные Пархоменко и Самойлов, крышечница Мокряцкая работали не спеша, но рассчитывали каждый шаг. Они не теряли ни одной минуты. За ходом плавки следил весь завод. Плавку сварили за 6 часов 50 минут, съём составил 13,4 тонны с квадратного метра пода.

О достигнутом успехе телеграфировали наркому. Весть об успехе Мазая молниеносно разнеслась по всему поселку.

...Серго Орджоникидзе со дня на день ждал, что где-то, на каком-то заводе произойдет нечто, что ознаменует начало нового наступления на сталеплавильном фронте. Так он и расценил сообщение из Мариуполя: 13,4 тонны с квадратного метра пода!

Серго Орджоникидзе несколько раз вызывал Мазая к телефону, чтобы узнать, как идут дела на печи и что надо сделать, чтобы успех, достигнутый на этой печи, закрепить.

В вышедшей в 1940 году автобиографической книге «Записки сталевара» Макар Мазай так рассказывал о своих беседах с наркомом:

«Вспоминаю свой первый разговор с Серго. В прожженной спецовке, возбужденный и радостный, сразу после плавки я пришел в кабинет директора.

На столе стояло много телефонов. Один из них был кирпично-красного цвета и отличался от других внешним видом. Это и была «вертушка», по которой дирекция разговаривала с Москвой.

Директор мне сказал:

— Товарищ Мазай, сейчас вы будете говорить с Москвой, — и вручил мне трубку.

Я стал слушать, в ней что-то гудело, изредка раздавалось нечто вроде свистка. А затем я услышал голос:

— Это товарищ Мазай? Комсомолец? Комсомолец?! Как у вас идет соревнование?

Слышимость была плохая, и я не сразу понял, что со мной говорит нарком Серго Орджоникидзе. Но затем слышимость улучшилась, посторонние звуки были устранены, и я уже ясно расслышал:

— Говорит Орджоникидзе. Вы — Мазай? Комсомолец? Как работаете? Как соревнование? Как ваша бригада? Как вам помогает дирекция?

Я рассказал Серго о наших первых успехах, сообщил состав бригады, сказал, что мне помогают хорошо. Орджоникидзе не удовлетворился моим ответом:

— Вы мне о дирекции скажите все, как есть. Вы, наверное, стесняетесь говорить, потому что рядом с вами директор сидит. Не обращайтесь внимания, говорите, говорите все!»

Когда Макар вышел из кабинета, его окружили директор, главный инженер, начальник цеха и много других работников завода, неизвестно каким образом оказавшиеся в этот поздний час в заводском управлении.

Макар подошел к Шнеерову и слово в слово передал ему то, что говорил нарком.

И день за днем пошли тяжеловесные плавки. Каждый день в Москву шли донесения о рекордах на девятой печи.

Макар давал уже вдвое больше стали, чем выплавлялось на соседних «плоскодонных» печах. И стремился все выше и выше.

28 октября 1936 года он добился нового рекорда — 15 тонн стали с квадратного метра пода. Плавка длилась 6 часов 40 минут.

В этот день на приазовском побережье был жестокий норд-ост. Он валил деревья, срывал с домов крыши, рвал телеграфные и телефонные провода. Телеграммы, которые главный инженер передавал в Москву, оставались лежать без движения. А в Москве ждали сообщений о ходе очередных мазаевских плавков. Уже несколько раз Орджоникидзе вызывал секретаря, спрашивал:

— Как там Мариуполь? Какие сведения с печи Мазая?

На линию вышли монтеры, чтобы исправить повреждения, но лишь под утро была установлена связь. И тотчас в кабинете директора зазвонила московская «вертушка». Разговор переключили на квартиру Мазая (у него установили телефон). И сталевар доложил:

— Пятнадцать тонн с квадратного метра!

Обстановка благоприятствовала закреплению достигнутого успеха. Теперь уже не один Мазай выдавал скоростные плавки. И

другие сталевары работали по-новому, хотя их печи оставались «плоскодонными».

Начальник цеха Яков Шнееров вместе с Мазаем, вместе с мастером Иваном Боровлевым, начальником смены Иваном Моисеевым, вместе с другими сталеварами проанализировали ход событий. Решили обратиться с призывом ко всем сталеварам страны — начать соревнование за достижение самого высокого съема стали с квадратного метра пода печи, но не разового, а в течение достаточно длительного времени. Мазай поставил себе задачу — сделать 12 тонн с квадратного метра пода нормой своей работы.

Такое письмо было послано в «Правду». Вместе с Мазаем под письмом подписались сталевары Шашкин, Катрич, Шкарабура, Чайкин, братья Селютины и другие.

На призыв Мазая откликнулись сталевары Донбасса, Приднепровья. В условиях соревнований было оговорено, что участники его по истечении двадцати дней соберутся для обмена опытом. Место сбора — завод, сталевар которого добьется наилучших результатов.

Победителем вышел Мазай. Он достиг среднего съема за двадцать дней в 12,18 тонны.

Нарком прислал Мазая поздравительную телеграмму. В ней было сказано:

«Вашу телеграмму о замечательных ваших успехах получил. Тем, что вы своей стахановской работой добились на протяжении двадцати дней подряд среднего съема 12,18 тонны с квадратного метра площади пода мартеновской печи, вы дали невиданный до сих пор рекорд и этим доказали осуществимость смелых предположений, которые были сделаны металлургии.

Наряду с вами и другие сталевары завода имени Ильича... дали хорошие показатели — 8,5 тонны, 9,5 тонны.

Все это сделано на одном из старых металлургических заводов. Это говорит об осуществимости таких съемов, тем более это по силам новым, прекрасно механизированным цехам. Отныне разговоры могут быть не о технических возможностях получения такого съема, а о подготовленности и организованности людей.

Ваше предложение о продлении соревнования сталеваров, само собой, всей душой приветствую.

Крепко жму вашу руку и желаю дальнейших успехов.
Серго Орджоникидзе».

Одним из первых принял вызов Мазая днепропетровский сталевар Яков Чайковский. И до этого соревнования он в иные дни достигал съема в десять и более тонн. Успех Мазая его раззадорил. Яков Чайковский был одним из самых грозных соперников Мазая. Девяностотонные плавки он проводил за 4 часа 20 минут, достигнув съема в 16,2 тонны, а затем довел съем до 18,6 тонны. В письме, которое он адресовал наркому, он писал: «Рекорд Мазая далеко не предел».

Сталевар Сталинского (ныне Донецкого) завода Василий Матвеевич Амосов также участвовал в двадцатидневном соревновании и в Мариупольском слете скоростников. Он уехал из Мариуполя полный решимости превзойти достижения Мазая.

Печь, на которой работал Василий Матвеевич, была вдвое больше мазаевской. На отраслевой технической конференции для таких печей была установлена норма съема в семь тонн. Посоветовавшись с руководителями цеха и парткомом, коммунист Василий Матвеевич Амосов пришел к решению, что, используя метод Мазая, он сможет поднять съем до 14 тонн. И этого добился. Несколько плавков он провел, получая по 14 с лишним тонн с квадратного метра пода.

Мазай следил за своими соперниками и не собирался почитать на лаврах. Узнав об успехах Амосова, Мазай тотчас отправился к нему, чтобы, в свою очередь, перенять опыт. Об этой своей встрече с Мазаем В.М. Амосов впоследствии рассказал в книге «Мы — советские сталевары».

«Помню, я только вернулся со смены, лег отдохнуть — слышу, к дому подъехала машина. Подумал; не случилось ли что в цехе? Прислушиваюсь. Кто-то разговаривает с женой.

— Где Василий Матвеевич?

Я вышел. Это был Мазай. Поздоровались.

— Стало быть, перегнать меня хочешь? — сразу, без обиняков спросил Макар Никитич.

— Удастся — и перегоню. Будем вместе стараться, чтобы дать стране побольше стали... Посмотрел я, как ты работаешь, и сам решил попробовать свои силы.

— Це добре, — по-українськи сказав Мазай. Сели завтракать. Макар Никитич розказав, що він уже побував в цеху, подивився наші печі.

— У вас печі нові, і працюєте ви на коксовальній газі. Тут високий тепловий режим можна дати.

— Печі сожжеш! Не обрадуєшся...

— Яким манером, — виспиршивав Мазай, — ти свої чотирнадцять тонн взяв?

— Тем взяв, що шихту з умом розложив і печі все час гарячої держу.

— На одному цьому багато не досягнеш. А скільки грузите в печі?

Я назвав цифру.

— Мало. Видал, з яким «верхом» у нас плавка йде?

— Це і небезпечно. Шлак на свод попаде, роз'їсть його. І ста плавки печі не простоят.

— Це і мене теж турбує. Але вихід знайдемо. Не можемо ми працювати по старинці.

Розмова тоді у нас була довга. І ми зійшли на те, що рекорди лише тоді хороші, коли вони вказують шлях для постійної високопродуктивної роботи.

— Рекорд — це розвідка в завтрашній день, — сказав Мазай.

— Треба думати про ритм, щоб закріплювати успіхи і з дня в день давати високі сьєми. Ось я дав по чотирнадцять тонн з квадратного метра пода. Але постійно я стільки давати не зможу. Мої чотирнадцять тонн вийшли, може бути, навіть за рахунок інших печей.

— Виходить, переживаєш, що занадто високо стрибнув?

— Я не грішник, щоб казати. Але думав про те, щоб після підйомів спади не вийшли. Скільки можемо постійно давати? Ось питання.

З Мазайом я зустрічався і потім, він залишався невгамовним, все шукав нові резерви.

— Слышал, наш цех за рік дав середній сьем в семь тонн! Снилось это кому-нибудь раньше?!

И я искал метода постоянной высокопроизводительной работы».

...Дошел призыв Мазая и до сталеваров Магнитки. Письмо Мазая в «Правде» по-настоящему взволновало сталевара Алексея Грязнова. Самостоятельно варить сталь он начал лишь в июле 1936 года, то есть месяца за четыре до того, как всей стране стало известно имя Мазая. Алексей Грязнов работал на мощной печи, расчетный вес ее плавки был 175 тонн. Грязнов пришел к убеждению, что на таких печах вес плавок можно довести до 300 тонн. С этим сталевар, он же парторг цеха, Алексей Грязнов пришел к инженерам цеха. Те взялись за расчеты.

В это время в Магнитогорск пришла телеграмма от Серго Орджоникидзе: он запрашивал, сколько стали в счет суточной шестидесятитысячной выплавки дадут магнитогорцы. Они определили свой вклад в 5 тысяч тонн. Но при старых методах, когда печи загружались неполно, а стойкость их была чрезвычайно низкой, такого нельзя было добиться. И переход на 300-тонные плавки стал насущной задачей дня. Шли к этому осторожно. Магнитогорцы тогда еще не овладели как следует своими первоклассными агрегатами. Об этом они со всей откровенностью писали Мазая:

«Дорогой товарищ Мазай! Твое письмо взволновало нас, сталеваров Магнитки. 9-13 тонн стали, снимаемые тобой с квадратного метра пода печи, — это результат настоящей стахановской работы. Твои рекорды — блестящий пример того, как надо бороться за увеличение выплавки стали.

К сожалению, еще не все у нас так работают. Вот мы, мартеновцы Магнитогорского гиганта, в соревновании металлургов сильно отстали. У нас средний съем составляет примерно 4–5 тонн. Однако это не говорит о том, что у нас нет возможностей работать действительно по-стахановски. Мы, сталевары восьмой печи, перевыполнили свой план и добились высокой стойкости свода печи. Принимая твой вызов, товарищ Мазай, мы обязуемся закрепить успехи и добиться съема не менее 7 тонн и стойкости свода в 200 плавок».

1936 год был особым годом в жизни нашей Родины. В ноябре — декабре состоялся Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов, на котором была принята и утверждена новая Конституция. Макара Мазая избрали делегатом съезда. С кремлевской трибуны он рассказал о пути, который привел его на съезд. Закончил он свою речь словами: «Горячей сталью зальем фашистам глотки!»

Международная обстановка была тогда чрезвычайно острой. Над всем миром нависла зловещая тень свастики. Сталь, которую выплавлял Макар Мазай, была особой, качественной. Макар хорошо знал, на что используется. Каждая добавочная тонна стали была вкладом в укрепление обороноспособности страны, заслоном от фашизма.

Делегаты съезда с вниманием выслушали рассказ Мазая о себе. Ему долго аплодировали. Только некоторые дипломаты демонстративно поднялись и оставили ложу, в которой они сидели. Им, видимо, очень и очень не понравилась та часть речи, когда Мазай весьма недвусмысленно говорил об одном — очень важном значении стали.

На второй день после выступления на съезде Мазай принял нарком Серго Орджоникидзе. В книге «Записки сталевара» Мазай рассказал об этой встрече.

«На Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов я впервые увидел Серго. Мне хотелось к нему подойти, но я все не решался. Когда работа съезда уже подходила к концу, я во время заседания послал товарищу Орджоникидзе записку, в которой просил его принять меня.

Серго прочел записку и стал смотреть в мою сторону. Увидел ли он меня, я не знаю. В перерыве мне сообщили, что товарищ Орджоникидзе вечером может меня принять.

В приемную мы пришли вместе с директором, начальником цеха Шнееровым и другими работниками завода. Меня тотчас позвали в кабинет. Директор и другие заводские работники остались в приемной.

Серго Орджоникидзе сразу забросал меня кучей вопросов:

— Делегат? Будем Конституцию утверждать? От соревнования устал?

Я сказал, что, когда хорошо работается, никогда не устаешь, и добавил:

— Была бы помощь — завода и ваша! Серго насторожился:

— Моя помощь?! Какая?

Я подробно рассказал о том, что мешает производству, о положении дел с магнезитом, о состоянии тыла.

Серго внимательно выслушал меня, сделал какие-то заметки, вызвал к себе некоторых работников ГУМПа,^[13] чтобы выяснить

положение дел с магнезитом.

Прошло несколько минут. Нарком вызвал секретаря, сказал ему, чтобы в кабинет пригласили директора, начальника цеха и других ожидавшихся в приемной заводских работников.

Когда все собрались, нарком предложил начальнику цеха Шнеерову рассказать, как добились такого высокого съема стали, что было сделано.

Нарком слушал очень внимательно, не пропускал ни одного слова. Неожиданно он прервал Шнеерова и снова обратился ко мне:

— Сколько у тебя средний съем?

Я ответил.

— И не один ты даешь такие съемы?

— Не один. Вот у меня телеграмма. Наши сталевары, обещали, что мой отъезд на показателях цеха не отразится.

Орджоникидзе усмехнулся:

— Стало быть, ваш цех можно назвать мазаевским?

Затем он обратился к Шнеерову:

— Продолжайте!

Товарищ Шнееров развернул чертеж и стал показывать, какие реконструктивные мероприятия мы осуществили; что для того, чтобы жидкая сталь не могла уйти из печи, у окошек печи мы подсыпаем доломит и сооружаем таким образом ложные пороги.

Потом я рассказал, как организовали работу бригады.

Серго заметил:

— Самое главное, чтобы была спаянность в низовом звене, в бригаде, чтобы люди друг друга понимали. Для этого надо, чтобы бригада была постоянной, чтобы людей зря с места на место не гоняли.

После этого Серго перешел на бытовые темы. Он стал расспрашивать меня, как живу, какая у меня квартира, семья, отдыхаю ли после работы.

Я все рассказал, сказал, что недавно получил новую квартиру, что хочу учиться.

Беседа длилась уже полтора часа. Все темы как будто были исчерпаны. Снова наступило молчание. Серго внимательно всматривался в висевшую на стене диаграмму, показывающую

динамику суточной выплавки стали. Затем он вплотную подошел к Шнеерову и сказал:

— Вот что: вы с Мазаем из Москвы не уедете до тех пор, пока не напишете подробно, как вы добились таких чудес, — у американцев ведь этого нет, у немцев и англичан нет и у чехословаков нет. Ни у кого нет. У кого же учиться нашим сталеварам варить сталь по-социалистически? У Мазая и Шнеерова! Так вот: сталевары вы хорошие, будьте такими же учителями! Учите, передавайте опыт через газету! Книжки надо вам писать!

Затем он подошел ко мне, обнял и спросил:

— Ну как, Мазай, машину любишь?

— А разве есть люди, которые не любят машину? — удивился я.

Серго премировал меня и Шнеерова автомашинами».

Как бы продолжая мысль, высказанную в этом разговоре, Серго Орджоникидзе на торжественном заседании, посвященном 15-летию газеты «За индустриализацию», 30 декабря 1936 года говорил:

«Возьмите сталеваров наших. Мазай дает 12, 15, 8, 9 тонн с квадратного метра пода, — разрешите похвастаться: ни у американцев, ни у германцев мы этого не знаем. Но если взять всех наших сталеваров и все наши мартеновские печи, то все они в среднем дают с квадратного метра чуть-чуть меньше четырех с половиной тонн... Не умеем еще организовать дело так, как нужно. И не всегда хотим учиться у тех, которые это умеют. Очень часто у нас говорят: «Ну, подумаешь — пойду я учиться у какого-то Мазая. Я сам с усами!» Усы-то, может быть, у тебя большие, а вот у него 12, у тебя 3 тонны. Вот и ходи со своими усами сколько хочешь».

И еще спустя месяц в одной из последних своих речей на приеме нефтяников Орджоникидзе вновь останавливается на значении того, что сделано на мариупольском заводе.

Метод, позволивший Мазая добиться столь выдающихся успехов, потребовал пересмотра многих научных положений, на которых до тех пор основывалась технология мартеновского производства стали. Мазай задал работы ученым, от многих канонов им пришлось отказаться. Так рабочая практика вторглась в науку и поставила перед ней новые задачи. В сталеварении началась новая эра.

В 1939 году Мазай был принят студентом промышленной академии в Москве.

Промакадемии были особыми учебными заведениями, в которых училось много новаторов производства. Учеба давалась Мазая нелегко. Он сознавал, что ему необходимо много и много учиться. Но, попав в тихие аудитории академии и столкнувшись с педагогическими требованиями, он как бы растерялся и заскучал. Его тянуло назад, к печам, в которых постоянно бушевал огонь, где все время тебя подстерегает опасность. Прошло немало времени, прежде чем Мазай освоился в новой для него обстановке. Но в каникулы он спешил на свой или на какой-либо другой металлургический завод, к печам. Ему не терпелось вновь натянуть на себя спецовку, напялить на голову фуражку с прикрепленными к козырьку синими очками и снова повести плавку. Это была его стихия!

Летом 1940 года Мазай совершил поездку на Магнитку, ему очень хотелось посмотреть новые мартеновские печи. Не мог он уяснить себе, почему на этих, гораздо более совершенных, чем на заводе имени Ильича, печах дела не ладятся. Одну из причин, и немаловажную, он обнаружил: на магнитогорском заводе сталевары тогда лишены были инициативы, они оставались лишь исполнителями приказов мастера и начальника смены. Может быть, такой порядок был введен потому, что руководители не были уверены в квалификации сталеваров, и организация труда стояла на низком уровне.

Этими мыслями он по возвращении в Москву прежде всего поделился со своим бывшим начальником цеха Яковом Шнееровым.

К тому времени и Шнееров уже оставил Мариуполь, его — тогда еще молодого инженера — назначили главным сталеплавильщиком Наркомата черной металлургии. Шнееров, так же как и Мазай, тяготился новой должностью. Его также тянуло в цехи, где кипит сталь. И он своего добился — со временем пост главного сталеплавильщика наркомата он сменил на такой же пост на магнитогорском заводе. Тут уж он был не где-то в ставке, а на самой линии огня.

Вскоре после возвращения из Магнитогорска Мазая вызвали к наркому черной металлургии. Им был тогда Иван Федорович Тевосян. Нарком долго и обстоятельно расспрашивал Мазая о Магнитке.

После смерти Серго Орджоникидзе Тевосян посчитал себя обязанным заботиться о Мазае, и он интересовался всем, чем Мазай жил, он поддерживал его в минуты колебаний, когда неутомимость порой сменялась размагниченностью.

Началась война. Первый порыв — отправиться на фронт, но в армию Мазая не взяли. Тогда он настоял, чтобы его вернули к печам: если уж не воевать, то он будет варить сталь для войны. Ему дали направление на сталелитейный завод в Бежицу, однако в этом районе уже развернулись бои с гитлеровцами, и тогда он кружным путем стал добираться до Мариуполя, на свой завод.

Осенней темной ночью небольшой пароходик причалил к дебаркадеру Мариупольского порта. Небо обложено было свинцовыми тучами. Всегда сиявший тысячами огней, город погружен был в кромешный мрак. Неожиданно осветилась и как бы окрасилась в малиновый цвет морская бухта — это из домен. «Азовстали» выпускали чугуны.

Макар отправился на завод. Дорога лежала мимо Ворошиловского сада. Здесь он когда-то познакомился с женой. Вот уже почти три месяца как он ее и детей проводил из Москвы к родным под Мариуполь. Ему хорошо запомнился тот субботний вечер. Ранним утром следующего дня над Родиной появились фашистские стервятники.

В думах о прожитом он подошел к небольшому зданию партийного комитета. Секретарь заводского партийного комитета обрадовался нежданному гостю, расспрашивал о Москве, обо всем, что видел, что слышал, пока добирался до завода.

— Насчет Мариуполя установка такая. Ни один партиец не может покинуть город. Его будут отстаивать. Кое-кто попытался эвакуировать семьи, это вызвало в городе панику, приказано — отставить! Вот так! Командованию виднее. Завод на полном ходу, эвакуирован один только броневой стан. Людей на заводе не хватает. Так что ты завтра на работу. Смену потянешь?

Созвонился с директором, и все решилось.

На следующий же день Макар принял смену. Варили высококачественную сталь для танков. Рядом была ремонтная мастерская. Танки уходили отсюда на фронт своим ходом.

Не хватало шихты, не хватало людей. Но те, кто остался у печей, находили выход из самых, казалось бы, безвыходных положений. Вместе с мастером Иваном Гавриловичем Боровлевым Макар организовывал работу, смотрел пробы стали, отыскивал залежи лома, находил где-то в тайниках ферросплавы...

Прошло всего несколько дней. На очередную смену не вышел один из начальников смены. К нему на дом послали посыльного — узнать, что с ним, но не нашли: нагруженный рюкзаками ночью с семьей ушел. Макар остался на следующую смену. Он проработал подряд почти сутки, пока Иван Гаврилович не прогнал его.

А между тем гитлеровские полчища прорвали фронт и подошли к Мариуполю. Они захватили завод в момент, когда на нем еще варили сталь, катали металл. Руководство завода, передовые рабочие и инженеры, коммунисты, активисты, таясь и обходя патрули гитлеровцев, выбирались из фашистского окружения. Но не всем удалось уйти.

Мазай проснулся от шума пронесившихся по поселку мотоциклистов. Он припал лицом к стеклу окна, всматриваясь в темноту улицы. «Чьи мотоциклы?» — тревожно подумал он. Вышел во двор, решил постучать в стоявший в глубине маленький домик.

Хозяйка испуганно спросила: «Кто это?» — и, услышав голос Макара, быстро впустила его, закрыв за собой дверь на запор.

— Откуда вы? Они ведь на заводе, — в ужасе рассказывала она.

Макар не сразу понял смысл сказанного.

Женщина поведала обо всем, что произошло за те часы, что Макар беспробудно проспал.

Так случилось, что Мазай, чьи слова «горячей сталью зальем фашистам глотки!» облетели весь мир, остался в оккупированном фашистами городе.

Сведения о гибели Мазая еще в начале 1942 года просочились через линию фронта. В печати даже были описаны обстоятельства, при которых Мазай попал в руки гестаповцев и был расстрелян. Автор одного очерка подробно, как будто он был очевидцем событий, рассказывал о том, как и где гестаповцы схватили Мазая, как они, посулив разные блага, пытались склонить его к измене Родине, уговаривали подписать воззвание к сталеварам, чтобы они пошли

работать на оккупированные фашистской Германией заводы. А когда Мазай решительно отверг эти гнусные предложения, его стали пытаться, истязать и, наконец, расстреляли.

В этих рассказах подлинные факты перемешаны с вольным домыслом. Верно в них только одно: Мазай остался горячим патриотом Родины, верным сыном ее.

Двадцать три месяца оккупанты оставались в Мариуполе. На заводском здании они прикрепили вывеску: «Акционерное общество «Крупн фон Боллен. Азовский завод № 2». Но советские люди не стали работать на фашистскую Германию. Многие металлурги Мариуполя предпочли смерть работе на гитлеровцев.

Не стало Макара Мазая. Оккупанты расстреляли депутата Верховного Совета УССР сталевара Никиту Пузырева, старого ильичевца, начальника цеха специальных сталей Наума Михайловича Толмачева и десятки других патриотов.

Спасаясь от гитлеровцев, многие ушли в села, прятались в балках, оврагах, отыскивали связи с партизанами... Об этом сталевар Иван Кабанов рассказал:

«В последний раз я виделся с Мазаем в октябре 1941 года. Это было через несколько дней после захвата немцами Мариуполя. Я решил пробраться к Таганрогу. Ночью окольными дорогами, в кромешной тьме шел на восток. Каждый шорох заставлял вздрагивать, выжидать. К утру дошел до села Красновка, где был дом родственников Мазая. Вдруг в предрассветном тумане заметил знакомую фигуру. То был Макар. Я его окликнул.

— Думаешь пробраться? — спросил Мазай.

— А как же иначе?.. Поймают — убьют или заставят сталь варить для немца. И то и другое — смерть.

Мазай молчал. Мысли его были где-то далеко.

— А если они в самом деле вздумают на наших печах варить сталь? — проговорил он в раздумье. — И нашей сталью бить по нашим! Ты на какой печи работал последнее время?

— Вместе со Шкарабурой на девятой, но ее больше нет, успели взорвать, — ответил я.

— Это хорошо, — сказал Мазай, — но другие печи остались... Нельзя допустить, чтобы немцы воспользовались ими.

Он не договорил. Ему тяжело было оставаться, но он не хотел отдаляться от завода. Здесь он был на страже...

Поздней ночью он проводил меня. Мы крепко пожали друг другу руки. Мне не удалось пробраться через линию фронта. Прошло десять дней, и я возвращался, держа курс па Красновку. Я не решился войти в дом Мазая, но пройти мимо, не повидавшись с другом, не мог. Я бродил поблизости, пока не увидел жену Мазая. Она рассказала, что Мазая забрали в гестапо...»

Об этом автор этого повествования рассказал в очерке «Мариупольская сталь», напечатанном в газете «Труд» осенью 1944 года.

А вот более поздний рассказ вдовы Макара Никитича:

«Макар не хотел пробираться через фронт. Его удерживала не опасность попасться гитлеровскому патрулю, а тревога, что гитлеровцы наладят на нашем заводе производство стали. В том, что они стремились к этому, не было никакого сомнения. Чуть ли не на второй или третий день после их прихода над заводом появилась вывеска «Крупп фон Боллен». Расклеили объявления, призывавшие рабочих выйти на работу. Многие попрятались, но некоторые и вышли, а кое-кого полицаи силком тащили. Пошла молва: немцы прознали, что Макар здесь, и они его ищут. Мы его прятали то в одном, то в другом месте. Но он часто пренебрегал опасностью. Его выследил предатель и выдал. Взяли Макара прямо из дома. У нас был погребок, никто о нем не знал, вход в него был хорошо замаскирован. Макар спускался в этот погребок. Кто-то писал, что Макара схватили на базаре, что он был переодет то ли в крестьянскую одежду, то ли даже в женское платье. Все это придумки. Гитлеровцы явились посередине дня, и предатель прямо показал на потайное место. Они постучали и сказали, чтобы он вышел. Делать было нечего. Увели Макара в гестапо. Начальник гестапо был обергруппенфюрер (может, я и не так его называю) Шамерт. Не человек, а зверь. И еще, говорили, был фельдкомендант Гофман и какой-то Клюкне. Эти имена я запомнила.

Ходила я туда. Один раз передачу взяли, и даже издали его видела. Против ихней тюрьмы был пригорок, с него можно было видеть арестантов. Правда, гестаповцы разгоняли толпившихся на пригорке родственников, но в таких случаях люди становятся смелыми. Тогда он мне передал, чтобы принесла ему теплое белье. В камерах стояла

страшная стужа; но, когда я принесла передачу, мне ее вернули и сказали, что он уже... там.

«Там» — это противотанковый ров, где расстреливали всех, кто по фашистским законам подлежал уничтожению. Десятки тысяч людей гоняли по Першотравенской дороге на смерть.

— А что стало с предателем, который его выдал?

— Когда советские войска вернулись, его поймали. Судили. Была я на суде, на коленях ползал, прощения просил. Гад!»

Вот, пожалуй, все, что достоверно известно о последних днях Макара Мазая.

На пятидесятый день после изгнания врага из Мариуполя зажегся огонь в одной из восстановленных мартеновских печей (уходя, гитлеровцы взорвали все печи, строения, разрушили все, что могли). На восстановленной печи работали друзья Макара. Завалку шихты произвел Шкарабура, выпускал плавку Кабанов. И откуда только у них силы брались! Они были похожи на тени.

Работать было невероятно трудно. Плавки сидели по 14–16 часов. И тогда еще и еще вспоминали Макара Мазая — как бы он поступил в тех невероятно трудных условиях.

Еще шла война, и каждая добавочная тонна приближала день окончательного разгрома фашистской Германии. «Не стало Макара Мазая, — сказал на проходившей в конце 1944 года конференции по скоростному сталеварению сталевар-скоростник Иван Андреевич Лут, — так давайте выполним данное им партии, всему нашему народу слово — залить расплавленным металлом пасть озверелого врага».

В городе Жданове (так называется сейчас Мариуполь) в центре заводского поселка стоит памятник. Плотная, отлитая из бронзы фигура сталевара. Скульптор вложил ему в руку ложку, которой берут пробу металла.

Это памятник легендарному сталевару, комсомольцу Макару Мазая. У памятника часто останавливаются прохожие, группы учащихся школ профессионально-технического образования, приезжие из других городов. И всегда находится старожил, знавший Мазая, который расскажет историю жизни геройски погибшего отменного мастера сталеварения.

И сталевары нового поколения, идя на смену, невольно замедляют шаг, когда проходят через сквер, где несет свою вахту бронзовый

сталевар.

*Комсомольцы —
здесь.
Место им готово.
И у двух сердец
шелест двух путевок.
Здесь расскажут им о конце
Мазая —
как окутал дым
сорванное знамя,
как враги,
стука
в буквы молотками,
имя Ильича
сбросили
на камни,
как в годину бед
полз Мазай под стену
с миной в цех,
к себе,
к темному
мартену.
Вот
и эпилог.
Но жизнь — без эпилога!
И ребята в цех входят,
продолжая —
ради счастья всех —
труд
и жизнь
Мазая.*

Илья ПЕШКИН

Паша АНГЕЛИНА

...Над селом разбушевалась гроза. Из края в край перекатываются, оглушительные раскаты грома, слепящие молнии рвут в клочья низко нависшие облака. На разные голоса воет, охает, стонет степь.

Село будто вымерло. Наглухо закрыты ставни, погашены огни. Кто решится высунуться на улицу в такую погоду? Даже собаки, напуганные разбушевавшейся стихией, попрятались по своим конурам и тихонько повизгивают...

Но вот скрипнула калитка на самом краю села. Маленькая девичья фигурка метнулась через дорогу. Испуганно приседая при каждом ударе грома, девочка прижалась к стене соседней избы, нетерпеливо забарабанила в окно:

— Наташа, не спишь? Открой скорее...

— Ты, Паша? Чего тебе?

— Ой, Наташенька, что на дворе делается! А телята наши одни на ферме, перемерзнут совсем. Бежим к ним, а?

— Что ты! В такую непогоду? Страшно...

— Боишься? Эх, ты... А еще пионерка. Ну тогда я сама...

Утопая по колено в лужах, не разбирая дороги во тьме, Паша побежала к ферме.

Мокрые, оглушенные раскатами грома, телята сбились в кучу, терлись спинами о перегородку. Почувяв свою хозяйку, они потянулись к ней мордочками, жалобно замычали.

Гроза не утихала. Неожиданно сквозь вой ветра послышались приглушенные мужские голоса. Кто-то подошел к хлеву, пошарил рукой задвижку, злобно выругался:

— Голодранцы, даже запоров путных не имеют, Коммуния!..

— Тихо, не ори... — глухо отозвался другой голос. — Нож-то не потерял?

Жалобно скрипнули ворота. Вошли двое. Один чиркнул спичкой, второй ухватил за шею ближайшего теленка, занес над ним нож... Вдруг чья-то тень метнулась из угла к ночному гостю, острые зубы

впились в его руку. Дико взыв от боли и страха, верзила уронил нож и бросился наутек.

Его напарник кинулся следом, но в темноте зацепился за ведро и со всего маху грохнулся в открытую яму, в которую складывали корм для скота. Не успел он опомниться, как крышка люка наглухо закрылась. Попробовал плечом — не поддается. Сверху кто-то навалился, торопливо накиннул крючок.

«...Всю ночь провела я на ферме беспокойно. Кулацкий прихвостень, сидевший в закрытом подвале, то кричал, то угрожал, то слезно просил выпустить его. Я не отвечала и с волнением ждала наступления утра... Не могу передать, какое чувство владело мною в тот день. Впервые в жизни довелось мне лицом к лицу столкнуться с врагом и помочь обезвредить его».

Так через много лет вспоминала об этом эпизоде из своего детства прославленная трактористка, кавалер трех орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, бессменный депутат Верховного Совета СССР Прасковья Никитична Ангелина в своей книге «Люди колхозных полей».

Потом в ее жизни было немало других столкновений с открытыми и затаившимися врагами, была трудная бескомпромиссная борьба с рутинной, с застоявшимися понятиями и представлениями, с формалистами и волокитчиками. И всегда так же, как в раннем детстве, отчаянно, не раздумывая, бросалась она в драку, бесстрашно и упрямо добивалась своего, если дело шло о народном добре, о пользе для народа. Вся ее жизнь — яркий нравственный урок гражданственности, общественной принципиальности, честного и открытого служения людям.

В 1948 году, когда имя героини колхозных полей уже гремело по всему миру, редакция издающейся в Соединенных Штатах Америки «Мировой биографической энциклопедии» прислала Прасковье Никитичне обширную анкету, сообщив, что ее имя включено в список выдающихся людей всех стран. Вот как рассказала она о себе в полученной из Нью-Йорка анкете:

«Ангелина Прасковья Никитична, год рождения — 1912, место рождения (оно же место службы и резиденция) — деревня Старо-Бешево Сталинской области Украинской ССР. Отец — Ангелин

Никита Васильевич, колхозник, в прошлом батрак. Мать — Ангелина Евфимия Федоровна, колхозница, в прошлом батрачка. Начало «карьеры» — 1920 год: батрачила вместе с родителями у кулака. 1921–1922 годы — разносчица угля на шахте Алексеево-Раснянская. С 1923 по 1927 год снова работала у кулака. С 1927 года — конюх в товариществе по совместной обработке земли, а позже — в колхозе. С 1930 года до настоящего времени (перерыв два года — 1939 — 1940: училась в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева) — трактористка».

Она начала трудиться раньше, чем овладела азбукой. Паше не было еще и восьми лет, когда отец отвел ее к кулаку Панюшкину. Все старшие братья и сестры вместе с родителями давно уже от зари до зари трудились на чужой земле, но не было в доме достатка. Пришлось и Паше за кусок хлеба пасти чужих гусей, убирать чужой хлев...

Когда волна Октябрьской революции докатилась до Старо-Бешева, вихрь новых событий ворвался и в семью Ангелиных. Отец пропадал целыми днями: сельские бедняки решили объединиться в артель, Никиту Васильевича избрали председателем правления. Редко стал появляться в доме и старший брат Николай. Он вожак комсомольской ячейки, главный заводила молодежи на селе. По его инициативе комсомольцы приспособили старый амбар под клуб, вечерами устраивали там самодеятельные концерты, игры, проводили беседы.

Как-то Паша подошла к брату:

— Коля, а меня в комсомол примут? Николай критически осмотрел сестру:

— Подрасти еще надо. Куда тебе в комсомол. Сначала походи в пионерах...

Хотя Паша была самой старшей в отряде — ей в ту пору уже исполнилось пятнадцать лет, девочка с гордостью носила пионерский галстук, старательно выполняла все поручения...

В воздухе запахло весной. Потемнел снег на полях, налились соками деревья, на лесных опушках проклюнулись первые цветы. По ночам слышалось шумное гоготанье диких гусей, возвращавшихся после зимовки в родные края.

Люди радовались приходу теплых дней. А председатель колхоза «Запорожец» Никита Васильевич Ангелин ходил мрачный,

насупившийся. Для него эта весна — трудный экзамен. Как-то удастся провести сев?

Много новых забот легло на плечи председателя с приходом весны. Только что встававшему на ноги колхозу не хватало то одного, то другого. С трудом заготовили семена для посева — не сортовые, конечно, а как говорится, какие бог послал, да и тех маловато. Ну да семена — это еще полбеды. А вот где взять лошадей?

Каждое утро заходит председатель колхоза в колхозную конюшню и уходит оттуда расстроенным. Григорий Харитонович Кирьязиев — конюх что надо, к нему не придерешься. Вся сбруя давно отремонтирована, кони вычищены так, что, проведешь носовым платком по крупу, — ни пылинки. Да ведь клячи — клячи и есть. Кормами колхоз небогат, всю зиму кормили лошадей только сеном — далеко ли теперь на них уедешь?

Снова — в который уж раз — отправился председатель колхоза в город просить поддержки. Пропадал три дня, а на четвертый вернулся — не узнать его. Глаза сияют, радостная улыбка, и даже морщины на лице как будто разгладились.

— Сразу видно, что хорошие вести батя из города привез, — встретила его на пороге Паша.

— Угадала, дочка, — весело потирая руки, ответил Никита Васильевич, — очень хорошие. Пообещали в городе прислать нам новых коней. Да таких коней, каких никто еще в селе и не видывал. Работают за десятерых, а корма совсем не просят...

Вечером Паша пробралась к сараю, куда поставили пригнанные машины, заглянула в щелочку. В полумраке с трудом разобрала два стеклянных глаза, огромные колеса, усеянные острыми зубьями. Так вот они какие, железные кони!

...Сельские парни потеряли покой. Объявлена запись на курсы трактористов. Желających хоть отбавляй. Научиться управлять диковинной машиной — да ведь такое счастье, пожалуй, и во сне не снилось!

Отобрали десять человек. Среди них братья Паши Иван и Василий. В сыром нетопленном помещении, где разместилась мастерская МТС, по вечерам собирались будущие трактористы, слушали наставления инструктора Ивана Федоровича Шевченко, собирали и разбирали детали машины.

Однажды пришла сюда и Паша. Тихонько села в укромный уголок.

— Вам что, девушка? — прервав объяснения, повернулся к ней инструктор.

— Я ничего... — растерялась Паша, — просто послушать хочу...

— Здесь не театр, — строго сказал инструктор, — попрошу не мешать.

Но девушка не ушла. Она простояла в углу до конца занятий, дождалась, пока все парни вышли из мастерской, потом подошла к Шевченко:

— Скажите, а девушка смогла бы научиться управлять вот этим... трактором?

Тот пожал плечами:

— Теорией может овладеть любой грамотный человек, а вот практически... — инструктор в упор посмотрел на девушку. — А вы что, хотите стать трактористкой?

— Да, — твердо ответила Паша.

— Не советую, — сухо сказал инструктор, — в мире еще не было случая, чтобы женщина управляла трактором.

— В мире не было, а вот я стану трактористкой! — сказала Паша и выбежала из мастерской...

Когда тракторы впервые вышли на поля колхоза «Запорожец», Паша работала прицепщицей на агрегате брата Ивана. В те недолгие часы, которые отводились трактористам для отдыха в жаркую пору весенне-полевых работ, она не давала брату покоя. Приставала с расспросами, просила объяснить назначение каждой детали, каждого винтика в машине.

— Да зачем тебе это? — удивленно спрашивал брат.

— Надо! — решительно отвечала Паша. — В будущем году сама буду управлять трактором.

— Еще чего надумала, — досадливо отмахивался Иван, — тоже мне выискалась — тракторист в юбке!..

Незаметно подкралась зима. В один из долгих зимних вечеров вся семья Ангелиных собралась вместе. Отец и три брата, сидя за столом, азартно стучали костяшками домино, мать шила что-то в углу, в другой комнате сестры Надя и Леля возились с книгами. Выбрав момент, Паша подошла к отцу:

— Батя, мне надо серьезно поговорить с вами. Никита Васильевич откинулся на стуле, повернулся к дочери:

— Ну, что там такое стряслось?

— Посоветоваться хочу. Надумала завтра подавать заявление на курсы трактористов. Хочу сама управлять трактором.

Отец сурово посмотрел на дочь:

— Не дело задумала, дочка. Другие в город едут учиться, в институты. Чем тебе специальность учительницы не нравится? Или врача...

На Пашиных ресницах заблестели слезы.

— Да как вы не поймете: не могу я от земли отрываться, люблю степи, поля. Хочу высокие урожаи выращивать, чтобы людям легче жилось... Ведь вы сами, батя, говорили, что хлеб — всему голова!

— Говорил, говорил, — сердито проворчал отец. — Мало что говорил... Не будет тебе моего разрешения, и кончим этот разговор.

Вся в слезах прибежала Паша в политотдел МТС к своему старому знакомому Ивану Михайловичу Курову. Тот внимательно выслушал девушку, задумчиво покрутил уе:

— В нашей практике такого еще действительно не было — девушка за трактором... Ну да мало ли чего раньше не было. И государства такого, как у нас, не было, и колхозов не было... Словом, раз уж решила, Паша, то держись крепко, не отступай! А с отцом я сам поговорю...

Быстро пролетела эта зима для Паши. Днем возилась в мастерской, вечера просиживала над книгами, чертежами. Тот самый инструктор, который когда-то выгонял ее из мастерской, теперь не мог нахвалиться своей ученицей.

И вот пришла весна 1930 года — первая весна Паши-трактористки. Хмурым, туманным утром рослая, крепкая девушка в синем комбинезоне, в серой каракулевой кубанке подошла к трактору. Послушная ее воле машина тронулась с места, двинулась по полю, оставляя позади себя ровную, глубокую борозду.

Бригадир тракторного отряда Петр Бойченко в первый день не отходил от Паши. Придирчиво присматривался, как она управляет трактором, тщательно замерял глубину вспашки. Ему никак не верилось, что бойкая, острая на язык Паша сможет справиться с таким

серьезным, мужским делом, как вождение машины. Но трактор шел отлично, пахал ровно, не оставляя ни одного огреха...

В эту весну Паша поставила рекорд — первый рекорд в своей жизни. Сколько еще было потом больших трудовых побед, но, пожалуй, никогда не радовалась она им так, как этому своему первому успеху. Ее трактор проработал бесперебойно весь сезон, вспахал больше всех в отряде. На собрании работников МТС ей торжественно вручили книжку ударника, значок отличника сельского хозяйства, ценный подарок...

А через несколько дней, придя в мастерскую, Паша увидела, что возле ее трактора возится какой-то незнакомый парень.

— Зайди в контору, — хмуро сказал он ей, — познакомься с новым приказом.

Приказ директора МТС гласил: за достигнутые успехи трактористку П.Н. Ангелину повысить в должности, назначить... кладовщиком на нефтебазу.

— Чего ты кипятишься? — пожал плечами директор МТС. — Ну повозилась с машиной, потешилась — и хватит. А ну как вслед за тобой другие девушки к трактору потянутся? Ангелиной, скажут, можно, а нам нельзя?.. Не могу я машинно-тракторную станцию превратить в какой-то женский батальон.

Трудно сказать, чем кончилась бы эта история, если бы не вмешался в нее старый большевик, начальник политотдела МТС Иван Михайлович Куров.

— Приказ директора будет отменен как неправильный, — успокоил он Пашу, — я уже беседовал по этому поводу в обкоме партии. А ты сделай-ка вот что. Подбери хороших девчат из прицепщиц, которые смогли бы быстро овладеть трактором. Есть такие?

— Да сколько угодно, — оживилась Паша. — Наташа Радченко давно уже на курсы просится, сестра ее Маруся, Люба Федорова, Вера Анастасова. Еще Веру Косее можно, Веру Золотопуп...

— Вот и хорошо, — улыбнулся Иван Михайлович. — Создадим целую тракторную бригаду из девушек. Тебя бригадиром назначим. Согласна?

...Двадцать пять девичьих голов склонились над тетрадами. К доске кнопками прикреплена большая схема электропроводки трактора. Паша Ангелина водит по ней указкой, ровным, спокойным голосом объясняет устройство магнето...

Всю зиму «гоняла» Паша своих девчат. Они не только назубок знали трактор, но и познакомились с основами агротехники, изучили структуру почв, читали труды Вильямса, Докучаева. Как талантливый полководец, готовясь: к решительному наступлению, заранее определяет направление главного удара, подтягивает резервы, обеспечивает тылы, так и Паша перед выходом в поле все учла, все продумала. Не с голыми руками выводила Паша свой отряд на штурм.

Едва первые лучи солнца скользнули по земле, шумно, с грохотом растворились ворота усадьбы МТС, и из мастерских выехала колонна тракторов. Впереди Паша, за ней Наташа Радченко, Вера Коссе, Люба Федорова, Вера Анастасова...

Четко выдерживая дистанцию, колонна двинулась в село. Всю дорогу девушки пели песни, шутили. Настроение у всех было приподнятое, праздничное.

Головная машина уже перевалила через пригорок, за которым начинались колхозные поля. И вдруг у Паши екнуло сердце. Впереди смутно виднелись какие-то люди. Их много. Вот они подвигаются все ближе, ближе... Из толпы выходит дородная, укутанная по самые брови в шерстяной платок женщина и, преградив дорогу тракторам, решительно командует:

— А ну, слезайте, вертихвостки! Дальше не поедете... И будто по команде толпа зашумела, закричала на разные голоса:

— Не пусти-им!..

— Землю нашу портить... Не дадим!..

Дрожащими руками Паша выключила зажигание. Вокруг нее гудела толпа, многие уже подошли вплотную, окружили трактор, хватали Пашу за руки, пытаясь стащить на землю.

Вовремя подоспевший на «газике» Иван Михайлович Куров едва утихомирил разбушевавшихся женщин. Ему с трудом удалось уговорить их сойти с дороги, но толпа не разошлась. Сгрудившись у обочины, она настороженно наблюдала за действиями девушек.

Три дня подряд, не слезая с тракторов, трудились девушки в поле. А на четвертый пришел к ним в гости старый колхозник Степан

Иванович Николаев. Окинул взглядом огромный массив вспаханного поля, тщательно измерил глубину вспашки, размял пальцами комок земли, зачем-то даже понюхал ее и восхищенно покрутил головой:

— Вот это работка! Ай да девушки! Молодцы...

Потом подошел к Паше, отводя глаза в сторону, сказал:

— Тут, говорят, жены наши скандалили. Так вы... того... не обижайтесь на них. Известное дело — бабы!..

— А мы кто же по-вашему? — улыбнулась Паша.

— О, вы — женщины! — уважительно посмотрел на нее старик.

Все рассмеялись...

Четко и организованно провели девушки полевые работы. За весь сезон ни одной серьезной поломки, ни одной аварии.

Первая в Союзе женская комсомольско-молодежная тракторная бригада Паши Ангелиной показала блестящие образцы работы: при плане 477 гектаров девушки каждым трактором обработали по 739 гектаров. План тракторных работ они выполнили на 129 процентов. Бригада заняла первое место по МТС и завоевала переходящее Красное знамя.

В тот же год в жизни Паши произошло знаменательное событие: ее приняли в Коммунистическую партию... Позже, когда слава о замечательной женской тракторной бригаде разнеслась далеко по всей стране, многие спрашивали Пашу: в чем секрет успеха ее бригады, что помогло девушкам добиться таких результатов? Она отвечала: «Главное — упорство. Мы никогда не останавливались на достигнутом, ввели для себя твердое правило: если сегодня сделали много, завтра можем и должны сделать еще больше».

Они действительно были упорными. Еще не утихло радостное волнение первого большого успеха бригады, еще звучали в ушах бурные рукоплескания, которыми встречали колхозники появление смелых трактористок на собраниях, а девушки уже снова чуть не каждый день собирались вместе... Снова раскрыты учебники, развешаны чертежи, разложены на столе детали машины. Сообща решали: можно ли выжать из трактора больше, чем им удалось? Если можно, то как?

У девушек уже был пусть небольшой, но ценный опыт, и они извлекли из него немало полезных уроков. По-новому распределили силы бригады, продумали, как лучше организовать подвоз горючего,

составили список инструмента, который должен всегда быть у трактористок на случай мелкой поломки.

В 1934 году бригада Паши Ангелиной работала на полях семи колхозов. И снова качество работ безупречное, выработка высокая. Земля, обработанная девушками, дала невиданный по тому времени урожай: по 16–18 центнеров пшеницы с гектара. Выработка на каждый трактор составила 795 гектаров. Сама Паша обработала около тысячи гектаров. Женская бригада снова заняла первое место в районе, удержав у себя переходящее Красное знамя.

Вскоре в МТС пришло письмо, которое всех развеселило. «Убедительно просим МТС прислать к нам вашу ударную женскую бригаду, — писали колхозники из соседнего района. — Пусть трактористки возьмут на буксир наших трактористов-мужчин, которые не справляются с работой».

— Вот видишь, Паша, — сказал Куров, передавая ей письмо, — заставили-таки девушки уважать себя. Уже и в гости вас кличут...

А через несколько дней Пашу позвали гораздо дальше, чем в соседний район. Правительственная телеграмма вызывала ее в Москву, на Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников.

Съезд проходил в Большом Кремлевском дворце. Один за другим поднимались делегаты, рассказывали о своих успехах, делились опытом. На одном из заседаний председательствующий объявил:

— Слово предоставляется Паше Ангелиной — бригадиру женской тракторной бригады Старо-Бешевской МТС.

Будто в тумане, взошла Паша на трибуну. Робко подняла глаза, посмотрела в зал и... растерялась. Все слова, все мысли, которыми хотелось поделиться, вдруг как-то сразу вылетели из головы. Из президиума послышался тихий ободряющий возглас:

— Смелей, смелей, Паша!..

И тогда Паша заговорила. Она рассказала, как создавалась бригада, как трудно было девушкам на первых порах, как упорно, несмотря ни на что, они добивались своего. Не забыла упомянуть и о письме, полученном в МТС накануне ее отъезда.

— А теперь наши девушки показывают пример, как надо работать. От имени бригады даю обещание: в будущем году выработать по 1200 гектаров на каждый трактор! — так закончила она свое выступление. Зал ответил ей бурными рукоплесканиями.

...Вот где понадобилось девушкам все их упорство! Осень 1935 года выдалась на редкость хмурая, дождливая. Тракторы едва двигались по вязкому, размытому бесконечными дождями грунту. От чрезмерной нагрузки то и дело перегревались, глохли моторы.

Ветер швырял в лицо горсти холодных брызг, пронизывал все тело. Но насквозь промокшие, озябшие девушки не бросали руль. Соберутся на минутку у полевого вагончика, наскоро перекусят, погрееются у костра — и снова в поле, снова за работу.

В эту трудную осень девушки, пожалуй, впервые по-настоящему узнали, какой железной волей, каким твердым характером обладает их бригадир. Похудевшая, осунувшаяся от постоянного недосыпания, Паша неизменно, изо дня в день выполняла свою норму и, кроме того, успевала помочь отстающим подругам, подбодрить их, организовать питание, съездить в усадьбу МТС за запасными частями... Наташа Радченко, давняя подруга детства, подошла как-то к бригадиру.

— Ты бы передохнула, Паша. Нельзя же так... Паша удивленно вскинула брови:

— Я ведь слово в Кремле дала. Разве можно его не сдержать?

Когда, закончив работы, бригада, как обычно, своим ходом возвращалась в МТС, на переднем тракторе колонны красовался огромный щит: «Бригада обязательство выполнила. Каждым трактором обработано 1225 гектаров. Сэкономлено 20 154 килограмма горючего».

В ту же зиму Паша снова была в Москве, теперь уже вместе со всей бригадой. Девушек пригласили на Всесоюзный слет передовиков сельского хозяйства страны.

На этом совещании Ангелина выступала снова. Теперь она чувствовала себя на трибуне увереннее, говорила свободней. По поручению бригады она сообщила о новых повышенных обязательствах, которые взяли на себя девушки: довести выработку до 1600 гектаров на трактор.

О замечательных успехах первой в стране женской тракторной бригады знала уже вся страна. В газетах печатались портреты девушек, рассказывалось об их работе.

Однажды рано утром в номере гостиницы, где жили девушки прославленной бригады, зазвонил телефон.

— Горячо поздравляю с высокой правительственной наградой, — сказал чей-то незнакомый мужской голос. — Вы еще не знаете? Сегодня в газетах опубликовано постановление ЦИК СССР. Ваш бригадир Паша Ангелина награждена орденом Ленина, все остальные члены бригады — орденами Трудового Красного Знамени...

На следующий день в Кремле Михаил Иванович Калинин вручил девушкам высокие награды.

«Девушки, на трактор!»

Страна стремительно шагала по дорогам пятилеток. Каждый день радио приносило радостные вести: вступил в строй новый завод, дала ток новая электростанция, пошла поезда по новой железнодорожной магистрали. Один за другим вставали мощные гиганты индустрии: Сталинградский тракторный, Магнитогорский металлургический, Краматорский машиностроительный, Днепрогэс... Конструкторы создавали новые машины, чтобы избавить людей от тяжелого ручного труда, специалисты сельского хозяйства искали пути повышения урожайности, чтобы дать людям вдоволь хлеба, мяса, молока, ученые работали над проблемами продления человеческой жизни...

А в это время на Западе сгущались тучи. В Германии генералы фюрера обсуждали план похода на восток. Фашистский дуче Муссолини спешно формировал отряды чернорубашечников для борьбы «против мирового коммунизма». В Испании уже лилась кровь — свободолюбивый испанский народ вел неравный бой против сил реакции, и каждый взрыв вражеского снаряда на баррикадах Мадрида и Барселоны отдавался щемящей болью в сердцах советских людей...

В Европе разгоралось пламя новой мировой войны, и его смертоносное дыхание подкатывалось к Стране Советов.

В Киеве открылся очередной XIV съезд Коммунистической партии Украины. Паша Ангелина — в составе Делегации коммунистов Донбасса. Ей было о чем рассказать на съезде. Из года в год ее бригада успешно справлялась со всеми работами. По 30 гектаров пахотной земли приходилось на каждого колхозника в сельхозартели «Запорожец», и всю эту землю девушки успевали вовремя и качественно засеять, забороновать, прокультивировать. Выработка на

каждый трактор бригады составила 1715 гектаров. В селе никто уже не говорил, что вождение трактора — это не женское дело. Опыт первой в Союзе женской тракторной бригады показал, что девушки отлично могут владеть сельскохозяйственной техникой, не хуже мужчин управлять ею.

— Восемьдесят восемь тысяч тракторов работают на полях Украины, — как всегда страстно, не заглядывая в бумажку, говорила с трибуны съезда Паша. — А что, если Гитлер пойдет на нас походом? Трактористы уйдут на фронт... Кто должен их заменить? Мы, сестры и жены, должны будем их заменить! Девушки, на трактор!..

Вскоре в газетах был напечатан призыв первой девушки-трактористки: «Сто тысяч подруг — на трактор!» Этот призыв был услышан во всех городах и селах, в самых далеких кишлаках и аулах...

Так начался всесоюзный поход девушек за овладение искусством вождения трактора. На Алтае и в Сибири, на Урале и в Белоруссии, в Армении и Поволжье тысячи девушек пришли в машинно-тракторные станции. Повсюду создавались краткосрочные курсы по изучению трактора, комплектовались новые женские тракторные бригады.

В те дни газеты ежедневно печатали такие сообщения: «800 колхозниц Хакасии решили стать трактористками». «В Николаевской области все трактористы взялись обучать своей профессии жен и сестер». «На полях Украины работает уже 500 женских тракторных бригад».

Прославленная бригада Паши Ангелиной превратилась в своеобразный институт. Вера Юрьева, Наташа Радченко, Вера Золотопуп уже давно руководили женскими тракторными бригадами в других колхозах. На их место пришли Киля Антонова, Лиза Кальянова, Маруся Мастеревенко. Под руководством Паши девушки изучали трактор, знакомились с организацией работ в бригаде. Многие из них уходили затем в другие МТС, чтобы там самим создавать новые женские бригады, обучать их мастерству.

...В доме Паши большая радость: ее дочь Светлана начала ходить. Какая мать удержится от счастливых слез при виде этой картины! Паша часами могла бы наблюдать, как ее малышка робко делает первые шаги по земле, слушать, как нечленораздельные звуки начинают складываться в первые слова...

Но редко удавалось ей выкроить свободную минутку, чтобы поиграть с дочерью. 12 декабря 1937 года народ назвал ее своим депутатом в Верховный Совет СССР первого созыва. Каждый день к своему депутату шли люди. Одни — поделиться радостью, другие — рассказать о торе, третьи — попросить совета, помощи. И Паша всегда находила время, чтобы тепло, по душам поговорить с каждым, принять нужные меры, добиться справедливого решения. Ее дом был открыт для всех, она в любую минуту была готова прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. Депутат верно служил своему народу, и народ ценил это. И в дни ее молодости, и тогда, когда в ее волосах уже пробилась седина, люди любовно называли ее «наша Паша»...

Рассвет заставал ее уже на ногах. Убрав в комнате и приготовив завтрак, Паша будила свою дочурку, одевала ее, кормила, а потом, взглянув на часы, вскрикивала:

— Ой, чуть не опоздала! Через десять минут начнутся занятия.

И, надев свою неизменную кубанку, выбегала на улицу...

Занятия на курсах трактористок проводились по строгому расписанию, составленному бригадиром: с утра — теория, днем — практическая работа в мастерской.

С первого же дня занятий Паша поставила перед всеми неперемное условие: прежде чем вывести трактор в поле, водитель должен в совершенстве, до мелочей, изучить машину, уметь по малейшим признакам определять ее «болезни» и знать, как их «лечить».

Сама Паша по-настоящему любила машину, она могла по нескольку часов подряд копаться в моторе, забывая о еде, об отдыхе. И эту любовь она старалась привить своим ученицам.

До позднего вечера возилась Паша в мастерской. А затем, умывшись и перекусив, куда-нибудь снова спешила. Встречалась с избирателями, выступала по радио, проводила совещания трактористов, писала статьи в газеты, отвечала на многочисленные письма...

— Какие-то очень уж короткие сутки стали, — жаловалась она мужу. — Не успеешь оглянуться — уже ночь, — а дел и половина не сделана...

— Верно, Паша, — сочувственно улыбался муж. Он работал секретарем райкома комсомола, и ему тоже часто не хватало времени.

Осенью 1939 года Паша уезжала на учебу в Москву, в сельскохозяйственную академию. Провожало ее все село.

— Получусь, наберусь знаний и снова сяду за трактор, — прощаясь, говорила Паша своим односельчанам. — Да если бы все трактористы имели достаточное образование, вы представляете, какие урожаи собирала бы наша страна!...

Ей не довелось завершить учебу. Грянула Великая Отечественная война...

Хмурым осенним утром Паша вывела свою бригаду из мастерской. С развернутым знаменем, четким строем колонна тракторов двинулась по дороге, держа курс на восток. На далеких неведомых землях, где-то в Казахстане, ей предстояло продолжать свое дело.

Колхоз имени Буденного, раскинувший свои земли близ аула Теректа Западно-Казахстанской области, не был богатым. Иссушенная жгучими ветрами земля давала скудные урожаи. Даже в самые удачливые годы колхозники собирали по шесть-восемь центнеров зерна с гектара.

— Мы слышали о знаменитой трактористке Анжелиной, — говорили Паше колхозники на следующий день после ее приезда. — Ты большой мастер. Умеешь хорошо работать, очень хорошо... Но земля здесь не та, что на Украине. Она не может давать много хлеба. Нельзя взять от земли больше, чем она может дать...

— Возьмем! — уверенно отвечала Паша. — Раз нужно для фронта, для победы — возьмем во что бы то ни стало!

Паша твердо верила: на любой земле можно вырастить хороший урожай, если будешь трудиться не жалея сил, строго и неуклонно выполнять правила передовой агротехники. У нее был уже богатый практический опыт обработки земли. Теперь к этому опыту добавились знания, полученные в академии. Ведь не напрасно же, уезжая из родного села, она взяла с собой лишь самое необходимое из одежды, а огромный чемодан доверху наполнила книгами и конспектами. Она крепко надеялась на науку...

И наука не подвела. Она раскрыла перед нею секреты плодородия. Раз земля бедна влагой, надо сделать все, чтобы как можно дольше задержать ее в грунте. Сев нужно провести в кратчайшие сроки, пока влага не успела испариться из распаханной земли. Следом за сеялкой

пустить легкие бороны, чтобы поглубже заделать семена, разрыхлить землю. После дождя немедленно разрушить образовавшуюся корку, закрыть все пути улетучивания влаги из грунта... Да, это трудная, кропотливая работа, но зато она окупится сторицей!

По несколько раз вдоль и поперек избородили тракторы колхозную землю. Шесть суток без сна и отдыха провела Паша в поле, пока не был засеян и обработан весь огромный массив. Колхозники только руками разводили: откуда берутся силы у этой невысокой, стройной женщины? Неужели и правда удастся ей добиться того, чего не могли сделать их деды и прадеды, — заставить землю дать обильный урожай?

К лету налилась соками, встала стеной выше человеческого роста густая пшеница. Будто золотое море разлилось по колхозным полям...

По всему Казахстану разнеслась весть о «чуде», которое совершила украинская трактористка на казахской земле: по сто пятьдесят пудов зерна с каждого гектара, в шесть раз больше, чем обычно, получил колхоз имени Буденного. Из других районов и областей приезжали делегации, расспрашивали о методах обработки земли, интересовались организацией труда в тракторной бригаде. Паша охотно делилась своими «секретами».

...Колхозный счетовод, бойко отстукав костяшками счетов, вскочил с места, горячо потряс Паше руку:

— Поздравляю! Знаете, сколько зерна причитается вам за работу в этом году? Двести восемнадцать пудов! Если продать его... Это же целое состояние!

— Перечислите этот хлеб в фонд Красной Армии, — спокойно сказала Паша.

— Как, весь? — изумился счетовод.

— До последнего зернышка! — твердо ответила Паша. — Это будет мой вклад в дело победы над фашизмом.

— Мы с девушками тоже решили весь свой заработок отдать на укрепление армии, — от имени всей бригады заявила ее сестра Леля Ангелина. — Пусть на эти средства построят танковую колонну...

Тракторная бригада Паши Ангелиной передала в фонд Красной Армии 768 пудов хлеба. Танки, построенные на эти средства, громили врагов на Курской дуге, освобождали Польшу, участвовали в штурме Берлина...

Далеко от аула Теректа проходила линия фронта. Но и здесь, в дальнем ауле, тоже шел бой — упорный, Жаркий, решительный. Не щадя своих сил, девушки вели битву за хлеб — и выиграли ее. И не случайно воины одной из гвардейских танковых бригад, сформированной Целиком из бывших трактористов, решили занести в свои списки Пашу Ангелину и присвоить ей почетное звание Гвардейца.

В тяжкие годы войны труженики сельского хозяйства отлично выполнили свой долг перед Родиной. Страна бесперебойно получала хлеб, мясо, овощи... Этому немало способствовали женские тракторные бригады, созданные по призыву Паши Ангелиной. Не сто, а двести тысяч подруг откликнулись на призыв знатной трактористки овладеть сельскохозяйственной техникой. Женщины выдержали суровый экзамен войны. Они вынесли на своих плечах все трудности полевых работ в военное время, сами пахали землю, убирали урожай, пока их отцы, мужья и братья сражались на фронте. И когда над древней кремлевской стеной расцвел салют Победы, тысячи девушек — тружениц села по праву могли сказать: «Это и нам салютует Родина!»

Работать, работать!..

Во время оккупации Старо-Бешева фашисты усиленно распространяли слухи, что знаменитая трактористка Прасковья Ангелина добровольно перешла на сторону врага, уехала в Германию. Гитлеровский комендант Циммер, поселившийся в доме Ангелиных, приказал собрать всех жителей деревни на площадь и объявил, что живущая ныне в Берлине Ангелина призывает своих земляков беспрекословно подчиняться гитлеровскому командованию и хорошо трудиться на пользу великой Германии. Но не нашлось в селе ни одного человека, который бы поверил этому. Люди хорошо знали свою Пашу...

Она вернулась домой, как только линия фронта откатилась от Донбасса. Тепло и сердечно встретили колхозники свою землячку. Ей рассказали, что, когда советские войска ворвались в Старо-Бешево, фашистский комендант Циммер бежал в одном нижнем белье. Узнав,

что дом, из которого бежал комендант, принадлежит Паше Анжелиной, солдаты старательно вычистили его, убрали всю грязь. В погребке они обнаружили «трофей» — два ящика шампанского, а двадцать бутылок из них оставили в буфете на верхней полке — до возвращения Паши.

— Ну так отметим нашу встречу по всем правилам, — весело воскликнула Паша. — А завтра — работать, работать!..

Сотни жителей села вышли на улицу, когда по дороге в поле двинулась тракторная бригада Паши Анжелиной. Как всегда, полощется на ветру красное знамя, громко звучит бодрая песня. И многие в этот момент не могли удержаться от радостных слез: из пепла и руин снова встает на ноги родной колхоз.

Пожалуй, никогда еще не выезжала Паша на поля с таким горячим стремлением потрудиться изо всех сил, приложить все старания, чтобы лучше провести сев, как в ту памятную весну 1945 года, весну Победы.

Давным-давно, еще в те годы, когда первые тракторы вышли на колхозные поля, Паша начала вести дневник. Со скрупулезной точностью она описывала в нем жизнь бригады — день за днем, час за часом. Эти записи помогли ей тщательно проанализировать весь процесс машинной обработки земли, найти причины и способы устранения простоев сельскохозяйственных машин. Кому не известно, что в горячую пору сева для тружеников села самое важное — выиграть время? И бригадир долго и упорно искала пути сокращения сроков проведения полевых работ.

Анализируя работу бригады за несколько лет, Паша пришла к выводу: больше всего теряется рабочего времени из-за различных поломок. В дневнике были описаны и причины поломок: чаще всего они происходили из-за того, что не были своевременно обнаружены и устранены мелкие дефекты. Значит, надо ввести систематический, планомерный профилактический осмотр и ремонт тракторов, тогда в страдную пору количество простоев резко сократится.

Так родился в бригаде новый метод профилактического ремонта машин. Этот метод был затем широко распространен во всех машинно-тракторных станциях страны...

Из дневниковых записей Паша сделала и еще один ценный вывод: слишком много времени тратится на заправку тракторов горючим. Каждый раз, когда стрелка, указывающая уровень горючего в баке, приближалась к нулю, тракторист бросал работу и вел машину к

заправочному пункту. Пока вернется трактор к борозде, уйдет час, а то и больше. И это в то время, когда дорога каждая минута!

Паша пришла к директору МТС и решительно потребовала:

— Как ни трудно у нас с автотранспортом, но нужно выделить машину для развозки горючего, организовать заправку тракторов прямо в борозде, на ходу...

Смелое новаторство знатной трактористки полностью оправдало себя. Строго соблюдая все агротехнические правила, четко выдерживая график работ, составленный Ангелиной, бригада провела весенний сев в невиданно короткий срок — за четыре дня.

Даже старожилы не могли припомнить такого урожая, какой получил колхоз «Запорожец» в памятном 1945 году. Будто истстрадавшаяся под фашистским сапогом земля спешила отдать все свои богатства подлинным своим хозяевам. С каждого гектара собрали по 24 центнера зерна, а отдельные участки дали даже по 28–30 центнеров!

В ту осень колхозники еще не знали, что природа готовит им новое тяжкое испытание. Они и не подозревали, что в будущем году падет на землю страшный бич — засуха, да еще такая, какой не было за последние полвека...

В своем дневнике Паша нашла такие записи: «В 1935 году пары поднимали за 15 дней до сева. Во время зимовки погибло десять процентов кустов и 22 процента стеблей. Урожай — 16,5 центнера с гектара. В 1937 году почва обработана за месяц до сева, потеряли 3 процента кустов и 9 процентов стеблей. Собрали по 22 центнера с гектара. В 1943 году пахали за сорок дней до сева, зимой погибло всего 2 процента кустов и 5 процентов стеблей. Урожай — 25 центнеров!»

Чем раньше обрабатываешь почву, тем выше урожай озимых — вот что подсказывала практика.

За сорок пять дней до начала сева вышли тракторы в поле поднимать пары. Старательно перепахали землю, следом протащили тяжелые бороны. Однажды на лекции в академии Паша услышала цифру, которая ее поразила: в течение дня на Украине с каждого гектара верхнего слоя почвы испаряется около 80 кубометров воды. Целое озеро улетучивается в воздух, если не успеешь своевременно закрыть все каналы утечки! Вот почему так важно успеть вовремя

хорошо обработать вспаханную землю. И бригада старалась вовсю. Как только был закончен подъем паров, она провела первую культивацию, через полмесяца — вторую, затем — третью... В декабре, когда ударили первые морозы, потянулись в степь обозы с удобрением. Потом на озимых полях разбросали вороха веток, обмолоченных снопов.

— Снег дольше задержится, — пояснила Паша. — В подмосковных колхозах давно так делают...

Лето было на редкость сухим и жарким. Будто огромный, раскаленный добела колпак, дышал жаром небосвод. Ни облачка, ни ветерка... Люди с тревожной надеждой смотрели на белесое от зноя небо: «Дождя бы...»

Но дождей не было. Ни единой капли влаги за все лето не упало на пересохшую, растрескавшуюся землю.

А на полях колхоза «Запорожец» как ни в чем не бывало колосилась густая высокая пшеница. С избытком напоенные влагой в период роста, получившие отличный уход, хорошо развитые растения стойко выдерживали невиданную засуху. Со всей площади посева в среднем собрали по 17 центнеров с гектара.

За получение в 1946 году высокого урожая Прасковье Никитичне Ангелиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Богатый опыт организации работ, накопленный П. Н. Ангелиной, ее новый метод обработки земли нашли широкое применение в социалистическом земледелии. По инициативе знатной трактористки в стране развернулось движение за высокопроизводительное использование сельскохозяйственных машин и повышение культуры обработки полей. Тысячи ее последователей повели решительную борьбу за высокие и устойчивые урожаи всех сельскохозяйственных культур. За коренное усовершенствование труда в сельском хозяйстве, внедрение новых, прогрессивных методов обработки земли Прасковье Никитичне Ангелиной была присуждена Государственная премия СССР.

В декабре 1947 года П.Н. Ангелина докладывала о своей работе на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства СССР. В обслуживаемом ее бригадой колхозе, несмотря на повторившуюся засуху, снова получен высокий урожай пшеницы. Отлично уродила озимь, стойко выдержали засуху яровые...

По решению Министерства сельского хозяйства Старо-Бешевская МТС была преобразована в опорно-показательную. Со всех концов страны сюда приезжали за опытом руководители машинно-тракторных станций, студенты сельскохозяйственных институтов, механизаторы, Ученые. Имя Прасковьи Никитичны Ангелиной было окружено славой и почетом. О замечательной женщине узнали наши друзья за границей. Учиться к ней приезжали делегации крестьян из Польши, Чехословакии, Болгарии. Встреч с нею добивались американские, английские, французские журналисты.

Но слава не вскружила голову Ангелиной. Как и прежде, она неумоимо водила свой трактор, любила копаться в моторе, по вечерам засиживалась над учебниками. Каждый день она стремилась внести в работу что-то новое, интересное. Ее бригада из года в год перевыполняла задания, неизменно выходила победителем в социалистическом соревновании механизаторов.

...Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 февраля 1958 года Прасковье Никитичне Ангелиной было присвоено звание дважды Героя Социалистического Труда. Ее грудь украсила вторая Золотая медаль «Серп и Молот» — знак признания выдающихся заслуг замечательной трактористки перед Родиной.

До конца дней своей жизни она осталась честной труженицей, энергичной, волевой и жизнерадостной женщиной. В феврале 1958 года она выступала на митинге, посвященном награждению области орденом Ленина за успехи в увеличении производства сельскохозяйственных продуктов. Те, кто знал ее в первые годы коллективизации, увидели на трибуне прежнюю Пашу-комсомолку. Та же горячность, влюбленность в свое дело, те же размашистые, энергичные движения и та же излюбленная кубанка на пышных волосах...

Она всегда шла в ногу с жизнью, активно откликалась на все события в стране.

Как-то в начале 1954 года Прасковья Никитична пришла в МТС со свежим номером «Комсомольской правды».

— Читали? — обратилась она к трактористам. — Комсомол объявил всесоюзный поход за освоение целинных земель. Какое большое дело затевается!

И совсем по-женски вздохнула, с сожалением покачала головой:

— Эх, была бы я помоложе, не задумываясь, махнула бы на целину. Места там мне знакомы, на казахских землях есть где развернуться... Отличные урожаи можно выращивать!

Трактористы-комсомольцы Константин Биатов, Виталий Ангелин, Иван Певтиев окружили Прасковью Никитичну:

— А если мы подадим заявления направить нас на целину, нас отпустят из МТС?

— Да кто же вас удержит? — улыбнулась Прасковья Никитична. — Раз партия зовет, надо ехать. Хорошие трактористы там нужны...

Через несколько дней группа трактористов из бригады Прасковьи Никитичны Ангелиной готовилась к отъезду на целину.

— Как только приедете на место, непременно напишите мне, — сказала она. — И вообще не порывайте связи с МТС, сообщайте о своих успехах и неудачах...

Ребята сдержали слово: очень скоро из Акмолинской области пришло письмо. В нем описывалась жизнь целинников, условия работы, трудности, с которыми встретились новоселы. Прасковья Никитична все время поддерживала активную переписку с покорителями целины. Она ободряла их, посылала учебники, подарки...

В 1958 году родилось среди молодежи новое замечательное движение — соревнование за право именоваться бригадами коммунистического труда. «Разведчики будущего» — так в народе окрестили первые коллективы, начавшие это соревнование.

Как только первые вести о новом ценном начинании пришли в Старо-Бешево, Прасковья Никитична собрала свою бригаду. С присущей ей горячностью и пылом сказала:

— Предлагаю включиться в это движение и во что бы то ни стало завоевать высокое звание бригады коммунистического труда!

За несколько дней до открытия XXI съезда КПСС, делегатом которого она была избрана, Прасковью Никитичну сразил тяжкий недуг. Свидетельство о присвоении тракторной бригаде П.Н. Ангелиной почетного звания «Бригада коммунистического труда» трактористы принимали уже без своего бригадира...

В одном из писем к своим многочисленным друзьям Прасковья Никитична писала: «Если бы нашелся человек, который сказал бы мне: «Вот твоя жизнь, Паша, начни свой путь сначала», — я, не задумываясь, повторила бы его с первого до последнего дня и только постаралась бы идти этим путем прямее».

Ким КОСТЕНКО

Иван СИДОРЕНКО

Всесоюзный съезд бетонщиков был назначен на 30 июня 1931 года на строительной площадке Харьковского тракторного завода. Именно здесь в годы первой пятилетки родились мировые рекорды укладки бетона. Двести делегатов, среди которых, кроме рабочих и бригадиров, были инженеры, техники-строители, съехались в Харьков. Гости с большим интересом знакомились со строительством ХТЗ. И хотя все они работали на великих стройках пятилетки, масштабы тракторного завода, темпы работ вызвали у них восхищение. Большинство просторных цехов оснащались оборудованием, повсеместно отработывалась технология тракторостроения, ведь осенью этого года завод должен был вступить в строй действующих и выпустить первые колесные тракторы. Спешно достраивался литейный цех. Здесь предстояло забетонировать пол. Эту работу поручили комсомольскому сквозному батальону красногвардейцев пятилетки, командиром которого являлся секретарь ячейки литейного цеха Иван Сидоренко. Именно бригадам его батальона принадлежали все достигнутые до сих пор трудовые рекорды укладки бетона. Молодому отряду бетонщиков предстояло показать высокий класс работы делегатам предстоящего съезда.

Накануне секретарь парткома стройки Потапенко пригласил к себе в кабинет, отгороженный неоструганными досками в просторном зале бытовки, Ивана Сидоренко. Весь облик двадцатилетнего парня воплощал сейчас в себе решительность и твердую волю. И это нравилось старому коммунисту, участнику гражданской войны, штурма Перекопа.

— Ну как, ставим рекорд? — спросил он Сидоренко.

— Ставим, — коротко ответил тот.

— Но учти: сотни глаз следить будут. Не сробеете?

— Нехай смотрят да учатся, — усмехнулся задорно Сидоренко.

— Хорошо, если так. Сколько замесов думаешь делать?

— Да не менее семисот, — отозвался как о давно решенном Сидоренко.

— А качество не пострадает?

— Все рассчитали, товарищ Потапенко. Вы не сумлевайтесь, не подведем, — заключил беседу Сидоренко.

Потапенко не сомневался. Хотя он считал нужным предостеречь, предупредить, но не сомневался: Сидоренко и его парни справятся с задачей, покажут своим коллегам с других строек страны, как надо работать, и не уронят чести строителей Харьковского тракторного.

Весной прошлого года секретарь комитета комсомола стройки привел к Потапенко Ивана Сидоренко и сказал:

— Вот новичок прибыл из Запорожья. Комсомолец. Бетонщиком хочет стать. Опыт имеет на комсомольской работе, секретарем ячейки был.

— Где?

— В местечке Орехово, Днепропетровской области, — ответил Иван Сидоренко. — Меня туда в счет пятисот посылали ЦК ЛКСМУ.

— Что ушел? — допытывался Потапенко.

— В Запорожье на строительство комбайнового завода «Коммунар» послали, — пояснил Сидоренко. — Плотничал.

— А сюда как надумал?

— «Коммунар» построили, попросился на ХТЗ. Отпустили, — рассказывал Сидоренко.

— Мы его хотели секретарем ячейки на строительство литейного цеха поставить, — вмешался секретарь комитета комсомола, — да у него документы из Запорожья не пришли.

— Документы... — недовольно хмыкнул Потапенко. — Билет комсомольский есть?

— При себе, — тронул карман штормовки Си-Доренко.

— Вот тебе главный документ. Остальные пришлют. Да и сам он нам сейчас расскажет, кто он и откуда. Проверка, конечно, не мешает, но и верить людям надо.

Сидоренко коротко поведал о себе. Родился в семье бедняка в местечке Мены, Черниговской губернии. Отец погиб на германском фронте. Беспризорничал, пас гусей у куркулей. Тринадцати лет научился читать самостоятельно по «Пидручнику младопысменных». Потом ходил в школу два года, да и то с перерывами. Работать приходилось, себя и мать кормить. В 1926 году вступил в комсомол. Работал в то время на ремонте железной дороги, потом на махорочной фабрике. С 1929 года на стройке завода «Коммунар».

«Очень подходящая биография у тебя, хлопец», — сказал тогда Потапенко. И посоветовал секретарю комитета ВЛКСМ поставить Ивана Сидоренко вожаком комсомольцев — строителей литейного цеха.

Внимательно следил потом Потапенко за ростом полюбившегося ему парубка. Веселый, общительный, ловкий в работе, Иван Сидоренко сразу стал своим человеком у строителей тракторного завода. Как бы ни был труден рабочий день, а вечером он читал товарищам газеты, рассказывал о трудовых достижениях на других стройках пятилетки. Успевал выполнять поручения комитета комсомола, руководить ячейкой, учиться на курсах бетонщиков. За полночь, когда уставшие ребята крепко спали, листал Сидоренко затрепанную книжку о бетонных работах, написанную заграничным профессором Зайлигером. Башковитый, наверно, тот профессор. Вся книжка испещрена непонятными Ивану формулами. Ну, ничего, войдет в строй новый тракторный, станет учиться Сидоренко, сын черниговского хлебороба.

Вскоре стал Сидоренко бетонщиком, сначала рядовым, а потом и бригадиром. В те годы быстро росли люди, быстро постигали, секреты мастерства.

Как-то пришел к Потапенко Иван с рядом предложений. Он листал замасленный блокнот и перечислял требования, которые выдвинули комсомольцы на собрании ячейки. Сидоренко предлагал создать из трех бригад комсомольский сквозной батальон красногвардейцев пятилетки. «Нужно все силы объединить в один кулак, — Иван сжал пальцы. — Сейчас как получается: отработала бригада смену — и дела нет, как их сменщики станут трудиться. Надо, чтобы все заодно действовали». Предложение поддержали партком и администрация стройки. Командиром батальона назначили Ивана Сидоренко. Он подбирал лучших парней в свой батальон, заставлял их учить теорию бетонирования, сам подавал пример. Ребята сразу признали нового вожака. Свой, душевный парень, требовательный к себе и товарищам. Батальон Сидоренко быстро вырвался вперед по темпам укладки бетона, о нем заговорили на стройке. Сидоренко не уставал повторять слова Ленина, что если дать крестьянам тракторы, то они скажут: «Я за коммунию». «Мы строим коммунизм, хлопцы, по Ленину строим. Об этом всегда помнить надо». Призыв Сидоренко

был понятен комсомольцам, выходцам из деревни, хорошо знавшим ее нужды. И потому дрались за каждый сверхнормативный кубометр бетона. Бюро комсомольской ячейки литейного цеха превратилось в штаб. Сюда приходили с предложениями, как лучше организовать работу, снабжение материалами, как улучшить быт молодых строителей, здесь ежедневно подводили итоги трудового дня.

На одно из расширенных заседаний бюро комсомольской ячейки Сидоренко пригласил секретаря парткома Потапенко. В контору прораба, где проходили обычно заседания бюро, набилось много народу. Пришли почти все бетонщики батальона. Раздосадованные, взвинченные простоями и неудачами, они кричали все разом;

— Докатились до рогожного прапору!

— Позор!

— А еще комсомольский батальон...

— На «черепаше» ездим...

— Стыдно людям в очи глядеть...

— Тихо, хлопцы. И чего горло драть? Мы спокойно должны во всем разобраться! — крикнул Сидоренко, поднимая руку. Ребята умолкли. — Слово даю прорабу товарищу Слипченко.

— Много балакать не буду, — начал прораб, проводя рукой по небритому подбородку. — Батальон без работы, а у нас сорван план целой стены. Чертежи в управлении задерживали. На неделю позже получили мы чертежи.

— Ударить по бюрократам! — не удержался кто-то.

— Ударить надо, но сейчас о другом речь. А что, если батальон ваш возьмет на себя эту стену и вырвет ее пораньше? Как, хлопцы? Мы вот с Иваном Сидоренко прикидывали...

— И получается, что стену можно дать раза в полтора быстрее, чем нормами определено, — продолжил Иван Сидоренко.

— Вырвем стену! — дружно поддержали все. И начали обсуждать план предстоящей трудовой атаки. Потапенко тоже одобрил начин молодых бетонщиков, Радуясь их необыкновенному энтузиазму и юному задору. «Таким любое дело под силу», — растроганно подумал он.

Три дня шло бетонирование стены. Все эти трое суток не покидал стройки Иван Сидоренко, лишь изредка на полчасика смыкал глаза в беспокойном сне.

Измотанные, сияющие победители стояли в центре толпы собравшихся на летучий митинг строителей Тракторостроя. Их бурно чествовали. Батальон Сидоренко дал 306 замесов в смену вместо нормативных 240. Девушки дарили парням весенние цветы, гремел оркестр. А в многотиражной газете стройки «Темп» красовались портреты особо отличившихся на ударной вахте. Был тут и портрет Ивана Сидоренко, и заметка: «Знайτε имена найкращих!» Упоминались друзья Ивана Сидоренко: Зозуля, Гужва, Козырев, Линник — его верные помощники. На митинге Сидоренко обронил шутливую фразу, что бетонщики Тракторостроя научат заграничную бетономешалку «кайзер» работать по-большевистски. И в республиканской газете «Комсомолец» появилась заметка о рекорде с многозначительным и по-комсомольски озорным заголовком: «Паспорт старого «кайзера» сдан в архив».

Да, с этого дня паспорт машины был сдан в архив. Проба сил воодушевила ребят.

— Даешь новый мировой рекорд! — шумели они, прикидывая, как добиться нового достижения. И новые мировые рекорды были поставлены. О них знала вся страна: 402, 501, 669 замесов! Успехи бетонщиков Харьковского тракторного завода искренне радовали строителей. На стройках Магнитогорска, Днепрогэса перенимали их опыт и «наступали им на пятки» новыми мировыми рекордами по бетонированию.

...И вот 19 июня 1931 года батальон Ивана Сидоренко ставил последний рекорд. Иван вывел в литейный цех 66 своих бойцов — лучших ударников стройки, комсомольцев. Сотни строителей тракторного, делегаты съезда бетонщиков с восхищением следили за слаженными действиями бойцов прославленного на всю страну отряда. Предстояло забетонировать большую часть пола грандиозного литейного цеха. Многие из зрителей, особенно профессиональные бетонщики, с трудом сдерживались, чтобы не броситься подсобить товарищам в их красивой работе. Минул час, и девушка в красной косынке вывесила на щите плакат с единственной фразой: «Есть сто один замес!» В изумленной толпе зрителей прокатился почтительный гул восхищения. Несколько человек подбежали к прорабу Слипченко, чтобы уточнить правильность почти неправдоподобной цифры. Тот цифру подтвердил.¹ Все с нетерпением ожидали итогов последующих

часов смены. Теперь за каждый час бетонщики давали по сто замесов. Лишь после полудня случилась заминка: сгорела обмотка электромотора бетономешалки. Электрики за несколько минут сменили мотор на исправный, и работа продолжала идти в прежнем темпе. В конце смены, когда была вывалена последняя тачка бетона, прораб объявил:

— Есть 801 замес!

Потные, усталые и бесконечно счастливые шли по образовавшемуся в толпе зрителей коридору Сидоренко и его товарищи. Их поздравляли, дружески хлопали по плечам, жали руки, и гремел под сводами цеха обязательный для такого торжественного момента духовой оркестр.

— Если бы сам не видел всего этого, не поверил бы в 801 замес, — говорил дюжий бетонщик из Магнитогорска своему товарищу с Днепроостроя.

— Н-да, мировое достижение, — соглашался собеседник.

Среди гостей Всесоюзного съезда бетонщиков был австрийский профессор с мировым именем, большой знаток бетона Зайлигер. Он тоже с нескрываемым любопытством следил за работой молодых бетонщиков. А когда те закончили, попросил Потапенко познакомить его с «герром майстером», руководившим этим отчаянным отрядом русских молодых рабочих. Потапенко подозвал к себе Сидоренко:

— Вот, знакомьтесь, господин профессор. Иван Сидоренко, он руководил работами...

Профессор сдержанно улыбнулся, наклонив седую голову, и сказал что-то по-немецки.

— Профессор Зайлигер спрашивает: вы читали его книгу? — подоспел переводчик.

— Читал, хорошая книга, — ответил Сидоренко. — Только не все мне понятно. Формул много, а с формулами этими я пока того... — И рассмеялся искренне, по-мальчишески.

Переводчик пересказал ответ кареглазого парня, очень непохожего на представительного спеца, каким его представлял Зайлигер. Основательный человек, добросовестный ученый, прослышав о необыкновенных рекордах Русских, приехал сюда из Австрии, чтобы самому убедиться, нет ли блефа в сообщениях русских. Ведь по его

учебникам учатся студенты почти всех строительных институтов мира. И никто еще не ставил под сомнение расчеты профессора Зайлигера.

— А каковы планы у... господина Сидоренко? — осведомился профессор, думая о чем-то своем.

— Тысяча сорок замесов, — коротко, как и подобает командиру батальона, ответил Сидоренко. На лице профессора отразилось изумление. Он машинально снял шляпу и потер лысеющий лоб. Советские инженеры, корреспонденты газет, окружившие Зайлигера и Сидоренко, задали заграничному гостю вопрос:

— Как объяснить, господин профессор, что нашим бетонщикам удалось перекрыть теоретическую, научно обоснованную расчетную норму замесов?

Наступила продолжительная пауза. Наконец профессор нашелся:

— У нас в Австрии нет таких большихстроек, чтобы можно было проделать так много опытов. Ваш опыт необходимо изучить и обосновать.

Профессору предложили познакомиться с организацией труда батальона, дать совет молодым строителям. Профессор отказался. Всегда уверенный в своих расчетах, долгие годы учивший строителей разных стран, профессор не знал сейчас, что он может посоветовать этим советским парням. До Тракторостроя Зайлигер побывал на Днепрострое, на Магнитке, на Сталинградском тракторном. И везде он встречал невероятный энтузиазм рабочих, смело опрокидывающих издавна сложившиеся нормы и представления о возможностях техники и человеческой природы. Он догадывался: эти люди воодушевлены идеей перестроить свою страну, сделать ее небывало сильной, и они, пожалуй, этого добьются. Ну а как они это сделают — им виднее.

Пока строили завод, Сидоренко готовил ребят и готовился сам стать к станку и с пуском завода приступить к производству тракторов. К июлю 1931 года, когда основные строительные работы на тракторном были закончены и начался этап освоения технологии строительства машин, Иван Сидоренко успешно окончил курсы и стал фрезеровщиком. На станке он сразу же стал ударником. Но работа станочника его несколько не удовлетворяла. Он понял: его истинное призвание — строить. Он строитель.

В эти дни душевного смятения, когда Сидоренко подумывал о переходе на какую-нибудь стройку, его, как лучшего ударника

строительства тракторного, премируют, туристской поездкой за границу. Несколько недель 320 советских рабочих и специалистов совершали на теплоходе «Украина» путешествие вокруг Европы. Посетили Стамбул, Афины, Геную, Париж, Гамбург. В Лондоне провели несколько дней, побывали в промышленном Манчестере. Советский теплоход стоял на Темзе возле моста Лондон-бридж. Столица Англии произвела на ударников большое впечатление. Люди труда, они всюду интересовались тем, как живут и работают простые англичане. В одном месте заметили новостройку. Крутилась такая же, как на ХТЗ, бетономешалка «кайзер».

— Ну эти-то сверх нормы вряд ли дадут, — кивнул в сторону англичан-бетонщиков товарищ Сидоренко.

— Куда им спешить. Не на себя работают, — отозвался Сидоренко.

Советских туристов всюду сопровождали репортеры, пытаясь выяснить, что это за люди, с достоинством рассматривающие достопримечательности старой Европы, проявляющие неутомимую любознательность при посещении заводов и фабрик. «Если судить по выбору ими заводов для осмотра, люди эти — техники. Но своими загорелыми лицами и одеждой они более похожи на крестьян, — глубокомысленно замечал репортер газеты «Манчестер гардиан».

Сидоренко увидел мир капитализма, переживающий в тот год тяжелый экономический кризис. Здесь, за рубежом, он смог глубже оценить великие достижения своей Родины.

Вернувшись домой, Сидоренко встал к фрезерному станку. И был ударником; комсомольцы цеха избрали его секретарем ячейки. В октябре 1931 года из ворот сборочного цеха вышел первый трактор марки ХТЗ. Трудно передать чувства, которыми были охвачены строители завода и первого украинского трактора.

И все же Сидоренко все сильнее влекло на стройку. Он был рад, когда республиканская газета «Коммунист» направила его в январе 1932 года на Днепрострой для передачи опыта скоростной укладки бетона.

Скоро участок десятника Ивана Сидоренко на Днепро-°трое стал давать рекордное число замесов. И здесь он активно участвует в общественной жизни коллектива, избирается членом обкома комсомола. В республиканской газете «Коммунист» публикуются

острые заметки Сидоренко о беспорядках на стройке, о достижениях передовиков соревнования.

В марте по стране разнеслась весть: ЦК партии обратился к комсомольцам с призывом — ехать на новостройки Дальнего Востока. ЦК ВЛКСМ объявил мобилизацию шести тысяч комсомольцев. Иван Сидоренко сразу загорелся желанием ехать на далекий Амур. Его отговаривали: он, Сидоренко, был нужен на Днепрострое. Но Иван настоял на своем и получил путевку ЦК ВЛКСМ.

В солнечный мартовский день добровольцев Украины торжественно провожали в столице республики — Харькове. Украинские комсомольцы составили первый отряд добровольцев и выезжали на Дальний Восток первыми, Сидоренко был назначен старшим по эшелону. Очень доволен был, что ему удалось убедить верных друзей своих, бригадиров прославленного батальона бетонщиков с Харьковского тракторного Михаила Козырева и Николая Зозулю. Друзья ехали в теплушке и мечтали о том, какой завод построят в тайге, какой красивый воздвигнут город на берегах Амура. Еще в пути Сидоренко сколотил бригаду плотников. Он говорил друзьям:

— На место прибудем, некогда будет заниматься организационными вопросами: сразу за работу. Станем бараки рубить, тайгу корчевать.

...Весна 1932 года в Приамурье была затяжной и холодной. Лишь 10 мая, следуя за льдами, причалил к берегу возле глухой таежной деревушки Пермское старый колесный пароход «Колумб». С жадным любопытством и волнением смотрел Иван Сидоренко с борта парохода на цепочку скособочившихся изб на косогоре, стеной подступающую к воде реки угрюмую тайгу. Здесь, в далекой глухомани, предстояло комсомольцам-добровольцам сотворить чудо: построить новый, социалистический город. В тот же день на митинге комсомольцы поклялись выполнить задание партии и народа. Вместе со всеми Иван Сидоренко торжественно обещал не жалеть сил для столь почетного дела. Ребята поставили палатки и на другой день принялись корчевать тайгу.

Бригада Сидоренко прорубила первую просеку, показывая пример самоотверженности и стойкости. Ни гнус, ни болотная вода, ни скудный паек не мешали Сидоренко и его товарищам по бригаде

неизменно перекрывать задания по корчевке. А когда были пробиты в тайге просеки, очищены площадки под промстроительство и будущие первые кварталы города, бригада Сидоренко стала выполнять плотницкие работы. Строили столовую, пекарню, временное жилье молодых строителей — шалаши. Избранный в бюро комсомольской организации стройки, Иван Сидоренко отвечал за бытовой сектор. На комсомольских собраниях он призывал серьезно заняться подготовкой быта к зиме.

— Зимы здесь суровые, а мы пока в палатках живем, — говорил Сидоренко. — Да и шалаши не ахти какое хорошее жилье. Надо срочно строить бараки. Моя бригада обязуется построить три барака и один из них образцовый. Заключаем договор с администрацией и крайкомом комсомола. Нам пусть дадут постельные принадлежности, оборудование для красного уголка, а мы — бараки.

Десятки бригад по примеру Ивана Сидоренко включились в борьбу за быстрейший ввод в эксплуатацию жилья. К 7 ноября 1932 года в молодом поселке появились целые улицы барачков, построены были клуб, названный «Ударник», больница. Вошел в строй лесозавод — первое промышленное предприятие в этом районе Приамурья, на котором бы свободно разместились Бельгия и Голландия, вместе взятые.

Сдержала слово и бригада Сидоренко. Три барака белели в зелени деревьев. В образцовом, названном Дом-коммуна, поселились члены бригады Ивана Сидоренко. Здесь был красный уголок, кухня, сушилка для обуви. Хозяйство вели ребята сообща.

Еще летом, когда закладывали стены барачков, Николай Зозуля, часто писавший письма невесте в Харьков, сказал как-то, вздыхая:

— Обратный адрес у нас неподходящий: село Пермское. Мы город строим, заводы — и село.

— А что, ребята? Верно балакает Никола, — загорелся Иван Сидоренко. — Давайте придумаем нашему городу имя да попросим край, чтобы нас поддержали.

В этот вечер сидели долго у костра, перебирая самые разные предположительные имена своего будущего города. Вот в тот вечер и назвал самое, по мнению ребят, подходящее имя бригадир Иван Сидоренко. Он сказал:

— Хлопцы, предлагаю назвать наш город Комсомольском. Комсомольск, — повторил он несколько раз. — А ведь звучит?

— Звучит! — дружно поддержали ребята.

А 6 июля на первой комсомольской конференции новостройки приняли решение: «Просить Дальневосточный крайком ВКП(б), крайисполком, крайком ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ войти с ходатайством перед ЦИК СССР о переименовании села Пермское в город Комсомольск».

Правительство уважило просьбу молодых строителей. 10 декабря 1932 года решением ВЦИК СССР село было переименовано в город Комсомольск. Велика была вера в силы и энергию молодых строителей у нашей партии и правительства, давших статут города зарождавшемуся в тайге поселку из нескольких барачков и шалашей, обмазанных глиной.

В ноябре Ивана Сидоренко избрали секретарем комитета ВЛКСМ стройки. Множество проблем встало перед комсомольским вожаком строительства. И главные из них — проблемы быта. Надо было достать для ребят теплую одежду, организовать заготовку топлива. С наступлением зимы участились случаи заболевания цингой: на стройке почти не было овощей и картофеля. Заболел друг Ивана Николай Зозуля, да и сам Сидоренко почувствовал приближение скорбута... Посещая в больнице Зозулю, он с жалостью смотрел на отечное лицо товарища, безучастно лежащего на топчане.

— Треба витамины, — сказала Сидоренко медсестра, комсомолка-ростовчанка Эмилия Ленцова. — Говорят, черемша помогает. Где она, та черемша?..

Предприимчивый Сидоренко нашел, где достать черемшу. Он организовал агитбригаду, выпросил у начальника стройки кое-какие культтовары и отправился с концертами по ближайшим редким селам и нанайским стойбищам. Ребята выступали перед жителями, разъясняли попутно значение молодого города, призывали помочь строителям продовольствием. И очень скоро в Комсомольск повезли на лошадях и собачьих упряжках свежую рыбу и картофель, соленую черемшу и ягоды. И пошли на поправку парни, заболевшие цингой. А тяжелобольных Сидоренко сам сопровождал на автомашинах в Хабаровск. Это по его настоянию впервые в истории Приамурья прошли по льду реки четыреста километров до Хабаровска грузовики,

ведомые комсомольцами. И на первой машине с ними ехал их секретарь Иван Сидоренко.

Не все выдерживали тяжкие испытания голодной таежной зимы. Воровски, ночью уходили слабые духом со стройки. Некоторые открыто клали комсомольские билеты на стол секретаря: «Не могу больше, ухожу...» Приходилось подолгу беседовать с иными, убеждать, поддерживать. И они оставались и работали на совесть. Наверно, и этот щуплый паренек может стать настоящим строителем, бойцом. Из дому вернула письмо сына мать его, коммунистка, ивановская ткачиха. Просит комитет комсомола помочь сыну. А писал он матери: «Мама, прошу вас как-нибудь позаботиться об освобождении. Сгубили военные занятия, и работа скверная в болоте в горах. Кругом воды полно — заливы, реки и море, около которого приходится ходить в строю с винтовкой и возиться с пулеметом».

— Где ж ты море нашел? — усмехаясь, спрашивал парня Сидоренко. — Сдрейфил? Трудностей испугался? А отцы наши как Перекоп брали? А по льду на Кронштадт шли в полный рост?

Долго беседовал с парнем секретарь. А когда расставались, тот тихо сказал:

— Я другое письмо матери напишу. А завтра на заготовку леса выйду.

— Добро. Верю — будешь ты настоящим большевиком, — уверенно проговорил Сидоренко.

Первая зима на стройке пошла на убыль. В середине февраля 1933 года состоялась вторая комсомольская конференция Дальпромстроя. Иван Сидоренко выступил с отчетным докладом. Строители молодого таежного города подводили первые итоги труда и учебы. Иван Сидоренко разложил отпечатанные на машинке листки доклада на трибуне, взглянул в притихший зал.

— Вначале я хочу остановиться на трех этапах борьбы комсомольцев нашей стройки. Вспомните, с какими дьявольскими трудностями встретились мы, сойдя с пароходов «Колумб» и «Коминтерн». Не было жилья — надо было его организовать. Не было пекарни, столовки. Пришлось самим готовить себе шамовку. А одежда? Большинство приехало сюда в городских костюмах, в ботинках «джимми». Наладили ремонт, пошив обуви и одежды. А инструмент?

— На бригаду один топор! — крикнули в зале.

— Точно. Нашли все-таки инструмент. А борьба с маловерами, хлюпиками, дезертирами? Кстати, на сегодняшний день дезертировали пятьсот человек.

— Труссы! — неслось из зала.

— Но каждый из оставшихся десятерых стоит, — продолжал Иван Сидоренко. — Основная масса комсомольцев вынесла все лишения и теперь сплочена и едина как никогда. В этом наша сила, сила нашей таежной стройки.

Сидоренко говорил дальше о других областях комсомольской работы. Были лишения, цинга, морозы, тяжелый десятичасовой труд на открытом воздухе, на, стройках и в лесу на лесозаготовках, но комсомольцы активно занимались политической учебой, работали кружки ликбеза. Парни и девушки учились в вечерних школах, совпартшколе, комвузе, на рабфаке. Регулярно проходили семинары пропагандистов, группировок,

— Хорошо работал передвижной военно-учебный пункт, — докладывал конференции Сидоренко. — Мы живем близко к границе и должны всегда быть начеку, быть готовыми стать на защиту дальневосточных границ.

На конференции было принято решение начать борьбу за лес. Стройка остро нуждалась в пиломатериалах, а лесозавод простаивал из-за отсутствия древесины. Конференция объявила «поход за бревном обороны». Здесь же десятки комсомольцев получили социалистические путевки на работу в лес.

Весна 1933 года была трудной и в то же время радостной для Ивана Сидоренко, для каждого строителя Комсомольска. Вся стройка деятельно готовилась к закладке первого камня Амурского судостроительного завода, ради которого, собственно, и приехали на Амур комсомольцы-добровольцы.

Лицо Сидоренко почернело от постоянного пребывания то на лесосеках Пивани, то на стройплощадках промышленного и жилищного строительства. Он часто по неделям не приходил ночевать в тесную свою каморку в бараке, где жил с молодой женой. В прошлом году женился Иван на Дусе Селютиной. И уже первенец сын у них растет.

— Дуся, потерпи немного, — оправдывался Иван, забегаая домой перекусить или переодеться. — Вот проведем закладку завода, полегче будет, времени побольше. В киношку ходим. Верно?

— Ладно уж, сказывай. Будет ли оно, время, — печально улыбается мужу Дуся. — Потерпим. Знали, куда ехали, за какое дело брались.

— Ты золото у меня, Дуся, — радовался такому пониманию жены Сидоренко. — А в киношку завтра же пойдем. Все побоку — ив кино.

День 12 июня 1933 года был теплый, солнечный. В тот день состоялась торжественная закладка первого камня. В церемонии участвовали представители края, маршал В.К. Блюхер. В числе строителей, завоевавших право участвовать непосредственно в закладе первого камня, был секретарь комитета ВЛКСМ стройки Иван Сидоренко. И его мастерок раствора лег в фундамент завода. Взволнованный и счастливый, смотрел он на ритуал закладки и думая, что вот после завода «Коммунар», Харьковского тракторного, Днепрогэса, в плотине которого есть и его труд, он строит новый гигант завод на востоке страны. Он причастен к великому и почетному делу. Разве есть выше счастье человеку, чем быть творцом.

Через год, когда уже выросли многие цехи амурского завода, а Сидоренко поступил па рабфак, чтобы готовиться в вуз и стать в будущем инженером, его вызвали в горком ВЛКСМ и предложили идти секретарем комитета ВЛКСМ строительства авиационного завода на Дземгах — восточном районе Комсомольска. Не в правилах Ивана Сидоренко отказываться от трудных поручений комсомола. А стройка на Дземгах находилась в большом прорыве. И он пошел строить авиационный, налаживать работу комсомольской организации. Здесь пригодился его опыт, приобретенный в цехах Харьковского тракторного, в Дальпромстрое.

В 1936 году сразу два завода — судостроительный и авиационный — вошли в строй действующих предприятий Комсомольска-на-Амуре. И Сидоренко снова в Дальпромстрое, но теперь уже на посту секретаря парторганизации одного из ведущих стройуправлений, коллектив которого сооружает судостроительный завод. В 1937 году, тоже в июне, состоялось новое торжество на Амурском судостроительном. В праздничной обстановке был заложен первый корабль на стапелях молодого предприятия.

Теперь можно поступать в вуз?

С такой просьбой обратился в горком партии Иван Данилович Сидоренко, уважаемый в Комсомольске человек, депутат городского Совета, почетный строитель города.

— Время уходит, мне двадцать шесть лет, — пожаловался Сидоренко секретарю горкома Жданову. — Сейчас какой лозунг? «Кадры решают все». А у меня за плечами три класса, товарищ секретарь.

— Кадры... кадры... — повторил задумчиво Жданов. — у тебя за плечами не три класса, нет. У тебя, Иван, за плечами Харьковский тракторный, Днепрострой...

— Комбайновый в Запорожье, «Коммунар», — подсказал Иван.

— Комбайновый... В Комсомольске — судостроительный и авиационный. Немало у тебя за плечами, Иван Сидоренко! Три класса... Не прибедняйся. А курсы разные, а ночные бдения над книгой? Словом, самообразование. У нас, большевиков, университеты на стройках, на заводах, в колхозах. Учиться будешь, отпустим в свое время, и не так уж ты стар, хлопче. А сейчас горком посылает тебя в трест Амурстальстрой. Вот уже два года копаются там, а завода не видно. Надо укрепить кадрами важнейшую стройку. Этот металлургический завод будет первым на Дальнем Востоке. Тебя нечего агитировать, доказывать, как нужен нам металл.

— Знаю, — сказал Иван.

— Значит, пойдешь?

— Пойду, — вздохнул Сидоренко. Прощай пока, вуз!

В тресте Сидоренко назначили директором управления подсобных предприятий — самый отсталый участок стройки. Почти на пустом месте начал создавать Сидоренко кирпичный завод, каменные карьеры, транспортный отдел. Опять неделями не видела Дуся своего мужа, успевая работать на лесозаводе и ухаживать за двумя сыновьями. Но когда они были вместе, то Иван подробно рассказывал жене о делах на стройке.

— Знаешь, Дуся, душа горит, когда видишь, как вольнят на стройке завода, — рассказывал он жене. — Вчера комиссия из главка приехала. Настроены законсервировать стройку. Помнишь, как в тридцать втором хотел Пятаков законсервировать судостроительный. Тогда говорили пятаковцы: «Вон по Северному морскому пути Шмидт

проплыл. Зачем строить в тайге завод судостроительный? Строй в Ленинграде суда и поезжай куда хочешь». Я хочу письмо-заявление написать в партком треста. Пусть разберут.

— Стоит ли? — осторожничала жена.

— Непременно. Сегодня и напишу...

Дуся только усмехнулась. Она знала: Иван будет говорить что думает. И тут уж преодолеет любую преграду.

А Иван писал. Это было его первое такое длинное заявление в партийные органы. Он старался изложить все как можно подробнее, чтобы не отнимать у товарищей время на осмысливание непреложного факта антигосударственного поведения комиссии, особенно ее председателя Иванова. Сидоренко писал, что считает неправильным, что вот уже три года все еще идет подготовка к строительству металлургического завода «Амурсталь». Он писал, что с этим вопросом обратился к председателю комиссии главка товарищу Иванову, тот ответил ему, что не совался бы он не в свое дело. Сидоренко настаивал. Тогда Иванов сказал, что строить завод не стоит. Не стоит потому, что неопределенная международная обстановка. «Может, в связи с тем, что рядом СССР грозит Япония, нам придется построенный завод взрывать». Этот довод до глубины души оскорбил Сидоренко. Он писал: «Мы строили заводы и город в глухой тайге. Город живет и растет. Работают заводы. Мы, строители дальневосточного молодого города, готовы встать грудью на защиту Советского Дальнего Востока. Пусть ни у кого не будет сомнения, что мы сумеем отстоять восточную окраину нашей Родины. Ведь сам Ленин сказал, что Владивосток далеко, но он город-то нашенький. Нашенская это земля — Приамурье». Сидоренко просил партком разъяснить ему все вопросы, возникшие в беседе с председателем комиссии.

Вышло так, что не разъяснили в парткоме вопросы первостроителя Комсомольска. А чтобы беспокойный Сидоренко не надоедал с вопросами, его назначили директором отдаленного леспромхоза треста, который надо было еще организовать, создать. И с этой задачей Сидоренко блестяще справился. В то же время Сидоренко не отступился от мысли доказать необходимость форсирования строительства завода «Амурсталь». Он пишет в наркомат, в ЦК партии, привлекает к решению этого вопроса горком партии. И вскоре

строительство «Амурстали» оживилось. Есть большая заслуга первостроителя города Ивана Сидоренко в том, что к началу войны были сооружены основные цехи первенца дальневосточной металлургии, а в феврале грозного 1942 года завод дал первую сталь для фронта.

Но не пришлось Сидоренко увидеть волнующее событие: пуск первой плавки. В июле 1941 года политрук Иван Сидоренко ушел на фронт добровольцем, оставив с четырьмя малыми сыновьями жену Дусю. Она осталась по-прежнему станочницей лесозавода треста Амурстальстрой. Всю войну самоотверженно трудилась, растя сыновей. За ударный труд Дуся была награждена орденом Ленина.

Бережно хранятся в семье Сидоренко фронтовые письма Ивана Даниловича, в которых он пишет о героизме советских солдат. В этих письмах любовь к сыновьям, жене, матери Дарье Ивановне. В этих письмах твердая уверенность в окончательной победе страны социализма над фашистской нечистью.

«Здравствуйте, Дуся, мамаша, Коля, Юра, Петя, Вася!

Это письмо вам пишу под разрывом снарядов и свинцовым дождем пулеметов и автоматов, но, несмотря на это, я жив и здоров, почти не ранен, хотя почти все время нахожусь на передовой и бью фашистов. Особенно тяжелый бой был 3 августа, в котором я лично из снайперской винтовки убил девять фашистов. Возможно, об этом вы прочтете в сводке Информбюро. Возможно, также получите извещение, что я убит 5 августа, но не верьте, так как я был окружен и упал под пулеметным огнем фашистов и в часть попал только на второй день, когда меня занесли в списки убитых. Как видите, я воскрес.

Вот и все.

До свиданья, мои дорогие.

8/VII 1942 года».

Через некоторое время товарищи по роте прислали Дусе маленькую, в тетрадочный листок, фронтовую газету «В бой за Родину!». В заметке «Наш политрук» красноармеец Моггибаев

рассказывает как раз о героическом поступке политрука роты Ивана Сидоренко, о котором он упоминает в письме родным.

«Примером во всем служит для нас наш политрук Сидоренко. За ним мы готовы пойти в огонь и в воду. С ним мы всегда победим», — заключает свое письмо в газету красноармеец Могобаев.

Письмо от 8 августа было последним письмом Сидоренко домой. Он погиб в неравном бою, защищая Сталинград. В штыковом бою политрук Сидоренко и командир Пастухов неоднократно поднимали бойцов в атаку. 15 августа Сидоренко с тремя бойцами отбивался штыками от окружающих их гитлеровцев. Не сдались в плен советские воины, вместе со своим политруком подорвали себя гранатами.

За свой подвиг Иван Сидоренко посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Не сломило тяжкое испытание первостроительницу Комсомольска Дусю Сидоренко. Она продолжала трудиться на производстве и воспитывать детей. Вырастила, воспитала их трудолюбивыми, честными. Все получили образование, нашли свое место в жизни. И очень все похожи на отца и лицом» и характером, Добрый, отзывчивым, настойчивым в достижении поставленной цели, И так получилось, что ныне сыновья Ивана Даниловича Сидоренко работают на тех заводах, которые строил их отец. Старший сын, отслужив на Тихоокеанском флоте действительную, окончил вечернее отделение политехнического техникума, сейчас работает механиком на судостроительном заводе имени Ленинского комсомола. С ним трудятся и два его сына — Иван (названный в честь деда) и Андрей. Оба учатся на вечернем отделении техникума. На этом же заводе работает мастером другой сын Сидоренко — Петр. Юрий после окончания авиационного техникума пошел работать старшим технологом на авиационный завод имени Ю. А. Гагарина. Василию понравилась профессия электрика. Он стал аппаратчиком завода «Амурсталь». Сыновья Сидоренко — передовики социалистического соревнования, заботливые наставники молодых рабочих. Растут и у Василия дети — дочь Оля, она еще ходит в детский сад, и сын, пятиклассник Дима.

До ухода на пенсию работала на лесозаводе Евдокия Петровна Сидоренко. Свыше сорока лет строила она город, заложенный руками ее мужа Ивана Даниловича. Земляки высоко оценили вклад Евдокии

Петровны в строительство города на Амуре. Ей присвоено высокое звание почетной гражданки Комсомольска-на-Амуре.

В одном из фронтовых писем Иван Сидоренко писал жене:

«...Знаю, что трудно, горько придется тебе одной с детишками. Верю, однако же, что все вынесешь. Встретимся, когда кончится война. А если придется в борьбе с врагами погибнуть, то расскажешь Васильку, каким был отец. Это не просьба, это — наказ мой тебе, Дуся: расскажи детям обо всем, что мы пережили с тобой. Пусть они не думают, что жизнь — прогулка по красивому бульвару».

Евдокия Петровна выполняет наказ мужа. В семье Сидоренко бережно хранятся документы, вырезки из газет, фотографии, фронтовые письма Ивана Даниловича, собранные Евдокией Петровной.

Имя Сидоренко Ивана Даниловича занесено в книгу почета городской комсомольской организации, оно присвоено лучшим пионерским отрядам. Школа, которую когда-то строил Иван Сидоренко, носит ныне его имя. Здесь создан музей, посвященный Сидоренко.

Одна из лучших улиц в центре Комсомольска-на-Амуре названа его именем. На многоэтажном здании мемориальная доска с надписью: «Улица имени первого комсомольского вожака Ивана Даниловича Сидоренко, геройски погибшего в боях за Советскую Родину в 1942 году».

Чтят память героя и на украинской земле, где родился и рос Иван Сидоренко. Его имя присвоено одной из улиц районного центра Мены, назван колхоз в этом районе.

Комсомольск-на-Амуре готовится к золотому своему юбилею. На десятки километров раскинулись его кварталы вдоль могучего Амура. Свыше четверти миллиона человек живут в нем и самоотверженно трудятся, беря пример с таких людей, как его первостроитель Иван Сидоренко. Комсомольчане свято хранят и приумножают славные традиции отцов и дедов своих, сердцами согревших этот суровый край Отчизны, утверждая поступками и помыслами своими бессмертие зачинателей новой жизни и бесстрашных защитников ее.

Геннадий ХЛЕБНИКОВ

Виктор ТАЛАЛИХИН

21 час 45 минут. Сегодня, как и всегда, выстраивается первая эскадрилья на вечернюю поверку. Старшина подразделения оглядывает сосредоточенные лица и берет в руки книгу личного состава.

— Герой Советского Союза младший лейтенант Талалихин Виктор Васильевич, — говорит он.

— Герой Советского Союза младший лейтенант Талалихин пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины. — Голос юноши, стоящего на правом фланге, вздрагивает от волнения, звенит в тишине, как натянутая струна.

И так изо дня в день, из года в год. 7 августа 1941 года шагнул Талалихин навстречу подвигу, а 27 октября шагнул в бессмертие, чтобы потом навечно остаться в списках родного полка и вместе с теми, ради счастья и жизни которых он погиб, опешить в любую погоду к самолетам, осваивать новейшие сверхзвуковые истребители, взмывать на них, оставляя за собой огненный след, а потом с земли смотреть и смотреть в такое родное, зовущее небо, как смотрел он перед последним своим вылетом, как смотрел в тот день, когда восемнадцатилетним курсантом аэроклуба в первый раз поднялся в воздух на стареньком По-2, как смотрел до этого, запрокинув голову с выгоревшими на солнце мальчишескими вихрами...

...Виктору часто снилось небо. Он мечтал о нем на Уроках в школе, во время игр с товарищами. Он и братьев заразил этим своим увлечением, и часто они втроем строгаги, пилили, клеили.

Василий Иванович Талалихин только руками разводил, глядя на парашюты, планеры, самолетики, выходящие из-под рук его сыновей.

Башковитые у нас ребята, мать, — довольно покашливая, не раз говорил он Вере Ивановне. — Глядишь, и Действительно полетят когда-нибудь.

— Им еще расти и расти, — задумчиво отвечала Вера Ивановна.

Но годы летели быстро. В 1933 году семья Талалихиных переехала в Москву. Василий Иванович стал работать на мясокомбинате. Туда же скоро пришел и Виктор: он начал учиться в ФЗУ.

Учеба, комсомол, драмкружок — все это заполнило жизнь Виктора. Он и здесь стал любимцем, с ним советовались, к нему обращались за помощью.

А однажды, когда Виктор пришел после работы домой, старший брат, сияя, протянул ему повестку. Александра призывали в армию.

— В авиацию буду проситься, как тогда решили, — сказал он.

У Виктора зарумянилось лицо: он и завидовал брату, и гордился им.

— Летай по-чкаловски, — помолчав, серьезно сказал он. И добавил тихо: — Я только об этом и мечтаю.

Очень скоро призвали в армию и второго брата — Николая. Он стал морским летчиком. Теперь мать, поглядывая на присланные сыновьями фотографии, не сомневалась, сердцем чуяла, что пойдет в авиацию и Виктор.

Но это случилось гораздо раньше, чем она думала, — комсомольская организация мясокомбината дала Виктору Талалихину путевку в аэроклуб. Для юноши это была путевка в небо, в новую, волнующую жизнь...

Учеба и тренировка, тренировка и учеба. Книги, схемы, чертежи, снова книги. И вот наконец наступил долгожданный момент.

В тот вечер Виктор долго ходил по городу и с новым чувством всматривался в лица москвичей, оглядывал улицы и площади. Вот Абельмановка, по которой столько раз ходил он с братьями и ребятами с мясокомбината. Вот Крестьянская застава с ее разноголосым гомоном трамваев и машин и задумчивыми старыми улочками. Вот набережная Москвы-реки с ее прохладным гранитом парапетов и гулкими ночными мостами.

Не знал Виктор, что потом, взлетая в черное московское небо и в упор расстреливая фашистские самолеты, вспомнит он до мельчайших подробностей родной город, вспомнит и улицу возле Абельмановской заставы, по которой бродил он задумчиво, не зная, что придет время, когда сменят на ее домах таблички с названием и будет она называться улицей Виктора Талалихина...

Ничего этого не знал Виктор и только жадно глядел по сторонам, думая о сбывающейся своей мечте, о летной школе. Но вскоре и это уже было позади.

...Декабрь 1939 года. Сумрачно-свинцовое небо над Карельским перешейком. Яростно дуют ледяные ветры, перехватывают дыхание, выбивают слезы из глаз. Нашу границу перешли белофинны.

— Товарищи летчики, мы с вами стоим на защите Родины. От нашего с вами мастерства и выдержки зависит многое...

Виктор Талалихин, слушая эти слова капитана Королева, почему-то особенно волновался. Всего год прослужил он в авиационном полку после окончания летной школы. И вот уже Родина доверяет ему, необстрелянному новичку, свой покой! Какое это счастье для него и какая ответственность! Но он постарается, все силы приложит и докажет товарищам и командирам, что не зря его учили, не зря верили в него.

Звенит от мороза воздух. Группа советских истребителей поднимается для выполнения боевого задания. Во главе ее — капитан Королев.

Уже через несколько минут ведущий группы заметил самолеты противника. Их намного больше.

— Набрать высоту для атаки, — приказал Королев.

Истребители стали занимать исходные позиции. Противник не заметил этого маневра и был ошарашен, когда сверху, сзади и сбоку обрушился на него стремительный удар.

Внутри у Виктора все пело, когда он увидел, как, оставляя за собой дымный черный хвост, падает вниз вражеский самолет, прошитый его, Виктора, очередью. Вскоре товарищи Талалихина сбили еще два самолета.

Первый бой навсегда остался в его памяти, как навсегда остался в памяти у Королева тот бой, когда Виктор Талалихин спас его, отведя на себя вражеский огонь, а потом хлесткой очередью заставил замолчать крупнокалиберный пулемет врага.

Когда после этого боя Талалихин вслед за невредимым командиром приземлился на аэродроме, тросы на его самолете были перебиты, фюзеляж и плоскости изрешечены осколками снарядов и пулями...

Пятьдесят боевых вылетов, несколько уничтоженных самолетов врага, орден Красной Звезды — таков итог боев с белофиннами комсомольца Виктора Талалихина.

...И в этот день солнце поднялось яркое, словно праздничное.

— Ну и жарит! — Виктор даже головой покрутил, высунувшись из окошка. Он умылся, стряхнул со светлых волос капли студеной воды, присел к столу. Значит, сегодня воскресенье, 22 июня. Что сегодня надо успеть сделать? Во-первых, поговорить с членами комсомольского бюро, ведь не иначе как во вторник будет собрание по вопросу овладения комсомольцами новой техникой, а ему поручили выступить с докладом. Кое-что он уже набросал, надо будет показать ребятам. Потом — на реку! Ухнуть в студеную воду, наплаваться, а потом на спортплощадку, в волейбол постучать. Вечером же домой, в Москву. Там ждут его мать, отец и... невеста.

В часть он вернулся, когда солнце стояло уже высоко. Юный, сильный, радостный, он распахнул дверь казармы и остановился на пороге.

— Война! — услышал он.

Совсем недавно, весной, Виктор с отличием закончил краткосрочные курсы командиров звеньев, получил назначение во вновь формируемый истребительный авиационный полк, и первым, кто встретил его в полку, был майор Королев. Сияющий, радостный, он даже расцеловал тогда Виктора. И вот сейчас Королев смотрит в глаза ему, младшему лейтенанту Талалихину, и тихо, несколько задумчиво говорит:

— Кончились мирные дни, Виктор.

22 июля. В эту ночь авиационный полк, в котором служил Виктор Талалихин, впервые встретил врага в московском небе. Это была ночь, полная грохота разрывов, слепящих щупалец прожекторов и мертвенно-бледного света ракет.

Пройдя Вязьму, Ржев и Юхнов, самолеты противника вступили в зону действия противовоздушных средств. А навстречу им в черноту ночи уже взмыла первая девятка летчиков-перехватчиков, за ней вторая, третья...

22 фашистских самолета было сбито в ту ночь. Массированный налет врага на Москву не удался. К городу прорвались только одиночки.

После той ночи летчики полка Королева не знали покоя — бои шли один за другим. И каждый становился для них школой мужества, мастерства, верности солдатскому долгу и товариществу.

Часто после боев Виктор Талалихин собирал летчиков своего звена, разбираал действия в воздухе каждого, учил на опыте. «Главное в бою — внезапность. Потом — настойчивость в преследовании противника, причем с Учетом обстановки. И следи, чтобы в хвост твоего самолета не пристроился враг. Третье — бить врага надо в упор, наверняка, с коротких дистанций. Итак, начинай бой сам и кончай сам — пригвозди фашиста к земле, сориентируйся и возвращайся на свой аэродром».

Сам Виктор за это короткое время, следуя своим законам, сбил шесть фашистских самолетов и не раз спасал товарищам жизнь в бою.

Еще с финских боев Талалихин знал, что война — это горе и смерть. Он видел, как гибли товарищи. Но горе тогда обходило их семью. А сейчас оно лежало перед ним в виде листка из школьной тетрадки в клеточку с торопливыми короткими словами: «Приезжай, Витя. Коля наш погиб».

Виктор идет по Москве и не узнает ее. Кресты бумажных полосок на туманных, в разводах окнах: слепые, в потеках извести и краски, витрины; пятнистые от маскировки стены зданий.

А дома уже ждали его. Отец, сутуля усталые плечи, затих у окна. Мать, постаревшая, вскинулась, когда стукнула входная дверь. Бросилась к сыну, припала к груди, замерла. Потом захлебнулась в рыданиях:

— Нет больше нашего Коленьки... Нету его, родненького...

У Виктора сошлись на переносице брови. Он сказал тихо, но твердо:

— Сейчас не о себе думать надо, а обо всем народе. Горд буду, если погибну, как Коля.

...Теплая, ласковая августовская ночь. Тихо. Лунно. Виктор, сидя в кабине своего самолета, укрытого на опушке леса, вслушивается в ночные звуки. Неожиданно всплывают в памяти строки:

*Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух...*

Это Пушкин. Как хорошо сказал. Наверно, вот в такую же августовскую ночь родились у него эти строки.

Да, прекрасны ночи в России. Они всюду прекрасны, когда царят мир и счастье. Были прекрасны, пока не пришел враг. Сейчас Родина в опасности, и он, и миллионы его, Виктора, сверстников встали на ее защиту. Ты погибнешь, проклятый враг, и диким бурьяном и чертополохом зарастут те места, где ступал твой сапог...

И вдруг глухие выстрелы зениток всколыхнули воздух. Горизонт озарился мерцающим белым светом, словно кто-то сильной рукой рванул черную штору ночи, и вот там, на горизонте, уже настал день, а здесь осталась ночь. Но это не день начался — это загорелись осветительные бомбы, которые вот уже сколько ночей подряд сбрасывают фашисты над подмосковными деревнями и лесами.

Задвигались по небу беспокойные лучи прожекторов, тщательно прощупывая каждый метр звездного ковра.

Летчики ждали приказа. Кто же полетит первым? Об этом думал каждый, и каждому хотелось, чтобы первым полетел именно он. Но полетел младший лейтенант Талалихин.

Взмыл в воздух И-16 и, стремительно набирая высоту, направился к цели.

...Высота 4500 метров. Виктор весь сосредоточенность и внимание. А вот и тот, кого он ищет, — двухмоторный бомбардировщик «Хейнкель-111» крадется под прикрытием ночи к Москве.

Виктор закусил губу. Его самолет быстро пошел на сближение с врагом, зашел ему в хвост.

«Все, отлетался». Виктор нажал на гашетку пулемета и дал очередь. Правый мотор «хейнкеля» загорелся. Но враг был только ранен. Он не пошел камнем вниз, а прибавил скорость и стал уходить.

Талалихин сделал разворот и снова обжег врага пулеметной очередью. Тот заметался из стороны в сторону, потом резко развернулся, изменил курс и пошел на снижение, стремясь уйти.

Но истребитель неотступно преследовал врага. Высота уже 2500 метров. Талалихин дал несколько прицельных очередей, потом подошел ближе и начал расстреливать врага в упор. Он ощущал к этому самолету физическую ненависть и отвращение, он хотел

уничтожить его во что бы то ни стало, как уничтожают извивающуюся в предсмертных судорогах ядовитую змею.

И только тут «хейнкель» открыл огонь. Но маленький И-16 не отставал от него, и его пулеметные очереди стали, пожалуй, еще неистовее, еще неотвратимее.

Лоб у Виктора стал влажным. Вот сейчас еще раз ударит очередь по металлическому туловищу врага, и наступит конец. Сейчас. Но... пулемет молчал. Кончились патроны.

И тут Виктор решил: надо идти на таран. Это последнее, единственное, что он может сделать. «Их четверо, я один. За мою одну жизнь они отдадут четыре».

Талалихин пристроился в хвост бомбардировщику, И тут блеснула вспышка, что-то обожгло правую руку. ранен. Ну и пусть ранен. Это не помешает. И он рубанул винтом по хвосту вражеского бомбардировщика.

Мгновение — и враг рухнул вниз. Виктор отстегнул ремни и перевалился через борт самолета.

А через несколько дней после того сообщил своему брату со счастливой застенчивостью: «Ты уже, возможно, знаешь, что на подступах к Москве мне ночью удалось сбить вражеский самолет. Советское правительство высоко оценило мою работу: мне присвоено звание Героя Советского Союза. Это большая честь. Мне как-то даже не верится. Ну что я такого особенного сделал? Не сомневаюсь, что и ты сделал бы то же самое...»

А спустя еще несколько дней в ответ на поздравительное письмо московских областного и городского комитетов ВЛКСМ Виктор писал: «...Обещаю всегда смело и храбро, не щадя крови и самой жизни своей, бить фашистских стервятников». И он готов был отдать свою жизнь, не задумываясь, отдать ради тех, кого он защищал. Иначе он и не представлял себе свою жизнь сейчас.

Он так и писал в заявлении в партийную организацию о приеме его в ряды Коммунистической партии. Так и говорил на первом антифашистском митинге советской молодежи осенью 1941 года.

Юный, стройный, стоял он тогда на трибуне Колонного зала Дома союзов. Он говорил о мужестве и бесстрашии своих товарищей — летчиков, о любви их к жизни.

— Мы не боимся смерти, но мы не хотим погибать. Мы хотим уничтожить врага, а самим остаться в живых, чтобы бить его, бить до победного конца.

Мои молодые фронтовые друзья!..

Каждый на своем посту — громи своей работой врага!

Каждый на своем посту — учись разить врага в самое сердце!

Поднимайся, молодежь! Не отдадим фашистским бандитам своей юности!

Да, советские летчики не отдавали врагу своей юности, они, побеждая в сражениях, гибли юными, чтобы такими вечно остаться в памяти друзей, в памяти всего народа.

Она вся лучилась радостью, эта молодая жизнерадостная женщина. Летчики открыто любовались ее сияющими глазами, легкой походкой и вспоминали своих любимых подруг, таких же нежных и радостных в счастье, твердых в минуту испытания, как Валя — жена летчика Даниленко. Еще больше все обрадовались, когда узнали, что Валя привезла подарки от семей летчиков, эвакуированных в город Переславль-Залесский.

— Что ж, товарищ Даниленко, — сказал майор Королев, — от дежурства я вас сегодня освобождаю.

Со счастливого лица Даниленко сошла улыбка:

— Прошу вас не делать для меня никаких скидок, — твердо сказал он. — Нарушать порядок, установленный в части, я не буду. А Валя... поймет меня.

Даниленко заступил на дежурство и по первой же тревоге ушел в небо.

Валя, сжав кулачки, смотрела, как взмывает его самолет. Она не знала, что видит мужа в последний раз, что это их прощание. Никто этого не знал. Никому и думать об этом не хотелось — слишком бы невероятным, чудовищным это было... Но это случилось. Самолет Даниленко на аэродром не вернулся. Он преследовал врага и был сбит.

В тот вечер Виктор не мог уснуть — Даниленко, как живой, стоял перед глазами. Потом всплыло белое, без единой кровинки лицо Вали...

Виктор рванул воротник рубахи, сел на постели, достал дневник. Нашел последнюю свою запись. Перечитал: «В глубине моих чувств отражались, как дикий кошмар, взрывы немецких бомб, плач раненых

детей, стоны стариков, девушек и юношей. Мне казалось, я видел, как маленькие дети простирали свои крохотные ручонки, взывая к нам, летчикам — защитникам Москвы, о помощи, о спасении их жизней, о спасении жизни их отцов, матерей.

Я вспомнил рассказы моей матери о брате Павле, которого утопили в Волге белогвардейцы в годы гражданской войны. Я вспомнил о самоотверженной борьбе комсомольцев — героев произведения Н. Островского «Как закалялась сталь» с оккупантами и белогвардейцами. Мне так и хочется сказать: «На меня надейтесь, я не подведу». В моем сознании возникла гордая мысль о том, что я являюсь воспитанником Коммунистической партии, Ленинского комсомола, что на мою долю выпала сложная и почетная задача — защищать столицу любимой Родины от фашистских варваров».

Виктор вспомнил, что это он записал в ночь перед тараном. А сейчас он напишет, что клянется мстить врагам и за Даниленко, и за всех юных и смелых, кто пал от рук коварного врага. Он взял ручку. Подумал. Отложил ее. Закрыв дневник. Нет, он напишет завтра, когда дернется с полетов, когда ему будет о чем писать.

На следующий день девять советских истребителей во главе с командиром полка Королевым поднялись в небо для «свободной охоты». Среди них был и Виктор Талалихин.

Самолеты шли двумя группами — ударной и прикрывающей. Погода была самой подходящей — местами облачность опускалась до 100 метров.

Наконец невдалеке от линии фронта командир заметил шесть самолетов противника. Они методически, летая друг за другом, сбрасывали бомбы на наши боевые порядки.

Самсонов и Талалихин набрали высоту, скрылись в густых, белых, как горы хлопка, облаках. Остальные истребители начали сближаться с противником.

Фашисты не ожидали атаки. Строй их рассыпался. И в это время молнией обрушился Талалихин на один из «юнкерсов». Несколько очередей — и враг рухнул вниз. В том же бою товарищи Виктора уничтожили еще два вражеских самолета.

Виктор возвращался на свой аэродром удовлетворенным. Они хорошо отомстили за Даниленко. А вообще, хорошо бы сделать

Даниленко памятник, у подножия положить не цветы, а груды обгоревших обломков сбитых фашистских самолетов.

Вечером прибывший в часть генерал-лейтенант передал личному составу благодарность командующего за успешное проведение боевой операции. Все летчики, сбившие самолеты, были представлены к награде.

...Утро 27 октября выдалось пасмурным. «Вот-вот Дождь брызнет», — думал Виктор, направляясь к самолету. Он не любил небо таким безликим, серым. Он любил, когда оно распахивалось над ним бездонным ярко-голубым манящим куполом или когда звезды доверчиво смотрели с него, глубокого, темно-синего, бархатного. И Виктор был убежден, что у неба свой запах. А вот такое, серое, пасмурное, нет, не любил он такого неба...

Два МиГ-3 и четыре И-16 ушли в небо. Ушли под командованием Виктора Талалихина. Задание было — Прикрыть свои войска в районе подмосковной деревушки Раменки.

Облака прижимали летчиков к земле. Видимость была плохая. Уже над самой Каменкой заметили шесть «месершмиттов». Что же, шесть на шесть.

— Действовать по звеньям! — приказал Талалихин. Он ринулся в бой первым. И скоро рухнул вниз сбитый им «месершмитт».

— Не ушел, подлец. Отлетался над нашей землей. _ Эти: слова Виктора слышали на командном пункте.

Это были последние слова героя. Три «месершмитта», пропоров облака, вынырнули около его самолета и открыли огонь. Виктор сбил еще одного фашистского аса. И тут пуля попала ему в голову. Истребитель нагнул крылья и стремительно пошел к земле.

И земля приняла его — того, кто до последнего дыхания защищал ее.

...21 час 45 минут. Как всегда, выстраивается первая эскадрилья на вечернюю поверку.

— Герой Советского Союза младший лейтенант Талалихин Виктор Васильевич, — говорит старшина.

— Герой Советского Союза младший лейтенант Талалихин пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины, — отвечает правофланговый, и вздрагивает от волнения его голос, звенит, как натянутая струна.

Григорий ГЛАДКИХ

Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

Вечером 26 ноября 1941 года на передовой стало вдруг тихо, и эта неожиданная тишина словно бы оглушила бойцов. Почти два месяца непрерывно, днем и ночью, грохотало сражение, фашисты старались прорваться, раздробить наш фронт, теснили наши войска. Так было от Вязьмы до подмосковных полей, до Звенигорода, Кубинки, Наро-Фоминска. А в этот вечер как отрезало: разом прекратили огонь вражеские орудия, минометы, пулеметы, лишь изредка срывались короткие автоматные очереди. За всю ночь — ни одной атаки. На следующий день — тоже.

Творилось что-то странное, непонятное. Повсюду на подступах к столице продолжалась упорная битва, решался дальнейший ход войны, решалась в конечном счете судьба нашего государства, а на прямой дороге к Москве с запада, где у противника имелось особенно много сил, было тихо.

Нет, не облегчение, а беспокойство, нарастающее напряжение испытывали в эти часы и дни бойцы и командиры 5-й армии, оборонявшие Можайское направление. И особенно, конечно, тревожился опытный генерал — командарм Л.А. Говоров, Уж он-то знал, что противник еще не выдохся, что у гитлеровцев есть резервы, в том числе танковые части, способные нанести сильный удар. Так почему же затишье, что задумал коварный враг? Отдыхает, набирается сил перед новым броском? Перегруппировывает войска на другой участок, чтобы атаковать там, где наши позиции слабее? Или еще что?

Главное теперь — выяснить намерения гитлеровцев. Генерал Говоров приказал вести разведку непрерывно, всеми средствами, использовать не только войсковых разведчиков, но и партизан, диверсионные группы. Однако таковых было немного. Верейские партизаны действовали южнее, можайские — значительно западнее.

Говоров потребовал собирать любые, хотя бы косвенные, сведения о фашистах. Где танковые части? Куда отошла с передовой пехота? Где концентрируются склады? На каких дорогах интенсивное движение? Среди других мероприятий было предусмотрено и такое: разведчикам, партизанам, диверсантам в ночь на двадцать восьмое и в ночь на

двадцать девятое ноября учинить пожары в деревнях, в населенных пунктах, где располагаются гитлеровцы. С десяти вечера до полуночи. Наша авиация засечет объекты. Это поможет уточнить дислокацию войск противника.

Такой приказ получил и комсомольский отряд Бориса Крайнова, действовавший в тылу гитлеровцев как раз в том лесистом районе, который особенно интересовал сейчас штаб 5-й армии. Вернее даже не приказ, а просьба была передана Крайнову. Ведь отряд уже выполнил поставленную перед ним задачу, понес при этом потери. Уцелевшие девушки и юноши были переутомлены, обморожены. В оттепель размокли, а потом развалились валенки. Не осталось продуктов, взрывчатки. На исходе боеприпасы. Комсомольцы имели полное право перейти линию фронта, вернуться к своим, на отдых, и никто не упрекнул бы их. Но они получили приказ-просьбу остаться во вражеском тылу еще на несколько суток. И они остались.

Командир отряда Крайнов имел твердое правило: никого из девушек, кроме опытной и осторожной Веры Волошиной, на самые рискованные задания не посылать. У девушек свои обязанности: разведка, дозор, боевое охранение, разбрасывание на дорогах «колючек». Но теперь придется использовать всех. Иначе ничего не получится, людей мало.

В лагере с больным товарищем останутся двое, в том числе Зоя Космодемьянская. Возникнет угроза — помогут больному перебраться в другое место, на запасной сборный пункт. Большая часть отряда отправится в деревню Якшино. Много часов наблюдали за этой деревней разведчики. Там, безусловно, расположен вражеский штаб и, судя по обилию легковых машин, не меньше, чем штаб дивизии. В Якшино надо устроить пожар поярче, заметней. Если получится, забросать гранатами штабной дом или узел связи. А на следующую ночь эта же группа подожжет постройки в совхозе Головково. И, если успеет, в деревне Крюково.

Еще двое бойцов пойдут в Юматово. Кроме того, остается на западе деревня Петрицево. Место глухое, в стороне от большака, фашисты чувствуют себя спокойно. От лагеря эта деревня далековато, шагать надо по бездорожью, по незнакомой местности. Там труднее всего. Туда Крайнов решил идти сам с таким расчетом, чтобы до полуночи поджечь деревню, а к рассвету быть в лагере. Вообще это

нарушение элементарных правил. Опасно действовать в одиночку. Мало ли что может случиться: ногу подвернул, а помочь некому. И отряд без руководства оставлять нельзя, тем более когда он разделился на несколько групп. Однако придется рискнуть.

Узнав об этом, Космодемьянская резко возразила командиру. Она стояла перед ним в распахнутом пальто, со следами сажи от костра на длинной девчоночьей шее:

— Ты пойдешь, а мы, две здоровые тетери, будем возле больного сидеть?

— Так надежней.

— Какая тут надежность нужна? Костер погасят, притихнут на ночь. А на задание минимум двое должны идти, ты сам сколько раз повторял это... Возьми меня с собой.

— Не могу.

— А я сидеть сложа руки не могу, когда все при деле. Понимаешь? Возьми... Ну пожалуйста!

— Пусть идет, — прохрипел из шалаша больной.

— А ты как?

— Перекантуюсь!

— Нет уж, одного человека я при тебе оставлю, — решительно произнес Крайнов. И Космодемьянской: — Собирайся.

И вот они в походе. От свежесыпавшего снега в лесу торжественно, чисто, светло. А может, легко и приятно Зое было потому, что впереди двигался сосредоточенный, спокойный Борис. Они вдвоем в заснеженном просторе... Об этом Зоя старалась не думать, но все равно думалось само собой и сказывалось на ее состоянии. Когда рядом Крайнов, ей всегда хорошо...

Пока девушка и ее командир, ступая след в след, идут в далекое Петрищево, давайте проследим тот не очень-то долгий жизненный путь, который привел Зою сюда, в подмосковный лес, в боевой комсомольский отряд, в который отбирали лишь самых надежных.

Родилась Зоя в осенний погожий день 13 сентября 1923 года в живописном селе Осиновые Гаи, что в Тамбовской области. Мама, Любовь Тимофеевна, учительствовала в местной школе. И отец, Анатолий Петрович, тоже учителем был, заведующий к тому же избой-читальней. Но про Осиновые Гаи мало что помнит Зоя. Добрые руки бабушки, просторный луг, чудесный запах свежего сена, вкус

деревенского хлеба, парного молока. Потом сибирское село Шиткино, неподалеку от города Канска, долгие зимние вечера, когда отец брал Зою и Шуру к себе на колени, рассказывал сказки. Знал он их очень много: и про Ивана-царевича, и про Алenuшку, и про Кузьму Скоробогатова. Но это было давным-давно, подернулось дымкой забвения. А вот все, что связано с Москвой, куда переехала семья, до самых мелких подробностей бережет память. Ну, хотя бы тот день, когда впервые отправилась в школу. Шли втроем: мама, Шура и Зоя. Солнечное, теплое было утро. С деревьев Тимирязевского парка падали желтые листья, медленно кружились, опускаясь на землю.

Потом самое тяжелое — смерть отца. Случилось это зимой. Всей семьей собрались они в цирк. Зоя спешила домой радостная — впереди столько интересного. Но радость ее сразу угасла, когда увидела бледное лицо отца, лежавшего на кровати.

«Я неважно себя чувствую, — сказал он. — Но это пройдет. А в цирк вам придется без меня...» — «Мы без тебя не пойдём», — сказала Зоя.

На следующий день отцу стало совсем плохо. Он едва мог говорить. Зоя сбегала за врачом. «Нужна операция. Немедленно», — сказал доктор. Отца отвезли в больницу. Оттуда он не вернулся...

Неожиданно и круто изменилась жизнь. Не было рядом умного друга. Горько, ох как горько было Зое! Но приходилось сдерживать свои слезы, приходилось скрывать свою боль, чтобы не расстраивать маму, которой и без того приходилось очень трудно. Усталая возвращалась она с работы, и Зоя старалась хоть немного отвлечь ее от тяжелых мыслей, занять разговором.

Только по ночам, уткнувшись в подушку, плакала Зоя беззвучно, вздрагивая всем телом.

Мама работала теперь в двух школах и дома бывала мало. Все домашние заботы легли на плечи Зои. Она кормила брата, убирала комнату, топила печь. Много хлопот было с Шурой, то порвет чулок, то урок не выучит — за ним надо было смотреть и смотреть. Впрочем, Шура понимал, как трудно приходится Зое, и, несмотря на свое мальчишеское самолюбие, подчинялся сестре почти беспрекословно.

Детские шалости, забавы, интересовавшие девочек, не занимали теперь Зою. У нее были важные, серьезные дела, переносившие ее в

другой, «взрослый» мир. В школе многие стали считать Зою замкнутой.

Как бы ни была занята девушка, сколько бы ни было у нее хлопот, она всегда находила время для любимого своего занятия — чтения. «Овода» читала Зоя ночью, прикрыв газетой настольную лампу, чтобы свет не мешал маме. Часто потом думала об этой книге, вспоминала Овода в трудные минуты... А Чернышевский? Гражданская казнь, двадцать лет каторги и ссылки не сломили его волю. Он был настоящим революционером. Зое хотелось быть такой же твердой и непреклонной, каким был Чернышевский.

И вот торжественный день вступления в комсомол. Секретарь райкома комсомола, молодой человек с хорошей, веселой улыбкой, спросил: «А что самое важное в Уставе, как по-твоему?» — «Самое главное: комсомолец должен быть готовым отдать Родине все свои силы, а если нужно — и жизнь».

Ответ этот соответствовал и приподнятому душевному состоянию Зои, и важности происшедшего. Она даже была несколько ошеломлена и разочарована, когда секретарь райкома перевел вдруг разговор на самые обычные, будничные дела, заговорил об учебе, о выполнении комсомольских поручений.

«Это же само собой разумеется!» — удивленно заметила Зоя. «Вот и хорошо, — улыбнулся секретарь райкома. — И никогда не забывай об этом. Ведь все большие важные дела складываются из малых, незаметных на первый взгляд дел».

Правильно сказал секретарь — это она поняла позже.

Весной в санатории «Сокольники» она познакомилась с замечательным человеком, писателем Гайдаром, книги которого очень любила. Вместе играли в снежки, строили снежную крепость, много разговаривали. А когда прощались, Гайдар подарил девушке свою новую книгу о Двух веселых мальчишках — Чуке и Геке. На титульном листе было написано: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и помнили, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Слова были взяты из текста книги.

Пройдет совсем немного времени, и оба они, и Гайдар и Зоя, окажутся лицом к лицу с заклятым врагом. И он и она настойчиво

будут проситься в бой, на самую передовую линию.

Вскоре после начала войны Зоя обратилась в райком комсомола. Там таких желающих, как она, было полно. На столах кипы заявлений. Просьба одна — пошлите на фронт.

— Ничего не можем, — сказали Зое. — Кончай десятый класс.

— А куда еще обратиться?

— Попробуй в горком комсомола.

Зоя пошла, записалась на прием. Ожидая, когда ее вызовут, сидела в коридоре. Тут тоже посетителей хоть пруд пруди.

— Космодемьянская! — услышала она наконец. После сумрачного коридора кабинет показался ей очень светлым. Белые шторы на окнах подняты. На стене — большая карта.

Секретарь МК пожал Зое руку, предложил сесть. Разговор начался с расспросов: кто она, где родилась, куда выезжала, давно ли вступила в комсомол.

Зоя отвечала быстро, старалась подавить волнение — решалась ее судьба. Руки помимо воли вертели пуговицу, но Зоя заметила это только тогда, когда перехватила взгляд секретаря. «Еще подумает, что волнуюсь», — мелькнуло в голове, и Зоя заставила пальцы успокоиться, положила руки на колени. Потом все время следила за ними.

А вопросы сыпались один за другим:

— Какой язык учила?

— Немецкий..

— В цель стреляла?

— Неплохо.

— А с вышки в воду прыгать не боишься?

— Не боюсь!

— Сила воли есть?

Зоя улыбнулась. Ей еще никогда не приходилось так лестно говорить о себе. Но что поделаешь...

— И сила воли есть, и нервы у меня крепкие.

Секретарь помолчал немного, еще раз внимательно посмотрел на девушку, и Зое показалось, что он подавил вздох.

— Люди нам нужны. На фронт, значит, хочешь? Сердце Зои дрогнуло.

— Затем и пришла.

— Трудно там, очень трудно. Ты, между прочим, во время налетов где бываешь?

— Я? На крыше. Бомбежки не боюсь. — И чтобы разом пресечь все вопросы, Зоя добавила решительно: — Вообще ничего не боюсь!

— Ишь ты какая смелая, — сказал секретарь. — Ну, подожди в коридоре. Соберутся товарищи, поедem в Тушино прыгать с парашютом.

Зоя вышла. От возбуждения она не могла сидеть, ходила по коридору. Конечно, легко было говорить там, в кабинете, что она не боится. На самом-то деле все куда сложнее. Вот сейчас нужно прыгать с самолета. Если и будет страх, Зоя, конечно, постарается его побороть. А вдруг не выйдет?

Когда секретарь снова позвал ее и спросил: «Готова?», без колебаний ответила: «Готова!»

Она думала, что сразу отправится на аэродром, но вместо этого секретарь принялся рассказывать, какие трудности ожидают ее.

— Ты должна ясно представлять себе, на что идешь, — закончил он.

— Я готова, — повторила Зоя.

— Иди домой, подумай еще.

Только в коридоре вспомнила Зоя о прыжке с парашютом.

«Да он же просто испытать хотел», — поняла она.

Через два дня Зоя вновь пришла в Московский комитет комсомола. Опять здесь было много народа. Зоя насторожилась: не отказали бы!

Чувство тревоги усилилось, когда вошла в кабинет. Ее встретил секретарь, с которым беседовала в прошлый раз. Он выглядел усталым, смотрел холодно. Молча пожал руку, кивком указал на кресло.

— Так вот, Космодемьянская, решили тебя не брать!

— Как не брать? Почему не брать? — срывающимся от обиды голосом крикнула она.

Секретарь улыбнулся, положил ей на плечо руку.

— Ну, не волнуйся, — мягко произнес он.

Зоя немного успокоилась. Ее опять проверяли — не поторопилась ли, не раскаивается ли...

На этот раз они договорились конкретно обо всем. Секретарь сказал, когда и куда надо явиться, что захватить с собой.

Лишь спустя некоторое время Зоя поняла, что и тогда ей, как и всем добровольцам, дали еще одну, теперь уже последнюю возможность взвесить свое решение. Им просто указали место и время сбора, не взяв при этом никаких обещаний. Хочешь — приходи, передумала — занимайся обычным делом, никто не упрекнет тебя.

И вот наступило сырое холодное утро. Мама подняла Зою рано, накормила завтраком: будто в школу собирала. Проводила до трамвая. Дул резкий ветер, низко неслись клочковатые рваные тучи. По щекам мамы скатывались слезинки.

В тот же день Зоя оказалась в воинской части № 9903, познакомилась с такими же добровольцами, как и она...

Шагавший впереди Борис поднял руку: внимание, осторожней! Зоя старалась ступать на носки, напряженно прислушиваясь. Какие-то странные звуки доносились издалека. Она дернула Бориса за рукав, тот остановился.

— Слышишь? Вот опять! Что это?

— Лошади. На ржание похоже.

Сделали еще шагов пятьдесят, и перед ними открылась прогалина, заросшая низким кустарником. Дальше, наверное, поле. Во всяком случае, конца прогалины не было видно за белесой мглой. Лишь смутно обрисовывались впереди очертания какой-то постройки. Ветер, дувший оттуда, нес запах печного дыма, обрывки голосов. Совсем явственно раздавалось ржание лошадей. Чуть приметно мелькал огонек. Он перемещался: наверно, кто-то ходил с фонарем.

— Петрищево, — тихо сказал Борис. — Ты побудь здесь, а я подберусь поближе, посмотрю.

Зоя прижалась спиной к стволу дерева, на всякий случай вытащила наган. Следила за Крайневым. Он сделал несколько перебежек от куста к кусту, потом пополз и скрылся из виду.

Надо было набраться терпения. Усилившийся снегопад совсем заслонило строение вдали. Теперь Зоя могла только слушать, но и слушать было нечего. Голоса в деревне больше не раздавались, конское ржание прекратилось. Только собака жалобно тьякала. Не облаяла бы Бориса!

Минуло полчаса, пока вернулся Крайнев.

— Что? — нетерпеливо спросила Зоя.

— Прямо — длинный сарай. Конюшня. Дальше — дома. Немцев полно, крайняя изба как улей гудит.

— Ну?

— Зажигать будем конюшню и дома,

— В такой снегопад? Кто увидит?

— Подождем, может, кончится. Еще рано, до полуночи время есть. А пока попрыгаю, чтобы не замерзнуть. — Борис принялся бесшумно топтаться на месте.

У Зои, долго стоявшей без движения, тоже застыли пальцы ног и рук, она тоже начала приплясывать, то приближаясь к Крайневу, то отступая. И вдруг фыркнула весело.

— Тихо! Смешно тебе? — удивился Борис.

— Вроде бы танцуем... Первый бал.

— Похоже, — улыбнулся Борис. — Лесной бал. — И, словно оправдываясь: — А что поделаешь? Еще по крайней мере час ожидать надо!

Наконец пора. Борис подал знак: вперед. Ползти — вот что самое ненавистное. Фашисты не таясь выходят из дома, хлопают дверью, разговаривают в полный голос, гогочут. Хозяевами себя чувствуют. А Зоя вынуждена хорониться в канаве на своей родной земле, не смея выпрямиться в полный рост.

Крайнева не видно. Он где-то справа. После короткого перерыва вновь повалил снег, да так густо, что и сарай и лес — все скрылось. Чего же таиться при такой видимости? Одна забота — сарай разыскать. Зоя поднялась и пошла, выставив руку с наганом.

Бревенчатая заснеженная стена выросла вдруг перед ней. Зоя затаила дыхание. Рядом за стеной слышалось шевеление, ворочалось что-то живое, жующее, теплое. Из продолговатого оконца струился парок, тянуло свежим навозом... Может, и люди там?

Наготове бутылка с горючей смесью. Стукни о бревно, зажги спичку... Но бутылка звякнет, удар и звонок стекла нарушат тишину. Зоя не решилась. Минуту или две она провозилась, вынимая пробку. Осторожно облила горючей смесью стену: сверху вниз, от самой крыши. Солома-то запылает, но хотелось, чтобы огонь охватил и бревна.

Пальцы слушали плохо — замерзли. И волновалась она. К тому же крупные снежные хлопья падали на спички, мешая зажечь, хотя спички были с особой пропиткой. Они ломались, шинели. Тогда Зоя взяла сразу несколько штук, сильно чиркнула. Вспыхнул огонек, она поднесла его к бревнам: сразу рвануло пламя. Зоя на какое-то время ослепла. Побежала назад, не оглядываясь.

Раздался испуганный крик. Зоя посмотрела: не белой, а розовой была пелена в той стороне. Послышался разноголосый гомон, и вдруг ударил выстрел. «Борис!» — екнуло сердце. Зоя рванулась туда, но вспомнила приказ командира: подожжешь и сразу в лес! Немедленно в лес!

За спиной ржали лошади. Кто-то кашлял и ругался. Зоя, пригибаясь, побежала дальше, инстинктивно забирая вправо, в лощину, где чернели кусты.

Выстрелы в деревне ухали раз за разом. Стреляли и возле конюшни. Пуля свистнула над головой и подстегнула Зою: она побежала быстрее.

В низине снег выше щиколоток. Девушка выбилась из сил. Остановилась, вытерла мокрое лицо и только тут сообразила, что лощина увела ее куда-то в сторону. И довольно далеко. Во всяком случае, даже проблеска пожара отсюда не было видно, а выстрелы раздавались глухо — ветер относил звук в сторону.

Зоя растерялась: где же искать Бориса? Метнулась из лощины вверх и сразу очутилась в лесу. Но это был совсем не тот лес, в котором скрывались они с Крайновым и где должны были встретиться. Там росли елки с березами, было много кустарника, а здесь редко стояли стволы старых деревьев.

Она попыталась успокоиться, подумать без спешки, определить направление. Борис ждет ее. Может, совсем рядом. Но где? Куда повернуть? Пропал и последний ориентир — прекратилась стрельба. Зоя шла наугад, все еще рассчитывая на счастливый случай. Шла долго, вспоминая, как учили ее находить стороны света. По муравейникам можно, они с южной стороны стволов, где греет солнце, но какие сейчас муравейники! По годовым кольцам на срезах пней. Тоже отпадает.

На какой-то поляне Зоя прислонилась к стволу. Так устала, что не хотелось двигаться. Посидеть хоть бы немного. Холод пробирался под

одежду. Сами собой опустились тяжелые веки. Стало вроде бы лучше.

И вдруг она услышала странный звук: над головой мертвенно, по-косяному стучали под ветром закоченевшие ветки. Зоя даже вскрикнула, оттолкнулась от дерева и быстро пошла по просеке, начинавшейся от поляны. Кажется, на юг или на юго-запад. Во всяком случае, не надо отчаиваться. Не в пустыне же она! Просека обязательно приведет куда-нибудь. На другую просеку, на дорогу, в деревню, к избе лесника. Там можно сориентироваться. Только не стоять, не расслабляться. Идти и идти!

Ей повезло. В эту ночь встретила она партизана, который привел ее в землянку, в тепло, накормил. Зоя уснула.

* * *

— Татьяна... Таня... — выплыл из пустоты чужой голос. Девушка вскинулась, ударившись о потолок землянки. В руке — наган.

— Какая Таня? Кто?

— Не ершись, убери пушку-то, — сказал партизан. — Сама так назвалась, нам все одно. Ухожу я, потолковать надо.

Зоя натянула сапоги, накинула пальто. Выглянула из землянки — свет резанул по глазам: бело и ярко было в лесу, на ветках снежные нависи, как кружева.

— Стихло, — удовлетворенно произнес мужчина, глубже нахлобучивая шапку. — На столе провиант тебе оставил. А мне пора. Может, ворочусь, а может, и нет. У меня в лесу домов, как у зайца теремов. Ну а ты? Надолго останешься?

— Я тоже пойду, только не сейчас, а под вечер.

— Это вернее, — согласился мужчина. — Возле землянки-то не следи. Шагай по оврагу вверх, он прямо на просеку выведет, где встретились.

— Мне бы к речке попасть, к Тарусе.

— На северо-восток держи. Как дойдешь до пересечения просек, бери влево и никуда не сворачивай. Да смотри не проскочи с разбегу, речонка такая, что в половодье петух пешком перейдет. А сейчас замело, сровняло. Лед ногой щупай.

— Спасибо, — сказала Зоя, — очень большое вам спасибо за все.

Вернувшись в землянку, она напилась чаю и почувствовала, что ее опять клонит в сон: слишком утомилась и наголодалась. Снова залезла на нары и лежала в тишине и тепле. Теперь она запомнит дорогу сюда, к этой землянке, расскажет своим. Только когда, где?

Борис, конечно, возвратился в лагерь, а лагеря ей самой не разыскать. Значит, надо переходить фронт. Добраться до Тарусы, повернуть вправо и идти к Наре. А если повернуть влево, то вскоре доберешься до истоков Тарусы — Зоя хорошо представляла карту этого Района. Начинается речка в болотах возле Петрищева. Они с Борисом часть пути проделали вчера как раз по долине речушки. Крайнов, наверное и назад, шел по ней, а Зоя шарахнулась в сторону. Сама виновата. Тан она и скажет командиру, когда вернется. Выполнила, дескать, задание, а потом допустила ошибку...

Но выполнила ли? Зоя даже приподнялась. Как же она не сообразила раньше? Постройки они с Борисом подожгли, это факт. Только в какое время? В самый снегопад, когда ни один самолет не поднялся в воздух. Если и поднялся, то летчик не мог разглядеть ничего. И потом еще долго валил снег, до самого утра, вероятно.

Значит, главное-то не сделано! Чем же гордиться, о чем докладывать? Может, хоть сегодня погода будет ясная, и Борис снова... Но нечему Борис? Ему далеко идти, у него других забот много. А у Зои одна — выполнить то, что поручено. Она должна снова идти в Петрищево, просто обязана довести начатое до конца.

Приняв решение, Зоя успокоилась. Можно отдыхать часов до четырех, пока наползут сумерки. А этот партизан не поверил, кажется, что ее зовут Таней. Не очень твердо произнесла она это имя, хотя вспомнилось оно не случайно. Зоя ж раньше думала: в случае чего назовет себя так в память о Тане Соломахе, героине гражданской войны. Несколько раз Зоя перечитывала очерк о ней, читала вслух, маме и брату. И так ярко представляла себе подвиг мужественней девушки, будто своими глазами видела и пережила все вместе с ней. Враги били Таню шомполами на ее- глазах шашками зарубили товарищей, но она ничего не сказала белогвардейцам, не запросила пощады...

* * *

Речку Тарусу Зоя нашла без труда. Встала над замерзшей водой, задумалась. Так хотелось повернуть вправо, к своим! Последнее испытание, последнее напряжение — перейти линию фронта. Можно будет наконец расслабиться, помыться, написать письмо маме. Но отсюда до Петрищева часа полтора хорошего хода, а ночь светлая, не то что вчера. Самолеты вполне могут летать, пожар будет виден издалека. «Какие еще колебания? Стыдно!» — сказала она себе.

Идти можно не торопясь, время еще раннее, а поджигать лучше поближе к полуночи. Зоя несколько раз отдыхала. Лес чопорный, строгий: деревья не шелохнутся. Особенно красивы елки, ровной цепочкой выстроившиеся вдоль просеки.

Зоя постояла бы, любуясь, но у нее начали мерзнуть ноги. Холод торопил ее.

На этот раз с опушки хорошо просматривалась окраина деревни. Несколько добротных высоких домов и сараи, повернутые глухой стеной к лесу. Три или четыре длинных сарая стояли особняком, на отлете, до них было ближе, чем до изб.

Туда — осторожно, а там — быстро. Облить стену, поджечь и сразу назад. Только вот пальто мешает, когда летишь опрометью. Может, повесить его пока здесь на сучок? И вернуться по своим следам.

Так она и сделала: сняла пальто, оставшись в теплой куртке. За спиной — тощий мешок. В кармане бутылка с горючей смесью. В другом — спички. Наган сунут за пазуху. Ну, кажется, все.

Еще раз оглядела деревню. Пусто, тихо, нигде ни огонька. Будто вымерло Петрищево. Лишь над трубой крайнего дома поднимался дым, там топили.

Зоя обогнула ствол старой березы и быстро пошла по открытому полю, не зная о засаде, которая ожидала ее за углом конюшни.

* * *

Старшим в гарнизоне был командир 332-го пехотного полка 197-й дивизии полковник Рюдерер. Ему и доложили о поимке «фрау партизанки», у которой имелось оружие и бутылка с горючей смесью.

Несомненно, она была из тех, кто минувшей ночью поджег конюшню и несколько домов.

Подполковник по телефону сообщил о партизанке командиру дивизия и спросил, как с ней поступить.

— Мы имеем дело не с единичным случаем, а с организованной акцией, — сказал в ответ генерал. — Другая раненая партизанка захвачена возле совхоза Головково. Вероятно, в зоне дивизии действует диверсионный отряд Русских. Вывод может быть только один: усилить посты. А пойманных партизан уничтожить.

— Но это женщина!

— Для нас нет женщин и нет мужчин, — желчно произнес генерал. — Есть только враги, А приказ о партизанах вам известен.

— Так точно.

— Повесить в полдень, собрав жителей. И постарайтесь основательно допросить ее. Откуда она, много ли их, где база, какова задача? Возьмитесь за это сами, подполковник.

— Слушаюсь, господин генерал.

Судьба партизанки была решена еще до того, как Рюдерер увидел ее своими глазами. Пока она не стала бесчувственным трупом, из нее следовало извлечь максимальную пользу, любыми средствами вырвать нужные сведения. Она все равно обречена.

В штаб ее привели уже избитую, раздетую: в ночной сорочке и босую. Это была совсем еще девчонка, и подполковник вначале предположил, что ее нетрудно запугать. Но взгляд у нее был такой твердый, такая ненависть горела в глазах, что Рюдерер подумал: она из тех фанатичных русских, которые держатся до конца.

Он был воспитанным человеком, этот кадровый офицер, даже к пленным обращался с холодной вежливостью.

— Ваше имя?

— Таня.

— Фамилия?

— Не имеет значения.

— Это вы подожгли конюшню?

— Да.

— Ваша цель?

— Уничтожить вас.

Подполковник усмехнулся: каково самомнение у девчонки! Штабные офицеры смолкли.

— Кто вас послал сюда?

— Этого я не скажу.

— С вами были другие партизаны?

— Нет.

— Где ваша база? Когда вы перешли фронт?

— В пятницу, — наобум сказала Зоя.

— Вы слишком быстро дошли, — усомнился подполковник.

— Что же, зевать, что ли?

Переводчик с трудом перевел дерзкие эти слова.

— Мы не будем бить вас кулаками, — устало произнес Рюдерер, взглянув на часы. У него имелись более серьезные заботы, чем эта девчонка. — Бить кулаками нехорошо. Но мы заставим вас ответить на все вопросы.

Двум солдатам ничего не стоило бросить партизанку на лавку, лицом вниз. Пряжка ремня с размаху врезалась в худенькое бледное тело, оставив сине-багровый след.

Рыжий баварец бил с таким старанием, что, казалось, разрубит девушку. Она содрогалась при каждом ударе, прикусывала губы.

Молодой офицер-связист выбежал на кухню, где в темноте сидели хозяева избы. Ощупью нашел дверь, выскочил на крыльцо, там его стошнило.

Рюдерер сделал знак, солдат опустил ремень.

— С кем ты была? Где твои товарищи?

Девушка с трудом подняла голову. В глазах — ненависть.

— Значит, мало еще тебе, — буркнул подполковник, начавший терять терпение.

Снова взметнулась пряжка.

Подполковник чувствовал раздражение и усталость. Он велел увести партизанку и прибрать комнату. Подумав, сказал переводчику, чтобы поджигательницу отправили к солдатам. Пусть спрашивают еще. Может, солдаты что-то выколотят из нее.

Переводчик повел пленную в караульное помещение. Было уже около полуночи, небо вызвездило, мороз окреп по-зимнему. Холод пробирал переводчика под шинелью, а русская будто и не ощущала

его: шла босая, почти обнаженная, оставляя за собой темные пятна крови...

Утром в избу явились двое фашистов. Один упитанный, молодцеватый, с веселым нравом. Из-под пилотки спускались на уши теплые клапаны. По сравнению с ним другой гитлеровец выглядел дегенератом. Над плотным квадратным туловищем — тонкая гусиная шея и непропорционально маленькая голова. Острый нос торчит, как клюв. Шинель без ремня, словно балахон. Брюки навывпуск. Ботинки. Этот дегенерат и был главным палачом, он делал все быстро и с явным удовольствием. Бросил Зое вещевой мешок, отобранный вчера. Жестом показал: одевайся.

В мешке сохранились два кусочка сахара и соль, взятые в партизанской землянке. Но не было ни сапог, ни куртки, ни фуфайки, ни подшлемника, ни шапки. успели поделить, вояки! Оставили Зое лишь кофточку, чулки и ватные брюки.

Натянуть чулки на распухшие ноги сама не сумела помогла хозяйка дома Прасковья Кулик. Стоя перед девушкой на коленях, всхлипывая, она осторожно прикоснулась к обмороженной, содранной во многих местах коже.

Солдаты покрикивали, торопили.

На грудь Зое повесили доску с надписью на двух языках — «Поджигатель».

На улице фашисты взяли Зою за локти, но она резким движением оттолкнула врагов, пошла сама, стараясь уверенней ставить ноги.

Из домов выскакивали солдаты. С оживленным говором валили гурьбой.

Виселицу изготовили прочную. Свежеоструганная, она высилась над толпой, над шапками и бабьими платками, над головами солдат и даже над кавалеристами, сидевшими на конях. Кавалеристы были тепло одеты, они явились сюда по службе, оцепить место казни. А пехотинцы прибежали налегке, без шинелей, чтобы поглазеть, получить удовольствие. Теперь они мерзли, потому что казнь затягивалась. Появился офицер с «кодаком», принялся фотографировать. Подолгу «целился», искал выразительные позы.

Палачи между тем подняли Зою на ящики, дегенерат накиннул петлю. Девушка, казалось, не заметила этого, взгляд ее был устремлен на людей, она видела не только любопытствующие, ухмыляющиеся

рожи солдат, но и суровые лица крестьян, плачущих женщин, охваченных ужасом детей.

— Эй, товарищи! — крикнула она неожиданно звонким и ясным голосом. — Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь с фашистами, жгите их, травите их!

Дегенерат замахнулся, хотел ударить, но побоялся, что пленница упадет с ящиков, и задохнется преждевременно, до команды. Офицер продолжал фотографировать, а Зоя, держась рукой за веревку, говорила со своей жуткой трибуны:

— Не страшно умирать мне, товарищи! Это счастье — умереть за народ!

— Скорее же! — крикнул с коня какой-то начальник, но фотограф еще не кончил снимать, и палачи не знали, кого слушать. А Зоя продолжала говорить, подчиняя все внимание собравшихся.

Умолкла только тогда, когда палач затянул петлю. О чем подумала она в эти последние секунды? Если бы смогла Зоя хоть на мгновение охватить взором то, что происходило вблизи и вдали! Ей, наверно, стало бы вдвойне тяжелей и горше, потому что совсем неподалеку, За лесом, километрах в десяти, увидела бы она золотоволосую подругу свою Веру Волошину, тоже с петлей на шее. Немцы там решили не утруждать себя, не возвели виселицу, а использовали деревянную арку въезда в совхоз. Раненую Веру, неспособную держаться на ногах, привезли в кузове грузовика. Задний борт был открыт. Ровно в полдень, когда палач выбил ящик из-под ног Зои, тронулся с места грузовик, и тело Веры закачалось под аркой...

Но Зое стало бы не только горше! В этот день, 29 ноября, в день ее смерти, южнее Каширы воины 1-го гвардейского кавалерийского корпуса оттеснили фашистов на четыре километра. Всего на четыре. Но это были первые километры на том многотрудном пути, который предстояло частям Красной Армии преодолеть от Подмосковья до гитлеровской столицы.

И бессмертная Зоя до самой Победы шла в рядах наступавших бойцов.

Владимир УСПЕНСКИЙ

Александр МАТРОСОВ

ПРИКАЗ

Народного комиссара обороны № 269

8 сентября 1943 г. г. Москва

1. О присвоении 254 гвардейскому стрелковому полку имени Александра Матросова.

2. О зачислении навечно Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова в списки 254 гвардейского стрелкового полка имени Александра Матросова.

23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254 гвардейского стрелкового полка 56 гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за дер. Чернушки, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. гвардии рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

Для увековечивания памяти Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова приказываю:

1. 254 гвардейскому стрелковому полку 56 гвардейской стрелковой дивизии присвоить наименование:

254 гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова.

2. Героя Советского Союза гвардии рядового Александр" Матвеевича Матросова зачислить навечно в списки 1-й роты 254 гвардейского полка имени Александра Матросова.

Приказ прочесть во всех ротах, батареях и эскадронах.

Народный комиссар обороны

Маршал Советского Союза

И. Сталин.

Символом бессмертия горит на боевом знамени гвардейского полка, единственной части в Советской Армии носящей имя рядового солдата, имя Александра Матросова.

В годы Великой Отечественной войны более 300 бойцов, командиров и политработников Красной Армии, партизан, представители почти всех национальностей нашей страны, совершили такой же подвиг, как и Александр Матросов. Именем Александра Матросова названы улицы городов, живописные парки и скверы, десятки школ, сотни пионерских дружин и отрядов. Более десяти тысяч музеев и комнат боевой славы имени Александра Матросова создано руками пионеров и комсомольцев, а в городе Великие Луки, там, где покоится прах героя, по решению ЦК ВЛКСМ выстроен и открыт в 1971 году Музей боевой и трудовой комсомольской славы имени Александра Матросова.

Прошло несколько десятилетий с тех пор, как совершил свой бессмертный подвиг гвардии рядовой Александр Матросов. Идут годы. Давно не служат в этом гвардейском стрелковом полку сослуживцы Матросова, очевидцы его великого подвига. На их место пришли дети, внуки воинов. И только один солдат не уходит в запас, всегда остается в полку, каждодневно несет трудную, но почетную службу. Это — гвардии бессмертный рядовой Александр Матросов. Он всегда живет со своими однополчанами — солдатами первой мотострелковой роты. У него стоит в пирамиде такой же автомат, такая же кровать, как у товарищей по первой мотострелковой роте, такое же одеяло, простыни, подушка, полотенце. Такая же прикроватная тумбочка, а в ней мыло, зубная щетка, зубная паста, бритвенный прибор, маленькое карманное зеркальце и остальные немудреные

принадлежности солдатского обихода. Только на его кровати — не как у всех — на белоснежной подушке всегда лежат живые цветы да установлена небольшая аккуратная табличка с надписью: «Кровать Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матросова. Должность — стрелок-автоматчик. Год службы — февраль 1943-й».

Над кроватью в стену вмонтирована небольшая, любовно сделанная руками самих солдат, ротных умельцев, Диорама, изображающая подвиг их однополчанина.

У изголовья кровати большой портрет героя, а слева от него приказ наркома, согласно которому Матросов несет свою бессменную службу Отечеству. Вверху над кроватью надпись: «Он всегда с нами»...

Вдоль седых берегов Днепра, на трех холмах, привольно Раскинул свои широкие улицы, площади, парки и скверы Днепропетровск.

В этом городе, в бывшей захолустной рабочей слободке, в семье потомственного рабочего-металлурга Матвея Матросова 5 февраля 1924 года родился голубоглазый мальчик. Родители назвали его Александром.

Мальш рос крепким, здоровеньким, смышленным, добрым и, как все ребяташки, любознательным почемушкой. Когда мальчику исполнилось шесть лет, глава семьи по призыву партии с группой коммунистов и передовых рабочих днепропетровских предприятий уехал в деревню создавать колхозы. В этом же году, весной, он погиб от кулацкой пули.

Страшное, непоправимое горе нежданно-негаданно свалилось на семью Матросовых, оно уложило на больничную койку Сашину мать, а вскоре она умерла.

Так мальчик стал сиротой.

В ночь перед боем, в землянке, 23 февраля 1943 года, Матросов говорил своим боевым друзьям: «Не знаю, что было бы со мной, если бы не Советская власть и добрые, душевные люди. Пропал бы я где-нибудь в круговороте жизни».

В 1935 году, весной, десятилетнего Матросова привезли в Ивановский детский дом Ульяновской области.

Детский дом расположен на утопающем в зелени парка холме. С территории детского дома хорошо просматриваются чудесные по своей красоте ближайшие окрестности. Чуть правее находится

железнодорожная станция Охотничья, за ней синеет Охотничий бор, а еще правее, на северо-запад от усадьбы детского дома, виднеются избы деревни, носящей необыкновенное название — Отрада.

В этом старейшем детском доме Саша Матросов жил до февраля 1940 года.

«Саша Матросов, — рассказывает пионервожатый и физрук Петр Петрович Федорченко, — был очень любознательным. Его интересовало все: почему у ржи колос длиннее, чем у пшеницы, и почему одни голуби стремительно взлетают ввысь, а другие низко парят над голубятней, кувыркаясь по-разному в воздухе. Вопросам, которые он задавал воспитателям, не было конца».

В 1937 году в детском доме создается пионерская организация, и Матросов одним из первых вступает в нее. Пионеры часто ходили по ленинским местам, посещали художественные и краеведческие музеи Ульяновска. Особенно ребята любили бывать в Доме-музее В. И. Ленина. Там Саша подолгу задерживался в меленькой; комнате Володи Ульянова и с большим волнением осматривал его вещи: самодельную полочку с книгами, табеля, похвальные листы...

В детдоме были свои слесарные и столярные мастерские. Ребята ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, собирали двигатели, аэросани, конструировали. «Саша любил слесарничать, — вспоминал директор Ивановского, детского дома Петр Иосифович Макаренко — Работу он выполняет с огоньком, азартно, просто здорово, все у него получалось отменно. Особенно он любил покопаться и помудровать со старыми сенокосилками и плугами...»

Каждое лето ребята выезжали в пионерские лагеря на берег Волги. Жили в палаточных городках, помогали колхозникам убирать урожай, купались, ловили рыбу, собирали ягоды. По вечерам под руководством физрука Федорченко проводились соревнования по футболу, волейболу, плаванию. Саша охотно принимал участие во всех спортивных мероприятиях и был первым помощником Петра Петровича..

По рассказам воспитанников детского дома, Саша внимательно относился к малышам, всячески оберегал их от незаслуженных обид со стороны старших ребят и чуть ли не с кулаками нападал на обидчика.

Любил Саша читать про гражданскую войну, про ее героев — красных командиров и бойцов. Особенно ему нравились, такие книги, как «Чапаев» Дмитрия Фурманова, «Как закалялась сталь» Николая Островского. Зачитывался он в Гоголем, Пушкиным, Некрасовым, Жюлем Верном.

А когда в детский дом приезжал на пионерский костер кто-нибудь из ветеранов гражданской войны или командиров Красной Армии Приволжского военного округа, старых большевиков, Саша, затаив дыхание, слушал их рассказы.

В 1940 году, когда Матросову исполнилось шестнадцать лет, ого был отправлен из детского дома для трудоустройства в город Куйбышев.

И вот однажды весной, уже в Куйбышеве, как рассказал Матросов перед боем, «ударила не дававшая покоя мысль в голову, самостоятельный, думаю, человек, дай-ка попробую разыскать родителей... Забрался на баржу, идущую по Волге в Саратов, и без документов, с несколькими рублями в кармане оказался в большом незнакомом городе. Отца, разумеется не нашел. Решил с горя обратиться в милицию за помощью. Там обстоятельно разобрались, почему я оказался в Саратове. Как не имеющего родителей и нарушившего паспортный режим, по решению суда, до достижения совершеннолетия отправили в Уфу в детскую трудовую колонию.

В Уфу Саша прибыл в апреле 1941 года и пробыл в колонии до сентября 1942 года.

Учительница семилетней школы, где учился Саша Матросов, Лидия Васильевна Карепанова вспоминала: «Это был коренастый бойкий мальчик с пытливыми глазами. Одет он был, когда прибыл в колонию, в черный бушлатик, такие же брюки и голубую рубашку-косоворотку, через расстегнутый ворот которой виднелась полосатая морская тельняшка. Ребята с первого дня прозвали его Матросом. И, как оказалось, фамилия у него была действительно Матросов. Он был направлен учеником слесаря в цех. Вскоре его фамилия была на доске Почета в списке лучших ребят, выполнявших производственную норму на 120–150 процентов. Как видно, Матросов изо всех сил старался приобрести хорошую рабочую специальность.

За учебу Саша взялся настойчиво и охотно. Любимы» ми его предметами были история и география... Огромная внутренняя сила,

неиссякаемая энергия чувствовались у Саши во всем. Он никогда не сидел без дела, много читал, занимался во многих кружках, особенно его увлекал драматический. Работы Саша не боялся. Вместе с ребятами участвовал в субботниках, вытаскивал из ледяной воды лес, нужный для фабрики, за три километра по бездорожью таскал специальные ящики для оружия и боеприпасов. Когда Саша узнал о нападении гитлеровцев на нашу Родину, он как-то весь преобразился.

На всю жизнь запомнился мне такой эпизод из жизни Саши Матросова, характеризующий его как человека. Это было на второй год Великой Отечественной войны, в июле 1942 года. К нам в колонию на автомашинах привезли детей из блокадного Ленинграда. Дети были больны и настолько истощены, что их пришлось выносить на носилках. Вот тут-то и раскрылась вся доброта и сердечность Матросова. Возглавив группу воспитанников, он на руках с ребятами перенес в санчасть всех больных детишек, а потом сам каждый день бегал в подсобное хозяйство и носил выздоравливающим детям ягоды и свежие овощи. Таков был наш Саша».

Шел грозный, полыхающий огнями войны 1941 год.

Матросов рвется на фронт. «Разве мое место здесь? Нет, я должен быть там, на фронте, где наш народ сражается с врагом. Я хочу защищать от фашистов Родину и отдам, если надо будет, за нее жизнь», — убеждал он учителей.

Свое огромное желание, неудержимое стремление быть на фронте, свои личные чувства Матросов изложил в письме Народному комиссару обороны товарищу Сталину.

«Дорогой товарищ Нарком! Пишет Вам простой рабочий из города Уфы. Шести лет я лишился родителей. Будь это в капиталистической стране, мне грозила бы голодная смерть. Но у нас, в Советском государстве, позаботились обо мне, обеспечили образование и специальность слесаря в детской трудовой колонии. За все это я благодарен Коммунистической партии и Советской власти, и сейчас, когда наша Родина в опасности, я хочу защищать ее с оружием в руках. Здесь, в Уфе, я трижды просился на фронт, и трижды мне было отказано в этом. А мне 17 лет. Я уже взрослый. Я больше принесу пользы на

фронте, чем здесь. Убедительно прошу Вас поддержать мою просьбу — направить на фронт добровольцем и желателью на Западный фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы.

А. Матросов».

И только в сентябре 1942 года сбылась заветная мечта восемнадцатилетнего Александра Матросова — его призвали в ряды Красной Армии.

Руководство детской трудовой колонии при отправлении Матросова в Красную Армию характеризовало его так:

«Тов. Матросов А. М. прибыл в Уфимскую трудовую колонию 21 апреля 1941 года. С момента прибытия Матросов А. М. зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны. Работая на мебельной фабрике в качестве слесаря, систематически стахановским методом перевыполнял производственную норму на 250–300 %. За хорошую работу на производстве, отличную учебу и поведение в школе Матросов с 15.11.1942 года по 23.IX.1942 года работал в должности помощника воспитателя, кроме того, был избран председателем центральной конфликтной комиссии.

Активная работа в учебно-воспитательной части и личное желание Матросова окончательно подготовили его к самостоятельной жизни.

Тов. Матросов выдержан, дисциплинирован, умеет правильно строить товарищеские взаимоотношения.

Делу Коммунистической партии большевиков и своей социалистической Родине товарищ Матросов Александр Матвеевич предан.

Характеристика дана для предъявления в районный военный комиссариат по случаю призыва тов. Матросова в ряды Красной Армии».

Но направлен был Матросов не на фронт, как этого страстно хотел, а в глубокий тыл — в Краснохолмское военное пехотное училище.

Седьмого ноября 1942 года, в день 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, Матросов принял военную присягу, вместе с товарищами дал клятву на верность Родине.

В этом же месяце Матросов вступил в комсомол.

И в училище Матросов много раз обращался к командованию с просьбой добровольцем отправить на фронт. Но всякий раз получал ясный и обоснованный отказ: «Мы глубоко одобряем ваше желание, товарищ Матросов, но сперва надо научиться умело воевать, а там уж и передовая».

И только в конце января 1943 года, когда решался исход битвы под Сталинградом, Краснохолмское училище получило приказ часть курсантов отправить на фронт. Матросова не включили в число маршевых рот. Его это очень огорчило, и он обратился к начальнику училища с просьбой отправить на фронт добровольцем. Вскоре Матросов вместе с другими курсантами направился в действующую армию.

Пятого февраля 1943 года, в день своего рождения, Матросов и его товарищи прибыли на станцию Земцы Калининской области и вошли в состав 91-й Отдельной Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков. Их зачислили во второй батальон, которым командовал имеющий боевой опыт капитан Степан Алексеевич Афанасьев. В батальоне Сашу направили во взвод автоматчиков, командиром которого был лейтенант Леонид Семенович Королев.

В ночь с 12 на 13 февраля бригада после отдыха выступила в 240-километровый марш по бездорожью, в метель и пургу на фронт.

На восьмой день трудного марша, рано утром 20 февраля 1943 года, части бригады прибыли в район сосредоточения, в семидесяти километрах севернее старинного русского города Великие Луки, и расположились в 15–16 километрах от переднего края, за рекой Ловать в Большом Ломоватом бору. Через три дня бригада должна была вступить в бой.

22 февраля, по указанию политотдела бригады во всех частях проводились партийные и комсомольские собрания на тему: «Задачи коммунистов и комсомольцев в наступательном бою».

Комсомольцы 2-го батальона устроили свое собрание на небольшой лесной поляне. Собрание открыл секретарь комсомольской организации лейтенант Тимофей Татариков, а с коротким докладом о

предстоящих боях выступил командир батальона коммунист Афанасьев.

После выступления Афанасьева слово попросил агитатор взвода автоматчиков, комсомолец Александр Матросов. Держа в одной руке шапку, а другой крепко прижимая к груди автомат, он, смущаясь, сказал:

— Дорогие товарищи! Завтра мы будем драться с врагом. Здесь, под Великими Луками, так же, как двадцать пять лет назад, наши отцы и старшие братья дрались с ним под Псковом и Нарвой, защищая молодую Советскую республику и революционный Петроград. Теперь нам, их сыновьям и внукам, пришел черед спасти от фашистских бандитов самое дорогое, что есть у нас, — жизнь родного Советского государства, жизнь Родины... Мне очень хочется жить, но, если надо будет отдать свою жизнь, чтобы разгромить врага, я отдам ее без колебаний. Я твердо уверен, что завтра в бою мы уничтожим врага.

— Разгромим, Матросов! — со всех сторон дружно раздались голоса бойцов.

— Мы выполним боевой приказ, — продолжал Матросов. — Я буду драться с гитлеровцами, пока мои руки держат оружие, пока бьется сердце.

Еще задолго до того, как начало светать, капитан Афанасьев поднял по боевой тревоге свой батальон и вывел его из Большого Ломоватого бора. Боевым приказом было определено, что батальон должен затемно преодолеть расстояние от Ломоватова бора до Черной роци и по возможности скрытно сосредоточиться в ней, а затем внезапно, при поддержке артиллерии и минометов, подняться в атаку и овладеть передним краем обороны гитлеровцев. Захватив с ходу небольшой, но сильно укрепленный населенный пункт — деревню Чернушки, батальон начнет развивать свое наступление в направлении железной доги Насва — Локня и перережет ее.

Идти было трудно. Мешало бездорожье, глубокий непроторенный снег. Разбушевавшаяся ночью метель, бросая в разгоряченные лица бойцов короткие и внезапные всплески острых ледяных крупинки, никак не могла утихомириться.

Запорошенные снегом колонны вытягивались из леса на поляны, а потом снова, пропадая в перелесках, походили на серые, туманные призраки. Шли молча. Только с левого фланга колонны, где двигался

штаб батальона и взвод автоматчиков лейтенанта Королева, среди которых шел Александр Матросов, доносились короткие фразы приглушенного разговора.

— Товарищ капитан, — говорил Матросов шагавшему рядом с ним заместителю командира батальона по политической части Василию Николаевичу Климовскому, — вы уже много раз бывали под огнем и нынче вместе с нами снова идете в бой. Страшно вам, товарищ капитан? Вы смерти боитесь?

— Да как сказать, товарищ Матросов. Ответить на этот вопрос не так просто. Вы-то сами как думаете?

— Думаю, вам, как и мне, страшновато.

— Помните, — продолжал Климовский, — там, у костра, во время одного из привалов у нас с вами был уже разговор на похожую тему. Но и теперь скажу прямо, по-человечески. Конечно, страшновато. Кому же охота умирать? Ведь человеку-то жизнь дается только один раз.

Климовский немного помолчал. Снял рукавицу, старательно потер теплой рукой замерзшие щеки, нос и продолжал прерванный разговор.

— Если, друзья, — обратился Климовский к Матросову и его товарищам по колонне, — кто-либо скажет вам, что он не боится смерти, не верьте ему. Такое может сказать человек, не слышавший ни разу, как свистят вражеские пули, а побывавший не раз в боях и видевший сотни раз смерть солдат скажет, что очень хочет дожить до Победы, а смерть презирает.

Впереди, слева от головы колонны, противно взвизгнув и брызнув оранжево-красным огнем, крякнуло с десятков мин. Бойцы ускорили шаг.

— Бьет, гад! Наверное, погибель свою чувствует, — зло выругался Климовский.

Подразделения батальона начали втягиваться в густые заросли Черной роци, постепенно скапливаясь в ней для внезапного броска к вражеским траншеям. Над подковообразной линией фронта то слева, то справа, шипя, вспыхивали немецкие ракеты, заставляя приготовившихся к атаке бойцов еще глубже зарываться в мягкий, только что выпавший снег.

В той стороне, где должна была находиться деревня Чернушки, во многих местах, как бы раздвигая утренний полумрак, выбрасывая

клубы дыма и языки пламени, вспыхивали огромные яркие свечи. Это гитлеровцы сжигали дома колхозников.

Матросов лежал в снегу рядом с Афанасьевым. Метрах в десяти от них под заснеженными елочками окопались Королев, Пащенко и человек пять бойцов.

И вот теперь, лежа на этой лесной опушке, Матросов пристально всматривался в ту сторону, где был враг, и думал: вот и наступает та ответственная, заветная минута в твоей жизни, минута, к которой ты готовился все свои девятнадцать лет. Сможешь ли ты выполнить сейчас, идя в смертный бой, то, что обещал людям: не жалея жизни, драться с врагом, отвоевывая у него вот эту покрытую снегом поляну, вон те молодые елочки, вон ту рощу берез, Черную речку, что течет под толстым льдом на подступах к Чернушкам? Сможешь ли защитить своих однокашников-пацанов, оставшихся где-то там, далеко-далеко, в родной Ивановке и Уфе?

* * *

Бой завязался внезапно. Где-то в стороне, за лесом, «заиграла» «катюша». Потом часто-часто разноголосым эхом отозвались наши пушки и минометы. Все разом заухало, заскрежетало, ударило огнем по вражеской обороне.

— Давай, Артюхов! — закричал в телефонную трубку Афанасьев. И сразу же с шипением и свистом серое небо прорезали несколько огненных стрел, рассыпавшись потом красными звездами. Все вокруг стало розово-белым. Перемешавшись с хаосом звуков, огня и света, слева и справа, там, где приготовились для наступления остальные батальоны бригады, загремело: «Ура! Ура!» оно то затихало, то перекатами волн снова наплывало на поля и леса, призывным набатом гудело в Утреннем небе.

И, будто пытаясь заглушить это «ура!», где-то за холмами и перелесками яростно ударили немецкие батареи, ожили и лихорадочно заработали спрятанные в блиндажах и дзотах фашистские пулеметы.

Горячий шквал огня понесся навстречу наступающим подразделениям.

Капитан Афанасьев со своим устремившимся в атаку батальоном попал под фланговый, кинжальный огонь вражеских пулеметов.

Слева и справа от деревни Чернушки из тщательно замаскированных дзотов хлестали пули, не давая нашим бойцам продвигаться вперед.

Санинструкторы Лиза Солнцева, Валя Шипица, Варя Воеводина, переползая по снегу, еле успевали перевязывать раненых и на волокушах-лодочках отправлять их с санитарями в батальонный тыл. Особенно яростный огонь гитлеровцы вели из двух дзотов. Один из них был расположен на южной окраине Чернушек под основанием единственного деревянного амбара, оставшегося от деревни, а второй на опушке леса. Орудий для ведения огня прямой наводкой в боевых порядках пехоты не было. Поэтому капитан Афанасьев приказал штурмовым группам подразделений старшего лейтенанта Василия Губина и старшего лейтенанта Ивана Донского скрытно с флангов пробраться к дзотам и подавить пулеметы врага. И как только прогремели взрывы противотанковых гранат, поднявших в воздух обломки бревен, камни и комья мерзлой земли — все, что осталось от двух вражеских дзотов, — кто-то из офицеров с возгласом: «Комсомольцы, за мной!» — бросился вперед и повел за собой в атаку человек двадцать бойцов. Но навстречу им, выпрыгивая из траншей, вылезая из блиндажей и землянок, что-то выкрикивая и бешено строча из автоматов, пошла в контратаку большая группа фашистских солдат. Они бежали наперерез красноармейцам, которые вместе со своим командиром в наступательном порыве вырвались далеко вперед и оказались отрезанными от своих подразделений.

По гитлеровцам тут же ударили батальонные минометчики, на флангах заработало несколько ручных пулеметов, преграждая своим огнем дальнейший путь вражеским солдатам.

— Бей фашистских гадов! — закричал Королев и, поднявшись во весь рост, яростно строча из автомата, бросился вперед, увлекая за собой десятка полтора бойцов. По снежной целине, наперерез гитлеровцам, на подмогу своим товарищам бежал и Матросов. Он что-то неистово кричал, нажимая и нажимая на спусковой крючок автомата.

Контратака врага была отбита...

Шел второй час боя. Надо было, не теряя времени, выполнять боевой приказ. И бойцы снова поднимались с земли и шли на штурм вражеских укреплений.

«В атаку!» — из края в край проносилось над полем боя. И в то время, когда наступающим бойцам уже были видны догоравшие Чернушки, по центру роты автоматчиков снова озлобленно ударил вражеский пулемет. Он бил длинными очередями из тщательно замаскированного и не обнаруженного ни раньше разведчиками, ни теперь, в бою, дзота.

Крупнокалиберный пулемет, изрыгая свинцовый ливень, рвал на части цепи наших бойцов, прижимая их к белым сугробам.

Наступающие приблизились к вражеским позициям так близко, что вызвать огонь минометов или артиллерии было нельзя. Мины и снаряды могли ударить по своим. Противотанковых ружей в цепи автоматчиков не было. Отползть под непрерывным огнем врага назад значило погубить всю роту, весь батальон. Из завязавшейся упорной пулеметной дуэли вражеские пулеметчики, засевшие в дзоте, вышли победителями. Наш пулемет умолк, и подобраться к нему на помощь не было никакой возможности. Оставалось единственное средство — как-то добраться к вражескому дзоту и, забросав гранатами, взорвать его. Иного выхода не было. Это хорошо понимали и капитан Афанасьев, и двадцатилетний командир взвода автоматчиков лейтенант Королев, и девятнадцатилетний автоматчик-комсомолец Александр Матросов.

И Афанасьев принял решение.

— Королев! Немедленно пошлите несколько своих бойцов, пусть они проползут вон тем кустарником к дзоту, забросают его гранатами, — приказал комбат Королеву.

Но посланные для уничтожения дзота бойцы не добрались до него. Двое из них не проползли и пятнадцати метров, как сразу же были убиты наповал прицельным огнем пулемета, а третий, словно раненая птица, загребая руками снег, через несколько томительных минут также неподвижно замер метрах в сорока от врага.

Афанасьев снова приказал атаковать дзот. И снова три человека, отделившись от основной массы бойцов, внимательно следивших за их действиями, зарываясь в снег, держась мелко кустарника, что был правее бывшего пулемета, поползли к дзоту.

Наблюдая за своими товарищами, приближавшимися к дзоту, Матросов как-то весь напрягся, сжался в комок, словно готовясь к яростному внезапному прыжку. От бездеятельного, неподвижного лежания в снегу все его тело была какая-то противная нервная дрожь.

Матросов видел, как в начале своего невероятно трудного пути стал неподвижным один боец, затем сник головою вперед, прошитый пулеметной очередью, второй, и только третий все еще уверенно и умело продолжал ползти вперед на мерцающий огонек пулемета.

Уже сорок, тридцать пять метров отделяли бойца от дзота. И в это время красноармеец застыл на месте, но вот он на какой-то миг приподнялся с земли и ударил из автомата по амбразуре, а потом словно поднятый хлестнувшей ему в грудь свинцовой струей, встав во весь рост, начал валиться на снег.

— Разрешите мне, товарищ старший лейтенант, покончить с этим проклятым дзотом, — умоляюще попросил Артюхова Матросов.

Артюхов какие-то секунды молчал, осмысливая просьбу красноармейца, а затем, не поднимаясь из снежного сугроба, крепко стиснул руку Матросова и, словно боясь, что его может услышать враг, тихо сказал: — Давай, Матросов!

И Матросов, оставляя за собой в снегу глубокую борозду, пополз на выстрелы врага. Он полз не там, где несколько минут назад погибли его товарищи, а намного правее, там, где был густой заснеженный кустарник. Полз по-пластунски, зигзагообразно, плотно прижимаясь к мерзлой земле, так, как когда-то учили его ползать на тактических занятиях в Краснохолмском училище. Матросов полз все дальше и дальше, от снежного бугорка к бугорку, от кустика к кустику.

Вражеские пулеметчики заметили ползущего в снегу человека только тогда, когда он был уже метрах в пятидесяти от дзота. Гитлеровцы били короткими очередями. Поднимая фонтанчики снежной пыли, пули со смертельным посвистом роились вокруг Матросова. Но он, как только пулемет делал мгновенную передышку, маскируясь кустарником, хоронясь за холмиками снега, припадая к земле, изо всех сил полз вперед. Матросов инстинктивно чувствовал, когда враг начнет снова стрелять. Поэтому на какие-то доли секунды, прежде чем прозвучит следующая пулеметная очередь, он сливался с белой равниной, заглатывал в легкие как можно больше воздуха и через мгновение снова устремлялся вперед. Это была какая-то

страшная дуэль Человека со Смертью, за которой, затаив дыхание, шепча: «Матросов, друг, Сашка, давай!», с надеждой следили внимательные глаза боевых друзей.

Вот уже тридцать, двадцать пять, двадцать метров осталось до дзота. Непрерывно, взхлеб бил пулемет. Ползущий человек замер на месте. Он выждал, когда умолк пулеметный лай, и, мгновенно опершись о мерзлую землю левой рукой, приподнялся на ней и раз за разом метнул две гранаты. Одна из них разорвалась, не долетев несколько метров до амбразуры, из которой зловеще выглядывал ствол пулемета, а вторая, очевидно, угодив в нее, взорвалась в дзоте. И сразу же, окутанный дымом, умолк пулемет.

«Вперед! За Родину!» — пронеслась над полем боя команда, призывая бойцов подниматься в атаку. «Ура! Ура!» — слышалось со всех сторон. Матросов тоже метнулся к дзоту. Но в эту минуту с еще большей злобой, покрывая огненным веером наступающие цепи красноармейцев, вновь лихорадочно забил умолкнувший было пулемет. Матросов упал в снег. Падая, он дал длинную очередь по амбразуре, потом еще несколько раз нажал спусковой крючок автомата. Но выстрелов не последовало. А пулемет бил и бил по снова залегшим бойцам.

Матросов лежал метрах в шести от полыхавшей огнем амбразуры. Враг его не доставал. Летевшие над головой пули обдавали ветром, пороховая гарь неприятно щекотала ноздри, от нее першило в горле. Гранат не было. Автоматный диск был пуст. Резким движением руки он сорвал с головы и отбросил в снег сползшие на глаза шапку и каску, задыхаясь, рванул на груди маскхалат, приподнял над землей свое тело, сделал два огромных прыжка к амбразуре дзота и, не выпуская из руки автомата, бросился грудью на огненное жало пулемета. И сразу же над круглой поляной стало тихо.

* * *

Хоронили Матросова на лесной поляне, в одном километре от деревни Чернушки, недалеко от поверженного им вражеского дзота. Вечерело. Где-то за Чернушками о затухал, то с новой силой разгорался бой. Редко ухали пушки, часто перекликались между собой

охрипшими голосами пулеметы, сливались в сплошном гуле боя торопливые, тарахтящие выстрелы автоматов. Было морозно. Повисшее над горизонтом неяркое февральское солнце бросало на поляну косые багровые лучи. Оно словно хотело попрощаться и обогреть юного ратника, неподвижно лежавшего на снегу у свежерытой могилы...

Матросова завернули в солдатскую плащ-палатку. Руки боевых друзей бережно опустили его тело в могилу и бросили туда по горстке промерзшей земли. Трижды полыхнуло и погасло в вечернем небе пламя салюта. Как живое, затрепетало от налетевшего ветра пурпурное полотнище флага да где-то далеко за Чернушками в полях и лесах на прозвучавшие у могилы Матросова залпы отозвалось грозное эхо уходящего вдаль боя...

Деревня Чернушки, где пал смертью храбрых советский солдат Александр Матросов, находилась среди полей и лесов, в глухомани, в болотистых и труднопроходимых местах приблизительно в семидесяти километрах от города Великие Луки.

Учитывая эти обстоятельства, Великолукский областной и городской комитеты Коммунистической партии большевиков, трудящиеся города и Великолукской области в 1948 году обратились к Советскому правительству и Министерству обороны СССР с просьбой разрешить перенести останки Героя Советского Союза гвардии рядового 254-го гвардейского стрелкового полка Александра Матвеевича МАТРОСОВА в старинный русский город Великие Луки.

25 июля 1948 года советские люди, трудящиеся Великих Лук, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие партизаны, пионеры и школьники проводили в последний путь своего любимого героя.

25 июля 1954 года был открыт памятник на могиле солдата — сына России. (Автор памятника выдающийся скульптор Е.В. Вучетич, архитектор В.А. Артамонов.)

Матросов застыл в бронзе. Почти пятиметровый советский солдат с автоматом в руке в своем последнем броске словно парит над землей. А над ним высоко-высоко в синем бездымном, мирном небе плывут, похожие на льдинки, белые безмятежные облака. А вокруг радостью жизни шумит, сверкает яркими огнями воскресший из руин город. А перед ним тихо плещутся, словно купаясь в теплых лучах солнца, поблескивают серебряными чешуйками седые волны Ловати, и

невдалеке на ее берегу шелестит говорливой зеленой листвой молодой парк.

Иван ЛЕГОСТАЕВ

Лиза ЧАЙКИНА

Стоит в глубине России, среди бескрайних лесов и озер, маленькая деревушка Руно. Тихая и неприметная в одну улицу — тысячи таких на Руси, затерявшихся среди безмерного пространства. Но эту знают все. Она обозначена на туристских схемах и картах государственного значения. Перед едва приметной на карте точкой, обозначающей деревушку Руно, — желтый квадрат с алым Солнцем на нем: «Место жизни и деятельности выдающихся людей».

Руно — родина народной героини, отважной партизанки Лизы Чайкиной.

Если пройти по единственной улице деревни Руно В: ту сторону, где она в леса упирается, дорога, попав между деревьев, сузится в тропу и поведет нас по местам Лизиного детства...

С первых дней Лиза полюбила школу. Здесь, в классе, каждый день она открывала что-то новое о большом и светлом мире, находящемся далеко — за их лесами и озерами.

Каждый день возвращалась она домой взволнованная от переполнявших ее новостей и сразу же бежала в поле, к женщинам, которые убирали лен. Хотела, чтобы и они узнали все, что она знает.

— Смотри, — кивали Ксении женщины, — летит твой одуванчик.

Ксения Прокофьевна распрямляла спину и всматривалась в конец поля — среди льна все ближе и ближе мелькала белокурая головка.

— Бежит наша газета, — смеялись подруги Ксении.

— И что за дочка у тебя, а, Ксюша? Ни одного дитя в поле не увидишь — в игры резвятся, а эта все новости носит, не угомонится никак. Вот чудная.

Только зря удивлялись ей люди. В их заброшенном в глухие заозерные дали краю каждый отличался и отзывчивостью и добротой. Друг друга держались, помогали крепко, этой помощью дорожили.

Так что родилась Лиза с теми же чувствами, что присущи местным жителям. Только в ней они ярче, чем у всех других проступали.

В тот сумрачный майский закат в доме у Чайкиных то и дело хлопали двери. Каждый заходил послушать, что рассказывает

возвратившийся из Осташкова старший сын Чайкиных Степан.

А Степан рассказывал о пионерах. Шли по улице двадцать пацанов (сам поштучно посчитал) прямым строем, один в один. И от самого большого до самого малого, последнего — все в белых рубашках, а на шее платки красные! Идут под барабанный бой, словно в марше от пожара, а вокруг все машут и кричат: «Да здравствуют пионеры!»

Назавтра Лиза вернулась из школы необычно молчаливая. Сбросила торопливо сумку, поела наспех и убежала. В тот день девчонки и пацаны, что с Лизаветой учились, до темноты в сарай шастали. А к ночи, когда в оконцах заиграли отблески лучин, в деревне сразу несколько скандалов разыгралось. Матери начали готовить постели ко сну да и ахнули: из всех одеял были выстрижены красные лоскуты. Только наутро родители поняли, ради чего были испорчены одеяла.

По деревне с холщовыми сумками наперевес, в чисто вымытых лаптях шагали пионеры, точно такие, о которых рассказывал недавно Степан, — с алыми платками на груди! Впереди всех шагала счастливая Лиза...

Больше двух лет прошло, как окончила Лиза школу. Образование — целых четыре класса. Секретарем в сельсовете работает. Рядом с председателем стол имеет. Ей бы остепениться пора, посерьезнеть, а она какой была, такой и осталась — непоседливой. По деревне то и дело новые истории возникали. Недавно вот опять учинила. Оформила в книге сделку по обмену между Андреем Козыревым и бабкой Тюлёной. Тюлёна уже в дом Андрея переехала. Он тоже перевез и перетаскал все в ее избу, как вдруг в дом Тюлёны Лизавета явилась. Пришла, а та лежит на печи, стонет, от ревматизма разогнуться не может. Своя-то изба у нее сухая была, сыном на песке поставленная, а Андреева хибара на болоте, отсырела вся, гниет да сыплется — только поверху и покрашена.

Собрала Лизавета ребят деревенских, и пошли они Тюлениху домой водворять. А Андреево имущество в его развалюху перетаскивали — живи, мол, как жил, не зарься на чужое! Так и объяснила Лизавета, когда вечером скандал в сельсовете разыгрался — нельзя слабого да хворого обижать, друг у дружки силой да хитростью брать. Советская власть не признает обмана и насилия.

...Лиза неслась на лыжах, рассекая белизну урагана. Ей казалось, что мчится она не в ночном, мятущемся в блеклом свете луны буране, а в вихре яростной атаки. Она еще никогда не испытывала такой сознательной жажды дела. Не просто дела, а полезного людям.

Это ощущение она будет испытывать потом всегда. Ибо, познав свою полезность другим, познает и самое главное — человечность. То, что делает каждого по-настоящему счастливым, потому что весь смысл человеческого существования и состоит именно в том, чтобы отдавать все накопившееся в нем тепло, всю аккумулирующуюся в нем энергию другим, обогревая их этим теплом, делая добрыми, а значит, такими же счастливыми.

Снег хлестал лицо, оно пылало на ветру и все больше влажнело от таящих снежинок. Иногда хлесткая ветка задевала в темноте щеку, и тогда сквозь тепло проходила быстрая горячая боль. Но Лиза почти не замечала ее. Все оставалось позади: и боль, и лес, и дорога. Была только атака, в которую ее пронзительно звала труба невидимого горниста, мчавшегося где-то очень далеко, впереди всех. Лет на пятнадцать впереди...

Вот что испытывала она в ту ночь, мчась сквозь мятущийся буран обратно домой из райцентра Пено, где ей вручили на бюро райкома комсомольский билет.

Еще не было видно солнца. Лишь где-то далеко-далеко над горизонтом появилась тонкая светлая линия. Лиза неслась к ней — на восток. Спешила, тревожилась — неужели мать не спит, ждет ее?

Знакомый поворот в зарослях ольхи, крутой спуск. И за деревьями открылась уходящая в сторону реки улица деревни Руно. Один дом, другой, третий. Лиза круто свернула с тропы, затормозила у крыльца. Сквозь снег, залепивший оконца, желтел свет лучины. Лиза бросила лыжи на крыльце, рванула одну дверь — загремел засов. Другую — и попала в теплые объятия матери.

— Мама, — шептала горячо она. — Не спишь. Ну что же ты!

А мать гладила ее золотистые волосы и твердила свое:

— Живая... Ночь ведь, Лизушка. Леса дикие да темные стоят. Звери одни в них бродят...

Потом они среди ночи пили горячий ароматный чай из трав, и Лиза, покрасневшая и взволнованная, рассказывала о том, что с

сегодняшнего дня она не просто в строю, а в первых рядах — в авангарде всех людей ее страны. И всей земли даже!

И мать слушала ее, заражалась юным волнением и удивлялась, кто же это велел ее дочке так идти — впереди всех, самой первой в стране?

И Лиза отвечала: комсомол!

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна идет со славою
навстречу дня.

Вся страна в стремительном темпе. Нужно восстановить заводы. Поднять коллективные хозяйства. Охватить республику электрификацией: деревня еще во тьме. Надо готовить сильную армию — вокруг враги! Научить всех грамоте. Ликвидировать болезни. Наладить быт. Необходимо одеть страну, накормить...

От Украины до Дальнего Востока, от северной тундры до среднеазиатских пустынь — вся страна превращена в огромную стройку. Орудия, как правило, — кирка и лопата. И все же в невиданно короткие сроки появляются Туркестано-Сибирская железная дорога, Днепровская ГЭС, Магнитогорский металлургический комбинат, Сталинградский тракторный, автомобильный в Нижнем Новгороде, шарикоподшипниковый в Москве...

Завершается первая пятилетка.

«Комсомольцы показали невиданные в мире образцы трудового героизма на стройке. Сейчас они должны пафос строительства дополнить пафосом освоения новой техники», — говорит в беседе с сотрудниками «Комсомольской правды» нарком тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе в июне 1933 года.

«У нас молодежь «изменяет мир», создает свою, новую социалистическую историю...

Вперед и выше, комсомолец!» — пишет Максим Горький.

Именно в этом, полном всенародного энтузиазма и первых свершений 1933 году Лиза вступает в комсомол.

Зима кончалась. Заголубело небо, опрокинулось в озера — просторы вокруг глазом не охватишь. Дороги трудные стали — скользкие, вязкие, из-под ног уползают. А люди по деревням весело грязь месят: весна наступает.

И Лиза радовалась проселочным путям. Она прошла нить деревень. Разнесла обещанные книги. И теперь весело шагала, скользя на оттаявших ухабах, усталая и счастливая оттого, что и она выполнила свое нелегкое, нужное людям дело.

Лиза, обрета грамоту, сразу поняла, чем может быть полезна стране. Она понесла людям книги, учила неграмотных писать буквы. А тем, кто еще не мог сам прочитать книги, рассказывала их содержание. Она хотела, чтобы люди сознательно дошли до понимания того, что свершилось впервые в мире в их стране. А для этого им нужны знания.

Она и сама училась — изучала основы агрохимии, осваивала устройство трактора, читала ленинские работы.

Молодежь верила Лизе во всем. Комсомольцы колхоза единогласно избрали ее своим секретарем.

В газете «Ленинский ударник» появилась статья «Работать так, как залесские комсомольцы», в которой писалось: «Кто в Залесском районе не знает Лизу Чайкину, эту веселую боевую девушку? Знают все колхозники, от детей до стариков. Знают и уважают ее. Ежедневно она в колхозах. То читает газеты, то с колхозниками беседы проводит».

Лиза была одним из лучших комсомольских вожakov, в районе. И когда ее вызвали в районный центр к первому секретарю райкома партии, она положила перед ним газету со статьей о ней и коротко — «как факт» (любимое выражение Лизы) — определила: «Это неправильно».

В Лизе яростный протест вызывало всякое похвальное в ее адрес слово — в газете или с трибуны. Она считала, что хвалить комсомольского вожака не только неправильно — недопустимо, вредно. Можно положительно оценить деятельность комсомольской организации, скупно упомянув, что сделано, кем, но не более. А деятельность комсомольского вожака настроена на его долге, на его высокой моральной чистоте, на его верности делу. Стал вожаком — это честь тебе! Храни ее свято.

Таки высказала все это сгоряча секретарю.

Секретарь слушал, согласно кивая.

— Что ж, меня это вполне устраивает. — И, улыбнувшись, продолжал: — Только вызвал я тебя совсем по другому вопросу,

Он достал из сейфа папку с решениями бюро райкома, полистал бумаги, положил перед ней открытый документ:

— Бюро райкома партии постановило рекомендовать тебя секретарем районного комитета комсомола.

— Секретарем райкома?.. — растерялась Лиза. — Вы что? — почему-то тихо спросила она. — Да какая ж я кандидатура?

— А что? — удивился секретарь.

— Необразованная.

— Как это... необобразованная? — переспросил он.

— Для дела такого, — объяснила Лиза.

— А Ленина читаешь? — спросил секретарь.

— Читаю, — неуверенно ответила она.

— Сотни книг, что в избе-читальне твоей стоят, знаешь?

— Знаю, — подтвердила она.

— Про писателей, об их героях рассказываешь? — продолжал он.

— Рассказываю, — согласилась Лиза.

— Людей любишь. Заботы их знаешь. Грамоте учишь, молодежь воспитываешь. Ну?

— Ну?.. — совсем растерянно повторила Лиза.

— А говоришь «необразованная».

— Учиться мне еще надо, — серьезно сказала Лиза.

— Учиться поможем, — пообещал секретарь.

— Так, может, поучусь пока, а потом уж в секретари-то?

— Выучишься — мы тебя в обком изберем. А то и в ЦК. А пока уж в райкоме комсомола покомандуй. — И посерьезнел: — Райком партии тебе доверяет.

Началась та беспокойная, полная тревог и волнений жизнь, о которой мечтает каждый человек, рожденный служить людям, обладающий организаторскими способностями, деятельный, общительный, добрый.

Лиза переехала из своей деревни Руно в районный центр — поселок Пено. Здесь, в Пено, совершит она потом свой бессмертный подвиг. Здесь будет похоронена товарищами. Здесь останется жить навечно — бронзовый бюст среди цветов в центре Пено.

Лиза поселилась в маленькой, скромно обставленной комнатке — справа кровать, слева, в углу, этажерка с книгами, на стене гитара, у окна небольшой столик, заваленный книгами. Вот и вся «роскошь» ее жилища. А ей казалось, что живет она, имея абсолютно все, и Лиза чувствовала себя счастливой.

Днем работа, вечерами учеба. Чтобы быть настоящим наставником молодежи, считала Лиза, надо много знать, многое уметь. Надо быть во всем первым.

Лиза много занималась. На этажерке у нее стояла собранная ею собственная библиотека — пятьдесят книг — сочинения Ленина и Маркса, Пушкина и Лермонтова, Горького и Маяковского. За окнами звенели голоса молодежи, играющей в волейбол, а она читала и позволяла себе выбежать поиграть только на несколько минут, чтобы отдохнуть. А ей было тогда двадцать.

Она часто приходила в Пеновскую семилетнюю школу, чтобы узнать то, что еще не знала, не успела узнать, посещала там литературный кружок.

Лизе тогда, конечно, и в голову не могло прийти, что школа эта будет названа ее именем. А учительница Евдокия Георгиевна Кудрявцева будет рассказывать о ней многим людям, приезжающим в их поселок Пено.

Лиза до предела была увлечена своей комсомольской работой. Изучала все, с чем соприкасалась в делах своих как секретарь райкома. Комсомольский руководитель, считала она, должен уметь показать пример в любом деле.

Она участвовала во всех спортивных состязаниях и первая в районе получила три значка — «ГТО», «ПВХО» и «Ворошиловский стрелок».

На районном комсомольском активе, который проходил ранней весной 1941 года, Лиза назвала цифры, которые поразили всех присутствующих в зале. И до сих пор поражают. Только за десять месяцев ее работы секретарем райкома в районе вступило в комсомол около 500 человек, создано двадцать восемь комсомольских организаций. За полтора года ее работы в райкоме комсомольская организация района выросла в два раза! А в ее родном Залесском сельсовете появилось за это время восемь новых комсомольских

организаций. Пятьдесят наиболее активных комсомольцев были приняты в ряды коммунистов.

Огромное значение Лиза придавала комсомольской печати.

В Калининском музее комсомольской славы хранится двадцать три ее газетных выступления. Будучи секретарем райкома, Лиза Чайкина выступала в местной печати по таким важнейшим вопросам, как социалистическое соревнование, военно-патриотическая работа, революционное воспитание молодежи, руководство первичными организациями и т. д.

Первая ее корреспонденция появилась в газетв «Ленинский ударник» 10 марта 1936 года. Последняя — 26 июня 1941 года...

Началась Великая Отечественная война.

Каждый день радио передавало горькие сообщения об отступлении советских войск.

Молдавия, Украина, Белоруссия, Прибалтика пылали в огне.

В окопах, испещривших как морщины землю, бились советские солдаты. Бились насмерть за каждый город, каждую деревню, каждый дом.

Отступая, спасали все, что могли. Увозили в тыл детей. Отправляли в глубь страны заводы. А что не могли спасти — уничтожали. Взрывали электростанции. Ожигали неубранный хлеб.

Ничего не должно осекаться врагу.

Ни иссушающая душу наречь отступления, ни непрерывные обессиливающие бои с превосходящим противником не сломили ни на миг волю советского народа, его уверенность в победе.

И город Калинин готовился к встрече с врагом. Ежедневно с вокзала уходили тяжело груженные составы с людьми, заводским оборудованием, хлебом, эвакуировались госпитали. Знали: враг никого не пощадит. Из коммунистов составлялись отряды ополченцев, бригады противовоздушной обороны, диверсионные группы.

В первых числах июля фашистские войска вступили в пределы Калининской области. Запылали деревни. На городских площадях и сельских майданах зачернели виселицы. Тысячи людей были брошены в тюрьмы, за колючую проволоку концлагерей. Фашисты огнем и мечом вводили «новый порядок».

Вот цифры фашистских зверств в Калининской юбла-сти за время ее оккупации врагом: 17 тысяч человек уничтожено в лагерях, 5772

повешено, 23 тысячи угнано в неволю.

Однако, чем сильнее сжималась пружина, тем больше становилась ее потенциальная сила. В тылу врага ширилось партизанское движение.

Третьего июля 1941 года Калининский обком партии направил письмо секретарям райкомов и горкомов, в котором говорилось: «В соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) обком РКП (б) предлагает ускорить организацию подпольных конспиративных ячеек ВКП (б) из проверенных коммунистов, подготовку явочных квартир. Коммунисты, которые будут оставлены на подпольную заботу, должны (быть) первым секретарем ГК и РК ВКП(б), каждый в отдельности (персонально) проинструктированы о» их. задачах, и указать им место явки после занятия врагом территории, (района)».

Для организации партизанского, движения в западные районы области были направлены секретари обкома партии, заведующие отделами обкома, инструкторы, ответственные работники облисполкома. Совместно с райкомами и горкомами ВКП(б) они создавали отряды, подбирали личный состав, занимались вопросами вооружения партизанских отрядов, продовольствием, устанавливали явки.

Непосредственное руководство партизанской и подпольной борьбой, осуществлялось подпольными райкомами и горкомами партии, которых насчитывалось в 1941 году в тылу врага двадцать четыре. В их составе работали сорок восемь секретарей райкомов и горкомов партии, многие представители исполкомов райсоветов, секретари райкомов комсомола и другие партийные, советские и комсомольские работники. Это были руководители, пользовавшиеся большим: авторитетом среди населения, сумевшие в тяжелых условиях вражеской оккупации превратить подпольные партийные органы в боевые штабы мобилизации масс, сражающихся с врагом..

Первое, что организовала. Лиза во всех деревнях, — обучение молодежи военному делу. Каждый комсомолец, каждый подросток должен был. научиться стрелять из винтовки, бросать гранату, обезвреживать зажигательные бомбы. Всюду, где побывала она, начали работать отряды Всеобуча. Бороться с пожарами, следить за обстановкой, быть, бдительным и зорким учила она каждого в эти дни. И конечно, сражаться, если то» потребуют обстоятельства.

И обстоятельства потребовали. Райком партии получил приказ формировать Пеновский партизанский отряд. Чайкиной доверили подбор связных для работы в тылу врага. Ее спросили в райкоме партии, сколько она сможет подобрать верных комсомольцев для работы в тылу врага, она ответила: «Сколько потребуется».

Девятнадцать ушли в подпольную группу на диверсионную работу. Десятки сражались вместе с Лизой в тылу врага, И ни один из тех, кого назвала Лиза Чайкина, не струсил, не предал, не отступил,

Володя Павлов, шестнадцать лет, умер от штыковых ран при пытках. Молчал.

Зина Голицына, шестнадцать лет, разведчица, умерла при пытках. Молчала.

Коля Фокин, Вася Иванов, Коля Беляев — пятнадцать-шестнадцать лет, пали смертью храбрых при выполнении боевых заданий.

Вечная память юным героям. Их имена свято чтят на калининской земле.

...И вот они шли на первое боевое задание. Холодное зимнее солнце оседало к горизонту. Голубел от теней снег. Искрились в последних лучах верхушки огромных заснеженных елей.

Все пятеро остановились одновременно. Лиза поняла, что поразило их, — тишина. Когда-то этот лес можно было слушать и наблюдать часами. Вот перелетела с сосны на сосну пушистая белка. Защелкала где-то в ветвях невидимая птаха. Мягко отталкиваясь от травы, пересек тропу заяц. Воздух звенел от стрекоз, кузнечиков, птиц...

Всех угнала война. Опустошила леса. Страшен безмолвный лес. Неверное движение, случайный хруст — падай скорее в снег, замри. Чтобы не взяли тебя на мушку. Настороженно, бесшумно крадись по родному лесу. Помни: всюду враг. Всюду смерть.

Они посмотрели друг на друга, улыбнулись. «Нет, не трусят, — подумала Лиза, — просто волнуются».

Задание было взорвать мост. По нему день и ночь шли эшелоны. Враг окружал Москву. Группа Лизы пробиралась к мосту. Они знали время смены караула, график прохождения поездов, умели укрепить взрывчатку... И вдруг — непредвиденная, неожиданная встреча. Лиза

первая увидела офицера в зеленой полевой форме, с сигаретой в зубах. Сквозь березы виднелась машина и возле нее — несколько солдат.

Какие-то мгновения они стояли друг против друга, боясь пошевелиться, сделать что-то неверное и тем погубить себя. Но Лиза опомнилась первая. Прозвучал выстрел, и сигарета отлетела в сторону. И тут же застрочили автоматы, засвистели, срезая тонкие ветки, пули... Начался бой. Они его выиграли. Убитых унесли подальше от дороги в лес, чтобы никто не мог даже найти следов. Машину столкнули в кювет, забросали ветками и снегом.

Нужно ли было вступать им в этот бой? Наверное, нет. У них могла сорваться более серьезная операция. Но этот бой имел и свое особое значение, Потому что и те, кто был вместе с Чайкиной, и те, кому они потом, вернувшись в отряд, рассказали об этой короткой схватке, укрепились в сознании, что фашистов, пришедших на их землю с пушками и танками, фашистов, завоевавших Европу, можно бить и уничтожать, можно и нужно.

Они выполнили боевое задание — мост был взорван. Один эшелон с боеприпасами пошел под откос.

В планшете убитого офицера, который они прихватили с собой, оказалась карта с направлением движения фашистских войск и ценные документы. Эти боевые трофеи отряда хранятся сейчас в Центральном музее Советской Армии.

Потом было много вот таких стычек с фашистами. Не всегда они кончались благополучно: с задания часто возвращались, неся на руках товарищей, чтобы похоронить их на партизанском кладбище со всеми почестями.

Смерть никого не страшила. На смерть шли каждый день, выполняя любое задание. «Хочу отдать жизнь за Родину!» — писали в заявлениях в комсомол. Подвиг в их жизни стал делом будничным.

В Калининском музее комсомольской славы хранится удивительный документ — карта пройденного Лизой Чайкиной пути по занятым немцами деревням.

Голодная, продрогшая, каждую секунду рискуя нарваться на мину, попасть в засаду или просто услышать тихий смертельный оклик «стой!», Лиза вьюжными, на редкость морозными ночами сорок первого, тайными лесными тропами пробиралась из деревни в

деревню. Встретив патруль, уходила в лес и там в снегу часами ждала, когда минует опасность. А потом — снова в путь.

Она шла, чтобы встретиться с секретарями подпольных комсомольских организаций, объяснить им обстановку, дать задания. В деревнях проводила беседы с населением, рассказывала о положении на фронтах, о боевых действиях отряда. «Вестницей победы» прозвали ее тогда в народе.

Так прошла она четырнадцать деревень. И всюду, где побывала, людей потрясало ее мужество.

...Тихий стук в окно. Пароль — отзыв. Передана пачка листовок. Можно идти дальше.

...Бьют колокола. Идут в церковь люди. Примкнула незаметно к толпе, вошла в храм. Воспользовавшись богослужением, раздала листовки.

И снова в путь, за километром километр, через родные, полные смерти леса.

И вновь петляние вокруг деревень, ожидание подходящего момента. А потом — единым духом, не замеченная никем — ни чужим, ни своим — к одному, самому нужному тебе дому. Пройти сквозь мрак, сквозь страх, сквозь смерть!

Лиза бесшумно поднялась на крыльцо, прислушалась. Тишина. Только метель свистит. Осторожно стукнула в окно. И сразу же из-за двери, словно ждали ее: «Кто?»

— Это я — Чайкина. Открой, Маруся.

Худая, изменившаяся до неузнаваемости Маруся Купорова припала к ней.

— Лиза, живая! Вот радость-то... Дождались... Пойдем в хату. Я сейчас за мамкой твоей сбегую, Маню позову, вот обрадуются.

Лиза даже глаза закрыла — мамку увидит и сестру. Тогда их, в последний раз, толком и не повидала. Прощались наспех. Мать посмотрела беспокойно в глаза, спросила: «В партизаны?» Лиза молча кивнула. А потом уже, обнимая мать, шепнула: «Не отдамся я им так, мамка. Сперва в них патроны выпущу, а последний в себя. Только вы не плачьте, не признавайтесь в случае чего». И мать ахнула: «Как же так, доченька, о чем ты думаешь. Не жила ведь еще!» И Лиза спокойно

посмотрела ей в глаза: «Жила, мамка, хорошо жила. И радость узнала, и любовь».

Лизе так хотелось в тепло. Но она, борясь с этим желанием, упрямо прошептала:

— Не могу. Нельзя, Маня. Спешить надо.

— Да что ты, — потянула ее Мария. — Обмерзла ведь вся. Даже брови обледенели.

— Меня ждут, — сказала Лиза. — Рассказывай, что тут у вас?

— Страшно, Лиза. Будто сон какой. В Крутом Тоню Михайлову замучили.

— Знаю, — перебила Лиза, — была там.

— В Демьяновке полдеревни сожгли. Дети там со стариками были.

— Видала, — оборвала Лиза. 1

— Неужели это правда про Москву, Лизушка? — придвинулась к ней Маня.

Лиза строго посмотрела ей в глаза.

— Поверила фашистской брехне? — Расстегнула стеганку, достала газету. — На вот. Из Москвы. О параде на Красной площади. Седьмого ноября. Сражается земля наша, Маня. И Москва жива. И Ленинград борется. Листовку возьми, перепиши, чтобы не сомневался никто. Вот слушай: «Фашист ходит по земле твоей, жрет твой хлеб, спит в твоей постели — убивай его!»

Где-то вдалеке залаяли собаки. Маня рванулась, прижала Лизу к себе.

— Пойдем, Лизушка, спрячу, — Лиза почувствовала, как дрожит она. — Облава опять. Третьи сутки из села никого не выпускают. Я тебя в подпол спрячу. Он у меня сундуком прикрыт.

— Нельзя мне оставаться у тебя, Маня, — снова повторила Лиза. — Ждут меня. Идти надо.

— Нельзя тебе идти, Лиза, — шептала Маня и тянула ее, тянула в горницу. — Убьют!

— Пора. Прощай, Маня. — И шагнула в снежную пелену.

— Прощай, Чайка...

Было очень много снега. Лиза пошла, проваливаясь в сугробы, напрягаясь из последних сил, чтобы уйти как можно дальше от

деревни, от лая немецких овчарок. Она знала: за околицей начинается овраг — по нему можно добраться до леса.

— Стой! — услышала Лиза короткий окрик. И в тот же миг горячая боль обожгла сзади голову.

Собачий лай послышался совсем близко...

В комендатуре было тепло и тихо. Лиза узнала кабинет первого секретаря райкома партии.

Ее привели сюда ночью. Комендант спал. И пока его ждали, она могла немного отдохнуть и прийти в себя.

Ныли обмороженные ноги, воспалившиеся от выкручивания суставы рук, болела от ударов прикладами спина. Она начала терять сознание в тепле.

Очнулась от телефонного звонка. Дежурный что-то кричал в трубку. Лиза попросила пить. Ей не дали. Она почувствовала, как опять слабеет и теряет четкость ощущений. «Надо заснуть, — подумала она, — чтобы набраться сил, чтобы выдержать, выстоять до конца».

— Кто ты есть? — начал допрос комендант.

— Иванова... Из Ленинграда... — Лиза едва шевелила губами.

Комендант обернулся к кому-то, кто стоял с ней рядом.

— Кто есть она?

— Чайкина она. Чайкина. Комсорг называется. Да вы не сомневайтесь — ее здесь каждый знает. — И встал, злобно глядя на нее: Колосов, узнала Лиза. Тимофей Колосов, местный староста.

— Иванова. Из Ленинграда, — упрямо повторила Лиза.

— Чайкина она, Чайка! — подскочил к ней Колосов, ухватил за куртку, тряхнул. — Лизка... Ты что, издеваешься? Жизни моей не жалеешь? Признавайся, что секретарь райкома.

— Вывести! — приказал комендант. — Не опознают — вместе повешу.

Стук, стук, стук... Плывет толпа людей. Серые лица. Серый землистый лед. Мороз сорок градусов. Все обледенело кругом. Стук, стук, стук... Колонна останавливается. Тишина. Долгая, шаткая. Это она пошатывается: ноги болят, холодно очень.

— Смотреть всем, кто она есть! — командует комендант. — Чайкина? Партизан? Ты! — ткнул он в толпу.

— Не знаю, не здешняя она.

— А ты?

Лиза смотрела на толпу. Она всех узнавала. Всех. Глаза голодных людей. Но смотрели они на нее прямо и спокойно.

— Чужая она. Не знаю.

— Вон! — крикнул на толпу комендант. Стук, стук, стук... Удаляются по льду шаги.

А навстречу из снежной пороши лихая разгульная песня. Лиза думает, что ей это чудится. Нет. На крыльцо, пошатываясь, поднимается пьяная разнаряженная Арина Круглова. Кланяясь офицеру, она обошла вокруг Лизы. Сперва отшатнулась, увидев ее лицо, потом всмотрелась. И вдруг присела:

— Неужели? Вот это птичка попалась. Чайкина. Секретарь комсомольского райкома.

Изменница Круглова — единственная из всех опознала Лизу Чайкину.

Партизанский суд приговорил предательницу к расстрелу. 25 ноября группа партизан во главе с Семеном Ларионовым пробралась в Пено. Они выкрали из рук немцев Круглову и привели приговор в исполнение.

Та же участь постигла и двух других предателей — отца и сына Колосовых. Они были казнены в ту же ночь на основании того же партизанского приговора.

...Она понимала, что идет по улицам родного поселка в последний раз. Ее привели к реке. Волга лежала перед ней, как уходящая в бесконечность белая ширь. Едва приметным откосом спускался к реке берег — снег сровнял землю и воду. Посреди молчаливого белого пространства темнела неподвижная толпа. Люди! Она могла с ними говорить.

Лиза посмотрела на раскинувшийся перед ее взором бескрайний мир, который, знала, через несколько минут покинет навсегда. Было тихо. Ей показалось, что где-то далеко-далеко ударили в колокола, и медный звон их поплыл, касаясь земли и неба, из далекого детства к ней, сюда...

Потом будет тот, последний выстрел, который она еще услышит...

Потом будет Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении секретарю Пеновского райкома комсомола Елизавете Ивановне Чайкиной звания Героя Советского Союза.

Авиационная эскадрилья имени Лизы Чайкиной.

Летающие во врага снаряды с надписью «За Лизу!».

700 пионерских дружин, борющихся за честь носить ее имя.

Улицы Лизы Чайкиной в Москве, Ленинграде, Калининe, Кемерове и других городах страны.

Совхозы и колхозы, бригады имени Лизы Чайкиной.

Будет бронзовый бюст в Пено.

Мемориальная доска в деревне Руно.

А в тот последний миг была только главная мысль — Успеть сказать людям правду, передать им свою уверенность и веру в победу. Показать им, что она — одна из них — не боится фашистских палачей, что и они не должны их бояться, а бороться и уничтожать, чтобы приблизить час свободы.

— Товарищи, — тихо обратилась она. — Вы всегда не верили. Я секретарь райкома. Поверьте и на этот раз.

Люди подняли головы, услышав ее спокойный голос.

Она говорила медленно: продумывала, подбирала слова. Надо сказать им главное. И так, чтобы поверили.

— Немецкое командование сообщило вам — Пеновский партизанский отряд уничтожен. Москва взята. Ленинград пал...

Она улыбнулась открыто и озорно, как раньше, как всегда:

— Отряд воюет. Москва стоит. Родина сражается. Мы победим!

Солдаты вскинули автоматы.

— Любите Россию!.. — громко произнесла Лиза. — Нет ничего дороже. Я счастлива...

Раздался залп. Резкий, короткий. Но люди увидели, что Лиза не сразу упала, а стояла еще какое-то время и улыбалась, протянув им руку.

Потом упала, застыла. Навсегда.

26 янв. 1942 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б)

товарищу АНДРЕЕВУ А. А.

ЦК ВЛКСМ сообщает об исключительном героизме секретаря Пеновского райкома комсомола Калининской области т. Чайкиной Елизаветы Ивановны, проявленном ею в борьбе с немецкими оккупантами.

...Когда Пеновский район заняли немецкие оккупанты, тов. Чайкина создала подпольную комсомольскую организацию в составе 15 человек и с группой комсомольцев в 26 человек ушла в партизанский отряд. Оставшиеся в деревнях комсомольцы активно помогали партизанскому отряду в борьбе с немецкими захватчиками.

Тов. Чайкина Е. И. проявила себя как замечательный боец, участвовала в трех сражениях, минировала дороги, взрывала мосты, успешно ходила в разведку и в то же время проводила большую политическую работу среди населения. 22 ноября 1941 г. на хуторе «Красное покатище» т. Чайкина была предана и арестована немецким карательным отрядом.

Семья Купоровых, укрывавшая Лизу от немецких фашистов, была расстреляна немцами на месте. Гитлеровские звери подвергли т. Чайкину невыносимым пыткам, угрожали смертью, старались подкупить обещанием даровать жизнь, если она выдаст место расположения партизанского отряда. Но это испытание т. Чайкина вынесла с честью. Фашисты, не добившись от нее ни слова, решили публично расстрелять т. Чайкину.

Тов. Чайкина не струсилась, не предала товарищей, держалась мужественно и гордо, до последней минуты своей жизни проявляла высокие идейные качества большевика.

Она умерла смертью героя.

ЦК ВЛКСМ

Указ

Президиума Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПАРТИЗАНКЕ ЧАЙКИНОЙ

ЕЛИЗАВЕТЕ ИВАНОВНЕ

За отвагу и героизм, проявленные в партизанской борьбе в тылу у врага, против немецких захватчиков, присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ЧАЙКИНОЙ Елизавете Ивановне.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. Горкин

Москва, Кремль, 6 марта 1942 г.

* * *

Стоит в глубине России среди бескрайних калининских лесов и синих озер маленькая деревушка Руно. Тысячи таких на Руси, затерявшихся среди безмерного пространства, поселений.

...Идет по тропинке девочка. В руках стопка книг. Голова упрямо поднята. А кругом шумят и шумят дожди.

Стекают упругие струи по устремленному в вечность бронзовому лицу Лизы...

Ирина ШВЕДОВА

Юрий СМИРНОВ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года гвардии красноармейцу Юрию Васильевичу Смирнову присвоено звание Героя Советского Союза.

Есть у Волги приток, ни мал ни велик, называется он Унжей-рекой. Течет он почти прямо с севера на юг, начинаясь в дремучих холмистых лесах, именуемых «Северной пармой». Стоят на Унже три старинных русских города — Кологрив, Макарьев, Юрьевец, много сел и деревень...

А народ живет на Унже особенный — прозвище у людей этих красивое и почетное — «унжаки-смельчаки...».

И поговорка есть про них: «Унжак не ленив, летом — пахарь, зимой — лесовик».

Правый берег Унжи, западный, полями пестреет, хлебами шумит: в летнюю пору тут и пшеница, и рожь, и лен синеглазый, и краснокудрые клеверища, а левый, восточный, берег похож на темно-зеленый океан — сплошняком тянутся хвойные леса, неисчерпаемые лесные богатства.

Не успеет Унжа замерзнуть как следует в ноябре, снаряжаются хлеборобы правобережья в лесной поход. С пилами, топорами переходят по тонкому, потрескивающему ледку свою родную Унжу и углубляются в хвойную глухомань. Там уже ждут их «зимарки», сложенные из прочных, вековых бревен избушки — зимние становья, запасено и продовольствие на всю зиму.

Дружные бригады унжаков принимаются за нелегкий зимний труд — валят на отведенных делянках перестойный и спелый лес. Поют пилы, простые и электрические, звенят топоры, дымят трубами лесные станы, снег скрипит под полозьями конных и тракторных саней...

Весной унжаки-сплавщики сбивают кряжи и бревна в надежные плоты, открывают заслоны — принимай плоты и беяны, матушка Унжа!

А сами по колышущимся, громоздящимся льдинам уже спешат в родные деревни правого берега, где весеннее солнце, согнав снег с

полей, быстро просушивает пахотные угодья, торопит заботливых хозяев с севом. Нельзяопаздывать, дорог каждый день отдыха перед началом новых летних трудов!

В течение долгих десятилетий, а может быть и веков, выковывался смелый и могучий характер унжака. Сколько подвигов совершается ежегодно и на рубке леса, на сплотке и на первосплаве! Сколько раз унжак рискует жизнью, оберегая народную собственность! Сколько товарищей спасет за свою жизнь — попросту, скромно, незаметно, а потом даже и не вспомнит о своих подвигах, столь привычны они всем и каждому в этом суровом краю...

Был и Василий Аверьянович Смирнов унжаком настоящим, природным. Вырос на красавице Унже, в темновато-зеркальные воды которой слева глядятся хвойные великаны — сосны и ели, а справа — глинисто-мергелистые холмы — «дыбки».

С юности лес покори́л его сердце. Василий Аверьянович стал лесным объездчиком, хоть и не очень согласна была на это его жена Мария Федоровна.

В конце 1924 года Смирновы поселились на окраине тихого городка Макарье́ва, окруженного лесами. К этому времени они имели двух дочурок — Антонину и Людмилу. А в следующем году родился у Смирновых сын.

Девочки встретили появившегося на свет братишку с восторгом и любопытством.

Братик! Смешной такой, красный, сморщенный комочек, не разберешь даже сразу, где нос, где рот. И пищит так забавно.

— Кто его знает, какой он будет... — шепчутся между собой девочки. — Может, усатый будет или даже бородатый, как Макар Андреич из ремесленной школы...

В Макарье́ве, древнем городе, которому уже далеко за полтысячи лет, примерно каждый пятый житель носил имя Макария. По преданию, этот город был основан знаменитым отшельником Макарием Унженским. Местные жители считали долгом называть своих детей в честь основателя города.

Хотелось и Василию Аверьяновичу Смирнову назвать сына Макарием, да воспротивилась Мария Федоровна:

— Поновей бы надо назвать, по-современному...

— Да ведь добрая половина унжаков наших — Макары... — улыбаясь, возражал он.

— А что хорошего — может, отсюда и присловье пошло «куда Макар телят не гонял...», — продолжала спорить мать. — Уж если Унжу хочешь почтить, так давай Юрием назовем, в честь города Юрьевца...

На том и согласились, порешили. Был назван Юрием смирновский мальшок.

Когда Макар Андреевич Каманин, которого по старинному обычаю просили быть крестным отцом, узнал об этом маленьком забавном споре, он тоже усмехнулся и сказал:

— Правильно сделали... Мне и самому иной раз мое имечко не по нутру... А унжак добрый, настоящий должен выйти из парня...

Уже в четыре-пять лет трудно было уследить за мальчишкой-унжаком. Еще льдинки проскакивают время от времени по весенней высокой воде, а ребята уже торопятся искупаться. Вода еще почти ледяная, но ярко светит солнце. Можно, значит, и нырять и плавать... Пускай зуб на зуб не попадает, когда выпрыгнешь на песок, — долго ли согреться беготней да потасовкой...

Сколько раз в синяках, с фонарями под глазом, а то и с расквашенным носом приходил домой Юра: мать ругать примется, причитать, а отец усмехается:

— Ничего, Маша... За битого двух небитых дают, да и то не все берут. Обколотится, крепче будет...

— Да ведь один у нас парнишка-то... А ну как покалечат, изуродуют.

— У мальчишек кость выносливая, хрящеватая, — успокаивает отец. — А кулак ребячий не дубина...

Однажды мальчик услышал, что отец выследил в своем лесном объезде медвежью берлогу и собирается на охоту. В ту пору Юре исполнилось восемь лет. После долгих уговоров Василий Аверьянович согласился взять сына с собой, правда, тайком от матери.

— Смотреть — смотри, а соваться не смей... Медведь из тебя одной лапой дух вышибет, — говорил Василий Аверьянович.

Добрались до обклада Василий Смирнов и его товарищи по охоте, велели Юрке на березу влезть повыше, а сами начали зверя выманывать. Прием известный — костер у берлоги: как вползет туда

дым да защекочет в ноздрях у бурого, тому на все начихать! Вылезает сейчас же проверить, не пожар ли лесной начался.

Тут и вколачивай в него пули!

Но у охотников в ту пору, как на грех, не оказалось настоящих, добротных пуль. Ружья были заряжены крупной свинцовой сечкой. Такой выстрел должен быть предельно точен: в глаз, в ухо, в раскрытый, разъяренный рот. Стрелять нужно с близкого расстояния, а если промах — не убежишь. В лесу медведь быстрее и поворотливее любой собаки; тогда только рогатина может выручить.

Понадеявшись на свою меткость, Василий Аверьянович оставил рогатину у березы, на которой сидел Юрий.

Когда раздраженная дымом медведица вылезла из берлоги и, жмурясь от дыма, пошла по нюху прямо на Василия Аверьяновича, он выстрелил. Но свинцовая сечка только оборвала медведице ухо да разворотила шейные мускулы.

Второй выстрел тоже не поправил дела, и смерть теперь угрожала уже самому охотнику, пять-шесть шагов отделяло его от неминуемой гибели.

Восьмилетний Юрка мгновенно почувствовал опасность. Как белка, скатился он с березы, подхватил рогатину и к отцу:

— На, на... Бери!

Пока отец схватил рогатину и развернулся для удара, разъяренная медведица лапой ударила мальчика по спине. Пытаясь увернуться от зверя, Юрий успел присесть, и это ослабило силу удара, но все же у него была сломана ключица и повреждено несколько ребер...

Около двух месяцев пролежал мальчик в постели. Все это время ни на шаг не отходила от него бабушка Евдокия Матвеевна.

Евдокия Матвеевна души не чаяла во внуке. А как случилась с ним беда, ни днем ни ночью не знала она покоя.

Стоит только Юре проснуться, застонать, она уже шепчет ему тревожно-ласково:

— Спи, воробушек, спи... Сном да дремой всякая хворь изгоняется... Будешь подольше спать, поскорее и выздоровеешь...

— А как не спится, бабуся, что тогда делать?..

И правда, чем сон приманить, если не спится? Это и для бабушки задача. Надо рассказывать что-нибудь или песенку петь. Но ведь

мальчик уже большой, колыбельной нескладицей его не убаюкаешь.

— Вспоминай что-нибудь, голубок... — неуверенно У!шт бабушка. — А то считай до сколько умеешь... Вот так — один, два, три, четыре, пять...

Юра пробует считать, но уже на третьем десятке спотыкается. После двадцати четырех — какая цифра?

— Нет, бабуся, ты лучше мне что-нибудь расскажи...

— Что ж тебе, сказку?

Все бабушкины сказки Юра давно уже наизусть знает сам их рассказывать может слово в слово.

— Нет, — просит он. — Ты мне что-нибудь новое... да пострашнее... Не сказку, а быль...

Призадумалась бабушка, потом сказала:

— Ну, ладно, внучек... Только не быль, а былину...

И начинает Евдокия Матвеевна старинный сказ, широко известный в лесах Костромщины:

*— То не в царствиях-государствиях,
За морями ли, за лесами ли, —
А на нашей земле, на родной, костромской,
Приключилось это бедствие...
То не тучи с грозой понахлынули
С громом-молнией да с пожарами,
А нахлынула чужеземщина,
Тьмой-ордой пришла на святую Русь...
Никого не щадит, всех подряд казнит,
Даже малых деток не милует...*

Юра не знает, что бабушка рассказывает о народном герое Иване Сусанине, который не дал полякам дойти именно до Макарьева, где скрывался в ту пору от них несовершеннолетний русский царь Михаил со своей матерью Марфой...

*— Вот схватили они мужика-старика
По прозванью Ивана Сусанина,
Бородатого да седатого, землей вскормленного:*

*«Говори, старик, куда путь держать,
Чтобы русский народ нам к рукам прибрать...»
Вот повел Иван злых врагов
По болотинам, без дорог, без троп.
А метель метет, а мороз берет,
До костей чужаков прохватывает...
И уж чует та нечисть незваная —
Не добром их ведет бородач-русак!
Ни вперед идти, ни назад вертаться,
Не минешь конца — пошбать, замерзнуть...»*

Разве усыпишь мальчугана таким сказом? Съехало одеяло, весь он так и напрягся, слушает, ни одного слова не проронит:

*— Дальше, баба Дуня, дальше!..
— Затряслись в беде злые враги,
Повытаскивали они сабли вострые,
Понеслись по чащобе проклятия: '
«Говори, старик, говори, седой!
Нам не быть живым — и тебе конец!..»*

Мужественный образ русского народного героя навсегда остался в памяти мальчика.

В один из ясных осенних дней Юра пошел в школу.

Бойкий, смышленный паренек быстро схватывал объясняя педагога, но заниматься усидчиво не умел. Хотелось то гулять, то играть — только бы не уроки делать! Поэтому в младших классах Юра частенько приносил домой противные двойки, чем-то напоминавшие улиток.

Двойка выглядела такой некрасивой, что никому ее и показывать не хотелось. Иногда, правда, удавалось утаить от домашних очередную порцию противных «улиток», но от этого не становилось легче. Да и в школе перед товарищами было неудобно. Почти все ребята-одноклассники вступили в пионерский отряд, получили красные

пионерские галстуки, а Юра из-за своих двоек не знал, как и заговорить с пионервожатым на эту тему.

Однажды он все же не утерпел и спросил вожатого:

— Можно и мне в пионеры записаться?

Поглядел на него вожатый, что ж, вроде паренек вполне подходящий — лицо веселое, смелое, темноволосый и черноглазый.

— А как с учеьем у тебя обстоит? Двойки есть?..

— Бывают... — смущенно ответил Юра.

Подумал вожатый, посмотрел еще раз на Юру и отвечает:

— Вот когда от двоек отделаешься, с удовольствием примем тебя в пионеры.

Призадумался над этим ответом Юрий. Хочется ему стать пионером и от двоек рад бы отделаться, да они никак от него не отказываются... Присосались, впрямь как улитки, к свежему лесному пеньку...

Посоветовался с товарищем Колей Марковым и решил:

— Сяду за уроки!

А за окошком голуби кувыркаются... Как же тут усидеть за книгой! И опять уроки остались невыученными.

Рассказал он Коле о своих неприятностях, и решили мальчики с этого дня вместе учить уроки. Это принесло большую пользу. Вместо двоек в его тетрадях стали появляться четверки и пятерки. Теперь уже не заботился о том, чтобы скрывать свои отметки. Наоборот, хотелось чтобы знали о них не только в школе, но и дома.

Вскоре об успехах Юры узнал пионервожатый. Теперь он сам подошел к мальчику.

— Ну, Смирнов Юрий, можешь подавать заявление в пионеры. Теперь мы знаем, что ты не только с медведями умеешь драться, а и учиться можешь неплохо...

Предложение вожатого Юра встретил с радостью и благодарностью. А вскоре наступил и долгожданный день. Особенно запомнились ему слова Коли Маркова, который рекомендовал Юру в пионеры:

— Озорничать и ветрогонничать Юра Смирнов больше, мне кажется, не будет. Я его усидчивость выяснил и проверил...

Прошло несколько лет, но дружба Юры Смирнова с Колей Марковым была верной и крепкой. Оба приятеля перешли в седьмой класс и стали уже сверху вниз поглядывать на младшеклассников.

За отличные успехи в учебе Николая Маркова в 1939 году премировали поездкой в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Юрий от души радовался за друга и даже чуточку ему завидовал...

На пристани Юрий не удержался и намекнул:

— Ты, Колюшка, готовым женихом вернешься. Девчата хороводы вокруг тебя будут водить, выбиральную петь.

«Выбиральной» у макарьевской молодежи называлась старинная песня с припевом: Кого любишь — улыбнись, Кому склонен — поклонись...

Много провожавших было при этом, но намек Юрия поняли только двое — он сам и Николай Марков, — им обоим нравилась Вера Мазина.

Коля пробыл в Москве месяц. За время его отсутствия Юрий принял серьезное решение.

Доброй славой пользовалось в области Макарьевское ремесленное училище. Много прекрасных мастеров своего дела вышло из стен этого училища. Посоветовавшись с мастером училища Макаром Андреевичем Каманиным, Юрий решил стать его учеником. Старый мастер долго допытывался о причинах такого решения, выяснял и прощупывал, насколько оно продуманно и серьезно.

— Хочешь, видимо, крест поставить на дальнейшем образовании — ведь труднее будет после ремесленного до высшего дотянуть... Много труднее, чем после полного среднего курса...

— Если очень захочется, дотяну, дядя Макар... — стоял на своем Юрий. — А сейчас я решил поскорее на собственные ноги встать, сам себя и кормить и одевать...

— Это, конечно, неплохо — иметь такое желание... — вслух размышлял Макар Андреевич, поглядывая на Юрия. — Да ведь надо и будущее учитывать. Вдруг разочаруешься, жалеть будешь, меня же ругать, что не отговорил... Все ли взвесил, дружок?.. Разве торопят тебя родители с этим, разве требуют, чтобы ты сам был себе добытчиком?

Ни отец, ни мать, разумеется, такого требования Юре не предъявляли. Просто ему очень хотелось обогнать Колю Маркова в устройстве своей жизни, раньше его сделаться самостоятельным человеком. Может быть, хоть этим возьмет он верх над другом Колей в глазах Веры. Года через два-три станет мастером, тогда можно будет и о чувстве своем поговорить с ней всерьез.

Макар Андреевич посоветовался с родителями Юры.

— Вот, понимаете ли, пристал Юрок — «хочу в ремесленное». А может, вы из него мечтаете профессора сделать или, по крайней мере, инженера? Как быть?

— Раз к труду тянется парень, препятствовать ему, пожалуй, в этом не стоит... — после долгого раздумья сказал отец Юрия Василий Аверьянович. — Не всем же быть профессорами да инженерами. А войдет в полный возраст, сам разберется, что ему по плечу — мастером ли быть хорошим, классным, или высшего образования добиваться.

На том и порешили.

Так и разошлись временно пути-дороги двух друзей.

С охотой выполнял Юрий все задания на учебных станках. Любуясь радужной металлической стружкой, он внимательно присматривался к могучим резцам. Но особый интерес вызывали у юноши негромоздкие, но хитроумные аппараты для электросварки.

Лиловато-зеленое пламя электросварки чем-то особенно влекло Юрия. Огромной силы вольтова дуга в несколько минут без швов и рубцов сращивала стальные трещины и переломы. Она представлялась Юре самым мощным оружием человека.

Он поделился с Макаром Андреевичем своим новым желанием избрать специальность электросварщика. А Макар Андреевич был первоклассным токарем. И, естественно, он предпочел бы видеть Юрия тоже токарем.

— Токарю всегда и везде работа найдется... А электросварщику, пожалуй, еще бегать да разыскивать надо будет ее, работу-то... Оборудование такое ведь еще далеко не везде есть... Но уж коли полюбилось тебе это дело, что же, одобряю.

Все реже встречался Юрий со старым другом Колей Марковым, но зато с Верой старался видаться как можно чаще.

Переход Юрия в ремесленное училище был для Веры тоже неожиданностью, и немало спорили они между собой на эту тему.

— Может быть, ты, Юра, школьных трудностей испугался? — осторожно спросила Вера.

Юрий едва не вспыхнул, едва не ответил на это грубостью. Вот уж совсем незаслуженное, несправедливое подозрение!

— Что ж ты считаешь, в ремесленном легче учиться? — возмущенно сказал он. — Зашла бы как-нибудь к нам да посмотрела, какие задачи мы решаем. Куда там ваши пифагоровы теоремки!..

После этого разговора Вера начала уважать Юрия еще больше и относиться к нему стала еще теплей. Вера всем сердцем чувствовала, что занимает в жизни Юрия большое, прочное место. И разговоры их с каждым разом становились все серьезнее.

Все чаще звучали в них нотки заботы о будущем.

Наступил 1941 год.

Весна, всегда запаздывающая в этом лесистом северном крае, долго не вступала в свои права. Но как только солнце согнало снег, зазеленели леса и рощи, ожили берега полноводной Унжи. Все воскресные дни макарьевская молодежь проводила теперь на реке. Собирались обычно большими компаниями, заранее договариваясь обо всем необходимом.

Однажды в погожий субботний вечер случайно встретились у кинотеатра Юрий, Вера и Коля. В первый момент все трое обрадовались встрече — давно уже не собирались вместе. Потом каждый испытал чувство необъяснимой неловкости. Первым заговорил Николай.

— Что-то ты меня совсем забыл, Юра, — с укоризной сказал он. — Веру вот, как видно, не забываешь, а меня совсем забросил...

Юрий смутился, покраснел, провел рукой по темным волосам, как бы вытирая пот со лба...

— Дороги наши немножко разошлись, — попытался он возразить как можно солиднее.

— Дороги, правда, поразошлись... — согласился Николай Марков. — Но, по-моему, не настолько, чтобы не провести, как прежде, денек по-хорошему, вместе...

Он ни словом не намекнул на свое отношение к Вере, но было ясно, что ее судьба не безразлична Николаю.

— Раз уж друзья, так все вместе и поедем... — примирительно сказала Вера. — Катнем завтра, как бывало, по Унже, к Желтому омуту, на суходол. Может быть, там, на суходоле, в бору, и жар-цвет папоротничий поищем...

Не один уж раз пытались они искать и вместе и порознь сказочный папоротниковый жар-цвет — «цветок Ивана Купалы»... Знали отлично из ботаники, что нет и не может быть у папоротника никакого цветка, ничего, кроме пахучих коричневых спор на изнанке остро-перистых листьев, а все же чем-то влекла и волновала древняя сказка, заставляла мечтать о невероятной находке.

Утром, когда Юрий собирался идти на берег Унжи, в калитку постучал нарочный из военкомата.

— Василию Аверьяновичу Смирнову — повестка... Отец прочитал повестку, нахмурился и вдруг страшно заторопился.

— Скорей, скорей, мать, поворачивайся с завтраком... Да уложиться помощи побыстрее.

Мать еще не догадывалась, в чем дело. Думала, что мужа срочно вызывают в лесничество.

— На войну ухожу, Машенька... — глухо, но твердо сказал Василий Аверьянович.

Мария Федоровна обомлела, не поверила своим ушам.

— На войну? Война? Да с кем же?...

А в открытые окна с улицы уже доносился гул голосов.

— Проклятый Гитлер... Втянул-таки нас в войну... Напал, как разбойник, из-за угла...

Дальняя дорога предстояла Василию Аверьяновичу Смирнову, и никто, никто не мог предсказать, вернется ли он обратно в родной дом.

Заплакали в доме Смирновых и Тося с Люсей, и Мария Федоровна; немало слезинок смахнул украдкой и Юрий.

— Не унывай, сынок, — ласково сказал отец. — Твой час еще не пришел, да хорошо, если и вовсе не придет, а ^не долг перед Родиной слез лить не велит. Покажем трижды проклятому фашисту, что значат русские люди, легко ли нас врасплох захватить...

— И я с тобой, батя... Возьми и меня... — шептал Юрий, как бы снова ощутив себя тем мальчуганом, который когда-то увязался с

отцом на медвежью охоту.

— Нет, сынок, — улыбнулся отец, — это тебе все-таки не медведица....

* * *

Праздничная прогулка Юрия с Верой и Колей не состоялась.

В каждой семье, в каждом доме провожали на войну самых близких, дорогих людей.

Прощаясь, Василий Аверьянович насколько смог сдержал свои чувства, крепко-крепко поцеловал сына и сказал, стараясь улыбнуться:

— Там дома, Юрка, осталась моя гимнастерка, в которой я еще в гражданскую войну воевал... Если придется и тебе идти на фронт, разыщи ее — она счастливая... Ни одна пуля ее не задела, не порвала, когда я ее носил...

Раздался гудок, и пароход, на котором находились мобилизованные бойцы, под звуки оркестра отвалил от пристани. Он пошел вниз по Унже, к Волге, к Юрьевцу, быстро уменьшаясь в размерах.

Глухо плакала мать; не сдерживаясь, рыдали сестренки; крепился один Юрий, хотя слезы и у него подступали к горлу.

На проводах Юра лишь мельком, издали увидел Веру: она тоже кого-то провожала. Подойти и поговорить помешала суতোлка, да как-то и не до разговора было в такие минуты...

Встреча с Верой состоялась не скоро. В училище напряженно готовились к выпуску. Заниматься приходилось с утра до позднего вечера. К этому времени подросли и первые военные заказы.

Через несколько месяцев Юрий получил квалификацию электросварщика и был направлен в город Горький.

Уже в Горьком ощутил Юрий дыхание войны; по ночам зенитные батареи вели огонь по вражеским самолетам, которые пытались разрушить важные оборонные объекты.

Почти с первых дней Юрию доверили самостоятельный участок работы. Трудился он, не жалея сил, а все казалось, что недостаточно делает для Родины, что можно работать еще больше, еще лучше.

— Одно слово: тыл! Нечем себя особенно проявить. А когда натура боевая, то и совсем тяжело, — жаловался Юрий одному из товарищей по работе — слесарю Матвею Гущину.

Гущин как умел утешал Юрия:

— Война, братец мой, такое дело, что каждый должен быть на своем посту... Слыхал, наверно, какой распорядок на военном корабле во время боя. Наверху у орудий людей в куски рвет, а повара судовые все равно должны обед готовить по всем правилам кулинарии...

Но подобные доводы мало успокаивали Юрия. Неудержимо тянуло на фронт. Нетерпеливо считал и пересчитывал он оставшиеся до призыва месяцы. Масла в огонь подлило письмо Веры, в котором она сообщала, что Коля Марков направлен в действующую армию.

А через несколько дней пришло еще одно письмо из Макарьева. Тяжелую весть сообщала сыну Мария Федоровна:

«...погиб наш кормилец, муженек мой дорогой, а твой родитель, пал смертью храбрых при исполнении заданий командования на поле боя... Недавно письмо от него было, что все в порядке, служба идет справно и хорошо, и вот — нет нашего Василия Аверьяновича... Еще писал он в том последнем письме, как у тебя идут дела да отыскал ли ту гимнастерку, про которую он говорил, когда уезжал... Ты-то и правда позабыл про нее, а я нашла, да руки не поднялись ее чинить, — ведь это значит и тебе на войну ехать, если сделаю...»

Попросив отпуск, Юрий выехал в Макарьево..

Стояла осень 1942 года. Пожелтели березы и клены городского сквера, неприветливой стала Унжа.

Большим утешением был для матери приезд Юрия. В возмужавшем сыне находила Мария Федоровна черты погибшего мужа, и это делало сына еще дороже, еще Родней.

— Не горюй, мамочка, не убивайся... Ты не одинока, есть у тебя и дочери и я, твой сын.

Мать отвечала, сдерживая слезы:

— Сейчас ты со мной, вижу, слышу тебя... Прикасаюсь к тебе... А как возьмут и тебя в солдаты, опять тревога, опять места себе не найду!.. ~~ А ты, мама, в такие минуты старайся не обо мне думать, а об Отечестве, о Родине... Ведь отец-то за нее жизнь свою отдал.

Соглашалась с этим Мария Федоровна, одобрительно гладила руки Юрию, но тревожно было на сердце матери. «Война, война!.. Какую кару придумать для тех, кто разжег пожар войны, уносящей столько человеческих жизней!..»

Не забыл, конечно, Юрий навеститься и к Вере Мазиной.

Встреча их после полугодовой разлуки была отрадна для обоих.

— Юра приехал! — взволнованно вскричала Вера, увидев входящего к ним гостя.

— Да, Верочка, привела судьба свидеться... — совсем повзрослому ответил Юрий. — Ненадолго, но приехал.

Ему не хотелось говорить о том, что ускорило приезд. Но все же нельзя было умолчать о тяжелой утрате.

— Сказать по правде, большое несчастье стряслось у нас... Отца потеряли мы под Сталинградом... Теперь мне оплачивать за него надо...

Притихла, задумалась его собеседница. Какие слова уместны в такую минуту?..

Вера глубоко сочувствовала Юрию, видя, как старается скрыть он свое горе, по-мужски удержаться от слез.

Нужно было отвлечь Юрия от тяжелых мыслей. Оба они, старые школьные друзья, были сейчас опять вместе, могли пойти в кино и просто погулять вдоль Унжи, всегда влекущей, всегда приятной для уроженцев ее берегов...

Пошли погулять, разговорились...

Вспомнили, конечно, и Колю Маркова.

— Где-то он сейчас, в каких переделках-испытаниях? — задумчиво произнес Юрий. — Может быть, в самом жарком боевом пекле...

Немного помолчав, он добавил:

— А скоро ведь и мне предстоит такой же путь...»

— Неужели скоро? — озабоченно спросила Вера.:

— Месяца через полтора-два...

В родном доме время летело как-то особенно быстро. Юрию казалось, что он и оглянуться не успел, а уже наступил срок отъезда в Горький, да и до призыва оставались считанные недели... Посоветовавшись с родными, Юрий решил призываться в родном

городе. В ответ на его телеграмму с просьбой о продлении отпуска пришел ответ: «Оставайтесь до призыва, смогли заменить...»

Быстро проходили дни. Макар Андреевич Каманин, заменивший Юрию отца, разрешил юноше бывать в учебных мастерских ремесленного училища, где в это время ремонтировали различное оружие. Юрий ознакомился здесь с несколькими системами боевых винтовок, изучил устройство ручного пулемета, автомата.

— Солдат нынче — в первую голову техник, — частенько говорил Макар Андреевич. — Даже стрелок-пехотинец должен отлично понимать устройство своего оружия...

Незаметно наступил и день отъезда. Родных, друзей, тихие улицы Макарьева, Унжу — все это предстояло сейчас покинуть неизвестно на сколько времени. Поэтому все казалось особенно дорогим. Четко врезались в память прощальные слова матери:

— Будь героем, не забывай нас... Все наши думы и чувства с тобой...

Наступило то, о чем долго мечтал Юрий, — начался путь солдата.

Боевую подготовку Юрий проходил на Волге возле города Куйбышева. Дни были заполнены напряженной учебой. Строго учитывались не только часы, но и минуты. Куйбышевский учебный лагерь посылал пополнения под Сталинград, где шли жестокие бои. Железное кольцо советских войск сжималось вокруг отрезанной от своих тылов армии фельдмаршала Паулюса.

Горячо обсуждали молодые солдаты очередные фронтовые сводки.

— Защитники Сталинграда дали клятву стоять насмерть и сдержали эту клятву. Все части, обороняющие Сталинград, сразу при включении в боевые действия получают звание гвардейских. Это высокая честь, и каждый боец старается ее полностью оправдать, — рассказывал Юрию и его товарищам комсорг батальона Константин Шмырев. — На полях сражений решаются сейчас судьбы народов и государств. И дорог вклад каждого рядового солдата в это великое историческое дело...

* * *

Юрий Смирнов получил назначение в стрелковый полк.

Сбылась давнишняя мечта — он стал воином Советской Армии. Хотелось скорее поделиться с кем-нибудь своей радостью. Движимый доверием и симпатией, Юрий заговорил с пожилым добродушным солдатом.

— Что это, похоже, вы вроде посмеиваетесь надо мной... — начал Юрий и легонько запнулся: как обратиться к воину — «товарищ», или «приятель», или, может быть, даже «дяденька»?

— Не посмеиваюсь я, а люблюсь, — ласково возразил солдат. — Свои первые шаги вспоминаю...

Слово за слово разговорились. Оказалось, что зовут старшего товарища Семен Карозин и что он в самом деле бывалый боец, находится в армии с первых дней войны и имеет уже не одно ранение. А родом он из Сибири, так и прибыл на фронт со своей дивизией, как раз подоспел к разгрому гитлеровцев под Москвой.

— Никогда не забуду, — сказал он Юрию, — как с лязгом и грохотом подкатили наши сибирские эшелоны к подмосковным позициям в ноябре сорок первого года, в самый решающий момент, когда враг уже обстреливал московские пригороды. Хорошее у нас было боевое крещение, всякому можно пожелать такого, в том числе и тебе, паренек...

Крепко сдружились бывалый солдат Семен Карозин и молодой боец Юрий Смирнов. Как заведут они разговор про леса, один про свою тайгу, сибирскую, а другой про дремучие ужненские дебри, — водой не разольешь.

Каждый, конечно, своим родным хвалился:

— Разве у вас столько медведей, сколько у нас!

— А ты их считал? Зато у нас и лоси есть.

— А у нас в Забайкалье нет их, что ли? А белок прямо видимо-невидимо... Хоть руками хватай...

От лесных и охотничьих дел переходили к делам военным. Здесь Семен Карозин был бесспорным авторитетом для Юрия Смирнова.

Внимательно слушал Юрий рассказы и наставления бывалого воина.

— Воевать надо умно, с пониманием... — деловито поучал Карозин. — Сейчас самое главное умение для солдата — без дела в

кашу не лезть. При Суворове пулю душой называли, а сейчас «дуры» эти до того шальные стали, что хоть сетки какие-нибудь заводи от них, как от пчел или ос...

Он снимал свою каску со следами нескольких пулевых вмятин и показывал Юрию.

— Вот разбирайся-ка, до чего низко пулевой огонь стелется: и лежишь, и к земле прижмешься, а не будь шлема — все равно может отыскать пуля, особенно пулеметная... Солдат нынче вроде крота должен быть — в землю вкапываться должен умело и быстро. В атаку ли идешь, оборону ли занимаешь — все равно нужно владеть этим кротовым искусством. Да и при воздушных налетах первое дело — окопаться... Кто сумел быстро в землю втиснуться, тому и разрыв авиабомбы не так страшен...

И еще помни, — добавлял он, — сам закапывайся, а винтовку ни в коем случае не закапывай... Винтовка всегда чистым воздухом должна дышать, всегда должна быть на боевой изготовке. Она в бою для тебя и мать и сестра. Главную работу, понятно, артиллерия выполняет, ну и минометы, само собой, а все же пехотинец на один штык уповать не должен. До последней минуты винтовкой пользуйся, пока грудь с грудью с врагом не сойдешься!

Об этом и мечтал Юрий, уходя на войну, — как можно скорее грудь с грудью сойтись с врагом.

На первых порах Юрия ждало некоторое разочарование. Уже немало дней провел он на передовых позициях, а ни одного гитлеровца еще в глаза не видал. Передний край наших войск всегда отделяли от переднего края гитлеровцев два-три километра, а то и больше.

Волнующим событием был для Юрия день приема в комсомол. Комсомольский значок, полученный в боевой обстановке, вполне можно приравнять к первому знаку отличия, к первой медали или даже к ордену!

Юрий был принят в комсомол единогласно.

Сердечно поздравил его Семен Карозин, а потом даже обнял.

— Ну, вот теперь ты вполне настоящий молодой солдат, Юра...

Прошло несколько дней. Стрелковому полку было вручено гвардейское знамя, а всем бойцам — гвардейские значки, очень похожие на орден.

— В честь чего же нам такая награда? — несколько недоумевая, спросил Юрий у Карозина. — Разве мы какое-нибудь сражение уже выиграли?..

Семен Карозин усмехнулся и ответил:

— Я уже тебе говорил, что сейчас, при нынешних масштабах войны, ты даже можешь и не знать, что участвуешь в важном, серьезном боевом деле. Занимает, скажем, наш полк очень ответственный участок, может, даже и закопавшись лежит, а врагу ходу не дает. Видит противник, что тут ему не пройти, только людей и снаряды потратит, значит, и сорван его план, а сражение-то, выходит, нами и выиграно.

Вероятно, прав был Семен Карозин, но все же хотелось Юрию по-настоящему с врагом подраться, так, как дрались в Сталинграде советские бойцы. Вот это было бы серьезное боевое крещение!

Но и боевое крещение не заставило долго себя ждать.

* * *

...Когда в 1812 году Наполеон вторгся в Россию и наступал в направлении Москвы своими главными силами, его левое крыло пыталось двинуться на тогдашнюю столицу Санкт-Петербург. Путь войска левого крыла лежал через бывшую Витебскую губернию в сторону Пскова.

Небольшой отряд русской армии преградил путь французам возле малозначительного уездного городка, так и называвшегося Городок. Произошла авангардная стычка, французы понесли крупные потери и доложили Наполеону, что двигаться дальше на Петербург рискованно.

Наполеон будто бы сказал своим генералам:

— Если даже какой-то безымянный городок России стоил нам таких потерь, то во что же обойдется взятие Москвы...

Переводчик тщетно пытался объяснить Наполеону, что Городок — это уменьшительное от слова «город», а какое у него, собственно, настоящее имя — «сие неизвестно»...

«Безымянному» Городку привелось снова войти в историю. В августе 1943 года советские войска получили задание овладеть Городком, который в то время еще был занят гитлеровцами.

Гвардейский стрелковый полк, в котором служил Юрий Смирнов, был на направлении главного удара. Этому полку была поручена почетная задача — сломить основное сопротивление фашистов.

Семен Карозин, по привычке своей добродушно усмехаясь, спросил Юрия, еще не знавшего о задании:

— В городки, Юра, играл когда-нибудь? Юрий даже слегка рассердился.

— Ну кто же в них не играл?..

— Помнишь, стало быть, как нелегко бывает выбить все чурки сразу, с одного удара?

— Знаю и это, — кивнул Юрий. — Да куда ты клонишь, скажи толком?

— А туда клоню, куда дело гнется... Нам Городок предстоит брать... Только не чурочный, а настоящий...

И он подробно, уже без шуток разъяснил своему молодому товарищу предстоящее задание.

Так и взыграло у Юрия сердце. Настоящее сражение будет, «не лежачее», «не окопное». Лежа города не займешь, пусть даже и забавное у него название — Городок...

Наступление началось на рассвете, после мощной артиллерийской подготовки, продолжавшейся всю ночь. Длинными уплотненными цепями — штурмовыми волнами двинулись вперед бойцы стрелковой дивизии.

Бок о бок с боевыми товарищами — Семеном Карозиным, комсоргом Шмыревым, Михаилом Степановым — шел вперед и Юрий Смирнов.

В пылу битвы он даже не заметил, что ранен. Шальной осколок пробил щеку, сильно повредив верхнюю челюсть. Из раны хлынула кровь, заливая лицо. Но Юрий продолжал бежать вперед. И только позднее, очутившись на одной из улиц Городка, он почувствовал сильную боль и слабость. Глаза заволкло темной пеленой, и Юрий упал на отбитую у врага землю...

Светлая комната смоленского военного госпиталя. Тишина, покой, своеобразный уют. Бесшумно движутся заботливые сестры и няни...

Не скоро после ранения смог Юрий написать домой.

«Милая, дорогая мамочка! По штемпелю на письме ты сама догадаешься, что я нахожусь в военном госпитале, па излечении. Ранение свое я считаю легким, для жизни совершенно не опасным, однако строгая военная медицина, вероятно, лучше меня разбирается в деле — заставляют лежать и старательно лечат. Давно уже не валялся я так долго, пожалуй, с тех самых пор, как меня помяла медведица. Но отец был прав — война почище всякой медведицы, шлепнуло меня совсем крохотным осколочком, а сколько получилось канители. Все же в скором времени надеюсь стать снова вполне здоровым и боеспособным, и если врачи разрешат, то опять немедленно вернусь в строй, а если найдут нужным отдых, то приеду на побывку к вам. Все время думаю и беспокоюсь о вас, как-то вы там одни женщины, без меня и без папы, управляетесь и с хозяйством, и с работой. Малодушествовать нам, солдатам, нельзя, но порой так хочется хоть несколько Дней провести в родном доме, в родном Макарьеве, опять увидеть Унжу, как-то она сейчас выглядит. Крепко целую и обнимаю. Ваш Юрий...»

В тот же день он написал и Верочке.

«Подружка моя далекая... Вот уже и выдержал я свой первый боевой экзамен. Поскольку попал в госпиталь, нельзя похвалиться, что экзамен этот выдержан мной на «отлично» — за такое полагается не больше тройки. Но все же понюхал настоящего порошу и рядом с красной нашивочкой за ранение носить гвардейский значок будет уже не зазорно. Тебя, вероятно, интересуют подробности, но если начать рассказывать все подробно, то боюсь, как бы не сочла за бахвальство, а нам, солдатам, бахвалиться не годится. Могу только одно сказать, что ранен был, не сидя в каком-нибудь укрытии, а во время атаки на сильную вражескую позицию, притом мысленно повторяя три дорогих мне слова: «Родина, мама, Верочка»... Да, дорогая Верочка, я нигде и никогда тебя не забываю, и это очень мне помогает переносить все трудности...»

Ответные письма из Макарьева пришли быстро. Письмо от матери было, как всегда, очень ласковым и подробным. Но за внешним спокойствием угадывалась в нем большая затаенная тревога.

Письмо от Верочки тоже было полно тревоги. Но наряду с нежным сочувствием к другу в нем слышалась ненависть к врагам.

Казалось, что рана, нанесенная Юрию, причинила жгучую боль самой Вере.

Так нередко бывает в жизни. Нечто, кажущееся далеким и отвлеченным, вдруг становится кровным, как только оно затрагивает близкого человека. Многие продумав и пережив, Вера сразу как бы повзрослела. Именно так, по-взрослому, звучало каждое слово ее письма.

«Прости меня, милый мой Юрий, что порой у меня было что-то вроде глупенькой детской ревности — почему ты больше думаешь о войне, о фронте, чем обо мне. Теперь мне многое стало ясно. Кажется, что твоя рана нанесена лично мне. Поэтому сейчас особенно хочется попасть на фронт, и если тебе в связи с твоей раной не дадут инвалидность, то я буду по-серьезному добиваться зачисления в армию хотя бы связисткой или по медицинской части.

Должна сообщить тебе о тяжелой для нас утрате: пришло извещение, что погиб смертью храбрых наш общий друг Коля Марков. Это известие сильно на меня подействовало, еще больше ожесточило против нашего лютого врага — фашистов».

Несколько раз перечитал Юрий это письмо и твердо решил: как только врачи скажут: здоров — немедленно в часть. Не время, видно, думать сейчас об отпуске домой!

Шли дни. Рана Юрия заживала, чувствовал он себя уже настолько бодро, что начал ходить по коридорам госпиталя. Однажды во время такой «прогулки» он встретил ковылявшего на костылях однополчанина Михаила Степанова. Радостной была встреча боевых друзей. Лица обоих солдат, сразу узнавших друг друга, озарились улыбками.

— Уцелел и ты в бою за Городок! — радостно воскликнул Юрий, сжимая руку товарища.

— Спасибо врачам, поставили на ноги... И для тебя есть радостная весть!

За взятие Городка дивизия была отмечена в приказе Верховного Главнокомандующего, и в честь ее воинов гремел над Москвой салют...

Юрию еще больше захотелось вернуться как можно скорее в родной полк.

Неподалеку от Орши раскинулись Осиповские торфяные болота, где вскоре после революции была построена одна из первых энергетических баз Советской страны.

К началу Великой Отечественной войны среди торфяников и окаймляющих их лесов выросло много рабочих поселков, похожих на раскидистый город. Здесь, опираясь на мощную автомагистраль Москва — Минск, в течение многих месяцев войны базировалось одно из отборных гитлеровских соединений — 78-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта Отто Фридриха Траута.

Фашистские молодчики Траута хвастались тем, что пленных не берут.

С невиданной свирепостью расправлялся Траут с партизанами. По его приказу вешали сотни людей, сжигали «подозрительные» деревни, вырубали «опасные» леса, роци и даже крестьянские сады.

«В моем районе партизан нет...» — хвастливо доносил он Гитлеру.

А раз «нет партизан», то и участок свой генерал Траут считал самым прочным на всей линии фронта, совершенно несокрушимым и неприступным для русских. Некоторые основания так думать у него были. Соседние звенья гитлеровской оборонительной линии уже были отжаты далеко к западу, а «утес Траута», как он сам и его подчиненные именовали свой участок, все еще держался.

Верховное Командование Советской Армии признало необходимым сбить «утес Траута», разнести его вдребезги и тем самым положить начало стремительному продвижению советских войск на Минск по той самой автомагистрали, которую как бы оседлывали вражеские войска.

23 июня 1944 года началось общее наступление советских армий на всем центральном участке Западного фронта, впоследствии переименованного в 1-й Белорусский.

Зона широкого наступления наших войск простиралась от Припяти до Западной Двины. И естественным центром этого мощного удара оказался именно «утес Траута», район Осиповских торфяников.

Выход на Минскую автомагистраль означал рассечение фашистской обороны на две части с последующим охватом этих отсеченных частей в «мешки», или «котлы»...

Группу советских войск на участке Отто Траута возглавлял генерал-лейтенант Галицкий.

* * *

Многих прежних своих товарищей не нашел Юрий по возвращении в полк. Был тяжело ранен и комсорг Шмырев.

Но на фронте дружба возникает быстро. Тем более что теперь и сам Юрий Смирнов чувствовал себя уже бывалым солдатом, а красная нашивка (знак перенесенного ранения) вызывала у товарищей большое уважение.

Новый политрук батальона Керим Ахмеджанов тепло встретил вернувшегося бойца, подробно расспросил его о настроении, о том, с охотой ли возвращается он в свою часть, верит ли в приближающуюся победу, готов ли все сделать для ее ускорения...

— Готов один на один с любым фашистским генералом схватиться, — взволнованно ответил Юрий.

Керим Ахмеджанов решил уделять Юрию Смирнову побольше внимания. Как только представлялся случай, заводил с ним теплый разговор по душам, разбирал боевые операции.

— Пожалуй, Юрий, не худо будет направить тебя при первой возможности либо в школу младшего начальствующего состава, либо даже в военное училище. Чувствуется в тебе, понимаешь, настоящая военная косточка...

План командующего советской ударной группой генерала Галицкого был смел и прост. Танковый прорыв на автомагистраль Москва — Минск осуществить в пункте, наиболее близком к этой магистрали, с тем чтобы выход на нее стоил наименьших потерь и занял как можно меньше времени.

Танки с приданными автоматчиками должны были прорваться к магистрали под косым углом по местности, изобилующей естественными препятствиями и потому меньше охраняемой.

Разведка сделала свое дело — трасса для танкового прорыва была намечена правильно. Через заброшенный, перекопанный канавами торфяник, через небольшую речку, доступную для стальных гусениц, через крупную березовую рощу, которую по неизвестным причинам не

приказал вырубить генерал Траут... Возможно, что как раз эту рощу он считал надежным препятствием для рейда советских войск.

Генерал Отто Траут твердо верил в неуязвимость своих позиций.

Он не знал ничего определенного о намечавшемся советском наступлении, но сердце хищника чуяло, что широкое фронтальное наступление уже назревает. Поражение фашистов на Курской дуге привело к их массовому отступлению на Украине, за Чернигов и Киев; разгром под Калинином и Великими Луками заставил фашистов отодвинуться почти к латвийской и литовской границам. Становилось ясно, что и оршанско-осиновскому выступу, прикрывавшему путь на Минск, несдобровать!

И все же генерал Траут продолжал считать свой «утес» неприступным. Обосновавшись со штабом в селе Шалашине Дубровенского района, он небрежно выслушивал смутные, но способные насторожить донесения своей разведки.

— Русские перегруппировываются, сосредоточиваются? Ну что ж... Не по зубам им разгрызть гранит моего Утеса!..

Советский генерал Галицкий был, по-видимому, иного мнения на этот счет. По его приказу для танкового десанта, который должен был овладеть автомагистралью, подбирали наиболее отважных и крепких солдат-стрелков из всех частей, входивших в гвардейскую дивизию. Отбор проходил по принципу «охотничества», добровольчества. Принцип «охотничества» издавна был известен в русской армии. Выполнение особо ответственных и опасных заданий обычно поручали смельчакам, самолично изъявлявшим желание идти на риск.

Юрий Смирнов тоже вызвался участвовать в опасной, но почетной операции.

— Непременно пойду в танковый рейд, — решительно заявил он.

«Охотничество» Юрия Смирнова было принято. В шлеме, в защитном плаще с капюшоном, с автоматом на груди явился Юрий к месту сбора десантников.

Для осмотра героической танковой колонны прибыл лично генерал Галицкий. Осмотром танков, их экипажей и стрелков-автоматчиков командующий остался доволен.

Молодое лицо Юрия на миг привлекло внимание генерала, он даже сделал к нему короткое движение, быть может, собираясь спросить что-нибудь: «Кто родители, давно ли писал матери?»

Но дорога была каждая минута, и генерал тепло и взволнованно обратился к бойцам:

— Спасибо от лица Родины за службу, за доблестную решимость на подвиг... Желаю вам полного успеха, гвардейцы, и победоносного возвращения... Да здравствует наша славная Советская Армия!..

— Ура!.. Уррааа!.. — покатилося по рядам бойцов. Экипажи скрылись внутри танков, автоматчики заняли свои места за башнями. Взревели моторы, и колонна двинулась на выполнение задания.

До рассвета было еще далеко — только начинал светлеть восток, но водители точно знали маршрут и уверенно повели танки. Через два-три часа они должны были вырваться на магистраль.

Авиация была также наготове, чтобы в нужный момент обеспечить успех.

Фашистские дозоры заметили стремительно движущиеся танки, но в предрассветной мгле не успели даже разобрать, чьи танки, — свои или советские...

Все дальше, все глубже внедрялась танковая колонна в зону немецкого расположения, вгрызалась в «траутовский утес», давила фашистские укрытия и землянки.

...Глухо гудели моторы. В ушах Юрия ревел ветер, по лицу хлестали ветви деревьев и будто пело сердце:

— Вперед! Вперед!..

Фашисты уже поняли грозящую им опасность. Из дотов открыли пулеметный огонь, началась винтовочная стрельба. Полетели противотанковые гранаты...

Но у танкистов только одно стремление — вперед и вперед!

Колонна не должна была вступать в бой, пока не достигнет цели — магистрали Москва — Минск...

Когда, ломая деревья, танки КВ и ИС проходили через белоствольную березовую рощу, один из бойцов-десантников был тяжело ранен в плечо. Потеряв равновесие, он упал на землю. Это был Юрий Смирнов...

Мимо неслись гигантские стальные гусеницы. Занималась заря. Вдали между деревьями мелькали серо-зеленые тени. На фоне зари они казались черными. К упавшему с танка бойцу трусливо приближались фашисты.

Как шакалы, набросились они на тяжело раненного советского солдата.

— Имья? Часть?

Молчание раненого не смутило фашистских молодчиков. Ведь есть испытанное средство — пытка. Можно заставить заговорить любого, если только он не немой от рождения.

Торжествующие эсэсовцы втиснули раненого русского солдата в коляску мотоцикла и на предельной скорости помчали в штаб самого генерала Траута.

Генерал Траут уже понимал, что его пресловутый «утес» подорван. Вгрызались в него советские танки, как бур вгрызается в самую прочную каменную породу...

Фашистским генералом овладело бешенство. Может быть, есть еще возможность пресечь движение советской танковой колонны, накрыть ее артиллерийским огнем, отрезать, окружить и раздавить...

— Р-р-раздавить!.. — повторял дрожащими побелевшими губами генерал Траут. И поминутно справлялся у своих штабных: — Что нового?

Наконец он услышал желанное слово: «язык»!

Скорее, скорее, он сам будет допрашивать русского пленного. Он вырвет у него все, что нужно, узнает маршрут и задачу колонны...

Торопливо вошел генерал Траут в помещение для допросов. Сел за стол, вперил мутный скачущий взгляд в ту дверь, из-за которой должен был появиться «язык».

Часовые ввели пленного советского солдата, первого пленного за много месяцев.

Перед Траутом стоял юноша со смелым, открытым взглядом. Вся его фигура была воплощением спокойствия и силы.

— Имья?

Молчание.

— Фамилия?

Молчание.

Траут ударил кулаком по столу.

— Полный обыск!

Подручные генерала сорвали с юноши одежду. Ощупали все тело. Заглянули даже в рот.

В карманах гимнастерки были обнаружены воинская книжка и комсомольский билет.

В обоих документах одно и то же имя: Юрий Васильевич Смирнов, год рождения 1925-й.

Литер полка ни о чем не говорил фашистам. Полк стрелковый, а прорыв осуществлен танковой колонной.

— Куда направляется колонна? Молчание...

— Заставить говорить... — отрывисто бросает Траут своим подручным.

И начинается неопишное, беспредельно страшное. Фашисты делают все, чтобы русский юноша заговорил.

Траут спешит, Траут торопит палачей-истязателей. Ему дорога каждая секунда.

— Куда пошла танковая колонна?... — повторяет он каждые несколько секунд, и переводчик автоматически выкрикивает по-русски эти слова над ухом Юрия.

Пытка следует за пыткой. Всю свою омерзительную изобретательность пустили в ход фашистские изверги. Но даже нечеловеческие муки не заставили заговорить отважного советского юношу.

А время летит...

Траут уже не может себя сдерживать. Он сам наносит Юрию Смирнову несколько яростных ударов, сам срывает с него клочья кожи.

То и дело прибегает адъютант с донесениями. Пожалуй, уже и напрасен допрос. Фашисты поняли, что советская танковая колонна явно стремится к выходу на автомагистраль Москва — Минск.

Наконец поступает новое донесение.

— Советские танки на магистрали... Наши заслоны сбиты, стрелковый десант овладел важными позициями по обе стороны автостреды... Русские в тылу у наших главных сил. Красная авиация бомбит пути отхода...

Траут встал, уронив табурет. Нет уже ни времени, ни смысла заниматься мальчишкой-пленным. Под угрозой само расположение штаба. Нужно запрашивать подкрепления, а может быть, и просто пора удирать.

— Расстрелять! — отрывисто бросает Траут, кивнув на истерзанного Юрия. — Нет, повесить!..

И уже с порога добавляет:

— Но так по-ве-сить, чтоб содрогнулась вся Красная большевистская Армия. Дивизия Траута должна сохранить за собой славу «не берущей в плен»...

— Повесить за ноги... — предложил кто-то.

— Это уже не ново, — ответили ему...

И вот у кого-то из палачей родилась «свежая», «оригинальная» мысль: распять советского солдата на кресте!

— Давайте-ка гвоздей сюда потолще и подлиннее да пару хороших обшивочных досок. Пусть полюбуются коммунисты, пусть усвоят наконец, что мы ни перед чем не останавливаемся, чтоб навести страх на своих противников, что мы, черт возьми, еще способны неплохо огрызаться...

Эсэсовцы громко переговариваются, оживленно обсуждают детали предстоящей казни.

— Пусть красные надолго запомнят дивизию Траута, если нам даже и придется уйти...

Доски и гвозди принесены. Дьявольский замысел приводится в исполнение.

А теперь полностью предоставим слово документам. Из них будет видно все: и как, рассеченный надвое героическим рейдом советских танков, вышедших на автомагистраль Москва — Минск, рухнул, рассыпался неприступный «утес Траута», и как сметены были все линии траутовской обороны, и как во второй половине дня 25 июня 1944 года советские войска уже приступили к преследованию 78-й «беспощадной» фашистской дивизии.

Село Шалашиино, где помещался штаб Траута, тоже было к этому времени захвачено доблестной красной пехотой.

Попав в Шалашиино, политрук Керим Ахмеджанов, ни на миг не забывавший полюбившегося ему комсомольца Юрия Смирнова, ушедшего в танковый десант, словно по наитию, заглянул в штабной блиндаж Траута.

И вот что предстало перед ним.

В глубоком молчании, с непокрытыми головами группа советских офицеров безмолвно созерцала страшную картину: на крестовине из

досок, прислоненной к стене блиндажа, висел распятый обнаженный человек.

В ладони его раскинутых рук были вбиты ржавые длинные гвозди, такие же гвозди были вбиты в подъемы ступней: два железных костыля были вколочены в голову возле правого глаза.

— Что это? Кто это! — вскричал Ахмеджанов, не сразу узнав в искалеченном труп знакомому ему стрелка Смирнова.

Безмолвие было прервано. Взволнованно, негодуя зашумели все офицеры, и один из присутствующих тут же прочел вслух только что составленный акт.

Акт составлялся наспех, приводим его с сохранением всех особенностей стиля и изложения:

«Я, комсорг батальона гвардейского стрелкового полка, гвардии старший лейтенант Кустов Петр Алексеевич, находясь в боевых порядках своего полка, прорвавшего оборону в дер. Шалашино Дубровенского района, проходя немецкие позиции, зашел в штабной блиндаж. Блиндаж представлял собой просторное помещение, стены его были обиты стругаными досками. Посредине стоял большой стол, стены были увешаны плакатами, и висели два портрета Гитлера. Взглянув на правую стену блиндажа, я увидел прислоненного, как мне казалось, человека, обнаженного, с раскинутыми руками. Подойдя поближе, я увидел, что человек этот прибит гвоздями к доскам. Тело его было распято на специальной крестовине из досок. Одна доска проходила вдоль спины, а вторая — поперек, на высоте плеч. Так что получался крест. Руки человека были прибиты к этому кресту гвоздями. Гвозди большие и загнаны по самые шляпки. Два гвоздя торчат во лбу, представляя собой костыли без шляпок. Ноги были в носках, а весь труп был раздет наголо и посинел, видимо от ударов. На груди — глубокие разрезы и ножевые раны. Лицо — распухшее и обезображено ударами холодного оружия.

Оглядев помещение внимательней, я увидел на столе красноармейскую книжку и раскрытый комсомольский билет. Взяв эти документы, я прочел их и установил, что они

принадлежат гвардии рядовому Смирнову Юрию Васильевичу, солдату гвардейского полка нашей дивизии. Комсомольский билет выдан политотделом гвардейской стрелковой дивизии.

Со мной вместе были старшина Блинов Михаил из хоззвода гвардейского стрелкового полка, затем подошли гвардии рядовой Лебедев из стрелковой роты и мой ординарец рядовой Мацина Николай...

Комсорг б-на гв. стр. полка гвардии старший лейтенант Кустов».

Решено было немедленно составить еще один акт, который хотели подписать все присутствовавшие офицеры, до глубины души потрясенные увиденным.

Вот он, этот второй акт:

«25 июня 1944 года.

Мы, нижеподписавшиеся, комсорг полка гвардии старший лейтенант Соколов Семен Герасимович, комсорг б-на гв. стр. полка Кустов Петр Алексеевич, старший лейтенант Ахмеджанов Керим, гвардии капитан Климов Иван Иванович, гвардии рядовые Конев и Каюров, составили настоящий акт в нижеследующем.

В 4.00 25 июня во время наступления наших частей на дер. Шалашино наш стрел. батальон участвовал в танковом десанте. Гвардии рядовой Смирнов Юрий Васильевич упал с танка, будучи ранен, и был захвачен фашистами.

Фашисты учинили ему допрос с пытками. И когда комсомолец Смирнов, помня присягу, ничего не сказал, гитлеровцы распяли его на стене блиндажа, забив два гвоздя в ладони рук, вытянув руки в горизонтальном положении, а также было забито в подъёмы ног по одному гвоздю. Кроме того, два гвоздя были забиты в голову. Смирнову также нанесены 4 кинжальных ранения в грудь и 2 ранения в спину, и все тело и лицо побито холодным оружием. На столе лежал раскрытый комсомольский билет и красноармейская книжка.

Подписали: гвардии капитан Климов, гвардии старший лейтенант Соколов, гвардии старший лейтенант Кустов, старший лейтенант Керим Ахмеджанов, гвардии рядовые Конев и Каюров».

Тело Юрия Смирнова было похоронено с воинскими почестями возле деревни Шалашино...

...Геройская гибель Юрия Смирнова не прошла бесследно. Все полки и дивизии фронта с невероятной быстротой облетела весть о новом невиданном преступлении фашистов.

— Такого зверства еще не бывало! — возмущенно говорили бойцы.

Волна комсомольских собраний прокатилась по всем частям и подразделениям. Гнев боевой армейской молодежи был беспредельным. Новое злодеяние фашистов, рассчитанное на то, чтобы запугать советских воинов, вызвало у них лишь чувство беспредельного возмущения и ненависти к фашистским извергам, жажду мести за муки боевого товарища.

Комсомольцы стрелкового батальона гвардейского стрелкового полка даже дали особую клятву:

«Клянемся, что мы пойдем в бой и будем бить врага без замешательства и без пощады. Это будет наша месть за муки Юрия Смирнова.

Клянемся, что каждый из нас будет таким же, как наш боевой товарищ Юрий Смирнов, — верным военной присяге, надежным помощником командира, дисциплинированным, стойким и бесстрашным в бою.

Вечная слава мученику герою-комсомольцу Юрию Смирнову, павшему за свободу и независимость нашей Родины!»

Эта клятва была подхвачена комсомольцами всех частей и подразделений Советской Армии.

С этой клятвой сотни тысяч молодых патриотов на всех фронтах Великой Отечественной войны шли к победе.

Юрий Смирнов прожил короткую, но яркую жизнь.

Имя верного сына Советской Отчизны Юрия Смирнова вечно будет жить в памяти народной. Оно будет жить в стихах и песнях, в названиях школ, заводов, колхозов.

Тот, кто отдал свою жизнь во славу Родины, не умирает!

...Тихая улица в Макарьеве на Унже, где некогда жил Юрий Смирнов, названа его именем. Много ребят живет на этой улице. Зимой и летом слышатся здесь звонкие детские голоса. Но даже самые шустрые мальчишки притихают, когда проходят мимо дома № 32. На стене этого дома можно увидеть небольшую металлическую планку, на которой четко выгравировано: «Здесь жил Юрий Смирнов».

Как знать, может быть, на этой улице подрастают такие же соколята. Придет время, расправят они крылья и, подобно своему отважному земляку, совершат немало героических дел во славу Родины.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

Клава НАЗАРОВА

Новгород. 12 декабря 1947 года. Здание областного драматического театра. Заполненный до отказа и притихший зал.

— Встать, суд идет, — нарушают тишину слова секретаря.

Судят фашистских преступников, бывших военнослужащих немецкой армии, которые в период с 1941 по 1944 год чинили зверские насилия над мирным населением Псковской и Новгородской областей.

Одетые разношерстно, небритые, на них нет былой спеси, выглядят они жалкими и даже где-то в глубине души могут вызвать оттенок сострадания, но лишь только обвинитель зачитывает досье палачей и приводит факты их «практической деятельности», как легкий гул пробегает по залу, нет-нет да и раздастся надрывный плач, когда услышат знакомую фамилию или название уже не существующей деревни, и тогда заблещут гневом и яростью глаза, хрустнут до боли сжимаемые суставы.

Они пытали и жгли, вешали и расстреливали, угоняли в неволю, стирали с лица земли села и города, не помышляя о расплате, но она пришла...

В этот день перед судом предстали комендант 882-й полевой комендатуры полковник Карл Зассе, начальник отделения этой же комендатуры лейтенант Бено Мейер и переводчик зонде-фюрер Александр Лантревич, Из протокола заседания суда: «За два года, возглавляя комендатуру в г. Острове, Зассе лично участвовал в трех карательных экспедициях; по его приказам и при непосредственном участии сожжены 1122 населенных пункта, Угнаны в немецкую неволю 20 тысяч советских граждан, расстреляны — 516, повешены — 17, умерли от пыток — 47, сожжены заживо — 140 советских людей».

Вопрос обвинителя: «Вы приказали повесить Клаву Назарову?» Зассе крутнул головой и сделал движение, будто поправляет несуществующий стоячий воротничок, вдруг сдавивший горло, и глухо ответил: «Да. По инструкции из Берлина».

Даже сейчас, сидя на скамье подсудимых, он не мог понять, почему из целой вереницы безликих жертв: французов, чехов, поляков, русских — мужчин и женщин, — ему врезалась в память эта девчонка,

с туго заплетенными косами, обыкновенным лицом, каких, может быть, десятки, сотни, тысячи в этой варварской стране, в которой по воле фюрера должен был восторжествовать «новый порядок». Но от взгляда ее огромных карих глаз, будто стрелявших в упор, и улыбки, в которой нетрудно было распознать издевку, ему становилось не по себе. И впервые за то время, когда Зассе назначили комендантом и наградили пятым Железным крестом (случай довольно-таки редкий) за особые услуги, оказанные фатерляндю, выдержка изменила ему, и он обрушился с кулаками на Клаву.

Довершал, как правило, дело, начатое шефом, мастер спецобработки Мейер. Но и после побоев хлыстом, свитым из телефонных проводов, вместо ожидаемого раскаяния с лица Назаровой не сходила все та же улыбка.

Вопрос судьи переводчику комендатуры Александру Лантревичу: «Вы участвовали в допросах Назаровой?» Ответ: «Да». Судья: «Следствие располагает неопровержимыми данными о том, что вы лично пытали Назарову». Лантревич: «Я не понимал ее. Она была так молода, ей обещали жизнь...»

Да, Клава Назарова очень любила жизнь, родной город, в котором родилась и выросла, где прошли ее детство и юность. В статистической справке по Ленинградской области за 1939 год говорится: «г. Остров — районный центр в Псковском округе Ленинградской области, в 3 км от одноименной станции Октябрьской железной дороги, 27 км к востоку от латвийской границы, 12 тысяч жителей. Центр одного из старейших льноводческих районов Союза. Город освещается электричеством».

Сухие строки статистического отчета не передают красоты островского пейзажа. Причудливые зигзаги Великой, небольшой остров посередине реки с остатками старинных укреплений, поросших густой травой, величественные кроны тополей, склонившихся над водой, легкие и изящные формы цепного моста, деревянные дома с незатейливой резьбой на фронтонах и оконцах, теснящиеся по берегам маковки православных церквей с поблескивающими позолотой крестами, остроконечные башни костела и густые утренние туманы, скупое на тепло солнце.

Издавна жили в Острове Назаровы, простая, работающая семья.

В автобиографии Клава Назарова сообщает о себе: «Родилась в 1918 году в октябре месяце. Отец в то время батрачил у хозяина, мать — прислугой».

Но вихрь Октября вымел из страны помещиков и капиталистов, только вот не удалось вдоволь пожить при новой жизни Ивану Назарову. Осколок в груди, полученный на германской, свел его в могилу. Осталась Евдокия Федоровна одна с двумя дочерьми на руках. Себя не жалела, здоровье отдала, чтобы поставить их на ноги.

В 1926 году Клава поступила в школу № 3 города Острова. Училась увлеченно, много читала, любила стихи; ей не было равных в беге, она хорошо плавала, прочно держалась в седле, а зимой лихо каталась на снегурках. «Окончив 9 классов, — читаем в автобиографии Клавды Назаровой, — я полгода училась в 10-м классе, но не окончила, так как заболела мать, а я была самая старшая, сестренка училась в 5-м классе. Мне пришлось идти на работу».

О Клавде Назаровой в то время говорили: «Вот ведь безотцовщина, а глянь, какая девка выросла: здоровая и разумная». Слыша эти разговоры, Евдокия Федоровна замечала: «Сама по себе выросла и до работы и до учебы охочая, а что без отца — характер отцовский переняла, за словом в карман не полезет, да и за себя постоять может».

Поэтому и тянулись к ней мальчишки и девчонки, зная, что Клава никогда не откажет в поддержке, всегда придет в трудную минуту.

В пятом классе Клаву избрали звеньевой, в восьмом — она пионервожатая. Произошло это в 1933 году, и отныне вся ее жизнь будет связана с пионерией. Декабрьский пленум ЦК ВЛКСМ поставил задачу: «Лицом к пионеру и школьнику. Самодеятельность — основа работы. За планами видеть живого человека. Ликвидировать обезличку. Растить свое, детское «начальство». Повысить роль и ответственность вожатых».

Требованием и велением времени стала борьба за знания, за дисциплину. Страна возводила города, строила заводы и фабрики, прокладывала стальные магистрали, осваивала необжитые районы. «Сплошной лихорадке буден» нужны были не только горячие сердца, но и сильные, умелые руки, ясные и светлые умы, твердые большевистские характеры.

В 1938 году Клаву Назарову пригласили старшей пионервожатой в школу, которую она совсем недавно закончила. Время, когда она

возглавляла пионерский коллектив, осталось в памяти учеников и педагогов как деятельное, творческое, веселое.

Талант организатора, умение за повседневными мелочами увидеть главное, опереться на актив, неиссякаемая выдумка — вот качества, которые наиболее ярко раскрылись в Клаве. И она сразу же стала настоящим вожаком пионерии. «Каких только игр не придумывала. Каких песен не знала! Как интересно рассказывала о комсомольцах гражданской войны, — вспоминает один из учителей Клавы. — Частенько после этих рассказов ребята с откровенной завистью вздыхали: «Эх, вот было время!»

Участие в массовом движении юных натуралистов, во всесоюзной экспедиции по изучению природы и истории родного края, создание кружков юных стрелков, санитаров, связистов, военно-спортивные игры — это лишь краткий перечень дел, которые увлекали старшую пионервожатую школы Назарову своей стремительностью, утоляли страстные желания быть полезной Родине.

...Война! По-разному узнавали о ней советские люди. Сводки Совинформбюро несли суровую и горькую правду. Клава услышала сообщение о вероломном нападении Германии на Советский Союз по дороге в пионерский лагерь, куда, как обычно, на лето выезжала школьная дружина. Первой мыслью было идти в военкомат, добиваться отправки на фронт. Она умеет стрелять, перевязывать раны, может работать на телеграфе. Но на все просьбы военком решительно отвечал: «Нет!» — и пообещал направить на курсы медсестер. Свое обещание он сдержал.

В один из последних дней июня Клаву вызвали в райком. С волнением она переступила порог кабинета первого секретаря. Алексей Алексеевич Тужиков, поздоровавшись, предупредил ее жестом:

— Знаю, все знаю. Рвешься на фронт, У всех сейчас такое желание. Но кто-то ведь должен оставаться и в тылу. Дело нашел тебе по душе. Пойдешь замполитом роты в истребительный батальон. Верю — справишься.

Истребительный батальон был сформирован из комсомольцев города и нес охрану моста, железнодорожной станции, других городских объектов и готовился к боевым действиям. Располагался батальон в школе, где работала Клава. Возле подъезда стоял часовой,

невысокого роста, щупловатый парень, с оспинками на лице. Клава была знакома с ним. Часто встречались в райкоме комсомола. Она сделала попытку пройти в здание, но парень решительно преградил путь и потребовал пропуск. И лишь убедившись, что он у нее есть, пропустил, произнеся: «Сама понимаешь, война».

Коридоры школы были заполнены партами, в классах на полу ровными рядами лежали матрацы, застеленные домашними одеялами всевозможных расцветок, стояли в козлах винтовки, со школьного двора доносились слова команд. В канцелярии она застала Александра Андреевича Коломийца, назначенного командиром батальона. Коломиец в финскую войну был офицером, но после тяжелого ранения демобилизовался из армии. Прочитав записку, которую протянула ему Клава, он произнес:

— Очень хорошо, что тебя послали. Ведь тебя здесь все знают.

Коломийцу было легко работать с Клавой. Они понимали друг друга с полуслова, делали все, чтобы батальон превратился действительно в боевую единицу.

Фронт стремительно приближался к Острову. Все чаще в небе стали появляться немецкие самолеты, все более отчетливо слышалась канонада, а вскоре через город нестройными толпами потянулись беженцы, машины и подводы с ранеными.

Бойцы батальона вместе с горожанами рыли окопы и рвы, обезвреживали вражеских лазутчиков, патрулировали дороги.

В начале июля линия фронта одним из своих изгибов подошла к Острову. В одну из первых июльских ночей истребительный батальон подняли по тревоге и вывели за город к железнодорожной станции. Советской разведке стало известно, что немцы намереваются высадить в тыл отступающим частям Красной Армии десант.

Клава обходила цепь залегших бойцов, напряженно всматривавшихся в серое ночное небо. Внезапно раздался гул и появился самолет, от которого одна за другой отделились черные точки. Затем раскрылись купола парашютов. За первым самолетом появился второй, третий... Небо покрывалось все новыми и новыми куполами. Клава целилась и стреляла, от выстрелов и взрывов гудело в Ушах. Бой длился почти сутки. К комсомольцам присоединились отходившие воинские части. Враг наступал большими силами. На исходе оказались боеприпасы. Пришлось отступать. Клава

пробиралась кустарником в место сбора и внезапно услышала чье-то дыхание и стон, а затем увидела лежавшего бойца, тщетно пытавшегося подняться с земли. Рана оказалась тяжелой. Разрезав штанину, Клава сделала первую в своей жизни настоящую перевязку, затем, взвалив раненого на себя, понесла его в город. Сдав бойца, Клава отправилась на поиски батальона, но оказалось, что он под натиском фашистов отошел далеко за город.

Утром в Остров вошли немцы. Клава была дома и видела из окна, как по улице прошла колонна машин, бронетранспортеров, мотоциклов и остановилась на городской площади. «Новый порядок» словно спрут проникал своими щупальцами во все городские уголки. В здании горсовета разместились комендатура, школа была превращена в казарму, игровая площадка стала стоянкой тягачей со свастикой на бортах. На столбах появились объявления. Коммунистам и комсомольцам фашистские законы за неявку на регистрацию определяли только расстрел.

И в этой обстановке Клава решила действовать. Однажды на улице она встретила вездесущего проныру Петьку Свищева, которому сильно доставалось в школе за непоседливый характер. Но теперь это качество оказалось как нельзя кстати. Петька был буквально напичкан городскими новостями, пробирался к немцам, знал, где и какая часть у них располагается, сколько в ней танков, орудий, машин. Клава поручила выяснить, кто из комсомольцев остался в городе. Свое первое поручение Петька выполнил успешно, и уже вечером в маленькой уютной комнате Клавы появился Лева Судаков, один из бойцов истребительного батальона, друг детства. Они долго обсуждали каждую кандидатуру будущей подпольной организации и начали с создания ядра.

В его состав вошли: Лева Судаков, Мила Филиппова, Шура Иванова, Володя Алферов, Олег Дивинский, Олег Серебряков, Саша Митрофанов, Саша Козловский. Сразу же были намечены конкретные действия.

Фронт ушел далеко на восток, и город медленно погружался в гнетущую атмосферу неопределенности за будущее, которую усиленно подогревала фашистская пропаганда, трубившая о взятии Москвы, о скором падении Ленинграда, о том, что сопротивление Красной Армии сломлено и она никогда не оправится от нанесенных ей поражений.

Разрушить ее, донести подлинную правду о положении на фронте стало наиважнейшей задачей организации. Сложность положения усугублялась полнейшим отсутствием газет, радио. И поэтому Клава очень дорожила номером «Правды» от 11 июля 1941 года, найденным случайно на окраине города. Она бережно хранила и не раз перечитывала его. Особенно запала в душу заметка Александра Фадеева. И хотя речь шла о партизанской войне, многое касалось в ней и подпольщиков. В заметке говорилось: «Партизанская война есть не только война силой оружия и не только отрядами. Это — война каждого двора, дома, куста, поголовная война всех мужчин и женщин, всего населения против насильников и грабителей, забравшихся на нашу родную землю. Эта война не знает и не должна знать пощады к врагу, ко всему тому, чем он владеет, ко всему, что может укрепить его силы».

Голос сражающейся Родины должны слышать островчане, так решили комсомольцы. Они переписывали листовки, разбрасываемые нашими самолетами, готовили свои тексты, призывали горожан оказывать сопротивление оккупантам. Тетрадные листки, появлявшиеся порой на самых видных местах, в том числе и на немецких объявлениях, стали темой повседневных разговоров горожан и вызывали бессильную ярость у гитлеровцев.

Успех выпуска листовок поднял настроение. У ребят появилась уверенность в себе и своих силах. Одновременно с распространением листовок подпольщики приступили к сбору оружия и боеприпасов. В городской больнице остались раненые красноармейцы, которых не успели эвакуировать из города при отступлении. Выздоровливающих ждал концлагерь, тяжело раненных — смерть. Судьба советских людей, волею обстоятельств попавших в плен, очень тревожила Клаву. Чтобы как-то помочь им, она через мать Олега Серебрякова проникла в больницу. Постепенно раненые прониклись доверием к заботливой и жизнерадостной сестричке. А вскоре Клава сообщила одному из раненых план побега, осуществить который при сильной охране больницы было делом сложным. И все же побег удался. Клава вела красноармейцев только ей известной дорогой: дворами, огородами на берег Великой, где ее ждал Лева Судаков. Он помог бойцам переодеться, раздал оружие.

Более пятидесяти красноармейцев спасли от неминуемой гибели островские комсомольцы.

Из соседних с Островом деревень поступали известия об успешных действиях партизан, о налетах и засадах, о ипущенных под откос эшелонах. Клава не раз слышала иступленные, испуганные вопли немцев: «Партизанен!» Одной из задач подпольщиков стало установить связь с партизанским отрядом, действовавшим в Сапшхинском лесу. Понадобился не один день поисков, прежде чем удалось это сделать. Облегчало выполнение задачи наличие надежных документов, которые удалось выкрасть из паспортного отдела комендатуры. И все же дорога в партизанский отряд была полна опасности. Клава первая прошла по ней.

В партизанском отряде Клаву внимательно выслушали и дали несколько ответственных заданий: собрать сведения о дислокации немецких частей, об их численности и вооружении, о расположении укрепленных пунктов, о воинских эшелонах, проходивших через железнодорожную станцию.

На обратном пути ее не раз останавливали немецкие патрули, обыскивали, проверяли содержимое плетеной корзины, предусмотрительно взятой с собой из дому, но никто не догадался проверить бумажные пробки, которыми были заткнуты бутылки с молоком. Они были сделаны из свежих номеров «Правды», присылаемой партизанам во воздухе с Большой земли. С тех пор цепочка город — лес — город действовала безотказно. Островские подпольщики твердо теперь знали, что они не одиноки в борьбе.

Несомненным успехом организации было похищение секретных документов. Сделала это небольшая и хрупкая Нина Бережито, работавшая в немецком штабе уборщицей. Однажды вечером Лева Судаков устроил короткое замыкание, а Нина, воспользовавшись темнотой, вынесла документы и передала их Клаве. Как впоследствии выяснилось, это был план окружения Ленинграда.

Повседневные заботы наложили отпечаток на Клаву. Она сильно исхудала, на волевом лице еще резче обозначились скулы и горящие задорным огнем глаза. Она бесстрашно шла в глухую ночь, встречалась с комсомольцами, давала задания и сама их выполняла. Одним из них было нарушение телефонной связи между мощной радиостанцией и Островом. Всякий раз после того, как фашисты

восстанавливали повреждение, кабель оказывался вновь поврежденным. Не помогла и усиленная охрана.

В один из майских дней 1942 года в дверь квартиры, где жила Клава, постучали. Клава открыла. На пороге стояли двое незнакомых ей мужчин и улыбались. «Будто сердце мое чувствовало, что это были за гости», — вспоминала много позднее Евдокия Федоровна Назарова.

Гостями оказались спасенные Клавой красноармейцы. Они были посланы в тыл к немцам командованием фронта с заданием передавать все интересующие сведения по радию. Ежедневно, в определенное время, Большая земля слышала голос островских подпольщиков, а оттуда поступали сводки Совинформбюро, задание штаба фронта.

Большую помощь в работе подпольщиков оказывали их родители. Мать Клавы «стерегла» собрания комсомольцев. Евдокия Федоровна вспоминала: «Случалось мне иной раз у дверей на улице постоять, пока ребята там разговаривают, а то не ровен час немец или полицейский нагрянет». Дом Козловских стал явочной квартирой, отец Дивинского помогал в сборе разведывательных данных. Он-то и предложил Клаве инсценировать нападение партизан на торфоразработки. Многие из рабочих готовы были уйти в лес и взяться за оружие, но опасения, что фашисты жестоко расправятся с семьями, удерживали от этого шага. Операция была разработана и проведена успешно. Подпольщики внезапно напали и разоружили охрану, затем связали мужчин веревками, посадили на телеги и под нарочито громкую ругань и выстрелы двинулись в лес. В результате этой операции партизаны получили дополнительные силы, а родственники ушедших были избавлены от возмездия карателей. Фашистам так и остался неизвестен истинный смысл этого нападения.

Еженедельно из Острова немцы отправляли в Германию десятки советских людей. Клава искала способ помешать угону в рабство, но в самом городе сделать это было практически невозможно. Тогда подпольщики решили организовать нападение на команды карателей, охранявших места, куда сгоняли людей. Одно из таких нападений было организовано подпольщиками в селе Симанском, причем Саше Козловскому и Ане Ивановой удалось прихватить с собой ящик с учетными карточками не только спасенных от неметчины, но и тех, кого ждала такая же участь.

Большинство подпольщиков «добросовестно» трудились на различных должностях в немецких учреждениях и на предприятиях, и лишь только Клава оставалась «безработной». И когда на одном из домов появилась выжженная солнцем фанерная вывеска, на которой фиолетовыми чернилами была выведена неровными буквами надпись: «Пошивочная мастерская мастерицы Семеновой», она решила устроиться туда на работу. Все предприятие состояло из хозяйки и двух ее дочерей, но Клаву взяли ученицей лишь после долгих уговоров — фирма должна иметь незапятнанную репутацию, а тут вдруг одна из работниц — активистка, комсомолка. И поэтому Семенова упрятала ее подальше от людского глаза.

Горожане приносили в мастерскую заказы на пальто, платья, блузки, перешивали старую одежду. Но с некоторых пор не стало отбоя от грошовых заказчиков. Таких хозяйка направляла к Клаве. Так она получила хорошую возможность встречаться с товарищами. Клава внимательно выслушивала их, запоминала сообщаемые сведения и только дома, оставшись наедине, обобщала все в сводку и передавала Саше Митрофанову, который доставлял ее радистам.

Особо важные задания Клава выполняла сама и делала это не из-за недоверия товарищам, но иной раз просто не хотела подвергать опасности других. Так было, когда партизанам понадобились сведения об укрепленных районах немцев в прифронтовой полосе. Более недели она высматривала и наблюдала, а затем, возвратившись, перенесла все виденное на бумагу. Планы были пересланы командованию фронта.

Шла осень 1942 года. Приближался праздник Октября. На одном из собраний было решено отправить письмо воинам Красной Армии. Текст долго обсуждали. В нем говорилось о делах подпольщиков, о решимости вести беспощадную борьбу с захватчиками. Переправить письмо через линию фронта взялся Саша Козловский, уже дважды проделавший этот опасный путь. Но на этот раз удача изменила. Под Делийском группа, в которую, кроме него, входили еще три человека, попала в засаду. Саша Козловский был убит в перестрелке, и письмо попало в руки немцев. Письмо, взятое у Козловского привело гестапо в Остров. Начались повальные аресты. Вечером 7 ноября арестовали Клаву. Следом за ней фашисты схватили Аню Иванову, Колю Михайлова и Костю Дмитриева. Гитлеровцам стало ясно, что в их руках находятся лишь немногие члены подпольной организации, и

поэтому в первые дни пребывания Клавы и ее товарищей в тюрьме они пользовались относительной свободой. Им разрешили передачи, встречи с родными и друзьями. Но надежды гестаповцев на то, что кто-нибудь проговорится и ненароком выдаст оставшихся на свободе, не оправдались. Клава и ее друзья были начеку. Когда стало ясно, что этот прием не даст результатов, фашисты прибегли к проверенному методу — пыткам.

Клаву вызывали на допрос ежедневно, а иногда и по несколько раз в день и избивали с жестокой изощренностью. Но фашисты так ничего и не услышали от нее. Своей улыбкой и отказом выдать товарищей Клава доводила истязателей до бешенства. В один из дней она услышала за дверью знакомый голос. Это вели по коридору ее мать. Евдокию Федоровну поместили в соседней камере. Пожилой женщине пришлось испытать на себе все ужасы фашистского застенка, но она выдержала и ни единым словом не обмолвилась о подпольной деятельности Клавы.

Больше месяца продержали Клаву Назарову в тюрьме. За это время следствие по делу о подпольной организации продвинулось незначительно. Зассе торопили. Население должно знать, как расправляются оккупационные власти с непокорными, и он подписал приказ о казни подпольщиков, которая должна состояться 12 декабря 1942 года.

Было морозное декабрьское утро. На базарной площади толпился народ. На пригорке стояло деревянное сооружение в форме буквы П, наводившее на страшную мысль о его назначении. Когда торговля была в разгаре, на площади появились солдаты и полицаи и принялись сгонять народ к виселице, с которой свешивались четыре веревочные петли. Подъехал «оппель». Из машины вышли офицер и переводчик. Через несколько минут на площадь въехал фургон и остановился у виселицы. Двое солдат отбросили брезент, и взорам горожан предстали смертники. Раздался всеобщий тяжелый вздох, а затем послышался громкий плач. Люди узнали Клаву Назарову.

Офицер достал из кармана листок и принялся читать. Переводчик переводил: «За содействие коммунистам, партизанам и бандитам, за сопротивление новому порядку присуждаются к смертной казни через повешение...»

Клава пробежала взглядом по лицам и крикнула:

«Прощай, любимый город!» Два дюжих фашиста, словно стервятники, вцепились в нее, пытались закрыть рот, но она вырвалась и выкрикнула:

«Верьте, товарищи, наша армия придет!»

Тяжелые кулаки обрушились на Клаву, холодная веревочная петля охватила шею. Напрягая силы, она произнесла последние слова: «Да здравствует Советская власть! Победа будет за нами!»

Фашисты жестоко расправились и с остальными подпольщиками. В этот же день на площади были повешены Аня Иванова и двое советских солдат. В деревне Радобожа фашисты повесили ближайших помощников Клавы по подполью Костю Дмитриева и Колю Михайлова, а в селе Ногине родителей Саши Козловского.

Лишь на третий день немцы разрешили снять тело Клавы и похоронить. Весь город от мала до велика вышел на улицы, чтобы проводить Клаву Назарову в последний путь. Фашисты не посмели помешать этому проявлению всеобщей любви и скорби.

Ни смерть, ни казнь организатора и руководителя подпольщиков не смогли сломить их волю. Они поклялись отомстить за погибших и клятву свою сдержали.

21 июля 1944 года в результате Псковско-Островской операции Остров был освобожден войсками 3-го Прибалтийского фронта. Воины возложили венок на могилу верной дочери Отчизны Клавы Назаровой.

20 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За выдающиеся заслуги в организации и руководстве подпольной организацией и за проявление личной отваги и героизма в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» Клава Назарова была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

Человеческая память. Она бережно сохранила образ негибаемой подпольщицы, открытую, жизнерадостную улыбку, звонкий девичий голос. И кажется, будто и теперь он звучит под высокими сводами школы имени Ленина, где в одном из классов стоит ее парта, где руками школьных умельцев создан музей и бережно хранятся как бесценные реликвии ее фотографии и личные вещи.

О ней сложены легенды, ее имя носят пионерские дружины, улицы Острова и Пскова, ее подвиг воспет в стихах:

*Горела земля под ногами
В тылу у фашистских солдат.
На лютую схватку с врагами
Вела возмужавших орлят.
О городе Острове славу
По свету она разнесла.
Навеки подпольщица Клава
На камень гранитный взошла»*

Борис КОСТИН

Олег КОШЕВОЙ

Всю жизнь отдам за Родину свою,
— За наш народ, за нашу дорогую,
Прекрасную Советскую страну.

...Он любил и писал стихи. Мечтал стать инженером. Увлекался спортом. Обожал музыку. Прекрасно танцевал. Елена Николаевна Кошешая, мать Олега и его преданный друг, говорит о нем: «Главная черта Олега — любил людей. С самого детства. Маленький был — одаривал всех конфетами, сам от подарков удовольствия не имел, когда не делился. Рослый, широкоплечий, он выглядел старше своих лет. У него были большие карие глаза, длинные ресницы, ровные широкие брови. Высокий лоб, русые волосы. Олег никогда не болел. Он был на редкость здоровым мальчиком. В школу Олег поступил с семи лет. Учился очень хорошо и с большой охотой». Лучшими книгами он считал «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей», «Овод».

Он был сыном великой страны, преданным ей до последней частички своей жизни и любившим ее как родную мать.

Таковыми были и его друзья:

Иван Земнухов,
Сергей Тюленин,
Ульяна Громова,
Любовь Шевцова,
Иван Туркенич,
Валерия Борц,
Георгий Арутюнянц,
Оля и Нина Иванцовы.

Таковыми были все члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Они не могли быть другими. Со дня рождения и на протяжении всей своей короткой и напряженной жизни перед ними были героические примеры их отцов и старших братьев, свершивших величайшую в истории революцию. Они впитали героическую

романтику первых пятилеток, мечтали о комсомольских стройках. Их кумирами были Ворошилов, Буденный, Щорс, Чапаев, Чкалов. Им они подражали, на них стремились быть похожими в своей жизни.

В 1940 году, когда Кошевые из города Канева, что на Днестре, приехали в город Краснодон, Олег вливается в дружную семью школы № 1 имени Горького. Он член ученического комитета, редактирует школьную газету, занимается в литературном кружке, выступает на художественных олимпиадах. Всегда активный, жизнерадостный, готовый прийти на помощь, Олег имел авторитет среди товарищей. Его любили и уважали. Здесь, в школе, его принимают в комсомол, здесь он знакомится с Ваней Земнуховым, Валерией Борц, Георгием Арутюнянцем и с другими будущими молодогвардейцами.

* * *

Началась Великая Отечественная война, гитлеровцы упорно продвигались по нашей земле.

Фронт неумолимо приближался к Краснодону.

Олег, как и все советские юноши и девушки, рвался в бой с фашистами. Статьи о Зое Космодемьянской, Гастелло и других героях знали наизусть. И каждый думал: «А как я, смог бы?»

«Однажды зимним вечером я принес из штаба домой свежие газеты, — вспоминает бывший комиссар интендантского отдела 18-й армии В. Д. Говорущенко, квартировавший тогда у Кошевых. — Олег, перебирая их, увидел статью о героическом подвиге и смерти Зои Космодемьянской. Эта статья его глубоко взволновала. Он долго просидел у меня в комнате. На этот раз мы беседовали о партизанской борьбе в тылу врага. Олег говорил, что в условиях Донбасса, где есть закаленный рабочий класс, можно развернуть широкое партизанское движение. Надежные люди для этого найдутся и среди молодежи».

На квартире Кошевых стали часто собираться Ваня Земнухов, Саня Остапенко, Степан Сафонов, Нина и Оля Иванцовы, Валя Борц. Они записывали по приемнику сводки Совинформбюро, готовили листовки-«молнии», собирали медикаменты для раненых.

По предложению Олега ребята начали практически готовить себя к борьбе. Почти каждый вечер они вместе с Говорущенко направлялись

к террикону шахты № 2-бис, где учились стрелять из боевого оружия. Вскоре ребята стреляли как заправские стрелки.

9 июля 1942 года в Краснодоне была объявлена эвакуация. Вместе со всеми оставил город и Олег. Под постоянными налетами фашистских самолетов беженцы добрались до Новочеркасска. Но дальше идти нельзя — дороги отрезаны. И Олег возвращается в Краснодон, пронеся через жандармские заставы самое дорогое — своп комсомольский билет. В городе он встретил своих товарищей, будущих молодогвардейцев.

А фашисты уже устанавливали в городе «новый порядок». Была создана управа, биржа труда. Прибыло гестапо. Город наполнила полиция. Кровавый террор, насилие, угрозы, массовые аресты и облавы принесли гитлеровцы в Краснодон.

«Олег, — вспоминает Елена Николаевна, — был хмурый, почерневший от горя. На лице его уже не появлялось улыбки, он ходил из угла в угол, угнетенный и молчаливый, не знал, к чему приложить руки. То, что делалось вокруг, уже не поражало, а страшным гневом давило душу сына».

Он говорил матери:

— Чем жить на коленях, лучше умереть стоя!

В Краснодоне появилась листовка ЦК ЛКСМУ к молодежи Донбасса. Ее передавали из рук в руки. Она показывала путь дальнейшей борьбы, ставила конкретные цели.

«Молодежь городов и сел Донбасса! Каждый час приближает наше освобождение от фашистского ига. Поднимайтесь все, как один, на великое всенародное восстание, идите в партизанские отряды! Уничтожайте врага днем и ночью! Разрушайте пути, мосты и железные дороги, режьте телефонные провода, уничтожайте презренных изменников Родины... Молодые партизаны и партизанки! вперед! Уничтожайте всех до последнего гитлеровского захватчика... Фашисты гонят советских людей на рабский ТРУД в Германию. Разъясняйте везде, чтобы прятались и не шли в немецкий тыл на каторгу наши люди. Помогайте им вырваться из рук фашистов... К оружию, товарищи!»

Пламенные слова листовки зажигали, звали к борьбе. Нужно действовать.

И ребята решили немедленно установить связь с населением города и начать сбор оружия.

Пусть знают фашисты — советские люди не покорились насилию.

Одну из первых листовок составляли Олег и Ваня Земнухов.

«Земляки! Краснодонцы! Шахтеры!

Всё брешут гитлеровцы. Они принесли горе и слезы в наш город. Они хотят запугать нас, поставить нас на колени. Помните: мы для Гитлера — рабы, мясо, скот! Мы все лучше предпочитаем смерть, нежели немецкую неволю. Правда победит. Красная Армия еще вернется в Донбасс. Сталин и правительство в Москве. Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается...

Мы будем рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы она ни была горькой для России. Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок.

Смерть немецким оккупантам!»

Ребята смонтировали приемник. По общему согласию Олег установил его у себя. И вот первое сообщение Сов-информбюро, первая его лихорадочная запись.

«Было очень трудно записывать новости, — вспоминает Толя Лопухов, — но Олег Кошевой настолько приспособился, что всегда вел записи очень быстро. Потом листовки писали от руки, позже печатали в созданной подпольной типографии. Вся эта работа проходила через Кошевого и Земнухова».

Листовки размножались и расклеивались по городу всеми членами организации. Это стало каждодневной работой молодых подпольщиков. Олег брал на себя расклейку в самых людных и опасных местах города.

Множились ряды подпольщиков, разнообразнее становились их действия. Сформировалось руководящее ядро: Олег Кошевой, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Василий Левашов. И самое главное — отныне ими руководит партийное подполье Краснодона во главе с Филиппом Петровичем Лютиковым. Он предложил молодым патриотам объединиться в единую подпольную организацию. Ребята приняли это предложение.

Последним толчком к окончательному оформлению организации послужила зверская расправа над шахтерами Краснодона. Их арестовали в первые дни оккупации и долго пытали. А в ночь с 28 на

29 сентября 1942 года, повязав колючей проволокой, вывезли в городской парк и стали закапывать живьем. Среди них начальник шахты № 22, коммунист с семнадцатого года А.А. Валько, начальник шахты № 5 Г.Ф. Лаукянц и парторг этой же шахты С.С. Ключов, начальник пятого участка шахты № 12 П.А. Зимин.

Отбиваясь от гитлеровцев, Валько воскликнул:

— Знайте, проклятые, за каждую каплю нашей крови вы дорого заплатите! Наши все равно придут! Они отомстят за нас!

Петр Зимин запел «Интернационал». Пение подхватил Валько, за ним — остальные.

На следующий день, после казни коммунистов и патриотов, собрание представителей подпольных молодежных групп приняло решение: всем группам объединиться в единую подпольную комсомольскую организацию. Секретарем организации избрали Олега Кошевого.

Сергей Тюленин предлагает назвать ее «Молодая гвардия». Все единодушно соглашаются. Для руководства организацией избирается штаб. В него вошли Ульяна Громова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Василий Левашов, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова. Как секретарь комсомольской организации и член штаба Кошевой с целью конспирации получил псевдоним «Кашук».

Нужна клятва. Такая, какую давали их отцы и братья, борясь в подполье в гражданскую войну. Ее составил Олег Кошевой.

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии».

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуются моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая Рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Закончив читать клятву, Олег поднял на товарищей свои полные радости и доверия глаза.

— Ребята! Вдумайтесь хорошо в слова нашей клятвы Родине. Если кто слаб душой... лучше отойдите молча, сейчас, сразу.

Слова Олега прозвучали сурово и требовательно.

Никто не поднялся. Клятву приняли все.

Об этом торжественном моменте в жизни молодогвардейцев вспоминает Радик Юркин: «Олег Кошевой выстроил всех собравшихся, затем вызывал из строя по одному. Когда Олег назвал мою фамилию, меня охватило волнение. Я сделал два шага вперед, повернулся лицом к товарищам и застыл в стойке «смирно». Затем Олег вполголоса, но очень отчетливо начал читать текст клятвы. Я за ним повторял:

«Я, Юркин Радик Петрович, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...

Кровь за кровь, смерть за смерть!»

Он мне пожал руку, поздравив от имени штаба с принятием клятвы. «Твоя жизнь, Радик, отныне принадлежит «Молодой гвардии», ее делу», — сказал Олег.

Из воспоминаний члена «Молодой гвардии» Ольги Иванцовой: «Я хорошо помню волнующий момент принятия клятвы подпольщиками «Молодой гвардии». Один за другим по вызову Олега Кошевого мы подходили к столу и подписывались. После принятия клятвы запели «Интернационал». Это был самый торжественный момент в жизни нашей подпольной организации».

«Еще вчера, — писал Александр Фадеев в своем знаменитом романе «Молодая гвардия», — они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные, и вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно разорвали прежнюю дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь — дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы

по крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли».

Эта связь помогала молодогвардейцам вести неравную борьбу с сильным и коварным врагом, быть единым коллективом, находить в себе силы и смелость, убежденность в справедливости дела, которое они вершили.

Строки из постановления Ворошиловградского обкома Компартии Украины от 10 февраля 1959 года «О партийном руководстве подпольной комсомольской организацией Краснодона «Молодая гвардия»: «Рассмотрев архивные документы и дополнительно собранные и обобщенные комиссией обкома КП Украины материалы о деятельности подпольной большевистской организации в городе Краснодоне 5 период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками Ворошиловградской области, бюро обкома КП Украины отмечает активную работу коммунистов-подпольщиков Краснодона по организации борьбы советских патриотов против оккупантов.

Оставленный Краснодонским райкомом партии для работы в тылу врага, коммунист Лютиков Филипп Петрович возглавил подпольную большевистскую организацию города Краснодона, которая с первых дней оккупации города Краснодона повела активную политическую агитацию среди населения, создавала подпольные группы из числа советских патриотов и особенно молодежи для активной боевой деятельности против захватчиков...

Большевистская подпольная организация привлекла к борьбе с оккупантами комсомольцев и лучшую часть молодежи Краснодона, сплотила их и создала подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия».

* * *

В сентябре 1942 года Мария Андреевна Борц, мать Валерии Борц, подарила Олегу «Избранные произведения» М. Горького. На первой странице книги она написала: «Дорогому Олегу! Дорогой мой мальчик!

Всегда помни слова великого писателя: «Безумству храбрых поем мы песню. Безумство храбрых — вот мудрость жизни».

В те дни, когда Олег и его товарищи вступили на путь борьбы, эти слова великого пролетарского трибуна звучали для них особенно вдохновенно.

Олег говорил товарищам-молодогвардейцам: «Есть такой лозунг: храбрые умирают один раз, трусы — много раз до смерти. Я не хочу быть последним. Наша священная обязанность — уничтожить эту проклятую чуму, и я готов жизнь свою отдать в любой момент за освобождение нашей любимой Родины...»

Олег часто навещал комсомольцев и молодежь Краснодона, селений Изварино, Первомайка, бывал в селах Шеверовка, Гераспивка. Вел беседы, давал задания, советовал, как выполнить их наилучшим образом.

— Приходил к нам вестник радости и источник вдохновения, — говорили об Олеге товарищи.

Вместе с другими молодогвардейцами он участвует во многих боевых операциях: подпольщики жгли скирды хлеба, уничтожали фашистский транспорт, взрывали учреждения. Серьезными боевыми операциями молодогвардейцев были операции по освобождению советских военнопленных, по предотвращению угона гитлеровцами молодежи на каторгу в фашистскую Германию.

А на Октябрьские праздники 1942 года молодогвардейцы решили вывесить в городе красные флаги. Задание распределили между несколькими группами. Одни должны были подготовить полотнища, другие — вывесить их на самых высоких зданиях Краснодона. Кроме того, напечатать и распространить листовки. К тому времени у «Молодой гвардии» уже была своя подпольная типография. Еще в августе Володе Осьмухину, Анатолию Орлову и Георгию Арутюнянцу удалось смастерить примитивную типографию. Шрифт по литерам собирали в развалинах типографии районной газеты «Социалистическая Родина». Разместили типографию в малоприметном домике на окраине города, где жили Арутюнянцы. Работали поздно вечером или ночью, при наглухо занавешенном окне.

Никто из ребят никогда в жизни не печатал, не набирал в типографиях и не представлял себе, как это делается. Учились уже в работе.

6 ноября члены штаба собрались на квартире у Олега.

Каждый отчитался о проделанном.

...В эту ночь ребята не спали. Одни во главе с Олегом развешивали флаги, а Георгий Арутюнянц, Вася Левашов, Ваня Земнухов, Володя Осьмухин, Виктор Третьякевич, Толя Орлов набирали листовки. Уже набрали половину листовки с текстом выступления И.В. Сталина на торжественном заседании Московского городского Совета, посмотрели, а оказалось, все наоборот. Весь шрифт перевернули и начали все сначала. Но все же успели отпечатать и распространить.

Утром краснодонцы читали листовки и пересказывали друг другу слова торжественного доклада.

— Слыхали? Скоро и на нашей улице будет праздник.

Радостное настроение краснодонцев усиливалось краевыми флагами на всех высоких зданиях, вышках шахт, терриконах.

Из отчета Ивана Туркенича: «В распространении листовок участвовали все члены подпольной организации. Особую находчивость, смелость и дерзость в этом деле проявили Олег Кошевой, Сережа Тюленин и Ваня Земнухов.

Листовки, подписанные тремя буквами ШМГ (штаб «Молодой гвардии»), появлялись везде: на стенах немецких учреждений, в корзинах торговки на базаре, в церкви и в кино... Так, во время своей деятельности «Молодая гвардия» выпустила и распространила в городе Краснодоне около 30 отдельных листовок тиражом около 5 тысяч экземпляров».

Молодогвардейцы рвались в бой. Но никто из них не имел навыков боевой деятельности в условиях подполья. Нужна была величайшая конспирация. Олег вместе с боевым руководителем штаба Иваном Туркеничем, имеющим военный опыт, прилагали большие усилия, чтобы учить ребят боевой подпольной работе, удерживать от необдуманных действий. Укрепляли дисциплину и порядок. Но в то же время Олег учился сам. Постоянно, каждодневно. Не было совершено почти ни одной операции молодогвардейцев, в планировании которой не принимал бы участия Олег.

Особенно детально обсуждался план поджога биржи труда, где хранились поименные списки всех подлежащих угону на каторгу в Германию. Членам штаба стало известно, что на бирже труда заготовлены документы на две тысячи молодых краснодонцев,

которых через несколько дней должны были отправить эшелонами на фашистскую каторгу. Нужно было что-то немедленно предпринять.

На экстренном заседании штаба было решено биржу со всеми документами сжечь и тем самым сорвать преступную акцию оккупантов;

Осуществление операции поручили Сергею Тюленину, Любе Шевцовой и Виктору Лукьянченко. Последние наставления командира Ивана Туркенича, комсомольского секретаря Олега Кошевого. И группа ушла.

...В ночь на 5 декабря Олег не спал, он еще и еще раз продумывал все детали операции, взвешивал каждый шаг товарищей. Все ли рассчитано так, чтобы была обеспечена их безопасность?

Три дня Люба, Сергей и Виктор внимательно изучали расположение комнат, установили, где находятся шкафы с делами. Потом откопали во дворе дома Сергея ящик с бутылками горючей жидкости, который он там спрятал перед отступлением наших частей, и часть из них принесли и спрятали недалеко от биржи.

Люба прихватила с собой мед и листы бумаги. Намазав медом бумагу, наклеили ее на стекло окна, находившегося в задней части здания. Затем Сергей и Люба проникли внутрь дома, а Витя, улавливая моменты, когда часовой уходил во внутреннюю сторону здания, подавал им бутылки со смесью. Быстро облили двери, полы комнат. Подождав, пока Люба вылезет наружу, Сергей поджег несколько палочек артиллерийского пороха и бросил их внутрь комнат. Огонь моментально распространился по всему зданию...

После поджога биржи молодогвардейцы поняли, что им необходимо искать новые формы борьбы с гитлеровцами, чтобы запутать свои следы. Ваня Земнухов предложил замаскировать деятельность подпольной организации кружковой работой в клубе имени Горького.

Обсуждение в штабе организации вопроса о «клубной работе» было оживленным и веселым. Всем идея пришлась по душе, и предложениям не было конца.

Однако надо бы сначала убедить городское начальство в необходимости открытия клуба. Как это сделать?

По предложению Олега решили посоветоваться с руководством партийного подполья Краснодона.

Через некоторое время Женя Мошков, который был связным между партийным и комсомольским подпольем, сообщил Олегу об одобрении идеи. Мошкову же как мастеру на все руки и любителю самодеятельности было предложено подготовить показательный концерт и продемонстрировать начальству.

Готовились старательно и спешно. И вот в один из воскресных дней в клубе собралось гитлеровское местное начальство и члены управы. Концерт понравился. А через несколько дней получили разрешение на работу клуба, директором которого по указанию Ф.П. Лютикова стал Мошков. Он сразу же организывает здесь несколько кружков художественной самодеятельности, «артистами» которых стали многие подпольщики.

Руководство этими кружками также возглавили молодогвардейцы. Ваня Земнухов был принят на должность администратора.

Все участники кружков зарегистрировались на биря^е труда, и им были выданы удостоверения.

Клуб заработал. Вихрем кружилась на сцене Люба Шевцова, мастерски играл на балалайке Сергей Тюленин, делал свои акробатические упражнения Анатолий Ковалев. Теперь под предлогом репетиций легко было маскировать собрания. Клуб стал прекрасной ширмой «Молодой гвардии». Здесь проходили заседания штаба организации, разрабатывались планы предстоящих операций.

Работа клуба стала частью деятельности штаба, она занимала и Олега. Но его беспокоили выдумки молодогвардейцев, которые часто были очень острыми и могли вызвать подозрение властей. Особенно отличался на них Володя Осьмухин. Смелый, решительный, страстно ненавидящий оккупантов и их приспешников, он нередко собирал вокруг себя группу ребят и иногда даже в присутствии офицера жандармерии, устремив «невинный» взгляд на портрет Гитлера, азартно напевал перефразированный куплет известной песни:

*«Эх, расскажи, расскажи, бродяга,
Чей ты родом, откуда ты?
Ой да и получишь скоро по заслугам,
Как тебя солнышко пригреет,
И ты уснешь глубоким сном».*

Олег не раз разговаривал с «работниками клуба» — молодогвардейцами. И эти разговоры не проходили бесследно. Молодогвардейцы старались быть более осмотрительными, строже соблюдать конспирацию в своих действиях.

* * *

В борьбе комсомольская организация росла и развивалась. Отбор и прием в организацию новых членов были первейшей заботой Олега. Об этом он не забывал со дня основания подпольной организации. Своими смелыми действиями против оккупантов «Молодая гвардия» привлекала в свои ряды все новых и новых участников. Уже в октябре 1942 года она насчитывала 35 человек, в ноябре этого же года — 68, в декабре — 92. Молодогвардейцы устанавливали тесную связь с подпольщиками Ворошиловграда, Боково-Антрацита, Ровенок, Новосветловска, Каменска и других городов и поселков, прилегающих к Краснодону.

Каждый член «Молодой гвардии» должен быть комсомольцем, не раз подчеркивал Олег.

Хотя прием в комсомол проходил в условиях сурового подполья, Олег строго придерживался основных уставных положений ВЛКСМ. Когда в организации появился печатный станок, молодогвардейцы решили печатать комсомольские билеты и вручать их вновь принятым в комсомол.

Из материалов комиссии Ворошиловградского обкома Компартии Украины по установлению деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне: «Вместе с вербовкой новых членов «Молодая гвардия», по указанию большевистского подполья, развернула прием молодогвардейцев в члены ВЛКСМ. Вступая в комсомол, юноши и девушки в своих заявлениях писали: «Прошу принять меня в члены ВЛКСМ. Буду честно выполнять любое задание организации. Если потребуется, то отдам и жизнь за дело народа, за дело великой партии Ленина».

Заявления эти рассматривались комсомольской организацией, и после приема Олег Кошевой, как секретарь организации, за подписью «Кашук» выдавал временные комсомольские билеты, действительные

на период войны. Эти билеты печатались в примитивной типографии, организованной молодогвардейцами...»

О том, как изготовлялись комсомольские билеты, есть несколько строк в отчете ЦК ВЛКСМ Ивана Туркенича, Писать их от руки было неудобно. «Нужен был шрифт. А где его взять? После долгих поисков кто-то предложил самим сделать шрифт — вырезать из резины. За дело взялся наш художник и гравёр Сеня Остапенко. Ему помогли Георгий Арутюнянц и Анатолий Орлов. Кропотливой была эта работа, но товарищи справились с ней довольно быстро и ловко. Через некоторое время Олегу передали отпечатанные с помощью нового шрифта бланки комсомольских удостоверений. После этого Олег, секретарь нашей комсомольской организации, приступил к торжественному вручению удостоверений и стал принимать членские взносы».

* * *

Шел декабрь 1942 года. Советские войска добивали окруженную под Сталинградом группировку врага. Переходили в наступление другие фронты.

По рекомендации партийного подполья во второй половине декабря 1942 года штаб подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» принимает решение создать партизанский отряд «Молот». Командиром отряда назначается Иван Туркенич, комиссаром — Олег Кошевой. Им и подписан первый приказ по штабу партизанского отряда.

Приказ

по штабу партизанского отряда «Молот»

19 декабря 1942 г. № 1, г. Краснодар

§ 1

Каждый член отряда должен хранить военную тайну, быть бдительным и дисциплинированным.

За нарушение вышестребуемого виновный будет подвергнут высшей мере наказания.

§ 2

Приказ командира — закон.

Полученное задание член отряда должен обязательно повторить и сразу же приступить к его выполнению. Об исполнении донести по команде.

Комиссар п. о. «Молот» «Кашук».

Приказ суровый. Требующий абсолютной дисциплины и подчинения. Но в условиях постоянной жестокой слежки и провокаций иначе было нельзя. И это хорошо понимали ребята, стараясь не вызывать нареканий ни от командира, ни от комиссара.

После своего создания партизанский отряд «Молот» стал усиленно вооружаться, чтобы перейти к открытой вооруженной борьбе.

К декабрю на складе молодогвардейцев уже было 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч патронов, 10 пистолетов, более 60 килограммов взрывчатки. Оружием были обеспечены все члены отряда. Но они знали, что скоро оружия понадобится очень много. Они готовились к восстанию.

Используя сложившуюся на фронте обстановку, партийное подполье Краснодона приняло решение сконцентрировать силы и нанести удар по фашистам с тыла. В связи с этим Ф.П. Лютиков созвал собрание коммунистов-подпольщиков и руководящий состав молодогвардейцев. Выработали план вооруженного нападения на фашистский гарнизон, определили время.

После собрания подготовка к нападению развернулась в полную силу. «Олегу некогда было поесть и отдохнуть, — вспоминает мать. — К своим любимым шахматам он уже и не притрагивался. Похудел, осунулся. Все чаще Ее ночевал дома. Ради конспирации ребята собирались на заседания штаба по очереди у кого-либо из товарищей

на окраине города: у Валерии Борц или у Радика Юркина, у Жоры Арутюнянца, у Нины Иванцовой.

Ночи, когда сын не приходил домой, были для нас всех тяжелыми, наполненными тревогой. Я не спала, в голову лезли страшные мысли, нападало отчаяние.

Мы пробовали говорить с Олегом, просили его беречь себя, отдохнуть, но Олег сводил все наши разговоры на шутку:

— Отдыхать будем, когда немцев прогоним...»

Встречу 1943 года молодогвардейцы отметили новыми акциями против оккупантов. 28 декабря через город прошло много машин с новогодними подарками для немецких солдат и офицеров. Одна из них из-за неисправности осталась в городе на ночь. Валя Борц и Сергей Тюленин узнали об этом и доложили Олегу и Туркеничу. По их указанию через связных была собрана группа в 10 человек, которая в течение ночи перенесла все содержимое машины в клуб имени Горького. Часть продуктов раздали населению, другую отнесли на склад в городскую баню.

Гитлеровцы бесились. Полицейские никак не могли напасть на след подпольщиков. Усилили слежку, облавы.

А утром в первый день нового, 1943 года по городу снова были распространены листовки с призывом уничтожить фашистских оккупантов и их прислужников. Листовка предупреждала: «Смерть вам, немецкие оккупанты, и вам, их лакеи и изменники! Заверяем вас, что вы в последний раз встречаете у нас Новый год!.. Красная Армия скоро уже сотрет вас с лица земли».

* * *

Аресты начались в это же утро. Нашелся ничтожный трус и предатель. Он написал заявление и, вызванный в полицию, рассказал о деятельности молодогвардейцев и выдал всех, кто был ему известен.

Сразу же арестовали Евгения Мошкова, Виктора Третьякевича и Ваню Земнухова.

Выйдя из дома, Олег увидел, как повели Ваню в полицию, и сразу все понял.

«Нужно немедленно спасти товарищей, спасти организацию». Эта мысль возникла сразу же и не покидала Олега все время.

Худшие опасения подтвердил Сережа Тюленин, который первый узнал об арестах и уже сообщил всем ребятам. Экстренно собрали на квартире Анатолия Попова заседание штаба. Приняли решение: всем молодогвардейцам небольшими группами немедленно оставить Краснодон и скрыться. Всем идти к линии фронта.

Олег уходил вместе с Тюлениным, Борц, Ниной и Олей Иванцовыми.

Из Краснодона сумели выйти Степан Софонов, Радик Юркин, Георгий Арутюнянц, Василий Левашов, Анатолий Лопухов. Скрывался в городе, а затем ушел в сторону фронта Иван Туркенич.

Остальные попали в руки полиции.

Но и те, кому удалось вырваться из Краснодона, не все смогли перейти линию фронта.

После неудачных попыток прорваться через фронт вернулся в Краснодон Олег Кошевой. Домой зайти не смог, там его ожидали немецкие жандармы. Тогда он идет в селение Боково-Антрацит, где рассчитывает спрятаться у знакомых до прихода частей Красной Армии.

Его задержал патруль полевой жандармерии и привел в полицию, откуда переправили в Ровеньковское окружное отделение гестапо. Там уже были его друзья, схваченные полицией.

Олега, как и других молодогвардейцев, страшно мучили и пытали. Но он остался верен своей клятве, Родине, своим убеждениям комсомольца.

Когда начальник полиции на очередном зверском допросе поинтересовался, что заставило его вступить в борьбу, Олег ответил: «Любовь к Отчизне и ненависть к вам».

У него нашли печать «Молодой гвардии» и несколько чистых бланков временных комсомольских удостоверений. И это то, что он не сумел скрыть от палачей.

Весь избитый и изуродованный, синий от побоев и застывшей под кожей крови, он убеждал товарищей:

— Не давайте радоваться палачам! Держитесь, товарищи! Наши всё узнают, нас не забудут.

Олега расстреляли 9 февраля 1943 года в Гремучем лесу в Ровеньках.

Вместе с ним ушли в бессмертие его верные друзья и товарищи: Люба Шевцова, Семен Остапенко, Василий Субботин, Дмитрий Огурцов.

А через несколько дней фашистские палачи расстреляли и сбросили в шурф шахты № 5 других героев-краснодонцев. Это были подпольщики-коммунисты Филипп Петрович Лютиков, Николай Петрович Барakov, Герасим Тихонович Винокуров, Даниил Сергеевич Выставкин. С ними молодогвардейцы: Ульяна Громова, Иван Земнухов, Николай Сумской, Лиза Андросова, Миша Григорьев — 71 человек. Они стали символами стойкости, величия духа, любви к Родине и ненависти к ее врагам.

Родина высоко оценила их подвиг, наградив орденами и медалями.

Правофланговые советской молодежи
Олег Кошевой,
Иван Земнухов,
Ульяна Громова,
Сергей Тюленин,
Люба Шевцова

удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

* * *

Из докладной записки Центрального Комитета КП(б)У па имя Центрального Комитета ВКП(б) от 8 сентября 1943 года: «Вся деятельность «Молодой гвардии» способствовала усилению сопротивления населения оккупантам, вселяла веру в неизбежность разгрома немцев и восстановления Советской власти. Члены «Молодой гвардии» явились подлинными организаторами молодежи в тылу врага, они показали образцы беззаветной храбрости и мужества в борьбе с немецкими оккупантами».

15 сентября 1943 года газета «Правда» писала: «Пройдут годы, исчезнет с земли гитлеровская погань, будут залечены раны, утихнет

боль и скорбь, но никогда не забудут советские люди бессмертный подвиг организаторов руководителей и членов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». К их могиле не зарастет народная тропа».

В Краснодаре им поставлен памятник, открыт музей, туда идут и пишут письма, полные восхищения и признательности, люди со всего мира. Именами молодогвардейцев названы школы, предприятия, корабли...

Это об Олеге Кошевом и его товарищах «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин сказал слова, нашедшие сегодня свое подтверждение в тысячах и тысячах примеров: «Они будут служить для молодого поколения образцом высокого служения Родине, беззаветной преданности ей».

Владимир ЗАМЛИНСКИЙ

Зинаида ПОРТНОВА

Девочки уезжали в деревню в первых числах июня. Билеты на поезд были куплены за несколько дней, а чемодан упакован заранее. И хотя к отъезду все давно уже было готово, мать с утра исхлопоталась.

Решение отправить детей на все лето к бабушке в поселок Оболь Витебской области было принято давно, и до самого последнего дня она была спокойна, а вот перед разлукой сердце ее затосковало. Одно мгновение она даже хотела отложить, отъезд, но, вспомнив, что отослана телеграмма и что бабушка, поди, заждалась теперь внучек, которых не видела, почитай, целую вечность — как она писала в письмах, — решила не передумывать. Большой вокзал с колоннами встретил их шумом и суетой.

В вагоне отец, без труда отыскал их место.

— Как поезд тронется, — сказала мать, — поужинайте и ложитесь спать. Пишите почаще. Слушайте бабушку и помогайте ей по хозяйству.

Отец посмотрел на часы:

— Пять минут до отправления.

Родители поцеловали детей и стали пробираться к выходу.

...За перелеском, слева от станции, пропел свисток паровоза. А немного погодя стал нарастать шум и грохот приближающегося состава.

— Идет никак? — сказала Евфросиния Ивановна.

— По графику, — ответил Федя, который приехал на телеге.

Минута-другая — и вот уже лоснящийся от масла паровоз, сбавляя скорость, стал притормаживать. Перед нетерпеливым взглядом Евфросинии Ивановны мелькнуло множество незнакомых лиц в окнах — нет, не они. И вдруг что-то очень знакомое и близкое увидела она в озорных и радостных глазах двух девочек. Поезд остановился. Зина и Галя выпорхнули из вагона и кинулись на шею бабушке.

Вскоре они въехали в поселок с бревенчатыми серыми домами.

В бабушкиной избе было уютно и хорошо. Евфросиния Ивановна угощала Зину и Галю чаем с вишневым вареньем, а девочки,

счастливые и радостные, рассказывали о Ленинграде, о маме и папе, о себе и о том, как они доехали.

А вечером около дома Евфросинии Ивановны Фруза Зенькова из деревни Мостищи собрала молодежь. Пригласила и ленинградских гостей. Ребята сходили в лес за сушняком и на лужайке разожгли костер.

Они долго сидели вокруг костра, рассказывали смешные истории и веселились. Костер шумно потрескивал, жаркое пламя его высоко взвивалось вверх к темно-синему небу, в непроглядной глубине которого ярко мерцали крупные звезды...

Когда началась война и немцы захватили поселок Оболь, Зине шел всего-навсего четырнадцатый год.

С появлением немцев в Оболи Зина не выходила из дома и ни на минуту не отпускала от себя сестренку Галю. Даже Евфросиния Ивановна редко переступала порог и постоянно держала дверь на запоре.

Выходить из дома вечером было опасно: расклеенный по поселку приказ под страхом смерти запрещал жителям появляться на улице с наступлением темноты.

Фруза Зенькова знала о немецком приказе и все равно, лишь только стемнело, вышла из дому. С учителем Маркиямовым и Натальей Герман она встретилась в лесу.

Присели на старый, замшелый ствол дерева.

— У нас к тебе, Фруза, серьезный разговор, — начал Борис Кириллович.

— Я слушаю, — ответила Фруза.

— Время такое пришло, что сидеть сложа руки нельзя. Надо помогать Красной Армии.

— Как? Немцев бить? — спросила Фруза.

— Не торопись. Сейчас надо подумать о другом. То, что по силам... Вот секретарь райкома комсомола Наталья Герман объяснит.

Девушка, сидевшая рядом, подвинулась ближе, сказала:

— Надо создать отряд. Собери комсомольцев и поговори с ними по душам. Узнай, о чем они думают. Только осторожно. Это тебе, Фруза, поручение от подпольного райкома комсомола. Нам необходимо создать отряд из местной молодежи внутри немецкого гарнизона.

— Трудно, — взволнованно ответила Фруза. — Смогу ли я?

— Да, дело непривычное. Но ты должна суметь это сделать, — сказал Маркиямов. — И райком партии на тебя надеется. Это я предложил твою кандидатуру. Ребятам сейчас нужен вожак. Ну как, согласна?

Фруза уверенно и твердо ответила:

— Да, согласна.

— Всегда помни, что ты не одна. Мы будем помогать. Борис Кириллович уходит с партизанским отрядом. Все контакты будете поддерживать с ним через связного, — сказала Наталья Герман.

— С чего начинать? — спросила Фруза.

— Главное — создать боевое ядро, — ответил Маркиямов. — Для начала поговори с Марией Дементьевой и Марией Лузгиной. Они девчата боевые. Пусть позовут в вашу группу Зину Лузгину, Валю Шашкову, Владимира и Женю Езовитовых. Вот как создадите инициативную группу, только тогда будете действовать. Для начала соберитесь все вместе. Будто на вечеринку. И побеседуйте.

— Хорошо, — ответила Фруза.

Федя Слышанков приходился Зине двоюродным братом. Как-то раз он пришел с кринкой молока к бабушке и встал у порога.

— Ты чего, Федь? — спросила Евфросиния Ивановна.

— Проведать забежал. Как вы тут живете-можете?

— По-всякому, — ответила Зина. — А вы как?

— У нас в Оболи немчуры полно. В школе комендатуру устроили. Шкафы с книжками повыкидывали. Часовых понаставили. И везде приказы наклеили, чтобы оружие, кто имеет, сдавали.

— Ну а еще какие новости?

— Немцы полицию создали. Начальника поставили.

— Кого? — Евфросиния Ивановна приподнялась с печки.

— Экерта. В немецкой фуражечке ходить стал и с пистолетом.

— Переметнулся, — охнула Евфросиния Ивановна. ~~ Это уж точно, — подтвердил Федя. — Оборотень он.

Федя встал, подошел к черному круглому репродуктору, висящему на стене, и покрутил настройку.

— У вас тоже не говорит, — сокрушенно вздохнул он. — Хоть бы словечко шепнул. Как там наши войска?.. Москва как?.. Эх, «Правду»

бы сейчас почитать или хотя бы нашу районную. Я вот до войны не любил газеты читать. Скучно, считал. А сейчас, попадись мне в руки газета, наизусть выучил бы.

— Зачем?

— Другим бы рассказывал.

— Верно. Только рассказывать самому опасно. По-моему, об этом лучше в листке написать и повесить на видном месте.

— К партизанам бы сейчас податься. Вот было бы здорово.

— А есть они? — Зина подошла к Феде.

— А как же... Должны быть. Народ врать не станет.

— Дома-то у вас как? — стараясь перевести разговор на другую тему, спросила Евфросинья Ивановна.

— Как и у всех — тоска. У людей руки опускаются. На немцев никто работать не хочет. А молодежи теперь горше всего. Ни в кино сходить, ни на вечеринку собраться,

— Что, совсем не собираются?

— Сходятся иногда. Да что толку? Песню спеть и ту нельзя. Опасно.

— Верно, — отозвалась Зина.

Мысль о создании организации, или, как сказал тогда в лесу ночью Маркиямов, инициативного ядра, долго не давала Фрузе покоя. Она вспоминала самых близких и надежных своих знакомых и друзей, с которыми училась в школе, но сразу поговорить с ними не решалась.

Помог ей брат Николай. Однажды ночью он пришел из леса. В сенях снял сапоги и вошел в избу.

Фруза зажгла лампу, плотно зашторила окно и взглянула на брата.

— Какой ты усталый, — сказала Фруза. — Зарос весь.

— Пришлось попетлять лишнее по лесу для безопасности, — ответил Николай.

— Где вы сейчас? — спросила Фруза.

— В Шашенском лесу.

— Трудно?

— Патронов мало. А остальное терпимо.

— Спите-то где? Прямо под дождем?

— Зачем? В землянках. Тепло.

— Немцы не трогают?

— Мы их сами шерстим.

— Страшно?

— Комары жрут с болота. А так все по-боевому. Борис Кириллович наказал тебе передать посмелей начинать.

— Наметила я побеседовать с Марией Дементьевой, Лузгиной, Евгением и Володей Езовитовыми.

— Действуй поактивней. С Ниной Азолиной войди в контакт.

— Да ведь Азолина в комендатуре служит.

— Знаем. Она по заданию подпольного обкома работает там. Валентину Шишкову можешь привлечь и Федю Слыгьянкова. Он паренек боевой.

— Завтра поговорю, — твердо сказала Фруза.

В окно кто-то постучал. Галя проснулась, высунула из-под овчинного латаного полушубка голову, прислушалась. Стук повторился.

— Бабуль, это Зина, — крикнула Галя и спрыгнула с печки.

Бабушка заспешила к двери. Стукнула щеколда в сенях. В избу вошла Зина. Она сняла короткое пальто, стряхнула дождевые капли.

Бабушка вынула из печки чугунок, достала хлеб, чашку с солью и окликнула девочек:

— А ну-ка вечерить, полуночницы.

Сели к столу. Чистили горячие картофелины и, не торопясь, ели с хлебом. Потом пили кипяток, заваренный мятой. Вместо сахара покусывали круглые с темно-вишневыми прожилками ломтики свеклы.

Когда кончили ужинать, бабушка и Галя легли спать на печке, а Зина принялась писать что-то на небольших листочках.

Старые ходики показывали полночь. Зина прислушалась. Кругом было тихо. Только ветер шумел и шуршал за окном, да монотонно постукивал маятник. Галя и бабушка спали.

Зина написала десять листовок. Последнюю она взяла в руки, подвинула керосиновую лампу и шепотом стала читать:

— «Фашисты напали па нашу землю. Как бандиты, они жгут наши деревни, грабят и убивают людей, угоняют молодежь в Германию. Не покоряйтесь фашистам, товарищи! Помогайте нашей родной Красной Армии!»

Зина собрала листовки и положила в карман платья. Был первый час ночи.

«Надо идти», — подумала Зина и привернула фитиль в лампе.

К комендатуре Зина шла под бугристым берегом речки. Крупные дождевые капли шумно хлестали по воде и заглушали шаги.

Она подошла почти к самой комендатуре, спряталась в кустах, стала выжидать. Караульные выдали себя огоньками сигарет.

Они укрылись от дождя под навесом амбара. Зина внимательно оглядела деревья, забор, груды каких-то ящиков и тюков перед крыльцом комендатуры, мысленно просчитала шаги от куста до крыльца, на миг закрыла глаза, собралась с духом и шагнула. Она пересекла площадку перед зданием, смело ступила на крыльцо.

Обмакнув кисть, проворно наклеила листовку и, незамеченная, шмыгнула в пролом ограды. Следующую листовку она наклеила к шлагбауму у переезда, еще две — на полустанке к пакгаузам. Остальные листовки расклеила по избам.

На краю поселка горласто, с надрывом прокричал петух.

«Пора возвращаться, — подумала Зина, — пока темно».

Прошло два месяца. Однажды Зина вышла на крыльцо и стала ждать Евгения Езовитова, который с минуты на минуту должен был прийти. На улице тихо, пустынно. Не слышно ни лая собак, ни людских голосов.

Евгений в овчинном полушубке вышел из дальнего проулка, подошел к Зине и спросил:

— Ты как, готова?

— Давно.

— Тогда пошли.

На крыльцо вышла Евфросиния Ивановна:

— Далеко ли вы это идти сговорились?

— Мы, бабуль, в Мостище ходим, — ответила Зина.

Евфросиния Ивановна краем глаза взглянула на Зину, потом на Евгения и улыбнулась, припомнив, как внучка долго расчесывала перед зеркалом волосы, как старательно заплетала косички и завязывала красные шелковые ленты в бантик, как долго наглаживала светло-голубое платье, которое редко надевала.

— Поосторожней идите,

Зина несколько раз ходила в деревню Мостите, но у Фрузы Зеньковой не была ни разу до этого. Многих ребят и девочек, которые пришли к ней в тот раз, Зина хорошо знала.

Евгений и Зина переступили порог Фрузино дома — запахло хлебом, душистым, пряным ароматом крепко заваренной мяты.

— Вот и хорошо, что вы пришли, — сказала Фруза, подойдя к Зине. — Это та самая девочка, про которую ты мне говорил, Евгений?

— Она самая.

— Ну что ж, здравствуй, Портнова. — Фруза подала Зине руку.

— Здравствуйте, — Зина робко кивнула головой.

В окно условленным стуком постучал кто-то с улицы — ребята притихли. Отворилась дверь, повеяло холодом — в горницу вошел брат Фрузы Николай, за ним следом — Маркиямов. Снимая пальто, он недовольно сказал:

— Ну что вы повскакивали, как в школе. Сидите.

— А мы и впрямь как в школе, — сказал Федя.

— Верно, — Маркиямов подошел к ребятам. — Если все собралось, начинайте.

Фруза встала и спокойным голосом произнесла:

— Сегодня нам надо рассмотреть два вопроса: первое — прием нового товарища и второе — наши задачи, вернее, выполнение задания партизанского командования. По первому вопросу слово имеет Евгений Езовитов.

Евгений встал, взглянул на Зину и сказал:

— Дело вот такое. Имею предложение принять Зину Портнову в члены нашей организации «Юные мстители». Девочка она верная. Никогда не подведет. Можете на нее рассчитывать. В этом я очень уверен и даю вам в том свое комсомольское слово.

— А почему ты ее рекомендуешь? — спросила Нина Азолина.

— Да потому, что она смелая. И потом — ей нельзя одной. И хотя ей только четырнадцать лет, она сможет бороться против фашистов.

Маркиямов повернулся слегка и осторожно взглянул на Зину. Обращаясь к Евгению, спросил:

— Почему ты считаешь, что она смелая и на нее можно рассчитывать?

— Она сама, по собственной инициативе писала листовки и ночью тайком одна расклеивала по поселку.

— Я считаю, надо послушать саму Зину, — сказала Фруза.

Нина Давыдова кивнула Зине, подбадривая ее.

— Расскажи о себе, Зина.

— А что надо рассказать?

— Как что? То, что я тебе говорил, — шепнул Евгений.

— Нет, — возразила вдруг Нина Азолина. — Только не то, к чему тебя подготовил Женя. Расскажи лучше свою биографию.

Зина собралась с мыслями, негромко произнесла:

— Родилась я в городе Ленинграде в 1926 году. Училась в школе. Окончила семь классов. Там же, в школе, вступила в пионеры. Летом приехала с сестренкой в деревню Зуи, на каникулы, к бабушке. Когда немцы стали подходить, мы с сестренкой бежали. Но немцы окружили, и поэтому нам пришлось вернуться обратно.

— А еще, кроме учебы, ты ничего не делала? — спросила Нина Азолина.

— Занималась в балетном кружке. Я очень люблю балет.

Евгений с досадой поерошил свой чубчик.

— Ты лучше расскажи, почему листовки стала писать?

— Не могла иначе. Когда отступали, я видела, как фашисты жгли деревню Барсуки в Сиротинском районе.

Маркиямов достал сигарету, закурил, посмотрел на ребят и сказал:

— По-моему, надо принять. Фруза встала.

— Поступило предложение принять Зину Портнову в члены организации «Юные мстители». Кто «за» — прошу поднять руку.

Ребята и девочки все, как один, подняли руки.

— Единогласно, — Фруза вышла из-за стола. — Поздравляю тебя, — пожимая Зине руку, сказала Фруза.

— Спасибо за доверие, — ответила Зина. — Я выполню все, что вы мне поручите.

— Вот, видишь? А ты говорила, не примут, — сказал Евгений.

Вслед за Евгением Зину поздравили ребята и Борис Кириллович.

Зина стояла посреди горницы счастливая.

— Тебе, наверное, жарко? Сними кофту, — сказала Фруза.

Зина расстегнула пуговицы, скинула с себя шерстяную кофту, под светло-голубым воротником ситцевого платица вспыхнул ярким пламенем на груди красный пионерский галстук.

Ребята увидели галстук и, удивленные, вдруг смолкли, а у Нины Давыдовой навернулись слезы. Сдерживая их, она тихо проговорила:

— Красный галстук! Ребята, вы посмотрите только!.. Это же наш пионерский галстук!

Фруза обняла Зину и поцеловала в щеку. Маркиямов взглянул на часы.

— Времени у нас, Фруза, мало, я коротко. Командование отряда просило сообщить вам, что все члены подпольной организации «Юные мстители» зачисляются бойцами партизанского отряда и отныне должны действовать небольшими группами. Оружие продолжайте собирать, патроны тоже. А мы взамен будем присылать взрывчатку. И учтите — в группах сохраняется железная дисциплина. Приказы выполнять по-военному беспрекословно. Все ясно?

— Все, — ответила Фруза. — Мы выполним приказ.

* * *

В самой глуши леса, окруженного топями болот, расположился партизанский отряд. В центре лагеря под невысоким холмом, замаскированным старательно дерном, находилась землянка командира отряда. Крутой, в несколько земляных ступеней, спуск вниз — и сразу небольшая дверь, завешенная снаружи защитной плащ-палаткой.

Фруза спустилась в землянку.

В просторной землянке у командира партизанской бригады проходило совещание, на котором присутствовали комбриг Сакамаркин, комиссар Маркиямов, начальник штаба Пузиков и секретарь Сиротинского подпольного райкома партии Антон Владимирович Сипко.

Они сидели за тесовым столом. На нем лежала карта района.

Мужчины, время от времени попивая из алюминиевых кружек горячий кипяток, негромко говорили.

Фруза прикрыла дверь, остановилась при входе и, глядя на Сакамаркина, по-военному отрапортовала:

— Разрешите войти, товарищ командир!

— Входи, Фруза.

По присутствию Сипко она поняла, что разговор будет серьезный. Налив из чайника в кружку кипятку, Сипко сказал Фрузе:

— Отведай-ка нашего партизанского чая.

— Спасибо, — сказала Фруза и отхлебнула несколько глотков.

— Вот Антон Владимирович Сипко интересуется вашими ребятами. Расскажи-ка, вожак, о работе своих «Юных мстителей», — сказал Сакамаркин.

Фруза неторопливо стала докладывать о деятельности подпольной организации.

Старательно припоминая о всех заданиях партизанского командования, которые были поручены организации, она скупно, без подробностей рассказала о выполнении их, ни словом не обмолвилась о тех трудностях и опасностях, с которыми почти всегда были они связаны.

Когда она закончила, Маркиямов сказал:

— Скромничает Зенькова, товарищ секретарь. К ее словам надо добавить следующее: все задания командования были выполнены. Об этом лучше всего говорят сами дела «Юных мстителей». Я хочу дополнить рассказ Фрузы. Комсомольцы взорвали четыре вражеские автомашины. Вывели из строя многожильный провод, который соединял центральный фронт врага со ставкой Гитлера. А сделали это братья Езовитовы, Евгений и Владимир.

Николай Алексеев 20 апреля подложил мины в буксы вагонов и поднял на воздух эшелон с авиабомбами и цистернами с горючим. Следует упомянуть о другой дерзкой их операции. Мощным взрывом они уничтожили электростанцию, которая обеспечивала ток три вражеских гарнизона. Кроме того, вывели из строя взрывом механический агрегат на торфозаводе и локомобиль на кирпичном заводе. Они организовали круглосуточное наблюдение за проходом эшелонов по Орловской железной дороге. К этому следует добавить, что «Юные мстители» передали в наш лесной «склад» семь винтовок, девятнадцать гранат, два клинка, три ящика с патронами и один пулемет. Не перечесть и мелких диверсий, которые совершали юные подпольщики против фашистов. Самым ценным в их деятельности я считаю разведку.

Сипко внимательно слушал. Когда Маркиямов закончил, спросил Фрузу:

— Что нового у немцев в гарнизоне?

Фруза рассказала о положении в Оболи. И о немецком гарнизоне, расположенном в нем, и тут же упомянула, что прибыли дополнительные соединения пятого егерского полка, которые, по слухам, должны будут предпринять карательную экспедицию против партизан.

— Слухи верные? — поинтересовался Сипко.

— Да, — ответила Фруза.

— Откуда данные о предстоящей экспедиции?;..

— От Азолиной Нины. Она случайно услышала об этом в комендатуре.

— Этим вопросом, комбриг, тебе придется специально заняться.

— Чую, — Сакамаркин вопросительно взглянул на начальника штаба.

Пузиков сразу понял обращенный на него многозначительный взгляд командира и, обращаясь к Зеньковой, сказал:

— Пусть ваши ребята, Фруза, разведают, чем вооружен этот пятый егерский, и старательно подсчитают, сколько их всего.

— Хорошо, — ответила Фруза. — Я дам задание сразу же, как вернусь.

— Ну а еще что любопытного в вашей Оболи? — спросил Сипко.

— Немцы восстановили железную дорогу.

— Опять пошли эшелоны? Расскажи подробнее об охране.

Фруза рассказала о том, как охраняется дорога, чем вооружены часовые и когда производится смена постов.

Слушая Фрузу, Сипко облокотился о стол и потирал пальцами веки. По всему было видно, что он мучительно думал об этой дороге.

— Спешат, — взглянув на Фрузу, сказал Сипко. — Под Орел и Курск гонят технику. Сколько они ее ремонтировали?

— Почти месяц возились.

— Как они умудрились? Ведь там такое накорежила авиация.

— А они сумели, — Фруза отхлебнула несколько глотков остывшего чая и снова стала рассказывать: — На другой день после налета нашей авиации они сразу стали восстанавливать дорогу. Охрана круглые сутки бродит вдоль полотна железной дороги.

— Ясно. — Сипко опять потер пальцами глаза. — Дорогу нам нельзя выпускать из виду. Надо во что бы то ни стало приостановить

движение. Кстати, а где паровозы заправляются водой?

— У нас в Оболи, — ответила Фруза.

Сипко встал, прошелся по землянке, обдумывая что-то, потом спросил комбрига, начальника штаба и комиссара:

— Как думаете действовать?

Сакамаркин разгладил карту на столе, внимательно взглянул на черную линию, обозначающую железную дорогу, которая соединяла Витебск с Полоцком, и, указывая на два участка в зеленом массиве, сказал:

— Я думаю, что минеры-подрывники смогут вывести дорогу из строя в стороне от Оболи, вот в этих местах. — Сакамаркин ткнул пальцем в карту. Вот здесь и здесь: на перегоне к Витебску.

— Хорошо, — согласился Сипко и тут же возразил: — Твои подрывники взорвут дорогу, а немцы через неделю опять ее восстановят. Этого мало. По-моему, надо оставить паровозы без воды.

— Мои хлопцы смогут взорвать водокачку, — сказал Сакамаркин.

— Нет, — Сипко взглянул на Фрузу. — Эту операцию должны проверить ее ребята. Сумеете выполнить?

Фруза задумалась:

— Дело сложное. Надо все взвесить. — Верно, — согласился Сипко.

Они еще долго сидели за столом, обсуждая план операции, и пришли к окончательному решению, что выполнить его сможет Азолина Нина, которая, как вспомнила Фруза, время от времени ходит на станцию, и иногда по делам службы ей приходится быть около водокачки.

— Добро, — сказал Сипко. — На этом варианте и остановимся. Смогут, комбриг, твои минеры смастерить компактную мину?

— Сделают, они у меня по этой части академики.

— Пусть зальют снаружи мину пчелиным воском и мелким антрацитом закамуфлируют ее под брикет каменного угля. — Сипко повернулся к Фрузе. — Мину передашь Азолиной лично, и пусть она подбросит ее в каменный уголь поближе к башне.

А в это время в поселке Оболь один из местных жителей, Гречухин, был вызван к начальнику полиции Экерту.

— Садитесь! — Экерт указал Гречухину на стул.

— Слушаю вас, господин начальник.

Он сел напротив, заложил ладони рук между коленями и всем корпусом подался вперед, как пес на поводке.

— Сегодня ты подожжешь склад.

— Как?

— Садись! В час ночи ты обольешь стену пакгауза бензином. Чиркнешь спичкой...

— Пришлепнут, господин начальник,

— Молчи. Охрана предупреждена. Тебя только схватят, отвезут в тюрьму, и все...

— А дальше?

— Ты посидишь несколько дней. А потом тебя выкинут — и все...

— А еще что?

— Найдешь тех, кто взрывает составы. Войдешь к ним в доверие. Ухватишься за ниточку и всех до одного вытянешь. Понял?

Гречухин вскочил со стула и уставился в суровое и опухшее лицо начальника полиции.

— Сделаю, господин начальник.

Фруза шла в деревню Зуи. В руках она несла бидон, в котором на дне лежали завернутые в клеенку мины.

В деревне ее неожиданно остановили пьяные полицаи. Потянулись к бидону, решив, что там самогон. Фруза отступила в сторону, но полицаи подскочили к ней и уже старались вырвать бидон из рук. На крыльце ближнего дома стоял немецкий офицер, Фруза позвала его. Офицер крикнул:

— Что там?

— Пан офицер, я несу на кухню для ваших солдат молоко. А эти двое хотят отнять.

Офицер взял из рук Фрузы бидон, приподнял крышку. Бидон до самого верха был наполнен молоком.

— Молоко. Гут! Неси, — сказал офицер, а на полицаев гаркнул:

— Пошел вон, швайн!

Линия железной дороги проходила по самому краю Оболи. За переездом тянулись поля льна и гороха. А совсем недалеко, за амбарами, протекала неширокая река.

Здесь и договорилась Зина встретиться с Фрузой. Она захватила с собой кружки, удочки и пришла на условленное место. Выбрав тихий песчаный откос около камышей, Зина разделась и вошла в реку.

Из воды она вышла только тогда, когда заметила вдалеке идущую по берегу Фрузу. Зина надела платье, обулась. Подошла Фруза.

— И была тебе охота в холодной воде купаться?

— Да она совсем не холодная, — возразила Зина. — Вода — прелесть!

— Куда там... Прелесть! — сосредоточенно думая о чем-то другом, возразила Фруза. — Ну что, попробуем на кружки?

— Давай.

Они сели в тяжелую просмоленную лодку с плоским дном, отчалили от берега. Лодка шла к чистому затону. Пока Зина гребла, Фруза хватала пескарей из банки, насаживала на тройники и, опустив их в реку, проворно разматывала леску.

За поселком протяжно и нервно просвистел паровоз. Он тянул сплошь увешанный ветками берез и елей состав на подъем.

— Замаскированный, — сказала Зина.

— А ты как думала...

Состав скрылся за переездом. И вдруг оглушительный взрыв колыхнул воздух. Столб огня и дыма взметнулся высоко вверх. Потом медленно осел и черным облаком стал расползаться по земле во все стороны.

— Сработала! — сказала Фруза. — Молодцы ребята! Около лодки из-под кружка плеснулась вода. Зина взглянула вниз — по правому борту приструнилась леска.

— Фруза, смотри... перевертка. Тяни скорей!

Рыба металась из стороны в сторону, но Фруза спокойно подтянула ее к борту, а затем быстрым, ловким движением перекинула в лодку.

— На сегодня хватит, — сказала она, собирая кружки. Прощаясь, она передала Зине банку и предупредила:

— Аккуратно только. С собой возьми половину. Поможет тебе тетя Ира. Запомни: очень сильное отравляющее вещество.

— Откуда это?

— Из леса. Кстати, если случится что — уходи к Маркиямову.

Ночь. Стужа и ветер.

Гудят провода. Паровозный дым стелется по земле, он ест глаза, першит в горле угольной гарью.

Парень в темной замавленной спецовке прошел вдоль состава, обстучал колеса и огляделся. Под ватником у него лежали небольшие мины. Часовые механизмы были заведены на восемь утра. Парень наклонился над коробкой буксы, открыл ее. Сзади раздался отрывистый, охрипший голос немецкого часового:

— Эй, русс, гебен зи мир битте фойер! Парень вздрогнул и быстро выпрямился.

— Прикурить дать? — переспросил он. — Можно. Он чиркнул спичкой. Часовой прикурил и ушел за другие составы.

А утром на втором пути, где стоял состав, громыхнул взрыв.

Экерт прикрыл дверь, старательно зашторил окно.

— Выкладывай, — он указал Гречухину на стул. — Нашел?

— Нашел, господин начальник. Нашел.

— Всех знаешь?

— Почти всех. На вечериночки они собирались. Первое время не доверяли. Видать, проверку делали. Потом в книжонку листовочку положили.

— А может, случайно?

— Скорее с умыслом. Когда стали доверять, наказали размножить листовку. Потом кое о чем сам догадался.

— Обольские, значит?

— Все местные.

Экерт взял карандаш.

— Диктуй.

— Зенькову Фрузу первой ставьте, — начал Гречухин.

— Еще кто? — нетерпеливо спросил Экерт.

— Портнова Зина. Питерская девчонка, господин начальник. Внучка Яблоновой. Приехала к бабке перед войной. Да вы ее видели. Одно время в офицерской столовой работала вместе с теткой. Тетку-то расстреляли, когда были отравлены офицеры. А эта сбежала недавно к партизанам. Пионерочка.

Зина уже более двух месяцев находилась в партизанском отряде. Она несколько раз ходила в разведку, участвовала в боях против

оккупантов. За короткое время хорошо изучила трофейное оружие и научилась без промаха стрелять.

В конце октября, когда в партизанском отряде стало известно, что в Оболи немцы арестовали большую группу ребят из «Юных мстителей», Зина и еще двое молодых партизан — Илья и Мария Дементьевы — отправились ночью в поселок на встречу со связной Лузгиной Верой. От нее они должны были узнать, кто из ребят остался в живых, и наладить с ними связь, чтобы продолжать работу.

К деревне Мостицы подошли утром, когда совсем рассвело. Всем идти туда было опасно: Марию и Илью там знал каждый. Ждать ночи тоже нельзя: немцы могли арестовать еще кого-нибудь из организации. Зина вызвалась идти одна. Она набрала вязанку хвороста, вскинула ее на спину и по полю неторопливо пошла к деревне.

Около избы Веры Лузгиной ее остановили два парня. Они вышли из проулка. На руках у них были белые повязки.

«От этих не уйдешь», — подумала Зина.

Она смело пошла навстречу им, стараясь не выдать волнения. Полицаи не спускали с нее глаз. Подошли вплотную. Она хотела обойти, но один из них преградил путь.

— Кто ты такая?

— Мария Козлова, — ответила Зина.

— Документы, — потребовал остроносый и сдвинул на глаза шапку. — Ладно, пошли проверим.

— Еще чего не хватало, — попыталась возразить Зина.

— Но, но! Без трепотни. — Остроносый сильно толкнул Зину в спину.

Солдаты согнали к комендатуре жителей окрестных деревень, окружили их, а потом вывели на крыльцо Зину. Она стояла, босая, в одном летнем платье, и жадно вглядывалась в толпу, стараясь различить знакомые лица.

Немецкий офицер, комендант Оболи, громко крикнул:

— Кто знает эту девчонку?

Люди стояли, опустив головы, и никто из них не проронил ни слова.

На неоседланной лошади прискакал Экерт. Его вызвали по телефону. Он спрыгнул на землю и подбежал к крыльцу. — С чем она

поймана? — спросил Экерт у офицера-

— Вот с этим. — Комендант протянул справку.

— Да это, господин комендант, городская девчонка.

Работала у нас, между прочим, в офицерской столовой судомойкой, а после диверсии сбежала к партизанам.

— Не может быть! Почти ребенок, — удивился офицер.

— Она самая. У нее и справка на чужое имя. В справке-то написано Мария Козлова, а на крылечке стоит Портнова.

— Откуда эта девчонка?

— Из Питера, господин комендант. Я ее хорошо знаю. В подпольной организации она состояла.

Прошло более суток, как Зину привезли в Горяны, которые находились в сорока километрах от Оболи, и за это время ее уже третий раз вызывали на допрос.

Молодой щеголеватый офицер ввел Зину в кабинет и вытянулся по стойке «смирно». Офицер за столом, не торопясь, пригладил волосы, вынул из кобуры парабеллум и положил перед собой. Подумав, махнув дежурному кистью руки, подал знак «свободен».

Офицер повернулся, щелкнул каблуками и строевым шагом вышел.

— Ты довольна, как тебя били? — спросил немец. — Теперь ты понимаешь, к чему приводит молчание? Тебя будут бить до тех пор, пока не захочешь признаться. Ты будешь говорить? Ну! Говори...

Его охватило раздражение. Он встал и заходил по комнате.

— Хочешь пить? Ну! Отвечай. Ведь хочешь. У тебя же все горит. Бери пей.

Зина шагнула к столу за стаканом. Немец переставил его.

— Говори. И будешь пить.

— Гад! — произнесла Зина.

Немец или не расслышал, или не понял. Он сам подал стакан и усталился ей в лицо. Зина в одно мгновение выпила воду.

— Так что ты сказала? Говори. Я слушаю.

— Я сказала: гад!

Офицер не пошевелился. Лишь лицо его побелело.

— Я уничтожу тебя, — сказал он, медленно цедя слова.

С улицы донеслось нарастающее гроыхание гусениц. Задрожали и зазвенели стекла в окне. Офицер подошел к окну.

Зину будто кто-то подтолкнул. Она прыгнула к столу, схватила парабеллум, сняла предохранитель и крепко прижала руку к бедру.

— Повернись! — выдохнула она. Немец ошалело махнул рукой.

— Что ты!.. Постой.

Хлестнул выстрел. Немец поджался и упал на бок. За спиной Зины хлопнула дверь. В проеме мелькнула тень. Не целясь, Зина нажала на спуск. Дежурный офицер хотел увернуться, но наскочил на огонь выстрела почти в упор.

Зина кинулась в открытую дверь, проскочила коридор и очутилась на улице. Не мешкая она свернула за угол и бросилась бежать в ту сторону, где виднелась река. За ней синел лес.

Девочка бежала, не слыша погони. Но вот захлестали выстрелы. Они будто рвали воздух. Зина оглянулась. Немцы и полицаи бежали следом метрах в тридцати. Задыхаясь и выбиваясь из сил, она побежала дальше. Река была почти рядом. «Ну еще немного! Скорей!» — Зина глотнула воздух, и тут ее что-то ударило по ногам, обожгло. Вгорячах она пробежала еще метров пять. Но потом ноги ее подкосились, и она упала, выкинув вперед руки, словно старалась дотянуться ими до реки.

Очнулась Зина в Полоцке. Она лежала на мягкой перине, на чистой простыне, укрытая теплым шерстяным одеялом. С удивлением Зина огляделась по сторонам. Комната была большая. В простенке между окнами — диван. Рядом — стол, покрытый белоснежной скатертью. На столе в миске яблоки, в крынке — молоко, хлеб и плитка шоколада. А еще на столе лежал лист бумаги. Отворилась дверь. В комнату вошла женщина в белом фартуке.

— Если пани что-нибудь потребуется, она может вызвать прислугу, — сказала женщина. — Кнопка звонка от пани справа на стене. Вы можете вызвать меня в любую минуту. Если у пани есть какое-нибудь желание, ей только стоит приказать.

Зина настороженно глядела краем глаза на женщину, не отвечала. Ее мучил вопрос: где она?

После прислуги вошел мужчина в темном костюме. Он ничего не спрашивал и лишь изредка поглядывал на Зину.

«Хитрит», — подумала Зина. Стиснув зубы, чтобы не застонать, она с трудом повернулась на бок.

Немца будто ничего не интересовало. Выражение холодных глаз было безразличным и пустым.

— Я уверен, ты не собираешься говорить. И я ни о чем не спрашиваю тебя, — произнес он. — Но я знаю: тебе очень хочется жить. А жизнь есть бой. Земля — полигон для прицельной стрельбы. Ты попала на этот полигон, девочка. Я почти ничего от тебя не требую. Ты напишешь, — он кивнул на лист бумаги, — место партизан и останешься жить. Подумаешь и напишешь.

Он встал и, не говоря больше ни слова, удалился.

Зина не могла спать. Всю ночь не стихала боль в ногах. Пробитые пулями, они ныли, по всему телу пробегала тупая боль, от которой Зина теряла сознание.

Наутро пришел тот самый немец. Он оглядел продукты на столе, взглянул на лист бумаги. Лист остался чистым.

В тот же день Зину отвезли в полоцкую тюрьму, бросили в узкую и длинную, как пенал, камеру.

Там уже находилась какая-то женщина.

Она уложила Зину на солому, дала воды.

— В гестапо была? — спросила женщина. Зина ничего не ответила.

— В гестапо, — убежденно сказала женщина. — Эти, в черных мундирах, которые принесли тебя, оттуда.

Ранним утром Зину увезли. От дороги до окраины леса ее волокли под руки два немецких солдата. Губы ее были искусаны.

Ее поставили возле вырытой ямы. Приподняв лицо вверх, Зина прислушалась. Вокруг была напряженная тишина.

— Фойер! — раздалось где-то рядом.

Она упала на бугор лицом вперед. Пальцы ее сгребли горсть родной земли и сжались.

Анатолий СОЛОДОВ

Людмила ПАВЛИЧЕНКО

Детство ее прошло на Украине. На милой плодоносной земле, где по утрам так розовы зори, такой белой кипенью зацветают в мае вишневые сады и так самозабвенно заливаются соловей в гуще заросшего сада.

Жизнь была кочевой. Отец работал в районе, все время перекочевывая с места на место, как требовало его дело. Мать учительствовала. Когда отец переезжал, семья снималась вместе с ним. Дольше обычного жили в Белой Церкви,

Тихий городок с улицами, разомлевшими от солнца. Но было время, когда он жил шумно и напряженно. Это были годы украинской казачьей славы, годы непримиримой, кровавой борьбы за волю Украины.

Дремотные улицы Белой Церкви хранят память об этом романтическом веке. Тогда по ним проносились конные казачьи regimenty, вздымая копытами легкую пыль. Горели цветные жупаны, по ветру вились яркие кистицы с золотыми кистями. Сабли сияли горячим блеском. На беснующемся аргамаке выезжал к regimentам гетман Всея Украины Богдан Хмельницкий — безупречный «лыцарь», муж доблести и славы.

Слава прошла... Она оживает в тихие лунные ночи в шелесте тополевой листвы, как будто нашептывающей песни Тараса.

Романтика истории опьяняет в этом уснувшем городке с одноэтажными домиками, захлестнутыми зеленью садов. Кровь здесь будто густеет, как вино, от солнца, от медовых запахов цветов и листвы.

В полдень золотые чаши подсолнухов гордо смотрят на солнце. На плетнях сидят бесшабашные воробьи и орут во все горло.

Сквозь кусты к плетням пробиралась худенькая смуглая девочка.

Воробьи прекращали гвалт и настороженно косились. Впрочем, они не слишком опасались. Вот если бы мальчишка — тогда иное дело. От мальчишки можно ждать любой пакости.

Девочка неожиданно выставляла вперед левую руку: с зажатой в загорелых пальцах рогаткой. Правой рукой из всех силенок оттягивала

резину. Щурила горячий карий глаз. Камень со свистом резал воздух. Воробьи шумно вздымали в небо. Но случилось, что зазевавшийся серый неудачник кубарем валился в траву. Тогда глаза девчонки сияли неудержимым восторгом удачи.

Рогатка — оружие мальчишек. Девочкам полагается играть в куклы. Но девочка любила рогатку больше, чем кукол. Она гордилась, что обращается с рогаткой лучше многих мальчишек. У нее был точный и меткий глаз.

Иногда камень из рогатки летел не в воробья, а в спину какого-нибудь босоногого вихрастого Петра или Дороша. Мальчишки были врагами. Грубые и дерзкие, они презирали девчонку. Норовили задеть, высмеять, обидеть. Пустив заряд из рогатки во «врага», девочка неслась сломя голову в глубь сада, в непролазную чащу смородины и выжидала: не гонятся ли? Сердце отчаянно билось.

Она была маленькой и хрупкой, но неукротимой. Никогда не уступала никому. Стиснув кулачки, лезла в драку. «Враги» наваливались гуртом, больно лупили, таскали за волосы. Приходилось отступать. Но и отступала она непобежденной. Никогда не ревела. Только в гневных глазах стояли скупые сердитые слезинки. Смахнув их, обмыв расквашенный носик, она снова стремилась в бой. Подстерегала «неприятеля» из засады поодиночке. Налетала вихрем и колотила молча и стремительно. Долго гнала ошеломленного «противника» и, торжествуя, возвращалась домой.

Таким было детство Людмилы Павличенко — буйное, смелое, жадное на впечатления.

Наступили школьные годы. И в школу она пришла неприрученной, своенравной. Одноклассники невольно подчинялись ее сильному, страстному характеру. Она влекла к себе сердца — прямая, смелая, резкая. Знания схватывала на лету. Усидчивость, прилежание были для нее незнакомыми словами. Она брала не кропотливым трудом, а цепкостью острого ума, быстротой соображения. В ученье быстро обгоняла одноклассников. Хороший ответ на уроке был для нее таким же триумфом, как победа в драке с мальчишкой.

В школе она пристрастилась к книгам. Читала без разбора, но манили ее книги о путешествиях и приключениях. Книги о людях с большими и пылкими сердцами, с кремневыми характерами, о людях

долга и подвига, прокладывающих свои пути напролом. Она читала на уроках, прижимая острыми коленками книгу к исподу парты, чтоб не заметил учитель.

С точки зрения педагогов она была «трудной» школьницей. Своенравие, отсутствие дисциплины и организованности, резкость характера, нежелание подчиняться чьему бы то ни было авторитету раздражали преподавателей. Несколько раз подымался вопрос: «Что делать с Павличенко?»

В этом виновата была и сама Люда, были виноваты и педагоги. Они не умели найти верного подхода к оригинальной, непохожей на других девочке, не могли подчинить ее слишком самобытный нрав школьной дисциплине.

Училась Люда хорошо, вела же себя подчас несносно. При переходе в последний класс школьный совет, признав, что ученица Людмила Павличенко по общему уровню развития и знаниям значительно опередила свой класс и дальнейшее пребывание в школе для нее бесполезно, постановил выдать ей свидетельство об окончании курса...

Нужно было вступать в жизнь. Она не знала точно, к чему, к какому достойному делу приложить свои силы, бывшие в ней ключом. Ей помог комсомол. Он дал ей то, чего она не сумела получить в школе, — чувство товарищества, самодисциплину, верное направление кипучей энергии.

...Люда решила пойти на завод. Ей казалось важным, интересным делать своими руками нужные для страны вещи, стоять у станка, узнать сложную технику, многообразную трудовую жизнь промышленного предприятия. Это было в Киеве. На заводе, как и в школе, она оказалась очень способной, быстро усваивающей производственные навыки.

Одновременно она увлеклась спортом. Перепробовала все виды физической культуры. Как-то раз пошла с товарищами в стрелковый кружок Осоавиахима. Стрельба в тире захватила ее целиком, как захватывало все, что привлекало ее жадную к жизни душу. Может быть, в ней воскресли воспоминания раннего детства: сад, воробьи, садящие на заборе, рогатка, охотничий пыл...

Первые же выстрелы из мелкокалиберной винтовки показали, что ее глаза имеют точность и меткость прицела. Успех этих выстрелов

подстегнул ее самолюбие. Если стрелять, так стрелять лучше всех, бить без промаха, обогнать друзей, главным образом парнишек, которые подтрунивали над «бабьей» стрельбой.

И она обогнала всех. Но этого ей уже показалось мало. Она захотела большего. Узнав о снайперской стрельбе, она поступила в школу снайперов Осоавиахима, загорелась новым увлечением.

Конечно, она должна стать снайпером. Именно снайпером! Ей казалось, что она всегда мечтала об этом. В стрелковых занятиях обнаружились качества, которых до сих пор не было, — прилежание и терпение.

Она, собственно, не могла дать себе отчета: зачем ей звание снайпера? Раньше она никогда не интересовалась военным делом. Зачем учиться мастерству сверхметкой стрельбы? В кого собирается стрелять?

Она старалась овладеть снайперским искусством, чтобы радостно сознавать, что и это мужское дело может делать лучше других. Получив снайперский диплом, она свернула его в трубочку и положила в ящик стола вместе с другими бумагами, которые, может быть, никогда в жизни не понадобятся.

Она не переставала много читать. И начала понимать, что ее любимые герои — путешественники, исследователи и искатели, люди творческого ума — обладали громадным запасом опыта и знаний.

А у нее были лишь крохи школьной науки, схваченной урывками. Ей же хотелось знать все. И особенно историю человечества, его жизненный путь.

Она решила расстаться с заводом и продолжать учение.

Покинув завод, Люда поступила на исторический факультет Киевского университета. Все в этом доме науки показалось ей новым и необычным. С первых же лекций она уразумела, что здесь придется учиться не так, как училась в школе. Она поняла, что достичь уровня культуры и знания, каким она восторгалась у своих героев, можно только очень упорным и организованным трудом.

В читальне университета, в тенистом ботаническом саду теперь часто можно было видеть Люду Павличенко, склоненную над книгой. Она прилежно выписывала в тетради нужные ей цитаты и заметки.

Особенно она увлекалась бурной и прекрасной историей родной Украины. Когда в год окончания университета ей было предложено

писать дипломное сочинение — первый самостоятельный шаг в исторической науке, — она взяла темой для этой работы жизнь Богдана Хмельницкого.

Почему она выбрала знаменитого гетмана? В его яркой личности воина, политика, дипломата, в его деятельности, полной энергии, взлетов и падений, поражений и побед, отразилась вся могучая, смелая и непобедимая душа украинского народа.

И сама Люда обладала такой же неукротимой, ие знающей компромиссов настойчивой душой.

По ночам, сидя над разложенными на столе книгами, рукописями, таблицами, нужными ей для работы, она восхищалась рассказами о великом гетмане, его смелостью, хладнокровием, его сердцем, не ведавшим слабости и страха.

Она подходила к окну, смотрела на звездное украинское небо. Перед ней оживали легендарное прошлое, боевая слава Украины, казачьи подвиги в боях за волю. И виделся ей гетман перед своими полками, с железной булавой в руке и с железным сердцем в груди.

И она думала с восхищением и завистью: «Мне бы такое сердце!»

Работа все больше и больше увлекала ее. Но закончить первый научный труд о своем герое Люде не пришлось.

В тихую июньскую ночь, когда, отдыхая от работы, она стояла у окна, вызывая в памяти видения родной истории, в синеве неба уже завывали моторы черных металлических воронов Гитлера, несших смерть и разрушение ее Родине. Из тишины этой последней мирной ночи нежданно на ее милый, ласковый Киев обрушились гром и пламя. Ночь полыхала не зарницами далекой летней грозы, а кровавыми заревами пожаров.

Утром она увидела дома, расколотые бомбами, с повисшими над пропастью стульями и кроватями. Увидела пепел пожарищ, глубокие воронки, залитые водой из разорванного водопровода, засыпанные песком лужи крови на тротуарах и крошечную детскую ручонку, прибитую осколком к окровавленной стене.

В этот день кончилась ее беззаботная, непоседливая юность.

Она долго бродила по взволнованному, потрясенному Киеву, вдумчиво вглядываясь в знакомый пейзаж города. Как и прежде, цвели белыми свечками каштаны в парке над Днепром, шумели от заречного ветра липы. Но по улицам шли красноармейцы и не пели обычных

песен. Они шагали молча, и запыленные лица их были покрыты тенью от боевых касок. Они шли на запад. По мостовой, гроыхая, ползли танки. В этот день на лице города появилась складка суровой военной горечи.

Город, а за ним и вся Родина с особой силой встали перед ней как реальные понятия, как самое нужное и дорогое в жизни. И сама жизнь показалась не имеющей цены без Родины, без этого чудесного солнечного города над полноводной рекой.

Она пришла домой поздно. Возвращалась в полной темноте по опустелым улицам. Город был уже затемнен: ни один луч света не ложился, как прежде, теплой золотой струйкой на нагретый дневным жаром асфальт. Как будто весь мир уплывал во тьму. Враг хотел повернуть светлую страну к безысходному мраку средневековья. Это было страшно.

В душе девушки медленно созревало решение.

Дома, как всегда, хлопотала мать. Здесь пока еще ничто не изменилось. Но, смотря построжавшим взглядом на домашний уют, Людмила поняла, что за этот день изменилась она сама и ее место теперь не здесь. Она выпила стакан холодного чая, задумалась и сказала матери:

— Мама, я уйду в армию.

Мать вскинула на нее испуганные глаза. Но в лице дочери, тонком и озаренном в этот миг внутренним светом, мать прочла что-то, что помешало ей возразить, как возразила бы в этом случае любая мать.

Она ничего не сказала. Она только молча обняла Людмилу.

Но решиться пойти в армию оказалось проще, чем попасть в нее.

Ее выслушивали рассеянно, иногда с недоумением. Читали мельком ее снайперский диплом, качали головами, пожимали плечами. Конечно, это похвальное желание, но, к сожалению, «нет директив» о привлечении Женщин в ряды армии.

Людмила закипала негодованием. В ней просыпался давно укрощенный бурный нрав. Люди, с которыми она говорила о своем желании защищать Родину, казались ей деревянными чиновниками. Ее поражало, как они не могут понять, что снайпер — будь он мужчина или женщина — нужен в бою.

И наконец ее негодование прорвалось со всей силой. Она обрушила на очередного отказчика такой ураган ярости, что тот вышел

из состояния служебного автоматизма и очень внимательно выслушал настойчивую девушку, прочел ее документы, подумал и предложил явиться на следующий день.

А через неделю боец 25-й Чапаевской дивизии Людмила Михайловна Павличенко была уже на линии огня, на румынском участке фронта, к югу от Одессы.

Здесь все было проще, чем в Киеве. Никто не спрашивал, зачем и почему она пришла в армию. Никто не удивлялся тому, что девушка стоит в одном ряду с мужчинами, сжимая в руках тяжелую винтовку. Здесь воевали, и удивляться было некогда. Здесь каждая лишняя винтовка была полезна в умелых руках. Шли тяжелые, кровопролитные бои. Бойцы, отбивающие натиск врага на раскаленной степной земле, приняли Людмилу в свою семью с грубоватой, но искренней теплотой. Приняли как воина, как товарища по трудному, смертному делу.

И вот она впервые в жизни лежала в наскоро вырытом, мелком глинистом окопчике рядом с бойцами и вглядывалась в чахлый молочайник за оврагом. Там были враги.

Вокруг стоял плотный, чугунный, стискивающий сердце гром боя. Небо ревели от моторов гитлеровских самолетов. Черные столбы взлетали над землей и осыпались сверху грудями глинистых комьев. Визжали осколки снарядов. С пронзительной злобой ныли пули и чмокали в грунт.

Этот гремящий огненный ад был страшен, но Людмила не ощущала страха. Она была только ошеломлена вначале.

Она всматривалась, слушала режущую музыку взрывов и постепенно наливалась холодной и беспощадной яростью. Что творилось здесь, на ее глазах, на ее родной земле? На древней земле украинского народа расположились чужеземцы. Незваные, непрошенные, они топчут эту землю своими ногами, жгут ядовитым огнем пороха, калечат, уродуют.

Они убивают ее братьев, друзей, товарищей — молодых, полных сил советских людей, которые по вине этих пришельцев, вместо того чтобы мирно трудиться на полях и в цехах заводов, вынуждены теперь валяться в знойной пыли, отравляться удушливым дымом разрывов, стонать от боли.

Вот недалеко от нее скорчился, а потом вытянулся и затих боец. Осколок мины ударил его в голову. Он выпустил винтовку, и с его побледневшего лба, извиваясь, сбегает на плечо красная струйка крови. Только позавчера Людмила познакомилась с ним, узнала, как его зовут, откуда он родом. Он был весел, рассказывал о своей семье, о сынишке. А сейчас в последней судороге застывших рук он как бы обнял родную землю, по которой ему уже никогда не ходить.

И это дело рук пришельцев, прячущихся в молочайной заросли на другой стороне оврага!

Они принесли на советскую землю смерть. Но они забыли о простом законе: смерть рождает смерть. Поднявший меч от меча и погибнет!

Это было последнее, о чем она успела подумать в тот миг. Молочай над оврагом зашевелился. Над ним осторожно подымался человек. Он опирался на руки и, вытянув шею, вглядывался вперед. Людмиле показалось, что он смотрит на нее. Ее передернуло дрожью отвращения.

Она твердо вжала в плечо приклад винтовки, отвела ноги немного вбок, как обучал ее инструктор, и припала глазом к трубке прицела.

Сквозь призмы оптики она отчетливо видела зеленоватое сукно мундира, узкие погончики с желтым кантом, красное, потное лицо с низким лбом и водянистыми глазами. Она остановила острие мушки между белесыми бровями и, слегка вздохнув, чтобы освободить дыхание в момент выстрела, плавно нажала спуск.

И удивилась простоте того, что произошло. Это было совсем как в тире под кинотеатром на Крещатике, где стреляли из духовых ружей по жестяным треугольникам мишеней, которые от попадания заваливались за доску. Враг так же завалился за кусты молочая. И это было все.

Так она открыла в первом бою свой снайперский счет.

Ночью после боя Люда лежала на остывающей земле у костра, под разговоры товарищей думая свою думу.

Одной из ее любимых книг была «Война и мир». И сейчас в этой ночной степи, терпко пахнувшей полынью, она вспоминала то место, где описывается первая атака Николая Ростова и смятенные! е.в. чувства.

Людмиле казалось, что и она переживает нечто похожее на эту растерянность Ростова при неожиданной встрече лицом к лицу с врагом. Она припоминала, как сильно изобразил Толстой этот вихрь чувствований, неловкий удар клинком, испуганные, жалкие глаза француза, дрожащие его губы и детскую ямочку на подбородке. Всегда, когда она перечитывала эти страницы, ей становилось жаль и Ростова, и этого несчастного французского солдата.

Почему же она не пережила ничего подобного в своем первом бою? Почему с таким холодным чувством, вернее без всякого чувства, она увидела смерть первого врага, убитого ее выстрелом? Неужели Толстой, ее любимый писатель, писал неправду?

Нет, этого не могло быть! Она вдруг поняла, в чем дело.

Великий Толстой писал о войне людей. У французов были человеческие души и сердца. Они были способны на благородные поступки, на гуманное отношение к врагу. Человек стоял в той войне против человека, и Толстой писал о людях обоих лагерей по-человечески мудро. И поэтому, восхищаясь русскими людьми, героями народной эпопеи 1812 года, Людмила могла понимать и даже жалеть их врагов. Здесь же против нее были не люди. Вышколенные палками, тупые, звероподобные, механические убийцы. Роботы, выращенные в питомнике берлинского палача.

В их чувства не стоило вникать — у них не могло быть чувств. Их не приходилось жалеть, как не жалеешь раздавленную гадюку. Их смерть не вызывала никакого волнения, как не вызывали его жестяные мишени в тире.

В этот вечер Людмила писала матери при свете костра, положив листок на колени: «Кое-что мне пришлось видеть. От их зверств во мне закипает злость, а злость на войне — хорошая вещь, она сестра ненависти и святом мести».

Дописав, она улеглась тут же на земле, разостлав шинель, и уснула крепким солдатским сном. Она вошли в боевую жизнь.

Тот никогда не чувствовал вкуса жизни, кто ни разу не спал на опаленной боем земле, накрывшись шинелью. Беднее будут его воспоминания на склоне лет, но нет в жизни минут более волнующих и незабываемых, чем этот краткий сон под темным сводом неба, под мерцанием звезд, с думой о правде, которую защищаешь. Родине,

которая стоит за тобой, доверяет тебе свою судьбу и ждет от тебя исполнения сыновнего долга.

Корабли уходили из Одессы.

По приказу командования Красная Армия докидала город. Полки Чапаевской дивизии, овеянные славой боев гражданской войны и украсившие свои знамена новыми лаврами под Одессой, были погружены на транспорты и вышли в море, направляясь к Севастополю, где дивизия должна была стать ядром Приморской армии.

С ними уезжала и Людмила. Она прошла уже через все превратности военной судьбы, пережила боль первой раны, и на ее снайперском счету была уже двузначная цифра уничтоженных гитлеровских зверей. Она стояла на корме транспорта и смотрела, как отходит назад и тускнеет в дымке оранжевый одесский берег. Над городом металась языки огня и дыма, стояла туча серо-багрового тумана. Она прощалась с этим городом, который защищала до конца, с городом, где жил Пушкин, где писались строфы «Онегина».

Ей было невыразимо больно покидать этот город. За время обороны Одесса стала для нее особенно родной. Под ее стенами Людмила была крещена огнем войны.

Транспорты шли, оставляя пенные дорожки на сине-зеленой воде. Одесский берег превратился в чуть заметную голубую черточку и наконец исчез.

Дивизия высадилась в Севастополе.

Здесь Людмила впервые по-настоящему ощутила живое дыхание истории. В этом городе военной славы любимая наука Людмилы заявляла о себе на каждом шагу. Она была запечатлена здесь кровью героев, бессмертным духом непоколебимых русских людей, до последнего вздоха просто и мужественно отстаивавших скалы от врага, поросшие скудной травой, обожженные солнцем. Казалось, каждый камень этой земли дышит доблестью, зовет следовать примеру бессмертных предков.

Полк вскоре ушел к Перекопу. Там немецкие орды, прикрываясь сотнями танков, рвались к приморской твердыне.

Снова настали пороховые, грозные дни.

Теперь Людмила почти все время находилась на переднем крае и впереди него, где в скалистой почве были выдолблены снайперские

ячейки. Она добиралась до них ползком, обдирая локти и колени о камни, укладывалась в ямку, маскируясь ветками и зеленью, и лежала, выжидая врага часами, а иногда сутками в любую погоду, заливаемая потоками дождя, палимая жарким крымским солнцем.

Хладнокровно, неторопливо она убивала гитлеровских гиен. Снайперский счет рос с каждым днем. Десятки неприятельских наблюдателей, разведчиков, офицеров были уложены Людмилой на землю с пулей в глазу или между глаз. Она без сожаления гасила эти горящие скотской жадностью грабительские гляделки.

Рядом с ней работал ее давний друг, снайпер Алексей Киценко. Вдвоем они были силой, которая стояла целой роты.

Швыряя в пекло боя все новые и новые эшелоны пушечного мяса, немцы шаг за шагом оттесняли Приморскую армию к Севастополю и вплотную обложили город. Дорогой к Большой земле для севастопольцев оставалось только море.

О боевой работе снайпера Павличенко уже шли разговоры по всему Севастополю. Многие не верили, что этот снайпер — девушка. Скептики шли на позиции Приморской, чтобы самолично удостовериться в истине. Однажды пришел старшина из бригады торпедных катеров, парень гигантского роста. Когда ему показали Людмилу, он долго смотрел на нее издали — подойти близко по стеснительности не решился — и, мотнув чубиком, сказал бойцам:

— От же ж, господи боже, яке диво! З виду штрикоза, а всамдели тигра!

Уже командование отметило ее боевые дела первой наградой — медалью. Ее имя стали произносить с уважением и восхищением.

Людмила больше всего ценила похвалу своего полкового командира Матусевича. Старый боец, ветеран гражданской войны, человек непревзойденной личной отваги, всегда находившийся на переднем крае вместе со своими бойцами, болевший за них, отдавший им все сердце, Матусевич и внешним обликом, и характером напоминал Людмиле ее любимого героя — Богдана Хмельницкого.

И комполка крепко, по-отцовски привязался к своему лучшему снайперу. Человек большого жизненного опыта и живого ума, привыкший сразу разбираться в людях и правильно оценивать особенности каждого характера, Матусевич был очень внимателен к

Людмиле. Он понимал эту сложную, порывистую и все еще подчас непокорную душу.

Людмила и на фронте оставалась верной себе: была все такой же прямой и резкой. Она не умела, да и не хотела молчать, если видела беспорядок, бестолковщину, головотяпство. В таких случаях она резала правду в глаза.

Матусевич умел понимать, что эта резкая прямота, вспыльчивость и горячность происходят не от недостатка дисциплинированности, как пытались ото представить некоторые жертвы «снайперского язычка» Людмилы. Он понимал, что неукротимое сердце комсомолки, болевшее за великое дело Родины, не терпело, чтобы другие делали это дело вяло, равнодушно и неумно. И когда Матусевичу жаловались на дерзость Людмилы, он терпеливо и спокойно разбирался в обстоятельствах и почти всегда обнаруживал, что стычки девушки с жалобщиками, по существу, выражают правильные мысли хорошего бойца, отчетливо знающего военное дело и стремящегося навести порядок.

Часто на позиции полка приходил начальник сухопутной обороны Севастополя генерал-майор Иван Ефимович Петров. С палочкой в руке, сухой, подтянутый, с умной иронической улыбкой на тонких губах, он был похож и лицом, и душевным своим складом — простотой, умением понять чувства бойцов, лаконичной меткостью речи — на человека, бывшего душой первой обороны Севастополя, — адмирала Нахимова. Как матросы в 1855 году называли адмирала запросто Павлом Степанычем, так и бойцы Приморской армии звали генерала, своего друга и отца, Иваном Ефимычем.

Он похвалил работу Людмилы сдержанно, но в этой сдержанности было больше сердечного тепла, чем в других пышных речах.

После каждого разговора с генералом Людмила с новыми силами отправлялась на снайперский пост дырявить пулями немецкие черепа.

Немцы уже знали этого бьющего без промаха, неуловимого снайпера. Они узнали и ее имя. Со скотской прусской тупостью они пытались «угovorить» Людмилу. Они кричали ей из своих окопов на ломаном русском языке:

— Людмил, бросай большевик, иди к нам! Кормить сладко будем. У нас много шоколад! Будешь офицер мит телесный крест!

Людмила спокойно ждала, когда кто-нибудь из этих любезников неосторожно высунет голову из укрытия, и нажимала спуск.

— Глотай шоколад, фриц!

Убедись в том, что «большевицкую валькирию» (так назвал Людмилу пленный немецкий лейтенант) не удастся соблазнить идиотскими посулами, немцы озверели. Из их окопов по адресу Людмилы летели грязные ругательства и угрозы «повесить сволочь за ноги». Людмила слушала и кривила губы брезгливой и недоброй усмешкой.

Уже дважды осколки неприятельских мин выводили ее из строя. Но ранения были нетяжелыми, и, едва дождавшись заживления раны, она снова брала снайперскую винтовку и продолжала свое дело. Многие удивлялись, как она, такая слабая, женственная на вид, выдерживает страду непрерывного боя, страшное напряжение войны. Но в ее нервной подобранной фигурке обитала неутомимая душа молодой советской патриотки, воспитанной комсомолом. Все ее душевные силы, вся энергия нашли выход в святом и великом деле уничтожения врагов.

Ей дали звание сержанта, а вскоре и старшего сержанта. Она стала инструктором команды снайперов, воспитывала снайперскую смену. Некоторых она отбирала сама среди ближайших товарищей, пристально присматриваясь к людям, оценивая характер, выдержку, смелость, способность ориентироваться в обстановке, принимать быстрые и толковые решения. Не поддаваясь в детстве педагогическому авторитету, она сама стала на линии огня настойчивым и умелым педагогом.

Иногда ей присылали людей со стороны, таких, каких сама она, пожалуй, и не взяла бы в обучение: неровных, заносчивых, колючих.

Однажды пришли в команду снайперов два дружка — Киселев и Михайлов, из морской пехоты. Двое анархических и дерзких «лихачей-кудрявичей».

Увидев, что за «птица» старший сержант, к которому они попали в подчинение, «лихачи» переглянулись, сплюнули, как по команде, на землю, расстегнули воротники бушлатов и с независимым видом уперлись руками в бока, как бы показывая, что им черт не брат и что «бабу» они начальством не признают.

Людмила заговорила с ними. Они отвечали, скаля зубы, еле цедя слова.

— Это шо ж, значить, нам теперича в принцессиной свите камардерами состоять, выходит? — ядовито осведомился один из дружков, когда Людмила приказала им отправиться в канцелярию роты и сдать документы.

Она взглянула суженными глазами в переносицу вопрошателю и ответила как будто в тон и даже весело:

— Вот именно! Будете шлейф за мной носить на передний край.

«Лихачи» шире распахнули бушлаты и вызывающе шаркнули ножками.

И вдруг услышали режущий, стальной командирский голос:

— Застегнуться! Руки убрать! Стать как следует, когда говорите с командиром! Ясно?.. Ну?

«Лихачи» оцепенели. Они даже не поняли сразу, что это относится к ним. Ошалев от неожиданности, они не изменили развязной позы, но усмешка их взамен дерзкой стала растерянной.

— Извиняюсь, это нам?

Вместо ответа они увидели, как старший сержант положила узкие девичьи пальцы на крышку кобуры.

— Предупреждаю вас, что вы находитесь в боевой части, на линии фронта. И должны знать, что полагается за неисполнение приказа командира в боевой обстановке. Поняли?

«Дружки» взглянули в побледневшее лицо сержанта, в темные глаза, глубоко ушедшие под брови, и поняли, мгновенно застегнув бушлаты, они вытянулись по струнке.

— За мной! — скомандовала Людмила, и оба пошли за ней, смиренные, как овечки.

Она вывела их к передовому снайперскому посту и, указав впереди на голое взлобье скалы, сказала:

— Вот вам боевое задание! Доберетесь туда, заляжете и будете вести наблюдение за передвижением противника по балке. Имейте в виду, что сами будете у немцев как на ладошке. Поэтому замрите. Вернетесь в семнадцать ноль-ноль. И смотрите в оба!

Друзья вздохнули и ужами поползли на скалу. Как они ни старались двигаться скрытно, их заметили. На вершинку полетели пули, с визгом стали падать мины. Их засыпало землей и щебенкой. Но

они держались твердо, зная, что за ними наблюдает из своего гнезда сержант. Осрамиться перед ним они не хотели, не могли. Им было зазорно уронить себя во мнении Людмилы. Они лежали, вжимаясь в землю, под непрерывным огнем и неожиданно услышали рядом мягкий, заботливый голос:

Правофланговые комсомола
— Как живете, ребята? Жарко?

Они протерли запорошенные глаза и увидели подползшую к ним Людмилу.

— Живем, — бодро ответил один. — А вот зачем вас принесло, товарищ старший сержант? — И добавил извиняющимся тоном: — Все-таки, виноват, не женская работка.

Отползая назад, оба «лихача», как по уговору, держались так, чтобы своими телами прикрывать старшего сержанта от немецких выстрелов.

С этого дня Киселев и Михайлов стали преданными друзьями Людмилы. Был миг, когда она при отходе оказалась окруженной и отрезанной немцами. Патроны были на исходе, и она уже подумывала о том, что нужно сберечь последний для себя. Но, заметив опасное положение старшего сержанта, Киселев и Михайлов, пренебрегая опасностью, прорвались сквозь немецкое кольцо к своему командиру, отстрелялись и пробились вместе с Людмилой к нашим частям.

Из сорванцов-лихачей выработались бесстрашные бойцы и отличные стрелки, ставшие образцами дисциплины.

Все ожесточеннее и упорнее становились бои на ближних подступах к Севастополю. С неослабевающим упорством лез к городу враг.

Людмилу перебрасывали с участка на участок фронта Приморской армии — всюду, где требовалась верная рука и меткий глаз, чтобы снять вражеского наблюдателя, уничтожить разведчика.

Никакие хитрости врага уже не могли обмануть ее опытного глаза. Напрасно немецкие наблюдатели пытались дразнить ее пустыми касками, надетыми на палки, чучелами, облаченными в офицерское обмундирование и управляемыми, как куклы кукольного театра. Все это делалось для того, чтобы вызвать с ее стороны преждевременный выстрел, тем самым обнаружить себя и дать возможность немцам разделаться с внушавшей им ужас «чекистской ведьмой».

Она не поддавалась ни на какие фокусы и терпеливо ждала, затаив дыхание, держа палец на спуске, до тех пор, пока успокоенный немец, решив, что выбранное им местечко безопасно, не вылезал из своей норы.

Не успев моргнуть, он получал в голову неизбежную пулю Людмилы.

Она подавала в ствол очередной патрон и говорила себе: «Двести семьдесят третий. Будет больше!..»

Осатаневшие гитлеровцы пытались ловить ее, устраивали специально для нее засады.

Как-то утром Людмила приползла на свой снайперский пост, на котором провела весь предыдущий день и который покинула только после заката для короткого отдыха в блиндаже. Добравшись, она осмотрелась. Ничто не изменилось за ночь. Перед ней была та же пролысинка на склоне холма, по которой извивались засохшие, обожженные виноградные лозы. Под склоном белела известковой пылью старая дорога. Стояли покосившиеся телефонные столбы с оборванной проволокой и разбитыми изоляторами. Все было спокойно, и все же в этом знакомом пейзаже было что-то неуловимо новое, породившее в ней чувство необъяснимой тревоги. С особенной осторожностью она медленно переползала от куста к кусту.

И вдруг у самого ее виска автоматная очередь взрыла мелкий щебень склона. Людмила припала к земле, укрываясь за едва приметным бугорком. Шестое чувство опасности, рождаемое военным опытом, не обмануло ее. Стараясь не выдать себя ни малейшим движением, Людмила подняла к глазам бинокль, добытый у немецкого наблюдателя, которому она дала вечный отпуск. Заметив по дорожке, выбитой вражескими пулями в щебне, направление выстрелов, она обнаружила за кустами держидерева пятерых автоматчиков. Четверо притаились в кювете, а один устроился поодаль, в старой воронке от снаряда.

Она видела, как пятеро настороженно следили за пролысинкой, поджидая ее появления. Ее передернуло от злобы. Тихо-тихо, сантиметр за сантиметром, она начала отползать назад, в чашу кизила, и, проскользнув невидимой за деревьями, опять выдвинулась вперед в стороне от прежнего места. Фрицы с механическим упорством продолжали пучить глаза на прежнюю точку.

Ближний лежал боком к ней. Толстый и неуклюжий, он был похож на серо-зеленую жабу. Людмила тщательно выцедила ему в висок. Он слегка дернулся и тяжело уронил голову на камень. Трое вскочили и бросились назад. Но, пробежав шагов десять, залегли и открыли огонь. Пули автоматов стали струями сечь землю около Людмилы.

Теперь ей был виден только тот, что стрелял из воронки. Через секунду он навсегда расстался с выпавшим из рук автоматом.

Людмила опять ползла по земле, чтобы выследить троих, продолжавших поливать ее свинцом. Веточки держидерева мешали ей чисто «сработать» их. Очередной выстрел принес мир и успокоение еще одному немцу. Остальные двое не выдержали и в ужасе кинулись спасать жизнь, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни. Не теряя ни секунды, Людмила уложила четвертого. И чуть не заплакала от досады, когда последний успел до выстрела нырнуть в такую чащу, где его уже нельзя было разглядеть.

Подождав с четверть часа и убедившись, что больше ни одного врага поблизости нет, Людмила поднялась и, держа на всякий случай винтовку наготове, обошла убитых. Она подобрала четыре автомата, набила патронами карманы и сумку, обыскала трупы и взяла документы и письма.

В блиндаж она вернулась усталая, изодранная о камни, покрытая пылью, но довольная: «улов» был отличный. Гитлеровские «живцы» попались на удочку, которую сами готовили для Людмилы. Несшие смерть получили ее.

О своей фронтовой жизни Людмила писала матери: «Обмениваюсь с фрицами «любезностями» путем оптического прицела и единичных выстрелов. Нужно тебе сказать, что это самое верное и правильное отношение к немцам. Если их сразу не убьешь, то потом беды не оберешься».

И она была верна этому правилу. Она убивала фрицев только наповал, как бешеных собак, грозящих заразить отравленной слюной все живое.

Последнее свое боевое дело Людмила выполнила вдвоем с Алексеем Киценко. Выследив командный пункт немцев, они за полчаса методически и точно перестреляли одного за другим около десятка офицеров и солдат, прикончив весь персонал пункта. Ни одна пуля не пропала впустую.

Личный счет старшего сержанта Людмилы Павличенко дошел до цифры триста девять.

Она не успела округлить его до трехсот десяти. Осколок мины еще раз вывел ее из строя. Командование приказано эвакуировать Людмилу из Севастополя в тыл.

— Я всем обязана Родине, — говорит Людмила Павличенко. — Кто угрожает Родине — угрожает мне. Не может быть отдыха, пока последний враг не умрет на нашей земле.

И когда она говорит так, глаза ее становятся безулыбочными, строгими. И чувствуется: в ее груди бьется неукротимое сердце верной дочери народа, сердце, полное страсти и готовое всю кровь, до последней капли, отдать за честь и свободу родной земли.

Борис ЛАВРЕНЕВ

* * *

А потом пройдет много лет, победно закончится Великая Отечественная война, будет разгромлен фашизм, и затихнет рев артиллерийских канонад, и одиночные выстрелы снайперов тоже смолкнут, и начнется другая жизнь.

Другая жизнь... Конечно, Людмила Павличенко найдет свое достойное место в этой новой мирной жизни, найдет свое мирное дело, так же нужное людям, как и ее военная профессия. Но все-таки, что ни говори, а ее звездные годы пришлись на военное время, самое важное в своей жизни она совершила, когда страна находилась в смертельной опасности, а каждый фашист с автоматом в руке, за пулеметом., в минометном гнезде был не просто чужаком, грабителем, убийцей, он был еще и личным ее врагом, потому что он был врагом ее народа. И в этот критический миг она не раздумывая бросилась в схватку. Ее доля в общей победе оказалась неожиданно значительной, куда более существенной, нежели три с лишним сотни врагов, убранных ею с лица родной земли, — пример этой бесстрашной девушки, ее подвиг придал силу многим нашим солдатам, придал нам мужество именно в тот момент, когда именно благодаря мужеству мы и выстояли.

Но потом, в мирной жизни, когда мы отмечали десятилетие Победы, двадцатилетие, четверть века со Дня Победы и многие спрашивали Людмилу о деталях ее подвига, за который она была удостоена звания Героя Советского Союза, спрашивали о самых запомнившихся схватках, о самых удачных ее выстрелах, о тех страшных и беспощадных поединках, из которых она выходила Победительницей более трехсот раз, Людмила Павличенко уходила от этих вопросов. Да, она не любила рассказывать о том, как убивала врагов. И эта ее черта, наверно, достойна не меньшего восхищения, чем то, что она их все-таки убивала.

Людмиле Павличенко и без того было что рассказать о войне, о военной поре, на которую попали самые прекрасные годы ее жизни. А то, что она осталась жива, можно объяснить везением, военным мастерством, тем душевным подъемом, который давал ей силы бороться, ей, невысокой, хрупкой девчущке, вчерашней студентке исторического факультета Киевского университета. Вчера она всего лишь изучала историю, а сегодня ей пришлось принять участие в самой большой и беспощадной войне, которую только знала история. Она почти всю войну провела на переднем крае, более того — впереди переднего края.

Да, во время Севастопольской обороны снайперы выходили на нейтральную полосу между нашими и гитлеровскими позициями, на полосу, которая, бывало, сужалась до тридцати метров. А если между окопами было сто метров, то это уже считалось куда как хорошо. И вот представьте себе, что на этой полоске земли, просматривающейся насквозь, до самого мелкого камешка, надо было замаскироваться и вести огонь. Или охотиться за фашистскими снайперами. Лежать сутками без движения, без слова, даже дышать приходилось осторожно, чтобы не сдвинуть ствол, не колыхнуть прицел, лежать сутками ради той доли секунды, которая требуется, чтобы нажать спусковой крючок. А цели приходилось выбирать не на переднем крае, не в ближайших окопах и ходах сообщения, а подальше, в тылу, чтобы фашисты и не догадались, откуда выстрелы. Гнезда, где располагались снайперы, были на столь открытой местности, что занять позицию можно было только ночью. И покинуть засаду тоже можно было лишь глубокой ночью.

В конце 1942 года, когда гитлеровцы поняли, что скорой и легкой победы не будет, что дело вообще идет к тому, что не видать никакой победы, в Саратове вышла совсем маленькая книжечка из серии «В помощь агитатору» и, как на ней было указано, «для громкой читки». Желтая оберточная бумага за эти годы стала ломкой, шрифт потускнел, но когда начинаешь вчитываться в эти жухлые буквы, вдруг начинаешь понимать, откуда эта девушка находила силы, бесстрашие, чтобы снова и снова, изо дня в день выползать на нейтральную полосу, под огонь врага.

«За что я их убиваю» — так называется письмо Людмилы Павличенко, обращенное к читателям, вернее слушателям, поскольку книжечка была предназначена для громкой читки. Нетрудно себе представить тысячи и тысячи землянок, окопов, блиндажей, железнодорожных вагонов, ангаров, где прозвучали ее слова. Вот несколько сокращенный текст этого письма...

«Когда я проходила по улицам Севастополя, меня всегда останавливали ребяташки и деловито спрашивали:

— Сколько вчера убила?

Я обстоятельно докладывала им о своей работе снайпера. Как-то пришлось им честно сказать, что уже несколько дней не истребляла врагов.

— Плохо, — в один голос сказали ребяташки, А один, совсем маленький, сурово добавил:

— Очень плохо. Их надо убивать каждый день.

Он верно сказал, этот маленький суровый севастополец. С того памятного дня, когда гитлеровцы напали на мою страну, каждый прожитый мною день наполнен одной лишь мыслью и одним желанием — убивать врага.

Когда я пошла воевать, у меня была одна большая злость на фашистов за то, что они нарушили нашу мирную жизнь, за то, что они напали на нас. Но то, что я увидела потом, породило во мне чувство такой неугасимой ненависти, что ее трудно выразить иначе как пулей в сердце фашиста.

В отбитой у врага деревне я видела труп тринадцатилетней девочки. Ее замучили и зарезали фашисты. Я видела рядом труп трехлетнего ребенка. В доме поселились немцы, ребенок капризничал, плакал. Они его убили. Мать сошла с ума. Я видела расстрелянную

учительницу. Тело ее лежало у дороги, по которой бежали от нас немцы. Гордая русская женщина предпочла смерть позору, она ударила фашистского офицера по морде.

Они ничем не гнушаются, все человеческое им чуждо. Нет слов, чтобы определить их подлую сущность. Что можно сказать о немце, в сумке которого я нашла отнятую у нашего ребенка куклу? Это бешеный шакал, Которого надо уничтожить ради опасения наших детей.

Ненависть многому учит. Она научила меня убивать врагов. Ненависть обострила мое зрение и слух, сделала меня хитрой и ловкой, ненависть научила маскироваться и обманывать врага, разгадывать его уловки, Я научилась по нескольку суток терпеливо охотиться за вражескими снайперами.

Пока хоть один захватчик ходит по нашей земле, я буду думать только об одном — убить врага».

Это было письмо-клятва, и Людмила Павличенко выполнила ее. Более того, она подготовила немало снайперов, научила их тем военным хитростям, которые открыла для себя, делилась с ними военным опытом. Даже после ранений и контузий Людмила Павличенко не теряла времени даром — в период выздоровления пристреливала винтовки, отлаживала оптические прицелы, занималась с молодыми снайперами, готовила их в засады...

В самом начале 1942 года, когда и первое и второе наступления гитлеровских войск на Севастополь захлебнулись и наши войска продолжали удерживать героический город, их положение явно улучшилось, появилась возможность подтянуть свежие силы, создать надежную оборонительную полосу. Перед третьим наступлением создали вторую линию обороны и гитлеровцы. Насколько громадной была подготовка наших войск к будущим боям, можно судить по одной только цифре: общая протяженность траншей, ходов сообщения, окопов достигала трехсот пятидесяти километров. Кроме того, были созданы мощные минные заграждения. Тогда же на этом участке фронта широкое распространение получило и снайперское движение.

Основными целями для наших снайперов были одиночные и групповые наблюдатели фашистов, их связные, пулеметные и минометные расчеты. Нарушить связь между вражескими соединениями, убрать наблюдателя, сумевшего засечь наши огневые

точки, ослабить боевые расчеты — все это была очень существенная подмога для наших основных частей. Бывали случаи, когда снайперы выполняли и более серьезные боевые задачи: захватывали высоты, блокировали дороги, по которым гитлеровцы подвозили на свои позиции снаряды и провиант.

Именно тогда, во время этой передышки, и выработался своеобразный метод работы снайперов в этих открытых степных, лесостепных, гористых участках местности. Чаще всего снайперы выходили на задание парами, причем один из них вел огонь, а второй наблюдал за вражескими позициями, отмечал его огневые точки, охранял своего напарника, а при необходимости и сам подключался к стрельбе. Этот метод не один раз оправдывал себя, особенно когда появились снайперы и у гитлеровцев и приходилось учитывать и эту дополнительную опасность.

Когда фашисты, потерпев поражение во второй попытке прорвать нашу оборону и отсиживаясь за рядами колючей проволоки, копили силы, набирались решимости, перед снайперами Севастопольского гарнизона была поставлена задача: не давать врагу покоя ни днем ни ночью, не давать ему возможности использовать передышку для отдыха, для накопления сил, подвоза боеприпасов. Снайперы должны были лишить гитлеровцев спокойствия, создать обстановку напряженности, неуверенности.

Надо сказать, гитлеровцы очень скоро почувствовали опасность — при затишье на фронте, при отсутствии активных военных действий, отсиживаясь за несколькими рядами колючей проволоки, они ежедневно теряли десятки солдат и офицеров. Это угнетающе действовало на остальных, никто не мог чувствовать себя в безопасности. Нередко случалось, что гитлеровцы, заметив на местности что-то подозрительное, срывались и начинали вести бешеный огонь, раскрывая свои огневые точки, давая снайперам новые цели. Поняв это, снайперы стали умышленно в течение ночи устанавливать на ровных, хорошо изученных немецкими наблюдателями местах различные подозрительные сооружения — то камней навалит, то куст воткнут в землю, то словно бы по неосторожности оставят саперную лопатку. А едва только рассветало, по этому месту гитлеровцы открывали сильнейший огонь, полагая, что где-то там, за камнями притаились наши снайперы.

Разумеется, в таких условиях выбираться на нейтральную полосу шириной несколько десятков метров, находиться на этой полосе сутки, двое, трое да еще вести наблюдение за вражескими позициями, вести огонь, выполнять задание — для этого нужно было обладать настоящим мужеством, бесстрашием.

Как бы там ни было, а наши снайперы вынудили фашистов прекратить всякое движение на переднем крае, полностью зарыться в землю, и, конечно же, в таких Условиях думать о передышке, отдыхе, накоплении сил было попросту невозможно.

— Мы заметили, — рассказывала Людмила Павличенко, — что хотя на переднем крае у фашистов движение прекращено, в тылу, в глубине обороны оно фактически не прекращалось, а особенно заметное оживление наступало во время подвоза кухни. Перед нами была поставлена задача — по возможности парализовать движение и в тылу.

И вот пятеро снайперов рано утром, еще до рассвета, уходят в сторону вражеских позиций. Миновав передний край наших войск, они углубляются в нейтральную полосу, потом бесшумно пересекают и передний край противника, оказавшись, таким образом, у него в тылу.

Замаскировавшись в кустах, начали ждать рассвета. Место выбрали заранее, еще до самой операции, причем выбрали таким образом, чтобы и дорога была под пристрелом и не вызвать подозрений гитлеровцев.

С рассветом на дорогах возникло движение — подвозили боеприпасы, провиант, военное снаряжение, забегали связные, короче, в тылу началась обычная военная жизнь. И тогда снайперы открыли огонь. Фашисты поначалу даже не поняли, что стрельба ведется с их же территории, они решили, что снайперы, как обычно, расположились на нейтральной полосе и начали сильный ее обстрел. Одиночные выстрелы у дороги были почти не слышны на том общем фоне огня, который открыли гитлеровцы.

Засада была раскрыта лишь когда противник потерял около полутора сотен солдат и офицеров, когда на дороге полностью прекратилось всякое движение. Поняв, что огонь ведется из придорожных кустов, гитлеровцы направили туда развернутым строем роту автоматчиков... И потеряли еще около десятка солдат. Когда же

автоматчики все-таки прорвались к кустам, там никого не оказалось — снайперы успели уйти оттуда и теперь открыли огонь со стороны. Их редкие выстрелы не были слышны за автоматными очередями, которыми немцы щедро поливали все вокруг.

Тогда командование гитлеровцев распорядилось иначе. Поредевшая рота разбилась на две части, и высоту, на которой укрылись снайперы, стали обходить с двух сторон. Кончилось это тем, что фашисты, издерганные постоянными потерями, начали палить друг в друга — одна группа приняла другую за наших снайперов.

Операция увенчалась блестящим успехом. Надо ли говорить, сколько нужно было мужества, самоотверженности, выдержки, чтобы не дрогнуть, когда видишь, что на тебя идет сотня автоматчиков, а сам-то ты не на своей территории, что надеяться не на кого, никто не сможет помочь, выручить, спасти.

Поэтому, когда у Людмилы спрашивали, от чего зависит успех, она только улыбалась.

— От всего зависит. А больше всего — от тебя самого. Надо знать наизусть все проходы на нейтральной полосе, хорошо помнить все очертания вражеской обороны, чтобы сразу увидеть неожиданно возникший камень, горку земли, неосторожно оставленный предмет, которого не было вчера. Надо быть готовым к тому, чтобы несколько суток пролежать без движения. До чего доходит — пока в засаде лежишь, забываешь, как слова произносить. А на нас потом жалуются — слова, дескать, из них не вытянешь! Мы бы рады поговорить, да не сразу это получается.

Потом, уже в мирные дни, когда пройдет много лет, у Людмилы Михайловны Павличенко будут часто спрашивать о ее военных днях, о запомнившихся случаях. О выстрелах она говорить не будет, обо всем остальном — пожалуйста...

— В засаду мы обычно уходили по двое, по четверо, если уходили впятером, считалось, что это уже большая группа, перед нами в таких случаях ставилась уже серьезная задача. Вооружение? Разумеется, каждый стрелок брал с собой снайперскую винтовку, которую сам пристрелял, выверил, которую знал наизусть, в которую верил. Что еще?.. Пистолет, пять гранат на случай, если придется вступить в настоящий бой, две сотни патронов — обычно этого оказывалось достаточно. Так что общий вес вооружения оказывался немалым.

Учитывая мое далеко не богатырское сложение, ребята помогали. Надо ведь учесть, что на группу полагалось еще два автомата, ручной пулемет с несколькими дисками, саперные лопатки, чтоб можно было в землю зарыться. Шли, обычно уже твердо зная, куда именно, место выбирали заранее, несколько дней наблюдали за ним, ночью выбирались к этому месту, проверяли и присматривались. Надо было самим убедиться в его надежности, в том, что оттуда можно стрелять, что не сразу заметят тебя, а когда заметят, чтобы была возможность спастись. Подготовка обычно велась со всей возможной секретностью, о том, куда пойдет группа, когда, кто в нее входит, знали только сами снайперы да еще один-два человека из командования.

Людмила Павличенко рассказывала об одной очень Успешной операции, проведенной снайперами. Этот боевой эпизод запомнился и своей необычностью, и тем, что показал, насколько велики возможности снайперов. Они сделали то, чего не смогли сделать более многочисленные, хорошо вооруженные роты. Это случилось во время Севастопольской обороны. Гитлеровцы сумели занять высоту Безымянную и благодаря этому держали под пристрелом очень важную дорогу, по которой на наши позиции подвозились боеприпасы, питание, снабжение. Задача была поставлена просто и кратко: необходимо фашистов с этой высоты выбить. Несколько попыток взять ее штурмом не увенчались успехом, хотя была и артподготовка, и огневая помощь атакующим. Засев на самой вершине, гитлеровцы укрепились в скалах и пулеметами простреливали все подходы.

— Нас было восемь человек, — рассказывала Людмила Михайловна, — Ночью нам удалось незамеченными подойти к самой высоте и даже подняться едва ли не на самую вершину. Во всяком случае, мы приблизились к гитлеровцам на несколько десятков метров. Когда рассвело, они, конечно, сразу увидели выросшие за ночь кусты невдалеке от их пулеметных гнезд. И естественно, сразу открыли огонь по этим кустам. Им бы подождать, присмотреться, но, видно, нервы не выдержали. А нам только того и нужно — мы тут же засекали все их огневые точки. Сами-то мы расположились в стороне от кустов и, конечно же, не одной кучей. Прогремело восемь выстрелов, потом еще несколько, и их пулеметы замолчали. Стрелять было некому. Гитлеровцы, услышав стрельбу на высоте Безымянной, бросили туда подмогу, но было уже поздно — в их укрепленных дотах сидели уже

наши ребята. Семь дней мы держали высоту, семь дней фашисты пытались вернуть ее, но не смогли, хотя, кроме снайперов, там никого не было. Только через неделю нас сменила стрелковая рота.

Этот бой приобрел такую известность в осажденном Севастополе, что о горстке снайперов заговорили на всех участках фронта. Людмилу Павличенко узнавали на улицах, приветствовали, о снайперах ходили легенды. И тогда весной 1942 года Военный совет фронта решил провести слет метких стрелков, обобщить опыт, расширить деятельность снайперов.

Слет открылся 16 апреля 1942 года. Собрались снайперы со всех частей Севастопольского гарнизона. Рассказать было о чем — на счету каждого было по сто — сто пятьдесят уничтоженных гитлеровцев. Можно сказать, что затишье на фронте для фашистов было довольно относительным — каждый день они теряли десятки солдат и офицеров.

— Говорить мы были не горазды, — рассказывала Людмила Михайловна, — поэтому выступления были не очень многословны. Тогда же я взяла обязательство — довести свой счет до трех сотен. И я это обязательство выполнила. И многие ребята тоже... Надо сказать, съезд очень оживил снайперское движение на нашем участке фронта. Только в апреле стрелки Севастопольского гарнизона уничтожили полторы тысячи гитлеровцев, а за десять дней мая эта цифра увеличилась еще на тысячу.

Но главное было в другом — снайперы создали на вражеских позициях атмосферу гнетущей безнадежности, они подавили моральный дух противника, и гитлеровское командование вынуждено было заменять целые части, пополнять их новыми соединениями, снятыми с других участков фронта.

Вот что говорил пленный обер-ефрейтор 47-го полка 22-й пехотной дивизии Альберт Вальтер:

— Ваши снайперы не дают возможности высунуть нос из окопа, они следят за нами круглые сутки. Нельзя же, в конце концов, все время сидеть в земле! Это просто доводит нас до истерики!

Здесь же, на севастопольской земле, весной 1942 года Людмила Павличенко пережила большое личное горе — у нее на глазах был убит ее муж, снайпер Алексей Киценко. Они познакомились еще до войны, в Киеве. Она тогда работала на заводе «Арсенал», потом

училась в университете. Алексей был электромонтером. Это было счастливое для них время. Казалось, все пути открыты — выбирай! И она выбирала — заглядывала в институты, присматривалась, изучала списки специальностей, которые готовит тот или иной вуз. Ей все казалось интересным — и геология, и история, и авиация. Хотелось везде поспеть, везде принять участие.

Вначале Людмила сделала попытку стать летчиком. Она поступала в планерную школу, но медицинская комиссия не допустила девушку к полетам. Что делать? И Людмила решила поступать на исторический факультет. Вместе с ней поступала и ее мать, они вместе ходили на занятия, спорили, толкались в шумных студенческих коридорах, а потом дома после занятий с шутками и смехом рассказывали о своей учебе, о студентах и преподавателях, и вся семья подтрунивала над ними.

Да, веселое и счастливое для Людмилы было предвоенное время, и казалось, ничто и никогда не нарушит ее планов.

Отец Людмилы, петроградский слесарь, красногвардеец, во время гражданской войны был комиссаром полка, воевал с Деникиным. Казалось, невозвратно далеки те тяжелые времена, а они в самом деле были для семьи Павличенко куда как тяжелы. Ведь это было: мать, уходя на работу, наказывала Люде, препоручая ей больную младшую сестренку: «Если заснет, не буди, если умрет, не трогай, беги за мной».

Но эти времена остались позади, миновали и голод, и нужда, и неустроенность, наладилась наконец хорошая, спокойная жизнь. Людмила подружилась с Алексеем Киценко, это была весна, они вместе бегали на одни фильмы, фильмов было тогда немного, и Людмила с Алексеем ходили на одни и те же по несколько раз, а часто вообще садились в парке на скамейке и затевали игру — что там сейчас, на экране? По звукам, музыке, голосам, доносившимся из открытого кинотеатра, они живо представляли себе все действия, поступки героев, даже их лица в этот момент.

Память сохранила и то, как они с Алексеем сдавали однажды задание, или, лучше сказать, экзамен по стрельбе. А задание это заключалось в следующем: два стрелка двенадцатью патронами должны были поразить двух пулеметчиков и восемь перебежчиков. На это давалось тридцать пять секунд. Задание непростое, а тут еще

Людмила опаздывала, инструктор ворчал, наконец впопыхах они расположились на огневом рубеже.

— Давай так, — сказала Людмила, — ты стреляй по пулеметчикам, а потом по пехотинцам слева направо. А я сразу начну по перебежчикам справа налево.

— Давай! — согласился Алексей.

Прозвучала команда, загрохотали выстрелы. За шесть секунд до истечения времени все мишени оказались поражены, да еще и два патрона остались неиспользованными, то есть мимо не прошла ни одна пуля.

Здесь надо заметить, что в тридцатые годы в стране развернулась большая оборонная работа, ее возглавили комсомол и Осоавиахим. В самых маленьких поселках, на предприятиях, заводах, в учреждениях создавались оборонно-спортивные кружки, в которых юноши и девушки учились стрелять, бросать гранаты, изучали азы военного дела. Уже в 1931 году по инициативе комсомола в стране началась массовая сдача норм ГТО. Правда, в то время сильно не хватало стрельбищ, винтовок, не хватало даже патронов — эти вопросы, проблемы также взялся решить комсомол. А когда началась война, стрелки-спортсмены обратились в ЦК ВЛКСМ с просьбой создать военные снайперские школы. И такие школы вскоре были сформированы, они принесли немало пользы во время войны. Севастопольский участок фронта — прекрасный тому пример.

Вернемся к Людмиле Павличенко. Был в их довоенной жизни с Алексеем случай уже зловещий, предостерегающий. Вот они вдвоем стоят на высоком холме, внизу в вечерних сумерках мерцает огнями родной Киев. А потом вдруг начинается затемнение, и они с высоты видят, как город гаснет, как район за районом погружается в темноту, как исчезают яркие ряды огней проспектов, улиц, и вот уже темнота, и словно нет рядом с ними громадного города...

И — война.

Людмила Павличенко пошла в военкомат на следующий же день. Невысокого роста, стройная, красивая девушка с копной золотисто-светлых волос. О войне ли с ней говорить? И ее отправляли домой. Она приходила снова и снова, пока не добилась своего — ее зачислили в 25-ю Чапаевскую дивизию.

С Алексеем ей пришлось повоевать недолго — до февраля 1942 года. Было вроде безопасное положение. Сидели рядом ребята, говорили о всякой всячине, кто-то уже подумывал об ужине, кто-то над кем-то шутил, все смеялись. И вдруг неожиданный артналет. Где-то далеко-далеко в глубине обороны противника ахнули пушки. На это даже не обратили внимания. Алексей сидел, положив руку на плечи Людмиле. Когда рядом взорвался снаряд, все осколки достались ему — семь ранений. А один осколок почти отсек руку, ту самую, которая лежала у Людмилы на плече. Не обними ее Алексей в тот миг, и осколок перебил бы Людмиле позвоночник.

Она сама отвезла его на операцию на случайно подвернувшемся грузовичке. Алексей терял сознание, снова приходил в себя, видел рядом Людмилу, что-то пытался сказать ей и снова впадал в забытие. Медпункт находился в расщелине скал, и Людмила не ушла, не нашла в себе сил уйти, когда хирург взялся за свое дело.

Это были самые страшные, самые тяжелые ее дни за все время войны. Алексей умер в час ночи первого марта, первый час весны, а она на юге наступает рано. Уже зеленели деревья, на пригорках появились цветы, пахло теплой землей — весной пахло.

Комиссар, посмотрев на Людмилу, отобрал у нее пистолет.

— А ну-ка давай его сюда, — сказал он. — Пока он тебе не понадобится. — Комиссар опасался, не вздумает ли она покончить с собой.

Людмила вспоминала потом — она почернела за эти дни, несколько дней не могла проронить ни слова, не могла заставить себя поесть. Когда ее заставили хотя бы выпить воды, оказалось, что она не может этого сделать — свело губы, и их пришлось раздвигать пальцами.

Потом ей принесли пистолет.

— Дашь салют по Алексею, — сказал комиссар. Людмила отказалась.

— Нет, — сказала она. — Не артистка, чтобы впустую стрелять.

Потом она доказала, что в самом деле стрелять впустую незачем. Представьте себе колонну бандитов из трехсот человек, колонну, вооруженную автоматами, пулеметами, минометами. Представьте себе эту колонну, шагающую по нашей земле. Так вот, Людмила

Павличенко, маленькая мужественная женщина, убрала эту колонну с нашей земли.

Людмилу Павличенко контузило, когда пошла четвертая сотня убранных ею с лица земли фашистов. Но ее борьба с фашизмом продолжалась. Осенью 1942 года она в составе советской молодежи посетила Соединенные Штаты Америки, Канаду, Англию. Ее уже знали всюду в мире, ее мужеством и отвагой восхищались во многих странах. Людмилу принял, нашел для нее время президент Соединенных Штатов Рузвельт. На митинге в Лондоне английские женщины, потрясенные ее рассказом о борьбе советского народа, о тех жертвах, которые нам пришлось принести, сделали ей символические подарки. Они подарили Людмиле револьвер как символ борьбы, ей, бывшей студентке исторического факультета, преподнесли учебник истории Древнего Рима, а также серебряный чайник — знак домашнего уюта, послевоенного, желанного, почти недостижимого уюта. Этот чайник сохранился у Людмилы Павличенко, и она с друзьями пила из него чай в Киеве в День Победы. Да, День Победы она встретила в своем Киеве.

Но до этого дня была еще война, еще годы войны. Осенью 1943 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза, она стала майором береговой службы. Потом она была награждена двумя орденами Ленина, медалями...

Началась мирная жизнь.

Некоторое время Людмила Павличенко находилась еще в армии, потом закончила Киевский университет, аспирантуру, занялась историей отечественного флота, Она написала книгу, посвященную своим боевым друзьям, защитникам Севастополя. «Героическая быль» — так называется эта книга. И хотя ее снайперская винтовка после войны оказалась в музее, сама Людмила Михайловна Павличенко не сложила оружия — теперь все свои силы она отдавала борьбе с войной. Участница многих международных конференций и конгрессов, она неустанно во многих странах повторяла слова о необходимости защиты мира. -

Она говорила:

— Мир должен царить на земле. Мы все хотим, чтобы цвели сады, играли дети, чтобы влюбленные сидели: на бульварах. И горе тому, кто посмеет поднять руку на нашу страну.

Слова более чем современные, они злободневны и сегодня. В них мораль нашего народа, мораль человека, который прошел всю войну на переднем ее крае. И даже впереди переднего края.

Будучи членом Комитета советских ветеранов Великой Отечественной войны, Людмила Михайловна Павличенко вела большую работу, была постоянно связана с защитниками мира в Германии, Чехословакии, Франции, Польше, Италии... Она часто бывала на предприятиях, в учреждениях, встречалась с коллективами рабочих, со студентами и учащимися. И ее слова, слова одного из известнейших наших героев войны, никого не оставляли равнодушными.

Людмила Михайловна Павличенко умерла в октябре 1974 года. Ей было не так уж много — пятьдесят восемь лет.

Виктор ПРОНИН

Имант СУДМАЛИС

Есть люди, биографии которых наиболее тесно переплетены с крутыми поворотами в исторических судьбах отчего края. Люди, чьи подвиги еще при их жизни называют легендарными. Таким человеком, такой живой легендой был любимец и национальный герой латышского народа, прославленный комсомольский вожак Имант Судмалис, посмертно удостоенный высшего отличия нашей Родины — звания Героя Советского Союза. Был легендой живой, по праву стал легендой бессмертной.

Известно, что ценность человеческой жизни измеряется не прожитыми годами, а свершенными делами. Вступив в нелегальную комсомольскую организацию шестнадцатилетним пареньком, Имант сделал тогда выбор на всю жизнь, испытанную затем отважным коммунистическим подпольем и яростным огнем военных пожарищ. Везде и всегда его отличали глубокая убежденность в правоте избранного пути, железная воля, личное мужество, повседневная готовность жертвовать собой, если того требуют особые обстоятельства.

Он родился 18 марта 1916 года в небольшом городке Цесисе, когда значительную территорию Латвии оккупировали кайзеровские войска. В 1920 году семья Судмалисов переселилась в приморский город Лиепаяю. Там то и дело вспыхивали забастовки докеров, моряков, металлургов, проходили массовые демонстрации, из рук в руки передавались тайно отпечатанные листовки, призывавшие к борьбе с ненавистной диктатурой националистической буржуазии, с помощью иностранных интервентов потопившей в крови завоеванную трудовым народом Латвии Советскую власть.

Теперь только можно догадываться, как в руки школьника Иманта Судмалиса попала листовка, датированная июнем 1905 года. В ней, приветствуя броненосец «Потемкин» — первый крупный военный корабль, перешедший на сторону революции, — Лиепайский комитет Латышской социал-демократической рабочей партии провозглашал:

«Честь и слава товарищам, с оружием в руках продолжающим борьбу за свободу!»

Позже Иманту станет известно — как только весть о восстании потемкинцев долетела с берегов Черного моря к Балтийскому, в поддержку отважного экипажа дружно выступили матросы Лиепайского военного порта. С помощью рабочих города они захватили местный арсенал, подняв над ним Красное знамя. С тех пор враги революции с ненавистью, а ее защитники с гордостью и любовью стали называть мятежный город Красной Лиепаей (Либавой). Революционной славой Лиепайи очень рано стал гордиться Имант, которого жизнь подвергала все новым и новым тяжким испытаниям.

Ему едва минуло 12 лет, как умерла мать. Вместе с младшим братом Видевудом его стала «воспитывать» сестра отца, владелица пансионата. Однако подлинную школу жизни он проходил у портовых ворот, у заводских и фабричных проходных, на аллеях парка, где возникали летучие митинги трудового люда, отстаивавшего свои социальные права. Четырнадцатилетним подростком Имант всерьез заинтересовался революционным движением, а осенью 1931 года, поступив на второй курс Лиепайского техникума, быстро сблизился со своими сокурсниками, особенно с юношами из рабочих семей.

В отличие от тетки дядя Иманта Эмиль Судмалис был активистом загнанной в глубокое подполье Коммунистической партии Латвии, прирожденным оратором и пламенным пролетарским публицистом. Являясь членом рабоче-крестьянской фракции буржуазного сейма, он весной 1932 года побывал в Лиепае, приобщив и своего очень начитанного племянника к активной революционной деятельности. При поддержке соучеников — Яниса Аболса и Марии Розентретер — Имант вскоре создал нелегальную комсомольскую организацию, названную «Район интеллигентной молодежи». Члены этой юношеской организации свои тайные собрания проводили в прибрежных дюнах, на южном молу, либо в лодках, заблаговременно нанятых «Для катания по Лиепайскому озеру».

А наступивший вскоре 1933 год принес тревожные вести: фашисты, захватившие в Германии власть, не укрывали своих планов кровавой перестройки Европы. В этих планах Латвии, Литве и Эстонии отводилась роль плацдарма для нападения на Советский Союз. Предупредив трудящихся, что победа фашизма в Германии

укрепила позиции и местных фашистов, коммунисты Латвии призвали дать сокрушительный отпор реакции. Откликнулся на этот призыв и «Район интеллигентной молодежи». На раздобытом шапирографе было размножено воззвание, написанное Имантом. Оно гласило:

«Школьники! Мы не допустим, чтобы нас науськали на пролетариат — на наш или на советский. Наши виды на будущее делаются все мрачнее. Единственный выход из кризиса и безработицы — уничтожение существующего экономического строя и создание Советской Латвии. Школьники! Мы все должны объединиться в Союзе Коммунистической Молодежи!..»

Шпики установили слежку за деятельностью нелегальной организации в учебных заведениях города. Архивы лиепайской политохранки сохранили их тогдашние донесения следующего рода: «Найдены листовки антиправительственного характера», «неизвестными вывешены красные флаги», «злоумышленниками распространяется журнал «Саркана палидзиба» («Красная помощь»), обнаружен транспарант с надписью «Все на борьбу за Советскую власть!».

Попавший в лапы охранки малодушный юнец выдал подпольщиков. Имант и 18 его товарищей по нелегальной комсомольской деятельности были схвачены и заключены в тюрьму. На допросах все упорно молчали. Вот и пришлось кое-кого из задержанных, в том числе Марию Розентретер и Видевуда Судмалиса отпустить до суда по домам. Самого же Иманта перевели в одиночную камеру. А он сразу же объявил непримиримую войну тюремному начальству: перестукивался с заключенными соседних камер, в 16-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции отказался от пищи и не вышел на прогулку, наладил нелегальную переписку с находившимися на воле единомышленниками, осаждал администрацию тюрьмы заявлениями. В одном из них он писал: «Прошу разрешить держать в камере, письменный принадлежности. Намерен писать рассказы, стихи, изучать русский язык, химию, математику, а также составлять обзоры прочитанных книг».

Протесты и заявления Иманта — единственное оружие политического заключенного — день от дня делались все более настойчивыми и решительными. Но один за другим следовали и дисциплинарные взыскания. 17 месяцев его лишали права переписки,

свиданий и получения передач от родных, в темном карцере содержали в общей сложности 49 суток. Конечно же, борьба была неравной, но Имант достойно в ней выстоял!

А вот выписка из протокола заседаний лиепайского окружного суда, начавшихся 5 марта 1935 года: «...судебным следствием доказано, что Имант Судмалис действовал на редкость активно, пропагандируя коммунистические идеи. Помимо всего прочего, Имант Судмалис побуждал своих школьных товарищей вести на селе во время школьных каникул коммунистическую агитацию и организовывать забастовки сельскохозяйственных рабочих. Его с полным основанием можно называть душой вышеупомянутого «Района интеллигентной молодежи». Даже в судебном заседании И. Судмалис сам себя признал убежденным коммунистом».

Приговор гласил: четыре года принудительных работ. Но поскольку Имант к тому времени не достиг совершеннолетия, их заменили тремя годами тюрьмы с зачетом предварительного заключения. Он вышел из казематов 8 сентября 1936 года с подорванным здоровьем и ослабленным зрением, но зрелым революционером, закаленным трудностями борьбы. Ему бы после сырых тюремных стен отдохнуть, подлечиться, а он спешил с одной тайной сходки на другую.

Не имея явных улик, власти все же яростно преследовали Иманта. Едва он устроился рабочим на прокладку телефонных линий, как был уволен «из-за неблагонадежности». Поступил на каменоломню — то же самое. А жизнь все настойчивее заставляла думать и о хлебе насущном: 5 апреля 1937 года, соединив свою судьбу со светловолосой Марией Розентретер, он стал главой семьи.

С согласия руководителей подполья Судмалисы переехали в Ригу, где у супругов появился первенец — дочь Айя. Прибавились новые хлопоты, но и тогда главным для Иманта оставалась революционная борьба. Правда, горькая нужда принуждала быть грузчиком либо подмастерьем, маляром или бетонщиком, только ничто не могло помешать подпольной деятельности.

Заменив уехавшего в республиканскую Испанию первого секретаря нелегального ЦК комсомола Латвии Карла Розенберга, Имант вместе с Марией помогли и многим другими, рвавшимся в бой с мятежниками, тайно перебраться на Средиземноморское побережье.

Были среди них и товарищи по лиепайскому революционному подполью — Эдуард Упесля, Фрицис Пуце, Анис Аболс...

Даже когда весной 1938 года Иманта призвали в трудовую команду, где под тайным наблюдением военной разведки солдатскую службу несли «политически неблагонадежные люди», ему и в жесточайших условиях беспрестанной слежки удавалось сплачивать вокруг себя единомышленников. На исходе 1939 года, после демобилизации, Судмалис получил партийное задание первостепенной важности: создать в Лиепае нелегальную типографию для печатания газеты «Коммунист», журнала «Страдниеку цельш» («Рабочий путь»), листовок и воззваний. Пренебрегая опасностью, Мария энергично помогала мужу в столь рискованном деле. Оба они действовали осмотрительно и умело. Агентам охраны так и не удалось обнаружить действующую полным ходом типографию. 18 января 1940 года, ворвавшись в квартиру Судмалисов, они сумели лишь в качестве улики обнаружить рукописи готовившегося к печати очередного номера «Коммуниста», который потом все же вышел. Следователю при первом же допросе Имант категорически заявил:

— Найденные материалы я получил от лица, о котором не желаю давать никаких показаний.

Политическая охранка отдавала себе отчет в том, что от арестованного признания не добиться. Именно потому две недели спустя последовало представление министра внутренних дел буржуазной Латвии военному министру. Оно гласило: «Доказано, что Имант Судмалис нарушил государственную безопасность, поэтому прошу применить к нему 10-й пункт, то есть — держать в заключении без судебного решения».

И применили, отправив в Рижскую центральную тюрьму. Здесь 16 июня он датировал письмо маленькой дочурке Айе...

Вряд ли Имант предполагал тогда, что буквально через пять дней, с падением в Латвии фашистского режима, из тюремного заключения выйдут вместе с ним вожак латгальской молодежи Исаак Борок, член пропагандистской коллегии ЦК комсомола Элла Эзере (Анкупе) и многие другие соратники. Рука об руку с испытанными в борьбе товарищами он шагал во главе нескончаемых колонн рижских пролетариев, требовавших от вновь созданного Народного

правительства проведения в стране коренных демократических преобразований.

Побывав вечером в Центральном Комитете комсомола, вышедшего из подполья, как и Коммунистическая партия Латвии, получив там инструкции и новые поручения, Имант с остальными освобожденными политзаключенными лиепайчанами на следующее утро вернулся в родной город. Поднявшись на балкон вокзального здания, он обратился к встречающим с взволнованной речью, дав торжественную клятву неутомимо продолжать дело освободительной борьбы пролетариата.

Первые дни и месяцы свободы были до предела наполнены напряженным повседневным трудом. Секретарь Лиепайского уездного и член Центрального комитетов комсомола Латвии, член редакционной коллегии газеты «Коммунист», Имант Судмалис ни прежде, ни теперь не произносил громких фраз, а увлекал молодежь переизбытком собственной энергии, привлекая к себе теми обширными знаниями, которые сумел накопить за долгие годы подпольной борьбы.

Нередко вышагивая десятки километров бездорожья, он неизменно в обещанное время появлялся там, где его с нетерпением ждали — в сельских школах и народных домах, на собраниях первичных комсомольских организаций и молодежных сходках. Вот и в глубокую ночь на недоброй памяти 22 июня 1941 года Имант возвращался из Кулдиги в Лиепаяу, когда этот мирный город, объятый всплесками пламени и дыма, содрогался от бомбовых ударов. Не заходя домой, где его с тревогой поджидала Мария, нянчившая уже вторую дочь — Сармите, Судмалис отправился в городской комитет партии.

Там уже находились члены бюро уездного и городского комитетов, руководители предприятий и учреждений, секретари первичных партийных организаций, комсомольские вожаки. Внезапное нападение врага не посеяло паники среди жителей Лиепайи. Организаторами ее обороны стали секретари городского комитета партии Микелис Бука и Янис Заре, командир 67-й стрелковой дивизии генерал-майор Николай Дедаев и Имант Судмалис.

— Драться за каждый дом, за каждый камень мостовой!

Этот клич коммунистов с быстротой молнии облетел Лиепаяу. Рабочие заводов «Сарканайс металургс», «Тосмаре», докеры порта

вступали в батальоны и боевые отряды ополченцев, женщины, инвалиды, даже старики и дети рыли противотанковые рвы, траншеи, щели для укрытия от бомбежек, гасили то здесь, то там вспыхивавшие пожары, оказывали первую помощь пострадавшим. Имант Судмалис принял на себя командование добровольческим комсомольско-молодежным отрядом, поручил его вооружение секретарю городского комитета комсомола Борису Пелнену.

Лиепая, которую позже по достоинству назовут балтийским Брестом, его родной сестрой, стала местом первой крупной битвы на территории Латвийской ССР, где рядом с воинами Красной Армии отважно сражались под руководством коммунистов и добровольческие рабочие формирования.

Километрах в четырнадцать от Лиепай, там, где сужается полоса земли, пограничники раньше других встретили бешеный натиск подразделений 291-й пехотной дивизии гитлеровцев с приданными им частями усиления. Туда и повел свой отряд Имант. Молодые бойцы закрепились на вершине высокой, поросшей деревьями дюны, поддерживая пограничников пулеметным и винтовочным огнем.

Бой не стихал до глубокой ночи. А на следующий день, 23 июня, захватчики попытались прорваться к северному предместью города. Но и здесь им преграждали путь меткие залпы все того же комсомольского отряда. Тогда фашисты бросились на важнейшую магистраль Лиепай — Гробиньское шоссе. Вот тут-то, встав во весь рост, атакующих встретили сошедшие на сухопутье военные моряки — парни в черных бушлатах. Именно там и тогда, в самую раннюю пору Великой Отечественной войны, ошеломленные солдаты и офицеры вражеской армии нарекли советских моряков «черными дьяволами», «черной смертью». Эти слова, рожденные на ближних подступах к Лиепай, потом грозно звучали под Одессой и Севастополем, у Малой земли.

Много лет спустя западногерманский военный историк Пауль Каррел вынужден будет признать на страницах своей книги «Операция «Барбаросса»: «В боях за Лиепай немецкие войска понесли тяжелые потери, а контратаки защитников города ставили осаждающих в очень тяжелое, почти катастрофическое положение». Сопоставив оборону Брестской крепости с защитой Лиепай, Каррел сделал вывод, что

именно в этих двух местах гитлеровцам было оказано особенно упорное сопротивление.

Во время жесточайших боев, продолжавшихся до 29 июня, комсомольский отряд Судмалиса отстаивал военный порт, занимал оборону на берегу канала, отделявшего Новую Лиепаяу от ее старой части, не давая противнику возможность прорваться к мосту. В те трагические дни смертью храбрых пали Микелис Бука, Янис Заре, Николай Дедаев, командир отряда металлургов, участник гражданской войны коммунист Артур Петерсон, па Шкедских дюнах был расстрелян Борис Пелнен, который на вопрос оккупантов, скольких немцев он убил, бесстрашно ответил: «Не знаю, не считал!»

Начальник лиепайского гестапо Куглер цинично заявил: «Лиепая с ее окрестностями давно известна как красная. Поэтому лучше расстрелять десять невинных, чем оставить в живых одного красного». А нацистский комендант города Штейн свои приказы начинал, как правило, и кончал угрозами смертной казни. Так, 2 июля он подписал приказ: «Для надежного порядка в Лиепаяе немецкая комендатура объявляет, что за каждую попытку нападения и акта саботажа будет расстреляно 10 заложников».

Потом уже Имант узнает, что такие «попытки» стали совершаться с первого дня падения города. Оставшиеся в живых его друзья и воспитанники совершали нападения на немецкие посты, под копирку размножали листовки, призывавшие население не верить фашистской пропаганде, слушать радио Москвы, всячески сопротивляться захватчикам.

А где же сам Судмалис?

Получив приказ оставить Лиепаяу, он с боями отступал к Риге. У поселка Вайнёде вместе с редактором газеты «Коммунист» Арнольдом Криевсом завернул на хутор незнакомого крестьянина, назвавшись Яном Плотниеком. Сестра хозяйки дома, оказавшаяся лиепайчанкой, возразила:

— Нет, ты Имант Судмалис. Мой муж коммунист. Я часто видела тебя с ним на судоремонтном заводе «Тосмаре».

Она отвела Иманта на другой хутор, принадлежавший, к его удивлению... Судмалису-однофамильцу. Что было потом, видно из отчета Центральному Комитету Коммунистической партии Латвии, собственноручно написанного впоследствии Имантом: «Появилось

распоряжение, гласившее, что все, пришедшие сюда после начала войны, должны зарегистрироваться в волостной управе. Тогда я рассказал Судмалису, кто я такой, и он на велосипеде поехал в Лиепаяу, откуда привез с моей квартиры вещи и паспорт. На моей квартире айзсарги уже провели обыск: они искали оружие, забрали книги, а паспорт не нашли. Я... вырвал листок с лиепайской пропиской, и осталась только отметка о моей прописке в Риге. А из Риги в то время к хозяину наведальась его сестра Оттилия — работница текстильной фабрики. Уезжая домой, она оставила мне свой рижский адрес, обещая при надобности помочь».

Узнав, что Арнольда Криевса фашисты схватили и расстреляли, Имант покинул хутор, продолжая рискованный путь лишь летними короткими ночами. 25 июля он достиг Риги. В первой квартире дома № 11 по улице Дзирнаву застал сестер жены — Туснелду Розентретер и Руту Путик, потом связался с Оттилией Судмалис. Так было положено начало созданию в столице непокоренной Советской Латвии одной из первых антифашистских групп.

А Рига тогда буквально была запружена всевозможными штабами, комендатурами, оккупационными учреждениями. Тут обосновался рейхскомиссариат во главе с гаулейтером Генрихом Лозе, разместилась резиденция генерала Фридриха Еккельна — верховного руководителя войск СС и полиции так называемой «имперской провинции «Остланд». Вот почему и поныне кажется чудом, как Иманту удавалось оставаться в городе неопознанным. Впрочем, сделаем еще одну выписку из уже упомянутого отчета:

«Оттилия выкрала для меня паспорт своего брата К. Судмалиса, 1914 года рождения, который жил на ул. Лиела Нометню, № 23, кв. 18. Я сфотографировался, наклеил свою карточку на его паспорт, химическим карандашом нарисовал на ней печать и отправился на биржу труда. Тут я нанялся батраком к кулаку Иецавской волости Бауского уезда... Здесь прожил до 27 апреля 1942 года. Пытался организовать партизанскую группу из военнопленных — но ничего не получилось. На шоссе Рига — Бауска — Тильзит разбрасывал гвозди, чтобы портить автомашины. Я познакомился и подружился с крестьянином Станиславом

Вилксом, который при Советской власти получил землю. Немцы у него землю отобрали и вернули кулаку. Он арендовал небольшое хозяйство в этой волости.

Я не был доволен работой, которую мог здесь проводить, так как был привязан к месту, имел ненадежные документы, не знал людей. Поэтому я решил весной направиться на восток, установить связи с партизанами Латвии или России, где они, как я слышал, действуют, или же перейти линию фронта и вступить в Красную Армию. Из Иецавы через Ригу пароходиком, на грузовике и пешком я добрался до Лиепай, чтобы разыскать и собрать городских и уездных комсомольцев. В Лиепайю я прибыл 1 мая 1942 года».

Он робко постучал в двери квартиры своего школьного товарища Арвида Индриксона. А квартира та находилась на улице Гимназияс, неподалеку от которой обосновалось гестапо. В запыленном, изрядно отощавшем молодом человеке матушка Лавиза Индриксон сразу и не признала давнего друга сына, а когда убедилась, что перед ней Имант, тревожно всплеснула руками:

— Как ты очутился здесь? Тебя повсюду ищут. Если найдут — непременно расстреляют...

Ни в самой Лиепае, ни в волостных центрах уезда Судмалис так и не нашел верных друзей: очень многие сложили головы при обороне города, другие томились в тюрьмах и наспех созданных гитлеровских лагерях. Поняв, что разрозненным, стихийно создаваемым антифашистским группам не обойтись без единого руководства и прочной связи с советским тылом, Судмалис вернулся в Иецаву, припас у Станислава Вилкса скудные продукты, обзавелся приличным костюмом и вновь отправился в путь через всю оккупированную Латвию.

Не очень отдаляясь от шоссе Рига — Даугавпилс, он обходил лесами населенные пункты и на исходе третьей недели заночевал около непроходимого болота близ белорусской деревни Прошки, расположенной на стыке прежней латвийско-советской границы. Тут его и обнаружил местный староста Борис Прошка.

К тому времени прошковская подпольная комсомольская организация уже прочно была связана с партизанами товарища Иванова (под таким именем отрядом командовал директор Чапаевской машинно-тракторной станции Иван Кузьмич Захаров). А среди активных членов той организации находились и молодые парни из соседних латвийских селений, приходившие сюда под видом корчевателей пней в окрестных лесах для смолокурного завода. Вот к ним-то староста, оказавшийся партизанским ставленником, и привел Судмалиса.

Правда, прошковских подпольщиков насторожил необычный по тем многотрудным временам внешний вид Иманта: на нем был хороший костюм, рубашка с пестрым галстуком. К тому же он рассказал, что владеет немецким языком и может подделать любой документ оккупационных властей. Да и латышские «корчеватели» хотя и слышали перед войной о видном комсомольском активисте Судмалисе, в лицо его не знали. Проверка предпринятая через надежных связных, подтвердила — да, это Имант, коммунист стальной воли, на него можно смело полагаться.

Еще при обороне Лиепая Имант проявил себя не только отважным командиром комсомольского добровольческого отряда, но и метким пулеметчиком. В этом сразу же убедились и партизаны «товарища Иванова», 25 мая принявшие Судмалиса в свой отряд по рекомендации прошковской нелегальной комсомольской организации. Вот как это было.

Небольшой по численности отряд Ивана Кузьмича Захарова «оседлал» шоссе, ведущее из Коханович в Освею. Едва на нем показался лимузин, сопровождаемый конвоем, как из зарослей придорожного кустарника застрочил пулемет Судмалиса. Пущенная им очередь была настолько точна, что машина, оказавшаяся генеральской, опрокинулась набок. Первым опомнился адъютант генерала, успевший бросить гранату. Она приземлилась в кустарнике и закрутилась рядом с пулеметом Иманта. Молниеносно схватив ее, он швырнул гранату обратно, и она разорвалась возле подстреленного автомобиля.

Опомнившийся конвой открыл беспорядочную пальбу. Но, не обращая внимания на выстрелы, Судмалис выскочил на дорогу, сорвал с убитого генерала планшет и исчез. Находившаяся в планшете

секретная документация оказалась очень ценной. Она содержала план намечавшейся оккупантами карательной экспедиции.

Отличился Имант и в следующей операции народных мстителей, проведенной в ночь на 12 июня. Около двухсот белорусских и латышских партизан, петляя по лесам, обходя болота, большие и малые озера, двинулись тогда к латвийскому местечку Шкяуне. Нагруженный ручным пулеметом, трофейным автоматом, добытым в первом бою, и боеприпасами, Судмалис с присущей ему завидной физической выносливостью легко и уверенно шагал к границе родного края.

Стремительный налет партизан был для врага настолько неожиданным, что ни гитлеровцы, ни полицейские из местных предателей так и не смогли оказать организованного сопротивления. Рассеяв вражеский гарнизон, уничтожив огнем вещей и продовольственные склады, разгромив волостное и полицейское управления, здание гестапо, военную пересыльную почту, телефонно-телеграфную станцию, нападавшие без потерь отправились в обратный путь, увозя с собой захваченные винтовки, боеприпасы, пулеметы, форменную немецкую одежду, медикаменты, табак, около 20 тонн сахара. Паспорта и списки тех, кого оккупанты собирались угнать в Германию, предварительно на месте сожгли.

Взбешенное разгромом своего гарнизона и находившихся в Шкяуне оккупационных учреждений, фашистское командование выслало из города Себежа две тысячи гитлеровцев для поимки отходившего отряда. У деревеньки Лисно завязалась ожесточенная схватка. Над местом разгоревшегося боя кружились вражеские самолеты. Чтобы оторваться от противника и выйти из окружения, партизанам надо было во что бы то ни стало переправиться через болотистую речку Свольня, которую гитлеровцы держали под непрерывным обстрелом. Не обращая внимания на пули и разрывы мин, Имант огнем своего пулемета целый час прикрывал отход товарищей. И только когда все они оказались в безопасности, отстреливаясь, сам переплыл реку. За доблесть и героизм, проявленные в той операции, партизанское командование представило его к высшей награде Родины — ордену Ленина.

Лишь вернувшись из Шкяуне, Судмалис подал о себе весточку Центральному Комитету комсомола Латвии. Сохранился маленький

листок бумаги, испещренный его мелким, четким почерком: «Дорогие товарищи! Мне впервые представляется возможность в нескольких словах сообщить о своей судьбе. Когда началась война, я организовал комсомольский отряд, в составе которого вел борьбу за Лиепаяу. После падения Лиепаяи и неудачных попыток прорваться к фронту, я провел осень и зиму в Латвии, в Иецавской волости Бауского уезда. Весною побывал в Лиепаяе и в своем уезде. Комсомольцы перебиты, брошены в тюрьмы. В некоторых волостях убиты все поголовно (в Аситской, Пампальской и других)... В настоящее время я состою в одном из партизанских отрядов, колошматим немцев так, что пух летит. Я знаю, что Ната^[14] в Москве: слышал однажды по радио ее выступление на митинге. Вот я и хотел бы попросить Нату, чтобы она, если возможно, позаботилась о Марусите: Марусите с матерью и обеими дочками выехали из Лиепаяи в первый же день войны. Пусть она не вешает носа и не беспокоится обо мне, пусть помнит старую поговорку: «Черт своих чад в обиду не даст!» Кроме того, на пряжке моего трофейного ремня имеется гордая надпись: «С нами господь!» Мы прогоним гитлеровцев и будем жить еще долго и счастливо. Имант Судмалис».

Лаконично-деловой тон начала послания, а затем озорная, жизнерадостная его концовка как нельзя лучше характеризовали самого автора — человека, безоговорочно верящего в победный исход борьбы, не унывающего даже в самые критические минуты...

Шел 1942 год. С разрешения командования 24 партизана, среди которых был и Имант, начали опасный и длительный переход. С помощью местных жителей пересекли они два железнодорожных участка, через линию фронта добравшись до Белорусского штаба партизанского движения. Здесь и организовали Судмалису поездку в Москву для подробного доклада об обстановке на временно оккупированной территории Латвии.

Исходив всю республику от моря до ее восточных границ, он многое увидел и узнал. Докладные записки, написанные им Центральному Комитету Коммунистической партии Латвии, ЦК ВЛКСМ и ЦК комсомола республики, органам государственной безопасности, являлись красноречивым свидетельством его обширной осведомленности, умения наблюдать, собирать факты, глубоко и всесторонне их анализируя — делать безошибочные выводы. Так, говоря о партизанском движении в Латвии, о его самых

целесообразных и эффективных формах, он прежде всего настоятельно рекомендовал учитывать особые обстоятельства, каких нет ни в Российской Федерации, ни в Белоруссии, ни на Украине.

Прославленный вожак народных мстителей, Герой Советского Союза Вилис Самсон после победоносного завершения Великой Отечественной войны засвидетельствовал: «Доклад И. Судмалиса явился в то время единственной развернутой и ценной информацией об обстановке в Латвии. Выводы Судмалиса были в значительной степени использованы латвийским партизанским отрядом, который в декабре 1942 года успешно базировался у восточных границ Латвии...»

Самому же Иманту не терпелось как можно скорее вернуться в родные края для продолжения борьбы. Беседуя с секретарем Центрального Комитета ВЛКСМ Николаем Михайловым, он доверительно сообщил, что в Риге уже складывается ядро руководящего антифашистского подпольного центра, состоящего из учащихся, студентов и рабочих, за которых можно поручиться.

Да и в Центральном Комитете Коммунистической партии Латвии были твердо убеждены в том, что разрозненные рижские антифашистские группы и организации нуждаются в едином центре по руководству подпольем. Возглавить этот центр ЦК доверил Иманту, первоначально решив забросить его в тыл врага самолетом. Он приступил к практическим занятиям со знаменитыми мастерами парашютного спорта, со дня на день откладывая поездку к предгорьям Урала, где в городе Бугуруслане приютили его жену с детьми.

Потом ему сообщили, что семья переезжает в Татарию. Там Мария станет воспитательницей Менгерского детского дома, созданного для девочек и мальчиков, эвакуированных из Латвии без родителей. Долог в ту пору был путь до Татарской автономной республики! На забитых эшелонами многочисленных железнодорожных станциях и полустанках отпускное время Иманта беспощадно, таяло у семафоров. Однако, добравшись к месту назначения, ему не сразу довелось встретиться с родными — они приехали сюда лишь за несколько часов до отхода поезда Иманта в Москву.

Вся их совместная жизнь состояла из встреч и расставаний, когда радость трудно отличить от печали, и, наверное, печали было чуть-

чуть больше. Вот и снова разлука — без слез, уныния и душевной слабости.

Пока Имант отсутствовал, намеченный ранее план существенно изменился. Ему предписывалось следовать к отчему краю не самолетом, а в составе небольшого специального отряда, сформированного из бойцов, закаленных на фронте либо в партизанской борьбе. Отряду под командованием Вилиса Самсона надлежало у границы Латвии создать надежную базу, подготовить там условия для практической деятельности оперативной группы ЦК Компартии Латвии и регулярной радиосвязи с Центром. Одновременно в спецотряд включилась группа комсомольских активистов. Им предстояло на оккупированной территории республики создать молодежно-комсомольское подполье, в партизанских отрядах укомплектовать комсомольские организации, вовлекать в партизанскую борьбу городскую и сельскую молодежь. Отряд вышел 20 октября 1942 года. 2 декабря — уже в прифронтовой полосе — было проведено партийное собрание, единогласно избравшее Судмалиса секретарем партийной организации. Командир отряда Вилис Самсон записал тогда в своем дневнике: «Ему одновременно доверяем и мы, молодые, и старшие. Верим интуитивно, подчиняясь внутреннему убеждению, которое по отношению к боевым товарищам зарождается на совместно пройденном боевом пути».

Партизаны отряда Самсона вместе с бригадой народных мстителей Калининской области РСФСР двинулись к границе Латвии и 4 декабря между железнодорожными станциями Локня и Насва перешли линию Северо-Западного фронта. Этот переход был одним из труднейших в истории партизанского движения Латвии. Шестьдесят километров без отдыха шли по глубокому снегу, а тут еще внезапно усилился мороз, сковавший панцирем влажную одежду и обувь. Колонна все чаще стала растягиваться, ослабевшие падали, не имея сил подняться. А остановка могла оказаться пагубной: до рассвета надо было как можно дальше уйти от переднего края обороны врага.

Но и рассвет не принес облегчения. Неподалеку от населенного пункта Поддубье фашистский пост обнаружил партизан и поднял маршевую роту в ружье. Отряд отразил атаку, предпринятую карателями. Смелыми действиями бойцов вместе с Вилисом Самсоном

умело руководил и парторг отряда товарищ Андерсон — под таким именем в рейд отправился Имант Судмалис.

Первые победы в тылу врага помогали преодолевать нечеловеческую усталость, хотя один бой с карателями тут же сменялся другим. Среди записей в боевом журнале отряда есть и такая: «14.XII. Ночью немцы дважды атакуют нас в селе Адерово. Вовремя поднимаем тревогу, и противник, неся большие потери, вынужден отойти. На заре к району обороны нашего отряда по дороге со стороны Опочки... приближается колонна противника численностью до батальона. Подпускаем эту колонну на 50 метров и только тогда открываем огонь из автоматического оружия. Противник, неся огромные потери, в панике бежит. В этих боях немцы потеряли 216 человек ранеными и убитыми. В разгроме немцев особенно отличился пулеметчик отряда Имант Судмалис».

Вынудив карателей отступить, спецотряд прорвался на юг, где к исходу 1942 года русские, белорусские латышские партизаны освободили от захватчиков территорию, превышавшую 10 тысяч квадратных километров. Здесь, между Освеей, Дриссой, Россонами и Себежем, в обширном братском партизанском крае отряд Вилиса Самсона 17 декабря завершил героический трехсоткилометровый переход и, обосновавшись у границы Латвии, стал готовиться к боевым действиям на ее территории.

Самсон и Судмалис прекрасно понимали, что подготовке условий для последующей деятельности непосредственного штаба руководства народной антифашистской борьбой — оперативной группы Центрального Комитета партии — должна предшествовать крупная акция, имеющая, кроме военного, и большое политическое значение. Такая акция и совершилась 13 января 1943 года. В ней, с 330 повозками, участвовали 800 белорусских, русских, латышских и литовских партизан. Глубокой ночью их атакующие группы ворвались в центр Вецслабадской волости Лудзенского уезда, а Имант, постучав в дверь полицейского участка, на чистейшем немецком языке потребовал впустить его. Там послушно выполнили приказание, но, увидев партизан, бросили гранату, ранив Судмалиса. И все же вместе с товарищами он продолжал бой.

Разгромив полицейский участок, волостную управу, почту и телефонную станцию, партизаны разогнали охрану складов

гитлеровцев и на подводах вывезли 400 мешков хлеба, 65 мешков сахара, 4 тонны шерсти и почти без потерь вернулись на свои базы.

Весть об этом мгновенно разнеслась по всем уголкам Латвии, а вдогонку ей уже мчалась другая: ночью 3 февраля партизан, одетый в форму немецкого офицера, явился в Рунденскую волостную управу, сжег списки местных жителей, обреченных на каторжные работы в Германии. Этим партизаном был Имант.

Глубокие рейды народных мстителей в Лудзенский, Абренский, Резекненский и Даугавпилсский уезды Латвии, оставлявшие фашистские войска без надежного тыла и прикрытия, активная деятельность и растущая популярность обосновавшейся в Освейских лесах Белоруссии оперативной группы ЦК КП Латвии вызвали серьезную озабоченность аппарата рейхскомиссариата «Остланд». Под кодовыми названиями «Шнейхазе» («Заяц-беляк») и «Винтерзаубер» («Зимнее волшебство») там разработали планы карательных операций, призванных с противоположных сторон нанести два уничтожающих удара по партизанскому краю. Для этого были выделены 5 полков СС, 14 отдельных батальонов, несколько тысяч солдат из местных гарнизонов, танки, артиллерия и авиация.

С конца января до 20 марта 1943 года объединенные силы партизан Белоруссии, РСФСР и Латвии вели кровопролитные бои, героически отражая бешеный натиск врага. Большую роль в срыве планов карателей сыграли смелые действия отряда В. Самсона. В третьем томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» отмечено: «Этот отряд по решению командования действовал в тылу вражеской экспедиции, отвлекая на себя значительные силы оккупантов. Понеся немалые потери, противник вынужден был отойти в свои гарнизоны. Так, в совместной борьбе против общего врага еще более укрепилась братская дружба русского, белорусского и латышского народов».

Сам же Вилис Петрович Самсон в своих книгах, публичных выступлениях неизменно подчеркивает, что легендарную славу в отряде снискал его партийный руководитель Судмалис.

Только всегда обыденными и шутливыми оставались личные письма Иманта к друзьям и родным. Вот хотя бы такое:

«11 марта 1943 года, в лесу под большой елью.

Милая Марусите!

Пишу тебе отсюда уже третье письмо. Не знаю, получила ли ты хоть одно. У нас тут с почтой трудно. Да и времени в обрез — люди вот-вот уедут, а я хочу сообщить хотя бы, что жив, здоров и дерусь как надо! Дым ест глаза, не вижу, что написал. Фрицы затеяли против нас настоящий военный поход — бомбят деревни и даже леса. Деревню, в которой мы размещались, раздраконили целых семь бомбардировщиков, вот нам и пришлось переселиться в лес, чтобы какая-нибудь бомбочка на голову не угодила. О других интересных случаях и всяких мелочах напишу, когда окончательно разгромим фрицев,

Имис».

А «случаев», как выразился в только что процитированном письме сам Судмалис, у него к тому времени накопилось предостаточно. Особенно отличился Имант 6 марта, когда небольшую группу партизанского отряда окружил батальон неприятеля. Огнем своего ручного пулемета он уничтожил 70 карателей и дал возможность товарищам вырваться из окружения. Только сам не уберегся от очередного ранения.

Представляя 28 марта Судмалиса к правительственной награде, партизанское командование отмечало: «Вообще т. Андерсон устремляется туда, где идут самые жаркие бои, своим примером вдохновляет и окрыляет других к борьбе. Всегда помогает руководству осуществлять поставленные задачи, проявляет большую инициативу и хорошие военные знания».

Из зимних боев с карателями отряд Вилиса Самсона вышел окрепшим и возросшим. По сравнению с декабрем 1942 года его численный состав утроился. Это и позволило на базе отряда создать Латвийскую партизанскую бригаду, комиссаром которой стал член оперативной группы Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии, депутат Верховного Совета Республики Оттомар Петрович Ошкалан, удостоенный позже звания Героя Советского Союза, а парторгом — все тот же товарищ Андерсон.

После многодневных засад или диверсий, налетов на тыловые коммуникации и службы врага, Судмалис непременно заглядывал в

партизанскую типографию, где печатались газеты «Пар Дзимтене» («За Родину»), «Яунайс латвиетис» («Молодой латыш»), воззвания и листовки, предназначенные для земляков, томившихся в фашистском рабстве. Редакторы и наборщики знали: у Иманта всегда текст новой статьи или призыва.

И все же, помня о главном задании, ради которого он по поручению Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии и ЦК комсомола республики перешел линию фронта, Имант весной и летом 1943 года вел, по собственному утверждению, «тихую жизнь»: занимался разведывательной и подпольной работой в восточных районах Латвийской ССР. А 20 июля настал день его разлуки с дружным партизанским коллективом. В западную часть республики с боевым заданием уходила небольшая, но сильная группа, возглавляемая представителем ЦК Компартии Латвии Андреем Мацпаном. Имант вместе с ней решил двигаться до Елгавы, чтобы оттуда Добираться в Ригу.

На исходе июля 1943 года Имант незамеченным вновь оказался в латвийской столице, до отказа набитой фашистскими войсками и учреждениями захватчиков, а уже в начале августа ему удалось создать Рижский подпольный городской комитет комсомола, секретарями которого стали Джемс Банкович и Малдис Скрея. Вскоре была подготовлена база и для нелегального городского комитета партии, подобрано надежное место для размещения тайной типографии, оборудована и введена в действие лаборатория для изготовления взрывчатки, с помощью широкой агентурной сети стали добываться сведения о дислокации вражеских войск, тоннаже фашистского морского флота, базировавшегося в портах Риги, Вентспилса и Лиепаи.

Росло и число диверсий, нападений, актов саботажа, осуществляемых по планам, разработанным Судмалисом. Но особо следует рассказать о взрыве, произведенном в Старой Риге. Высшие чиновники «Остланда» при поддержке латышских буржуазных националистов намеревались на Домской площади инсценировать 13 ноября 1943 года «митинг протеста» против решений Московской конференции министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции. Подобным пропагандистским трюком им хотелось продемонстрировать перед всем миром «единство и гармонию»

оккупантов и населения Латвии. Узнав об этом из сообщения, заблаговременно опубликованного услужливой газетенкой «Тевия», Имант вечером 12 ноября встретился с Банковичем, передав ему мину замедленного действия, изготовленную молодым химиком, комсомольцем Силинынем.

Мину Джемс опустил в урну, прикрепленную к стене дома № 20 на улице Шкюню. А на рассвете вместе с Малдисом перенес ее на Домскую площадь, ловко уложив в мусорный контейнер, стоявший у только что сооруженной трибуны. Не забыли они и привести в негодность громкоговорители, установленные вокруг трибуны.

После девяти часов утра к Домской площади, зажатой плотным кольцом конной полиции, по особым пропускам потянулись вереницы «почетных гостей», корреспонденты иностранных газет. В небе закружил самолет с кинооператором на борту, изготовившимся для сенсационных съемок. И в тот момент, когда на мачту полез увенчанный свастикой флаг, вдруг раздался оглушительный взрыв. В разные стороны полетели щепки, обломки стекла, клочья разодранных немецких флагов и транспарантов, в пух и прах развеяв миф «о единстве и гармонии».

Интересно, что взрыв произошел всего лишь через полтора месяца после того, как в Ригу спешно прибыл разгневанный рейхсфюрер СС и шеф гитлеровской полиции Гиммлер, категорически потребовавший решительного усиления борьбы против подпольщиков и советских партизан. Вот почему сразу же после взрыва на ноги были подняты полиция безопасности, полиция так называемого порядка, жандармерия, комендатуры, платные агенты и провокаторы, тайные осведомители и пшики. Тому, кто укажет след организаторов взрыва, были обещаны 300 тысяч рейхсмарок.

Пока оккупанты остервенело занимались массовыми облавами, обысками и арестами «подозрительных лиц», Судмалис вновь пробирался по бездорожью, но теперь уже к границе Эстонии, к партизанскому отряду Северной Латвии. Согласовав адреса, пароли и явки, которые могли понадобиться подпольщикам, он оттуда направился в Освею, на базу Латвийской партизанской бригады, запасся там полиграфическим оборудованием и 24 января 1944 года вместе с наборщиком комсомольцем Валдемаром Озолиньшем начал обратный путь в Ригу, куда благополучно прибыл 2 февраля.

Вскоре Имант заподозрил слежку за собой. К тому же коммунистка Вера Слосман и некоторые другие антифашисты, содержащиеся в Центральной тюрьме, передали на волю: рекомендованные новые радисты — провокаторы и ведут передачи под диктовку гестапо. До 18 февраля Судмалис уходил от погони, все эти трагические и тревожные дни думая не о себе, а о том, как предотвратить провал городского антифашистского подполья и переправить многих его активистов на партизанские базы.

Завербованные оккупантами радисты навели шпики и на след Джемса Банковича, Малдиса Скреи, Туснелды Розентретер и других подпольщиков. Одновременно с Имантом их доставили в гестапо, пытали с особым изуверством, добиваясь признания. На второй день беспрестанных допросов истерзанный Малдис выбросился из окна четвертого этажа и пришел в сознание лишь в тюремной больнице, куда его доставили со сломанной ногой.

Следствие по делу затянулось. Заседание чрезвычайного нацистского суда открылось 13 апреля 1944 года. На скамье подсудимых — Имант Судмалис и Джемс Банкович, охраняемые четверьмя эсэсовцами. Искалеченного Малдиса Скрею невозможно было доставить в зал судебного заседания.

Процесс продолжался несколько дней. Обвиняемым инкриминировался только взрыв на Домской площади.

О других акциях, совершенных и возглавленных Судмалисом, судьи так ничего и не дознались.

Внешне оставаясь спокойным, Имант заявил, что не считает оккупационный суд правомочным, а на вопрос о его политических взглядах, не задумываясь, ответил:

— Они вам хорошо известны, и я не намерен их здесь скрывать. Тем более что победа, несомненно, будет за нами. Дело лишь во времени.

Судмалиса и Банковича приговорили к расстрелу, а Скрею палачи втолкнули в автомашину с газовой камерой и умертвили по дороге к пригородному Румбульскому лесу.

Ожидая казни, Судмалис почти полтора месяца находился в одиночке. О чем он думал, что вспоминал, к чему устремлял свой мысленный взор в последние дни жизни? Ответы на эти вопросы и дал

листок папиросной бумаги, обнаруженный после войны в тайнике камеры, где томился Имант. Текст его гласил:

«Марии Судмалис, Лиепая, улица Упмалас, 6. Отдать после войны. IV. 1944 года. Маловероятно, Марусите, что ты получишь это мое последнее письмо, а вдруг все-таки... В апреле я приговорен к смертной казни, какое сегодня число — я не знаю, все дни спутались. Но времени после суда прошло порядочно. Сейчас, пожалуй, уже 28 апреля, и я все думаю: быть может, именно сегодня день рождения нашей Айюки; ей исполняется шесть лет, а я, быть может, сегодня ночью буду наконец выведен на расстрел. Мне не дают книг, я один во тьме одиночества, у меня много времени для воспоминаний. Я гляжу в прошлое и вижу, как много пережито за эти недолгие годы. Я вижу и нахожу немало светлых минут. Это и воспоминания о великой битве, в которой я участвовал, и о тихих, солнечных часах с тобой, и эти воспоминания помогают мне сегодня. Я не сожалею о своем пути, но я совершил на нем немало и ошибок; если бы довелось начать жизнь сначала, снова, я был бы лучше, особенно по отношению к тебе, Марусите! Так мало счастья сумел я тебе дать — прости меня, ведь мертвым принято прощать.

Так много надо бы сказать, написать, но нет карандаша. Пишу огрызком, найденным в кармане.

Вряд ли ты узнаешь когда-либо, под каким забором я похоронен, да и нет в этом надобности — одна и та же земля укроет когда-нибудь всех нас. Я чувствую, моя девочка, что после войны ты возвратишься в нашу родную Латвию. И когда-нибудь вечером, после рабочего дня, ты припомнишь: жил когда-то такой Имис, который любил тебя, — и ты расскажешь о нем что-нибудь Айюке и Сармуке...

Расти наших дочурок, Марусите, учи их любить будущее, в котором им предстоит жить; за него пролито так много крови.

Обними за меня Айю и Сармите, будь здорова, Марусите, так не хочется еще умирать, но, верь мне, я сумею

умереть как надо. Ведь и Овод был расстрелян весной, когда пробивалась свежая трава. Живи, будь здорова и бодра, Марусите! Не грусти.

Твой Имис».

25 мая 1944 года, когда Красная Армия уже подходила к границам Латвии, Иманту объявили, что через несколько часов приговор приведут к исполнению. Тюремная администрация выдала ему лист бумаги для написания предсмертного письма. И он его написал; Вот оно:

«25 мая 1944 г.

Дорогие Марусите, Айюка, Сармука!

Не знаю, прочитаете ли когда-либо эти мои последние слова, но все равно — пишу. Через несколько часов приговор будет приведен в исполнение. Суд состоялся 13 мая,^[15] так что у меня хватило времени обдумать всю свою жизнь. Я оглядываюсь на пройденный путь — упрекать себя мне не в чем: в эти решающие для человечества дни я жил как человек и боец. Пусть же будущее будет лучше, счастливее, оно должно стать таким, не могло ведь понапрасну пролиться столько крови.

Не горюй, Марусите, ведь вечно не живет никто. Расти Айюку и Сармуку, пусть вспоминают иногда обо мне, пусть их жизнь будет лучше, счастливее.

Будь счастлива, Марусите, спасибо за все доброе, что Ты мне дала. И знаешь что? Приласкай за меня Айю и Сармите.

Имис».

На расстрел его не повели, а в 18 часов 25 мая 1944 года повесили в камере пятого корпуса рижской Центральной тюрьмы. Казнили и Банковича, чья мать долго допытывалась о судьбе сына. Сжалившийся над ней тюремный надзиратель сообщил по величайшему секрету:

— Парня твоего захоронили на Матвеевском кладбище. Там есть могила Судмалиса, обозначенная, как помню, кольшком под номером 2978. Слева или справа от нее и будет могила Джемса.

Поиски и последующие заключения экспертов подтвердили это. Благодарные рижане как ратную святыню перенесли на кладбище Яна Райниса останки Иманта Судмалиса и Джемса Банковича. Над их могилой высится гранитный монумент со словами: «Ваш подвиг нас на подвиги зовет!»

Павших нельзя воскресить. Но дело, за которое они боролись, бессмертно. По всем морям и океанам совершает рейсы танкер Латвийского торгового флота «Имант Судмалис». Это же незабываемое имя носят два латвийских колхоза, рижская 26-я средняя школа, 32 пионерских отряда. В Риге, Вентспилсе, Пессисе воздвигнуты памятники Иманту, а в его родной Лиепе сооружен величественный мемориал защитникам балтийской твердыни.

На юго-западе Псковской области, там, где сходятся границы трех братских республик — Российской Федерации, Белоруссии и Латвии, бывшие партизаны в 1959 году насыпали курган Дружбы. Там установлен монумент в память об Иманте Судмалисе, сделавшем выбор на всю жизнь и без остатка отдавшем ее борьбе.

**Яков БОРОДАВСКИЙ,
Иван МУЗЫКАНТИК**

Марите МЕЛЬНИКАЙТЕ

Зарасай литовцы справедливо называют столицей озер — вокруг этого живописного города их почти три сотни. На крутом берегу самого большого озера Зарасая стоит величественная скульптура девушки в партизанском полушубке, с автоматом в руке, с гранатами за ремнем. Это памятник бесстрашной комсомолке Марите Мельникайте.

С Зарасайским краем связано ее имя. Там, где журчит небольшая речушка, когда-то стояла лачуга слесаря Юозаса Мельникаса. В ней родилась Марите. В нескольких километрах от Зарасая четверть века назад двадцатилетняя девушка со своими боевыми товарищами приняла последний неравный бой с немецкими фашистами.

Прошло 38 лет. На берегу озера Зарасая сверкают стекла средней школы имени Марите Мельникайте. На улице, названной ее именем, высоко поднимают свои металлические шеи краны новостроек. Сюда же, к подножию памятника, зарасайские комсомольцы торжественно перенесли останки героини. На могиле зимой и летом живые цветы — знак уважения нового поколения. Здесь принимают в пионеры и комсомол. В Зарасае традицией стали праздники дружбы русского, литовского, белорусского и латышского народов. Почтальон приносит пачки писем матери героини. Ей пишут русские и чуваша, поляки и чехи, вьетнамские партизаны и студенты из Индии. Марите — символ мужества для миллионов юношей и девушек.

С особой теплотой память о славной своей дочери хранят литовцы. Студенты, школьники и рабочие идут в походы по местам подвига героини. Вряд ли найдется сегодня в Литве город, в котором бы не было улицы Марите Мельникайте, в котором бы не было колхоза или совхоза имени героини. Фабрики, заводы, рыболовецкие суда, Школы, пионерские дружины носят ее имя. Многие литовские поэты — Саломея Нерис, Валерия Вальсунене, Владас Мозурюнас, Вацис Реймерие — посвятили ей свои стихи. Первая советская литовская опера — «Марате». Ее подвигу посвящен фильм. В кантатах и ораториях, в граните и бронзе увековечен ее образ.

Кто же она, эта девушка, за какие дела славит ее народ? Об этом и пойдет наш рассказ. Сначала предоставим слово героине.

В автобиографии Марите Мельникайте писала: «Я родилась 18 марта 1923 года. С семилетнего возраста пасла скот у кулаков и крупных землевладельцев. Ходить в школу не могла: родители жили очень бедно, не было у них на это средств...

21 июля 1940 года для меня, как и для всего литовского народа, просияло солнце свободы и равенства. Сметоновцы^[16]*, капиталисты, помещики и прочие богачи обратились в бегство — пришла Советская власть, наша родная Литва стала Советской республикой. Я очень обрадовалась, что смогу учиться, и поступила в вечернюю школу для взрослых, в четвертый класс. Училась упорно, чтобы как можно больше узнать о нашей великой советской Родине...»

«Училась упорно». Простые, очень простые слова, но как много за ними скрыто. Кто хоть чуточку знал ее, тот сразу вспомнит девушку, полную энергии и неистощимой жажды знаний. Все было для нее интересно и значительно. Учась, она помогала родителям, друзьям, с огоньком выполняла комсомольские поручения.

Товарищи по работе и учебе звали ее не иначе как «наша Марите». Мало сказать, что Марите уважали, ее любили, любили за отзывчивость, за веселый нрав, за прямоту, за то, что она умела увлечь окружающих полезным делом, вдохновить на преодоление трудностей...

С непередаваемой болью в сердце она встретила весть о войне. «Только начали жить, только расправили плечи, — гневалась Марите. — Что же будет?»

Девушке исполнилось 18 лет.

По земле катился грохот орудий, лязг стальных гусениц, небо дрожало от гула самолетов, прочеркивалось молниями трассирующих снарядов.

Однажды утром к Марите забежали подруги.

— Нас вызывают в уком комсомола, — сказала одна из них...

Мать Марите Антонина Илларионовна думала, что дочка скоро вернется. Прошел день, вечер. Марите не возвращалась. Пожилая женщина устроилась у маленького окошка, ждала всю ночь, но так и не дождалась.

Как только вошло солнце, Антонина Илларионовна отправилась в Зарасайский уком комсомола. Тут она и нашла свою дочь. Усталая, с

покрасневшими глазами, Марите ласково посмотрела на мать, бросилась к ней навстречу и обняла.

— Милая моя, дорогая. Я понимаю тебя, — торопливо говорила девушка. — Не волнуйся, мамочка.

Не волнуйся! Легко сказать эти слова, но ведь материнскому сердцу не прикажешь.

Антонина Илларионовна смотрела на дочь и молчала. Только брови ее слегка подергивались, и губы еле заметно шевелились.

Марите разжала руки, положила их на плечи матери. Ей предстояло сказать самое главное, самое тяжелое. Выдержит ли это столь дорогой и родной человек?

Мать продолжала молчать. Кажется, она совсем успокоилась. И Марите решилась:

— Мамочка, сегодня нам придется расстаться. Мы, комсомольцы, уходим на восток, нам нельзя сдаваться захватчикам. Помни, я вернусь.

Только матери могут понять, что значили слова дочери. Что же, если так надо, значит, надо...

В конце июля Марите со своими подругами прибыла в город Тюмень и сразу стала трудиться в лесном хозяйстве. Несколько позже перешла на заводскую стройку, а 12 августа, как способная девушка, была направлена на завод «Механик», где делали мины и снаряды. И тут ее окружила добрая, заботливая семья рабочих. Особенно внимательны были к ней Александр Ведь, Моисей Дорфман, Зинаида Александренко, Надежда Попова, Виталий Семинский. Они помогли Марите овладеть профессией токаря.

А в сентябре 1941 года комсомольское собрание единогласно избрало Марите Мельникайте в цеховой комитет комсомола.

Была ли довольна Марите работой? Вполне. Но сердце ее не чувствовало удовлетворения. Родная земля стонала под гнетом фашистов. Там, в далекой Литве, мучились ее родные. Давно она не получала от них весточки. Что с матерью, с отцом, с братьями, с сестрой? «Нет, больше не могу... Поеду», — решила Марите.

В солнечный июньский день 1942 года тюменцы проводили группу комсомольцев на фронт. Среди них была и Мельникайте.

Но она не сразу попала на фронт. Вначале ее направили в город Балахну Горьковской области, где в то время находилась партизанская

школа. Тут и состоялась моя первая встреча с Марите.

В школе я работал преподавателем по подрывному делу.

Марите училась очень прилежно, стремясь стать хорошим минером-подрывником.

— Я должна все знать, все уметь, чтобы метко разить врага, — часто говорила она.

В начале мая 1943 года 36 литовских юношей и девушек, в том числе и я, направились планерами, прицепленными к самолетам, в Литву, чтобы бороться с гитлеровцами.

Белорусские партизаны, после приземления планеров в Расонском крае, встретили нас радостно, как родные братья, помогли подготовиться к трудному походу в Литву, перейти железную дорогу, преодолеть широкую от весеннего половодья Даугаву и добраться до Зарасайского края. Во время этого почти четырехсоткилометрового рейда по тылам врага Марите не жаловалась, хотя ей было очень тяжело. Она стойко переносила все тяготы вместе с мужчинами, шла с тяжелым грузом снаряжения за плечами, с автоматом в руке и гранатами на ремне. Казалось, что возвращение в родные края придало ей неиссякаемую силу. А с каким вниманием она относилась к товарищам, всегда готова была прийти на помощь в беде, поделиться последним куском хлеба.

Но совершенно другой становилась Марите при встрече с врагом. Суровые складки ложились на лоб, огнем мести загорался взор.

С появлением партизанских групп в Зарасайских и Швенченских лесах начались беспокойные дни для немецких захватчиков. Летели под откос вражеские эшелоны с вооружением и живой силой, взрывались склады с боеприпасами, уничтожалась телефонная связь.

Оказавшись в родных местах, Марите сразу же написала родителям.

«Я жива и здорова, если хотите, дорогая мамочка, то можете с этой женщиной, которая подаст записку, прибыть ко мне...»

Встреча состоялась через несколько дней в деревне Наудунай, в доме партизана Василия Александровича Атаева.

— Мама, родная мама!.. — воскликнула девушка.

— Марите, ты жива!.. — Мать заплакала, обнимая дочь. Казалось, что они не виделись годы.

— Не плачь, не волнуйся, дорогая же мочка, — успокаивала ее Марите. — Я жива, здорова. Скоро разобьем немецких захватчиков и снова будем вместе. Обязательно будем.

— Скоро ли? Уж больно они жестоки.

— Верь мне, скоро!

* * *

Слава о молодой партизанке Марите Мельникайте распространилась по всему краю. Гитлеровские захватчики назначили за ее голову большую денежную премию. Но это не помогло.

Ряды народных партизан росли, их действия наносили врагу все больший и больший урон. В одном лишь Зарасайском уезде Марите с помощью товарищей организовала несколько комсомольских подпольных групп, которые вместе с ней беспощадно мстили гитлеровцам.

В ночь с 7 на 8 июля 1943 года недалеко от станции Дукштас на железнодорожной магистрали Берлин — Варшава — Вильнюс — Даугавпилс группа Марите Мельникайте взорвала эшелон с вражескими солдатами и техникой, шедший в сторону Ленинграда.

Марите и ее друзья, поздравляя друг друга, отходили от места взрыва. Светало. Далеко уйти им не удалось — коротка июльская ночь. День решили переждать в небольшой березовой роще возле озера Апварду. Они не знали, что за ними следили глаза предателей.

Рано утром по доносу кулаков Бужинскаса и Кардялиса полиция обнаружила патриотов и, незаметно приблизившись, открыла стрельбу.

Это солнечное утро оказалось роковым.

Партизаны сразу поняли, что силы неравны, стали понемногу отходить на восток, избегая столкновения с врагом.

Вот уже видны опушка леса, недалеко озеро, на горке два дома, а дальше ржаное поле, на самом берегу озера смутно выделяются невысокие ольхи.

Литовские патриоты думали, что по берегу озера под прикрытием деревьев и кустов им удастся оторваться от гитлеровцев и скрыться. Однако озеро здесь делало изгиб, образуя небольшой полуостров, в глубине которого росло несколько десятков деревьев. Фашистам

удалось обойти партизан справа и слева и отрезать им путь к отступлению.

Высоко поднялось солнце, а неравный бой не ослабевал. Марите приказала попусту не тратить патроны. Она часто меняла позиции, подбадривала товарищей. Несколько фашистов попытались встать, но тут же свалились замертво.

К гитлеровцам подошло подкрепление с танкеткой и бронемашинной.

— Теперь у нас один выход, — сказала хриплым голосом Марите, — биться до последнего патрона.

Только к вечеру фашистам удалось сломить сопротивление патриотов. Двух тяжело раненных партизан они взяли в плен и тут же добились. Третьему все-таки удалось вырваться из окружения. Но его вскоре поймали и расстреляли.

Марите осталась одна. Гитлеровцы подползали все ближе и ближе.

Марите чуть приподнялась. Кругом расстилались родные поля, освещенные заходящим солнцем. Как хорошо жить, и как мало прожито. Сдаваться? Никогда! Затаив дыхание, девушка с чувством ненависти ждала, чтобы враг подполз еще ближе. Кончились патроны в автомате и пистолете. Марите взяла гранаты:

— За Родину! За партию! За народ! Раздались два взрыва.

Третью гранату она прижала к лицу. Но граната подвела ее — не взорвалась.

Гитлеровцы накинулись на Марите. Им было досадно, что после такого продолжительного боя нашли в живых только одну девушку. Они схватили ее и потащили в ближайший дом. Во дворе этого дома на глазах у местных крестьян Эмилиса Кардялиса и Леокадии Карделене Марите зверски избили.

Партизанка молчала. Ее отправили в местечко Дукштас. Здесь в штабе гестапо палачи избивали девушку резиновыми палками, запускали под ногти иголки, ломали суставы ног и рук, подвешивали за руки, связанные за спиной, жгли каленым железом. Марите молчала. Потеряв терпение, гитлеровцы решили покончить с ней.

Это произошло в воскресенье 13 июля 1943 года. Марите вывели из сырого подвала и повели на кладбище. Руки ее были связаны ржавой проволокой. Истерзанная пытками, она тем не менее держала

голову прямо, губы выражали презрение, в глазах горела ненависть. Смерть не страшила патриотку. Она знала, что в этот солнечный день идет умирать за Родину, за народ, за справедливую борьбу против немецких оккупантов.

По словам очевидцев, на половине дороги Марите потеряла сознание. Немецкие фашисты бросили девушку на повозку. Когда палачи стали стаскивать ее с повозки, Марите открыла глаза и увидела перед собой вырытую яму, а на ближайшем дереве веревочную петлю. Оглядев врагов, она крикнула:

— Я умираю за свободную Советскую Литву, за Родину, за наш народ, а вас, проклятые гады, ждет смерть! Я знаю и верю, что мы победим. Но вы, кровавые убийцы, за что боретесь?..

Палач — гитлеровский офицер, стоявший рядом, подал команду. Марите толкнули к виселице. В тот же момент случилось невероятное: Марите бросилась на гитлеровского офицера и вцепилась ему в лицо зубами.

Автоматная очередь оборвала жизнь бесстрашной дочери литовского народа.

* * *

Не только литовский народ хранит светлую память о своей славной дочери, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза. Из далекой Тюмени несколько лет назад комсомольцы прислали мне приглашение приехать в гости. Они из газет узнали, что я был в одном партизанском отряде с Марите Мельникайте. Письмо взволновало меня, и я поехал. В Сибири меня встретили очень тепло. Секретари Тюменского обкома и горкома комсомола рассказали, что пионерская дружина 40-й школы носит имя литовской героини, что учащиеся этой школы собирают материалы об отважной комсомолке, которая первый год войны провела в их родном городе. Ей посвящен целый музей. Ученики школы собрали богатые, неизвестные раньше материалы о литовской Зое.

Я много рассказывал про свою землячку тюменским комсомольцам. Теперь с ребятами из Тюмени у нас большая дружба. Пионеры 40-й школы вместе со своей старшей вожатой Галиной

Черновой уже побывали в литовской столице, на родине Марите в Зарасе, встретились с ее родными, посетили места подвигов героини.

Центральный Комитет комсомола Литвы не так давно командировал в Тюмень группу молодых литераторов. Вместе с ними я снова побывал в местах, связанных с именем бесстрашной партизанки. Мы подарили комсомольцам Тюмени кинофильм о Марите и, в свою очередь, приняли участие в репетициях пьесы, посвященной Мельникайте. Эту пьесу поставил местный народный театр.

Дружеские связи комсомола Литвы с молодежью Тюмени постоянно крепнут.

**Бронислав УРБАНАВИЧУС,
Герой Советского Союза,
бывший командир партизанского отряда
имени Костаса Калинаускаса**

Василий РАГУЗОВ

*Сыновьям Владимиру и Александру Рагузовым.
Дорогие мои деточки, Вовушка и Сашунька! Я поехал на целину, чтобы наш народ жил богаче и краше. Я хотел, чтобы вы продолжили мое дело. Самое главное — нужно быть в жизни человеком. Целую вас, дорогие мои, крепко. Ваш папа.*

(Из предсмертного письма целинного прораба В. Рагузова)

В представлении всех, кто знал Василия Рагузова в детстве, в институте, на целине, это был человек разносторонних способностей, истинного мужества и воли, из тех людей, у которых дело становится главной целью, смыслом жизни, в сущности — самой жизнью.

Родился он на берегу Волги, рано потерял родителей и еще до того, как попал в детский дом, хлебнул горечи и лишений, которых хватило бы с лихвой не на одно детство. Да и потом бывали периоды не из легких, жизнь как бы испытывала, пробовала его на излом, но он был крепкой породы («Кремешок парень», — скажут о нем целинники), и если к ближайшей цели вела тропка короткая, но через крутизну, он шел в гору, а не в обход.

Личность, характер — еще один из уважительных отзывов о нем.

Не колеблясь, пошел он в одиночку сквозь буран, надеясь пробиться к совхозу и вызвать подмогу товарищам, которые остались в степи...

Поначалу ничто не предвещало беды, и только опытный старожил мог бы по едва уловимым признакам определить, что степное затишье неустойчиво, что вот-вот завихрится буря. Рагузов ехал с молодым шофером в изношенном грузовичке, они далеко оторвались от тракторной колонны, торопясь опередить надвигающийся буран и добраться до центральной усадьбы, но не опередили, застряли в сугробе. Василий убедил себя и товарища, что до совхоза не так уж далеко (по степным меркам действительно оказалось недалеко), был уверен, что не заблудится, решив держаться относительно свежей

тракторной колеи, но спасительный след вскоре замело, буран неистовствовал все яростнее и злее, а сил оставалось все меньше и меньше, но он шел и шел, падал, лежал минуту-другую и снова шел, потом полз, и прошло немало времени, пока прораб понял, что заблудился окончательно, что это конец... Но и в свою последнюю минуту жизни сохранил спокойствие, ясность ума, мужество. Свидетельство тому — его предсмертные письма, две короткие записки — жене и детям, сыновьям.

Откроем записную книжку целинного прораба Рагузова. Повседневные рабочие записи: цифры, расчеты, пометки о первоочередных заданиях, и вот они, последние исписанные странички. Он отчетливо сознавал, что замерзает и помощи ждать неоткуда. Достал блокнот, авторучку — чернила застыли, и, видимо, он отогревал их дыханием, расписывал перо — на страничке несколько неровных, резких, торопливых линий. И ниже:

«Нашедшему эту книжку! Дорогой товарищ, не сочти за труд, передай написанное здесь в г. Львов, ул. Гончарова, 15, кв. 1, Рагузовой Серафиме Васильевне.

Дорогая моя Симочка! Не надо слез. Знаю, что будет тебе трудно, но что поделаешь, если со мной такое. Кругом степь — ни конца ни края. Иду просто наугад. Буря заканчивается, но горизонта не видно, чтобы сориентироваться. Если же меня не будет, воспитай сыновей так, чтобы они были людьми. Эх, жизнь, как хочется жить! Крепко целую. Навеки твой Василий».

И приписка: завет, завещание, наказ сыновьям — продолжить дело отца и, самое главное, быть в жизни человеком.

«Письмо это, казалось бы, имело сугубо личный, семейный адрес. Но стало оно обращением ко всем живущим, — вспоминает Л.И. Брежнев в «Целине». — Когда мне показали листки с расплывшимися буквами, когда разобрал их — перехватило горло. Позвонил журналистам, посоветовал, получив согласие жены, напечатать это письмо. Опубликовано в газете, оно вызвало десятки тысяч откликов по всей стране. Новые отряды добровольцев двинулись на целину, чтобы довести до конца дело, которое начали Василий Рагузов и

подобные ему мужественные люди. Сопка, близ которой погиб Василий, названа теперь его именем».

...Львов, улица Бой-Желинского, двухкомнатная тесноватая квартира в пятиэтажном доме, в уютном зеленом уголке старинного города. Саша (Сашунька) сидит у чертежной доски, хмурый и сосредоточенный, как все студенты в канун экзаменов, старший брат, Володя, в приятных заботах и хлопотах — он получил квартиру, и завтра молодая семья переезжает. Тут же его сыновья, Сережка, Витюшка (внуки Рагузова), неугомонные и подвижные, как резвящиеся бельчата, носятся неутомимо из комнаты в комнату, производя изрядный шум.

Время от времени Серафима Васильевна урезонивает их с напускной строгостью, но пострелята и ухом не ведут, понимают, что бабушка гневается не всерьез, понарошку, для порядка.

Звонок в дверь, негромкий разговор в прихожей, и Серафима Васильевна возвращается со свежей почтой.

— Бабуля, а почему у нас так много знакомых?

— Ты о чем, внучек?

— Да вот как придет почтальон, так и принесет много-много писем. А ты потом сидишь и пишешь, пишешь, пишешь...

Ее спасают очки — под очками почти не видно, как влажнеют от сдерживаемого волнения глаза, неторопливо перебирает она конверт за конвертом, вчитывается в строки, написанные то размашистым детским почерком, то строгой официальной машинописью, а то и вовсе трудно читаемыми каракулями. Почти в каждом письме просьба — рассказать подробнее о муже, Василии Яковлевиче, о себе, о сыновьях: пишут военнослужащие — они вслух читали «Целину» и были поражены мужеством целинного прораба; строители — их комсомольско-молодежная бригада борется за право называться именем Василия Рагузова; школьники — у них создается музей комсомольцев-героев, и они просят поделиться воспоминаниями о Василии Рагузове, прислать фотографии...

Серафима Васильевна засиживается допоздна — отвечает на письма, советует, вспоминает.

Каким же он был, Василий Рагузов?

...Заволжская степь, то холмистая, то ровная, как чертежная доска, покрытая ковылем. Бегут и бегут шелковистые ковыльные

волны, подгоняемые горячим ветром, до самого горизонта, и кажется, будто уже и не степь перед твоими глазами, а едва волнующаяся гладь моря в тихую погоду. Там и сям виднеются причудливые перекасти-поле, похожие на большие цирковые шары, и какие-то темные крупные точки, будто кто-то разбросал бульжники. Опытный глаз сразу различает: это, затаившись, сидят волки, из высокой травы виднеются лишь лобастые головы или острые, торчком уши.

Волков в здешних степях особенно много развелось в годы войны, средь бела дня нахально рыщут вокруг селений — то дворняжку зазевавшуюся утащат, а то и теленка задерут. Осмелели звери потому, что в поселке остались сплошь старики, женщины да дети. Мужчины ушли на фронт, многие воюют вовсе недалеко от дома, под Сталинградом — там сейчас главное сражение.

Через Рудню, где размещался детский дом, густо шли воинские части, машины, артиллерия, танки. Сельские мальчишки бросались к машинам, бежали вприпрыжку по обочине и, отфыркиваясь от пыли, кричали с надеждой:

— Дядя командир, возьмите меня на фронт...

— И меня... Я стрелять умею... Бойцы устало отмахивались от ребят.

Случалось, наиболее отчаянные удирали-таки из детдома на фронт, но большинству малолетних храбрецов не удавалось добраться до не такой уж далекой Волги. Их, как правило, вскоре задерживали, с оказией доставляли по назначению, и Василий, как председатель детсовета, весьма сурово отчитывал беглецов (дисциплина есть дисциплина), объяснял, что в столь трудный для Родины час испытаний их первейший долг — отлично учиться, хорошо работать в тылу, потому что каждая пятерка, каждый выращенный и собранный ими мешок картофеля, каждая скромная посылочка, отправленная на фронт, — тоже снаряд по врагу...

У самого, правда, сердце щемило, заходило в тревоге — как там на фронте? И не раз они уходили тихими вечерами за околицу, припадали к теплой степной груди, вслушивались, и им чудилось: вздрагивает земля от разрывов там, за Волгой, где идет многодневная битва. Вернувшись домой, сообщали радостно, как факт непреложный:

— Стоит Сталинград. Дают наши фрицам жару...

Рассказывает И.М. Фукс:

«Рагузов был детдомовцем. И это тоже немало объясняет в его характере. Для него, потерявшего родителей, Родина стала матерью в прямом смысле этого слова.

Наш детский дом имени В.И. Ленина основан был в середине двадцатых годов, а во время Великой Отечественной войны стал домом специального назначения, а это значит, что направлялись в Рудню лишь те дети, родители которых погибли.

Из трехсот воспитанников лишь несколько человек были, если так можно выразиться, сторожилами, то есть попали в Руднянский детский дом еще в довоенные годы. Одним из таких «старичков» был и Вася Рагузов. Я оказался в детском доме в августе 1941 года. Тогда-то и познакомился с Василием.

Вася был председателем совета детского дома, и директор поручил ему проследить, чтобы мы, новенькие, быстро и без суеты переоделись в летнюю форму — рубашку и брюки. Обуви не полагалось: летом детдомовцы бегали босиком...

В 1942 году мы с ним окончили семилетку. Рагузов предложил: «Давай поступим в авиационное училище». Мы подали документы в военкомат, однако нас не приняли (по возрасту), и мы снова вернулись в Рудню».

Во время войны считалось, что воспитанники детских домов, окончившие семилетку, вполне подготовлены к жизни — стране нужны были рабочие руки. Многие подростки, как известно, героически трудились в тылу, выполняя и перевыполняя высокие взрослые нормы. Друзья после неудачи в военкомате зашли к директору посоветоваться, как быть дальше.

Случай был необычный: воспитателей детдому не хватало, а тут вернулись секретарь комсомольской организации и председатель детского совета (их «должности» еще были вакантными), вернулись ребята, которые, чего греха таить, пользовались не меньшим уважением, нежели некоторые педагоги. В порядке исключения их решили оставить в детском доме, при условии, что они не просто будут здесь жить и учиться, но и работать помощниками воспитателей. Естественно, не освобождались они от участия в хозяйственных делах, работы в поле, на бахчах и на огороде, вместе со всеми выходили на заготовку дров, дежурили по кухне и столовой и т. д. Василий Рагузов

и Илья Фукс исполняли при этом и свои главные общественные должности — председателя детсовета и комсорга детского дома.

Весной 1945 года они получили аттестаты зрелости.

Из письма И.П. Натрусного:

«Васю я помню хорошо с 1938 года. Тогда я работал в районной газете и не раз помещал заметки о воспитанниках детского дома, в том числе о талантливом мальчишке, увлекавшемся моделированием. Модели Рагузова — рассадопосадочная машина, дирижабль, самолеты, планеры — демонстрировались на выставке детского технического творчества.

Идут и идут письма со всех концов страны во Львов. А после того, как «Целина» была переведена на многие иностранные языки и большими тиражами стала издаваться за рубежом, попадают конверты и с заграничным штемпелем. Пишут по старому адресу, указанному в предсмертной записке Василя, — на улицу Гончарова, но почтальоны доставляют по назначению даже те из них, на которых просто значится: Львов, семье Рагузова.

Серафима Васильевна бережно собирает и хранит все, что относится к судьбе мужа: документы, фотографии, книги, журнальные и газетные публикации, письма — многие сотни искренних человеческих документов.

Письма незнакомых людей согреты душевным теплом и участием, в них добрые пожелания и советы, восхищение мужеством целинников, взволнованные размышления о великом всенародном подвиге — освоении целинных земель, о долге, идейной убежденности, верности нашим идеалам. Эти эмоциональные, доверительные письма-исповеди, письма-воспоминания многое говорят и о самих авторах, наших современниках, их мыслях и чаяниях, раскрывают порой их непростые человеческие судьбы.

Из письма минской учительницы Н. Р. Бондарович:

«Здравствуйте, дорогая Серафима Васильевна!

Вы получаете письма отовсюду и, я думаю, не удивитесь, получив еще и весточку из Белоруссии. Дело в том, что я и моя сестра Катя воспитывались вместе с вашим Васей Рагузовым в одном детском доме. Лично я была в этом детдоме с начала войны и по 1951 год.

Когда началась война, наш детдом из Белоруссии эвакуировали на восток. Мы долго ехали, целый эшелон детей-сирот, пережили не одну

бомбежку, останавливались в разных городах, нас понемногу расформировывали, пока не доехали наконец до села Рудня. Там оставшихся ребятишек и принял детский дом. Мы были испуганные, измученные, голодные. Встречали новеньких на станции (три километра от детдома) старшие воспитанники, они по-братски были заботливы и внимательны, понимали, как трудно нам пришлось в долгих «путешествиях» на колесах, и хотели, чтобы мы скорее забыли вой сирен, обстрелы, лишения и почувствовали бы себя как дома, под надежной кровлей.

Среди встречающих был и ваш муж, а тогда воспитанник детдома Василий Рагузов. Он у нас был старшим, председателем детсовета. На собраниях и заседаниях детсовета он говорил хорошо, уверенно, а если вызывал для беседы нерадивых, ленивых и т. д., то внушал им по-своему, по-мальчишески, но справедливо, за дело. Словом, был он примером для ребят, помощником для воспитателей.

В то трудное военное время мы, дети, рано выросли, многое понимали, и все же среди нас выделялись и потому на всю жизнь врезались в память такие воспитанники, как Вася Рагузов. Был он невысокого роста, плотный, широкоплечий, волосы русые, лицо в веснушках, голос немного глуховатый.

...Мы не знали, как сложилась судьба В. Рагузова дальше, наши пути-дороги разошлись, пока я не встретила в «Целине» фамилию Рагузова. Мы с сестрой горько плакали и горевали, как о старшем брате, как о родном. Конечно, он поступил отчаянно, не зная норова степи, в которой один человек теряется как былинка. Но он действовал, боролся, не сдавался до последнего. Именно такие первыми поднимались в атаку, закрывали своим телом амбразуры вражеских дзотов, бросались под танки со связками гранат, прокладывали дороги в тайге, строили наше сегодня и завтра. И его слова: «Эх, жизнь, как хочется жить!» — больно полоснули сердце. Но он находит в себе силы найти неповторимые слова, которые зажигают сердца других людей — тех, что ехали и едут на целину продолжать его дело, дело всей партии и народа.

Работаю сейчас учительницей русского языка и литературы. Я рассказываю своим ученикам о первоцелиннике Василии Рагузове, моем товарище по детству, о людях, которые подняли целину, чтобы они знали, что за их счастливое детство многие заплатили своим

здоровьем и даже жизнью, что они не только наследники славы отцов и дедов, но и продолжатели их дела».

Сохранилась характеристика, выданная воспитаннику Василию Рагузову: в детдом прибыл по путевке облоно из детприемника, родителей не имеет, а дальние родственники (тетка) его бросили. За время пребывания в детдоме проявил себя хорошим организатором, постоянно участвовал в общественно-политической работе, активный комсомолец, учился на «хорошо» и «отлично». Отдельно отмечалось: имеет склонность к рисованию и хорошо рисует.

После окончания десятилетки Рагузов, не испытывая, как многие выпускники, сомнений и колебаний в выборе дальнейшего пути, простившись не без грусти с детским домом, а в сущности, со своим детством, едет в Харьков. Был уверен, что его выношенная с детства мечта — авиация.

Он довольно легко поступил в авиационный институт, но... проучился лишь год. Был не последним среди однокурсников, но что-то томило, почему-то не доставляла, к его удивлению, ожидаемой радости учеба. Поделился как-то с соседом по комнате своими сомнениями: ошибся, мол, в выборе профессии, не мое, похоже, это призвание... Тот удивился: «Чудак, диплом не лом, руки не натрудит. Тяни, зубри, свыкнется...»

Неприятный разговор оказался последней каплей, чужой цинизм и равнодушное приспособленчество («свыкнется») неожиданным образом позволили ему взглянуть на себя как бы со стороны и окончательно решиться. Нет, не мог Василий плохо работать, он — это потом станет его основополагающим принципом — уважал хорошую и именно хорошо сделанную работу, что требовало не только старательности, умения, ума, но и горения души. Иначе говоря — вдохновения, искры творчества, а ее рождает только любимое дело.

Он забирает документы, переезжает во Львов и поступает вскоре на архитектурное отделение инженерно-строительного факультета. На сей раз выбор единственно верный, окончательный и пересмотру не подлежит: архитектура и живопись — вот родные сестры его призвания.

Время тогда было нелегкое, послевоенное, голодное, ребятам, жившим на стипендию, приходилось по-солдатски туго затягивать брючные ремешки. Остряки, прихлебывая безмятежно вечером пустой

чай с сухариком, подбадривали, бывало, себя шуткой: сытость, мол, враг интеллекта, а чувство легкого голода, наоборот, стимулирует мозговую деятельность, в частности — творчество. В доказательство ссылались на стремительно растущую активность студенческого рационализаторства и изобретательства, нескончаемый поток стихов в институтскую многотиражку и... увлечение Рагузова живописью.

Что ж, в чем бы другом, а в творческом «стимуляторе» Василий недостатка не ощущал, но и положения не драматизировал, привычно отшучивался: «Даст бог день — даст и пищу...» Он часами пропадал в старинных кварталах города, изучал архитектурные шедевры мастеров прошлого или бродил с альбомом аллеями знаменитого Стрыйского парка.

Свободного времени, увы, было в обрез: учеба и водоворот разнообразных общественных дел в институте и вне стен его заполняли сутки практически до предела. Такие понятия, как третий семестр, стройотряд, вошли в обиход позже, но шефская работа — особенно на селе — неизменно сопутствовала в то время учебе студентов.

В западных областях Украины сразу после освобождения их Советской Армией возрождалась и строилась новая жизнь на новых, социалистических началах. Залечивались раны, нанесенные войной, создавались колхозы, но были среди крестьян и такие, что не понимали пока преимуществ коллективных хозяйств, присматривались, выжидали. В лесах еще таились мелкие, разрозненные, но злые банды «борцов за самостийну Украину», предателей, запятнавших себя сотрудничеством с фашистами в годы оккупации; они запугивали сельских жителей, убивали активистов, клеветали на Советскую власть.

Студенческие бригады, выезжая в села, агитировали за новую жизнь не только словами, хотя слово правды против вражеской лжи — острое, испытанное оружие. Многие студенты-агитбригадовцы были мастерами на все руки, а крестьяне уважают людей, понимающих и знающих работу; когда же устраивались вечера отдыха, даже степенные старики не отказывали себе в удовольствии посмотреть и послушать студенческий концерт.

Василий был постоянным участником таких выездов. Вместе с коммунистами и комсомольцами института он помогал

электрифицировать села и поселки Бибрского и Магеровского районов, проводил беседы, делился опытом работы с сельскими комсомольцами.

О Рагузове можно сказать, что жизнь, отшлифовав стойкий от природы характер, приучила Василия смотреть в лицо опасности; и телом парень он был крепкий, выносливый, хотя, признаться, росту отнюдь не богатырского, обыкновенный имел рост, средний. Бывшие однокурсники рассказывают: ни во время многочисленных выездов студенческих бригад в отдаленные районы Прикарпатья — а такие поездки, особенно в глухие лесные деревни, были далеко не безопасны, — ни в стычках с хулиганами во время комсомольских рейдов по городу или дежурств на институтских вечерах Василий не то что не проявлял неуверенности или колебания, наоборот: был хладнокровен, решителен, попросту смел.

А между тем не только в лесной глухомани, но и в городе были готовые на все враги. Они с отчаянностью обреченных подогревали в себе тускнеющие надежды на возврат старых времен, вредили как могли, не останавливаясь порой даже перед террором. Город был потрясен, когда разнеслась весть, что в своем рабочем кабинете, за письменным столом убит по-бандитски, топором в затылок, Ярослав Галан.

Коммунист, интернационалист, талантливый писатель-публицист, Галан был кумиром студентов, одним из тех, с кого Василий и его друзья учились «делать жизнь», — реальный, живой, не книжный герой, обаятельный и остроумный в непринужденной беседе в студенческой аудитории, непримиримый и гневный в диспуте, на трибуне или за письменным столом. На листке бумаги разбрызганными каплями крови осталась последняя мысль-фраза писателя, тоже обращенная, как и предсмертное письмо Рагузова, «ко всем живущим». «Когда сердце народа переполняется обидой и гневом...» — успел записать Галан, делая, видимо, наброски к очередному памфлету из тех, что снискали ему славу и признательность многих и многих читателей и смертельную ненависть врагов.

Василий долго вынашивал одну очень важную для себя мысль, пока не утвердился в ней окончательно: я могу, решил он, я должен стать коммунистом, и он написал заявление о приеме в партию. Одной

из самых светлых, «звездных» минут своей жизни он считал партийное собрание, на котором коммунисты факультета единодушно проголосовали за прием комсомольца Рагузова кандидатом в члены партии.

Если глянуть со стороны, Рагузову все вроде бы давалось легко и везде он успевал, но так только казалось: просто он умел сизмальства выработать привычку сосредоточиваться на главном, не вязнуть в мелочах, то есть работать рационально, быстро, с максимально возможным эффектом, избегая столь любимого некоторыми пенного шума и общественного внимания, которыми они стараются облечь свое даже самое никчемное дело.

Студентам приходилось много отдавать внелекционного времени для того, чтобы привести в порядок институт и прилегающую территорию, ремонтировать общежития, оформлять аудитории, кабинеты, мастерить стенды, чинить мебель. Василий был незаменим: он и столярничал, и окна в общежитии красил, требовалось — становился за грузчика или подавальщика кирпича, сажал с товарищами деревья на склонах улицы Суворова и в новом парке культуры и отдыха, много фантазии, изобретательности проявлял, оформляя студенческие праздники, стенгазеты, боевые листки.

Одним из добрых студенческих дел была забота о детском доме, и, как нетрудно догадаться, Василий, бывший детдомовец, стал организатором этого шефства. Он любил повозиться с ребятами, умел устроить веселую кутерьму, рассказать интересную историю или сочинить необычную побасенку. Но больше всего ему доставляло удовольствие мастерить с детдомовскими ребятами украшения, игрушки, чтобы нарядить новогоднюю елку, и этот нехитрый обряд его стараниями и выдумкой превращался в яркую часть новогоднего праздника.

Навыки художника помогали ему иногда немного пополнять скудный студенческий бюджет, когда удавалось, например, оформить витрину магазина, красный уголок предприятия или нарисовать афишу для клуба или кинотеатра. «И великие мастера не чуждались поденщины, — говорил он, улыбаясь. — Мои главные картины еще впереди». И действительно, рисовал много и серьезно. В квартире во Львове хранятся сейчас наброски, этюды, пейзажи, портреты жены, ее отца, копии полотен известных мастеров.

«Вот уж, право, не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — шутил, бывало, Василий, рассказывая с удовольствием друзьям о неожиданном и несколько необычном знакомстве с будущей женой. Перепал ему как-то заказ от артели «Красный картонщик» — нарисовать лозунги, вывески, клуб привести в порядок. Вознаграждение полагалось более чем скромное, но Василий согласился. Когда управился с работой, к нему подошла невысокая глазастенькая девушка, назвалась Симой — секретарем комсомольской организации артели — и, смущаясь, спросила: не мог бы товарищ художник в порядке дружеской услуги помочь выпустить стенную газету. Праздник близится, а у них никак и ничего толкового не получается.

Рагузов как раз торопился куда-то, но, глянув в глаза девушки-комсорга, тут же согласился, незаметно увлекся и создал стенгазету, хоть на конкурс направляй.

После этого случая Василий зачастил на «Красный картонщик» и, даже если не было заказов, весьма изобретательно находил предлог для посещения. Разрисовывая по собственной инициативе очередную стенгазету «красным картонщикам», студент-художник весело балагурил, был мил и дурашлив, как школьник, стараясь рассмешить девушку-комсорга, а в душе чувствовал: дело-то, брат, похоже, серьезное.

Летом его призвали на воинские сборы. Василий почти каждую свободную минуту писал Симе письма, почему-то суховатые и деловитые, как рапортички:

«...С понедельника начинаю оформлять полковой клуб. Думаю оставить после себя здесь небольшую память...»

«Только когда работаю, забывается все, и время идет незаметно. Еще прибавилась общественная работа: избрали секретарем комсомольской организации сборов. От жизни здесь не отстаю, хотя и располагаемся в лесу: слушаю радио, газеты доставляют регулярно (интересная деталь — регулярная доставка газет, она еще проявится позже в этом рассказе. — Б.Ч.). Здесь очень много красивых мест, рисовать и рисовать бы, да беда, времени мало...»

Закономерная, пожалуй, особенность: людям увлеченным, деятельным хронически не хватает времени, они с непониманием воспринимают жалобы других на скуку, на то, что, скажем, девать себя

некуда, заняться нечем. Скука, заметил однажды непривычно резко Василий в разгоревшемся споре, уже признак бездеятельности. Сам он всегда жил с этим неистребимым ощущением нехватки времени — так много хотелось успеть сделать, прочитать, обдумать, увидеть, нарисовать, а порой и просто по-человечески передохнуть день, недельку от житейской круговерти.

Отдыхать он научился тоже по-своему, по-рагузовски — это значит сменить, например, пухлый учебник сопромата или кульман собственной конструкции и изготовления («пыточный станок», по меткому студенческому выражению) на лопату землекопа или забраться на этюды в глухой уголок своего любимого Стрыйского парка.

Воинские сборы он закончил успешно, с лестной характеристикой, а вскоре после возвращения «товарищ художник» и комсорг «Красного картонщика» сыграли скромную, нешумную студенческую свадьбу.

Радостнее стало жить и труднее, особенно когда родился первенец, Вовка, а спустя два года и Саша. Случалось Василию и вагоны ночами разгружать, оформлять вынужденные академические отпуска, браться за любую временную работу — лаборанта на кафедре, например, или художника-оформителя. В институте к трудностям его относились с пониманием, шли навстречу, но сам он никогда никаких послаблений себе не давал, никто не слышал от него ни жалоб, ни упреков на судьбу.

Да что там жалобы — он чувствовал себя счастливым, жил полной жизнью, был, как всегда, неунывающий, собранный, безотказный в институтских делах. Семья требовала внимания и времени все больше и больше, и все же он не забывал навещать своих маленьких детдомовских друзей — не по обязанности, нет, просто в нем жила такая душевная потребность.

Напряженный, но все же привычный ритм его жизни круто изменило событие исторической значимости — целина! 500 тысяч молодых патриотов направил Ленинский комсомол за годы освоения целинных земель в Казахстан, но Рагузов оказался среди самых первых — первопроходцев, первоцелинников, как их стали называть. В группе он был единственным семейным студентом, да еще двое

детишек, а все же заявление: «Прошу направить...» — принес в комитет комсомола первым.

Некоторых однокурсников решение Рагузова удивило. В самом деле, почему нужно ехать именно ему, когда желающих столько, что хоть конкурс объявляй? Зачем прерывать на полдороге учебу? В институте положение твердое, авторитет стойкий, опять-таки семья, дети малые — Володе шел третий, Саше исполнился годик. Вот защитишь диплом и, пожалуйста, поезжай, совсем иное дело.

Одному такому скептику Рагузов, весело сощурясь, сказал:

— Голубой город в степи, понимаешь, хочу построить. Первым. Слышал про такие города? Старайся, старик, окончишь институт с отличием — возьму мастером или бригадиром. Возможно...

Да и в комитете комсомола из самых добрых побуждений посоветовали было не торопиться, обдумать все как следует — время еще есть. Рагузов ответил твердо, уверенно, тоном, в котором не было ни сомнения, ни просьбы:

— Обдуманно. И вообще поспешных решений предпочитаю избегать, вы же знаете меня.

С трудом сдерживала слезы Сима, в первые минуты неуверенная, правильно ли поступает муж.

— Пойми, дорогая, — мягко объяснял Василий, — материально, думаю, нам будет даже легче: заработки целинные ведь не сравнишь со стипендией — это раз; как только осмотрюсь и обживусь немного, этими вот руками домишко и даже не домишко — домину выстрою и заберу вас, родных, к себе — это два; наконец, неужели ты могла подумать, что на учебе я собираюсь ставить крест?

Переведусь на заочный, в деканате уже говорил — это три. А главное, какое грандиозное дело затевается, я нутром чувствую, я понимаю, и ты знаешь меня — по мне такое дело, не смогу потом простить себе, что остался в стороне.

9 марта 1954 года газета «Львовская правда» опубликовала заметку о проводах первого отряда комсомольцев Львова, уезжающих в Казахстан. Потом будут десятки других эшелонов, но этот самый первый. От первоцелинников, сообщает репортер, выступили на митинге трактористка Коробова, техник Савичева и строитель Рагузов.

Когда на митинге Василию предоставили слово, он про себя улыбнулся: «Ого! Строитель Рагузов — звучит неплохо, только это

еще ох как оправдать нужно».

Из писем Василия Рагузова:

«Здравствуйте, дорогие мои! Доехал я до Атбасара 16 марта. Направили нас пока в совхоз за 25 километров от Атбасара. А 18-го меня уже послали принимать грузы на станцию.

Ехал через Харьков. В Харькове, воспользовавшись пересадкой, купил шапку-ушанку и кое-что из мелочей, которые позабыл дома. Затем ехал поездом Харьков — Хабаровск до Петропавловска. Волгу, родные места, проезжал ночью, в три часа. Посмотрел на ее ночные дали да мелькающий мост...

Первые впечатления о Казахстане. Казахи — народ гостеприимный, добрый. В совхозе жил на квартире, хозяева угощали чаем, кушал махан (вяленую конину). Обижаются, если выпьешь только две-три чашки чая, а не больше...

Природа здесь, как и в Сталинградской области, немного, правда, суровее, без лесов. Кругом беспредельные дали. Днем тает, вечером подмораживает. Много дичи: весной куропатки, утки, гуси, дудаки.

На полпути на станцию застал нас буранчик. Машины при нашей помощи продвигались буквально по сантиметрам. Все же около девяти километров пришлось идти пургой, добираясь до станции, оставив машины.

О себе. Чувствую себя здоровым.

Направление на место работы еще не получил. Буду работать в одном из совхозов...»

Из рассказа первого директора совхоза «Киевский» Л.Ф. Нестеренко:

«Строители возводили жилые дома, бытовые и производственные помещения. Вот тут-то и блеснул своими организаторскими способностями наш прораб. Опытных строителей у нас было не больше десятка, и, если бы Рагузов делал ставку только на них, пришлось бы нам зимовать в палатках. Но Рагузов наладил дело таким образом, что специалисты, выделенные бригадами, одновременно стали и учителями — ребята, никогда не державшие в руках строительного инструмента, научились строить быстро и доброту. К осени на центральной усадьбе «Киевского» выросла первая улица. Так что зимовали мы не в вагончиках и палатках, а в домах. В одной комнате жило по две-три семьи, но жалоб не было...»

Из письма первого парторга совхоза «Киевский» Утегена Кабазиева в студенческую многотиражку «Радянский студент»:

«30 человек — бригада строителей — жили некоторое время в Атбасаре, получали прибывающие в совхоз стандартные дома. Переправлять туда им газеты и журналы мы, признаться, позабыли.

Заходит ко мне прораб и говорит недовольно: — Живем как на необитаемом острове. Негоже это, парторг.

Ошибку свою мы, конечно, исправили. А Рагузова я сразу заметил: инициативный, напористый, беспокоится о людях. Поговорил с членами бюро. Утвердили его агитатором. И не ошиблись. Он оказался настоящим вожаком и умелым воспитателем.

И вообще в нем была очень сильна общественная жилка. Все стенгазеты, наглядная агитация для совхоза делались с его участием. Особенно популярной была в совхозе стенгазета «Окно сатиры», которую оформлял Василий.

Мне часто приходилось говорить с Рагузовым. Он хорошо разбирался в политике, любил литературу и искусство. Рассказывал нам о семье, показывал фотографии жены и сыновей. Был простым, скромным, веселым человеком. Любил шутку. Я прошел войну, но могу сказать: он был бесстрашным, когда нужно было защищать интересы коллектива, принципиальным коммунистом.

В связи с этим вспоминаю один случай.

Среди вновь приехавших оказалось несколько хулиганов и лодырей. Они пьянствовали, дрались, отлынивали от работы. Мы принимали всевозможные меры, стараясь приобщить их к труду, но, увы, они продолжали вести себя по-прежнему. Созвали общее собрание. Держали они себя, однако, вызывающе, развязно, кричали, что в совхозе, мол, нет условий для работы.

В это время в палатку вошел Рагузов с друзьями. Послушав минуту-другую крикунов, Василий сказал веско:

— Предлагаю отобрать у хулиганов комсомольские путевки и уволить их из совхоза. Чистое дело надо делать чистыми руками.

Собрание дружно поддержало прораба».

Из писем Василия Рагузова:

«Поручена мне ответственная задача — строительство совхозного городка. Думаю, что справился с этой работой на

первых порах неплохо. Помогли и знания, полученные в институте. Во всяком случае, мой участок — по планировке — оценен лучше аналогичных участков в других совхозах. Представь себе, Симочка, как тяжело было начинать на голом месте, где, может быть, не ступала нога человека. И потом, не хватает инструментов, материалов, мало людей... Вставать приходилось с жаворонками, в четыре часа, иногда в полпятого, ложиться в двенадцать, в час. Ночью приходили машины с грузами (транспорт работает круглосуточно) — приходилось подниматься.

Зато приятно сейчас, после всего пережитого в первые недели, уже видеть скромные плоды своего труда. Приятно и отрадно понимать, что первый столб вбит твоими руками, первый выброшенный кубометр грунта, первый камень, уложенный в фундамент, послужат основой жизни людей, покоряющих природу. Хотелось бы довести начатое дело до конца, а на это потребуется 5-10 лет...»

«Начали строить хозяйственным способом клуб на 140 мест, а также кузницу с электростанцией, временную конеферму, коровник. Построили водокачку, буровую (вода хорошая). Приступили к строительству еще восьми домов. Свой дом оставил на весну, нет стенового материала. Работает почта, устанавливается радиоузел, действует рация...»

Не правда ли, приведенные отрывки из личных писем больше похожи на докладную записку? Количество домов, объектов, объемы выполненных работ — все это, чем ежедневно и еженощно жил целинный прораб. А свой дом оставил на весну — нет (для себя!) стенового материала...

А весной — напряженнейшая страда: пахота и сев, и все остальные заботы и непервоочередные работы перешли временно на второй план. Строителей пришлось послать на помощь полеводам, и прораб Рагузов, удивив всех, добровольно вызвался на время пахоты и сева поработать прицепщиком.

Мощные тракторы с трудом вспарывали спрессованную веками степь. Особенно трудно проложить первую борозду — прямую, длинную, уходящую за горизонт. В один конец вести трактор утомительно долго, особенно ночью. Мерно, убаюкивающе урчит мотор. Тракторист, понаблюдая, управляется ли с непривычным делом новый прицепщик (хорошо управляется — хватка у прораба есть), вдруг запел во все луженое горло. Нет, не от переполнивших его чувств, он поет, чтобы не уснуть.

Днем проще. Днем есть хоть на чем глазу остановиться. Вот парит в поднебесье ястреб — этот знает, чего хочет, и рано или поздно своего добьется: охота — его профессия. На первый взгляд беспомощно судорожными рывками прыгает юркий тушканчик. Если вспугнуть его ночью и захватить в клещи автомобильных фар, он так и будет прыгать в полосе света, боясь свернуть в сторону, в темень, где спасение.

Некоторым водителям понравилось такое развлечение — прибавить газу, настичь и безжалостно раздавить зверька. Один, смеясь, бахвалился: вчера, пока ехал от Атбасара, троих ухлопал. «Зачем? Какая в этом надобность? — спросил Рагузов, невольный свидетель разговора. — Да это же свинство, варварство — губить без нужды беззащитное животное. Давайте прекращать подобные игры. Узнаю — буду наказывать». Прекратили. Слово у прораба, как было всем известно, твердое.

Из писем Василия Рагузова:

«Самое главное — поднял совхоз 30 тысяч га целины, всех больше в Атбасарском тресте и вторым в области. Урожай хороший... Вообще в Казахстане урожай очень высокий везде. В районе все колхозы миллионеры. Весной была степь, а сейчас кругом пахота, все черно. При самом минимальном урожае на будущий год совхоз даст государству около полумиллиона центнеров зерна, и доход будет около 4 миллионов рублей.

В этом году закладываем сад и парк...»

Он не участвовал в закладке сада и парка, не сумел построить домик для семьи, о котором писал Серафиме Васильевне как о деле практически решенном («Скоро, очень скоро мы будем вместе и

счастливы...»), он многое не успел, и как же много он сделал за свою недолгую жизнь, какую оставил о себе неизгладимую память в сознании, сердцах тех, кто близко знал его, и миллионов тех, кому стал известен его подвиг, его яркая короткая жизнь.

О подвиге Рагузова Л.И. Брежнев так рассказывает в «Целине»:

«Помню, как всех на целине потрясла гибель студента-заочника... Василия Рагузова. Одним из первых он приехал в совхоз «Киевский» и стал работать прорабом. Способный организатор, хороший товарищ, человек веселого, общительного нрава, он быстро завоевал авторитет и любовь первоцелинников. В один из ясных дней в составе колонны Рагузов вез со станции сборные дома для первой совхозной улицы (ныне — улица его имени. — Б.Ч.). Неожиданно начался необычайной силы буран, длившийся потом несколько суток. Колонна остановилась. Василий решил идти за помощью. Пошел один, заблудился и погиб. Это был мужественный, огромной воли человек».

Они, первоцелинники, жили в состоянии особого подъема и нетерпения, когда казалось, что даже сделанное ценой невероятных усилий можно было сделать быстрее и лучше, а каждая задержка, промедление представлялись им непростительными.

И Рагузов пошел в буран.

Он был старшим в колонне — не по возрасту, по должности, он был коммунистом и считал, что именно на нем прежде всего лежит главная ответственность за судьбы людей и срочного груза.

И наконец, он пошел один, потому что, хотя и был уверен в своих силах, все же, видимо, допускал, что элемент риска в его предприятии есть. Но по складу ума и характера он принципиально не принимал той позиции, которую Ленин образно называл безошибочно спасительным бездействием, и потому пошел навстречу буре.

Когда на областной комсомольской конференции зачитали написанные Рагузовым строки (предсмертные), сообщал в «Правде» Петр Проскурин, делегаты в единодушном порыве встали, потому что нравственные горизонты строителя Рагузова были устремлены в будущее, потому что погиб большой и красивый человек.

Во Львовском политехническом институте есть аудитория имени Василия Рагузова — здесь его портрет, стенд, где собраны фотографии, фотокопии документов, писем, страниц из дневника. В этой аудитории проходят Ленинские уроки, комсомольские собрания, встречи с ветеранами партии и комсомола.

Ежеквартально лучшей комсомольско-молодежной бригаде строителей Львовщины, добившейся наивысших показателей в борьбе за эффективность производства и качество работы, присуждается приз имени героя целины.

Каждый год сотни студентов-политехников в составе строительных отрядов выезжают на самые различные стройки страны. И по давней традиции одному из отрядов присваивается имя Василия Рагузова.

В год 25-летия освоения целинных земель бойцы областного строительного отряда поддержали инициативу комсомольцев политехнического института — зачислить в состав отрядов почетным бойцом героя-первоцелинника Василия Рагузова. На заработанные студентами деньги сооружен памятник В. Рагузову в совхозе «Киевский» и мемориальная доска во Львове. В составе отряда приехал в Тургайские степи и студент третьего курса вечернего отделения младший Рагузов — Александр.

Сыновья по примеру отца тоже стали строителями.

Старший, Владимир, окончил техническое училище, работал, после армии вновь вернулся на стройку.

Младший, Саша, кончил строительный техникум, работает в отделении Теплоэлектропроект, учится на вечернем отделении института, где не успел завершить образование отец. С волнением вспоминает свой первый приезд в составе студенческого отряда в совхоз «Киевский» и те трудно передаваемые словами чувства, которые он испытал, посетив могилу отца, — совсем так же, как и многие ребята предвоенных лет, он знал отца лишь по фотографиям, письмам да рассказам мамы. На целине ходил проложенными отцом улицами, каждый день подолгу стоял у обелиска возле сопки, слушал рассказы старожилков, тех, кто работал с первым прорабом.

Второй раз он приехал в совхоз с матерью Серафимой Васильевной и Володей: их пригласили на торжество по случаю 25-летия освоения целинных земель. Много было встреч, рассказов,

воспоминаний и слез, но одна встреча особенно отчетливо отпечаталась в памяти — они увиделись с Утегеном Кабазиевым, которого знали до этого лишь понаслышке, лишь по его письмам.

Рагузовых на казахстанской земле встретили по-русски — хлебом и солью, и они увезли на далекую Украину не только память о ставших лично им родными местах, но и самое дорогое, что люди могут подарить друг другу, — теплоту человеческих сердец.

В дни юбилейных целинных торжеств в совхозном домике, построенном двадцать пять лет назад, открылся музей Василия Рагузова — совхозного прораба. Среди экспонатов — «Целина» Л.И. Брежнева на разных языках, личные вещи, газетные и журнальные вырезки, фотокопии документов и писем, собранные первоцелинниками, учителями и учащимися местной школы.

«Целина стала настоящей школой трудовой закалки, идейно-политического, нравственного и интернационального воспитания многих и многих сотен тысяч молодых людей. Освоение целинных и залежных земель вошло героической страницей в летопись грандиозных свершений нашей страны...

Нас радует, что нынешнее молодое поколение, унаследовавшее революционную страстность красных коммунаров, героизм фронтовиков, гражданственность и патриотизм целинников, достойно приумножает богатство и могущество нашей любимой Родины».

(Из письма первоцелинников, героев книги Л.И. Брежнева «Целина» в редакцию «Комсомольской правды».)

Среди героев целины, подписавших письмо — а их имена знает вся страна, — нет фамилии Василия Рагузова, но он по праву прожитой им недолгой, не героической жизни мог бы подписать этот взволнованный документ.

...Тенистыми аллеями Стрыйского парка неторопливо идет моложавая, скромно одетая женщина, с любопытством, словно впервые, всматриваясь в разнообразную парковую красоту. Здесь любил бывать Василий, на его этюдах и пейзажах многие живописные уголки парка. Вокруг женщины, выписывая замысловатые орбиты и громко выражая свой восторг, носятся двое сорванцов — с первого взгляда видно: родные братья. Кажется, они ведут забавную игру — кто больше задаст вопросов:

— Баб, как называется эта птаха?.. Цветок?.. Дерево?.. А это, бабушка, что это?..

Внуки Рагузова... Очень хочется верить, что и они осознают и воспримут высокие нравственные принципы, по которым жил целинный прораб, что и для них путеводной нитью станет та главная, заветная мысль-надежда, мысль-завещание, обращенная в письме Василия к сыновьям.

Главное ведь — действительно быть в жизни человеком. Настоящим человеком.

Борис ЧУБАР

Юрий ГАГАРИН

Первый полет человека в космос. Этого еще не знал человек. Это впервые. Первый шаг!.. Но этот шаг войдет в историю человеческой цивилизации как самый яркий пример свершения общечеловеческой — всех живших поколений — высокой духовной мечты.

Готовится старт космического корабля «Восток»... У подножия громадной ракеты собрались провожающие, участники этого исторического шага человека в Будущее. С самой верхней ступеньки лестничного трапа, что ведет к скоростному лифту, с лестницы, символизирующей ступени познания и прогресса человечества, к современникам и будущим землянам обращается первый космонавт планеты, гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Звонкий голос его звучит в памяти, волнуя и сегодня, двадцать лет спустя...

Немало времени прошло с того исторического момента! После первого гагаринского витка вокруг Земли — 108 минут полета — мы научились непрерывно летать в космосе уже 185 суток. Такой продолжительности полет на борту орбитального комплекса «Салют» — «Союз» был у Леонида Попова и Валерия Рюмина. Космонавты выполняют сейчас обширные программы научных, медико-биологических и технических экспериментов и исследований, проводят сложнейшие испытания космической техники. Нужно сказать, что сегодня существенно расширились задачи, выполняемые в полете, усложнилась и сама техника и управление ею. Так, с пультов корабля «Союз» космонавты могут выдать почти тысячу команд, а с орбитального комплекса «Салют» — «Союз» — «Прогресс» — более двадцати двух тысяч команд. А ведь с пульта космонавта на «Востоке» Юрий Гагарин мог подать всего шестьдесят три команды, да и то их выдача заблокирована выполнением контрольного теста. В случае отказа автоматики в невесомости Юрий Гагарин должен был вскрыть запечатанный конверт, прочитать кодовое число, набрать его на специальном наборном устройстве. Если он не сделал ошибки, то после этого можно было включать электропитание пульта и выдавать команды. Юрий Гагарин четко выполнил тест. Этот логический ключ,

заложенный тогда в управление, говорит о том, что при первом шаге в космос не было еще известно: а что произойдет с подвижной психикой человека, когда он окажется в космосе?

Гагарин дал ответ на этот вопрос, он доказал опытом, что человек может жить и работать в космосе. И уже следующий, суточный полет Германа Титова на «Востоке-2» подтвердил этот исключительно важный вывод. Гагарин проложил людям Земли дорогу к звездам. Именно поэтому Нейл Армстронг, американский астронавт, первым побывавший на Луне, написал в книге Памяти Ю.А. Гагарина, что лежит в мемориальном кабинете в Звездном городке: «Он всех нас позвал в космос!» Юрий Гагарин — основатель новой профессии человека, профессии «космонавт». На сегодня на нашей планете уже более ста землян — космонавты, из них половина — граждане СССР. И мы горды этим. Становление же профессии началось двадцать один год назад.

Два года назад мы отметили двадцатилетие Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, и столько же исполнилось первому отряду космонавтов. Собственно говоря, с отряда, который мы сейчас часто называем «гагаринским», и начал свою биографию сам Центр. Двадцать молодых летчиков, успешно прошедших исключительно строгую медицинскую комиссию, съехались из разных уголков нашей страны сюда, в Москву, осваивать новую летательную технику. Вместе с ними первое время работали десятка два специалистов: летчиков, инженеров, врачей.

Центр тогда располагался в Москве, в районе метро «Динамо», напротив Петровского дворца. Будущие космонавты занимались летной, парашютной, медико-биологической и физической подготовкой и, конечно, изучением той техники, которая тогда еще только проектировалась, создавалась и проходила наземные испытания.

В то время сотрудникам опытного конструкторского бюро, где разрабатывалась эта техника, К.П. Феоктистову, А.С. Елисееву, О.Г. Макарову и мне, а также другим ученым и специалистам Главным конструктором, академиком С.П. Королевым, было поручено чтение лекций будущим космонавтам и проведение занятий с ними по программе технической подготовки.

Хорошо помню, как в начале марта 1960 года я присутствовал на первой лекции курса «Механика космического полета», которую читал видный ученый, конструктор первой в СССР жидкостной ракеты, а в то время руководитель головного проектного отдела королевского КБ, где создавался космический корабль «Восток», мой учитель профессор М.К. Тихонравов. Он представил меня, сказал, что в дальнейшем курс буду читать я, и начал свою вводную лекцию.

Это был удивительный полет фантазии в возможности человека и техники того времени. Михаил Клавдиевич кратко изложил содержание курса лекций, необходимость его изучения, место его в технической подготовке космонавтов и приступил к рассказу, как рождался проект «Востока», как складывалась космическая терминология его систем и агрегатов. Будущие космонавты наглядно познакомились с новой для них, летчиков, терминологией. В завершение лекции, уделив большое внимание надежности всех систем корабля и проекта в целом, он ознакомил слушателей с намеченным, пока еще примерным планом и сроками «натурных летных испытаний корабля «Восток» в пилотируемом полете». Именно так, по-инженерному, без признака сомнений в реализации был тогда сформулирован первый полет человека в космос.

Думаю, что в этот момент М.К. Тихонравов вспомнил (позже он рассказывал мне об этом), как в марте 1934 года (время рождения Юрия Гагарина) после серии успешных пусков первых советских жидкостных ракет и создания РНИИ (Реактивного научно-исследовательского института), в котором он тогда работал вместе с С.П. Королевым, они впервые заговорили о полете человека в космос. Вероятно, для них мечта уже тогда, когда они начинали с азов, была ближе и реальнее, чем для этих молодых ребят, которым предстоит работать над новой техникой. Будущие космонавты еще должны вжиться в нее, усвоить и освоить, поверить в нее.

На протяжении всей лекции я наблюдал за слушателями, мысленно спрашивая каждого: «Что же привело тебя сюда, в отряд космонавтов?..» Тогда я еще не знал ребят и на этот вопрос ответить не мог. Сейчас, двадцать два года спустя, когда они уже выполнили сложные полеты, их узнал весь мир, когда я и сам уже отношусь к старшему поколению космонавтов, со многими мне довелось работать в одном экипаже, выполняя дублирование различных программ, с

одним из них, Андрияном Николаевым, одиннадцать лет назад мы выполнили полет на борту «Союза-9», это был мой первый полет, сейчас я бы, наверное, смог ответить на этот вопрос... Тогда я только еще начал знакомство с ними. Позже все они стали моими большими друзьями. Думаю, они сами уже ответили на этот вопрос своими делами.

Тогда они еще познакомились друг с другом, формировался настоящий дружеский коллектив. И вскоре душой этого коллектива, а в познании космической техники даже лидером стал Юрий Гагарин. Ему и суждено было быть первым в космосе, первым прокладывать дорогу в неизведанное.

Гагарина узнал весь мир! Узнал и полюбил. Добрый и жизнерадостный, умный и любознательный, чуткий, внимательный и открытый, веселый, острый на незлую шутку и, я бы даже сказал, заряженный на дружеское баловство, откровенный, принципиальный и верно преданный мужской дружбе, он располагал к себе людей и обрел много друзей.

Часто можно услышать вопросы: «Как же это получилось, что его выбрали первым? Кто его выбрал на первый полет?» Отвечая на второй вопрос, некоторые говорят: «Сергей Павлович Королев»... Я присутствовал при первой встрече космонавтов с С.П. Королевым и хорошо помню эту душевную беседу о заботах текущих и обращенную в будущее. Конечно, внимательный и чуткий, умудренный жизненным опытом нелегкой судьбы, Сергей Павлович сразу выделил среди космонавтов этого голубоглазого, симпатичного, смекалистого смоленского паренька и приглядывался к нему. А когда космонавты ушли, по вопросам, которые он задавал нам, сотрудникам его КБ, я понял, что Гагарин ему понравился. Но Сергей Павлович не мог решить этот вопрос, что называется, с одного взгляда, он должен был всех выслушать, все тщательно взвесить и только тогда принять окончательное решение. Так оно позже и было. Я бы сказал, что на выполнение этой важной и исключительно ответственной миссии Юрия Гагарина выбрал сам наш народ, а формально сделали это космонавты. Отмечая двадцатилетие «гагаринского» отряда, собрались все ветераны и, отвечая на вопрос, «кто выбрал Гагарина», хором ответили: «Мы!..» И я вспомнил...

Я вспомнил последний день рождения Гагарина — 9 марта 1968 года. Это было в Крыму, где в то время находился Центр управления полетами, там, где сейчас остался Центр дальней космической связи. Днем мы были приглашены Юрием на обед. Мы — это группа космонавтов, которая готовила одну из космических программ. В эту группу входили уже летавшие А.А. Леонов, П.Р. Попович, В.Ф. Быковский и тогда еще не летавшие Г.Т. Добровольский, Ю.П. Артюхин, О.Г. Макаров, Н.Н. Рукавишников, П.И. Климук, Г.М. Гречко и я. Юра был наш командир, он и пригласил нас на обед, сказав с улыбкой: «Ребята, будет только шампанское!» Какая это была теплая, дружеская встреча! Вот тогда в выступлениях моих друзей, в воспоминаниях Алексея Леонова, Павла Поповича, Валерия Быковского я почувствовал их настоящую, преданную любовь к нему. Эта любовь космонавтов и выбрала его первым среди них.

10 марта наша группа во главе с Гагариным улетела в Москву. В последующие дни всю группу выбросили парами в разные точки в лесах Ярославской области «на выживаемость». Есть у нас такой комплекс подготовки космонавтов к действиям в разных климатических поясах на случай срочного спуска с орбиты и вынужденной посадки в любом районе Земли. 18 марта нашу группу эвакуировали «с выживаемости» и возвратили в Звездный городок. Еще в вертолете, когда мы собрались все вместе и поздравили Алексея Леонова с третьей годовщиной его исторического полета вместе с Павлом Беляевым, он сказал: «Ребята, прошу всех вечером ко мне. Отметим!»

Через несколько часов мы уже сидели у Алексея Леонова, здесь же был Юрий Гагарин с Валею, своей супругой. Сначала мы все вместе прослушали магнитофонную ленту, на которую только что в профилактории космонавтов, собираясь в гости к Леонову, надиктовали шуточные воспоминания о его полете, о посадке «Восхода-2» в районе Перми, об их с Павлом Беляевым «выживаемости» в снегах уральской тайги, о выброшенном десанте лыжников группы поиска и встрече космонавтов на Земле, в которой были и наши коллеги — космонавты Владислав Волков и Виктор Пацаев. Юрий Гагарин, один из руководителей полета космического корабля «Восход-2», тут же в шуточной форме рассказал, как принималось решение о переходе на ручное управление кораблем

перед спуском на Землю, когда автоматическая система отказала. Затем мы с юмором рассказывали о только что прошедшей тренировке, о своей «выживаемости». Обветренные и загорелые, мы возбужденно и весело вспоминали о разных приключениях, которые происходили с нами в эти несколько суток пребывания в ярославских лесах. Я рассказывал, что, когда в сеансе связи мы с Павлом Поповичем получили приказ в определенное время сняться из лагеря и выйти в указанный квадрат, куда за нами должен прилететь вертолет, я с радостью бросился к Павлу с криком: «Конец выживаемости! Домой!» А Павел, продолжая свое любимое занятие, подледный лов — в этот раз на маленькой, в два прыжка шириной лесной речушке без названия, — невозмутимо ответил: «Могли бы еще на сутки остаться, питание у нас обеспечено. Клев больно хороший!..» И тут же остановил меня: «Чего шумишь? Рыбу испугаешь!»

Ребята веселились и балагурили весь вечер, и душой вечера, как всегда, был Юрий Гагарин. Довольно рано мы разошлись. Прощаясь, Юрий сказал: «Пора, завтра предполетная подготовка». Мы знали, что он уже начал полеты с инструктором на УТИ МиГ-15 (двухместный учебно-тренировочный реактивный самолет-истребитель) и готовился к самостоятельному вылету. Раньше он уже летал на этих самолетах. Но был большой перерыв, и вот он снова должен пройти краткий курс восстановления навыков пилотирования и контрольных полетов. Когда в апреле 1967 года при первом испытании «Союза» погиб наш друг Володя Комаров, Юрия Гагарина освободили от летно-космической подготовки к полетам на «Союзах». Он тогда был среди дублеров Комарова, тогда же и запретили летать на самолетах. Год он добивался разрешения летать, и добился. Все чаще он задумчиво мечтал: «А может быть, и подготовку разрешат. Еще бы разик в космос слетать!»

А наша группа на следующий день, 19 марта, улетела на парашютные прыжки. Несколько дней наземной подготовки, и начались прыжки. Прыгаем с вертолета. Весенняя распутица, снег в поле рыхлый, а на площадке, с которой мы взлетаем, — лужи. К этому времени мы уже имели достаточно хороший опыт парашютных прыжков с разных типов самолетов и вертолетов, днем и ночью, на сушу, на воду и в лес, с задержкой раскрытия парашюта до 50 секунд. Прыгаем каждый день по два раза.

И вот 27 марта... Утро. Мы уже выполнили первый прыжок. Взлетели на второй. Площадка, на которую прыгаем, тремя ярусами облачности закрыта полностью. Нам по программе предстоит выполнить прыжок с большой задержкой раскрытия парашюта, а поэтому с большой высоты. Этот прыжок, по инструкции, можно выполнять только при прямой видимости, наш инструктор Лель командует: «Прыжки отменены». Возвращаемся, садимся. Снимаем парашюты, оставляем их в вертолете и выходим на снежное поле. Собрались кучкой и обсуждаем, будет ли погода, будет ли второй прыжок, кое-кто рассказывает о переживаниях первого прыжка, делится навыками. Более опытные Павел Попович, Алексей Леонов и Валерий Быковский рассказывают разные случаи и в то же время наставляют нас, молодых, советуют, как действовать в разных ситуациях.

Вдруг слышим гулкой двойной удар звуковой волны... Кажется, что волна прокатилась через нас. Павел Попович сказал: «Кто-то из ребят на малой высоте скорость звука прошел». Недалеко от места, где мы находились, расположена воздушная зона полетов, и, возможно, кто-нибудь из летчиков нарушил инструкцию: пролетел на малой высоте со скоростью больше скорости звука.

Алексей Леонов, наш старший, как бы очнувшись от задумчивости, решил: «Пойду свяжусь по радию, узнаю погоду». Все ребята, как будто что-то чувствуя, присмирели, кончили балагурить, подшучивать, острить. Кто-то неожиданно заметил: «Через три дня будем дома...» Я вспомнил, что последний раз дома был в конце февраля: все командировки, командировки.

Приехал на автобусе Леонов и скомандовал: «Всем в автобус! Парашюты оставляем в вертолете. Едем в гостиницу (так все мы в шутку называли большую бревенчатую избу). Пятнадцать минут на сборы. Пришла команда. Через полчаса возвращаемся». Когда мы в летных костюмах и унтах (не успели переодеться) вышли из вертолета, на аэродроме встречающие сообщили нам страшную весть: полчаса назад кончилось топливо на самолете, на котором летали Гагарин и Серегин. Самолет на аэродром не вернулся... Организованы поиски экипажа.

Дана команда: всей нашей группе выехать в Звездный городок, разместиться в профилактории космонавтов и ждать дальнейших

указаний. Едем... В автобусе «то-то из ребят вдруг сказал: «А ведь мы, наверное, слышали взрыв». Молчание. Об этом уже подумали все, но не решались произнести эту мысль вслух. Кто-то с надеждой сказал: «Может, успели катапультироваться...» И опять молчание.

До позднего вечера мы все ждали, надеялись... Пришло сообщение, которое боялись услышать. Нашли упавший самолет, нашли останки экипажа, нашли кусок летной куртки с карманом. В кармане бумажник, в бумажнике документы Гагарина, фотография С.П. Королева, талон на питание на имя Юрия Гагарина...

Гагарин и Серегин погибли... Да, мы слышали взрыв их самолета. Он упал в 15 километрах от площадки, на которой мы выполняли парашютные прыжки... Мы слышали их последний вздох и стон... Это случилось в 10 часов 31 минуту 27 марта 1968 года.

Прошло уже четырнадцать лет. Но все эти годы и сегодня Юрий Гагарин с нами, в наших делах на земле, в наших наземных испытаниях, в нашей новой созданной космической технике, в нашей подготовке и в наших космических полетах. Мы продолжаем начатое им дело.

Наши достижения в освоении космического пространства за прошедшие двадцать лет исключительно впечатляющи. Более того, мы, космонавты, да и ученые двадцать лет назад не смогли бы даже прогнозировать эти успехи. Чтобы наглядно представить себе прогресс пилотируемой космонавтики, разделим эти двадцать лет на четыре пятилетки: первая — с 12 апреля 1961 года по 12 апреля 1966 года; вторая — 1966–1971 годы; третья — 1971 — 1976 годы; четвертая — 1976–1981 годы, так что четвертая наша пятилетка закончилась 12 апреля 1981 года. Посмотрим рост некоторых критериев, которые характеризуют развитие пилотируемых полетов за эти двадцать лет, по пятилеткам соответственно, в первой, второй, третьей и четвертой.

Количество пилотируемых космических полетов — 8; 8; 10; 21. Всего выполнено 47 полетов, из них почти половина — в последней пятилетке.

Количество космонавтов, участвовавших в полетах, — 11; 15; 22; 43 (всего 91). Из них количество советских космонавтов, выполнивших первый полет, — 11; 11; 12; 16 (всего 50); второй — 0; 4; 8; 11 (всего 23); третий — 0; 0; 2; 8 (всего 10). В четвертой пятилетке по программе «Интеркосмос» вместе с советскими космонавтами летали

представители восьми социалистических стран: Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии.

Отряд слетавших советских космонавтов вырос до 50 человек, из них 13 выполнили по два, а 10 — по три космических полета.

Это говорит о становлении нашей профессии «космонавт», основоположником которой явился Юрий Гагарин. Использование опыта ранее уже летавших космонавтов в последующих полетах стало хорошей традицией, явилось требованием жизни, тех сложных программ, которые сейчас выполняются в полетах. Это особенно характерно для четвертой пятилетки.

Рекордная за пятилетку продолжительность космического полета (в сутках) — 5, 18, 63, 185. Кто бы мог себе представить даже десять лет назад, что мы будем летать в космосе полгода?

Общая продолжительность пилотируемых космических полетов (в сутках) — 18, 44, 161, 785. Это данные на 12 апреля 1981 года. В четвертой пятилетке два с лишним года советские космонавты работали в космосе! А всего они трудились уже более тысячи суток!

Все эти наши успехи стали возможны благодаря созданию прекрасной, надежной, экономичной космической техники: и пилотируемых кораблей серий «Союз» и «Союз Т», и орбитальных научных станций «Салют», и беспилотных грузовых транспортных кораблей «Прогресс». Станция «Салют-6» работает в космосе с 29 сентября 1977 года, уже более четырех с половиной лет, превысив ресурс работоспособности в несколько раз. Восемнадцать пилотируемых кораблей «Союз» и «Союз Т» подходили к станции, шестнадцать из них стыковались с нею, в том числе и два новых корабля «Союз Т». Двадцать восемь человек работали на станции, из них пятеро прилетали на нее дважды, а восемь были представителями социалистических стран. К станции были посланы и успешно состыковались с нею двенадцать грузовых кораблей «Прогресс», которые доставляли на нее топливо, пищу, воду, блоки системы регенерации атмосферы, научное оборудование и т. д.

«Салют-6» — станция нового поколения. Она отличается от своих предшественниц не только наличием двух стыковочных узлов, но и возможностями выполнения таких сложных элементов программы полета, как внешний выход, заправка станции топливом, доставляемым «Про-грессами». На «Салюте-6» экипажи неоднократно

меняли научное оборудование, которое приходило с Земли на «Прогрессах», тем самым существенно расширяя фронт научного поиска в космосе. Вспомним, например, уникальный эксперимент, выполненный с помощью космического радиотелескопа КРТ-10.

«Салют-б» стал гостеприимным домом для наших коллег — космонавтов братских социалистических стран, которые в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина прошли подготовку и вместе с советскими коллегами выполнили полеты. В этих полетах проведены научные исследования по программам и с помощью аппаратуры, изготовленной совместно и при самом тесном сотрудничестве академий наук социалистических стран с Академией наук СССР. Кроме научных исследований, на «Салюте-б» продолжались работы и прикладного характера: исследовались природные ресурсы Земли, выполнялись технологические эксперименты, проводились испытания новой аппаратуры и оборудования.

Да, за это двадцатилетие в космосе реализованы самые смелые планы и мечты, а жизнь и наши успехи постоянно их корректировали, сжимая сроки исполнения, приближая их воплощение. В космосе, да и на Земле мы многому научились. Открылись широкие перспективы создания в космосе отрасли народного хозяйства. Именно на это нацелили нас решения XXVI съезда КПСС. И мы выполним все намеченные планы!

И все-таки, подводя итог этому двадцатилетию пилотируемых полетов, можно было бы сделать вывод: человек, выйдя в космос, увидел, ощутил, прочувствовал малость нашей планеты Земля и взял всю заботу о ее будущем на себя. Как это созвучно с заключительными словами Юрия Гагарина, которыми он завершил свой послеполетный доклад на заседании государственной комиссии: «Маленькая Земля наша, беречь ее надо!»

Это были слова Человека, первым облетевшего Землю и ставшего бессмертным.

* * *

Я иду по Звездному городку. Городок шумит, готовится к празднику. Через несколько дней здесь, как и во всей стране, во всем мире, будет отмечаться очередная годовщина первого полета человека в космос — День космонавтики.

Весна, и люди украшают городок. Здесь все посвятили свой труд, свою жизнь развитию космонавтики и сейчас готовятся встретить праздник... У всех радостное, предпраздничное настроение. И у всех, кого бы я ни встретил, в душе, в памяти сердца он — Юрий, как ласково и любовно называют его здесь...

Он бросил вызов силам природы и на легендарном «Востоке», созданном гением и трудом нашего народа, преодолев вековое притяжение Земли, взлетел в космос как посланец человечества. Он стал первым гражданином Вселенной, пионером космоса.

Здесь его знают все. Даже те, кто никогда не был с ним знаком. Знают по рассказам «ветеранов». Знают о нем все, так как здесь все связано с ним. Здесь начиналась практическая космонавтика. И у всех после первых слов приветствия и поздравления улыбка незаметно исчезает, глаза становятся печальными, и люди, как о самом сокровенном и родном, говорят:

— Да... жаль... его сейчас нет... жаль, что он не может вместе с нами отметить праздник, рождение которому он дал... А ведь какой был человек!.. Помнишь?.. Жаль, что его нет...

Я иду по Звездному городку... Смотрю на красивые дома, на молодую сосновую рощу, которая была посажена чуть раньше возникновения самого городка и сейчас, словно молодая девушка — символ будущей жизни и красоты, — окружает заботой и вниманием красавец городок-подросток. На улицах, украшенных молодыми деревцами — ровесниками городка, встречаю людей и, беседуя с ними, внимательно всматриваюсь в их лица. Да, он здесь, рядом, вместе с нами. Он жив. Жив в сердцах жителей Звездного. Да, здесь все помнят его, здесь все напоминает о нем. Он рядом.

Вот его дом. В нем и сейчас живет его семья: жена Валентина и дочки Лена и Галя. И я не удивлюсь, если из-за угла дома выбежит Галка, до боли в сердце напоминающая внешностью и характером отца, и мягко, с открытой гагаринской улыбкой скажет: «Здравствуйте!»

Вот перед домом растет деревце, посаженное Юрием на одном из субботников. Помню, также ранней весной космонавты с семьями вышли на субботник: надо привести в порядок и озеленить территорию своего городка. Острая шутка и смех, постоянные спутники космонавтов в работе и на отдыхе, не прерывались. И как всегда, звонко и задорно звучал голос Юрия. Мне кажется, я и сейчас слышу его заразительный, гагаринский смех... Я слышу его голос. Я вижу его в синем спортивном костюме с лопатой в руках. Вижу, как заботливо и бережно сажает он маленькое деревце, а Валентина поливает его. Слышу: «Ну, расти... Неси радость людям!..»

Я иду по Звездному городку... Захожу в Музей космонавтики. Здесь тысячи экспонатов: личные вещи космонавтов, подарки, присланные из всех уголков нашей страны, из различных стран мира. Здесь же мемориальный музей Юрия Гагарина. Вот его рабочий стол. Я помню, как после его гибели кабинет некоторое время был закрыт. И я с трепетом проходил мимо двери с табличкой: «Полковник Гагарин Ю.А.» — и испытывал неудержимое желание войти туда, прикоснуться к вещам, ощутить его присутствие среди них. Затем весь кабинет с мебелью, книгами и вещами был перенесен в музей. Сейчас он открыт для посетителей, и каждый житель Звездного, каждый гость может побывать здесь.

Вхожу в кабинет. Все стоит так, как было при его жизни. Все напоминает о нем.

У космонавтов есть добрая традиция. Перед очередным космическим полетом, накануне отъезда на космодром они приходят сюда, к Юрию. Приходят те, которые должны идти в очередной полет, и их дублеры. Приходят, чтобы поделиться с ним мыслями, а потом в Книге памяти написать, что они посвящают свой полет его памяти, что они идут продолжать дело, начатое им...

...Листаю книгу. В ней есть моя подпись трижды: в 1969 году среди дублеров «Союза-6», и в 1970-м, перед полетом с Андрияном Николаевым на «Союзе-9», и в 1975-м — перед полетом с Петром Климуком на орбитальную станцию «Салют-4».

У космонавтов есть и другая традиция: в очередной космический полет они берут с собой портрет Юрия Гагарина.

Да, мы шли, и мы идем продолжать его дело.

Я смотрю на его портрет. Вглядываюсь в знакомые черты лица и вспоминаю...

...Вспоминаю его жизнь. Вспоминаю его родные места на Смоленщине.

Старинное русское село Клушино, основанное в XIV веке. Здесь 9 марта 1934 года, в простой крестьянской семье Гагариных появился сын Юрий. Родители образования не получили, но об отце-плотнике все говорили: «Золотые руки у Алексея Ивановича!» С добрым сердцем, энергичная и ловкая в труде на молочной ферме, Анна Тимофеевна была хорошей хозяйкой в большой, дружной гагаринской семье.

В суровый военный 1941 год Юра пошел в школу. Первоклассники Клушинской школы занимались в одном небольшом помещении одновременно с третьеклассниками. Букварь был один на всех, тетрадей не было — писали на обоях, на полях газет.

Вскоре в Клушино пришли фашистские оккупанты. Семью Гагариных они выгнали из дома, и им пришлось вырыть на окраине села землянку и ютиться там.

Сейчас земляки-клушане с трогательной заботливостью восстановили эту землянку. Она напоминает многочисленным экскурсантам о суровом военном детстве Юрия Гагарина.

И вот долгожданная Победа!

Юрий Гагарин в своей прекрасной книге «Дорога в космос» пишет:

«Отныне начиналась новая, ничем не омрачаемая жизнь, полная солнечного света. С детства я люблю солнце!

Кончилась война, и моего отца оставили в Гжатске — отстраивать разрушенный оккупантами город. Он перевез туда из села наш старенький деревянный домишко и снова собрал его».

Старый русский город Гжатск теперь носит его имя. Я часто бываю и в Клушине и в Гагарине, встречаюсь с Анной Тимофеевной.

Есть у космонавтов добрая традиция: в день рождения Юрия Гагарина приезжают космонавты. Они выступают на заводах, в школах и учебных заведениях города, докладывают землякам первого космонавта о выполненной в космосе работе, а потом собираются у Анны Тимофеевны в новом доме, который стоит напротив старого, клушинского гагаринского дома — теперь мемориального Дома-музея.

С каждым днем хорошеет город Гагарин — Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Я неоднократно бывал и выступал в гжатской школе, в которой до шестого класса учился Юрий, встречался с его учителями. Они показывали мне сочинения и тетради Юры по математике, бережно хранящиеся в музее школы, рассказывали о встрече с ним в Гжатске после первого полета.

В 1949 году пятнадцатилетний Юрий уехал в Москву к дяде и по его совету поступил в ремесленное училище при Люберецком заводе сельскохозяйственных машин. Очень хотелось учиться на слесаря, об этом он мечтал еще в Гжатске, но на слесарное и токарное отделения училища брали с семилетним образованием, а у Юры было только шестилетнее — пришлось идти в литейщики. В книге «Дорога в космос» он вспоминает:

«— Не горюй, парень, — сказал директор ремесленного училища, — возьмем тебя в литейщики... Видал в Москве памятник Пушкину? Это, брат, работа литейщиков.

Этот довод меня сразил, и я с легким сердцем согласился: литейщик так литейщик».

Так Юрий вступил в ряды рабочего класса.

В музее Звездного городка в мемориальной комнате Ю. А. Гагарина среди его вещей и документов хранится и маленький алюминиевый самолет, отлитый в училище, бережно хранимый им всю жизнь как символ его первого познания труда.

Многие космонавты в свое время окончили ремесленное училище, получили трудовую рабочую закалку, отслужили в армии, обрели профессиональный опыт, который привел их в отряд космонавтов. Во многом пора жизненного становления, возмужания Юрия Гагарина, моих друзей — космонавтов похожа на судьбу многих мальчишек и девчонок суровых военных лет. Юрий понимал, что нужно продолжать учиться, и он поступает в седьмой класс люберецкой вечерней школы № 1. Об этом времени он в книге «Есть пламя» вспоминал:

«Труднее стало, когда я поступил в вечернюю школу рабочей молодежи. Приходилось жалеть, что в сутках только двадцать четыре часа. Но школу я кончил. И тогда дирекция ремесленного училища помогла мне и нескольким моим друзьям поступить в индустриальный техникум в Саратове на Волге».

В Саратове началась летная биография Юрия Гагарина — он поступил в аэроклуб и стал упорно изучать теорию и практику летного дела. Первый в жизни прыжок с парашютом укрепил в нем мечту о полете.

Успешно защитив дипломный проект в техникуме и получив квалификацию техника-литейщика, Юрий Гагарин все лето 1955 года провел в лагерях Саратовского аэроклуба, вылетал самостоятельно на самолете Як-18 и, закончив аэроклуб на «отлично», получил направление в Оренбургское авиационное училище.

Год 1957-й. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли совпал в жизни Юрия Алексеевича Гагарина с окончанием училища, присвоением ему первого офицерского звания — лейтенант и свадьбой с Валентиной.

Командование оставило Гагарина на должности летчика-инструктора, но он подал рапорт с просьбой направить его на Север. В книге «Дорога в космос» он пишет:

«Одним словом, я чувствовал себя сыном могучего комсомольского племени и не считал вправе искать тихую гавань и бросать якорь у первой пристани.

Чувства, которые обуревали меня, не давали покоя друзьям — Валентину Злобину, Юрию Дергунову, Коле Репину. Все мы попросились на Север.

— Почему на Север? — спрашивала Валя, еще не совсем поняв моих устремлений.

— Потому что там всегда трудно, — отвечал я».

Два года напряженной летной службы на Севере, и вот Юрию Гагарину предлагают пройти специальную медицинскую комиссию по отбору кандидатов в космонавты.

«При отборе интересовались биографией, семьей, товарищами и общественной деятельностью, — вспоминал Юрий, — оценивали не только здоровье, но и культурные и социальные интересы, эмоциональную стабильность.

Для полета в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, негибаемую волю, стойкость духа, бодрость, жизнерадостность.

Все это заняло несколько недель...

...Открывалась новая, самая интересная страница в моей жизни.

Вернулся я домой в день моего рождения. Валя знала о моем приезде и в духовке испекла именинный пирог, украсила его моими инициалами и цифрой 26. Подумать только — недавно было шестнадцать, и уже двадцать шесть!»

А в двадцать семь он облетел Землю!

Я вспоминаю, как Юрий Гагарин задумчиво рассказывал, что на многочисленных встречах с пионерами одним из первых всегда был вопрос: «Как вы стали космонавтом?» А одна школьница даже уверенно заявила:

— У вас, Юрий Алексеевич, жизнь была не такая, как у других.

И я подумал: нет, не какая-то особенная жизнь была у первого космонавта Земли. Он сам был особенным человеком.

...Вспоминаю рассказ Юрия о полете. Том, первом. Он подробно рассказывал о поведении корабля в невесомости, о работе его систем, о своем самочувствии, о самой невесомости. Но особенно мне запомнился его рассказ о нашей Земле. Он очень красочно говорил, как она выглядит из космоса, неоднократно с удивлением подчеркивая ее малость. Понимаете, ведь он первый из людей посмотрел на нашу Землю со стороны. Первым увидел «колыбель человечества» всю разом!

Когда мы с Андрияном Николаевым восемнадцать суток кружили вокруг нашей планеты на корабле «Союз-9», а потом с Петром Климуком 63 дня работали на «Салюте-4», все мы часто вспоминали Юру и его первые рассказы о Земле.

Да, наша планета удивительно мала! Человечество должно беречь ее! На Земле нет места для войн, и их не должно быть! Мир и дружба между народами — вот будущее процветания человеческой цивилизации!

Юрий Гагарин очень остро ощущал и осознавал это. Он был нашим посланцем мира в различных уголках Земли. Он посетил десятки стран. Миллионы людей видели его, гагаринскую, улыбку и слышали его голос. Он рассказывал об успехах Советской страны, о ее народе, о космосе, о планете Земля, как он ее видел. Первый. Миллионы сердец покорены гагаринской улыбкой, его человеческим обаянием, умом, смелостью и простотой.

Он нес радость людям!

Его знал и знает весь мир.

Я вспоминаю, какое удовлетворение я испытал, когда в далекой Америке, в Музее ракетной и космической техники штата Алабама, что в городе Хантсвилл, я увидел портрет Юрия Гагарина — молодой улыбающийся майор с белым голубем на руках. Эта фотография обошла весь мир.

Для миллионов человеческих сердец он стал идеалом служения своей Родине и всему человечеству. Нынешнее и будущие поколения человечества навсегда сохраняют память о нем.

Память о Юрии Гагарине живет в делах, которые он завершил, в делах, которые он не успел завершить, которые продолжают его соратники...

**Виталий СЕВАСТЬЯНОВ,
дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР**

Севи́ль ИАЗИЕВА

Даты под барельефом Севи́ль Казиевой, как на обелисках военных лет, поражают мирной неправдоподобностью. Свои двадцать с небольшим она прожила так, словно знала, что ей отпущен недолгий век. «Я делами своими продлю мою жизнь», — строчка из ее стихотворения, ставшая позицией.

Она росла в Закатальском районе, где облака касаются горных вершин, небо бездонно, а звезды по-южному яркие и крупные.

Севи́ль любила бывать на плантациях роз, вместе со сверстниками лазила по развалинам старой крепости, в казематах которой отбывали наказание моряки легендарного «Потемкина», часами бродила по лесу, вслушиваясь в шорох деревьев, понятный ей одной.

Но было еще одно место в Закаталах, где часто встречали школьницу Севи́ль. Типография. Молча стояла она где-нибудь в уголке: слушала стрекотание линотипов, превращающееся в отлитые в металл строки, следила за ловкими руками наборщиков, вылавливающих из кассы нужные буквы, и... мечтала. Когда-то и она будет здесь хозяйкой.

Однажды заговорила. С той поры и подружились маленькая Севи́ль и старый наборщик Али.

— Ты знаешь, дядя Али, — сказала как-то Севи́ль будто невзначай, — скоро я получу аттестат зрелости. Возьмешь меня к себе в помощники?

— Почему же не взять, — улыбнулся старый наборщик ее волнению. — Только узнал я недавно, что открылся в Баку то ли полиграфический техникум, то ли училище. Вот бы тебе туда...

— Опять учиться? Я работать хочу, — загорячилась девушка. Потом задумалась: «Посоветуюсь дома».

Семейный совет постановил: учиться. И Севи́ль поехала в Баку. Поступила.

Юношеская восторженность, красота природы, окружавшая ее с детства, обостренная чувствительность человека, наделенного талантом, выливались в строчки стихов, неумное желание успеть

езде, за все браться, во всем участвовать. Училась она с охотой. Подружилась с однокурсниками и вскоре стала главным человеком в группе, которая полюбила ее за отзывчивость и неиссякаемый интерес к общественным делам.

Но ее увлеченность обязательно должны были делить и другие. Чингиз Фараджев, бывший тогда комсомольским работником и хорошо знавший Севиль, вспоминает, как Севиль агитировала подругу Дилафруз заниматься вместе с ней в драматическом кружке при Доме культуры:

— Но я занимаюсь в спортивной секции, да еще вечерняя школа, — слабо сопротивлялась та.

— Я знаю, ты способная, ты везде успеешь. Стоит тебе один раз побывать в драмкружке, и ты уже не уйдешь оттуда.

Спорить с Севиль было бесполезно. Вскоре Дилафруз играла роль Соны, а Севиль — Периджахан в пьесе С. С. Ахундова.

Но была еще одна памятная всем роль... В зале царил напряженная тишина. Все взоры прикованы к сцене. Балаш пытается уговорить Севиль, просит ее остаться. Но напрасно. Энергичным, решительным шагом направляется она к двери. Балаш преграждает ей дорогу. Вид у него мрачный. Дрожащим голосом он произносит:

— Севиль, куда ты?

Севиль окидывает его усталым, но спокойным и твердым взглядом. Этот взгляд ясно говорит: женщина вышла победительницей из долгой и упорной борьбы.

— На фабрику! Оттуда я пришла, туда и возвращаюсь. Путь к свободе женщины — только в социализме!

Зал взорвался громом аплодисментов. Севиль убежала за кулисы. Аплодисменты не прекращались. Зрители вызывали исполнительницу роли Севиль. Она вышла, слегка поклонилась, смущенно обвела глазами ряды зрителей. Глаза сверкали радостно, лучились светом счастья и благодарности.

Спектакль самодеятельного коллектива трудовых резервов удался на славу. Зрители были довольны всеми исполнителями, особенно Севиль Казиевой, по общему признанию, отлично справившейся со своей ролью — ролью Севиль в одноименной пьесе Д. Джабарлы.

На одной из центральных столичных площадей стоит сегодня памятник «Освобожденная азербайджанка» — женщина яростно

сбрасывает с плеч чадру. Люди называют ее Севиль, именем героини пьесы азербайджанского драматурга Дж. Джабарлы, первой нарушившей в 30-е годы вековые адаты. Севиль Казнева хорошо знала, чье имя она носит, и гордилась этим. Ведь есть имена как звания. Уронить нельзя. Можно только сделать знаменем.

В ней постоянно жила готовность отдать все силы ради общего дела, и, когда наступил этот миг, она не замешкалась.

...Декабрь 1959 года. По радио передают сообщение о Пленуме Центрального Комитета КПСС, обсудившем вопросы развития сельского хозяйства. Диктор рассказывает об узбекском хлопкоробе Турсуной Ахуновой, собирающей машиной столько же хлопка, сколько сто человек вручную. В эту ночь Севиль не может уснуть. Утром на стол директора училища ложится заявление, похожее на рапорт: «Зная, что передовая семилетки проходит сегодня через хлопковые поля нашей республики, хочу стать механиком-водителем хлопкоуборочных машин».

Первыми, с кем она поделилась своей идеей, были подруги по училищу — Дилафруз, Наджиба, Солмаз.

— Вот мы слушали, когда по радио рассказывали о Турсуной Ахуновой. А почему у нас нет своих девушек механиков-водителей? Почему у нас не следуют примеру Турсуной? — запальчиво начала Севиль. — У нас в районе, правда, хлопок не растет, но вот скажи ты, Дилафруз, ты сама убирала хлопок у себя в Шамхорском районе, как это, легко? — Севиль не терпелось убедить подруг.

— Да, я знаю, что значит убирать руками: дня два поработаешь на поле, вся черная станешь, руки болят, спина ноет. А уборка-то не один день!

— Ну что, девушки, обсудим на комсомольском собрании, скажем, что хотим стать механиками-водителями, согласны? — настаивала Севиль.

— Подумаем, обсудим. Это от нас не убежит. — Девушки не решались.

— Но в принципе согласны?

После недолгих споров подруги пришли к единому мнению. Инициативу девушек одобрили и в Центральном Комитете комсомола, и в Министерстве сельского хозяйства республики.

Вскоре Севиль Казиева поехала в Ташкент на Всесоюзное совещание молодых хлопкоробов. Здесь она познакомилась со знаменитой Турсунгой. Та принесла ей несколько книг и брошюр. Некоторые были написаны ею самой. В этих книжках обстоятельно рассказывалось о работе механиков-водителей хлопкоуборочных машин, об опыте работы сельских механизаторов. Так началась эта дружба.

Вернувшись со Всесоюзного совещания молодых хлопкоробов, Севиль и ее подруги поступили во 2-е бакинское училище механизаторов сельского хозяйства. По призыву Севиль во вновь открытое училище записалось 58 девушек. Время летело быстро. Не успели оглянуться, как теоретическая часть курсов осталась позади. На практику девушек послали в разные районы республики.

Первую страду Севиль провела в Ждановском районе. Хлопковое поле поразило своей необычной красотой. Ей, привыкшей к тенистости леса родного района, зелени табачных плантаций, журчанию горных речушек, белоснежный покров Мильской степи, расстилающейся под палящими лучами солнца, казался миром новым, необычным, который предстояло покорить.

Мильский совхоз, в который она попала, известен был тем, что в тридцатые годы здесь впервые в Азербайджане начались опыты по машинной уборке хлопка. Он располагал тогда большими массивами целинных земель, очень плодородных, но безводных. Советские люди проложили сюда путь живительной влаге, был прорыт огромный канал протяженностью 100 километров, и курунская вода напоила хлопковые поля.

Совхоз имел тогда девять отделений вместе с животноводческой базой. По ходу течения воды все отделения располагались по правую сторону канала. Основное и главное место в экономике совхоза занимало хлопководство.

Процесс обживания на новом месте всегда сложен. Много трудностей было и у мильских хлопкоробов. Жили в бараках, не было электричества, на канале — никаких очистных сооружений, пили непрофильтрованную воду. Страшно мучили комары. Люди страдали от малярии.

Но все эти трудности не могли сломить воли советского человека, его стремления заставить трудиться плодородные целинные земли.

В первом отделении, где работала в основном молодежь, хлопок убирали машинами. Хлопкоуборочная машина «Турман-вакуум» была несложна по конструкции: на трактор «Универсал» крепились с помощью специальных кронштейнов огромные герметически закрытые баллоны с двумя всасывающими шлангами. Экипаж «турмана» состоял из трех человек: тракториста и держателей шлангов. Дефолиация в те годы не проводилась: ждали наибольшего раскрытия коробочек. Тогда и приступали к работе. Шланги «нацеливались» на скопление коробочек и всасывали содержимое в баллоны.

Невиданное доселе дело начинали комсомольцы. К первым опытам старики отнеслись скептически: очень уж невысокой была производительность. «В чем же, — говорили, — доблесть, если трое собрали за день 300 килограммов хлопка? Нет, хлопок надо собирать руками, как всегда делали».

Шумно бывало по вечерам в отделении. Все ждали возвращения с поля «турманов», скрупулезно подсчитывали выработку каждого экипажа. Производительность их неуклонно росла, но была еще недостаточной.

Созывали комсомольские собрания. Сообща думали о повышении темпов машинной уборки, делились опытом, критиковали за ошибки — речь ведь шла о престиже начинания.

— Экипажи комсомольцев М. Бедного и М. Акимова, — вспоминает ветеран труда С. Григорян, работавший тогда секретарем комсомольской организации Мильского совхоза, — вступили в соревнование. По итогам дневного сбора на машине победителя появлялся красный флаг. Чаще всего — на тракторе Акимова: его экипаж собирал в день уже по 1000–1200 килограммов хлопка.

Даже скептикам пришлось признать очевидное: более половины всего урожая в отделении было собрано машинами. Вот с этих полей и началась родословная Севиль.

Она долго помнила свой приезд сюда.

В совхозе № 5, куда Севиль с подругами прибыла на практику, их приветливо встретили председатель совхоза Кафар Керимов и секретарь райкома комсомола Шовкет Алиева. Разместили, обогрели, отнеслись с пониманием. Девушкам не терпелось скорее сесть за руль хлопкоуборочного комбайна, осмотреть поле, но подводила погода —

шел дождь. Решили все же пойти в гараж. Под навесом стояли голубые комбайны ХВС-1, 2. Севиль придирчиво проверила машину, попробовала мотор. Руки твердо лежали на штурвале. Агроном обрадовал прогнозом: «С утра будет солнце!» И не ошибся. На следующий день уже с трудом верилось, что вчера было ненастье.

Севиль поле понравилось. На ровных квадратах земли, отведенной под машинный сбор, белели пушистые комочки хлопка. Издали же поле казалось подернутым белым покрывалом. Вспомнив совет Турсуной Ахуновой, девушка внимательно оглядела кусты — надо заранее определить, где полнее раскрылись коробочки, чтобы с этого края начать уборку. С тех пор это у нее стало привычкой.

Остался в памяти и первый трудовой день. Белое поле поутру, машина, заглатывающая пушистые коробочки, палящее солнце над головой. Ломило спину, болели руки, но усталость была приятной. За ней стояло ощущение хорошо сделанной работы. На доске показателей против ее фамилии вырисовывалась цифра 2 — две тонны. Одних такой результат обрадовал, других удивил. Севиль расстроилась. Для отличницы Казиевой двойка всегда означала одно — неуспеваемость.

«В день сборщица собирает в среднем 60 кг. Выходит, я заменила 30 человек. А Турсуной работает за 100», — начала сокрушаться Севиль. К тому же молодому механизатору не хватало опыта: в бункер попадала земля, листья хлопчатника. Но потом она решила, что отчаиваться рано, ведь первый день.

Быть первой всегда трудно. Даже если у тебя в руках новенький хрустящий диплом с отличными оценками. Тем более в таком деле, как машинный сбор хлопка. Но трудности сулило не одно хлопковое поле. Севиль долго не могла забыть приезд в Ждановский район, где ей предстояло работать. Добирались с подружкой на попутных. Молодцеватый шофер, глядя на девчонок, сидевших у него в кабине, полуутвердительно спросил: «В гости?» Услышав в ответ: «Нет, мы механизаторы!» — иронически улыбнулся: «Что? Золотая Звездочка Турсуной не дает покоя? Так работали бы на нефтепромыслах — там ее легче заработать. — И добавил, усмехнувшись: — Ничего себе, городские девчонки будут учить нас хлопок выращивать. Только здесь не город».

Выходя из машины, Севиль не осталась в долгу. «Приходи в поле. Там увидишь городских. Между прочим, за тормозными колодками

следить надо, а то они у тебя совсем стерлись». Но осадок в душе все равно остался. Женщина за штурвалом — открытый вызов всем патриархальным обычаям. Не скрываясь, возражали, пожалуй, одни старики, но молчаливое неодобрение, а иногда откровенное недоверие она ощущала почти на каждом шагу. Задача, которую Севиль решала на хлопковых полях, была не столько агротехнической, сколько социальной.

В самом совхозе на девушек вначале тоже смотрели с недоверием. «Машины, конечно, хороши на полях, но только не для девчонок, которым руль-то не удержать», — сомнения одолевали опытных хлопкоробов, привыкших, что «белое золото» достается только потом, пролитым сборщиками над кустом во время уборки. Севиль очень удивляло, что не все радуются машине, не все верят в нее. Были такие и среди работников совхоза: «Что эти девушки, что их машины — пользы от них не будет. Ручной сбор надежнее», — ворчали они. Севиль, услышав такие разговоры, однажды не выдержала: «Чтобы собрать один килограмм хлопка, надо кустам четыреста поклонов отдать. Это вы забыли? А во сколько обходится тонна, собранная руками, вы знаете? 100–120 рублей. И всего 13, если машиной, — есть разница? А люди, которые приезжают из города, чтобы помочь во время уборки, их вы посчитали?

Качество? Оно будет отличным, если о машинном сборе мы вспомним не за месяц до уборки, а прямо перед посевной. — И резко добавила: — Критиковать легче, чем работать».

97 тонн — таков результат ее первой страды. А всего их было четыре. Четыре и вся жизнь. Но в этой короткой, как вспышка звезды, судьбе уместилось многое. Как в сжатой до отказа пружине, в длинноносой девушке в черных шароварах и белой кофточке хранился запас энергии, которого хватило бы на иную долгую жизнь.

Мужественно вела Севиль борьбу за новое дело — агитировала, спорила, убеждала. Вместе с Сардаром Имралиевым, известным уже в то время механизатором из соседнего совхоза, обратилась через газету к молодежи республики с призывом овладевать механизаторскими специальностями. Дважды ездила к знаменитой Турсуну в Узбекистан, чтобы из первых уст услышать, увидеть собственными глазами, как достается урожай, посоветоваться, как со старшей сестрой. Встреча еще больше укрепила в мысли, что надо активнее

вести наступательную борьбу против всего, что мешает механизаторскому движению девушек. Ее не очень огорчило, что победа среди девушек-механизаторов досталась Кевсар Мехтиевой из Бардинского района, собравшей 106 тонн хлопка и обошедшей Севиль.

Главное, в республике ширилось начатое Севиль Казиевой движение. Около пятисот девушек постигали основы работы на тракторе и хлопкоуборочном комбайне. Из Ждановского района, в котором работала Севиль, поступило в школы механизаторов 22 человека.

Вторая страда далась легче. Прибавилось знаний, появился навык в работе, профессия механизатора понемногу открывала упорной девушке свои тайны.

160 тонн был ее второй результат. И если на Первое Всесоюзное совещание передовиков сельского хозяйства в Ташкенте Севиль явилась робкой ученицей, готовящейся к штурму неведомых высот, то к поездке на второе она готовилась уже как человек, которому есть о чем рассказать людям. Но не только докладывать о сделанном собиралась Севиль. Проблемы, с которыми она столкнулась, проработав второй год, заслуживали всеобщего обсуждения. Поэтому, готовясь к выступлению на Ташкентском совещании работников сельского хозяйства, Севиль ездила к знаменитому механизатору Сардару Имралиеву в соседний совхоз, советовалась с подругами.

Дилафруз, самая близкая подруга Севиль, видя, как та что-то записывает, заглянула в ее конспект:

— Это хорошо, что ты не забыла о препарате опыливания.

— Еще бы! С этого, может быть, нужно начинать. Ты же знаешь, что это слабый препарат, листья не всегда опадают, особенно нижние. Как тут уберешь хлопок без потерь? Да и сортность хлопка снижается.

Севиль пробежала глазами свои записи.

— Потом я хочу сказать о хлопкоуборочной машине. Не успеешь как следует поработать, а бункер уже полон. Стопоришь машину, открываешь бункер, разбрасываешь и утрамбовываешь руками хлопок. Все знают, сколько дорогого времени на это уходит. Вот бы приспособили к бункеру прессовочный агрегат. Вроде того, который используют при уборке травы. Машина убирает хлопок, а он тут же прессуется.

На совещании Т. Ахунова, узнав, что Севиль собрала 160 тонн хлопка, вызвала ее на соревнование.

С. Казиева не испугалась борьбы с опытным мастером. Выступая в Ташкенте, она сказала, что, поскольку Турсуной не только собирает, но и растит хлопок, они решили и в этом последовать ее примеру — создать в совхозе комплексные полеводческие бригады. Участки уже выделены, техника отремонтирована и стоит наготове. Вызов был принят. Работала Севиль самоотверженно. Она не думала о славе. Боялась одного — скомпрометировать дело, в которое поверила раз и навсегда и в полезности которого хотела убедить других. Вскоре она стала руководителем тракторно-полеводческой бригады.

Наступили рабочие будни. Новенький «Москвич» Севиль, переданный ей совхозом, появлялся то на одном конце участка, то на другом. Только теперь она начала понимать, что одно дело — собирать хлопок машиной, другое — подготовить все до мелочей, чтобы этот хлопок появился. Надо было и добротнo вспахать участок, и суперфосфат с навозом подвезти, и удобрить землю, и умело забороновать ее. А кроме того, успевай следить за химической обработкой семян и подготовкой машины к посевной.

Первый день сева по обычаю земледельцев праздник — закладывается основа урожая. Севиль была спокойна: поле для машин подготовлено, техника налажена и проверена, бригада с нетерпением ждет начала работ. С вечера шел дождь. Но опытные хлопкоробы говорили, что это даже хорошо. И вот наступило долгожданное утро. Увидев поле, Севиль ахнула — после дождя оно проросло дружными зелеными всходами. Кто-то из членов бригады произнес: «Клевер». Оказывается, в прошлом году здесь сеяли клевер. Предупредить Севиль об этом забыли.

Никто не знал, что делать. Все стояли в унынии. Севиль рванула дверцу «Москвича». «Я к Сардару!» — выкрикнула она из окна машины.

Сардар Имралиев был удивлен, увидев Севиль Казиеву в этот час у себя. Но по лицу молодого бригадира догадался: что-то случилось. Поехали обратно. Сардар вспомнил, как читал о похожей ситуации в сельскохозяйственной литературе: к счастью, помнил и то, как можно выйти из создавшегося положения. К трактору ДТ-24 впереди подвесили резцы и ими выпололи сорняки и клевер. Севиль

предложила улучшенный вариант. Приспособить сзади джизель — это доконает те всходы, которые не сумеют захватить резцы. Так и сделали. Сев бригада С. Казиевой завершила в срок.

Но сюрпризы на этом не кончились. Растить хлопок оказалось намного труднее, чем только убирать. Однажды, придя поутру на свой участок, Севиль с ужасом обнаружила, что стебли хлопчатника как будто срезаны ножом. Обошла другие борозды — то же самое. Копнула почву вокруг куста: в лунке, свернувшись, лежал черный червь. Это была земляная совка — враг более опасный, чем совка обычная. Ту хоть видно, когда она на растении, а черный червь обнаруживается лишь после того, как он сделает свое черное дело. Спасение от него в одном — полностью уничтожить. На помощь пришли люди из других бригад. Справились. Хлопчатник потом подкормили азотом. Окрепшему растению уже никакие беды не страшны.

Иногда говорят: «Хлопок — дитя солнца». Теперь Севиль твердо знала, что это не больше, чем красивая метафора. Без людей, без их заботливых рук, без их постоянного внимания и неустанного труда хлопок не вырастет.

Однажды старый поливальщик Али из их бригады, глядя в небо, спросил:

— Дочка, не пора ли начинать убирать, а то что-то мне тут тучка одна не нравится, — и показал на небо.

— Да вот агроном смотрит в тетрадь и говорит, что еще рано, — ответила Севиль.

Старик усмехнулся:

— А вот эта тучка у него записана в тетради? Смотри, дочка, тебе решать!

Когда убрали последний хлопок, на землю упали первые капли дождя.

Севиль все отчетливее ощущала, что нужна наука, нужны специальные знания, необходимо не просто выполнять указания специалистов, но и самой понимать, что за ними стоит. В этом же году она поступает на заочное отделение факультета механизации Азербайджанского сельскохозяйственного института имени Агамалиоглы.

Радость, бьющая через край, не вмещалась в стихи. Фигурка вчерашней десятиклассницы, бросившей клич: «Девушки, на трактор!», часто появлялась на собраниях в школах, на трибунах комсомольских пленумов.

В 1962 году выступала на республиканском совещании механиков-водителей. Говорила по-деловому конкретно, по-комсомольски горячо, по сути — убедительно.

— Коммунизм — это значит изобилие. А оно создается трудом, трудом и только трудом миллионов советских людей. Сельское хозяйство — ударный фронт коммунистического строительства. Хорошо понимая это, труженики полей и ферм настойчиво добиваются дальнейшего крутого подъема всех отраслей сельскохозяйственного производства. Я счастлива, что принимаю посильное участие в этом благородном движении.

В нынешнем году в совхозе мне доверили руководство тракторно-полеводческой бригадой. Наш коллектив небольшой, в нем всего восемь человек. Однако мы обслуживали 100-гектарный участок. Как же несколько человек справляются с таким большим объемом работ? Главным образом благодаря максимальной механизации возделывания хлопчатника. Именно поэтому и урожай выращен отменный. На каждом кусте по 15–20 полноценных коробочек. Этого вполне достаточно, чтобы бригада с честью выполнила свое социалистическое обязательство — получила с каждого гектара по 30 центнеров хлопка.

Борясь за высокий урожай, члены нашей бригады постоянно заботятся и о снижении себестоимости хлопка. Мы решили добиться того, чтобы центнер хлопка обошелся нам в восемь-девять рублей при плане 16,8 рубля. В этом нам помогут машины. На всем участке будет осуществлена механизированная хлопкоуборка...

Главной ударной силой в борьбе должны быть молодые хлопкоробы.

*В эти дни переполнены
счастьем сердца.
Создавать нам грядущее
вместе, друзья!
Жажде жить и творить
для людей нет конца.*

Трудовой не уроним мы чести, друзья!

Пусть в нашем соревновании вырастут новые маяки! — так закончила она под аплодисменты свое выступление.

30 центнеров с гектара — такой урожайности добились члены тракторно-полеводческой бригады С. Казиевой. Сама механизатор убрала 190 тонн хлопка. За замечательные результаты девушка была удостоена высокой правительственной награды — ордена Трудового Красного Знамени.

Такая оценка ее труда еще больше вдохновляла молодого комбайнера. «Награда обязывает меня работать вдвое больше», — писала она друзьям.

Когда-то в детстве она мечтала взобраться на самую высокую гору, чтобы дотянуться до солнца. Гамзат-киши, ее отец, сказал: «Дочка, до солнца может дотронуться тот, кто встречает его в поле». Увидев хлопковое поле поутру, ощутив ломоту в теле от дневного напряженного труда, почувствовав красоту и силу земли, Севиль поняла, что он был прав. Рождались строки, наполненные радостью.

*На хлопковых полях
золотистый рассвет,
Под комбайны волною
ложатся кусты.
Я сижу за рулем.
Путь мой солнцем согрет.
И плывут надо мной облака
и мечты...
Щедрой, плотной струею
течет в бункера
Хлопок — «белое золото»
Мильских степей.
Пусть до облака вырастет
хлопка гора —
В этот час у меня
нет желанья сильнее!
Я мечте отдаю все тепло*

*своих рук,
Чтобы явью согрела
людские сердца,
Чтобы стало хоть чуточку
лучше вокруг
Оттого, что прибавилось
хлопка-сырца.*

Стихи она писала ночами, а днем училась растить хлопок и овладевала профессией механизатора.

Круг ее интересов не имел границ. Высокая причастность к делам своего народа, соучастие с судьбой каждого, с кем ее сталкивала жизнь, отличали эту двадцатилетнюю девушку.

Приехав в совхоз работать механизатором, она берется за организацию клуба девушек, вместе с подругой Дилафруз создает драматический кружок. Вскоре Севиль становится на общественных началах заместителем директора совхоза по культурно-массовой работе.

Увидев как-то сборщиц хлопка, с детьми за спиной работающих на поле, она тут же на время организовывает своеобразный детсад, где одна из матерей-сборщиц присматривала за детьми, остальные работали. Потом идет к директору, и вот уже объявления о приеме детей в детсад расклеены по центральной усадьбе.

И так во всем. Рассказывала ли она школьникам о хлопке или ездила в села выступать перед девушками с призывом сесть за штурвал комбайна — во все она вкладывала частицу души. Наверно, поэтому люди, которых жизнь сводила с ней на несколько минут, помнят ее до сих пор.

Работала как одержимая. Росло мастерство, лучше становились результаты. За высокие достижения в труде Севиль награждается орденом Трудового Красного Знамени, получает звание заслуженного механизатора республики, избирается кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ, делегатом XIV съезда комсомола страны, депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Сейчас, перечитывая стенограммы ее выступлений, слушая тех, кто ее знал, поражаешься глубине и серьезности, с которыми молодой

механизатор подходила к делу. Проблемы технического усовершенствования хлопкоуборочного комбайна и вопросы культуры труда, место комсомольцев 60-х на передовой времени и борьба за расширение площадей под машинный сбор — лишь часть вопросов, которыми она жила. А поздно вечером, прислонясь от усталости к калитке, слагала строки:

*Пусть до облака вырастет хлопка гора,
Станет царством весны моя Родина вся.
На поля — трактора, а в музее — кетмень.
Лозунг делом крепи каждый, каждый день.*

А потом случилось несчастье, в которое и сейчас не хочется верить. В 23 года она погибла. Как жила. На посту. При исполнении служебных обязанностей.

«За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка, присвоить бывшему механику-водителю хлопкоуборочной машины совхоза № 5 Жданов-ского района Азербайджанской ССР Казиевой Севиль Гамзат кызы звание Героя Социалистического Труда (посмертно)». Так было записано в указе. Лишь это тяжелое, как камень, последнее слово убеждало, что Севиль не стало.

О Севиль Казиевой написаны песни и сложены поэмы. «Сестрой солнца» назвал ее поэт Наби Хазри, лауреат премии Ленинского комсомола. Ее имя получил совхоз, в котором она работала. Сотни делегатов IV съезда женской молодежи Азербайджана собрались 5 марта 1964 года на улице Бакиханова, чтобы разбить сквер, который будет носить имя славной патриотки С. Казиевой. Вместе с девушками сюда пришли Герой Социалистического Труда Турсуней Ахунова, представительницы братских союзных республик, прибывшие на съезд.

В высокие; стройные деревья вытянулись зеленые сосенки и ели — символы вечной молодости и дружбы молодежи нашей страны, — высаженные в эти знаменательные дни. Поставлен памятник в сквере, носящем ее имя. Но самой лучшей памятью комсомолке-механизатору стало продолжение дела, которое она начинала.

Закончив школу и Бардинское СПТУ, в тот же самый совхоз пришла Сона Казиева, та самая малышка Сона, которая еще школьницей не вылезала из кабины сестринского трактора.

«Это очень трудно, — говорит Сона, — пересилить горе работой. Но я знала, что есть лишь один путь, которым была бы довольна сестра, — продолжить ее дело, быть достойной ее памяти». Она стала победительницей соревнования среди девушек-механизаторов на приз имени Севиль Казиевой, учрежденный ЦК ЛКСМ Азербайджана. Это был горький и радостный день в ее жизни. День, когда она получила приз имени своей сестры. Это была не просто победа. Это был самый убедительный ответ тем, кто после трагической смерти Севиль, прикрываясь сожалениями, говорил: «Вот к чему приводит призыв «Девушки, за штурвал!». У гроба Севиль младшая сестра дала клятву продолжить дело старшей. Но не голос крови звал девушку довершить начатое, а искренняя убежденность в нужности и полезности того, за что так яростно боролась сестра.

Сегодня призу имени С. Казиевой 15 лет. Обладательницами его были Атлас Мамедова, Назакет Назарли, Назиля Мехтиева, Тарлан Мусаева, чьи имена известны всей республике. Севиль стала для них знаменем, которое вело вперед.

Отвечая на вопросы анкеты «Слово о нашем образе жизни», механик-водитель Назиля Мехтиева сказала: «Для меня Севиль Казиева, яростно и мужественно боровшаяся за новое для всех дело — механизацию сельского хозяйства, олицетворяет советский образ жизни. Почувствовать пульс эпохи, ощутить главное дело страны как свое личное и броситься вперед в едином порыве, как будто это дело поручено тебе одному. По-моему, это и есть отличительная черта нашего образа жизни: считать общие цели, задачи глубоко личными и быть в ответе за все.

Я люблю Севиль Казиеву, свою предшественницу по Ленинскому комсомолу, за высокий общественный настрой, за умение, взявшись за незнакомое занятие, стать в нем первой, за стихи, написанные погрубевшими от — руля комбайна руками.

Но судьба Севиль — как капля росы, в которой отражается и искрится большое солнце нашей Родины. Высочайшей чистотой подвига была проникнута ее недолгая жизнь.

Это был борец по натуре. Она не только личным примером доказывала необходимость машинной уборки хлопка, она выступала перед молодежью и вела борьбу с теми, кто мешал, была трибуном нового дела и его певцом».

Каждый год к отряду девушек-механизаторов присоединяются новые ряды. Закончив сельские профтехучилища, они выводят на поля свои голубые комбайны и борются за рекордные урожаи. Каждая из них мечтает стать похожей на Севиль, идти ее дорогой. Подвиг продолжается. Знамя в надежных руках!

Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Борис ГАЙНУЛИН

Теперь на правом берегу Ангары, в поселке Гидростроитель, есть улица, названная именем Бориса Гайнулина. И в далеком от Братска, только что народившемся поселке Кодинском, будущем городе, у которого нет еще имени, но где начато строительство Богучанской ГЭС, года два тому назад заложили первую улицу и нарекли ее тоже именем бригадира одной из первых бригад коммунистического труда в стране Бориса Гайнулина. И там же будет Дворец культуры его имени. Десятки, если не сотни бригад на предприятиях и стройках Братского промышленного комплекса соревновались за право носить это славное имя. И семь из них завоевали это право. Каждый год в Братске проводится праздник улицы Бориса Гайнулина. Тысячи братчан приходят поклониться своему прославленному земляку. С плакатов, транспарантов смотрит на своих собратьев, улыбаясь, тот, кто собирает их в этот день на улицах Братска.

Чем же он знаменит, чем он пленил не только тех, кто его близко знал и любил, но и тех, кто только о нем слышал?!

Об этом и пойдет рассказ.

* * *

Еще в 1959 году имя Бориса Гайнулина стало известно не только на строительстве гидростанции, но и во всей Восточной Сибири. В те дни Борис еще донашивал морскую форму. В котловане будущей ГЭС с доски Почета смотрел крепкий парень с такой «морской» шеей, для которой не существует стандартных воротничков, и с крутой, бугристой, тоже «морской» грудью, словно специально созданной для полосатой тельняшки.

Серые глаза по-детски широко открыты; мохнатые брови, вьющиеся волосы и улыбка — доверчивая, стеснительная и в то же время лукавая — делали лицо примечательным. В жизни он не был таким великаном, каким казался на фотографии, о подобных людях

принято говорить, что они скроены на славу. И руку, когда здоровался, Борис жал так, что сам краснел от смущения и при этом извинялся.

Собственно, не так уж много прошло времени с тех пор, как он появился в Братске. Но время здесь в ту пору было настолько спрессованным, что, как полушутя, полусерьезно говорили, оно здесь, как и на фронте, идет год за три, а то и больше. Да и по существующим законам шло год за два. Север, хоть и не крайний, но Север. Работы в котловане шли в три смены. Ночью, вечерами, туманными утрами трудились при мощных прожекторах. Работали в жару (бывает в Братске и такое время в июле и августе), и в пятидесятиградусные морозы, и в дождь, и в снег, и в слякоть, и в пургу, и в благостные солнечные, прохладно-горьковатые от полыни и лиственничного духа дни, когда в самую бы пору отдыхать. Это было время невиданного подъема, строительного азарта, которому равного в мире ничего не существует, разве только знаменитая «золотая лихорадка».

Бригада Гайиулина входила в славу, а самого бригадира одолевали корреспонденты, фоторепортеры, киношники и прочий пишущий и показывающий люд из радиокомитетов, телестудий, газет и журналов и даже писатели.

Однажды приехал и фотокорреспондент из «Огонька», сфотографировал всю бригаду, тогда еще малочисленную — всего 23 человека (23 богатыря!), пообещал прислать фотографии, но так навсегда и канул в неизвестность. И все же в «Огоньке» на всю полосу появилась фотография гайнулинской бригады, все в стеганках, в лихо заломленных на затылки шапках, в валенках, все смеются над чем-то, заливаются (что-то сказал опытный фоторепортер), а с самого левого края этой братии примостился бригадир. Уж он-то, кажется, хохочет и громче и заразительнее всех. Известное дело — Боря самый смешливый из смешливых.

Номер журнала с фотографией бригады коммунистического труда имени 40-летия ВЛКСМ стал с годами реликвией каждого, кто на ней запечатлен.

К шестидесятому году бригада стала комплексной и с двадцати трех человек увеличилась до девяноста семи.

Так уж принято говорить и писать о знаменитых людях, что они избегают журналистов и неохотно общаются с ними. Борис, наоборот, дружил со многими приезжими и местными корреспондентами.

Одному из них под настроение он и рассказал о некоторых своих заботах.

— Понимаете, теперь бригада выросла в пять раз. Вчера только пришло тридцать новичков, а сегодня я слышал уже, как один из них похвалялся: стал членом коммунистической бригады. Конечно, он член нашей бригады, а если разобраться, очень уж легко ему далось это звание. Чужим горбом досталось. Тут что-то мы недодумали. А вот что? — Гайнулин стал серьезным, сосредоточенным. — Я придумал одну штуку, да боюсь, как бы меня не заругали, что я не в те ворота ломлюсь. Вот послушайте. Что, если сделать так: скажем, мы, старые члены бригады, даем торжественное обещание, как присягу в армии. Я тут набросал. А новички торжественное обещание не дают до тех пор, пока мы их не узнаем. Пока своим трудом и поведением они не докажут, что достойны называться полноправными членами нашей бригады.

Борис достал из кармана ватника свернутую тетрадь, и корреспондент прочел в ней следующее:

«Торжественное обещание.

Я, Гайнулин Борис Николаевич, принимая на себя звание члена бригады коммунистического труда, в присутствии всех своих товарищей торжественно обещаю всегда и везде своим трудом и поведением оправдывать это высокое звание.

Никогда я не позволю себе быть в числе отстающих на производстве; все свои знания, физическую силу, настойчивость и упорство в преодолении трудностей — все для родной бригады. Не может быть и речи, Чтобы я опозорил высокое звание члена коммунистической бригады выпивкой, некультурным поведением, сквернословием.

Я обещаю постоянно учиться. Сначала на курсах подготовки в техникум. Потом, после окончания техникума, — институт. Пока строится Братская ГЭС, я обещаю быть в числе ее строителей до самого конца. И считаю для себя обязательным выполнять не меньше полутора норм. Законом своей жизни считаю девиз: я отвечаю за всю бригаду, и бригада отвечает за меня. Дружба, дружба и еще раз дружба

А если я хоть в чем-нибудь не выполню свое торжественное обещание, то пусть товарищи прямо мне об этом скажут. Если же я не захочу исправиться, то буду считать для себя справедливым самое

большое наказание, пусть товарищи лишат меня права называться членом своей коммунистической бригады».

— Ну как? — с тревогой спросил Гайнулин.

Корреспондент ответил, что торжественное обещание ему кажется искренним, а главное — бьющим в цель.

— Да? — обрадовался Гайнулин. — Я ночь не спал, все сочинял и рвал.

В этот день Борис рассказал корреспонденту газеты «Советская Россия» многое из своей в общем-то короткой жизни. Это был рассказ, где все казалось очень обычным и вместе с тем необычным.

Уже тогда можно было отметить в Борисе Гайнулине одну черту: он был интеллигентен в самом высоком значении этого слова. Это была внутренняя, глубокая интеллигентность, несмотря на то что за плечами у него всего семилетка.

Корреспондент газеты «Советская Россия» внимательно рассматривал фотографию того времени, когда Гайнулин возглавил бригаду. Рядом с ним стоит незнакомый парень с перфоратором у ноги.

Можно было поручиться, что Борис не видел, как его щелкнул кто-то на пленку: уж очень непринужденно выражение лица, вся его поза. И хотя лица бурильщика на фотографии не видно, его закрывало опущенное ухо шапки, чувствуется, что этот парень рассмешил Бориса.

На скале виднелся намерзший лед и снег. Зима, лютая братская зима в пятьдесят градусов.

Но Гайнулин стоял в лихо заломленной шапке, она держалась на затылке; стеганка и ворот рубахи распахнуты, выглядывает полосатая тельняшка.

Нетрудно было догадаться, что произошло: просто: в котлован пришел новичок, он закутан так, как здесь совсем не принято. Тот, кто держит в руках перфоратор весом в двадцать килограммов или долбит ломом диабаз — породу почти такую же крепкую, как сталь, — не испугается при любой температуре. Да и не так уж здесь холодно — с двух сторон защищают от ветров стометровые скалы, а с низовой и верховой сторон Ангары — дамбы.

И вот странно — любой другой в такой позе имел бы заливчатый вид, но Гайнулин просто в родной стихии: он так привык, он так всегда жил, а главное — так работал.

А вот и другой снимок. И опять едва ли Гайнулин знал, что его фотографируют.

Тут уж было видно лицо «закутанного парня»: он склонился над бурильным молотком, что-то у него не ладится, а бригадир — серьезный, вдумчивый и даже строгий — что-то показывает новичку.

В течение одного этого дня корреспондент «Советской России» видел Гайнулина и в самозабвенной работе, и в серьезном разговоре с главным инженером строительства ГЭС, и в веселой, шутливой перепалке с ребятами, и задумчивого, сосредоточенного в момент, когда котлован походил на поле боя (был час взрывов), и возбужденного, счастливого оттого, что дневная смена бригады дала 220 процентов плана, и подавленного вдруг свалившимся на него горем...

На тот день было назначено переселение бригады в новое общежитие. Сколько сил и энергии стоило Гайнулину отвоевать это общежитие — целый дом, где отныне вся огромная бригада почти в сто человек будет жить вместе.

Борис бегал к диспетчеру котлована, договаривался о машине, звонил по телефону и разыскивал воспитателя общежития: ему хотелось обставить это событие как можно торжественнее.

— Кровати застелим, чемоданы на место поставим, вот и все дело, — говорил он, — а потом сообразим праздник, веселье. Ну если не оркестр, то хоть хорошего баяниста пригласить. И игры бы какие-нибудь придумать позанимательней. Эх, нет еще у нас настоящих воспитателей в общежитиях! Я бы на это дело подбирал самых умных людей.

Вечером, после всех хлопот, Гайнулин наконец выбрал время и рассказал корреспонденту, как тот просил, «немного о себе» и «немного о бригаде».

Вот этот рассказ, без всяких изменений, как он лег в рабочую тетрадь журналиста.

«Меня часто спрашивают, кто я по национальности. Я отвечаю: русский, хотя отец мой происходит из казанских татар. Вообще, если бы существовала такая национальность, еще более уверенно можно было сказать, что я сибиряк. Сибирь здорово поработала над тем, чтобы крепко перемешать все народности. Сколько я знаю и видел скуластых сибиряков и сибирячек, в жилах которых, можно

безошибочно сказать, течет и бурятская и татарская кровь! Сколько латышей, грузин, армян, немцев, украинцев, поляков, евреев, белорусов, финнов и многих других пришли в Сибирь до революции в кандалах и остались здесь «на вечное поселение»! А сколько людей искало в Сибири спасения от голода и безземелья! Вот и мой дед приехал в Сибирь вместе с бабкой и пятилетним сынишкой — моим отцом — откуда-то из-под Казани.

В Красноярске дед заболел тифом и умер. Через несколько дней умерла бабка, оставив в чужом городе без родных и знакомых пятилетнего мальчика. И пошел он жить по приютам. Там и нарекли его русским именем Николай...

Лет тринадцати он сбежал из приюта и уплыл на плоту вниз по Енисею с какими-то рабочими людьми. С тех пор он не расставался с реками и леспромхозами и стал одним из лучших лоцманов — проводников плотов. Здесь, в одном из лесных поселков, он и женился на русской девушке, приехавшей с родными из-под Пскова. Я родился в Красноярском крае в таежном поселке Кондаки на реке Бирюсе. Сколько помню себя, я знал только два способа передвижения: свои собственные ноги и реки. А сколько леса вырубил вокруг поселков на моей памяти! Отец тогда на скорую руку сколачивал плот, грузил всю свою семью, и мы плыли на новое, необжитое место, всегда глухое и всегда таежное. Так мы попали в поселок Каен Шиткинского района. На сотни километров вокруг здесь были непроходимые дебри.

На всю жизнь мне запомнился рассказ отца, как однажды моя мать спасла ему жизнь. И не только ему, но и мне, и десятку сплавщиков леса.

Отец мой вместе с бригадой должен был сплавить связку плотов вниз по Ангаре и провести их через большой порог и несколько шивер.

За километр-два от порога плот причалил к берегу, и отец пошел нарубить кольев и елового лапника для шалаша на плоту. В это время сильным порывом ветра оборвало тросы, и плот понесло на порог. Отец подбежал к берегу, стал махать руками, кричать, но сплавщики растерялись и не знали, что делать. Отец оставался на глухом таежном берегу один, без продуктов, без спичек (он не курил). На сотню километров вокруг не было жилья. Плоту не миновать гибели: никто из сплавщиков не смог бы провести его через грозные буруны. Сплавщики метались по плоту, кто-то пытался управлять им, как вдруг

моя мать столкнула лодку, вскочила в нее и стала грести. Отец прыгнул в лодку, изо всех сил греб веслами и быстро догнал плот. Плечом он отстранил от рулевого весла растерявшегося мужика, дал команду сплавщикам грести от левой стороны, и через считанные минуты плот благополучно проскочил «ворота» порога.

Когда опасность миновала, мой отец закричал:

— Где здесь мужики? Не вижу мужиков! Кроме моем Любавы, на плоту нет ни одного мужика!

Отец любил вспоминать, что в эту минуту я стал его теребить за штанину и уверять:

— Я мужик! Я мужик!

Отец расхохотался громко, как только умел он, поднял меня на руки (мне тогда года три было) и еще громче закричал:

— Вот мужик! Вот кто мужик! С ним и с Любкой будем сплавать плоты!

Я настолько ясно представляю себе всю эту картину, что ни мать, ни отец не могут убедить меня в том, что я ее запомнил только по рассказам.

Подобных историй, когда отец и мать проявляли настоящее мужество было немало. Но никто не считал это героизмом, потому что это была работа, «а на работе чего только не бывает», как любит повторять мой отец.

С пяти лет он стал учить меня стрелять из ружья. Я был так мал, что ему приходилось держать ружье, а я лишь нажимал на спусковой крючок. Но уже с десяти лет ходил с отцом на охоту, самостоятельно добывал в капканах зайцев и стрелял ондатр. У меня до сих пор все руки в шрамах: следы их укусов. Они очень живучи, дробь застревает у них в шале и часто не убивает, а лишь ранит. Если ее быстро не достанешь и не выбросишь на берег, она, уже смертельно раненная, все-таки ухитрится нырнуть. В сезон я убивал по сто-двести ондатр.

Вместе с отцом я белковал, ходил на соболя. Часто мы с ним уходили за тридцать, за пятьдесят километров в глубь леса по таежным широким просекам,

, В семье я был старшим и единственным парнишкой. Четыре сестренки моложе меня.

У нас была начальная школа. Пятый, шестой и седьмой классы я окончил в селе Шелаеве, находившемся в тридцати пяти километрах от

нашего поселка. Там я получил семилетнее образование. И это мне казалось в то время немалым. А на флоте и сейчас здесь, на строительстве, даже в нашей бригаде, очень много ребят и девчат с десятилеткой. Мне бывает как-то неловко за свои семь классов. Но ведь не так уж поздно в двадцать четыре года продолжать учиться. Вот я и поступил сейчас на курсы подготовки в техникум.

Что делает парнишка в наших местах, когда кончает семилетку?

Идет работать. Я тоже пошел. До пятьдесят третьего года я знал только тайгу и работу в леспромхозе.

А в пятьдесят третьем меня призвали в армию. До Тайшета из районного центра Шиткино я ехал на лошади, а в Тайшете впервые увидел железную дорогу, услышал, как гудит паровоз.

Товарищам было легко меня разыграть; они сказали, что это ревут быки на бойне, и я поверил.

Вот таким-то я приехал во Владивосток служить на Тихоокеанском флоте.

Что сказать о моей службе на флоте? Я уверен, что эти четыре года были самым серьезным моим жизненным университетом. И если не формально, а по существу, я смело могу сказать, что к моему семилетнему образованию прибавилось по крайней мере еще четырехлетнее: каждый день открывал передо мной что-то новое. Я не видел и не представлял себе до этого тысячи простых и привычных, хорошо известных людям вещей. Я увидел впервые не только железную дорогу, паровозы, но и заводскую трубу, и паровое отопление, и асфальтированную улицу, и каменное многоэтажное здание, и элеватор, и мост, и газированную воду, и мороженое, и корабли, и морскую форму, и театр, и живых актеров, а не только актеров в кино, и многое другое, о чем даже и неловко сейчас вспоминать. Я не хочу сказать, что приехал во Владивосток каким-то дикарем. О многом я знал из книг, по рассказам отца, человека бывалого, по рассказам учителей. Но одно дело знать, представлять, а другое — видеть, слышать, чувствовать, ощущать на вкус.

Ну как я мог, живя вдали от линии железной дороги, представлять себе, как гудит паровоз? Или, ни — разу не попробовав мороженого, знать, какое оно на вкус? Или представить себе оперный спектакль? И многое, многое другое...

Я могу только благодарить судьбу за то, что попал служить на флот: годы службы очень обогатили меня знаниями.

Закончив службу на флоте, я заехал к себе в Каен повидаться с родителями и сестренками.

Наверное, со всеми так бывает: мир моего детства и юности стал как-то ниже. Дома в Каене вроде бы вросли в землю, потолок в нашем домике давил на голову, отец и мать тоже стали поменьше ростом. Только сестренки подросли, особенно старшая, Галя.

За эти годы каенцы стали жить лучше. Люди приоделись, в домах появились радиоприемники, правда, еще на батарейном питании, но и это было большим шагом вперед: раньше мы месяцами не видели кинофильмов, а тут даже своя киноустановка появилась. Это что-нибудь да значило для такого глухого места, но оставаться в Каене я не собирался: свою судьбу я уже мысленно связал с Братском...

Еще по пути в Каен я заехал в районный центр Шиткино и встал там на временный партийный учет. На флоте я вступил кандидатом в члены партии и, как человек военный, дисциплинированный, считал своим долгом немедленно явиться в райком партии и райком комсомола.

Меня стали уговаривать остаться работать в райцентре, но я наотрез отказался.

Когда после двухнедельной побывки дома я снова заехал в Шиткино, то, к своему удивлению, узнал, что на районной комсомольской конференции меня заочно выбрали председателем ДОСААФ и наотрез отказались снять с партийного и комсомольского учета.

Но тут уж я твердо стоял на своем: хочу ехать в Братск, и все! Пожалуй, впервые в жизни я проявил недисциплинированность: когда мои объяснения не помогли, просто сел в попутную машину и уехал.

В Братск я прибыл без всяких путевок и, кстати, без специальности. Сразу зашел в партком строительства. Секретарь комитета подробно расспросил меня, что и как, и направил в отдел кадров основных сооружений. Там мне сказали, что сейчас требуются бурильщики, что это работа трудоемкая, но освоить ее можно быстро. Это было то, что нужно.

Без раздумий пошел в котлован.

Девятого декабря 1957 года, ровно через четыре года после моего призыва на флот, я стал рядовым бурильщиком в бригаде Павла Константиновича Бокача. Бригада эта бурила скважины глубиной два-три метра в диабазе на дне Ангары.

Я не считаю себя слабаком, но выстоять смену с бурильным молотком весом в двадцать килограммов с непривычки было не так-то легко.

Диабаз страшно крепок. Руки от постоянной тяжести и вибрации становятся чужими. В глаза, горло, нос, одежду набивается мельчайшая каменная пыль. Что и говорить, после флотской службы, после океанского воздуха, размеренной жизни, где вахта, спорт, физзарядка, лекции, кино, в котловане показалось совсем не сладко.

Но я все же быстро освоился в новой обстановке и, видя, как в наши шурфы закладывается взрывчатка, как постоянно углубляется от взрывов котлован, испытал чувство, которое — уверен! — знакомо всем рабочим людям. Да, это было удовлетворение, и я с гордостью писал флотским товарищам и домой, что строю Братскую ГЭС.

Так я проработал с полгода.

Однажды меня вызвали к начальнику участка, где после короткого разговора предложили перейти в другую бригаду в качестве бригадира. Я знал эту бригаду: она занималась подготовкой фундаментов под опоры малой бетоновозной эстакады.

Бригада эта считалась одной из худших, разболтанных, и даже вставал вопрос о ее расформировании. Сказали, если я согласен пойти туда вместо Верзихина и наладить дело, то тогда еще можно попробовать сохранить бригаду.

Я согласился не сразу: у меня не было уверенности, что я могу справиться с бригадирством, да еще в такой бригаде.

Но я знал, что ребята в бригаде Верзихина сплошь демобилизованные парни из флота и армии, и мне было странно слышать, что с такими ребятами нельзя по-настоящему работать. После некоторых колебаний я согласился.

Как сейчас помню день 20 ноября 1958 года: мы прочитали тогда передовую статью в «Комсомольской правде» о бригаде коммунистического труда на станции Москва-Сортировочная.

К этому времени наша бригада уже сложилась в крепкий коллектив. Мы собрались в красном уголке котлована и вместе стали

обсуждать эту статью. Ребята говорили взахлеб, наперебой. Ни до этого, ни потом у нас не было таких бестолковых, но радостных собраний.

Мы уже начинали познавать свои силы: бригада в июле 1958 года завоевала первое место в котловане и получила переходящий вымпел комитета комсомола строительства. В общем, все обсудив, мы решили бороться за звание бригады коммунистического труда.

С этого дня началась наша новая жизнь. У нас подобрались действительно замечательные ребята — один лучше другого. В самом деле, кто из них лучше — Саша Иммамиев? Володя Казмирчук? Василий Назаренко? Толя Кравцов? Или Лаврентьев Леня?

Многие из них стали моими особенно близкими друзьями, например Толя, Саша и Володя. Между собой ребята тоже дружили как-то по-особенному хорошо. Неразлучная тройца вместе служила в танковой части, а Толя с Сашей даже в одном экипаже; вместе демобилизовались и приехали на работу в Братск. Пошли в одну бригаду, живут в одной комнате, деньги общие, и, если говорить о настоящей, крепкой, мужской дружбе, то, по-моему, лучший тому пример трудно было бы найти.

Стали мы все учиться. Это легко сказать, что вся бригада учится, но как этого трудно было добиться!

Мне и самому ох как нелегко совмещать и свое бригадирство, и сменную работу, которую я выполняю наряду со всеми ребятами, и занятия на вечерних курсах подготовки в техникум, и партийную и другую общественную работу. А ведь надо и почитать книги, газеты, послушать радио, сходить в кино, написать письма друзьям домой в Каен...

Как подумаешь обо всем этом, то кажется, дня никак не хватит. Но служба на флоте научила меня ценить время

8 марта нашу бригаду перевели на новый вид работы. Мы приступили к подготовке опалубки и бетонированию блоков. Бригада стала комплексной. За несколько дней ее сильно «разбавили» новичками. Вместо двадцати трех человек у нас теперь стало девяносто семь, а может, и еще придут.

В каждом звене по тридцать — тридцать пять человек. Звено стало больше прежней нашей бригады, работаем в три смены. Мне

иногда приходится быть в котловане и день и ночь. Трудностей хоть отбавляй: профиль работы новый, люди новые. Большинство, как всегда, старательные, честные, но есть и разболтанные, несерьезные.

Занятия мои на курсах подготовки в техникум пошли хуже: стал часто опаздывать, а то и пропускать, и являться, не подготовив уроки. Стыдно признаваться, но это так. А нужно еще осваивать новые специальности — плотника, бетонщика, арматурщика. Боюсь, что бригада в сто человек мне не по плечу.

Хорошо еще, что помогают звеньевые. Единственная надежда, что скоро все утрясется и не новички нас «разбавят», а мы их сцементируем.

Но ведь бригадир может быть спокоен лишь тогда, когда каждый из ста человек станет ему так же известен, понятен, как каждый из двадцати трех. Вот потому-то так тревожно у меня на душе.

Мы по-прежнему единственная бригада коммунистического труда на стройке, но бригад, достойных этого звания, уже много».

...В обеденный перерыв в столовой самообслуживания котлована вдруг по радио местный «котлованный Левитан» стал повторять имя Гайнулина. Его срочно вызывали в управление строительства основных сооружений. И там Борису сообщили, что получена телеграмма из родного поселка Каена, что за шестьсот километров от Братска — по местным сибирским понятиям не так уж и далеко, — куда срочно вызывали Бориса Гайнулина на похороны отца...

Вот какое горе свалилось на плечи всегда жизнерадостного и неунывающего бригадира Гайнулина. Отец, еще совсем молодой — всего 46 лет, ехал к сыну в Братск на грузовой машине, груженной ящиками. Он собирался перебраться на стройку и перевезти туда семью — жену и четырех дочек. Но случилось непредвиденное: на ухабе машину тряхнуло, Николай Касеевич упал на дорогу, а шофер дал задний ход и задавил его.

Это случилось 7 апреля 1959 года. А ровно через месяц, после возвращения из Каена, 7 мая — случилось несчастье с самим Борисом Гайнулиным.

Несчастье, которое на многие годы определило и заставило перестроить всю жизнь этого парня.

А случилось все необыкновенно просто, буднично и, как всегда в таких случаях, неотвратимо.

Вот некоторые выдержки из дневника Бориса Гай-нулина.

«...Уже более двух недель я лежал, нет, висел над койкой. В голове хаос, слишком много событий в течение одного месяца! Телеграмма о гибели отца, поездка домой, похороны, хождение за тридцать километров за документами на пенсию матери и сестренкам — все это вывело меня из равновесия, и я возвращался в Братск уставшим в полном смысле этого слова, и не успел еще прийти в себя, не решил окончательно вопрос о дальнейшем устройстве семьи — новый страшный удар обрушился на меня. И вот я в больничной палате, совершенно беспомощный — не слишком ли много несчастий для одного человека?

...Перед глазами стоит очень ясная картина этого дня,

7 мая. С утра все началось хорошо, заканчивали подготовку блока под бетон. После обеда пошли со старшим прорабом Герасименко осматривать участок работы.

В одном месте в монолитной скале была трещина, и нужно было узнать, насколько она глубока, чтобы при необходимости пробурить и оторвать этот кусок скалы. Ребята работали здесь же, несколько левее, на бурении и «оборке» скалы. Герасименко пошел вперед, я — за ним. Парфенков — начальник участка — оставался внизу. Поднявшись на выступ в скале, Герасименко вернулся и сказал мне, что там еще смерзшаяся осыпь и ничего не видно. Чтобы посмотреть, я сделал еще несколько шагов вперед. Вероятно (но не берусь утверждать!), в это время скатившаяся сверху небольшая глыба ударила меня по голове и плечу, сшибла с ног. В первые доли секунды я не понял, что произошло, видимо, потому, что удар по голове был сильный, и эти-то доли секунды оказались решающими — я был уже на краю выступа, понял, что срываюсь, но задержаться не мог и упал с высоты на камни.

Падая, я ясно видел начальника участка Парфенкова внизу, камни, но почему-то не испугался (быть может, потому, что просто не успел испугаться), и только мелькнула, как молния, мысль, что все кончено.

Не помню, терял ли я сознание, по-моему, нет, а если потерял, то на долю секунды, и сразу же пришел в себя, но повернуться, пошевелиться не мог. Да, падая, я подумал: конец! Сразу же перестал чувствовать ноги. У подбежавших ребят спросил, что с ногами. Они ответили, что ноги в порядке, это успокоило меня. Я не знал тогда, что медицина бессильна при таких повреждениях. Все остальное

пронеслось как в полусне: уколы, машина, ребята, переливание крови, врачи. Ясно помню, что раздеть меня было невозможно, поэтому одежду на мне разрезали (флотский бушлат и брюки, тельняшку и сапоги). И вот я на койке. Под плечевыми суставами боль, давит: оказывается, я подвешен на ремнях. Пытаюсь освободиться и не могу. Особенных болей нет, но трудно дышать, не хватает воздуха: грудь сдавлена, в горле запекающаяся кровь, откашляться не могу. Что со мною, все еще не знаю, считаю, что много поломов костей, в первую очередь, конечно, ног. И долго-долго еще потом, уже находясь в Иркутске, я все еще не понимал, что же случилось, почему не работают ноги.

...Итак, я в больнице. Второй мыслью, пришедшей мне на ум, была та, что теперь долго, целый месяц, не смогу работать, не буду со своими друзьями в бригаде. О другом я не думал.

Не знаю, как прошла ночь, настало утро, не помню, кто приходил, уходил, — это не было обморочное состояние, но чувствовал себя очень плохо, говорить почти не мог. Видимо, врачи, зная о моем состоянии, никого не пускали ко мне. Оказывается, ребята толпились у окон, пытаюсь меня увидеть, почти всю ночь они дежурили около больницы, и сестры не могли их уговорить уйти.

Утром сообщили, что прилетела профессор Базилевская из Иркутска. Вскоре подошла и она — Зоя Васильевна — с группой врачей. Не помню, о чем они говорили между собой, затем Зоя Васильевна сказала мне, что нужно поехать в Иркутск, где будет сделано для меня все необходимое. Я спросил ее, сколько времени протянется моя болезнь, и когда она сказала, что я пролежу месяца два, я наотрез отказался ехать, думая, что здесь, в Братске, справлюсь за 15–18 суток (почему именно 18 — не знаю). Даже этот срок казался мне бесконечно долгим. Я в мыслях не допускал, что целый месяц, а тем более два не смогу быть на работе, с ребятами. Позднее, спустя четыре месяца, я узнал, что в тоже самое время Базилевская сказала Иммамиеву Саше, что положение мое слишком тяжелое и вряд ли я останусь в живых.

Меня оставили в покое примерно на час. Затем снова подошла Базилевская и спросила, не передумал ли я и если нет, то нужно вылетать в ближайшие 3–4 часа. Я спросил ее о том, много ли будет

мне операций, потому что полагал, будто только из-за этого меня туда везут.

Нужно сказать, что раньше, будучи здоровым, я не мог даже думать об операциях и даже уколов и прививок боялся и могу сосчитать, сколько их было за мои двадцать пять лет. Но теперь речь шла о возвращении к жизни, к работе, к бригаде. Поэтому я был согласен на любое количество любых операций, только бы скорее вернуться в строй.

Зоя Васильевна сказала, что она пока не знает точно, сколько операций будет, возможно, только одна, что там мне будет сделано то, чего здесь, в Братске, они сделать не в силах. И я дал согласие.

И вот мне сообщили, что машина подана и мы должны ехать к вертолету, который доставит нас в Иркутск. Меня погрузили в машину, и мы выехали четвером (если не изменяет память): я, Зоя Васильевна Базилевская, молодой врач Кира Семеновна и мой неизменный верный Саша. Все дальнейшее помню довольно смутно, хотя видел все. Помню, что сказал Саше, чтобы он возвращался. Он подошел и спросил со слезами на глазах: что передать ребятам?

Только в этот момент я, пожалуй, почувствовал, что дела мои очень плохи, и с трудом, подавляя слабость, проговорил: «Передай ребятам, что я еще вернусь к вам». Так мы расстались. Дальнейшее почти не помню: погрузка в самолет, полет, прибытие в институт — все это было как во сне. На аэродроме в Иркутске, видимо, был кто-то из наших, братских, и, вероятно, я слишком походил на покойника, потому что в Братске прошел слух, что меня не довезли до Иркутска живым. Это мне рассказали, Саша и Галина, которые вскоре приехали ко мне.

В институте меня уже ждали, положили на койку, сделали уколы, и, наверное, я уснул.

Девятого мая утром пришли врачи вместе с профессором Базилевской, переложили меня на уже подготовленную койку с конструкцией для вытяжения, положили на живот. Я слышал, как сквозь сон, что они что-то делают, но понять не мог, а чтобы посмотреть, нужно было повернуть голову, чего я не в силах сделать. Затем я уснул, видимо, ввели морфий, а когда очнулся, почувствовал, что тело находится в неестественном положении — меня куда-то что-то тянет, все болит. Я спросил у соседей по палате, в каком положении

лежу. Они сказали, что я подвешен, что в пяточные кости и таз вбиты стальные клеммы, шнуры от них пропущены через блоки и внизу подвешен груз — гири килограммов по 25 или больше.

Впрочем, меня эти подробности мало интересовали, потому что я чувствовал себя очень плохо. В палате было много народу, как потом я узнал, 9 человек, я слышал их, но видеть не мог, потому что не мог ни поднять, ни повернуть головы. Очень часто ко мне подходили врачи, сестры, спрашивали, как себя чувствую. Что я мог ответить им?

Уколы, уколы без конца — восемь раз в сутки, руки нестерпимо болят.

Вечером принесли ужин, но аппетита у меня нет. Пришла врач, сопровождавшая меня, с нею еще женщина — Вера Николаевна Зоркина, старшая операционная сестра, как потом я узнал. Они сказали мне, что Вера Николаевна будет готовить мне еду у себя дома — все, что я закажу.

Запомнился мне воскресный день 17 мая (если не изменяет память). Это был большой день. С утра ко мне стали приходить ребята и девушки, знакомые и незнакомые. Здесь были Коля Фролов — бригадир молодежной бригады коммунистического труда с завода имени Куйбышева со своими ребятами, со слюдяной фабрики пришли девушки из бригады Ани Торбеевой — тоже бригады комтруда, и еще многие, многие. Наконец сообщили, что идут братчане. Зашли старший прораб Василий Александрович Герасименко и Саша Иммамиев, они привезли целый чемодан яблок. В этот же день приехала из дому моя сестра Галина. Оказывается, несмотря на мою просьбу ничего не сообщать домой, чтобы окончательно не убить мать (она еще не пришла в себя после смерти отца), все-таки была послана телеграмма, где было указано, что я нахожусь в Иркутске, в институте, но о том, что со мной, не сообщили. Я тоже дал телеграмму, где нарочно говорилось, что лежу с ушибом руки. Конечно, дома не поверили, и вот Галина приехала сюда.

К этому времени я был уже острижен наголо, раны зарубцевались и лицо обросло густой бородой и усами — первыми в моей жизни. В таком виде Гале нелегко было узнать меня. Начались слезы, пришлось уговаривать и даже прикрикнуть. Это подействовало.

Посещения так утомили меня, что сразу после них я уснул и проспал больше суток, хотя до этого почти совсем ночью не спал.

В тот же день у меня была Нина Давыдова — бывший секретарь комсомольской организации управления основных сооружений — и другие девушки. Теперь меня ежедневно посещал паренек — сын Ивана Степановича Галкина, парторга нашего котлована, студент техникума, — а после докладывал о моем состоянии отцу.

Итак, подходил к концу срок моего «распятия». Почти месяц я пролежал в этом ужасном положении. Очень болела грудь; подушка казалась мне тверже диабаз. Ночами не мог спать и вообще ночью чувствовал себя гораздо хуже, чем днем, быть может, потому, что оставался один на один со своим страшным недугом. Ко всему прибавилась новая забота — недели через две стало сводить пальцы на руках, на обеих, по два: в них нарушилась чувствительность, их прижимало, тянуло к ладони, при малейшем движении рукой — сильная боль. Врачи сказали, что нужно разгибать пальцы, иначе они могут остаться в таком положении. До этого руки находились либо вытянутыми по швам, либо спущенными с кровати, теперь же пришлось лежать на них грудью, чтобы выпрямить пальцы, правда, это очень мучительно, но иного выхода нет. И уже выпрямились — положение налаживается!

...Считал дни, когда снимут с вытяжения. Раньше я думал, что как только «отвяжут», так сразу через день-два встану — и немедленно в Братск, чтобы успеть к перекрытию, теперь же эти надежды улетучились. Я понял, что все гораздо тяжелее, сложнее, чем я думал, но уверенность в скором выздоровлении не прошла, вопрос о том, вернусь ли я в бригаду, меня не беспокоил, а волновало другое — когда вернусь. Недавно зашла Зоя Васильевна Базилевская (вообще она очень часто приходит ко мне), к ней я питаю хорошие чувства, верю всему, что она говорит, и выполняю все ее советы. Она сказала, что я еще поработаю в Братске, и я охотно ей верю. Все — и врачи, и сестры, и няни — очень хорошо относятся ко мне.

Дома мама по-прежнему не знает, что со мной в действительности, в письмах спрашивает, как у меня «заживает рука», я аккуратно отвечаю. Она пишет, что собирается приехать ко мне, я стараюсь оттянуть время, чтобы она не видела меня «распятым», советую приехать позднее.

У меня есть наушники, очень часто слышу о Братске, о котловане, о своей бригаде. Там у нас всю разворачивается подготовка к перекрытию левобережной части Ангары. Дела в бригаде идут неплохо. Я рад за них, и, конечно, очень больно, что не с ними, что не участвую в этом большом деле. Ребята пишут, приезжают ко мне, я почти не пишу — не хочется писать о своем здоровье, а улучшений пока нет. Правда, дышать стало легче. Температура невысокая, но не это для меня главное. Я жду других улучшений...

...Наконец-то меня сняли! Я ожидал этого большого для меня события как избавления от страшного положения, но первые часы ничего утешительного не принесли, наоборот, после снятия груза тело, точно свинцовое, влилось в койку, и казалось, будто огромную глыбу положили на меня сверху. Все надежды на облегчение в первые минуты рухнули — я впервые увидел свои ноги в их неподвижности и окончательно понял всю тяжесть своего положения. Все гораздо серьезнее, чем я предполагал. Ноги мои трогали, поднимали, перекадывали, а я ничего не ощущал — это ужасно. Врач сказал мне, что теперь я буду лежать поочередно на животе и на спине: на животе — два часа, на спине — полтора.

...С тех нор прошел почти месяц. Я привык к своему новому положению. Первые впечатления оказались обманчивыми — все-таки лежать лучше. Через полтора-два часа меня поворачивают и днем и ночью: четыре человека Становятся по двое с обеих сторон, на простынях подтягивают меня на край кровати, я вытягиваю руки по швам, с одной стороны быстро поднимают простыни, и я, как бревно, перекадываюсь в нужное положение. О том, чтобы повернуться на спину самому, не может быть и речи. Теперь я уже занимаюсь развитием рук — мне принесли гантели весом около килограмма, но и они мне показались слишком тяжелыми.

Весь этот месяц я читал, слушал по радио о нашем Братске, о большом событии, совершившемся там, — перекрыта вторая половина Ангары! Как я хотел быть в Братске.

Радовали меня и письма от начальника участка Парфенкова, от Герасименко, от ребят из бригады, все они сообщали, что наша бригада первой закончила работы по подготовке к перекрытию.

Получил я письмо и от начальника управления Степко, где он писал, что хотя меня и нет пока там, но они считают меня участником всех дел; тогда же я получил и удостоверение «Участник перекрытия Ангары». Это была для меня большая радость, я почувствовал себя равноценным членом славного коллектива строителей — это и было для меня главным, давало силы, бодрость духа, уверенность в том, что еще вернусь туда, в Братск, к нашим ребятам. По радио я слушал репортаж из котлована, митинг в котловане, выступления знакомых ребят и чувствовал себя рядом с ними.

На другой день после перекрытия Ангары в Иркутск прилетел главный инженер Гиндин и зашел ко мне.

Он подробно рассказал о перекрытии, а когда я узнал, что он уже проехал на машине по перемычке с правого на левый берег Ангары, то я и порадовался и загрустил: все это произошло без меня, и, хотя я получил телеграмму из управления строительства, поздравлявшую меня с большим днем — перекрытием Ангары, хотя вместе со всеми переживал я те дни, грусть эта меня почему-то не покидала.

Вскоре после этого ко мне приехал Виталий Панченко — группкомсорг нашей бригады. Он привез мне часы, ручку, документы, взятые ребятами у меня в день несчастья, и массу писем. Ребята писали, что ждут меня и надеются на скорое возвращение. Начальник и старший прораб участка писали, что тоже ждут и надеются на возвращение, но чтобы я особенно не спешил, съездил на курорт и только после окончательного выздоровления возвращался в Братск, в бригаду. — Были письма и от секретаря парторганизации Ивана Степановича Галкина, и от многих других. Все писали, что надеются на мои силы, что я должен вернуться, в строй, это обязывало меня делать все возможное, чтобы был» именно так».

Но от горячего желания друзей по бригаде и Братску, врачей — вернуть Бориса в строй — до осуществления этого желания, как говорится, пролегла большая дистанция.

После института травматологии в Иркутске — поездка в Крым в санаторий имени Ленина, где лечились так называемые «спинальные» больные — в большинстве своем шахтеры, лесорубы, шоферы, летчики-испытатели. С одним из них — Валентином Перовым, получившим тяжелую травму спинного мозга при аварии вертолета, —

Борис подружился на всю жизнь. После санатория Борис по пути в Иркутск заехал на несколько дней к Валентину Перову, и надо было видеть вместе двух этих мужественных парней, не унывающих в своем очень нелегком положении.

Итак, после Крыма — снова институт в Иркутске. И снова Крым, где Гайнулин познакомился с московским врачом Орлом. Благодаря его помощи Борис попадает в Москву, в институт имени Бурденко. Это уже случилось через год после травмы. В институте Бурденко ему делают сложную операцию, которая приносит некоторое облегчение и надежду на то, что со временем (годы упорных тренировок в ходьбе с таторами на костылях) Борис, возможно, станет ходить с одной тросточкой. Был еще институт курортологии в Москве... В общей сложности прошло долгих полтора года.

Полтора года непрерывных страданий, упорства, первые мучительные шаги, первые надежды вернуться в бригаду «живым и здоровым» и крушение этих надежд.

И все это время там, в родной бригаде, его по-прежнему считали своим бригадиром, а заместителем бригадира «до возвращения Бориса в строй» назначили Володю Казмирчука. Почти вся бригада по очереди перебивала у Бориса в Иркутске, а некоторые умудрялись навестить его в Крыму и Москве. Шла усиленная переписка, сотни и сотни писем получал Борис и на все отвечал. Ему аккуратно слали фотографии строящегося котлована. Там росли, поднимались ввысь сооружения будущей плотины — котлован становился неузнаваем.

На XIV съезд ВЛКСМ Володю Казмирчука избрали делегатом. В президиуме он сидел рядом с Юрием Гагариным и Германом Титовым.

Когда Володе Казмирчуку было предоставлено слово, с трибуны XIV съезда ВЛКСМ, он рассказал о своем бригадире и о том, как тот своим мужеством помогает ребятам жить и работать.

В перерыве Гагарин и Титов подошли к Володе и попросили передать от них Гайнулину открытку со словами привета и дружбы.

При этом Гагарин сказал:

— Вот нас, космонавтов, называют небесными братьями. Может, это и правильно, но мне кажется, что скорее всего мы земные братья. Когда я сейчас слушал тебя, Володя, я подумал, что такие люди, как Борис Гайнулин, да и вся ваша бригада и мы, космонавты в том числе, — земные братья. Именно земные. Все равно, где бы мы ни

летали, сколько ни летали, а возвращаемся на землю, где живут Борисы Гайнулины.

Как был обрадован и ободрен Борис, когда Казмирчук передал ему эти слова первого космонавта.

И, перефразируя Гагарина, хочется сказать, что сколько бы Борис ни летал по стране, а первой его думой и самым заветным желанием оставалось вернуться к своим «братским братьям».

Ребята на правом берегу Ангары соорудили ему дом — хороший, рубленый из лиственницы, просторный дом. В Братск переехали мать Бориса и четыре его сестры.

И день такой настал.

На аэродроме в Братске (существовал уже и аэродром, и было прямое, а не через Иркутск, сообщение с Москвой) Бориса встречала вся бригада, свободная от работы в смене.

Везли Бориса незнакомой дорогой, где все в новостройках — и так до самой Ангары, а через Ангару — по малой бетоновозной эстакаде, соединившей берега Ангары.

Где-то на середине эстакады каким-то чудом узнали, что в машине едет Гайнулин, и образовалась пробка из десятков машин. И первый раз никто не ругался, не подгонял водителей, не устраивал разносов и разгонов.

Жали Борису руку, убеждались, что она по-прежнему крепка. А он сидел как ни в чем не бывало со своей широченной, лукавой, белозубой улыбкой, с открытой курчавой головой — здоровяк из здоровяков, и всем казалось, что завтра уже его увидят в котловане. Собственно, так и говорили: «Ну, до встречи. Теперь уж ты с нами. Молодец, что поправился». И Борис отвечал:

— До встречи. Это не я молодец, а вы молодцы. Вон сколько здесь дел наворочали. Прямо новый мир.

Задние машины, не зная, в чем дело, стали подавать сигналы, и вся эстакада отвечала им сигналами. Но это была не тревога, а приветствие. В одном ряду с другими машина Гайяулина поехала на правый берег, на Амурскую улицу, 75, где с этого дня стало не только жилье Бориса, но и неофициальный штаб бригады коммунистического труда имени 40-летия ВЛКСМ.

Как пересказать в очерке жизнь человека, который на съезде ВЛКСМ в отчетном докладе был назван Павкой Корчагиным

шестидесятих годов?

Теперь-то он воистину стал бригадиром, теперь каждый день в его дом приходили десятки людей и по делу и по дружбе. Людей притягивало сюда как магнитом.

И приезжие в Братск не обходили дом на Амурской улице, 75.

Всех здесь встречали радушно и сам Борис, и его мать Любовь Васильевна — невиданной доброты женщина.

Кроме бригады, у Бориса появились и другие заботы. Он стал заочно учиться в средней школе и получил аттестат зрелости, над чем с присущим ему юмором немало подшучивал. Он сдал экзамены в Иркутский госуниверситет на юридический факультет и стал его студентом.

Так уж получилось, что первым юристом «на общественных началах» в Братске стали называть Гайнулина. Обиженные, ущемленные в правах, ищущие справедливости, желающие наставить на путь истинный своих непутевых детей шли и даже приезжали специально в Братск к Борису Гайнулину. И находили здесь то, что искали.

Однажды он получил совсем необычное письмо из Одессы от моряка капитана 2-го ранга... Бориса Гайнулина.

Этот Борис пытался выяснить, не брат ли он ему, не дальний ли родственник. И сообщал, что отец его погиб во время Отечественной войны, а его могилу он безуспешно ищет вот уже более 20 лет. Ищет он и младшего брата, с которым был разлучен в детском доме. И тоже безуспешно. Так вот: не изменил ли братский Гайнулин имя на Борис, ведь он сильно любил меня, а скорее всего могли изменить имя в новом детском доме, братишке тогда было всего три года?

Одесский Борис Гайнулин был только тезка, но братский Борис не пожалел ни времени, ни настойчивости и завидного упорства и сумел разыскать не только брата своего тезки, но и могилу их отца.

Опоздал капитан 2-го ранга Гайнулин в Братск к своему названому брату («Навеки ты теперь не только мой друг, но и мой родной брат, — писал он, — я и детям своим накажу почитать тебя за самого близкого и родного человека»). Опоздал. Он приехал в свой очередной отпуск, но уже чтобы поклониться его могиле...

Бориса Гайнулина не обходили наградами. Он получил Большую золотую медаль ВДНХ, орден Трудового Красного Знамени. Союз

свободной немецкой молодежи наградила его своей высшей наградой — Золотой медалью Артура Беккера. Был он удостоен и высшей награды ВЛКСМ — «Знаком Почета» и занесен в книгу Почета ЦК ВЛКСМ. Когда была установлена эта награда, знак № 1 хотели вручить Юрию Гагарину. Но он наотрез отказался.

— Знак номер один нужно по праву дать Борису Гайнулину. А уж мне, если сочтете нужным, номер два. — И пошутил: — Как говорил мой земляк Василий Теркин: «Я согласен на медаль».

Так и решили: «Знак Почета» № 1 вручить бригадиру первой комсомольско-молодежной бригады в нашей стране Борису Гайнулину, а № 2 — первому космонавту вселенной Юрию Гагарину.

Позднее Борис получил от Гагарина еще одну весточку...

Но, пожалуй, больше всего Гайнулин гордился одной фотографией.

В 1963 году нашу страну посетил Фидель Кастро. В программу его визита входило и пребывание в Братске.

В специальном поезде, который вез кубинскую делегацию из Иркутска в Братск, Роман Кармен рассказал Фиделю Кастро о Борисе Гайнулине и его бригаде. Кастро заинтересовался этим парнем и тут же заявил, что Желает познакомиться с ним.

К станции Падунские пороги поезд подходил ранним утром.

Фидель Молодо спрыгнул с высокой подножки вагона, к нему подбежали девочки-школьницы с букетами багульника, одетые в форму кубинской армии.

Так началось это утро и этот наполненный до краев день. На стадионе, а вернее — на площадке, освобожденной от тайги, где должен быть построен стадион, со всех сторон обширной братской стройки, разбросанной на десятки километров, уже начиная с шести часов утра собирались на митинг люди. Так вот, туда на машине и должны были привезти Бориса, там с ним и встретится Кастро...

На стадионе собрался уже весь Братск — и стар и млад.

Машину, где сидел Борис, поставили неподалеку от трибуны. Среди людей, которые будут приветствовать гостей, стоял и Володя Казмирчук. Он подошел и о чем-то стал советоваться с Борисом.

Время теперь уже потянулось медленно. Гости все еще осматривали плотину, а здесь собралось не меньше пятидесяти тысяч

человек. Трибуна была отгорожена на некотором расстоянии толстыми пеньковыми канатами. Люди держались за эти канаты, образуя своеобразную гирлянду из рук.

Наконец показалась вереница машин. Из первой машины вышел Фидель Кастро и направился прямо к Гайнулину.

Он прислонился к машине, взял руку Бориса в свои руки и не выпускал ее.

— Я много слышал о вас, — сказал Фидель. — Мне очень приятно пожать вашу руку.

— А мне... — проговорил Борис и улыбнулся, — я уж наверняка слышал о вас больше. Как это хорошо, что вы приехали в наш Братск!

— О, нам это было нетрудно. Трудно было вам, кто начинал строить ГЭС. Мне рассказали, что у вас выдающаяся бригада.

— Неплохой народ, товарищ Фидель. Такая уж у нас стройка.

— Да, такая уж у вас стройка, — с улыбкой согласился Кастро. — Я сейчас осмотрел плотину и машинный зал. Это великолепно — все то, что вы здесь сделали. Ваша бригада где сейчас работает?

— Они как раз строят здание ГЭС, в которое входит и машинный зал.

— Почему вы говорите «они строят»? — удивился Кастро. — Я слышал, что бригада считает вас своим бригадиром.

— С меня было бы достаточно и того, что они считают меня членом своей бригады.

— А что будет делать ваша бригада, когда закончится строительство Братской ГЭС?

— Думаю, перекочет на Усть-Илимскую. Это тоже на Ангаре.

Кастро улыбнулся и закивал, выслушав объяснение переводчика.

— Я бы хотел пригласить всю вашу бригаду на Кубу, — сказал он решительно.

— Нас слишком много, — возразил Борис.

— Сколько же?

— Сейчас около ста человек.

— Да, много, — с сожалением произнес Кастро, — нельзя столько людей отрывать от дела. Но вы обязательно должны приехать на Кубу. Я приглашаю вас!

Борис склонил голову, ударил руками по коленям:

— Я бы рад, да вот они не пускают.

— Обещаю, что мы вас вылечим! Мы вас вылечим, — повторил он.

— Спасибо, товарищ Фидель! — сказал Борис, крепко пожимая руку Кастро.

— Я хочу, чтобы вы не забывали нашу встречу.

— Всегда буду ее помнить.

— В поезде я надписал вам на память свою фотографию. — Он достал из внутреннего кармана фотографию и протянул ее Борису. — Я тут снят в горах Сьерра-Маэстра. У меня тогда была чуть поменьше борода, — сказал он с улыбкой.

На фотографии Кастро стоял с мешком за плечами и с автоматом, в обычном своем костюме и в ботинках. Переводчик вслух прочитал надпись на фотографии: «Борису Гайнулину, великому герою творческого труда, являющемуся образцом коммуниста. С восторгом и любовью. Фидель Кастро. Братск. 13 мая 1963 г.».

— Спасибо, — сказал Борис, выслушав переводчика, — я считаю, это вы не мне, а всему Братску подарили на память.

Было такое впечатление, что Фиделю Кастро не хотелось уходить от Бориса. Но его ждали люди.

Борис сказал:

— Разрешите обнять вас.

Кастро протиснулся в машину, они обнялись и расцеловались по-русски три раза. Эту сцену потом видели миллионы людей в фильме Романа Кармена «Гость с острова Свободы».

Кастро снова взял руку Бориса.

— Я с вас беру слово, что вы приедете на Кубу. Я договорюсь об этом с вашими руководителями.

Уже сказал свое слово Володя Казмирчук.

Поприветствовала кубинцев и работница авторемонтного завода Светлана Яновская. Она даже прочла стихи местного поэта — молодого рабочего.

И вот к микрофону подошел Фидель Кастро. Он начал речь негромким глуховатым голосом.

Вот немногие слова из речи Фиделя Кастро.

«...Мы приехали сюда издалека. Мы проехали много километров, чтобы добраться до Братска. В Братске мы встретились с авангардом строителей коммунизма в Советском Союзе. Братск является, пожалуй,

самым дальним пунктом вашей великой страны, которую мы посетили во время нашего пребывания здесь. Стоило совершить такое длинное путешествие, чтобы побывать в Братске!

Мы слышали, что десятки тысяч молодых юношей и девушек, отвечая на призыв партии и комсомола, приехали сюда, в район Братска, где не было живой души, чтобы создать здесь это гигантское сооружение. Мы были полны интереса познакомиться с этими мужественными строителями и посмотреть дело их рук.

Мы в восторге от всего этого! — воскликнул Фидель Кастро. — Мы были в Волгограде. Нам показали там дом сержанта Павлова. Мы не могли не восторгаться его подвигом в защиту своего Отечества, но, прибыв сюда, мы узнали другого героя — героя труда Бориса Гайнулина. В Волгограде мы видели статую — символ советского солдата, который бросил вызов смерти. Он стоял твердо, ни на шаг не отступил назад, и он победил. Точно так же Борис Гайнулин. Это тоже символический образ человека, который бросил вызов смерти и победил ее. Это для нас незабываемо».

— Борис в машине не слышал речи, Как могли, ее пересказали ему уже по дороге в город.

После приема Кастро должен был покинуть Братск.

...Часа через два Кастро приехал на аэродром.

Он стоял около самолета и дарил на память «все, что произрастает на Кубе». Фрукты. Знаменитые гаванские сигары и даже крупные початки кукурузы.

— А это вам знакомо? — подняв початки над головой, спрашивал он.

Это всем было знакомо, хотя таких крупных здесь еще, пожалуй, не видели...

Потом он стал прощаться. Пожимая кому-то руку, он сказал:

— Борису Гайнулину передайте мой большой привет.

— А он здесь, на аэродроме. — Где?

— Сидит в машине. Кастро подошел к Борису.

Он опять, как и там, на митинге, держал его руку в своих руках и говорил:

— Ну вот, я обо всем договорился с руководителями строительства, и, как только вы сможете, приезжайте к нам на Кубу.

Мы вас долго-долго не отпустим. Приготовьтесь к этому. Вы объедете весь наш остров, побываете во всех провинциях и во всех городах.

Но по состоянию здоровья Борис так и не смог поехать на Кубу.

Тогда Фидель Кастро направил в Братск молодежную делегацию из пяти человек, которая привезла Борису подарки, огромное количество писем и сообщение о том, что на Кубе работает уже несколько бригад, носящих имя Бориса Гайнулина.

У Бориса образовалась немалая «ячейка коммунизма». Он женился, у него родился сын. Мать и четыре сестры жили вместе с семьей Бориса.

А материальный достаток ее был невелик. Медицинской сестрой работала жена да в «Бориной бригаде» — старшая сестра. Остальные сестры учились. К двум этим небольшим зарплатам добавлялась и совсем уж небольшая собесовская пенсия Бориса. Правда, он мог получать и «добавку» к этой пенсии в размере почти 400 рублей, которую должен был ему выплачивать Братскгэсстрой.

По существующему давным-давно закону человек, получивший травму на производстве, в результате чего стал инвалидом, имел право на доплату к пенсии разницы до среднего своего заработка. Да, имел право. Но для этого он должен был подать в суд на свое предприятие.

Борис наотрез отказался судиться с Братскгэсстроем. Со всех сторон его уговаривали: ведь это простая формальность, Братскгэсстрой не обидится. Но без решения суда он не имеет права выплачивать разницу между пенсией и средней зарплатой до травмы.

Гайнулин уперся не на шутку. Его доводы были неотразимы. Он посмотрелся на многих людей в Крыму и в институтах, где лечился, которые годами судятся со своими предприятиями. Ведь за увечье должно отвечать предприятие, не обеспечившее техники безопасности. И вот руководители лезут из кожи, чтобы доказать, что технику безопасности нарушили не они, а пострадавшие.

— Но ведь это пустая формальность, — повторяли ему. — В Братске-то никто не собирается оспаривать твое право.

— А если это формальность, да еще пустая, то плох закон. Такой закон надо отменить. Это я говорю как будущий юрист.

Спор этот шел долго. И дошел до ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Приведу здесь несколько выдержек из писем Бориса Гайнулина все тому же корреспонденту газеты «Советская Россия».

«...Вчера разговаривал с Москвой. Звонили из ЦК КПСС. Я очень удивился, но после понял, что это, видимо, не без Вашего участия. Сообщили, что с моей пенсией будет решено в ближайшее время, что выделяется «Москвич» с ручным управлением через Министерство соцобеспечения РСФСР».

«...Пришло сообщение из облсобеса, что можно приезжать за машиной, но... нужно перечислить деньги. Надеяться на то, что стройка оплатит машину, я не могу. Хотя я знаю от ребят, лечившихся со мной в Иркутске, Саках и в Москве, что предприятия оплачивают эти машины или целиком, или на 50 процентов.

Ребята решили «скинуться» на это дело, я, конечно, потом с ними рассчитаюсь. Говорят, что пенсия будет выплачена мне из расчета среднего заработка за все время болезни. А с машиной тянуть нельзя. Я давно уже слышал, что «Москвичей» с ручным управлением больше выпускать не будут».

«...Толя Валювач ездил в Иркутск за «Москвичом». Через четыре дня «Москвич» въехал к нам во двор! Красота! Жизнь резко меняется».

«...Меня в водители готовит Толя. Он хвалит меня за успехи, я, как всегда, отвечаю: «Не скрою: служу Советскому Союзу и Братскгэсстрою!»

«...Сегодня ездил на «Москвиче» к ребятам на здание ГЭС. Сам вел от дома до плотины. Всю ночь потом чудилось, что веду машину».

«...Рад сообщению, что принят новый закон о людях, получивших травмы и увечья на производстве. И по этому закону вовсе не нужно судиться с производством.

Значит, все-таки я был прав».

«...Получил письмо от своей бывшей учительницы. Она еще сомневается: я это или не я. Но все совпало. Просит разрешения навестить меня вместе с классом. Она привезет в Братск свой класс на экскурсию.

Я, конечно, рад повидаться со своей сменой».

«Я здесь не скучаю, но вчера был день особенный. Вы ни за что не угадаете, кто нас посетил... Александра Николаевна Пахмутова! Да-да, и не только она, но и вся их бригада: Н.Н. Добронравов, Гребенников, Виктор Кохно и Иосиф Кобзон. Все очень милые, добрые, славные ребята, а наш комсомольский (и теперь уже братский) композитор — сама прелесть! Пришли и наши ребята, было много песен, шуток, смеху и шампанского. Это был, конечно, неповторимый вечер, и я никогда не забуду встречу с этими замечательными, по-настоящему красивыми людьми. Нам, братчанам, очень приятно слышать о том, какое сильное впечатление произвели на них гидростанция, город и вообще Сибирь...

Я же не боюсь сказать от имени всех, что у братчан остались самые теплые, самые добрые воспоминания от встречи с ними, ну а я просто влюблен в наших гостей...»

«...Недавно ко мне обратились с необычной просьбой — выступить на комсомольской конференции Краснознаменного Тихоокеанского флота... Удивляетесь? Я сначала сам удивился, а оказалось все очень просто — магнитофон и совсем немного метров пленки... XX век, что скажешь! Не знаю, какое уж впечатление произвело это мое заочное выступление на братцев-матросиков, но, что греха таить (слаб человек!), приятно было передать им привет с берегов Ангары и сказать несколько теплых слов. Старшина 1-й статьи все-таки...»

«В Красноярске состоялся слет молодых строителей Сибири и Дальнего Востока. Могу добавить, что в числе других Братск представлял и член нашей бригады Батырбек Курганов (в просторечье — Петя) и даже удостоился такой высокой чести, что внес в зал заседаний знамя Ленинского комсомола. Кроме того, он там тоже «толкнул» горячую речь, привез мне удостоверение участника слета и

небольшое личное письмецо от Юрия Гагарина. Нечего говорить, как я рад: вы же знаете, что Гагарин и Титов — мои кумиры.

Красноярцам повезло!

Гагарин ездил на строительство Красноярской ГЭС, ребята там избрали его членом бригады и сделали даже ему «гагаринскую» лопату.

К сожалению, братчане не могут похвалиться такой честью.

Из Африки приезжают, из Америки приезжают, из всех стран Европы и Азии, а вот космонавты что-то не могут добраться до нас».

20 лет минуло с тех пор, как случилось несчастье с Борисом Гайнулиным. И уже шесть, как его не стало с нами.

И опять поначалу все произошло буднично и нелепо.

Случилось так, что Борис ошпарил кипятком ноги (чувствительность-то в них была потеряна давно). По заключению хирургов ампутация была необходима, так как был нарушен восстановительный слой.

Но Борис наотрез отказался. С температурой под 40° он встречал Новый год, запретив домашним говорить гостям (а их набился целый дом), что с ним произошло («Просто ангину схватил, вот и жар поднялся»),

Так никто и не догадался, что в эту ночь с Борисом произошло непоправимое. «На мне заживет», — настаивал Борис. И вопреки всему на нем действительно все зажило. Правда, вместо кожи на ногах образовалась тонкая, как папиросная бумага, пленка. Борис торжествовал. Он снова решил ходить на костылях в таторах. Однако тут же его «новая кожа» трескалась, и на месте трещин образовывались язвочки. Но они все же со временем заживали, а Борис продолжал свое — упражняться в ходьбе.

Однажды это закончилось тем, что он улегся надолго, почти на год. Теперь это уже были не язвочки, а трофические язвы и пролежни. Все закончилось заражением крови. На этот раз ни «железный организм», ни новейшие лекарства не помогли. Умирал он так же мужественно, как жил. Даже до последней минуты не терял чувства юмора и пытался шутить.

Близкому другу за неделю до своей смерти он писал:

«Обо мне не беспокойся, выкарабкивался и не из таких бед. Я загадан если не на 500, то на 300 лет.

Видел же ты, как я крестился двумя пудовыми гирями. Есть еще силенки, есть еще порох. Все вернется, все будет. Жизнь никогда не кончается. Ты это твердо заучи, и тогда будет порядок и в танковых и в наших морских войсках».

Борис КОСТЮКОБСКИЙ

Надежда КУРЧЕНКО

Они поднялись в воздух с Батумского аэродрома 15 октября 1970 года. Был спокойный, безветренный день. Видимость была отличной.

На борту самолета находились 46 пассажиров и пятеро членов экипажа. Ан направлялся в Сухуми. Внизу остались не тронутые осенью зеленые леса. Затем показалась серая вода Черного моря. Вода никогда не обманывалась насчет приближения зимы и меняла свой цвет раньше, чем деревья на ее берегах. Видимо, море заранее готовилось к тяжелым штормам и холодным дождям.

Но земля и небо еще жили ровным светом южного лета.

Продолжительность полета Батуми — Сухуми не превышала получаса. Рейс был привычным и простым. Ничто не предвещало неожиданностей. Но через четыре минуты самолет вдруг резко отклонился от курса. Самолет пошел к советско-турецкой границе. Отклонение заметили с пограничной вышки. Радиооператоры запросили борт: ответа не последовало.

Связь с контрольно-диспетчерским пунктом аэропорта прервалась также.

С вышки увидели, что с машиной происходит что-то неладное. Самолет бросало из стороны в сторону.

В море вышли сторожевые катера. Капитаны получили приказ: на полном ходу следовать к месту возможной катастрофы.

Ан-24 не менял нового курса, продолжая идти к границе. Борт не отвечал ни на один из запросов земли. Вскоре самолет пересек близкую границу — покинул воздушное пространство СССР.

Ни один человек на земле в те минуты еще не знал, что происходило в пилотской кабине Ана. Никто не мог ответить на вопрос, почему самолет сменил курс. Только после его приземления на посадочную полосу аэродрома турецкого города Трабзона телеграфные агентства мира сообщили о драме в воздухе. ТАСС передал телеграмму: «В Турцию угнан советский пассажирский самолет Ан-24. Среди членов экипажа имеются тяжело раненные. Во время схватки с вооруженными бандитами убита бортпроводница самолета, которая

пыталась преградить путь в пилотскую кабину. Принимаются меры к возвращению пассажиров и экипажа на Родину».

Все.

Пройдет несколько часов, и имя бортпроводницы комсомолки Нади Курченко станет известно всем. Пройдут сутки, и об обстоятельствах ее героической гибели узнает вся страна. Пройдет несколько дней, и ее именем станут называть пионерские дружины, рабочие бригады и горные вершины. Имя Нади навсегда сохранится на борту Ана — ее последнего самолета... Правительство наградит комсомолку посмертно боевым орденом Красной Звезды. ЦК ВЛКСМ примет решение о награждении Нади высшей наградой Ленинского комсомола — Почетным знаком ВЛКСМ. Пройдет год, и в тенистом парке Сухуми, на берегу моря, недалеко от обелиска на могиле первого редактора «Комсомольской правды» Тараса Кострова, похороненного здесь в двадцатые годы, поднимется удивительный памятник комсомолке Наде Курченко. На плитах, рядом с бронзовой Надей, начнут появляться тысячи прекрасных, чистых слов, их будут писать те, кто приезжает в Сухуми, к морю, а в Сухуми, как известно, приезжают со всех концов страны. Со временем этих слов, обращенных к Наде, ее подвигу, жизни и ее красоте станет столько, что их никто уже не сможет сосчитать. Но это будет позже. А пока, в момент первых сообщений, первых телеграмм, о Наде, в сущности, не было известно ничего — ее образ складывался постепенно.

Все помогало этому, даже самые незначительные на первый взгляд детали...

* * *

Надя Курченко родилась 29 декабря 1950 года в селе Ново-Полтавка Ключевского района Алтайского края.

Рядом с их селом был хороший старый лес. Детство ребят проходило в зеленом прохладном мире, открытом для всех и всегда. Лес входил в жизнь детей раньше, чем школа, но и в школьные годы он оставался для большинства сильным магнитом. Лесная и школьная жизнь, обогащая и дополняя друг друга, шла заведенным порядком, встречаясь и прощаясь с новыми поколениями.

Надя росла общительным, подвижным ребенком. Ее раннее детство, как и у всех здесь, было прочно связано с этим лесом. Во всяком случае, уже в зрелые годы и Надя, и ее бабушка Н. Божова не раз вспоминали чудесные дни, проведенные в их любимом краю. Надя почти в каждом письме из Сухуми писала: «Я часто вспоминаю те дни, когда мы с тобой собирали грибы и ходили за малиной и как я, найдя гриб, приговаривала над ним: какой ты у нас хороший и красивый вырос, и бежала к тебе, а ты смеялась... чтобы заснуть после трудного дня, я вспоминаю все это и потом хорошо сплю, а утром просыпаюсь в отличном настроении...»

Детские годы Нади не содержали никаких признаков будущей профессии. Это в общем-то показательно для большинства людей. Однако черты характера, сложившиеся в юности, конечно, повлияли на ее выбор. Какие это черты? Прежде всего общительность, отзывчивость, подвижность.

Улица, на которой жила семья Курченко, всегда знала, когда Надя, возвращается из школы или из леса. Во-первых, она никогда не была одна; во-вторых, те, с кем она шествовала по улице, были самыми шумными и веселыми ребятами.

Некоторые Надины учителя с сожалением отмечали, что только к пятому классу она научилась повязывать платок, заменивший ей, к их радости, мальчишескую шапку.

Что ж, при всем при том Надя замечательно училась. Переезжая вместе с семьей, с двумя младшими сестрами и совсем маленьким братом, из Ново-Полтавки на родину матери, в Удмуртию, Надя увозила с собой и свое большое богатство — отличные оценки. На прощанье девочке выдали благодарность. На большом листе бумаги ее благодарили «за добросовестное отношение к учебе, к труду, друзьям и активное участие во всех школьных делах».

Так закончился первый этап ее школьной поры, разделенной сменой места жительства надвое.

Новая жизнь была новой лишь несколько первых дней. Удмуртское село Понино, сельская школа-интернат, которую Наде предстояло закончить перед отъездом в Сухуми, ни в чем, в сущности, не отличалась от их прежнего села и его школы. Уклад жизни в сельских школах имеет особую внутреннюю прочность. Уклад этот

почти не зависит от географии. К тому же дети быстрее и проще, чем взрослые, приспосабливаются к новым условиям жизни и учебы.

Так было и с Надей.

Она вошла в новый коллектив открыто и просто, и ее сразу же приняли за свою. Она уже тогда как будто бы жила согласно поэтическому совету: «Люби друзей светло и прямодушно», который впоследствии, уже в старших классах, не раз произносила со сцены.

С ее первыми характеристиками, данными ей в прежней школе, удивительно точно совпадали новые, данные ученице Наде Курченко уже через год здесь, в Понинской школе-интернате. Так, например, в Понине о ней писали: «Девочка настойчивая, самостоятельная... в поведении порывистая, смелая, прямая, общительная».

Именно так характеризовали Надю и ее прежние учителя.

Надя старательно и с увлечением училась, но никогда не замыкалась в учебе. Вернее даже будет сказать: она не замыкалась в собственной учебе. В том же Понине сегодня живет и работает немало людей (к примеру, Александр Ульянов), которые долгое время ходили в «подопечных» Нади Курченко и которым она отдавала немало сил и времени, стараясь помочь в учебе.

По свидетельству учителей, Надя не выделяла предметов: этот лучше и интересней, а этот скучный и второстепенный. Ко всем урокам она относилась с одинаковым интересом и серьезностью.

Однако литература и история все же нет-нет да и захватывали ее полностью, целиком, не оставляя времени на иные дисциплины.

Бывший учитель Нади Курченко И. Демьянов вспоминал об одном достаточно характерном эпизоде из ее ученической жизни. В 1965 году, рассказывал он, в школе был организован вечер, тема которого была сформулирована так: «О роли Москвы в образовании Русского государства». На этом вечере с докладом выступала ученица 7-го класса «А» Надя Курченко. Свой доклад девочка назвала «О революционной Москве 1905–1907, 1917 годов, о борьбе московского пролетариата против царизма, за власть Советов». Не верилось, вспоминал учитель, что выступает ученица, настолько глубоко и серьезно была раскрыта сложная тема. Всех тогда поразило это выступление семиклассницы... В одном из сочинений, уже в восьмом классе, Надя на вопрос: «Какого человека ты считаешь красивым?» — написала: «Красивый человек — это такой человек, чьими руками

сделано все прекрасное на земле». -Мысль в высшей степени справедливая и светлая.

Поступив в интернат, Надя прочно, на все время учебы, заняла место одной из лучших учениц школы. Позиций этих она не сдавала до последнего дня учебы. Не следует, однако, думать, что весь школьный период ее жизни напоминал легкую, неустойчивую прогулку. Конечно, это было не так. Училась она хорошо и даже отлично, но не потому, что ей все с ходу давалось, а потому, что подходила к любому предмету с увлечением, с упорным желанием понять. В девочке не было настороженности: новбе она всегда принимала с открытым интересом. Она, без сомнения, стремилась получить подлинные знания. Отсюда постоянные усилия и настойчивость. Программа, таким образом, осваивалась Надей «легко» лишь на первый взгляд, лишь внешне. (Однажды Надя столкнулась с «неопределенным» материалом по алгебре. Многие в таких случаях теряются, замыкаются в себе, увязают в непонятных и трудных формулах. Сам предмет в таких случаях нередко становится ненавистным. У Нади подобная проблема разрешилась иначе: она ясно и честно рассказала о затруднениях учительнице Л.В. Богдановой, попросила ее уделить ей, Наде, хотя бы минимум внимания во время каникул. При этом она, конечно, заявила, что заниматься будет упорно и систематически, несмотря на летние соблазны. Так оно и было: трудный предмет был освоен, весь следующий учебный год оценок по алгебре ниже четверки у Нади не было. В то же лето, кстати, она самостоятельно изучала немецкий язык, рассматривая его как полезное дополнение к английскому, который они проходили в интернате.)

В чем заключается смысл школьной поры? В учебе, приобретении знаний. Учеба, конечно, главное. Но учеба не в узком, программном смысле, а в гораздо более широком. Лучшие ученики рано понимают, как много можно приобрести именно в эти годы, приобрести из того, без чего человеку, в сущности, невозможно достойно прожить в будущем. Способность преодолевать трудности и преданность делу, стремление к совершенству и борьба за идеалы, наконец, такие необходимые черты личности, как целеустремленность и воля, верность и честность, сострадание и постоянное чувство долга — все это обретается человеком в юности и почти никогда в зрелом возрасте. Взрослый человек в своих действиях и поступках лишь опирается на

качества, заложенные в ранние годы. Он опирается на них в большинстве случаев подсознательно, механически.

Это доказано не одной жизнью — многими жизнями.

Находя в школьной биографии Нади Курченко те или иные факты, связанные с уроками, ответами у доски, сочинениями и вообще с учебой в определенном значении слова, мы бы, конечно, не смогли представить себе ее духовный мир тех лет, ее облик. И ни один аттестат зрелости, а он у Нади был отличный, не помог бы нам в этом. Здесь нужны факты другого плана.

Какого же?

Какие факты способны показать глубинные связи между первыми проявлениями личности человека и всеми" последующими, более поздними? Что помогает проследить единство, однородность этих проявлений? Как вообще связан осознанный, решительный поступок зрелого человека и первые самостоятельные поступки того же человека в юности, даже в детстве? И связаны ли они?

Большинство судеб доказали: да, связаны. И пусть не всегда эти связи легко установить, пусть они бывают затушеваны, искажены самыми разными факторами жизни, но они, как правило, есть, их можно проследить. Жизнь у человека одна — в ней все едино, все связано.

Детство и юность, зрелость и старость... Ну а если жизнь обрывается раньше? Как у Нади? Если она обрывается в золотую, сверкающую ранними красками пору? В двадцать лет? Обрывается, поднявшись на высшую нравственную вершину — вершину подвига? В момент защиты беззащитных? В момент спасения тех, кто уже, кажется, обречен? Обрывается в момент, когда детство еще совсем рядом и почти соприкасается с юностью, а юность еще только набирает силу и лишь готовится сомкнуться с устойчивой зрелостью сердца? Что ж, тогда тем более важно знать, каким у человека было его недавнее детство. Важно знать, на что он, человек, опирался в последний, главный момент своей короткой жизни, что и с чем в его жизни связано.

Школьная пора в жизни Нади... Как относились к Наде ее ровесники и учителя? Как относилась к своим друзьям и учителям она сама? Надо знать, чем она увлекалась, помимо учебы, в чем проявлялась ее активность и какое место в школьной жизни она

занимала. Наконец, нужно знать о взаимоотношениях Нади с родителями, с сестрами, братом — это, как выяснилось позже, было связано с особыми обстоятельствами в ее жизни. В бытовых, драматических сложностях, которые, увы, не обошли их семью, она, может быть, впервые проявила себя как человек внутренне сильный и благородный, непреклонно стоящий на стороне того, кто нуждается в защите, кому нужна опора.

Обратимся к некоторым фактам из ее школьного периода... К тем фактам, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, и к тем, которые совершенно очевидно связаны со всей последующей жизнью.

Энергичная, общительная натура Нади, по свидетельству многих, постоянно требовала немедленной реализации внутреннего пламени. Если в школе проводился вечер отдыха, торжественный вечер, можно было быть совершенно уверенным в том, что Надя в нем будет участвовать и, конечно, не в роли наблюдателя. Она любила танцевать, петь, любила сцену. Ее можно было видеть при этом всюду. Классная руководительница Нади Белла Михайловна Баженова не раз вспоминала, как Надя читала «Мамины руки» — отрывок из романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Это было на родительском собрании-концерте, названном «Наши мамы». Баженова вспоминает, что сила чувства Нади, ее взволнованность и какое-то свое, неповторимое переживание слов, которые она произносила со школьной сцены, заставили тогда многих родителей плакать не стесняясь. Те, кто учился с Надей, и те, кто впоследствии с ней работал, непременно вспоминали и продолжают вспоминать Надю на сцене, ее яркий дар чтеца. Однажды, еще в школе, кто-то расчувствовался до такой степени, что притащил Наде корзину яблок прямо на сцену!

Надя читала не только прозу, хотя именно прозу любила читать больше всего, но и стихи. Особое отношение у нее было к стихам Есенина. Однажды в тринадцать лет, прочитав томик Есенина, она надолго убежала из дома, а когда пришла, объяснила матери: «Я, как Есенин, природу вижу. И дерево, и пруд, и лес! И любовь так же понимаю».

Надя могла быть пленительно красивой. Соученики не могут забыть новогодних вечеров, на которых она появлялась в роли Снегурочки. Это были замечательные вечера, и Снегурочка тех лет

навечно останется в давней, убывающей музыке школьных вечеров, в их мерцающем елочными огоньками свете.

Надя любила быть в центре событий, легко и с удовольствием взваливала на себя любые общественные нагрузки. Ей было при этом по-настоящему интересно, и интерес этот передавался другим.

Надя Курченко в школе — это и пионервожатая, и член комитета комсомола, и участница художественной самодеятельности. Будучи по природе своей человеком веселым и подвижным, она тем не менее могла быть и глубоко серьезной, если этого требовали обстоятельства, ситуация. В таких случаях, как утверждают многие, она никогда не производила впечатления человека замкнутого, сурового. Участвуя в разборе, допустим, какого-то неприятного происшествия в школе, разборе, который, как правило, проходил в комитете комсомола, она преображалась, выглядела требовательной, собранной. Но, опять же, в ней не было неприятной, отталкивающей неприступности. Все было иначе: в собранности Нади, требовательности и серьезности ровесники и ребята из младших классов чувствовали прежде всего доброжелательность, и именно это определяло характер их взаимоотношений. Ребята к Наде тянулись и, похоже, чувствовали ее веселую, добрую силу.

Бывшая одноклассница Нади Галя Сизова вспоминала одну замечательную сценку в школьном коридоре, способную в какой-то мере подтвердить сказанное выше.

Надя увидела, как мальчишка, не умевший даже секунды находиться в состоянии покоя, мальчишка-ртуть, обидел девочку. Надя подозвала его к себе. Целых пять секунд он стоял, не вращаясь, не танцуя, не переворачиваясь через голову на руках, пока она говорила ему о позоре, который должен, по ее мнению, испытать каждый, кто обидит девочку. Мальчишка-ртуть даже не попытался ускользнуть от Нади, он тут же подошел к обиженной им девочке и извинился.

Это вполне можно было отнести к триумфальным победам в школьных коридорах.

Надя росла отзывчивым и добрым человеком. Ее подруга по интернату Н. Иванова приводила трогательный эпизод. Надина мать, вспоминала она, часто готовила дочке что-нибудь вкусное, но дочке доставалась лишь девятнадцатая часть того, что она приносила с собой в интернат. «Нас в группе было девятнадцать человек, — рассказывала

Н. Иванова. — Среди всех Надя и делила пирог или печенье. И всякий раз, как бы извиняясь, она говорила: «Девочки, угощайтесь, правда, тут немножко!»

Н. Иванова вспоминала, как объединяла их Надя в вечерние часы, после отбоя, когда спать еще никому не хотелось (21.30), а молча лежать тем более... Надя и здесь читала стихи, особенно часто «Балладу о 26», вместе со всеми пела, а если ее просили — пела одна, чаще всего русские народные песни.

Иногда они устраивали после отбоя вечера обморочного смеха — это тоже помнят все.

Ярким эпизодом ее школьной поры был день вступления в комсомол. Это было в ленинский день — 22 апреля 1965 года. Надя, как, впрочем, и все в те минуты, была взволнована, и, когда после вручения билета и комсомольского значка ей предстояло под звуки горна и барабана передать новому знаменосцу знамя дружины, она, пожалуй, впервые растерялась. Но клятву от имени вновь вступивших ребят она прочитала уже торжественно и твердо.

В своем заявлении при приеме в комсомол Надя писала: «Хочу быть достойной дочерью Родины и готова отдать за нее жизнь, если это потребуется».

Поразительную глубину и звучание обретают привычные строки, когда их освещает вдруг кровь того, кто их написал, свято и постоянно в них веря. В таких случаях строки уже навечно сливаются с именем человека, его неподдельным, подлинным мужеством и благородством.

Когда спустя несколько лет в ЦК ВЛКСМ Надежду Курченко награждали посмертно высшей наградой Ленинского комсомола — Почетным знаком ВЛКСМ и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, строки эти вновь пришли из недавнего Надиного прошлого, пришли, чтобы навсегда остаться в ее вечном настоящем рядом с памятью о ней самой.

Говоря о комсомолке Надежде Курченко, следует, видимо, особо подчеркнуть: ее принадлежность к ВЛКСМ была лишена и малой доли формальности — всем своим сердцем Надя безраздельно находилась в союзе единомышленников. Комсомольский билет и значок являлись для нее такими же внутренними, освященными понятиями, как и сам союз. У комсомола, в понимании Нади, не было внешних примет,

отдельных от его главной сути. Все было единым, и сама она была в естественном единстве с комсомолом.

Даже тетради Нади Курченко, которые она заполняла на комсомольских семинарах, говорят об этом единстве, о ее отношении к обязанностям комсомольца, ее хороших, умных заботах. В одной из них, правда, встречаются и неожиданные строки — строки ее любимой песни: «Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, где ветер рвет горизонты и раздувает рассвет». Но, может быть, в этом как раз и нет неожиданности...

Чувство дороги было знакомо Наде! Пусть эти дороги и тропы пролегали пока недалеко от дома, но они были постоянными и были иногда по-настоящему трудными. Еще в Понине, в школе, а затем и в Сухуми она непреременный организатор и участник туристских походов. После ее гибели один из походных снимков — Надя в штормовке, капюшон нахлобучен на голову, мечтательная, милая улыбка — обошел многие страницы... Те, кто с ней рос и работал, видели Надю в подобном наряде очень часто.

Дети директора интерната Георгия Николаевича Лубнина и его супруги, учительницы Галины Васильевны Лубниной, — Виктор и Лена, большие друзья Нади, были наиболее частыми участниками трудных походов, затеваемых Надей. В сложных, неожиданных ситуациях (особенно на речках) они оказывались не раз. Надя была на высоте — ее реакция на чье-то недомогание, чью-то пусть малую беду, даже трудность была поразительной. Никто не успевал раньше Нади заметить чьей-то усталости или травмы. Надя была первой. Сама же она никогда и ни в чем не обращалась за помощью. Если кто-то устал — забирает рюкзак, скамандует, смеясь: «Иди налегке! Потом поможешь мне!» Но конечно, «потом», когда следовало бы помочь ей, она уже помогала кому-то другому. И лишь однажды...

Однажды, вспоминает Б. Баженова, вечером, во время похода, когда все улеглись спать, Надя подошла и тихонько шепнула: «Вот подорожник, помогите мне, пожалуйста, перевязать ногу». Оказывается, в дороге она до крови сбила ноги, но терпела, шла, не сбивая общего ритма, никому не хотела доставлять хлопот. Кажется, это был первый и последний случай, когда ей помогали в походе.

Туристские воспоминания Надиных одноклассников хочется сблизить с рассказами тех, с кем Надя работала в Сухуми. Но они

одинаковы! Их нельзя, оказывается, сблизить — они будут выглядеть необъяснимо повторенными абзацами!

Такова была натура Нади, в лучшем значении слова неизменная.

Теперь, подводя итог рассказу о детских, школьных годах Нади, следует дать слово ее матери, Генриетте Ивановне Курченко. Несколько важных моментов я привожу здесь из ее беседы в редакции «Комсомольской правды» с бывшей журналисткой газеты Т. Агафоновой. «Я мать, — говорила Г.И. Курченко, — мне просто каждый день жизни дочери объясняет, почему она не дрогнула в последний миг... Для многих она, наверное, станет символом, а для меня останется дочерью с очень коротенькой, но если бы вы знали, какой сильной, не боящейся трудностей в простом человеческом быту жизнью... Так случилось, — продолжала Г.И. Курченко, — что одно время я была морально очень подавлена, обездолена. А в Наде жил какой-то громадный эмоциональный заряд, который переливался от нее в мою жизнь и в жизнь младших детей... И в друзей ее позже, думаю, тоже... Она, Надя, сумела восстать даже против родного отца... который, прежде чем мы с ним расстались, коверкал мою жизнь и жизнь детей... С чего все хорошее в человеке начинается? Надя столько добра от людей видела, от учителей своих, от товарищей. Ну, с отцом нам не повезло, зато второй мой муж, в семью вошедший, отцом детей стал. Надя его очень любила...»

В том же разговоре Генриетта Ивановна рассказывала, как Надя переживала драму с отцом. Она, дочь, в то время была, по существу, в семье второй матерью. На ее плечи ложились все заботы по дому (Г.И. Курченко работала тогда в детском туберкулезном санатории), а забот было немало: накормить троих младших, убрать квартиру, подоить корову и выучить уроки, утихомирить напившегося отца, а иногда, когда уже было неважно и матери и детям грозила настоящая опасность, сбегать по морозу, ночью, за два километра в правление колхоза, к людям за помощью...

С матерью у Нади были замечательные, дружеские отношения. От нее у Нади секретов не было: мать была в курсе всех Надиных дел. Даже тех, которые чаще всего, как грозные облака, обходят и родители и педагоги. В десятом классе, вспоминала Генриетта Ивановна, Надя сказала о своем друге: «У нас с Володей были и ссоры, но теперь, ты знаешь, всегда вместе делаем уроки, катаемся на лодке,

рыбачим... Ты, мама, не будешь против, если потом, попозже, мы, наверное, на всю жизнь будем вместе?»

Что она, мать, могла ответить на это? Она, конечно, знала Володю — хорошего, доброго парня, но если бы даже не знала, разве не признала бы она права выбора за дочь? Признала. Себе бы она оставила право совета... Она во всем доверяла Наде, верила в нее...

Отличная ученица, замечательная дочь, хороший помощник, преданный товарищ — школьница Надя Курченко. Но школьной жизни пришел конец — окончена школа. Что в этой жизни было необычного? И небывало яркого? Все было необычным, как у всех, и ничего не было необычного — тоже, как у всех. Детство как детство, юность как юность.

Когда люди узнали о героической гибели Нади, больше всего говорили все же о ее жизни. Может быть, наиболее точные и верные слова произнес тогда Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев. Приведу их частично здесь.

«Ей бы жить да жить, — сказал он. — Но, уже зная о ней, я не могу представить, чтобы Надя поступила иначе, чтобы, спасая себя, бросила в опасности свой экипаж, пассажиров... Думаю о короткой, простой биографии... Невольно ищу что-нибудь такое, что предвещало бы подвиг, намекало бы на возможность героического поступка. Нет, не нахожу. Так же как не обнаружил бы в простых биографиях Зои Космодемьянской, Юрия Бабанского, Николая Гастелло, Вали Терешковой».

Прославленный летчик прав. Но обыкновенные, простые биографии все же непросты. Их могущество в том, что находятся они на одной высоте с новой историей народа — не ниже!

...День отъезда был торжественным и грустным. Шел сильный дождь, дорога была ужасающе разбита. Бабушка провожала Надю до автобусной остановки («В Глазов ехать не надо, — предупредила ее Надя, — промокнешь»). Чемоданчик у Нади был со слабым, сломанным замком, они пытались его закрыть, но тут подошел автобус, и бабушка, несмотря на протесты Нади, набросила на ее плечи свою кофту, сказав на прощанье: «Пиши, не забывай нас».

Автобус тронулся по размытой дороге. Грядущее поднималось прямо над дорогой, впереди автобуса.

Все так неожиданно: человек взрослеет, читает книги, смотрит фильмы, живет в домашнем, школьном мире, видит стены своего дома, лица близких и друзей, а в голове теснятся чужие судьбы, пришедшие с экранов и книжных страниц, люди борются и побеждают, и ты переживаешь вместе с ними, но все же они остаются нереальными, потому что ты не жал им руки, не смотрел в их глаза, не спорил до ночи на дальних дорогах. И вдруг комнатный мир с маминым голосом, и школьный класс с утренним светом, и близкий лес с веселыми голосами на грибных полянах — все это исчезает с первым рывком автобуса или поезда, и перед глазами уже люди из книг усаживаются напротив тебя, курят, спорят, называют далекие, волнующие слух города, реки, моря, и ты вдруг понимаешь: ты уже с ними, ты в их мире! За окном плывут деревья и дома, а потом остается темень — дорога неблизка — и редкие тонкие молнии неизвестных поселков. Начинается путешествие в жизнь. Начинается просто. Но забываемо.

Новая жизнь — чистый лист бумаги?

В известном смысле — да. Но Надя была хорошо подготовлена к самостоятельности. А яркий южный город Сухуми, с его морем, шумом, пальмами и пароходами лишь на короткое время завладел ее обостренным вниманием — она быстро вернулась в свое обычное состояние. Это можно было сравнить с внезапным порывом бокового солнечного ветра, под которым ненадолго прогибается парус устойчивой яхты и тут же снова выравнивается.

В новой жизни Надя обрела две основные опоры: хорошую специальность и прекрасных новых друзей.

* * *

В тот трудный вечер мы недолго оставались в здании Сухумского аэродрома и, когда ливень ослабел, пошли в Надин дом. Дом был, конечно, не Надин, у него была другая хозяйка, но Надя и бортпроводница Дуся Минина снимали в нем комнату, поэтому все говорили в тот вечер: «Надин дом».

На кровати сидела Дуся Минина. Глаза опухли от слез. На стене висел тремпель с платьем Нади.

По крыше стучал дождь.

Привожу разговоры того вечера — они были только о Наде. Все, с кем она работала, с кем летала, собрались здесь.

По радио передавали новые сообщения ТАСС. В них уже называлась фамилия Нади и подробней говорилось о ее подвиге, ее героической попытке преградить путь — , в пилотскую кабину двум вооруженным бандитам...

Я слушал рассказы ее друзей.

Сулико Дадиаии, бортпроводница, словно размышляла вслух.

— Я понимаю, — тихо говорила она, — вы думаете, когда человек вот так озаряет собой все вокруг, о нем нельзя говорить плохо, вспоминать мелкие житейские обиды, перечислять недостатки. Нет, дело совсем не в том, что Нади уже нет с нами и мы так говорим. Наверное, были у Нади недостатки, как и у любого из нас. Но ни одного из ее недостатков я назвать не могу: специально мы их не выискивали, а в глаза ничего не бросалось... Может быть, когда-нибудь какие-то несовершенства и обнаружились бы... А пока их никто не видел... Ее нельзя было не любить. Почему? Потому что были красивыми эта душа, это лицо. Говорят порою, что у нас, у стюардесс, заученные улыбки, по инструкции. Но Надя улыбалась иначе, Надя улыбалась так, словно в каждом открывала друга. И люди не могли не чувствовать этого.

Или вот эта ее черта... Надя не терпела пошлости — это как-то сразу бросалось в глаза... В общем-то пошлости вокруг нас немало. Я уже не говорю о тех ее видах, которые процветают у нас, скажем, на летней набережной, когда и десяти метров иногда не пройдешь, чтобы не попасть под ее пресс. А Надя умела себя так повести, так поставить, что все видели: пошлость перед ней бессильна, она к Наде даже не прикоснется... Понимаете? Это качество, конечно, присуще многим. Но у Нади оно было совершенно наглядным, ярким...

— Ты права, — проговорил Гоги Пацация, секретарь комитета комсомола аэропорта, — ты права. Но я вот еще о чем хочу сказать. Мы очень часто, к месту и не к месту произносим слова: «Наш дружный, спаянный коллектив...» Наверное, настоящий коллектив — это обязательно яркие, интересные люди. Как Надя Курченко...

Он посмотрел на товарищей:

— Надя была незаурядным человеком... Есть в армии обычай: зачислять героев навечно в список подразделения... Давайте внесем предложение — пусть в нашей комсомольской организации Надя останется навсегда. Пусть наша организация носит ее имя!

Над самой крышей дома прошел на посадку тяжелый самолет.

— Лучшей подруги я желать не могла, — сказала Дуся Минина. — Какое странное у нас было прощание... Мне дали отпуск на три дня. Я улетала к родственникам в Кисловодск. Летела вместе с Надей: она дежурила на борту. В Минеральных Водах расставались. Не знаю, как объяснить, но, прощаясь, расплакались. К нам подошла какая-то женщина, спрашивает: «Вы чего это плачете?», а Надя заулыбалась и ответила: «Просто так плачем. Хорошо нам, вот и плачем». Попрощались, двигатели гудят, она побежала к самолету. Так последний раз я ее бегущей и видела...

Минина повела плечами, помолчав, сказала:

— В Сухуми хороших духов нет, я пошла по магазинам в Минеральных Водах. Зачем духи? Наде ведь через месяц исполнится двадцать лет!

Опять помолчала, поправилась:

— Исполнилось бы двадцать лет. Нашла духи, пластинку купила. И Володя из Ленинграда ей новые записи Прокофьева прислал — она Прокофьева очень любила...

— Надя говорила, что серьезная музыка делает веселых людей задумчивыми, — неожиданно сказал молоденький пилот, сидевший на подоконнике.

— Да, — кивнула Минина. — Вон наши подарки. Вон наши пластинки...

— Завтра Володя, наверное, прилетит, — сказал кто-то.

Минина кивнула.

Люда Помазанова проговорила:

— Скоро бы свадьба у них была. Они со школы дружны, любили друг друга.

«И хотя я очень страдаю без тебя, очень скучаю по тебе, но ведь это по-своему тоже счастье... Счастье, когда есть на свете человек, ради которого готов на все, который встает перед глазами, как только глаза закрываешь», — предпоследнее письмо Володи.

«Надюша, ты стала мне дороже всех на свете. Одна только мысль потерять тебя...» — последнее письмо Володи, три дня назад.

«Надя погибла исполнении служебных обязанностей» — телеграмма Володе в Ленинград от Миминой, посланная вчера.

Леонид Романович Школьников, один из руководителей сухумских авиаторов, говорил о Наде за полночь, когда небо над аэропортом уже утихло.

52 Правофланговые комсомола

— Редко бывает, — размышлял он, — чтобы человек вот так легко, просто, словно всегда был здесь своим, входил в нашу непростую среду, как вошла около двух лет назад Надя... Мы стараемся привить тому или иному работнику необходимые в нашем деле качества и нередко терпим неудачу, потому что не каждый любит работу, которую ему доверили... Таких и работа не любит. У Нади все было не так. Мы все видели ее необыкновенную требовательность к себе и к товарищам... И при всем этом — чистая, девичья душа, нежная и красивая.

Те, кто знал Надю особенно хорошо, ее самые близкие друзья, говорили о ней уже в прошедшем времени. Но еще не верили в смерть — это так понятно: вчера разговаривали, вчера человек смеялся, вчера пел песню, включал приемник, писал письмо, а сегодня его нет — не верится. Неверие как отчаянный протест против нелепости смерти. Но это было уже реальностью — Нади в живых не было.

Профессии бортпроводницы она отдала два года.

Она напряженно, с азартом училась, а когда все вокруг заговорили о ее успехах, она стала учиться еще настойчивее.

Надо быть умным и внутренне богатым человеком, чтобы сквозь толщу первых удач пробилась эта потребность — потребность снова учиться. Нужно иметь твердый характер и ясное сознание. Надя, как известно, имела и то и другое.

В ее новой жизни, работе, по свидетельству многих, рано появилась одухотворенная, ясно осознанная самоотверженность человека, открывшего простые, но важные связи между делом своим и делами других.

Нужно, однако, иметь в виду: Надя была подготовлена к встрече с миром. С нуля человек начать так, как она, никогда бы не смог. К самостоятельной жизни ее подготовил сам стиль школьных лет:

активность, упорство в учебе, непростая домашняя ситуация, наконец, просто трудолюбие, воспитанное с малых лет в алтайской деревне. С нуля она начинала в Сухуми лишь в профессиональном плане: курсы бортпроводников, тренажеры, первые полеты, наконец, вхождение в атмосферу самого аэропорта — ведь в Понине ничего подобного не было! В первое время она не уходила из аэропорта чуть ли не сутками.

Новые ее знакомые члены экипажей и бортпроводницы, улетаая и прилетая, встречали Надю «на посту».

— Ты чего здесь? — спрашивали многие.

— Смотрю, — отвечала она и смеялась, понимая, что люда удивляются.

— На что смотришь?

— На все, — говорила она, — на пассажиров, на дежурных, на грузчиков, на самолеты.

— Еще насмотришься, — миролюбиво заключали одни.

— Еще надоест, — предсказывали другие. — Не будешь знать, куда от этого бежать.

Вот это-то Наде не угрожало. И не угрожало бы, пожалуй, не только в этом, но и в любом другом деле, любом ремесле, если бы она остановила на нем свой выбор. Утверждать это можно наверняка.

Она проникалась атмосферой аэропорта и привыкала к его неповторимому ритму. В этом гремящем, сверкающем мире (особенно в летний сезон) она забывала о времени суток. Но вскоре Надя просто поняла, что такие понятия, как «позднее время», «ночь», в аэропорту вообще лишены привычного смысла. Аэропорты знают все, что несет с собой вечное движение жизни, но не ведают усталости. Они гавань, где одновременно начинаются и завершаются чьи-то пути. Слово «день» здесь имеет свое непреходящее значение. Это наверняка в какой-то форме ощущает каждый, кто связывает свою судьбу с авиацией. Почувствовала это и Надя.

Вначале она прониклась аэропортом, затем ступила в мир своей профессии — профессии бортпроводницы. Тут ее ждали новые ощущения, новые открытия.

Одни профессии дошли до наших дней из глубокой древности, другие рождены на наших глазах. Надино ремесло еще недавно считалось довольно редким. Теперь оно, по существу, массовое. И все же многие его отличия, особенности очевидны. Они-то и придают ему

оттенок необычности. Но труд бортпроводников не следует воспринимать как точную копию рекламных проспектов. В этой специальности не все просто. (Тем, кто причисляет работу стюардесс к «легкой», нелишне знать: нагрузки на организм таковы, что при налете определенного количества часов они выходят на пенсию раньше представителей других профессий на 10 лет.)

Наде попались толковые люди, они преподавали не только основы специальности, но и формировали отношение к ней. Девушку предостерегали от крайностей, столь частых в оценке их профессии, от пустых восторгов.

Неразумно, говорили ей, и преувеличивать ее теневые стороны.

Это тем не менее делают часто, словно в противовес рекламе пытаюсь развеять заблуждения насчет заманчивой прелестной жизни. Цель понятна: уберечь непосвященных от разочарований. Но цель довольно близорука, у каждой профессии должны оставаться опознавательные знаки, «бортовые огни». Они должны возбуждать любопытство, привлекать человека. «Неподходящие» быстро поймут свою ошибку — отправятся искать дело по душе. Подходящие останутся при деле, которое нашли. В конце концов, все специальности и профессии держатся на людях подходящих.

Надя подошла идеально.

В службе пассажирских перевозок, правда, вспоминали, что первые разговоры с ней на профессиональные темы показывали ее нежелание принять какую-либо иную психологию, кроме земной, которая присуща большинству людей.

Вспоминали такие диалоги:

— Ты понимаешь, что это очень нелегко?

— Понимаю.

— Речь идет о психологической перестройке... Люди на борту встречаются разные...

— Да. Но они и на земле разные, — говорила она.

— Это не одно и то же, — возражали ей. — Ты разве не понимаешь?

— Не понимаю. В чем не одно и то же?

— Не следует путать, — с оправданной назидательностью говорили ей, — небо и землю. Теперь ты этого путать не должна. На земле у людей одна жизнь, в небе — другая. На земле человек один, в

небе он уже другой. Конечно, эта разница не бросается в глаза, ее надо уметь почувствовать. И это одна из задач бортпроводницы. Ясно?

— Нет, не совсем, — говорила она. — Я вот тоже человек. Что же, поднявшись в небо, я стану другой? На себя непохожей? Я уверена, что буду такой же.

— Нет, и ты в чем-то будешь уже не такой... Хоть в чем-то.

Такие примерно разговоры велись с Надей в свое время. Конечно, после первых же полетов она поняла: речь шла о тонких, не всегда заметных психологических изменениях, игнорировать которые работник Аэрофлота, профессионал, просто не имеет права. И еще Надя поняла: эти изменения касались не только других, но и ее! Поняла она все это с замечательной быстротой умного, раскованного человека.

А когда поняла, начала осваиваться.

Закон сервиса во все времена и всюду основывался на простых житейских понятиях: удобстве, приветливости, вежливости, спокойствии. Учить этому вроде бы излишне. Однако Надя очень быстро увидела, как по-разному это соблюдается разными людьми. Уже в первых тренировочных полетах, на практике, она заметила: одному бортпроводнику пассажир пишет благодарность, при виде другого ищет валидол...

К первым личным наблюдениям относилось и это, связанное уже с пассажирами: оторванный от земли человек охотно демонстрирует свою капризную беспомощность. Ничего не поделаешь, размышляла она, авиационная техника совершенствуется легче, чем психология пассажира, который ею пользуется. «Вот о чем говорили со мной мои наставники», — улыбалась она.

Так начиналась Надина новая жизнь.

Она быстро научилась правильно держать поднос, устойчиво ходить по салону, не класть салфетку сверху на горячий бифштекс, правильно пользоваться внутрисамолетной связью и другими вещами, необходимыми в полете.

Труднее оказалось другое: поднимаясь на борт, оставлять на земле все свои личные проблемы, огорчения и даже неумную радость. «Встретился лицом к лицу с пассажирами — отсеки все, что способно влиять на твое настроение» — таков был неписанный закон.

Взяла и этот барьер.

Люда Помазанова, работник справочной службы Аэрофлота, вспоминала: после первых самостоятельных рейсов Надя обязательно подходила к ее стеклянной будке, и, если в зале не было пассажиров, они обменивались новостями, иногда просто перебрасывались словами. Надя заметно, сильно менялась внешне: походка, манеры, но внутренне оставалась, пожалуй, такой же, какой ее увидели здесь впервые: лицо светилось добротой, а улыбка предназначалась только тебе, так казалось.

Иногда она рассказывала истории, которые случались в полете, или передавала веселые сценки. «Я, правда, ни разу не слышала, — говорила Л. Помазанова, — чтобы она в своих рассказах хотя бы чуточку злорадствовала или там над кем-то смеялась, а таких ведь немало, вы знаете. А она — нет, даже если речь шла о совершенно несуразном, нелепом поведении кого-нибудь из пассажиров. Этого не было никогда».

Многие ее подруги подтверждают: злорадство Наде было неведомо.

— После каждого рейса, — как-то сказала Надя Дусе Мининой, — должен оставаться «осадок», осадок от общения с людьми, которых мы встречаем.

Закончила она свою мысль в том смысле, что от тебя самого во многом зависит, будет ли в этом осадке хоть несколько золотых крупинок.

Если «крупинки» были, она непременно делилась богатством с другими. Однажды после очень сложного рейса — вначале долгая задержка из-за погоды над всем побережьем, затем из-за наземных неполадок — она, вернувшись, рассказала не о мытарствах рейса, что было бы, в общем, естественно, а о встрече с супружеской парой, которая произошла у нее в самолете. Люди были уже немолодые, рассказала она, мужчина был, наверное, лет на десять старше жены, но они подходили друг другу настолько, что разницу эту трудно было сразу и увидеть... В самолет они сели молча и вообще не участвовали в общем разговоре, который касался, конечно, погоды и задержки рейса.

Так получилось, рассказала подругам Надя, что пассажирам дважды приходилось подниматься в самолет и уходить из самолета — знаете, как это часто бывает. Реакция, конечно, была шумная. Только

эти люди, муж и жена, молча, спокойно и даже чрезмерно осторожно спускались, а затем дважды поднимались по трапу, не сказав ей, бортпроводнице, ни слова.

В салоне, когда все уходили, оставались лишь три женщины с маленькими детьми. Когда объявили третью посадку, эта пара снова поднималась последней, тоже молча, даже печально, как показалось Наде, и движения их были так предупредительны, а женщина к тому же была так чрезмерно внимательна к мужу, что Надя, даже поймав себя на том, что так смотреть на людей просто бестактно, не смогла тем не менее оторвать от них взгляда. В этот раз женщина несла цветы, она прикрывала их ладонью от дождя. Потом, на середине трапа, он взял у нее букет и сказал с улыбкой: «У меня он тоже не будет под дождем». Так и держал в левой руке букет, а правой перехватывал мокрый поручень. Надя, по ее словам, обратила внимание не только на их трогательную заботу друг о друге, но и на усилия, с которыми мужчина поднимался наверх. Особенно заметными эти усилия стали перед последней ступенькой, ведущей уже в салон... Лишь случайно выяснилось, что пассажирами этими были известный профессор, хирург С.Н.Т., попавший несколько лет назад в тяжелую автомобильную катастрофу, и его жена, тоже врач. Хирург лишился ноги, повредил позвоночник, был буквально «сшит» коллегами, но снова освоил прежнюю жизненную высоту и продолжал работать, словно ничего не случилось. Единственное изменение, произошедшее с тех пор в его жизни, заключалось в том, что в любую служебную командировку он отправлялся теперь со своей женой — его помощником, его другом, его врачом. Но это было ее, а не его условие...

Рассказывая подругам об этой встрече, Надя, по их словам, повторяла: «Если бы я знала, если бы знала, как ему трудно было входить и выходить из самолета и обратно, разве я не оставила бы их в салоне? Конечно, оставила бы», — говорила она.

Но вот прошло немного времени, и она, кажется, поняла то главное, что заставило ее тогда так волноваться, а затем постоянно вспоминать об этой встрече.

Надя впервые увидела, как гармонично и цельно в одних и тех же людях соединялись совершенно противоположные на первый взгляд качества: нежная, теплая человечность и непреклонная, стальная воля.

Вот какое открытие осталось в конце концов от той встречи, какой золотой осадок.

Но самым поразительным в этом эпизоде следует считать, видимо, то, что спустя совсем немного времени уже другие люди, в другой ситуации смогут обнаружить тот же высокий сплав нежности и прочности в самой Наде, в ее молодом, горячем сердце!

Профессиональная высота была взята Надеждой Кур-ченко очень быстро. Уже через полгода ей давалась такая характеристика: «Отличное знание своих обязанностей, четкое взаимодействие с экипажем... обладает большим чувством ответственности... готова летать в любую минуту».

Обязанности Нади, как и любой другой бортпроводницы, на первый взгляд казались предельно простыми. Но при более близком знакомстве с ними человек в который раз мог бы убедиться в необязательной легкости самого понятия «на первый взгляд».

Многое надо было ей знать, многое уметь. Например, подготовить салон к приему пассажиров — проверить, исправны ли столики в спинках кресел, ремни, фиксаторы кресел, наличие чехлов, состояние запасного выхода, бортового имущества... Знать, как провести ночную или прощальную информацию о полете, рассказать о порте назначения, трассе — наиболее интересных ее участках, о городе прилета, что Наде удавалось, кстати, особенно хорошо, ибо она старалась находить в журналах и книгах такие замечательные подробности, которые удивляли даже давних жителей этих городов.

Она тщательно изучала все, что было связано с обслуживанием на борту детей, специальных туристских групп, в совершенстве овладела оформлением бортовой документации...

Вскоре Н. Курченко уже могла, как многоопытная бортпроводница, абсолютно спокойно выходить из самых сложных, казалось бы, положений. Она знала, как ей поступить, как переоформить документы, например, если семья из четырех человек имеет багаж 100 килограммов, но двое из них вдруг отказываются от полета при задержании рейса, знала, как быть с пассажиром, следующим в аэропорт назначения с олененком. Она знала права пассажиров задержанного рейса в аэропорту вылета и промежуточных портах, порядок отправки взрывоопасных веществ и многое, многое другое.

Знала Надя и не менее важные требования к работнику авиасервиса: максимум внимания к людям, умение вести себя, держаться в салоне, наконец, просто выглядеть аккуратным, подтянутым...

Приобретая новые и новые знания и опыт, Иадя не погружалась, подобно некоторым, на те профессиональные глубины, где все, что не имеет прямого отношения к твоей службе, не имеет никакого значения вообще. Нет, однобокость, искажение характера ей не угрожали. Она оставалась общительным, активным человеком, способным к постоянному вращению в шумном колесе общественных дел. Тут следует, конечно, сказать и о том, что Наде, кроме всего прочего, еще очень повезло с коллективом, в который она попала сразу со школьной скамьи.

Коллектив в сухумском авиаотряде был прекрасным. Создавался он постепенно, годами, и микроклимат человеческих отношений складывался, естественно, не сразу.

Это всегда зависит от множества факторов. Но прежде всего, наверное, от того, насколько вовремя будут поддержаны и получают развитие личные качества людей, коллектив составляющих. В Сухумском аэропорту, его многочисленных службах давали возможность раскрыться каждому: в работе, отдыхе, общественных занятиях. Это в конечном счете сливалось в одно гармоничное, цельное действие, наполняющее до краев человеческую жизнь. Подход был таким: у каждого человека свое увлечение, но увлечение это он в себе не замыкает, а обращает на всех, и потому увлечение получает большую жизненную силу и становится магнитом для других...

Да, такой коллектив, такая среда были просто идеальными для Надиной натуры — лучшие ее качества здесь раскрывались моментально, а раскрывшись, получали ускоренное развитие.

Она, по существу, нисколько не находилась вне комсомольской работы аэропорта — уже в первые месяцы самостоятельных полетов ей предлагают заняться спортивными делами молодежи авиаотряда. В конце 1968 года Надю избирают членом комитета комсомола. Теперь она, так сказать, официально отвечает за спортивный сектор. Почему спортивный? Потому что она была, конечно, человеком спортивным. И дело не только в ее недавних походах с друзьями из десятого класса — кто так уж серьезно отнесся бы к ее школьному туристскому опыту (а

зря), нет, все было в Надином стиле, ее спортивной мобильности. Дело решала и пара волейбольных матчей на аэропортовской площадке. Она прекрасно играла! (Впечатление от этих первых игр было упрочнено дальнейшей спортивной карьерой Нади — через год она была уже членом сборной команды республики по волейболу среди авиаторов.)

Туризм тоже пережил эпоху бума — Надя не могла не увидеть, что окрестности Сухуми просто созданы для туристских походов. Конечно, ребята и до нее устраивали «вылазки» в горы, ущелья, и до нее были энтузиасты походов, и проводилось их немало. Но, по свидетельству многих, Наде удалось придать этому увлечению новые оттенки, «новую красоту», как сказала ее подруга, бортпроводница Люда Лолуа. Новая красота походов заключалась, видимо, еще и в том, что теперь по решению комитета комсомола они проводились не от случая к случаю, а регулярно, в заранее намеченные сроки. И ничто этому не должно было помешать, даже буйные абхазские ливни! -

Теперь об этих походах вспоминают со светлым и добрым чувством. Хорошие были дни и хорошие ночи.

«Я, наверное, никогда не забуду один из наших походов, — вспоминала Л. Помазанова. — Это было высоко в горах, в ущелье, рядом с лесом. Мы тогда здорово все сдали... Полдня шел дождь, потом дождь кончился, но началась сухая гроза, и от этого было еще хуже, я лично боялась молний, а когда мы решили устроить привал, выяснилось, что отдохнуть и отогреться не сможем, все было мокрым, ни одной сухой ветки...»

Эту историю многие вспоминали. По существу, это был один из первых их серьезных походов, в котором участвовала Надя. Они действительно тогда сильно устали, дневной переход был тяжелым, и многие сломались. Но ведь так в походах бывает нередко. Всегда кто-то устанет сильнее, кто-то меньше. Бывает, что устает большинство. К счастью, в любой компании все же находится человек, оптимизм, энергия или опыт которого выводят людей из тупика усталости и безразличия.

Как сложилось тогда в горах? Так вот и сложилось: понадобился лидер. Кто им стал? Надя Курченко.

Она сказала:

— Друзья, нужны ветки. Без костра мы пропадем.

Все согласились — пропадем, но с места не двинулся никто. Каждый устроился на своем рюкзаке, пристроив рюкзак к валуну. Вид у ребят был крайне усталым.

Надя поправила капюшон штормовки и, не говоря больше ни слова, ушла в близкий лес. Собственно, это был и не лес, а горная роща, довольно редкая, но даже при свете молний Надю никто не видел среди деревьев. Через пятнадцать минут она возвратилась, нагруженная ветками, со смехом свалила их у самого крупного валуна, вынесенного когда-то в ущелье селом. Некоторые, конечно, оживились, кое-кто почувствовал угрызения совести, но Надя, по свидетельству Л. Помазановой, «даже намеком не усилила эти переживания, а, наоборот, постаралась их снять и часто шутила, смеялась над собой. Она весело рассказывала, как приняла за спящего медведя старое бревно».

К сожалению, дальше дела компании пошли не лучше. Выяснилось, что никто не может разжечь костер из мокрых дров. А тут еще резкие порывы ветра. Надя, однако, прекрасно справилась и с этим — костер получился хороший. «Вскоре его свет заиграл на наших лицах, вспоминала Л. Помазанова, — мы повеселели. А через полчаса кое-кто подсушил одежду, заварили чай и открыли консервы. Когда костер слабел, все бегали за дровами, никто не прятался за валуны».

— Рассказывай, где научилась, — сказал кто-то.

— В школе, — ответила Надя, — мы очень часто бродили по лесам. Уходили и по рекам.

— В школе? — с сомнением переспрашивали многие, не очень-то веря в роль школьной поры в таких делах.

— Конечно, — смеялась Надя. — У нас была компания. Нас всегда поддерживал директор.

— Вот это школа, — непременно отзывался кто-то, вспоминая при этом, конечно, свои школьные порядки.

Л. Лолуа говорила: «В первый год общения с Надей, видимо, многие из нас испытывали в какие-то моменты странное чувство: она, почти школьница, оказывалась во много раз самостоятельнее, более подготовленной к неожиданностям, чем мы, люди, уже поработавшие в небе и как-никак взрослые».

Надя не знала, как много решил тот костер из мокрых веток в ее отношениях с ребятами, а он действительно решил немало. Одно дело впечатление от человека в стенах комнаты, где заседает комсомольский

комитет, другое дело — реальная ситуация, в которой человек себя проявляет. Костер стал случайной, но важной проверкой того, что она, Надя, может, и положил начало их прекрасным отношениям. Отношениям между нею — новенькой и ими — молодыми «старожилами» аэропорта.

С того времени походы стали системой. Они входили обязательным элементом во всю их спортивную деятельность. Спорту Надя отдавала много сил и времени. Незадолго до своей гибели она сдала норму и на значок «Турист СССР».

В ее увлечении спортом всегда присутствовала моральная сторона. То есть, спортивные ситуации, в которые она попадала, проявляли ее как человека, помогали другим увидеть ее щедрость, отзывчивость, волю.

Одна из таких ситуаций: их аэропортовские спортсмены должны ехать в Тбилиси на спартакиаду. Команда укомплектована полностью, каждый вид спорта представлен, все готово. И вдруг в день отъезда девушка, которая должна была «взять» первое место по прыжкам в длину и в беге на стометровку, заболевает. Что делать? Думали недолго.

— Я ее подменю, — сказала Надя.

— А кто будет сражаться у волейбольной сетки?

— Думаю, что тоже я, — засмеялась Надя. — Команда-то у нас будь здоров. Вместе сражаться будем.

— Ну, смотри, — сказали ребята, — но если почувствуешь что...

— Тогда все силы, — подхватила Надя, — только на волейбол.

— Точно, — серьезно заключил секретарь комитета комсомола Гоги Пацация, — в волейбол мы не можем проиграть. Ни один пассажир Аэрофлота из Абхазии не поймет нас.

В Тбилиси Надя участвовала в трех видах соревнования: беге, прыжках в длину и в волейбольных сражениях.

«Когда я буду бежать, — попросила она друзей, — вы аплодируйте».

В 1969 году Надежду Курченко вновь избирают членом комитета комсомола авиапредприятия. Теперь, кроме спорта, ей поручают и культмассовые дела — то было время неудержимого расцвета «огоньков» и КВН, и в стране не было комсомольской организации, где бы не состязались юмористы и не светились бы местные «огоньки».

Надя с головой уходит в эту шумную деятельность. Она, без сомнения, уже полностью освоилась с обстановкой, новой жизнью, работой и, конечно, была счастлива. Об этом свидетельствуют ее письма домой и в Ленинград, Володе. В каждом письме она подробно рассказывает, куда летала, что видела, с кем встретилась, что узнала, пишет о новых друзьях, о привычках пилотов, о Сухуми — когда вдруг однажды проснулись они и ахнули; пушистый снег падал на море и таял на воде, и белый пар валил на набережную, тоже укрытую снегом, и на оцепеневшие от неожиданности цветы и пальмы — «невозможно об этом и рассказать, — писала она, — нужно только видеть все самому».

Письма этого периода, при всей кажущейся бессистемности их содержания, еще раз говорят о ее чрезвычайно деятельной натуре: Надя стремится все увидеть, все сделать, всюду успеть. Из писем еще раз становится ясно, что человеческая, общественная активность Нади получила дальнейшее развитие. Она не затормозилась на каком-то определенном, среднем уровне, совпадающем у некоторых как раз с моментом окончания школы или немного позже. Нет, Надина активность, задатки продолжали раскрываться щедро и стремительно, подобно весенним речкам на ее родине, когда трещит и сверкает чистый, прозрачный лед.

Она писала в своих письмах о многом, но о самом трудном испытании, выпавшем на ее долю в то время, родные узнали лишь через полгода.

Это случилось во время одного из апрельских полетов. Рейс проходил гладко, они шли вдоль горной гряды, и время полета подходило к концу. Внезапно Надю вызвали в кабину.

— Принимай меры в салоне, — твердо и спокойно проговорил командир. — Проверь аварийные люки, пусть все пристегнутся ремнями. Мы дадим для спокойствия табло.

— Подходим раньше? — спросила Надя.

— Нет, горим, — сказал командир, — у нас пожар в правом двигателе.

— Проводим гидрофлюгирование, — проговорил бортмеханик.

Она вернулась в салон, стараясь выглядеть по-прежнему. Проверила люки — так, чтобы никто не обратил на это особого внимания, а когда вспыхнуло световое табло «пристегнуть ремни»,

попросила каждого сделать это непременно, «так как самолет будет садиться при плохой погоде».

В один из последующих моментов на руках молодой женщины заплакал ребенок. Плач был отчаянным, мать никак не могла успокоить мальчика. Она попыталась встать, пройтись с ним по салону, но самолет трясло, женщина теряла равновесие. Надя с улыбкой подошла к ней, попросила сесть, предложила:

— Давайте ребенка мне, у меня хоть и нет еще опыта мамы, но я лучше стою в салоне, привыкла.

Женщина передала кричащего младенца Наде, и, как это ни странно, ребенок, ощутив чужие руки, почти сразу же сбавил тон, а вскоре и вообще притих.

Надя осторожно вернула его удивленной и благодарной матери и поспешила в кабину.

— В салоне все в порядке, — сказала она, — скоро посадка?

— Скоро, — ответил командир, — раздавай конфеты.

— Пожар кончился? — спросила она как можно спокойней.

— В самолете пожар не кончается, — назидательно произнес штурман, — в самолете его гасят.

— Так погасили?

— Двигатель вышел из строя, — проговорил командир, — садиться будем на одном.

— Понятно, — тихо сказала Надя, — на одном.

— Перед касанием сядь тоже, — напомнил Наде второй пилот. — И привяжись как можно крепче. Посадка трудная.

Надя вернулась в салон и с улыбкой (в этом случае, конечно, вымученной) стала разносить леденцы «полетные» и проверять привязные ремни каждого пассажира. Два лихих молодых абхазца затеяли препирательство — на борту всегда найдутся такие люди, уже знала Надя, но две неожиданно мощные воздушные ямы быстренько сломили их упорство, и они тут же защелкали металлическими пряжками.

Вскоре самолет пробил последний слой облаков и в иллюминаторах показалась близкая земля. Надя еще раз оглядела салон, затем села в кресло в хвостовой части фюзеляжа, пристегнула ремень и замерла в ожидании.

Самолет резко ударился о бетон полосы. Левый двигатель взревел на всю мощь, словно ликуя, что справился один, без правого, и машина понеслась мимо осветительных мачт, вращающегося радара к аэродромным строениям...

Когда люди вышли из самолета и каким-то образом разузнали обо всем, что произошло в воздухе, некоторым членам экипажа пришлось побывать в воздухе снова: их качали благодарные темпераментные южные пассажиры. Надю тоже окружили плотным кольцом и просили дать адрес, чтобы поздравить с праздниками, и давали свои адреса, чтобы могла при желании погостить.

— Ты все знала? — спрашивала у Нади милостивая женщина, актриса местного драмтеатра.

— Знала, — отвечала Надя. — Я обязана знать, — добавляла она с чувством гордости за профессию и, видимо, за себя, так как выдержала первый профессиональный экзамен.

— И при этом улыбалась? — не унималась актриса.

— Конечно, — охотно говорила Надя. — Люди видят, что бортпроводница спокойна, и им, значит, волноваться не о чем.

— Как у нас, — заключила актриса, — настроение отличное, а играть приходится плачущего человека; настроение ужасное, а по роли положено смеяться.

«Но одно дело на сцене, — хотела добавить Надя, — а другое — в небе», но промолчала, сказала об этом только подругам, рассказывая о подробностях незабываемого рейса.

Вскоре Надежду Курченко пригласили к руководству авиапредприятия.

Командир отряда торжественно сказал:

— За отличное обслуживание пассажиров на борту в условиях аварийного полета, за самообладание и смелость вручаем вам эти именные часы... Будьте всегда такой, — добавил он, — а мы постараемся, чтобы аварий было как можно меньше.

На этом история с рейсом не закончилась: подруги потребовали полного отчета, что вполне понятно. Позже, восстанавливая по памяти те разговоры, вспоминали один, ночной, самый, с точки зрения его участников, показательный.

— Ты расскажи, что почувствовала, когда командир сказал о пожаре, — спросили Надю.

— Вначале ничего, — ответила она. — Я, видимо, не поняла.

— А потом? Когда поняла?

— Я почувствовала, как замерзло мое сердце, — призналась она. — Мне показалось все это несправедливым.

— В каком смысле? — спросили ее.

— В том, — сказала она, — в каком несправедлива гибель.

— А ты сразу подумала о гибели? Не о вынужденной посадке, а о гибели?

— В общем, да, — после недолгого молчания ответила она. — Я, конечно, подумала о том, что мы не сядем.

— А как ты держалась потом?

— В общем я плохо помню лишь две-три секунды, — ответила она, — когда в груди еще был холод. Потом я вся напряглась и посмотрела на наушники командира и его голову и на второго пилота посмотрела, никогда не думала, что достаточно увидеть перед собой спокойные и сильные плечи, чтобы прошел страх... Потом со мной заговорил штурман, и я почти совсем пришла в себя.

— И все? И была спокойна до посадки? — спросили девушки.

— Нет, — ответила она, — нет, конечно. Как только я выходила в салон, а это было дважды, потому что я два раза заходила в кабину, меня снова начинало трясти. Но тут уже были пассажиры, они были спокойны, ведь ничего не знали... И я подумала, — продолжала Надя, — что, если вид спокойных людей так действует на меня, значит, и на других он действует так же... Я тоже должна быть спокойной, и я начала твердить себе: «Спокойно, спокойно, надо улыбаться, иначе увидят, что я сама не своя». Ну и заставила себя улыбаться... Потом повезло: отвлеклась, мальчишка один раскричался, успокаивала его.

Потом я влюбилась в пассажиров, — сказала Надя. — Как никогда, они были послушны, добры, только двое повыламывались насчет ремней, а так все было нормально.

— А перед посадкой ты не умирала от страха? — спросили у нее.

— Когда закончила проверку ремней и раздала леденцы, почувствовала страх снова. Я так сильно заставляла себя улыбаться, что даже в кресле, когда уже никто меня не видел, продолжала улыбаться, пока не поймала себя на этом... Больше всего я хотела, чтобы в эти минуты кому-нибудь из пассажиров что-нибудь срочно понадобилось... Срочно, чтобы нельзя было переждать. Тогда бы я

бросилась к нему и как бы опять объединилась со всеми... чтобы было легче. Но все спокойно ждали приземления.

— Ты никого не вспоминала из близких?

— Кажется, нет, — ответила она. — От этого, наверное, было бы только хуже.

— Значит, ты не почувствовала настоящего страха, — сказала одна из девушек, пережившая в свое время вынужденную посадку под Киевом.

— Видимо, это происходит у всех по-своему, — заключила Надя. — Я, кажется, уверенней теперь поднимаюсь в небо после того раза...

Этот разговор, который с бережливой точностью привели Надины друзья, был чрезвычайно важным. Он помогал почувствовать ее искренность, открытость и простоту. И не только — он говорил и о ее силе. Ведь девушке во время полета было неполных девятнадцать лет! И она независимо от внутренних ощущений владела собой, пассажиры не зря восхищались впоследствии ее самообладанием...

А еще не так давно, после первого самостоятельного полета, Надя признавалась, что больше всего опасалась трех вещей.

— Первое, чего я опасалась, — со смехом рассказывала она подругам, — это случая с ребенком, ну, знаете, если так раскапризничается, что я никак не смогу помочь матери его успокоить. Второе — это случая со взрослым, если вдруг попадется такой человек, которому не смогу в чем-то угодить, и он начнет распекать меня при всех пассажирах. Третье — это случая с родами на борту. Ведь сколько раз газеты писали — из аэропорта вылетело, например, сто пассажиров, а в воздухе появился сто первый... счастливая мать, врачи в аэропорту и т. д. Этого боялась больше всего!

Продолжалась жизнь, продолжались полеты.

В 1970 году Надю снова, в третий раз подряд, избирают членом комитета комсомола. Почти сразу же у нее появляется и новое поручение: она становится заместителем начальника «Комсомольского прожектора» авиапредприятия. Нетрудно себе представить, сколько времени и энергии отнимало у нее это поручение, если знать ее отношение к делу. Сохранились комсомольские документы этой деятельности Н. Курченко. За короткий срок она возглавила рейды «КП»: «Цена рабочей минуты» — это в авиации, как известно,

архиважно, «Твоя жизнь в общежитии», «За высокое обслуживание пассажиров» и другие. И никаких холостых, мучительно фальшивых заседаний, столь частых в иных местах, никаких пустых разговоров и многомесячных подготовок. Все энергично, серьезно, с большой пользой для дела.

В мае 1970 года Надя отправилась домой в отпуск. Это была ее последняя поездка к родным.

Все в те дни было замечательно, и даже грустная история с бабушкой заставила их тогда посмеяться. Надя рассказала бабушке о работе, о полетах, говорила о Володе, поделилась планами: «Буду поступать в институт, мне надо работать и учиться», и бабушка, растроганная откровенностью своей теперь уже взрослой внучки, ответила ей в общем-то тем же. «Пойдем, — сказала она, — пойдем, я тебе покажу, что себе приготовила. — И действительно показала: белье, которое приготовила на черный день. — Умру, — сказала она, — его на меня и наденут».

Надя посмеялась тогда вместе со всеми, а потом обняла бабушку, чуть не плача, сказала: «Жизнь сейчас хорошая... Тебе жить да жить».

Через пять месяцев те же слова, но уже о самой Наде были сказаны на всю страну Алексеем Маресьевым: «Ей бы жить да жить».

Да, в те дни, дни ее последнего отпуска, все на ее родине было замечательным. С утра до вечера Надя возилась с младшими сестрами и братом, проводила в разговорах с матерью, встречалась со школьными друзьями и преподавателями. Когда закончился отпуск и она уезжала в Сухуми, каждый желал ей больших успехов и большого счастья. А ее матери, Генриетте Ивановне, говорили: «Хорошо начала жизнь Надя, просто хорошо».

Автобус, как и прежде, в день ее первого отъезда в неизвестные края, шел по разбитой мокрой дороге, и так же лил дождь, и грядущее опять поднималось прямо над дорогой, перед самым автобусом, но теперь уже было иным, исчезла прежняя неопределенность, все больше и больше оно походило на реальную жизнь, в которой вот-вот откроются новые горизонты и над ними поднимется новое грядущее, к которому можно будет отправиться снова...

Шел дождливый теплый май.

Теперь шел октябрь. Над домом, в котором мы разговаривали о Наде, снова пролетел самолет.

— Вот и все, — проговорила Минина. — Все.

Пилоты и бортпроводницы, собравшиеся в Надиной комнате, подавленно молчали. Каждый рассказал и вспомнил о Наде самое лучшее и самое важное, но ни один из них при этом не испытал облегчения. Они стремились создать образ Нади, но, конечно, чувствовали, что жизни не равно ничто — ни образ, ни их слова, ни их боль.

Перед нашей встречей Минина провела свой самый трудный телефонный разговор. Она звонила в Удмуртию. Ей предстояло сообщить Генриетте Ивановне о гибели Нади. Когда их соединили, она смогла лишь сказать: «С Надей плохо, срочно вылетайте».

— Но она жива? — доносился далекий голос матери. Минина молчала и тихо плакала.

— Но она жива? — звучало в трубке.

И кто-то вместо Мининой, ее голосом сказал:

— Да.

Провожая нас взглядом, Дуся Минина проговорила скорее, кажется, для себя:

— Я представляю Надю в ее последний момент... Хотя не знаю подробностей, но ясно вижу, как она повернулась, как посмотрела в глаза бандитам, напряглась... И стала на защиту экипажа, пассажиров. Я все это вижу...

...Как Надя жила, было теперь известно. Предстояло узнать, как она погибла.

* * *

Под крылом самолета лежала темно-зеленая Колхида. Над коричневой водой Риони поднимались октябрьские испарения. Пилот маленького самолета, которым мы летели, не произнес за время рейса ни слова, но когда прошли траверз Зеленого мыса, он сказал:

— Вот здесь, в этом месте неба, убили Надю.

Через несколько минут после приземления заместитель министра гражданской авиации СССР А.А. Попов познакомил нас со вторым пилотом Надиного самолета — Сулико Шавидзе. «Он вам расскажет о ситуации на борту», — сказал Попов.

Шавидзе оказался совсем молодым человеком. Он был возбужден, но старался собой владеть.

— Я вам расскажу о нашей бортпроводнице Надежде Курченко, — начал он, забыв о пожелании заместителя министра.

Тут же, в кабинете начальника Батумского аэровокзала, заканчивал разговор по телефону высокий человек в коротком белом халате, по всей вероятности, врач. Он положил трубку и, перебив Сулико, сказал:

— Сулико, пройдите с товарищами к «Скорой помощи», там лежит Чахракия. Даю вам на разговор с ним пять минут. Мы его увозим.

«Скорая помощь» стояла за кипарисами, был виден лишь ее капот. Рядом с машиной беседовали члены комиссии. Они, видимо, только что закончили разговор с командиром экипажа Георгием Чахракия. Он лежал на носилках в измятом темно-синем кителе и не двигался — пуля задела позвонок. Его глаза были воспалены, обескровленные щеки впали, он был небрит.

Врач пришел к машине следом за нами. Он снова напомнил о времени. Его можно было понять. Мы и сами видели, что вид у Чахракия был скверным, и нас не надо было торопить. Мы решили сократить разговор до одной фразы: «Желаем скорейшего выздоровления», — но он, узнав, откуда мы, еле слышно сказал:

— Я расскажу вам только о бортпроводнице, как она погибла, о Наде... а остальное расскажет Сулико, — и повел глазами в сторону Шавидзе.

Врач склонился к его лицу и приложил ко лбу влажную марлю:

— Успокойся.

— Я уже спокоен, — произнес безучастно пилот, и его тон был при этом таким, что в нем не чувствовалось ни одной искры, а был лишь пепел.

...Им дали разрешение на взлет в 12 часов 30 минут дня. Они взлетели чисто и привычно. В пилотской кабине было спокойно и солнечно.

На месте командира экипажа был Георгий Чахракия — командиром он стал лишь полгода назад. Сулико Шавидзе был вторым пилотом. Оганес Бабаян — механиком, Валерий Фадеев —

штурманом. Пятым членом экипажа была бортпроводница Надя Курченко.

Солнце делило салон на две равные зоны: сиреневую и серо-голубую. Пассажиры рассматривали землю и рифленую плоскость моря, которая плавно, по мере виража, поднималась над привычным горизонтом.

Никто не знает принципа, лежащего в основе, казалось бы, совершенно неуправляемого процесса: подбора пассажиров на тот или иной рейс. Но принцип такой есть, он наверняка существует, иначе как можно объяснить тот факт, что один рейс привлекает на борт самолета еще недавно совершенно незнакомых, но одинаково шумных и непоседливых людей, а другим рейсом отправляются в полет люди совершенно иного склада, темперамента и тоже, разумеется, никогда и нигде раньше не встречавшиеся друг с другом? Многие бортпроводницы смеются или задумываются над этой загадкой, и Надя размышляла над ней не раз. Она столкнулась с этим явлением почти сразу, как только начала летать.

Сегодня пассажиры были на редкость спокойными. Она наверняка была им рада.

Она остановилась у дверцы багажного отделения, расположенного в Ан-24 в передней части салона, рядом с пилотской кабиной, и, приветливо улыбнувшись, сказала:

— Добрый день, уважаемые пассажиры, прошу минутку внимания.

— Здравствуйте, — тут же ответила Наде четырехлетняя девочка, ибо ее учили сразу отвечать на приветствия, и все вокруг засмеялись. Девочка была единственной пассажиркой, представляющей здесь, на борту самолета, второй по величине после взрослого населения народ на земном шаре — народ детей.

К счастью, больше в салоне детей не было.

— Наш полет, — продолжала Надя, еле сдерживая смех, — выполняет экипаж Грузинского управления гражданской авиации. Командир корабля — пилот первого класса Георгий Чахракия... Полет будет проходить на высоте четырех тысяч метров, со средней скоростью четыреста пятьдесят километров в час. Время в пути — двадцать пять минут.

Надя снова взглянула на сияющее лицо девочки и весело добавила:

— Желаем вам приятного полета! Благодарю за внимание!

Когда она раздавала леденцы, один из пассажиров, В.Г. Меренков, улыбаясь, сказал:

— У вас хорошо, а дома лучше.

— А где ваш дом? — спросила Надя.

— В Ленинграде, — просто ответил он.

Возможно, название города, в котором учился сейчас ее Володя, отозвалось в сердце Нади теплым толчком. Во всяком случае, как вспоминал позже ее собеседник, она очень искренне и охотно отозвалась на его слова и проговорила:

— Конечно, в Ленинграде хорошо, даже если дом здесь.

— Так приезжайте, — сказал пассажир, — мы любим всех, кто любит Ленинград.

Он склонил голову к своей жене, сидящей рядом с ним, в соседнем кресле, и она, приветливо кивнув Наде, поддержала приглашение:

— Вам нетрудно, в ваших руках авиация. Возможно, встретив этих приветливых людей, Надя вспомнила о той супружеской паре, которая так когда-то ее поразила: знаменитый хирург, попавший в катастрофу, и его жена, врач, подчинившая свою судьбу его великому жизнелюбию... Как давно это было, если знать, что твоя жизнь обрывается сегодня. Но этого она не знала.

— Спасибо, — сказала она ленинградцам, — я ведь действительно собираюсь в ваш город...

Ни Надя, ни они не предполагали, что произойдет в следующие несколько минут.

В.Г. Меренков не думал, что слова, которыми они обменялись с Надей, будут в их общении единственными и последними. Его жена Ирина Ивановна не знала, что вскоре с горечью произнесет о Наде фразу, которую прочитают и услышат по радио миллионы людей: «Наде — нашу вечную любовь».

Раздавая конфеты, Надя не знала, что угощает ими и своих убийц.

Обмениваясь улыбками с пассажиркой Зинаидой Ефимовной Левиной, Надя удивилась ее отказу взять конфеты и мягко настояла:

— Это «Взлетные». Они снимают неприятные ощущения в ушах...

Это-то Левина знала. Не знала она другого: что вскоре их самолет окажется на территории Турции, на Трабзонском аэродроме, и она, врач по профессии, будет свидетельствовать смерть Нади и спасти штурмана экипажа Валерия Фадеева, истекающего кровью, а затем, когда турецкие медики станут забирать раненых в госпиталь, она, советский врач, настоит на том, чтобы ее взяли с ними, и там, в госпитале, она даст свою кровь — критическую для себя дозу, и еще будет участвовать в нескольких операциях, сохранивших жизнь Чахракия и Фадееву...

— Спасибо, — сказала она Наде. — В Сухуми без дождя?

— После обеда обещали...

Московский юрист Ю. Кудрявых, улыбаясь Наде, тоже не знал, что через три минуты он будет беспомощно, обреченно наблюдать за бандитскими действиями уголовников, будет видеть убийство, но не в силах будет помочь этой девушке и экипажу, ибо и он, и другие пассажиры будут взяты под прицел одним из бандитов и увидят на его поясе гранаты, которыми он пообещает тут же взорвать самолет, погубить всех пассажиров, если кто-то попытается вмешаться в их операцию.

Надя вернулась в свое рабочее помещение, узкий отсек. Она открыла бутылку «Боржоми» и, дав воде настреляться сверкающими крохотными ядрами, наполнила четыре пластмассовых стаканчика. Поставив их на поднос, она вошла в пилотскую кабину. Было жарко, на серой обшивке играло солнце, и Надя решила не тянуть с водой.

— Будете пить? — весело спросила она.

— Конечно, — отозвался Чахракия, — немедленно и до конца.

— Пейте на здоровье, — сказала она.

Опершись левой рукой о спинку командирского кресла, к которой уже через две минуты он, командир, теряя сознание, прижмется простреленной спиной, чтобы сохранить в организме хоть немного крови, Надя театральным жестом поднесла ему простецкий аэрофлотовский поднос, и Жора взял крайний стаканчик.

Тем же жестом она поднесла воду Сулико. Затем обратилась к Оганесу и Валерию:

— Составьте им компанию.

Валерий взял стаканчик правой рукой, которая в момент скорого ранения окажется парализованной, и микрофон связи, таким образом, попадет в плен, ибо никто не сможет разжать руку Валерия, а он будет без сознания... и, залпом выпив воду, сказал:

— Спасибо.

Оганеса тоже не пришлось уговаривать: он тут же распорядился своею порцией «Боржоми», справедливо считая «Боржоми» лучшей водой в мире.

Затем он поудобнее устроился на своем не очень-то удобном месте, которое через две минуты станет для раненого Оганеса местом заключения — бандит не даст ему сделать ни одного движения, — и сказал Наде:

— Спасибо, Надюша.

А Сулико прокричал с правого кресла второго пилота:

— Тебе-то самой не жарко? Ты пила?

— За меня не беспокойтесь, — ответила Надя, — я пью много, но своевременно.

— Все спортсмены такие, — сказал с удовольствием Сулико. — Все, и ты такая.

Они были рады ее присутствию в кабине — красивой, на редкость приятной девушки, и она наверняка чувствовала это их отношение к себе и, конечно, радовалась тоже. Возможно, и в этот раз она с теплом и благодарностью подумала о каждом из этих ребят, легко принявших ее в свой профессиональный и дружеский круг и относящихся к ней как к младшей сестре, с заботой и доверием.

Она сказала:

— Благодарю за скорость, приду через десять минут. С «Боржоми»! — и вышла.

Безусловно, у нее было замечательное настроение — это утверждают все, кто видел Надю в последние минуты ее хорошей, счастливой жизни.

Она прикрыла за собой вибрирующую от рева близких двигателей дверцу и шагнула в свой отсек.

В этот момент и раздался звонок: бортпроводницу звал кто-то из пассажиров.

Поразительно устроена жизнь: как часто, в какое-то из ее мгновений, совершенно немислимым образом встречаются лицом к

лицу отличный человек и подлец. И подлец уничтожает отличного человека. И тут можно онеметь от отчаяния, если не надеяться хотя бы на то, что эти встречи имеют все же высокую цель: потрясти многих, всколыхнуть людскую совесть, пробудить ненависть к насилию и очистить жизнь от грязи, предательства и сволочизма и, может, научить более пристально распознавать их еще в зародыше и пресекать, если хоть это под силу!

Какое еще может быть объяснение?

Может, его нет.

Он сидел рядом с ее отсеком.

Она подошла, он сказал:

— Передай срочно командиру, — и протянул ей какой-то конверт.

Она взяла конверт, и их взгляды наверняка встретились.

Она наверняка удивилась тому, каким тоном были сказаны эти слова.

Она не стала ничего выяснять и шагнула к дверце багажного отделения — дальше была дверь пилотской кабины.

Вероятно, ее ощущение было написано на ее лице — скорее всего. А чувствительность волка, увы, превосходит любую другую. Вероятно, как раз из-за этой высокой чувствительности бандит усмотрел в глазах Нади неприязнь, подсознательное подозрение, пусть только тень опасности. Этого оказалось достаточно, чтобы больное воображение объявило тревогу: провал, разоблачение, приговор. Самообладание бандита ему отказало: он буквально катапультировался из кресла и бросился вслед за Надей.

Она успела сделать лишь шаг к пилотской кабине, когда он распахнул дверцу, только что ею закрытую.

Она закричала:

— Сюда нельзя!

Он приближался как тень животного.

Она наверняка уже поняла: перед нею бандит; а в следующую секунду и бандит понял: она наверняка поломает им план перелета за границу.

Она закричала снова:

— Сюда нельзя! Вернитесь на свое место!

Но он доставал оружие — нервы бандита сгорели дотла.

Надя не знала его намерений. Она понимала только одно: он абсолютно опасен! Опасен для экипажа, опасен для пассажиров.

Она ясно увидела револьвер.

Между ними был метр

Она бросилась к дверце кабины и, распахнув ее, крикнула что было силы: «Нападение! Он вооружен!» В то же мгновение захлопнула дверцу и стала лицом к разъяренному таким поворотом дел бандиту. Он так же, как и экипаж, услышал ее слова — без сомнения.

Что оставалось делать?

Она приняла единственное решение: не пропускать бандита в кабину любой ценой.

Он мог быть маньяком и перестрелять экипаж.

Он мог быть врагом и перестрелять экипаж, и сесть за штурвал.

Он мог быть и тем и другим...

Он прыгнул к ней, попытавшись сшибить ее с ног. Упершись руками в стенки, она удержалась и продолжала отчаянно сопротивляться.

Он выстрелил в Надю. Она удержалась на ногах и сильнее прижалась к пилотской двери.

Чахракия и Шавидзе оценили ситуацию мгновенно. После предупреждения Нади они резко прервали правый разворот, в котором находились в минуту нападения, и, услышав выстрел, тут же, синхронно, завалили ревущую машину влево, а затем вправо. В следующее мгновение Чахракия с силой потянул штурвал на себя, и самолет, задрвав нос, пошел круто вверх: они старались сбить с ног нападающего, полагая, что опыт его в этом деле невелик, а Надя выстоит. Пассажиры были еще с ремнями — ведь табло не гасло, самолет только набирал высоту!

В те же секунды в салоне, увидев бросившегося к кабине пассажира и услышав выстрел, Аслан Кайтанба, а за ним и его соседка Галина Кирьяк, мгновенно расстегнули ремни и вскочили с кресел. Они были ближе всех к месту, где сидел преступник, и первыми почувствовали беду.

Однако их опередил все же тот, кто сидел рядом с убежавшим в кабину. Молодой бандит — а он был намного моложе первого, ибо они оказались отцом и сыном — выхватил обрез и выстрелил вдоль салона. Пуля просвистела над головами потрясенных пассажиров.

— Ни с места! — заорал он. — Не двигаться!

В этот момент самолет начало швырять из стороны в сторону — пилоты старались.

Молодой выстрелил снова, и пуля пробила обшивку фюзеляжа и вышла навывлет. Он распахнул серый ублюдочно-нищенский плащ, и люди увидели гранаты — гранаты были привязаны к поясу.

— Это для вас! — закричал он. — Если кто-нибудь встанет, расколем самолет!

Было очевидным, что это не пустая угроза — в случае провала им было нечего терять.

Несмотря на эволюции полета, старый бандит оставался на ногах. Но оторвать бортпроводницу от двери он не мог! Озверев окончательно, подгоняемый пальбой своего выродка в салоне, он снова выстрелил в упор — в раненую, истекающую кровью Надю...

...Только теперь она дрогнула, и обессилела, и ослабла, и уронила руки вдоль тела, и уступила дорогу, и сдалась, и упала на металлический пол самолета, звенящий, как двадцать миллиардов сухумских летних цикад, но все это было уже за границей жизни, в большой пустоте и мгле, где цены на все одни и где всем все равно, где лишь ничто соединяется еще с ничем, не образуя уже ничего, кроме вечности, но и вечность здесь не подлинна, ибо где нет; человека, там и вечность ничто... а здесь, по эту сторону великой границы, где остались сражаться и жить ее друзья и сорок четыре незнакомых человека, она не дрогнула, и не обессилела, и не уступила, и не опустила руки, и не сдалась. Она победила!

Дальше была бойня.

Чахракия ранен.

Фадеев ранен.

Бабаян ранен.

Пуля, летевшая в Шавидзе, попала в металлический обод, обрамляющий спинку пилотского кресла, и скользнула в обшивку.

— В Турцию, в Турцию! — орали оба бандита, стреляя направо и налево. — Раненые не мертвые, дотянете!

Нераненых они смертельно боялись!

За спиной пилотов оставались сорок четыре пассажира.

— Попробуетесь сесть в Союзе — взорвем самолет!

У пилотов не было выхода.

Шавидзе вел самолет как в кошмарном сне — в залитой кровью друзей кабине, под дулами обреза и револьвера, под угрозой взрыва гранат. Когда в сером сне реальности показался прибрежный турецкий аэродром, молодой пилот дал сигнал аварийной посадки, выпустив в небо над берегом сначала красную, а затем зеленую ракету, и повел расстрелянный Ан к бетонному пирсу чужой воздушной гавани...

* * *

Ничто, ни один общественный инструмент не способен так быстро, повсеместно и с такой мерой точности определить нравственное состояние общества, как личные письма людей, взволнованных тем или иным событием.

Тысячи писем и телеграмм хлынули в редакцию, в ЦК ВЛКСМ, правительственные организации. Письма эти и подобные им есть и останутся замечательными документами человечности, патриотизма и чистоты.

Их цена по-настоящему высока.

В связи с ними хочу повторить то, что уже однажды написал после чтения такой же почты: до конца своих дней человек, знакомясь с историей чьего-то предательства или преступления, ненавидит того, кто несет зло. В ненависти есть пламя, оно очищает. Но когда человек узнает о мужественном поступке другого человека, он, как правило, испытывает желание быть похожим на сильного. В этом желании пламени больше, чем в гневе, оно и устойчивей и долговечней. Главный смысл рассказов о человеческом благородстве и мужестве — в пробуждении именно этого пламени, этого желания.

И подвиг Нади его пробудил.

Пока Генриетта Ивановна, мать Нади Курченко, находилась в пути, торопясь из Удмуртии в Сухуми, первые письма на ее имя уже шли в Москву.

«Дорогая мама Нади Курченко! Вы лишились дочери, и никто ее Вам не заменит. Но знайте, что мы с Вами, все мы теперь Ваши дочери и сыновья. Крепитесь, пожалуйста. Кедров, Жилинская, Гапоненко, Попов, Горький».

«Дорогая мама! — обращались к Генриетте Ивановне воины-закавказцы Галиев, Димитрюшин, Лунев, Джораев, Сергеев и Гебрелян. — Мы восхищены бесстрашием Вашей дочери. Она, не пожалев себя, сердцем закрыла своих товарищей. Закрыла от озверевших бандитов, потерявших человеческий облик. Надя не дрогнула и до конца выполнила свой долг комсомолки. Для нас, молодых воинов, ее жизнь и подвиг навсегда останутся ярким примером».

«Поступок Вашей дочери — это то, что называется подвигом. Но не потому, что она погибла. Нет! Это подвиг потому, что, не думая о гибели, не думая об опасности для себя, она защитила тех, кому, по ее мнению, угрожала опасность большая, чем ей самой. Она знала: защитив экипаж, она тем самым обезопасит пассажиров, даст пилотам возможность благополучно приземлить самолет. Мы гордимся подвигом Вашей дочери, нашей ровесницы, и обнимаем Вас и скорбим с Вами вместе. Курсанты Высшего военного авиационного училища».

«Дорогая Генриетта Ивановна! — писал Дима Белов из Калинина. — Наде мы уже ничего сказать не можем. Но Вам говорим: спасибо Вам за дочь, она многим из нас, школьников, поможет стать на ноги, быть крепче и мужественней. А чем помочь Вам? Я и мои друзья готовы сделать для Вас все».

«Вчера на комсомольском собрании ткачей Первой фабрики города Чайковского, — сообщал Ф. Гавришин, — решили посадить аллею имени Нади. Сегодня в парке уже белеют березки. Они словно символ Родины, которую она так любила».

«Здравствуйте, Генриетта Ивановна! Смерть Нади — это горе всех нас, — писали школьники из Смоленска. — Но каждый пионер и комсомолец готов встать на защиту советских людей».

«...Да, жизнь Нади отнята бандитами. Но ее жизнь им не досталась — им достались вечный позор и наше проклятие, — писала Л. Шицко из Минска. — Жизнь Нади принадлежит тем, кого она спасла, она принадлежит Родине. В этом и заключается справедливость и сущность подвига».

«Дорогая Генриетта Ивановна! Примите наше глубокое соболезнование... В газетах написано, что у Нади есть маленький брат и бабушка, видимо очень старая. С кем они сейчас? Сообщите, готовы

оказать помощь и вылететь к ним, пока Вы прощаетесь с Надей. Н. Илларионова, В. Моница, Н. Басова, студенты. Москва».

Рабочие из Ворошиловграда телеграфировали: «Уважаемая Генриетта Ивановна! Мы, строительная бригада комсомольцев, ровесники Вашей дочери Надежды, решили символически зачислить ее в свою бригаду. Мы будем помнить ее всегда!»

«Когда сможете, приезжайте к нам. У нас, может, хоть немного отойдете от горя. Мы будем Вам в этом помогать. А первое время даже разговорами не будем мешать... Будете ходить на морской берег, младший наш сын Сережа будет Вас провожать туда, а встречать будем все. Приезжайте — к нам ведь многие в город приезжают, чтобы отвлечься от забот и бед, правда, конечно, не от такого горя, как Ваше. Обнимаем Вас, мать и нашей теперь Нади. Семья Нестеровых. Севастополь».

«...Такая шла хорошая жизнь и дома, и в школе, и никогда у нас не было настоящего горя. А теперь, когда узнала о Наде, поняла — это и есть мое первое настоящее горе. Ох, какое горе. Наташа С. 5-й «А». Кимры, Калининская область».

«Дорогая мама, — обращались к Г.И. Курченко сержант А. Перминов и рядовой В. Кащенко. — Мы гордимся Надей, ее поступком, ее смелостью. Ее подвиг заставил нас пересмотреть нашу жизнь».

«Уважаемая Генриетта Ивановна! Я мать — я знаю, ничто не сможет утешить сейчас Вас. Но вспомните, как много еще в жизни горя. Если оно до сих пор неизбежно и часто нелепо обрывает чьи-то жизни, то смерть Нади сделала ее жизнь вечной. Поверьте, ее долго будут помнить, любить и следовать ее примеру. В мирное время такое бывает нечасто. Скорбя — гордитесь. Обнимаю Вас. Я — мать, которую постигла та же участь — потеряла ребенка. Д. Го-ва. Москва».

«...Она забыла, вычеркнула из своего сознания не только все личные интересы, но главный интерес каждого человека — жить. Это и есть подвиг. Игорь Соколов. Ленинград».

Таких строк много — они взяты лишь из первых писем.

«...Об этом трудно говорить. Мы, как и все советские люди, тяжело переживаем это событие, героическую смерть комсомолки.

...Произошла драма, в которой были совершены подвиг и преступление. Каждое ведомство, каждая сторона, к этому делу

причастная, по-своему оценивают инцидент. И только пресса находится в положении, при котором нужно давать наивысшую, не связанную с функциональными соображениями оценку событию.

...Мы стали истинными истолкователями происшествия. И прежде всего истолкователями гибели Нади Курченко. Мы рассказали о ее последних минутах, но не только об этом. Мы пошли дальше самого инцидента, посмотрели, что успела эта девушка сделать за свои неполные двадцать лет, как она жила, о чем мечтала, что любила, и мы увидели, что это настоящая фигура современного молодого героя, воспитанием которого мы занимаемся... Простая девушка, работавшая на второстепенном рейсе, который и длился-то всего двадцать пять минут, оказалась перед ситуацией, где ей надо было решать за секунды, как себя вести. Она, не задумываясь и не колеблясь, поступила так, как должен поступить настоящий человек. В этом огромная значимость происшедшего». Это отрывок из стенограммы выступления главного редактора «Комсомольской правды» в Голубом зале.

Много говорилось и писалось слов в адрес матери и дочери. Но мать остается матерью. Услышанные и прочитанные слова еще долго не могли стать ей надежной опорой, и не смогли бы до тех пор, пока в ее сердце оставалась другая опора — отчаянное неверие в гибель дочери.

* * *

Ан-24 вырулил на полосу Сухумского аэродрома.

— Добрый день, уважаемые пассажиры, — сказала взволнованно бортпроводница, — вы находитесь на борту самолета имени Нади Курченко...

Самолет оторвался от земли и взял курс на Батуми.

Все как обычно. Самолет как самолет. Только рядом с местом гибели Нади ее большая цветная фотография под плексигласом.

Самолет как самолет. Только рядом с местом ее подвига мемориальная доска: «Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении комсомолки Надежды Курченко орденом Красной Звезды».

Все как обычно. Только чувство такое, будто долго ждал встречи с хорошим другом, дверь отворилась, и тебе говорят: друг твой погиб, вот его письма.

Надя с доброй улыбкой смотрит на пассажиров.

...Это был первый полет ее самолета после ремонта. Один из участников ремонта, молодой рабочий авиационного завода Александр Чубов, даже написал о том, как они старались это сделать лучше и побыстрее, и я взял его замечательное письмо с собой, чтобы показать пилотам. Александр писал: «5 ноября к нам прибыл для ремонта самолет Аэрофлота Ан-24 № 46256. У нас шел холодный дождь, был сильный ветер на бетонке... Комсомольцы, все рабочие завода решили провести ремонт самолета в кратчайший срок. Решили: работы будут вести специалисты бригад коммунистического труда. Почему? — спрашивал Александр Чубов. И отвечал: — Мы часто говорим о патриотизме, о воспитании этого чувства. Все это очень правильно, но порой воспринимается как-то буднично, что ли. Но здесь, в этом раненом самолете, у разбитой дверцы в пилотскую кабину, вот здесь, где упала Надя, по-особому остро воспринимаешь, чувствуешь значение этих слов...»

Вот так, и самолет действительно был отремонтирован и доставлен в Сухуми в рекордный срок.

За несколько минут до отлета на нем в Батуми я увидел вдруг знакомого парня в пилотской форме. Он стоял на сухой бетонной площадке и улыбался.

Мы шагнули навстречу друг другу — это был Сулико Шавидзе, второй пилот Надиного самолета...

— Нет, — сказал он после долгих приветствий, — я не лечу. Я пришел посмотреть, как он поднимется в небо, — и он посмотрел на борт № 46256.

Я спросил, как его дела. Он ответил, что очень хорошо. Он по-прежнему летает вторым пилотом на Ан-24,

— А как дела у твоего бывшего командира Жоры Чахракия? — спросил я.

— Хорошо, — сказал он. — Лучше. Он уже ходит! С палочкой пока ходит.

Солнце было еще по-утреннему низко, и рядом с нами легла длинная темно-синяя тень. Мы оглянулись и увидели: к нам идет,

улыбаясь, Оганес Бабаян, механик Надиного самолета!

Мы обнялись, и он сказал:

— Вот провожаем в небо. Летишь? — и кивнул в сторону готового к взлету самолета.

— А когда ты в небо?

— Уже скоро, — с удовольствием сказал он. — Врачи выпустили в пробный рейс.

— Замечательно. А Валерий, штурман?

— Тоже получше, — ответили они. — Все возвращаемся к делам.

...И еще одна встреча — с Гоги Пацация, секретарем комитета комсомола аэропорта. Он показал на бумаге: готовимся к конференции. Тут вот о Наде, отчеркнул он карандашом строки в своем выступлении. Я взял страничку и прочитал: «Мы гордимся тем, что о нашей комсомолке пишут стихи, слагают песни, ее именем называют вершины гор, Дома пионеров, лучшие рабочие бригады, пионерские дружины... Мы решили ежегодно проводить конкурсы на лучшего работника отдела перевозок и службы бортпроводников. Победителям будет вручаться переходящий вымпел и приз имени Нади Курченко...» (Прерву это место в выступлении секретаря и скажу, что идея с конкурсом в аэропорту уже через год была реализована во всесоюзном масштабе. Первый такой конкурс Министерство гражданской авиации СССР и ЦК ВЛКСМ провели здесь, в Сухуми. — Г.Б.) Продолжаю цитировать выступление: «Комитет комсомола также решил проводить в Сухуми спортивные турниры по волейболу и легкой атлетике среди авиаторов братских республик, посвященные Наде Курченко...»

Я вернул Гоги страничку.

Он сказал:

— Мы продолжаем получать очень много писем, сообщений, связанных с именем Нади. Не только от советских людей, вот письма из Польши, ГДР, эти вот только за последние дни: в чехословацком городе Тршевич-Борови-иа на заводе имени Густава Клемента одна из бригад социалистического труда стала носить имя Нади Курченко... «В честь отважной комсомолки вошли с предложением назвать покоренную группой альпинистов безымянную вершину в массиве Осман-Тала Гиссарского хребта пиком Надежды...»

А это уже наши, — с улыбкой продолжал Гоги. — Слушай: «Комсомольцы Сухумского ботанического сада обратились к старшему сотруднику, кандидату биологических наук В. Колоновской с просьбой назвать один из выведенных сортов хризантем именем Нади Курченко... Ботаник выполнила нашу просьбу. Именем Нади назван теперь сорт крупноцветной хризантемы, который отличается нежностью окраски, оригинальной формой и ранним сроком цветения...»

На столе лежали вырезки из журналов, газет/. В одной из них я прочитал: «На юге Молдавии есть город Чадыр-Лунга. В нем — ковровая фабрика, где работает комсомольско-молодежная бригада имени Нади Курченко... На сэкономленном сырье девушки ткут ковер и собираются его подарить комсомольцам Удмуртии, где Надя училась к закончила школу. В бригаде шесть человек. Список бригады открывает Надя...» Еще одна вырезка: «Прошло немного времени с того дня, когда была перерезана алая лента у входа в этот музей. Но уже сотни учащихся соседних городских и сельских школ побывали здесь. Приходят в музей и пожилые люди, чтобы поближе познакомиться с короткой жизнью рядовой комсомолки Нади Курченко... У портрета Нади юношам и девушкам вручают комсомольские билеты, пионеры школы-интерната № 4 принимают здесь торжественное обещание быть такими, как Надя...»

Мы простились, Гоги пожелал хорошего полета.

Самолет Нади высоко летит над морем, и море спокойно, как луг

Надя не любила смотреть на море сверху. «Сверху море — это просто очень много спокойной воды, — говорила она. — Даже если на море шторм, все равно вода с высоты кажется спокойной, только с черточками волн».

Зато вблизи смотреть на море она очень любила. Когда они приходили «на камни» в ласы шторма, Надя подолгу, не отрываясь, наблюдала за тем, как волны, налетая за дебаркадер, с утробным грохотом разбивались о камень и тяжело взлетали в небо, дробясь на брызги лишь в самой короне волны. Была волна, и нет! А следующая уже с ужасающим гулом шла на каменную крепость, и снова все повторялось с отлаженной точностью, как и с первой волной, и с тысячной, и с миллионной. Только основательно намокнув в соленой мокрой пыли, которую ветер сносил с места сражения моря и суши,

они уходили наконец от камней. И, продрогшие, шли в кафе и пили горячее какао и были при этом счастливы!)

...Мы называем самолеты и пароходы именами дорогих нам людей, чтобы эти люди всегда находились с нами, были среди нас. Мы обращаемся к ним в трудные минуты испытаний, обращаемся в раздумье. Они помогают нам почувствовать ответственность за все происходящее вокруг — подлинную ее глубину...

Самолет подлетает к Зеленому мысу...

Наши чувства к героям, наш интерес к их жизни, их подвигу никак не зависят от хода времени. Годы отделяют нас от событий, но не от людей, в них участвовавших. События остаются далеко позади, а люди идут рядом с нами...

Каждый день, приходя на работу, я смотрел письма, которые вносили в редакционный кабинет. Со дня смерти Нади их приносили каждое утро, приносили днем и приносили вечером. Улетая на встречу с Надиным самолетом, я знал, что писем уже более четырех тысяч. Они продолжали идти, внимание людей не ослабевало, но характер почти менялся. В строках писем уже было больше размышлений, диалогов с Надей, раздумий о себе, своем месте в жизни.

Некоторые из них я взял с собой и предложил почитать экипажу.

Одно письмо обошло почему-то всех.

«Я читала о Наде, и мне казалось: разучусь улыбаться — так было горько, — писала свердловчанка Марина Сальникова. — Надю я раньше, конечно, не знала, но теперь она стала моим близким другом. Я стараюсь представить ее дома, в школе, на работе... Проходит время. Я храню газету с фотографией Нади. Ей было девятнадцать, почти столько же и мне... В дни, когда газеты писали о бандитском нападении на Ан-24 и ее подвиге, в нашем большом городе у газетных киосков выстраивались длинные очереди. Читали прямо на ходу или присев тут же на скамейку. Я помню, как я читала и как менялась. Да! Менялась... Раньше я боялась летать — лучше уж на поезде. Но теперь в сердце не было больше трусости. Я хочу тоже стать бортпроводницей. Я мечтаю обязательно побывать в Сухуми, принести цветы в парк, где похоронена Надя, побродить по летному полю, откуда уходил в рейсы ее самолет, посмотреть в глаза ее друзей и сказать им, что я готова прожить жизнь так же, как Надя. Всей жизнью своей готова отомстить за кровь пилотов, за простреленное сердце

Нади Курченко, за ее счастье, которое не сбылось, за безмерное горе ее матери... В письме моем столько невысказанного, но главное — я буду всегда сверять теперь свою жизнь, свои поступки с Надиными. Она близка мне во всём».

Что можно сказать? Людям свойственно чувство сопричастности с чьей-то героической жизнью, и трижды обостряется это чувство, когда человек вдруг увидит, узнает и поймет, что герой, совершивший яркий поступок, был вместе с тем очень земным, очень близким ему по мыслям, по отношению к жизни, к ее будничным делам и заботам. «Он такой, как я, — рассуждал один читатель в письме. — Значит, я должен быть таким, как он, в трудном испытании».

А Надин самолет летит. Самолет как самолет. Полет как полет.

Пусть память о Наде помогает в полете нам всем.

Геннадий БОЧАРОВ

Михаил МОРОЗ

Хлеб стоял стеной. Стебель к стеблю, как солдаты в строю. Набегавший ветер перешептывался с колосьями и убегал, волнуя ржаное поле до самого горизонта.

Растрептый сильными пальцами колос уронил в ладонь янтарные зерна. Запрокинув голову, парень высыпал их в рот и уверенно сказал:

— Хлеб поспел. Завтра выходим с рассветом. Можно убирать Мишино поле.

Так вот оно, Мишино поле: колосится богатым зерном. Тихое и безмятежное, будто и не было того громового военного эха. Только имя, которое оно теперь носит, напоминает о сентябрьском дне 1977 года, когда учащийся Оршанского педагогического училища Михаил Мороз сделал здесь свои последние шаги по земле, унося от комбайна снаряд военного времени. Сеять и убирать урожай на Мишином поле теперь доверяется лучшему комсомольско-молодежному экипажу колхоза «Прогресс» Дубровенского района Витебской области. И Михаил в составе экипажа. Почетным членом.

...Бежит по седому Днепру быстрокрылая «Ракета». Белый пенный шлейф тянется за ней, будто отпустить не хочет в даль дальнюю. А она летит и летит навстречу высоким песчаным откосам с могучими развесистыми соснами на вершинах, навстречу тихим поселкам, бескрайним лугам и полям. Оставляет километр за километром быстроходное судно «Михаил Мороз». И ожидающие на пристанях пассажиры, как о живом человеке, говорят: «Идет «Михаил Мороз»!»

...Идет, босыми ногами шлепает по росным травам высокий стройный юноша лег восемнадцати. Ветер раздувает пузырем его рубашку, запутался в волосах.

Хорошо шагать по земле, когда все в жизни только начинается. И мечты, и любовь, и встречи... И ничто не напоминает о жестокости войны, выстрелившей вдруг через десятки лет после победного салюта.

Таким решили вернуть землякам Мишу Мороза молодые скульпторы Николай Потапов и Сергей Бондаренко, выпускники

Белорусского театрально-художественного института, победившие в конкурсе на создание памятника герою-комсомольцу.

Он прожил недолгую жизнь. Но в свои неполные восемнадцать успел совершить подвиг. Потому и остается вместе с живыми. Навсегда.

А память будет снова и снова возвращать к той осени 1977 года.

* * *

...Поле не охватить взглядом, тянется к перелеску, убегает крутогором. Тихое, мирное, чуть прихваченное увядающей желтизной. Весной его вспахали, засеяли. Летом по-хозяйски холили. Пришла осень, самое время поклониться людям за труды богатым урожаем. А оно вынесло им беду.

...Одними губами, будто боясь спугнуть непрошеного гостя, Миша прошептал:

— Тише, пацаны... Я возьму...

Черный, покрытый землей и ржавчиной снаряд, выхваченный комбайном из свежераспаханной борозды, двигался по транспортеру вместе с картофельными клубнями. Когда его заметили, останавливать комбайн было уже поздно. Секунда, вторая — и изъеденный ржавчиной снаряд затрясет на столе-вибраторе, бросит в барабан. И кто знает, что тогда случится?

А на комбайне четверо студентов — вот они, рядом. Смотрят недоуменно на ползущий снаряд. А еще пятый — тракторист, шестой — комбайнер. Они вообще ничего не подозревают о ползущей беде...

Времени для раздумий не оставалось. Первым это понял Миша. Осторожно подхватив снаряд, он неловко соступил на землю и медленно зашагал по распаханым бороздам.

Липов овраг, где ребята собирались вместе в короткие часы отдыха, лежал на краю поля, шагов за сто пятьдесят. По развороченному полю идти неудобно, к резиновым сапогам липнет размокшая от дождя земля. Снаряд килограммов восьми на вытянутых руках кажется по меньшей мере двухпудовым.

Наконец-то под ногами твердая земля. Утоптанная тропинка бежит вдоль поля. А за кустами ров. Еще несколько шагов...

И в это время раздался оглушительный взрыв. Прокатился над полем и глухо угас вдали, оставив после себя звенящую тишину.

От комбайнов бежали люди, бежали Мишины однокурсники, еще не понявшие, что же произошло.

— То ли оступился и выронил тяжелый мокрый снаряд, то ли неосторожно опустил его... Мы так и не поняли. Подбежали, а он весь в крови... Руки целы, а ноги... Наскоро, как умели, перевязали. Только вся наша повязка скоро сочилась кровью.

Это рассказал Мишин товарищ Алексей Горнаков на следующее утро после взрыва, когда мы стояли у Липова рва, не успевшего принять смертоносную ношу.

Почти трое суток боролись врачи за жизнь Михаила. Прибыла группа хирургов из Минска по специальному распоряжению министра здравоохранения республики. Делали все возможное. И трое суток дежурили под окнами больницы Мишины товарищи, ребята из Оршанского педагогического училища. Все думалось: вдруг может срочно понадобится кровь или какая-нибудь другая помощь потребуется?

Изредка к Михаилу возвращалось сознание. Сначала удивился, что рядом у постели мама в белом халате: путь от полесского села Бережцы до Орши совсем не близкий. Первое, что спросил: как чувствует себя с дороги? У матери больное сердце — он это знал и всегда старался уберечь ее от лишних волнений. Даже когда у него случались какие-либо неприятности в техникуме, об одном просил классного руководителя Ивана Ермолаевича: чтобы матери не рассказывал.

А тут вот не уберег.

Мать гладила руки сына и изо всех сил сдерживала слезы, стоявшие колючим горьким комом в горле.

Сын сокрушался, что только метров семь не дошел до рва. Потом пожаловался на боль в ноге. Хотя ноги-то уже не было — ампутировали. Но он «чувствовал» ее и тревожился, как бы это ранение не помешало его службе в армии.

И ни словом не пожалел, что первым вызвался нести от комбайна тот черный непрошенный снаряд.

Все, кто был рядом, кто дежурил в эти дни в оршанской больнице, верили, что выживет Миша. Как же иначе? Разве может война убивать

через тридцать с лишним лет таких юных?

Не первый раз приезжали в эти места на уборку картофеля и льна студенты. Не раз однокурсники Михаилч слышали рассказы местных жителей о военных годах: фронт стоял здесь девять долгих месяцев, около двадцати тысяч солдат остались лежать в братских могилах. Приносили ребята полевые цветы к скорбным плитам с длинными, нескончаемыми столбцами фамилий павших. Читая их, почти каждый из ребят находил однофамильцев. И тогда вспоминали о потерях среди родных и близких.

После таких бесед ребята заходили в дома к ветеранам и поседевшим вдовам, предлагали помощь — то ли дров наколоть, то ли огород убрать.

Война смотрела на ребят лицами старых людей и казалась такой далекой, Они вспоминали о ней, когда находили солдатскую каску или обнаруживали полузасыпанный, обвалившийся блиндаж. Они говорили о ней, собираясь побывать в деревне Шалашино. Там на краю села стоит суровый обелиск с надписью: «В сорок четвертом 24 июня фашисты зверски замучили здесь 19-летнего Юрия Смирнова». Боец был почти их ровесником. Он не выдал военную тайну врагу. Его комсомольский билет и протокол допроса с бессильной фразой гитлеровского писаря — «пленный молчит» — бросили в блиндаже бежавшие палачи.

Слушая рассказ о распятом на стене юноше, девчонки из группы плакали, а парни до немоты сжимали челюсти.

А потом они нашли еще один памятник: бронзовая женщина-мать оплакивала солдат, погибших уже в мирные дни, — война стреляла в саперов, которые шли по дорогам былых сражений и освобождали поля от смертоносных грузов. То было черное эхо войны, заставлявшее снова оплакивать павших сыновей.

И вот снова...

Мальчишка мечтал стать учителем и, поступая учиться, в первый раз писал автобиографию:

«Я, Мороз Михаил Михайлович, родился 28 ноября 1959 года...»

Листок, что хранится в личном деле учащегося Оршанского педагогического училища, был исписан не более чем в полстраницы. Биография только начиналась. Жизнь была впереди.

Если бы не тот снаряд...

Осталась в комсомольском билете суровая запись, как последний взнос Михаила Мороза: «Вынес с поля боевой снаряд, отвел от людей беду ценой собственной жизни». Эти слова сродни записям военных дней: «Лег на огневую точку противника и заглушил ее. Проявил героизм».

Война все еще не закончила свой скорбный счет.

Вновь перечитываю полустраничную биографию Миши, прерванную выстрелом из войны.

Он родился в деревне Бережцы Житковичского района Гомельской области.

Дом с голубыми ставнями смотрит окнами на деревенскую площадь. Рядом колодец под крышей: по воду к нему ходят из всех соседних хат. Чуть подалее мостик, где издавна собирались летними вечерами сельские парни и девушки — песни попеть, покричать частушкой последнюю деревенскую новость, поплясать под гармошку.

На веселом, людном месте поставили дом Морозы. По всем Бережцам в тот год стучали топоры и взвизгивали пилы: заново строили сельчане деревню, сожженную фашистами за связь с партизанами. Хозяин высадил около дома тополиную аллею. Когда родился внук Мишка, деревья были уже подростками. Старому Степану нравилось, как пахнут по весне липкие ярко-зеленые листочки тополей.

А подрост Миша, и вместе с дедом посадили они за домом тоненькие саженцы яблонь.

Впервые я увидела этот сад в зимнем уборе.

— Это Мишино дерево. И эта яблоня тоже, — гладил увязшие в снегу деревья Михаил Степанович, Мишин отец. И замолкал надолго. Может быть, что-то вспоминал о сыне, о тех недавних днях, когда вместе мастерили, вместе возились в саду.

В дом принесли корзинку с яблоками. С холода в теплой хате они покрылись влагой. Лежали как умытые росой. Бережно вытирала их белым полотенцем хозяйка, тоже словно гладила: с яблони сына они.

Помню, и однокурсники про эти яблоки вспоминали: любил Миша, возвратись из поездки в Бережцы, угостить товарищей то домашним вареньем, то душистыми яблоками. Говорил не без гордости: «Из своего сада. Аромат-то какой!»

Смотрела я на зимний сад: качают голыми ветками яблони, поскрипывают на морозе. А представлялся этот же сад по весне, когда вспыхнут бело-розовой кипенью яблони-невесты, одарят, людей красотой. И подумалось: успел человек и это доброе дело сделать — посадить на земле дерево. У родного дома. И у школы, говорили односельчане, шумит-разговаривает Мишина береза. Мальчишкой посадил ее вместе с одноклассниками.

Миша часто зазывал своих многочисленных друзей погостить в его родной деревне, но все больше по весне или летом. «Весной здесь большие разливы. А летом луга в цвету, лес грибами пахнет, в реке рыбы всякой только успевай удочку забрасывать». Так говорил друзьям о Бережцах влюбленный в родную деревню Михаил. И к нему ехали с удовольствием.

Однокурсник Василий Вавилов, тяжело переживавший смерть друга, рассказывал, как его встречали родители Михаила:

— Не раз я слышал от Миши про полесские разливы. Захотелось самому увидеть. На каникулах наконец-то собрались. Встретили меня, как и родного сына, с радостью и радушием. А меньшие братья, Саша и Ванюшка, те ни на шаг не отходили. С утра уже сторожили, чтобы без них на рыбалку не ушли.

Миша успевал порыбачить на зорьке, повозиться с братьями, которые в нем души не чаяли. Но непременно что-то делал по дому: красил, мастерил, а надо пол помыть, так тоже не отказывался помочь матери, зная про ее хвори. Не ждал, пока позовут и на колхозное поле: ходил на разные работы.

Колхозный бригадир Валентин Константинович Панфиленко всегда радовался приезду Миши домой:

— В последние годы не припомню лета, чтобы Михаил не работал в бригаде. В школе учился, а потом в училище, но все равно на каникулах он с нами — то сено стогует, то сенаж заготавливает. Все крестьянские работы знал.

Лето семьдесят седьмого трудным для села было: дожди заливали поля, к хлебу не подступиться. У каждого сердце болело, глядя на это. Всех тогда позвало поле. Шли как на бой. И Миша с односельчанами в этом бою. В свое последнее лето.

В полустраничной автобиографии об этом не прочтешь. И о родителях Миши скупая строка:

«Мать, Ольга Ивановна Мороз, продавец сельского магазина. Отец, Михаил Степанович Мороз, тракторист Житковичского леспромхоза».

В больничном коридоре Ольгу Ивановну тогда предупредили: сын без сознания. Успокоили — так и должно быть: чтобы не тревожить болью, ему ввели специальное лекарство — пусть спит. Но вопреки всем законам медицины, едва мать, преодолевшая четырехсоткилометровый путь от Бережцов до Орши, присела с разрешения врача у кровати сына, Миша открыл глаза. Увидев ее рядом, тихо окликнул: «Мама!»

Она держалась: только бы не расплакаться, только бы не прибавить волнения сыну. А Миша, облизнув спекшиеся от жары губы, спросил, как чувствует себя мать с дороги.

Все лучшее в нас от матери. От ее песен над колыбелью, от ее забот и нежности, от ее мудрости. Ольга Ивановна об одном мечтала: вырастить сыновей хорошими людьми.

Сама родилась в многодетной семье — девять их было. Отец возвратился с войны инвалидом. В детской памяти война осталась заревом пылающих лет да болотной топью, хлюпающей под ногами, — всем селом прятались от карателей в болотах. Запомнилась постоянно сосущим в животе голодом послевоенная пора. Работали тогда в поле и стар и мал, помогали колхозу встать на ноги.

И у Михаила Степановича биография похожая: в соседних деревнях росли, одной военной поры детство было. Мише, своему первенцу, часто рассказывал о пережитом. И радовался, когда заметил у сына интерес к трактору. Разрешил помогать ему в ремонте машины, думал отцовскую специальность выберет Михаил.

Но когда сын вдруг заговорил о профессии учителя, отговаривать не стал. Видел отец, как тянется к Мише детвора, как умеет он ладить с деревенскими ребятами, как стал серьезнее, приняв решение поступать в педагогическое училище. Решил: должен из сына неплохой учитель получиться.

После рокового взрыва на сентябрьском поле почти каждый день поднимается сельский почтальон на высокое крыльцо в дом к Морозам. Пишут совсем незнакомые люди. Серые ветераны, прошедшие войну, пишут Мишины ровесники, пишут пионеры.

«Подвиг вашего сына изменил нашу жизнь. Мы поняли ее смысл. Мальчишек нашего класса будто подменили. Они стали намного серьезнее... Миша заставил нас задуматься над вопросом: «А зачем я живу?» — так написали десятиклассники из киргизского города Кара-Балта.

«Я еще не комсомолка. Но прочитала в «Комсомольской правде» о Мише и теперь знаю — обязательно буду комсомолкой», — сообщила из Башкирии Гульнат Бакиева.

«Низко кланяюсь матери и отцу Михаила за то, что вырастили такого сына. За свою жизнь я немало встречал ребят внешне обычных, неприметных. Но в нужный час они готовы на решительные поступки, на подвиг», -;. это письмо от человека, прошедшего по военным дорогам, видевшего не раз смерть, от подполковника В. Данильченко.

Письма, письма. Слова участия, раздумья. Горе семьи Морозов болью отозвалось в чужих сердцах.

Оно свалило Ольгу Ивановну. И нет сил отвечать людям. И молчать трудно. Вечером возвращается с работы Михаил Степанович и садится после нелегкого рабочего дня на морозе и ветру за стол, пишет незнакомым людям, рассказывает о сыне.

А утром новая почта. А нередко и робкий стук в дверь незнакомых до этого людей.

Так постучались однажды ребята из школы-интерната № 4 города Минска. Вместе со своим воспитателем Сергеем Мефодьевичем Федоровым проделали они немалый путь до полесской деревни Бережцы, чтобы познакомиться с родителями Миши. Они уже были знакомы по письмам. А теперь захотелось посадить на могиле Михаила цветы, показать, какой альбом удалось собрать, встречаясь с Мишиными товарищами по школе и по училищу. В школе-интернате, где воспитываются в основном дети-сироты, Михаил Мороз стал близким человеком. Близкими стали его родители. В музей «Шагнули первыми», который создан в школе-интернате, Ольга Ивановна и Михаил Степанович передали фотографии сына, письма.

В долгие вечера отвечает Михаил Степанович на многочисленные письма. Вся короткая жизнь сына проходит перед глазами. Что успел его Миша?

В полустраничной биографии Мороза читаем: «Закончил 8 классов Хильчицкой школы...»

От Бережцов до школы более пяти километров. Интерната в Хильчицах тогда не было, приходилось почти каждый день мерить пешком это расстояние дважды. Лишь в зимнюю замять оставался Миша ночевать в Хильчицах у друзей или старенькой прабабки.

Из школьных предметов выделял литературу. В сумке рядом с учебниками всегда лежала какая-нибудь книжка из библиотеки. Особенно любил про войну, про разведчиков, про смелых путешественников.

Федор Савич Санец, учитель русского языка и литературы, положил передо мной стопку тетрадей:

— Вот писали с ребятами сочинение на тему «В жизни всегда есть место подвигу»... — Он нервно побарабанил пальцами по столу, порывисто встал и отошел к окну. За окном пустой школьный двор, тихая сельская улица. Федор Савич долго не оборачивается, и я вижу только по-стариковски согнутую спину учителя.

В этой небольшой сельской школе он провел немало лет. Много было у него учеников. Хороших и не очень прилежных. Тихих и озорных. Про Мишу запомнил, что всегда книги просил. О войне.

Старый учитель возвратился к столу, взял из стопки тетрадей одну, вторую, третью. Перелистывая странички, тяжело вздохнул:

— Сегодня почти в каждом сочинении ребята о Морозе вспоминают. Тему о подвиге у нас ученики любят. Наверно, в свое время и Миша писал ее — жаль, не сохранились... Иной раз я думаю: что для моих ребят война? Далекая история, застывшая обелисками. А вот случилось такое испытание, и наш Миша, простой сельский парнишка, ничем, кажется, не выделявшийся среди сверстников, поднялся на подвиг, как солдат на войне. Потому что ничто не проходит бесследно: ни сочинение в школе, ни обелиск у дороги, к которому ребята носят цветы.

В Хильчицкой школе я видела стенд «Им гордится школа». Пионерский отряд четвертого класса боролся за право носить имя своего земляка Михаила Мороза. А в Бережцах на первой парте, где когда-то сидел Миша, в ту осень семьдесят седьмого занял место старшего брата первоклассник Саша Мороз.

В Хильчицах мне очень хотелось познакомиться с Иваном Григорьевичем Лобаном, учителем математики и классным руководителем Миши. Это он писал характеристику, которую Михаил

увез из школы после восьмого класса. Учитель разглядел в парнишке главное, что через несколько лет заставит его первым шагнуть навстречу опасности, угрожавшей товарищам: «...У Михаила есть хорошее качество — умеет дружить со многими ребятами класса. Принимает активное участие в общественно полезном труде».

Обычно учителя лучше помнят учеников, которым они вручали аттестаты. В старших классах у ребят больше возможности раскрыть себя. Но Мишу, оказалось, Иван Григорьевич помнит.

— Для меня ученик раскрывался в походе: когда тяжелый рюкзак за спиной, когда нужно проявить смекалку в дальнем переходе, помочь уставшему товарищу. Тут все плохое и хорошее — наружу. Один в первую очередь о себе подумает — как к костру поближе пристроиться, кусок послаще ухватить да груз потяжелее товарищу сплавить. У другого все наоборот. С Мишиным классом, помню, ходить было интересно. Много мы троп исходили по партизанским местам.

Однажды после большого перехода расположилась группа на отдых. Девочки захлопотали у рюкзаков, готовили ужин. Ребята таскали хворост. И вот уже затрещал костер, весело забулькало в котелке, аппетитно запахла прихваченная дымком картошка.

Пятеро незнакомцев появились у костра неожиданно. По-хозяйски заглянули в котелок, отпустили грубую шуточку. А один, небрежно перебирая струны, запел какую-то рифмованную пошлость.

Девочки растерянно оглядывались по сторонам: учитель и ребята должны быть где-то поблизости.

Первым появился Миша. Не дожидаясь, пока подойдут остальные, он решительно направился к костру. Девчонки испуганно молчали: быть драке.

А Михаил улыбнулся непрошеным гостям, как старый знакомый, и попросил отойти с ним в сторонку. О чем они там говорили, никто не слышал. Но обошлось без драки.

— Была у Миши такая удивительная способность — умел легко сходитья с людьми, дружить умел, — вспоминал Иван Григорьевич. — И еще, что мне в нем нравилось, так это настойчивость. Трудно давался Мише мой предмет. Такой, видно, склад ума у него был — не математический. А поступать решил в педагогическое училище, где один из основных предметов —

математика. Одноклассники отговаривали. Да не заметили, как он их на свою сторону перетянул: уехали вместе с Михаилом поступать в педучилище два брата — Яков и Федор Шрубы.

Экзамен по математике Миша выдержал. И очень этим гордился. Не стыдно было и перед председателем колхоза, который подписал ему направление в училище.

А вскоре Михаила принимали в комсомол.

То собрание вела бессменный комсорг 88-й группы Галя Гурченко. За Мороза проголосовали единогласно. Выбрали для него первое комсомольское поручение — направили в школу к пионерам.

После практики в пионерском лагере «Орленок» привез отзыв: «...К проводимым мероприятиям М.М. Мороз относился внимательно и серьезно».

В училище 88-й группе завидовали. Всегда они вместе. А на каникулах где только не побывали! И в Бресте, и в Минске, и в Хатыни, и в Ленинграде. Деньги на поездки зарабатывали на уборке урожая в колхозах. В альбомах у ребят хранятся снимки: фотографировались у стен Брестской крепости, у легендарной «Авроры». Есть на фотографиях и Миша Мороз. Его сразу выделишь: самый высокий, самый стройный среди молодых и красивых ребят 88-й группы.

На одной из пограничных застав я случайно встретила письмо, которое писали Мишины друзья из училища в ответ на просьбу воинов-пограничников рассказать подробнее о своем товарище.

«Рассказать о Мише непросто, потому что жизнь его была очень короткой, а сейчас — бесконечна... Учился старательно, любил технику, увлекался спортом, не отставал от сверстников в песне и пляске. Можно было видеть Мишу в котельной учебного корпуса: заменял заболевшего кочегара. Даже когда ездил в гости к товарищам, и там не мог быть без дела — косил, пилил дрова. И товарищ был Миша верный...»

При жизни Миша тоже часто получал письма с солдатскими треугольниками: многие друзья-одноклассники служили в армии. На фотографиях они выглядели бравыми солдатами — и Слава Петрушения и Вася Кудлач...

Миша и сам мечтал об армии, тренировал себя, занимался спортом, сдал нормы на значок ГТО, отлично водил мотоцикл.

Он и в больнице в короткие минуты, когда к нему возвращалось сознание, тревожился: как там нога, не помешает ли ранение предстоящей службе в армии?

— Очень хотелось сыну стать солдатом, — в голосе матери и боль и гордость.

В одном из многочисленных писем она прочтет признание незнакомых ребят: «Пытались представить себе, что мы оказались в такой же ситуации. Принять такое решение, какое принял Миша, трудно даже в мыслях... Мы преклоняемся перед его мужеством и обещаем, когда придет время служить в армии, послужим честно и за себя, и за Вашего сына».

И погиб Миша Мороз, как солдат. Над его могилой поставили обелиск с красной звездочкой. И как солдата, наградили за подвиг боевым орденом Красной Звезды. Имя комсомольца-героя занесено в книгу Почета ЦК ВЛКСМ и книгу Почета ЦК ЛКСМ Белоруссии.

Сегодня десятки пионерских отрядов борются за право носить имя комсомольца. Он зачислен в комсомольско-молодежные бригады. Многие, как и девушки из бригады Татьяны Чеховской с минского производственного объединения «Горизонт», завели рабочий счет Михаила Мороза и заработанные деньги перечисляют в фонд мира.

Поэты пишут о Мише стихи и поэмы. Работают над образом художники и скульпторы. Идет на театральной сцене спектакль о комсомольце.

Поле носит имя Мороза — Мишино поле. Быстроходное судно — имени Мороза...

А он вмещал свою биографию в полстранички.

Эмма ЛУКАНСКАЯ

Владимир ГРИБИНИЧЕНКО

Их было двое у матери — Володя и Раечка. Сынишке только минуло два года, а дочурке — того меньше, едва топать по хате научилась. Подхватит Варвара обоих на руки, выйдет за калитку и стоит, улыбаясь людям голубыми глазами: смотрите, дескать, какая я богатая, сколько счастья послала мне судьба...

А в конце улицы уже виднеется знакомая фигура Кирилла — с работы возвращается муж. Вот он не спеша подошел к ней, взял малышей и, усадив их на свои широкие теплые ладони, высоко поднял над головой. Так и во двор вошел — с поднятыми к небу визжавшими от удовольствия малышами.

Так было и в тот июньский субботний вечер, в канун великой народной беды. Спали дети, улыбаясь своим незамысловатым снам, жарко вспыхивало небо над заводом. А они, Кирилл с Варварой, еще долго сидели на лавочке под старой шелковицей, делились впечатлениями дня, обдумывали нехитрые проблемы своего семейного житья-бытья, мечтали о том времени, когда вырастут дети, а они, Кирилл и Варвара, станут уже старенькими-старенькими и будут сидеть вот так же около хаты и качать на коленях голосистых внуков. Они не знали, что где-то там, у границы родной земли, уже расчехлены жерла пушек и чья-то злая воля уже нацелилась и на их счастье, что лягут спать под шепот шелковицы, а проснутся под грохот войны.

...Фронт все ближе приближался к городу, началась эвакуация. С металлургического днем и ночью уходили эшелоны с оборудованием на восток, на восток. Один из последних эшелонов повел Кирилл Грибиниченко.

И вот уже словно вымер растерзанный оккупантами город. Не вспыхивает небо над мартенами, не перекликаются гудками паровозы на заводском дворе. Только зловеще топает за воротами кованый сапог чужеземца, и каждый шаг его смертной тревогой отдается в сердце матери...

Дни и ночи дрожит Варвара над малышами, не отваживаясь выглянуть за порог. Но дети просят есть, они мерзнут в нетопленной хате, и надо куда-то идти, что-то делать. А куда идти, что делать, где

искать спасения? Спасибо соседке, заглянула в хату, одолжила десяток стаканов кукурузы. Насыпала Варвара зерен детям в карманы, усадила в наспех сколоченную тачку — и со двора, куда глаза глядят...

В Макеевку вернулись после освобождения города. Но с тачкой Варвара и теперь не расставалась — подвозила хлеб к магазину. Время было трудное, разруха, с транспортом туго. А потом стала сторожем в той же лавке.

Дети подросли, пошли в школу, и учителя, бывало, не нахвалятся ими, все благодарили за хорошее воспитание. А какое там воспитание, когда и видела-то их редко. Ночью сторожила, а утром придет домой, а они уже в школу убежали.

Четыре года бегали дети в школу вместе. А когда Володя перешел в шестой, а Раечка в пятый, новое лютое горе пришло в хату под старой шелковицей. Заболела дочка, и как ни билась над ней мать, как ни старались врачи, все напрасно...

Долго стояла она над свежим холмиком земли, словно окаменев. О чем думала в тот скорбный час?

О том, что была у нее семья. Был любимый муж, было двое детишек — сынок и доченька. Мужа отняла война, обрекла ее, молодую и красивую, на горькую вдовью долю. И вот нет и дочки. Только он остался, сын, единственное родное существо на всем белом свете...

В школу теперь Володя ходил один. За то печальное лето он как-то сразу вытянулся, повзрослел. И все отчетливее в его характере проступали черты Кирилла. Вылитый отец, говорили люди. Такой же скупой на слово, такой же упрямый и настойчивый: задумает что сделать — не отступится.

ПопадетсЯ, бывало, трудная задачка на домашнее задание — бьется над ней, бедный, и так ее крутит и этак, даже матери жалко его станет. Уйдет она сторожить, сидит ночью у дверей магазина и все думает: как же ее, эту задачку треклятую, решить?

Но вот прибегает сын на следующий день из школы и от радости даже светится весь:

— Вышло, мама! Решил все-таки! Понимаете, когда один пешеход подходит к точке А, а другой — к точке Б...

Слушает мать про точку А и точку Б и ничего не слышит. Только глаза его видит — такие же большие и голубые, как у нее самой...

Да, характером сын пошел в Кирилла, а вот лицом больше на мать похож. И глаза такие же, и такие же широкие и длинные, с крутым изломом брови. Да еще был такой же чувствительный и уязвимый душой, как мать.

Однажды — Володе было тогда лет десять — на их улице случилось необычное происшествие: у соседки пропали часы. Во дворе в то время был один Володя, и соседка обвинила его в воровстве...

Прибежал он, бедный, в хату, забился в угол и плачет навзрыд. Да все повторяет:

— Неужели, мама, она не понимает, что я никогда не взял бы их? Неужели она не понимает?..

И даже когда эти злосчастные часы нашлись и соседка попросила у Володи прощения, он еще долго не мог успокоиться...

Шли годы, менялись привязанности. Давно ли волновала до слез юное сердце судьба Ивана-Подолана, Юрзы-Мурзы и стрельца-молодца — и вот уже любимые герои вместе с Катигорошком и Царевной-лягушкой доживают свой век где-то в ящике на чердаке, рядом с зачитанным до дыр букварем, а на их месте стоят на полке книжки о тех, чья жизнь была во сто крат увлекательнее и красивее сказки. О тех, кто был рожден великой бурей, кто в жарких битвах за счастье людей закалялся, как сталь...

И так же незаметно, как перестала волновать сказка, забылись «палочки-выручалочки», «казаки-разбойники», а на смену им пришли новые увлечения.

Одно из них и, может, самое большое — спорт. Хилый и болезненный от рождения, Володя твердо решил стать волевым, сильным, закаленным. А решив так, вкопал во дворе два столба и соединил их железным стержнем — турник...

Сначала не очень получалось, мешком болтался под перекладиной. Но отступать было не в его правилах.

И вот уже, отчаянно рванувшись в махе, он выполняет «склепку», наполняя завистью души соседских мальчишек. И вот он уже крутит «солнце»: оборот, еще оборот, еще... Сальто в воздухе, пружинистый соскок.

— Кто следующий? — довольно улыбается и тут же хватается одного из зрителей и подбрасывает, его к перекладине:

— А ну, работай...

Мальчишка, как еще недавно и сам тренер, мешковато висит на турнике, потом кое-как раскачивает свое тело, но руки вдруг отрываются — и начинающий спортсмен летит вниз... Но падает не на землю — на Володины руки. Потом, придя в себя, удивленно ощупывает их:

— Ну и руки у тебя!

О, эти руки успеют сделать еще много хорошего!

Борясь с бешеным водоворотом, они вынесут из воды здорового верзилу, который плюхнулся в пруд и камнем пошел ко дну...

Они красиво и легко, словно на стальных пружинах, будут подбрасывать над головой стокилограммовую штангу, принося желанную победу своей заводской команде...

Они, словно крылья, будут парить над сценой, когда выйдет Володя в ослепительном свете рампы на свой коронный танец...

...Мы сидим с Варварой Александровной в ее новой квартире на улице Ленина, листаем семейный альбом.

Разливочный пролет мартена. Прикрыв лицо рукой, сын пристально всматривается сквозь стекла очков в белую струйку металла, льющуюся из ковша...

В красном уголке цеха. Только что избранный комсорг смены Владимир Грибиниченко ведет свое первое комсомольское собрание...

На улице родного поселка, с повязкой народного дружинника...

На подмостках спортивного зала, с высоко поднятой над головой штангой. Вес взят, первый разряд завоеван!..

На сцене заводского клуба, в вихре стремительного украинского гопака...

На отдыхе в Одессе. Сияет солнце, синее море, и на его фоне юноша, словно вылитый из бронзы...

Снимки любительские, сделанные преимущественно друзьями, наспех и неумело. Да разве думали они, с веселой шуткой прицеливаясь в своего любимца фотоаппаратами, что пройдет немного времени, и маленькие, далекие от совершенства кадрики их фотопленок станут документами жизни человека, который прожил на свете всего двадцать четыре года и жизнь которого стала легендой...

Грустно улыбнувшись, Варвара Александровна разводит руками:

— Не знаю, что и делать... И самой дорого каждое напоминание о сыне, и людям отказать не могу. А идут отовсюду — с завода, из школы, из газет, с телевидения... И пишут со всех краев. И все с одной просьбой — расскажите о Володе, пришлите его фото...

Потом Варвара Александровна достает конверт, в котором хранит его документы.

Свидетельство о награждении нагрудным знаком отличника социалистического соревнования...

Билет члена Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов...

Удостоверение члена добровольного спортивного общества...

Билет члена ДОСААФ...

Билет читателя заводской библиотеки...

Мандат делегата общезаводской партийной конференции...

— А вот и диплом об окончании техникума... — Варвара Александровна долго держит его в руках, внимательно, словно впервые, рассматривает. — Проучился Володя семь лет в школе, и я говорю ему: «Сынок, отдам тебя в ремесленное. Заработки мои, сам знаешь, небогатые, дальше учить тебя не могу. А в ремесленном и кормить и одевать будут». — «Хорошо, мама, — отвечает, — пусть будет так».

Володя пошел в город и вернулся веселый, возбужденный: «Мама, видел объявление, принимают в металлургический техникум. И стипендия хорошая — целых сто восемьдесят рублей! Так что пойду в техникум, мама...»

Вспоминаю сейчас то время — и смех, и горе...

Часов у нас тогда не было, а Володю будить надо рано. Открою глаза в темноте, выгляну в окно: не зажегся ли у кого огонек? Да, кажется, уже пора... Подхватится он и бежит. А в техникуме — сторож: «Ты чего прилетел ни свет ни заря? Ну ладно, располагайся вон там на столе да поспи еще».

Но самая большая беда с одежкой была. Фуфайка да плохонькие штаны — и все... Так он встанет пораньше, ботинки начистит, брюки нагладит, да пониже штанины опускает, чтобы сбитые каблукы не так видно было... Все мечтал: «Вот если бы вы, мама, купили мне такой свитер, как у одного нашего студента. Знаете, вязаный, серый, теплый, воротник под самое горло...»

Получил он первую стипендию, добавили мы к ней еще немного, пошли на толкучку — в магазинах тогда добра этого не было — и купили часы-ходики и свитер — такой, как хотел он. И сколько радости было! Все четыре зимы бегал в нем в техникум, еще и на завод потом надевал.

Настало время идти в армию, подался Володя с одноклассниками на призывной пункт. Там постригли его, осмотрели, похвалили спортивную выправку и... отослали домой: «Один сын у матери, один кормилец, не имеем права...» Вернулся опечаленный...

На следующий год, когда снова объявили призыв, начал просить меня: «Мама, отпустите в армию... Ну, хотя бы на год! А если что — я сразу вернусь...» Смотрю, а у него даже слезы на глазах... «Хорошо, — говорю, — сынок, иди и скажи, что я не возражаю».

Снова постригли его и снова, выяснив, что положение в семье не изменилось, отправили домой.

Тогда по просьбе Володи к военкому пошла я. А военком:

— Понимаете, Варвара Александровна, не имеем мы такого права. Пусть женится, тогда возьмем.

Долго я говорила с военкомом, и так уговаривала его, и сяк. Наконец он будто и согласился:

— Ну ладно, давайте расписку, что вы не возражаете, а мы с начальством посоветуемся.

Дала я такую расписку, но и она не помогла...

— Понимаете, мама, — как-то сказал мне Володя полушутя, полусерьезно, — вот будет когда-нибудь у меня сын. Так он же обязательно спросит: «Отец, а ты в армии служил? Ракету живую видел? На сверхзвуковых летал? На подводных атомных плавал?» — «Нет, сынок, — скажу я ему, — не служил, не летал, не плавал». Ну какой же я, отец, буду для него авторитет?

Милый Володя не знал тогда, да и знать не мог, что пройдет немного лет, и десятиклассница Зоя Приходько напишет: «...своим мужественным поступком Володя Грибиниченко доказал нам, молодому поколению, что подвиг можно совершить всегда, а не только в военное время. Образ Володи будет для меня примером на всю жизнь...»

...Это большое и сложное хозяйство — разливочный пролет мартеновского цеха.

Налево на возвышении — длинная шеренга печей. Сталевары досыта накормили их ломом, напоили расплавленным чугуном, и они, гудя от напряжения, старательно переваривают многотонную пищу в огненных чревах. В чугунные чаши медленно стекают тоненькие струйки шлака.

Справа — цепочка приземистых железнодорожных платформ, на которых черными прямоугольниками выстроились высокие изложницы. Над ними огромной грушей свисает ковш, а из его отверстия белой струйкой течет сталь.

Ярко полыхают печи, залиvisto звенят краны, четкой дробью перекликаются пневматические молотки, выгрызая из опустевших ковшей шлаковые наросты. Тому, кто пришел сюда впервые, может показаться, что он очутился в царстве хаоса. В действительности же каждое движение механизма и человека тут подчинено четкому производственному ритму, от которого зависит половина успеха сталевара.

Вот плавка уже готова. Она прошла по графику, металл полностью отвечает заказу, и на подмостках мартена царит хорошее настроение. Но когда настало время выпускать плавку, оказалось, что ковши еще не поданы. И бегаёт сталевар вокруг печи, нервничает, то и дело поглядывает то на часы, то вниз, в разливочный пролет. Приподнятого настроения как не бывало...

Но подать своевременно ковш под плавку — это только полдела, вернее, только начало дела. Плавку еще нужно расфасовать по изложницам, и тут наступает время продемонстрировать виртуозную технику машинистам кранов, разливщикам, их подручным. Одно неточное движение многотонного крана, одно неточное движение разливщика или подручного — и металл пошел мимо сифона, разливаясь огненным половодьем по цеху, накрывая людей смертельным облаком брызг...

А когда плавка разлита и длинная цепочка горячих чугунных сотов поползла из цеха, немедленно готовь все хозяйство под новую. И всеми этими делами положено заниматься мастеру разлива...

...Такие дни, как тот, когда он впервые с дипломом техника в кармане пришел в цех, запомнятся на всю жизнь.

В отделе кадров заводоуправления спросили:

— В новый мартен на разливку пойдешь?

Минутку подумал.

— Сначала пойду посмотрю, потолкаюсь среди людей...

Когда подходил к цеху, его обогнала, по-разбойничьи свистнув, чумазая «кукушка», тащившая в разливочный пролет длинную вереницу платформ с изложницами, похожую на огромную обойму, еще не набитую патронами.

И вдруг вспомнился отец...

Отец, которого он совсем не знает. Отец, последний рейс которого оборвал на полпути осколок вражеского металла... Отец, который когда-то вот так же, как и этот хлопчина, что одарил его из окна крошечного паровозика белозубой улыбкой, подавал под разливку составы с изложницами, а потом отвозил их в соседний корпус, где слитки раздевали.

И Володя, думая о своем, медленно, вслед за составом вошел в литейный пролет. Вошел да там и остался...

На следующий день у разливщика Егора Овчинникова появился новый подручный — веселый и расторопный паренек с русой непокорной шевелюрой и голубыми, как небо, глазами. «На поэта Есенина похож», — говорили заводские девчата и тайком вздыхали...

Диплом техника давал ему право сразу претендовать на место мастера. Но ведь, кроме диплома, нужны навыки, опыт. Нет, он пойдет в подручные, он будет овладевать искусством разливки с азов — так надежней. Ложку, когда берется проба из ковша, тоже надо уметь держать в руках, чтобы потом и сам умел научить новичка, когда придет в бригаду, ибо дело, казалось бы, простое, а до беды недалеко...

Понравился Егору Ильичу подручный — скромный, серьезный, смышленный. Если чего-нибудь не понимает, обязательно подойдет, спросит. Причем не успокоится до тех пор, пока не услышит такого ответа, который полностью удовлетворял бы его.

— А как он умел спрашивать! — вспоминал Егор Ильич. — Это выходило у Володи как-то душевно, неназойливо, он при этом заметно смущался, особенно перед старшими.

Со временем, когда Володя уже сам стал разливщиком и, вызвав Егора Ильича на соревнование, победил его, а на груди у паренька появился значок отличника социалистического соревнования, Овчинников с притворной серьезностью грозил ему пальцем:

— Знал бы, был бы более бдительным. А то вишь какой — выведаль все «секреты фирмы», и вот благодарность...

А через некоторое время — Володя уже подменял мастера — Егор Ильич принес ему в цех аккуратно вчетверо сложенный лист бумаги — рекомендацию в партию...

«...Знаю товарища Грибиниченко Владимира Кирилловича по совместной работе в мартеновском цехе завода имени Кирова с 1958 года и по настоящее время. Работал в моей бригаде вторым подручным разливщика, потом стал первым подручным. Показал себя послушным и старательным помощником. Вскоре стал работать разливщиком. Работает и до сих пор хорошо. Дисциплинированный и активный, принимает участие в общественной жизни цеха. Рекомендую товарища Грибиниченко Владимира Кирилловича принять в члены КПСС».

Егор Ильич вручил рекомендацию перед самым началом смены, и, когда через несколько минут начался наряд, голос мастера Грибиниченко был особенно звонким...

— Запевай, Володя! — послышалось знакомое.

Это означало: давай зачитывай график-задание на смену.

Володя раскрывает знакомый всем блокнот:

— Печь первая. Марка стали — сорок. Время выпуска — восемь часов. Марка стали следующей плавки — восемьдесят-эс.

Печь вторая. Сталь — три. Десять часов...

Печь третья. Восемьдесят пять, девять часов тридцать минут...

Четко, словно военная команда, звучит каждое слово мастера.

— Ну а теперь по местам, — заканчивает он, — принимать смену.

Разливщики и их подручные покидают нарядную. Вслед за ними выходит мастер, медленно шагает шумным разливочным пролетом, в глубине которого, словно праздничный фейерверк, стремительно взлетают вверх и, погаснув, осыпаются на землю густые рои малиновых искр. На первой печи пустили плавку.

Вчера в заводском клубе выступал поэт. Читал стихи про ракету, которая летят на Венеру, ракету, металл для которой отлили в Донбассе.

«Что ж, может, и действительно в Донбассе!» — улыбается про себя мастер. И сталь той ракеты, что движется к Венере, и той, в которой взлетел Гагарин...

...Когда по земле разнеслась весть: человек в космосе! — Володя работал с утра. До конца смены в цехе только и разговоров было, что о событии, перед которым бледнели самые смелые творения человеческой фантазии.

И только Володя молчал. И это было удивительно. Молчал человек, который так легко возбуждался, так бурно реагировал на любое событие в стране или за ее пределами, который так горячо восхищался всем, что было в жизни красивого и героического...

Молча пришел домой. Взглянула мать и даже отшатнулась испуганно: и он, и не он...

Вспомнились первые дни работы сына на заводе. Вышла она как-то вечером за калитку, смотрит: идет улицей с работы, такой важный. Шагает не спеша, вперевалочку. Неужели, думает мать, выпил, не дай бог? С ним такого раньше никогда не случалось.

А он подошел и — весь такой радостный-радостный! — протягивает ей сверток:

— Это вам, Варвара Александровна, от рабочего класса. На платье.

Потом достал из кармана деньги:

— А это — на харчи.

Взяла она деньги, а руки дрожат, к горлу комок подкатился, слова сказать не может...

Так, может, сынок сегодня опрокинул чарку на радостях?

А он только улыбнулся ей и легонько сжал ее, родную маму, самую лучшую маму на свете, в объятиях. Потом вышел во двор, бросил свое легкое пружинистое тело на турник.

И никто не знал, что в тот же апрельский день из Макеевки в Москву пошло письмо — в учреждение, ведавшее делами космических полетов человека. Двадцатидвухлетний юноша, мастер мартена и спортсмен, артист и книголюб, обращался с просьбой испытать его «на предмет использования в межпланетных полетах». О себе писал коротко: «Работаю на металлургическом заводе, образование среднее техническое. Физически абсолютно здоров, с детства занимаюсь спортом». Ниже добавил было: «Не курю, не употребляю спиртного», но подумал и вычеркнул. И не потому, что это была неправда. Еще в техникуме, решив серьезно заниматься спортом, он действительно дал себе слово не брать в рот ни вина, ни папирос. И

хотя он перед праздниками охотно вносил равную со всеми долю на вечеринки, а на самих вечеринках, на свадьбах своих друзей был общепризнанным распорядителем, остроумным тамадой и вообще душой компании, к вину он не притрагивался. И к табаку тоже. Но писать об этом, решил Володя, не следует...

Шло время, ответа из Москвы не было, но Володя не унывал — он был не из тех, кто падает духом при первой же неудаче. Нет — значит, не подошла очередь. Значит, продолжай разливать металл. А еще руководи комсомольской организацией смены. Комсорг ты молодой, тебя только что избрали, вот и давай, как сказал поэт, «твори, выдумывай, пробуй».

А еще крути на турнике «солнце» и поднимай штангу.

А еще не забывай, что ты председатель культкомиссии цеха, художник стенгазеты, дружинник...

А еще надо готовиться в институт...

А еще на столе у тебя недочитанная книга. Роман о маленьком английском чиновнике, твоём ровеснике, который ценой собственного достоинства и даже жизни своих близких платит за то, чтобы пробраться туда, «наверх», в общество тех, у кого много денег в кармане и мало совести в душе.

Вот, кажется, и все...

Как все? А ты забыл, что тебя ждет танцевальный кружок, что сегодня последняя репетиция перед концертом в подшефном колхозе?

...Тоня Толданова, машинист электрокрана, рассказывала:

— Впервые я увидела Володю, когда он пришел к нам в коллектив художественной самодеятельности. Ваня Шилов — это наш баянист — спросил:

— Ну, что ты, парень, умеешь?

Володя улыбнулся, сказал:

— Танцевать...

И вот полились звуки баяна. Ваня заиграл «Ритмический вальс». Все смотрят, как Володя легко и красиво отстукивает каждый такт. Казалось бы, что тут особенного? Ну, танцует и танцует. И все-таки было в каждом его движении и жесте что-то такое, чем мы невольно восхищались...

Помнится и такой случай. Идем мы вдвоем с работы. Ночь, темно. Вдруг Володя резко останавливается:

— Стой! Вспомнил!

Я сначала даже растерялась, думала, что он забыл что-нибудь передать по смене, а когда увидела, что он старательно «отрабатывает» элемент какого-то танца, даже рассмеялась.

А он:

— Это чтобы не забыть. А завтра хлопцам покажу....Одесса плавилась под солнцем. В золотистом ковше пляжа, что ярко искрился в солнечных лучах, кипело бирюзовое море. То бурно — так, что содрогалась железобетонная набережная, — то потихоньку булькало, как плавка на доводке.

Каждый день в одно и то же время на берегу появлялся худощавый средних лет человек с аквалангом за спиной и подводным ружьем в руках. Когда Володе через некоторое время назвали его имя, он ахнул: это был известный всему миру физик.

Докурив папиросу, ученый надевал маску и шел под воду, на охоту. И хотя не было случая, чтобы он вышел на берег с рыбой, Володя ему завидовал. Вот это вещь — акваланг! Он обязательно приобретет его! До чего же, можно себе представить, это интересно — путешествие в подводное царство!

Володя дотянулся до альбома и коробки с красками. На белом листе появился первый рисунок: человек с аквалангом за спиной идет в море. Потом второй: человек в окружении удивительного подводного мира. Заинтересованный невиданным существом, кружит около него косяк серебристых рыб. У самого лица проплывает черепаха. Из каменной пещеры, замаскировавшись зелеными водорослями, выглядывает осьминог. А это кто выплывает из глубины? А-а, сама царица моря. Девушка с длинной косой, белыми, как лебединые крылья, руками и рыбьим хвостом вместо ног...

И третий рисунок: царица моря, уже с аквалангом за спиной, выходит из воды. А коса у нее уложена, как у Лили, и цвет волос, как у Лили, и глаза, как у Лили, — в них голубеет море...

А вечером он писал:

«...Ты знаешь, Лиль, я начинаю завидовать бездельникам. Удивлена? Нет, правда. И это открытие я сделал вчера вечером, когда бродил по городу. Представляешь, после нашей заводской бучи — никаких забот, ходи себе преспокойненько, разглядывай афиши и рекламы, залитые огнями. И сколько хочешь раздумывай над жизнью.

А как это, наверное, стоит иногда делать! О чем только не передумал. Сделал тысячу всяких открытий. Но свои открытия я БРИЗу не доверю. Только тебе...

Нет, серьезно. В чем состоит жизнь? Учишься, работаешь. Со смены на ходу перекусишь — ив клуб на репетицию. Завтра — тренировка по штанге. Послезавтра — собрание... И так день за днем. А время идет. Не заметил, как и до «четвертной» подобрался. И кому все это нужно? Как ты думаешь?

Мне. Вот мое первое открытие. Да-да, Лиль, мне...»

На минутку представил: вдруг все отпало. Сегодня после смены ему не бежать стремглав на репетицию, завтра не нужно идти в спортзал, послезавтра — на собрание... И так день за днем. Чем бы жил?

«...Каждый человек, если он действительно живет и работает честно, в какой-то мере первопроходчик в новое, свое. Вся его работа, результаты его труда — это, согласись, кирпичик будущего. А будущее — это люди. Ведь вот кто-то когда-то первым ударил камнем о камень, высек такое чудо — огонь. Невозможно представить нашу жизнь без огня...»

Он даже зажмурился — так неожиданно ударило в глаза сияние родной Донетчины. Он видел ее с высоты ночного неба, когда летел сюда, в одесский дом отдыха. Это было красиво, как в сказке, — море огня... Словно расплавленной сталью кто-то брызнул из огромного ковша, и она далеко расплескалась по земле, рассыпалась мириадами брызг. А металлургический завод казался грядой огнедышащих кратеров. Кто-то в самолете запел:

*Горят мартеновские печи,
И день, и ночь горят они...*

Вспомнился рассказ сталевара Даниила Рябцева о том, как он, сельский паренек, впервые пришел в мартеновский цех. Дышащие жаром печи слепили глаза, настораживали и пугали. Нестерпимо тяжелым, горьким казался воздух, которым приходилось дышать, угрожающе рычали завалочные краны. Нужны были годы, чтобы он

привык, акклиматизировался, сроднился с горячей и разноголосой бучей мартена.

А он, Володька, и родился в сполохах завода, он был кровным сыном земли, которую называли всесоюзной кузницей, в горнах которой никогда не гасло пламя. И представить свою жизнь без этого чудодейственного огня, в котором рождается стальное могущество Отчизны, он не мог...

Взгляд упал на рисунок, сделанный днем: из воды выходит царевна моря. А коса у нее уложена коронкой, как у Лили, цвет волос, как у Лили, глаза, как у Лили. Она шутливо грозит ему пальцем и шепчет — тоже голосом Лили: «Оставь ты хоть здесь свои производственные дела, не думай о них. Что тебе, больше всех нужно? Ты не директор завода, не начальник цеха, ты всего лишь разлищик стали, твое дело маленькое...»

«Нет, ты, Лилечка, не возражай. Это очень серьезно. Человек оставляет, обязательно оставляет свой след на земле...

Представь себе, пуля убила молодого солдата. Одного. Однако в итоге она убила и его будущих детей. И детей этих детей. Одна крошечная пуля — всего девять граммов свинца! — сделала целую просеку в человечестве.

А мне, Лилечка, хочется жить так, чтобы не голая просека прошла за мной, а живой человеческий след, по которому бы шли люди...»

Он прочитал вслух последнюю фразу и снова склонился над столом: «На сегодня, наверное, хватит. Совсем зафилософствовался.

Еще одно, последнее... Я соскучился о тебе. Вот возьму завтра билет — и прощай, Одесса... Скорей бы увидеть всех наших! Видно, отдых не по мне. Был бы я врачом, всем бы выписывал один рецепт — работать!

...Уже поздно. Ложись спать.

Спокойной ночи. Целую. Твой Володька».

* * *

Была весна, был первый день мая. Был праздник в природе и праздник в сердцах людей...

Утром сошлись на площади около главной конторы, выстроились в колонны и с флагами и транспарантами, что алыми парусами трепетали над головами, двинулись в центр города.

Гнула под ногами натертая до блеска весенним солнцем широкая лента асфальта. Слева за высокой стеной перекликались металлическими голосами заводские корпуса. Огромный и неутомимый работага-завод и в этот праздничный день был охвачен высокоградусной горячкой труда. А справа за изгородями Старой колонии салютовали людям первой зелены и первым весенним цветом ветвистые деревья. И светило солнце, и звенел смех, и играла музыка... Сначала зазвучал марш, под звуки которого ходили на майские праздники еще наши отцы и деды. А потом кто-то затянул песню о штурмовых ночах Спасска и волочаевских днях, и сотни людей подхватили ее. А потом из-под горячих пальцев баяниста вырвалась мелодия танца, и кто-то, обхватив Володю за плечи, вытолкнул на середину живого человеческого круга, что двигался вместе с колонной. Он нырнул было в свою шеренгу, но в него уже вцепились четыре девичьи руки и снова вытянули на середину круга. Одна из девчат тут же растаяла в толпе, а другая задорно взмахнула перед его лицом платочком:

*Ой, дождик идет,
Лавочку намочит.
Пришел милый, да не мой.
Голову морочит...*

И Володя легко и красиво пошел по кругу.

Послышались возгласы восхищения:

— Вот это дает!

— Артист!

— А то нет? Слышали же — из области приезжали, в ансамбль забрать хотели.

...Такое действительно было. Как-то во время смотра заводской художественной самодеятельности к Володе подошел представитель

областного ансамбля и начал агитировать — давай, говорит, к нам, учиться пошлем, танцевать будешь, артистом станешь! Володя слушал-слушал, а потом улыбнулся и сказал:

— Разрешите рассказать вам одну веселую историю, которую я недавно слышал...

Было это во время войны. В село, в гости к родителям, приехал офицер. Сошлись соседи, с восторгом смотрят на его золотые погоны, на ордена и медали, завидуют отцы: «Какой сын, какой сын!..»

Кончилась война, офицер демобилизовался, стал певцом столичного оперного театра и уже в обычном гражданском платье приехал к отцу. И снова сошлись в хату соседи:

— Так что же ты, сынок, теперь делаешь?

— Пою...

Мужики отворачиваются, прыскают в бороды:

— Да мы все поем. Ну а что ты делаешь? Володя закончил:

— Боюсь, чтобы друзья по работе не сказали мне то же самое...

...Через мост, который, пересекая улицу, соединяет завод со шлаковой горой, проползла цепочка чугунных чаш, белых от жара. Заняв «исходную позицию», состав остановился, и из передней чаши, словно магма из кратера вулкана, хлынули под откос белые огненные потоки. Если бы это была ночь, алое зарево над шлаковой горой видел бы весь Донбасс, от меловых круч Донца до приазовских степей...

А колонна прошла под мостом, поднялась на Московскую улицу, повернула на проспект Ленина, где перед высоким обелиском героям войны стояла кумачовая трибуна. Когда поравнялись с ней, оттуда сквозь гром торжественной музыки прозвучали приветствия:

— Слава советским металлургам!

— Боевому коллективу кировцев — ура!

Колонна ответила дружно и громко, настроение у металлургов было отличное.

И это было так хорошо — четким, торжественным шагом, плечом к плечу со своими товарищами пройти мимо праздничной трибуны, чувствуя себя живой и неотъемлемой частью армии трудящихся...

Я внимательно всматриваюсь в тот весенний день, уже далеко отодвинутый от нас непрерывным бегом времени, и вдруг вижу Володю таким, каким выхватил его из бурного первомайского водоворота объектив любительского фотоаппарата.

С непокрытой головой, засунув руки в карманы пиджака, стоит он у тротуара, а взгляд его больших, немного прищуренных глаз где-то далеко-далеко...

О чем думал он в то торжественное утро, за пять дней до гибели?
...А потом еще был майский вечер...

Подпеченное заводскими сполохами, стыло небо над поселком. В палисадниках густым цветом клубилась черемуха, и в белом ее прибое, взявшись за руки, они медленно шли по вечерней улице. Устав, присели на лавочке напротив школы. Где-то напевала радиола, где-то в прозрачной выси прокурлыкали журавли. А двое сидели под звездами и молчали.

На травы, на спящие уличные клены упали холодные предрассветные росы, и он нежно подхватил ее на руки и легко, словно невесомую, понес к дому. У калитки так же легко поставил на землю. Лиля благодарно улыбнулась, взяла его за руку:

— Когда же мы увидимся? Хочу видеть тебя каждую минуту — и сегодня, и завтра, и всю жизнь...

Двое стояли под звездным небом.

Двое молчали...

...Войдя в раздевалку, Михаил Глуховеря, машинист завалочного крана и партнер Володи по танцам, удивился: до начала работы не оставалось и получаса, а Володя еще был тут, в душевой. Низко наклонившись, он медленно зашнуровывал ботинки.

Михаил подошел ближе, запустил пальцы в его буйную шевелюру:

— Опаздываешь, товарищ мастер! Начальство должно быть на месте первым.

Володя поднял голову, как-то виновато улыбнулся, потом быстро поднялся и, на ходу застегивая спецовку, выбежал.

В нарядной уже была вся смена. В конце небольшого помещения, в углу, ожесточенно стуча костяшками, «забивали козла» доминошники. В другом углу, слева от входа, за своим столиком сидели мастера первого и второго блока печей Вениамин Лавров и Михаил Бабенко. График-задание на смену мастера — так повелось издавна — зачитывали по очереди. Сегодня была очередь мастера третьего блока — Владимира Грибиниченко. И потому, как только он занял свое место за столиком, послышалось знакомое:

— Запевай, Володя!

Доминошники мигом собрали со стола кости, Володя достал из кармана блокнот:

— Печь номер один... — как-то особенно возбужденно и даже торжественно начинает он. — Печь номер два... печь номер три... печь номер...

Одиннадцать печей в мартене, и одиннадцать граф в блокноте у мастера...

Но вот уже разливчики и последней, одиннадцатой, прячут в карманы листки, на которых записали свою программу действий на смену.

— Все ясно?

— Все!

— Вопросов нет?

— Нет!

— Тогда все по местам.

Дымя папиросами, разливчики и их подручные заспешили из нарядной.

Вспоминая, как разворачивались события той роковой ночи, с пятого на шестое мая, Михаил Бабенко напишет мне:

«На какие-то две-три минуты мы остались в нарядной втроем: Володя, Вениамин и я. Обменялись некоторыми замечаниями о положении в разливочном пролете, конкретно договорились, кому с чего начинать, и вышли из нарядной.

Первым нас оставил Лавров, поскольку наши рабочие площадки расположены вдоль цеха и первой от нарядной была площадка Вениамина. Володя подтолкнул его локтем:

— Ну, как говорит моя соседка-бабуся, с богом, Парася! Желаю вам Закончить смену так, чтобы удостоиться лаврового венка, товарищ Лавров!

Подошли к моей, рабочей площадке.

— Ну, пока, батя!

Володя в шутку называл меня «батей», это была месть за мое — «сынок».

Улыбнулся и пошел дальше — стройный, подтянутый, красивый...

И разве, глядя ему вслед, мог я подумать, что люблюсь им в последний раз, что Володя «запевал» сегодня на наряде тоже в последний раз...

Прошло время, а он, Володя, и теперь каждый раз встает передо мной таким, каким я видел его в ту ночь. Я отчетливо вижу его лицо, озаренное доброй улыбкой, ясно слышу его голос...

О том, что было после, я с тяжкой болью в душе буду вспоминать всю жизнь...

Я не успел еще обойти свой участок, когда до меня докатилась страшная весть. Я бросился к месту катастрофы, но было уже поздно...»

...По крутой лестнице Володя поднялся на разливочную площадку, что узкой лентой тянется вдоль цеха. Около девятой печи шла разливка. Здесь уже заполнили сталью изложницы первого круга, и, перейдя на второй, разливщик с подручным готовились, как всегда в таких случаях, брать пробу. Все как будто было в порядке, все шло как следует. Мастер пошел дальше.

Но не успел он сделать и нескольких шагов, как вдруг где-то за его спиной над разливочным пролетом вспыхнуло ослепительное зарево. Володя оглянулся. На месте, где только что, отбирая пробу, стояли разливщики, в густых клубах дыма и огня лежал человек... Лежал человек, а по нему бил густой металлический град...

Оттолкнув к стенке, в более безопасное место, контролера ОТК, что шла сзади, Володя бросился в огонь...

По голове, по спине, по рукам ударили тяжелые капли огня, едким металлическим дымом перехватило горло. Нечем дышать, ничего не видно... Володя одной рукой прикрывает лицо, другую протягивает вперед. Где ты, друг?.. Только бы скорее схватить тебя, вытащить, вырвать живым из огненной западни...

А металлические осы, рои металлических ос больно впиваются в темя, в руки, в лицо. Пышные кудрявые волосы словно сбрило с головы, факелом вспыхивает легкая хлопчатобумажная спецовка...

Наконец он нащупывает рукой человека, который словно прикипел к рифленой железной площадке. Володя хватает его за пылающую одежду и изо всех сил тянет из-под кипящего металлического ливня. Еще немного, еще немного, вон туда, до стенки,

до окна, за которым нет этой страшной огненной купели, за которым прохлада, свежий воздух, спасение...

Он уже не чувствует боли. Просто невероятно тяжелым и расслабленным стало собственное тело. Но он должен держаться, он еще не достиг цели. И, собрав последние силы, он подтягивает разливщика к спасительному окну...

Сколько прошло времени?

Может, минута, может, и того меньше...

Пришел в себя машинист крана, растерявшийся на какое-то мгновение, отвел в сторону ковш. Кто-то дотянулся до рукоятки стопора и прикрыл сталевыпускной стакан...

И тогда все бросились к месту, где стряслась беда, и увидели: на площадке, усеянной угасающими стальными градинами, лежит Володя Грибиниченко...

Позднее заводские специалисты восстановят все подробности случившегося. И станет ясным: пытаясь оторвать затвор от прикипевшего к нему стакана, разливщик поднял его выше, чем следовало. Из ковша хлынула слишком большая струя стали. Подручный не смог удержать ложку, она перевернулась вверх дном, и металл пошел во все стороны... Подручный тут же спрятался за колонной. Он не видел ничего: ни того, как загорелась на разливщике одежда и он упал, накрытый огненной шрапнелью, ни того, как Володя стремглав бросился на помощь...

«Когда мы сгоряча, — продолжал Михаил Сидорович Бабенко, — попробовали взять его на руки, чтобы отнести в медпункт, оказалось, что этого нельзя сделать без носилок, так как все тело его было покрыто сплошным ожогом. Ремешок от часов обуглился, стекло растрескалось и выпало, стрелки замерли на двадцати трех часах двадцати минутах...

Прошло всего двадцать минут, как Володя зачитывал график, как бросил с веселой улыбкой вслед разливщикам:

— Сегодня, хлопцы, работать лучше, чем вчера!.. Кто-то в суматохе сказал: «А что делать с часами?»

Володя раскрыл глаза и спокойно ответил: «На лешего они тебе нужны?» — и этими словами словно вывел нас из оцепенения...»

А потом была ночь — длинная, как вечность. И для Володи, и для его друзей...

Всю ночь бегали люди к телефону, звонили в больницу, справлялись, как он себя чувствует. Но врачи сказали только одно: обожжено девяносто восемь процентов поверхности тела...

...А он лежал в это время на берегу моря, под нестерпимо палящим одесским солнцем. Лежал и смотрел, как выплывает из воды царица моря. А коса у нее уложена коронкой, как у Лили, и цвет волос, как у Лили, и глаза, как у Лили, — в них голубеет море... Да это же она и есть — Лиля, царица из далекого рабочего поселка!

Вот он сейчас всыплет ей, этой царице! Мы как условились? Пока не сдашь экзамены — за калитку не выйдешь. Нет, Лилечка, не возражай, это очень серьезно — экзамены. На аттестат зрелости. Или уже в институт? погоди, а в какой институт ты решила пойти? Ага, вспомнил, в медицинский. Правильно, Лилечка! Это такая великая должность на земле — спасать людей от смерти...

И еще. Я соскучился по тебе. Скорей бы увидеть тебя, всех наших. Видно, отдых не для меня. Тут так немилосердно печет солнце. Нечем дышать, нет сил пошевелиться... Пить, как хочется пить!..

А Лиля уже склонилась над ним, осторожно поднимает его голову:

— Вот водичка. Попей, Володя.

— Спасибо, Лиля...

— Меня зовут Верой, — снова склонилась над ним медсестра.

— Верой? Какое хорошее имя — Вера...

Он припадает огненными губами к холодному стеклу и пьет, пьет, пьет... А потом снова падает на горячий песок возле моря...

Утром друзей по смене пустили в палату. Глянули на своего Володю — и не узнали: почернел весь, как уголек... А увидел своих — улыбается, бодрится. Мол, не волнуйтесь, ничего страшного со мной не случилось!

— Ребята, а гантели принесли мне? Обязательно принесите, а то как же я буду тут без зарядки. И бритву — тоже, а то зарасту, как Тарзан.

Увидел Михаила Бабенко, позвал к себе:

— Батя, а кто вместо меня работал? А как там Наумович, разлищик, как его здоровье? Ему надо жить, обязательно надо. У него

дети...

Потом увидел шофера Жору, своего неизменного партнера по мексиканскому танцу. И снова засветились голубые глаза под сожженными бровями:

— Жора, давай споем нашу — «Я люблю тебя, жизнь!».

Привезли Варвару Александровну. В немой печали припала она к сыну:

— Сынок мой, единственный мой...

Володя провел рукой по ее седой, как голубиное крыло, голове:

— Не плачьте, мама...

Собрав последние силы и последнюю волю, он всем своим существом старался показать, что ничего особенного не случилось, что волноваться ей, матери, нет причины...

О, он такой у нее, он такой... И сам не унывал никогда, и ей не давал...

Сидели как-то вечерней порой во дворе, смотрели на свою убогую халупу и советовались, что делать с ней. Поставленная еще «при царе Горохе», она уже совсем никудышная стала. Мать и говорит:

— Ничего мы с ней уже не сделаем, сынок, проси на заводе квартиру, записывайся на очередь.

Записался. Подошла очередь. Побежал сын на завод. Вернулся веселый, взволнованный.

— Что, дали, сынок?

— Нет, не дали, мама...

— А чего же тебе весело?

— Да понимаете, мама... Отдал я свою очередь одному человеку из нашего цеха. У нас хоть какая-нибудь хата есть, а он с детьми в подвале ютится. Мама, видели бы вы, как он был рад, как был счастлив!..

...Володя снова улыбнулся, прижал к груди ее седую голову:

— Слышите, не плачьте... Я у вас сильный, я поднимусь, обязательно поднимусь... Где там Жора? Мы все же споем с ним нашу, комсомольскую...

А пошел восемнадцатый час с того мгновения, когда Володя бросился под огненный град. И это был последний час его жизни...

...Хоронили Володю девятого мая. В день, когда люди всей земли чтят светлую память тех, кто не пришел с войны, кто закрывал своим

телом амбразуры вражеских дотов, и падал в горящих самолетах на головы ненавистных пришельцев, и принимал нечеловеческие муки в гестаповских застенках — только бы в добре и славе жила родная земля, и голубела мирными рассветами, и поднимала к высокому солнцу своих окрыленных сыновей...

Высоким курганом легли на могилу цветы...

А вокруг в молчании еще долго стояли его друзья, побратимы. Люди суровой профессии, они не плакали. Они молча склонили головы над свежим холмиком земли, прощаясь с тем, кто в час своего первого и последнего в жизни испытания поступил так, как только и мог поступить сын той великой и самоотверженной когорты тружеников земли, имя которой — рабочий класс...

...На двери — металлическая табличка: «В этом классе учился Володя Грибиниченко».

Заходим в класс, и сорок учеников, словно по команде, поднимаются из-за парт. Это 7-й «Б», лучший в школе...

А вот и старенькая, окрашенная в голубой цвет парта Володи. На ней тоже мемориальная табличка. Хозяйки парты — две белокурые девочки, Валя и Тамара, отличницы... Потом, на торжественном сборе пионерской дружины, одна из них взволнованно прочитает свои стихи, посвященные герою:

*На подвиг, как Матросов Саша,
Ты смело шел. И вот теперь
Всегда, всегда ты в сердце нашем,
И жизнь твоя — для нас пример!*

Заходим в ленинскую комнату. В ней тоже уголок Володи Грибиниченко. Над портретом слова Максима Горького о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Ниже — многочисленные вырезки из газет, в которых рассказывается о героическом поступке молодого макеевского металлурга. В альбоме — фотографии, воспоминания учителей, друзей детства, товарищей по учебе в техникуме и по работе в мартене, по комсомолу.

Сегодня, шестого апреля, день его рождения, и в длинном школьном коридоре уже выстроилась на торжественный сбор

пионерская дружина. В конце коридора — стол, накрытый красным полотнищем. На столе — портрет Володи и душистые полевые цветы — первые цветы весны...

И подходят к столу дети и, вскинув руки в салюте, клянутся высоко держать знамя дружины, на котором навечно начертано имя Володи Грибиниченко. И звучат стихи о том, что солдатский сын Владимир Грибиниченко так же мужественно и самоотверженно шел на подвиг во имя человеческой жизни, как когда-то Александр Матросов...

...Мы выходим из ворот школы. Теплое апрельское солнце освещает широкую улицу, наливая живительным соком набухшие почки на деревьях. По подсохшему асфальту шумливая детвора гоняет кожаный мяч. Медленно проплыла убранная лентами и полевыми цветами легковая машина — повезла молодых в загс. Навстречу нам по зову заводского гудка спешит на смену рабочий люд...

Улица живет своей обычной жизнью — простой и красивой. Улица Володи Грибиниченко.

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА ЛКСМУ

МАКЕЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ИМЕНИ КИРОВА

Слушали: информацию секретаря комсомольской организации мартеновского цеха № 1 Николая Винниченко о героическом подвиге комсорга смены Владимира Грибиниченко.

Мастер разливочного пролета Владимир Грибиниченко в ночь с 5 на 6 мая, находясь на работе, совершил героический подвиг — в трудовых буднях повторил легендарный подвиг Александра Матросова. Спасая жизнь товарищей, он бросился под раскаленную струю металла и погиб.

Постановили: 1. Занести навечно в список комсомольской организации завода Грибиниченко Владимира Кирилловича.

2. Секретарю комсомольского бюро мартеновского цеха № 1 тов. Винниченко оставить на учете в цеховой организации члена ВЛКСМ Грибиниченко Владимира Кирилловича.

Виктор СОКОЛОВ

Анатолий МЕРЗЛОВ

За самоотверженность и героизм,
проявленные при спасении урожая
и сельскохозяйственной техники,
занести в книгу Почета ЦК ВЛКСМ
т. Мерзлова
Анатолия Алексеевича —
члена ВЛКСМ, механизатора
колхоза имени Чапаева
Михайловского района
Рязанской области (посмертно).

Я уже читал в «Комсомольской правде» и о мужественном поступке, стоившем жизни восемнадцатилетнему комсомольцу Анатолию Мерзлову, и о том, что его имя занесено в книгу Почета Центрального Комитета комсомола, когда товарищи из «Комсомольской правды» позвали меня к себе в редакцию и положили передо мной письма, пришедшие в газету.

В одном все письма сходились: их авторы, все без исключения, отдавали должное мужеству Анатолия Мерзлова. Но дальше в нескольких письмах ставился вопрос:

— Да, это, конечно, мужество, но стоило ли его проявлять по такому поводу? Стоило ли идти на риск, как выяснилось впоследствии — смертельный, — ради того, чтобы спасти из огня трактор? Можно ли равнять цену трактора с ценой человеческой жизни? Сгоревший трактор можно заменить другим, а сгоревшую человеческую жизнь другой не заменишь.

Я излагаю не текст писем, а лишь примерный ход мыслей их авторов.

Товарищи из «Комсомолки» попросили меня сказать на странице газеты, что думаю по поводу таких писем я, человек, много писавший о войне и встречавший там многих людей, неоднократно и сознательно рисковавших жизнью.

Мое первое побуждение было — ответить очень коротко, что в моем личном представлении человек, совершивший подвиг, рискуя собственной жизнью, безоговорочно прав. И что, хотя я не знаю, хватило бы у меня самого, в мои пятьдесят семь, решимости в подобных или схожих обстоятельствах поступить так, как поступил Мерзлов в свои восемнадцать, но я хотел бы найти в себе силы поступить так, как он, а не растеряться, как тот, второй, сорокалетний тракторист, которого Мерзлов по-мальчишески звал дядей Колей.

Так мне сначала хотелось ответить и этим ограничиться.

Но потом я понял, что ограничиться этим не могу: для того, чтобы составить собственное представление о происшедшем, а главное — о тех нравственных выводах, которые из этого следуют, мне надо сначала съездить туда, где все это было.

И вот я за двести двадцать километров от Москвы, в селе Прудские Выселки, в окрестностях старого русского города Михайлова, в котором я был в последний раз почти тридцать один год назад, в декабре сорок первого, в то утро, когда армия генерала Голикова выбила оттуда войска Гудериана.

Не сразу, а уже по дороге к Михайлову, я задним числом подумал, что товарищи из «Комсомолки» в данном случае обратились ко мне, а не к другому писателю моего поколения, наверно, потому, что кто-то в газете вспомнил мою старую корреспонденцию, присланную тогда, в сорок первом, из Михайлова.

«Ну что ж, — подумал я, — они по-своему правы. Знакомые по войне места рождают в нас не только воспоминания, но и сравнения. И эти сравнения порой бывают нужны».

Позже я еще вернусь к этому. А пока попробую дать почувствовать то, что почувствовал я сам там, в селе Прудские Выселки, сначала в одной из комнаток правления колхоза, где я застал пришедших туда в обеденный перерыв мать и отца погибшего, а потом в их осиротевшем притихшем доме, где заканчивался наш разговор с ними.

Мне, как, наверно, почти каждому немолодому человеку, несколько раз в жизни доводилось быть первым вестником непоправимого; доводилось приходиться и говорить «он умер» про того, кого минуту назад считали живым.

Сейчас я разговаривал с двумя людьми, которые уже давно, больше двух месяцев, знали, что их сын умер, что его нет, но все равно меня не оставляло чувство вины перед ними. Своими вопросами я возвращал их к тому дню, когда их сын совершил то, что он совершил, и к тому дню, когда он умер, и к тем четырнадцати суткам, которые пролегли между тем и другим в борьбе за его жизнь.

И не сразу, а лишь потом, где-то в середине нашего разговора, я понял, что мера моей вины, человека, расспрашивающего отца и мать об их погибшем сыне, не так велика, как мне сначала показалось. Горе их было так глубоко, что разговор еще с одним человеком, вынудившим их своими вопросами снова вслух вспоминать при нем о сыне, не мог разбедить это горе — оно с одинаковой силой и с одинаковой болью существовало внутри них и когда они говорили о нем, и когда они молчали о нем.

Нина Петровна Мерзлова и Алексей Михайлович Мерзлов — мать и отец погибшего Анатолия — люди стойкие и глубокие. И пока я говорил с ними, мне через них, через их человеческие личности, через их взгляд на жизнь, через их собственное отношение к поступку погибшего сына постепенно открывалась и личность того восемнадцатилетнего юноши, которого я уже никогда не увижу и никогда не спрошу, как он сам-то смотрит на свой поступок — стоило ли рисковать своей молодой жизнью из-за «железки», как выразился о тракторе автор одного письма.

Стойкие люди — это не те, у которых не дрогнет голос и не упадет слеза. Стойкие люди — это те, которые сами не дрогнут в трудную минуту жизни, которые сами не упадут на колени перед бедой.

Нина Петровна, вспоминая о сыне, не прятала слез, они несколько раз появлялись у нее на глазах, а иногда она вдруг улыбалась сквозь слезы, когда вспоминала какие-то милые ее сердцу, вызывавшие эту улыбку подробности детства ее сына. Улыбалась между слезами, наверное, потому, что в ее памяти существовала не только смерть сына, а вся его жизнь, со всеми ее подробностями, трогавшими и смешившими ее, а иногда удивлявшими и вызывавшими ее материнское уважение к мальчику, а потом к подростку и юноше.

Родители Анатолия Мерзлова говорили о своем сыне с уважением. Это слово точнее всего определяет то главное чувство,

которое стояло за всем, что они рассказывали. Не умиление, не восхищение, а именно уважение. Он рос в их семье и вырос в человека, которого они уважали. Уважали его отношение к людям и к делу, к младшему брату и сестре, к молоденькой жене, к товарищам. Они уважали его за то, как он работал, с какой любовью и ответственностью относился к порученному делу и как к части этого дела — к тому старенькому, но отремонтированному им и безотказно работавшему трактору, который он решился спасти от огня. Они не изумлялись и не восхищались этим поступком своего сына. Они испытывали к своему сыну более прочное и сильное чувство — чувство глубокого уважения.

Отец, Алексей Михайлович, не проронил слезы, когда говорил о сыне, только голос у него был медленный и трудный, голос человека, который знает, что сумеет себя сдержать, но которому это нелегко дается, и поэтому он настороже к самому себе.

Он увидел сына почти сразу же, через каких-нибудь десять минут после того, как тот, обессилев в борьбе с огнем, все-таки вырвался, выполз из пламени, в котором уже, казалось, не могло остаться ничего живого. А когда выполз, сам, прежде чем успели к нему подбежать, сорвал с себя остатки обгоревшей одежды и сам дошел до мотоцикла с коляской, сказав тому, другому, который растерялся, только три слова:

— Дядя Коля, вези!

А через несколько сот метров, сзади, третьим, на мотоцикл сел работавший тут же, в поле, отец, и, пока они ехали несколько километров до районной больницы, Анатолий не крикнул, не застонал, не пожаловался отцу на то, что с ним произошло. За всю дорогу сказал только одно слово: «Прикрой», и показал обожженной рукой на свое обожженное лицо, которое нестерпимо резало встречным ветром.

И отец, пока они доехали до больницы, прикрывая от ветра, держал перед его лицом вчетверо сложенную газету.

И еще одно слово сказал отцу:

— Сам...

Это когда ему помогли вылезти из коляски у больницы и хотели понести его по лестнице на второй этаж в операционную. Но он, сказав «сам», сам поднялся на второй этаж и сам лег на операционный стол. И там, на операционном столе, молчал, терпел. И потом еще тринадцать суток, вплоть до самых последних, когда уже потерял

сознание, молчал и терпел. А терпеть пришлось много. Несусветнее боли, чем от этих страшных ожогов, не придумаешь.

То самообладание, которое Анатолий Мерзлов проявил в первые страшные минуты и с которым он тринадцать суток боролся со смертью, не отчаиваясь, не жалуясь, за все время — ни при отце, ни при матери, ни при враче, ни при товарищах, ни при жене — не проронив ни одного жалобного слова, задним числом убеждало меня в том, что смертельный риск, на который пошел Мерзлов, спасая свой трактор, не был просто вспышкой мальчишеской отчаянности, мгновенным бездумным взрывом.

На смертельный риск пошел человек твердый, человек с самообладанием, решивший исполнить свой долг так, как он его понимал, и надеявшийся, что он сумеет это сделать, сумеет оказаться победителем в этой схватке со стихией.

Самообладание было воспитано в нем всею недолгою жизнью, а мгновенность решения обусловлена обстоятельствами, ибо есть обстоятельства, в которых другие решения, кроме мгновенных, вообще исключены.

Человек, которого уже нет, вырос старшим сыном в семье, где и мать — доярка, и отец — комбайнер — оба работали и по целым дням не бывали дома. С детства готовил еду себе, брату и сестренке, и готовил, по отзыву матери, хорошо. И младших держал в руках, был с ними и строг и справедлив. Это тоже по отзыву матери. Был очень сильный парень, очень крепкий физически, но не любил ввязываться в драки и вообще ни в какое баловство. Когда мать отговаривала его идти куда-нибудь вечером: «Смотри, еще в драку втянут», — отвечал коротко: «Сам не влезу, и меня не втянут». И действительно, никто никогда его ни во что худое не втянул. Никого не боялся, но и силой своей никогда не злоупотреблял. Был молчаливый. Любил музыку и технику.

В последний раз, отремонтировав сам свой трактор, вернувшись с работы, поставил его у дома.

Мать была недовольна: «Что это вдруг трактор будет у нас под окнами стоять?»

Отвечал, что опасается, как бы там, где оставишь трактор, кто-нибудь вдруг чего-нибудь не отвинтил.

— Так ведь, если там, не дай бог, чего и отвинтят, — не твой ответ, — сказала мать. — А если здесь, у дома, — тут уж на полный твой ответ!

В спор не вступал, отвечал коротко:

— Пусть стоит у дома.

Когда ребята, товарищи Анатолия, добивали, затапывали потом огонь на поле, у одного из них обгорела голень. Когда он пришел к Анатолию в больницу, Мерзлов сказал ему:

— Покажи, как у тебя обгорело.

Наверное, хотел увидеть, как это выглядит у другого. Посмотрел и ничего не сказал. А товарищ, когда вышел, не мог успокоиться, все повторял:

— Мне вот ногу обожгло только, и то невыносимая боль, а он все терпит, такой ожог огромный, как у него, терпит! Как он только терпит! Слова не скажет!

В больнице Анатолий в первый же день спросил про свой трактор:

— Как трактор?

Трактор его не спасли и спасти не могли, но ему сказали неправду, в данном случае хорошо понятную, — что трактор более или менее в порядке, можно будет на нем работать.

— Вентиляторный ремень сгорел? — спросил Анатолий.

— Вентиляторный ремень сгорел, — сказали ему. Да, конечно, перед лицом той борьбы между жизнью и смертью, которая шла в теле Анатолия там, в больнице, цел или не цел трактор, не имело значения!

Чтобы человек жил, люди готовы были отдать ему свою кровь и свою кожу. И что рядом с этой ценой цена трактора?

Но для человека, лежавшего и умиравшего в больнице, было важно, цел ли его трактор. Если бы это было для него неважно, он бы не спрашивал. О неважных вещах в таких случаях редко спрашивают.

Человек, умиравший в больнице, бросался в огонь, не очертя голову, он не был самоубийцей и ценил себя и свою жизнь не меньше, чем другие люди. Но в его понимание цены человека, в том числе и собственной цены, очевидно, входило понимание цены выполненного или невыполненного долга.

Он считал своим долгом спасти свой трактор и считал, что сумеет это сделать. А смертелен или не смертелен риск, на который в то или

иное мгновение своей жизни идет человек, чаще всего выясняется не сразу, а потом, когда все уже совершилось.

Иногда риск оказывается не таким смертельным, как ему показалось в ту, первую секунду, а иногда — наоборот. И вся трудность как раз в том и состоит, что меру риска невозможно заранее взвесить на медленных аптекарских весах. Когда время не ждет и надо или рисковать, или нет, тот, кто начинает слишком долго размышлять над мерой риска, в результате вообще чаще всего не рискует.

Бывает, что люди, пошедшие на оправданный или неоправданный риск и пострадавшие при этом, потом, в минуты слабости, в минуты сомнений, вспоминая, говорят о том, что они сделали: «Эх, не надо бы!..»

Насколько я понял из всего услышанного мною там, в селе Прудские Выселки, от многих и разных людей, рассказывавших мне о Мерзлове, он — и это совпадало для меня с представлением о его личности и характере, возникшим из этих рассказов, — ни другим, ни самому себе не сказал: «Эх, не надо бы!»

Он сказал другое: сказал одному из пришедших к нему в больницу товарищей, молодых трактористов:

— Надо бы сиденье взять с трактора. С ним бы лучше.

Товарищ не сразу понял, что хотел сказать ему Анатолий. И переспросил.

Тогда Анатолий объяснил, что зря он не вспомнил, не сообразил там, в огне, взять это сиденье, чтобы прикрыть им лицо, когда вырывался из огня, — меньше бы лицо обгорело!

Вот о чем он жалел, умирая, этот сильный и стойкий человек. Не о том, что рискнул жизнью, а об оплошности, о том, что, совершая подвиг, при всем своем самообладании все-таки допустил эту оплошность.

Отвлекусь в прошлое. Прудские Выселки всего в нескольких километрах от Михайлова, в котором я был тридцать один год назад.

По правде говоря, глядя на нынешний Михайлов, я не мог вспомнить, где что тогда, в сорок первом, происходило в нем и вокруг него. Нынешний, еще летний, с не-пожелтевшей зеленью садов городок, с речкой посередине, с перекинутыми через нее мостами и мостиками, уж очень непохож был на тот, зимний, разоренный. В нем и реки-то, как мне помнилось, не было, был только лед, и на льду, так

же как и на улицах, — сожженные и целые немецкие машины и танки, а в воздухе запах войны: гари, бензина, пороха.

В том давнем, зимнем городе не было бетонной стелы на въезде с надписью: «Воинам 10-й армии, освободившим г. Михайлов 6–7.XI.1941. 328 с./д.». А через город, в трескучий мороз, нахлобучив ушанки и подняв воротники шинелей и полушубков, шли солдаты тех самых 328-й и 330-й дивизий, чьи имена сейчас вписаны в историю города.

Не было тогда и танка тридцатьчетверки, который стоит сейчас на высоком постаменте на обрыве над рекой.

На постаменте написан номер танка: 3312, и сказано, что, изготовленный в 1942 году на одном из уральских заводов, этот танк участвовал в Сталинградской, потом в Курской битве, потом был перевооружен более мощной пушкой и в составе Четвертой гвардейской танковой армии вошел сначала в Берлин, а потом в Прагу.

Когда я подошел к этому танку, с другой стороны к нему подошел человек примерно моего возраста, в штатских брюках навывпуск и в кителе без погон, с мальчиком лет пяти или шести, должно быть, внуком. Он стал вслух читать мальчику надпись, но мальчика заинтересовало другое.

— А в нем люди есть? — вдруг спросил он, глядя на танк.

— Сейчас нет, — сказал старый солдат.

И я подумал о людях, которые были в этом танке. Может быть, кто-то прошел в нем весь путь от начала до конца, а кто-то другой влез в этот танк уже в дороге, заменяя погибших и раненых. Вряд ли от Сталинграда до Праги в танке сидели все те же самые люди! Но прошел он весь этот неимоверно долгий путь, потому что в нем были люди: танк без людей всего-навсего очень большая железка.

Танк поставили здесь, на косогоре, не потому, что он участвовал в освобождении Михайлова, — как раз в этом он не участвовал. В боях за Михайлов — думаю, что память не подводит меня, — в 10-й армии тогда, в декабре сорок первого, почти не было танков. Ездивший со мной фотокорреспондент «Красной звезды» где-то разыскал один и снял вместе с экипажем, но я сам под Михайловой танков так и не видел. Пехота и артиллерия воевали здесь почти без танков и все-таки гнали перед собой немцев, наступая по пятнадцать-двадцать километров в сутки.

Танк поставлен здесь просто в память о войне, о том, что фашистам, доходившим до Михайлова, через три с половиной года после этого пришлось подписывать акт о безоговорочной капитуляции в Берлине,

Вернувшись из Прудских Выселков, я зашел в Михайловский райвоенкомат, и там мне сказали, что в боях за Михайлов погибло 246 человек, что они похоронены в Михайлове и вокруг него в двенадцати братских могилах и что каждый год на эти могилы помянуть своих близких приезжает около ста человек из разных концов страны.

А на всей войне, за все ее четыре года, от начала и до конца, на всех ее полях сражения — от Москвы до Берлина — отдали свою жизнь за Родину около десяти тысяч человек, жителей этого Михайловского района.

И танк напоминает о всех жизнях, отданных за Родину и здесь, под Михайловом, и под Сталинградом, и под Берлином.

Возвращаясь через Михайлов в Москву и во второй раз остановившись перед этим танком, я подумал о том, что хотя он поставлен здесь уже несколько лет назад, когда Анатолий Мерзлов был еще мальчиком, школьником пятого или шестого класса, а все-таки после всего, что я услышал теперь о Мерзлове, в моей памяти будет связана с ним не только свежеевыкрашенная охрой оградка на сельском кладбище, за которой еще нет памятника, но и этот танк, прошедший от Сталинграда до Праги.

Потому что в поступке Мерзлова есть нечто, ставящее его в моем сознании в один ряд с солдатами, заставляющее думать о нем, как о человеке, не только готовом первым броситься в огонь, спасая свой трактор, но и при других обстоятельствах готовом первым подняться в атаку.

Кстати, первому подняться в атаку — это почти самое трудное, если не самое трудное на войне. И именно на это — самое трудное на войне — у Мерзлова хватило решимости, а у человека, который был там, в поле, рядом с ним, — не хватило...

Товарищи Мерзлова сказали мне, что, думая о близком призыве в армию, он — тракторист — хотел стать танкистом.

Но это просто совпадение, не в этом дело и не об этом я думал, глядя на танк. Я думал о более важном — о солдатском характере его

поступка и о том смертельном риске, на который он пошел и который дает право называть этот поступок подвигом.

Человек живет не в безвоздушном пространстве — я думал об этом, думая о Мерзлове.

Он воспитывался в семье, в которой привыкли работать смолоду; работать много, хорошо, добросовестно, с полной отдачей сил. И отец и мать Мерзлова — люди, привыкшие сполна отвечать за то дело, которое они делают, и таким же, как они, вырос их сын, вырос не в какой-нибудь другой атмосфере, а в атмосфере именно этой семьи.

Но, кроме атмосферы семьи, есть еще. атмосфера страны, той земли, на которой живут и работают люди. Да, конечно, сейчас не сорок первый и не сорок пятый год! Но десять тысяч жителей той округи, того небольшого кусочка советской земли, на котором вырос и воспитался Мерзлов, отдали когда-то свою жизнь за то, чтобы эта земля осталась нашей, чтобы она не стала территорией, на которой живут рабы фашистского рейха. И хотя это было давно — это самопожертвование осталось частью атмосферы, частью того воздуха, которым с детства дышал Мерзлов. И в решительные минуты его жизни это тоже оказалось важным.

И, наконец, атмосфера этого небывало трудного лета; атмосфера битвы за хлеб, достигшей такого накала, когда слово «битва» перестает быть метафорой. Я говорю не о том, что, не будь такого неимоверно жаркого лета, не будь солома, которую подгребали тракторами, такой сухой и готовой вспыхнуть, как порох, может быть, она и не вспыхнула бы и ничего бы и не произошло, — все это так! Но я говорю об атмосфере этого лета в другом смысле — она настраивала таких людей, как Мерзлов, на солдатский лад, на готовность не отступить, сделать все, что в их силах, в этой битве за хлеб.

Вот почему я говорю, что и атмосфера семьи, и атмосфера страны с ее солдатскими в самом высоком смысле этого слова традициями, и атмосфера этого лета, похожего на битву, — все это, вместе взятое, сыграло свою роль в то мгновение, когда Мерзлов поступил именно так, а не иначе.

Бывают в жизни людей часы и минуты, когда Родина становится до предела конкретным и точным понятием. Иногда это винтовка, которую, и теряя сознание, не выпускают из рук, иногда это человек,

которому отдают свою кровь, а иногда это хлеб, которому не дают сгореть.

Не хочу, не могу, да и просто не имею права вкладывать собственные, приходящие мне в голову мысли в сознание человека, которого я уже не могу спросить, что он на самом деле думал в те секунды. Но в одном я внутренне уверен: в те секунды, когда Мерзлов бросился спасать свой трактор, этот трактор был для него какой-то частицей его страны или еще точнее: его отношение к этому своему трактору было какой-то частицей его отношения к своей стране.

Были в его душе незримые нити, которые связывали одно с другим. И эти молчаливые и крепкие нити не порвались, не лопнули в душе этого человека в минуту одного из тех испытаний, когда нашу человеческую душу пробуют на разрыв.

Думая о Мерзлове, я вспоминал о Даманском. Не обо всей истории с этим маленьким островком, которую, кстати сказать, тоже не грех держать в памяти, а о своих тогдашних разговорах с молодыми, восемнадцати-девятнадцатилетними солдатами, ровесниками или почти ровесниками Мерзлова.

Обстоятельства совершенно иные, но необходимость мгновенного решения, мгновенного действия такая же. И решения в несхожих обстоятельствах схожие. Наверное, поэтому я и вспомнил о них, о тех ребятах, думая о Мерзлове.

Бригадир тракторной бригады Павел Агафонович Сапожников, который когда-то ушел на войну в возрасте Мерзлова, в восемнадцать лет, и после нескольких ранений все-таки дошел до Балтики, вспоминая Мерзлова, несколько раз повторял сокрушенно:

— Не был я там в ту минуту! Только-только в другое место отлучился. Всего полчаса, как отлучился. Только-только...

И за этим горьким «только-только» я чувствовал недосказанное, то, что не раз приходилось слышать на войне: если бы не это «только-только», если бы не отлучился, если бы был именно в эту секунду именно здесь, может быть, все было бы как-то иначе, по-другому...

Мы заговорили с Сапожниковым о «железке», о мнении тех, кто считает, что за «железку» не стоит рисковать жизнью. Сапожников стиснул большие тяжелые руки и укоризненно, даже сердито усмехнулся:

— Железка, говорите... И трактор — железка, и кран — железка, и турбина — железка. Теперь на железке вся Россия держится. Отсюда и считать надо — стоило или не стоило...

Вспоминаю сейчас эти слова Сапожникова и думаю, что, да, конечно, преуменьшать цену человеческой жизни бесчеловечно. Да, конечно, жизнь человека дороже трактора. В этом случае — дороже трактора, в другом случае — дороже чего-то другого. Все верно, все так!

А с другой стороны, спрашивается: на что способен человек, живущий в постоянном сознании того, что его жизнь дороже всего остального? Способен ли вообще что-нибудь спасти: винтовку, трактор, самолет, да и самое главное — другого, попавшего в беду человека, — тот, кто в решительное мгновение, перед тем как пойти на риск, начнет считать, что сколько стоит? Ради чего есть основания рискнуть собой, а ради чего нет?

Подозреваю, что такой человек не только трактор из огня, но и ребенка из воды не вытащит, хотя и будет при этом считать, что человеческая жизнь дороже всего на свете. Подразумевая при этом, конечно, прежде всего свою собственную жизнь. В этом-то и весь секрет!

Мать Анатолия, Нина Петровна, показала мне письма, которые приходят к ним в семью каждый день с разных концов страны. Она доярка, у нее много работы на ферме, да и дома семья — муж, двое детей, младшие брат и сестра Анатолия. Но она все-таки почти каждый вечер отвечает хотя бы на несколько писем. Отвечает, сидя в комнате, где рядом со столом, за который она садится, стоит пустая кровать, где спал погибший сын. Отвечает, полная неутихшего горя, отвечает сквозь слезы. Но все-таки отвечает. Видит в этом свой долг перед людьми, которые сочувствуют ее потере и разделяют ее собственный взгляд на сына: как бы страшно и тяжело все потом ни обернулось, а все-таки он поступил так, как должен был поступить.

Я сидел в этой комнате и читал эти письма, многие из которых действительно невозможно оставить без ответа. Я даже переписал себе несколько из них, но приведу здесь только одно, пришедшее из Кемеровской области от молодой женщины и поразившее меня глубиной последней своей фразы.

«Я сейчас сижу пишу, а у самой слезы так и навертываются. Ведь и мой брат тоже тракторист и тоже — восемнадцать лет, он служит в армии. Да, я очень сожалею, что гибнут вот такие хорошие люди, как ваш сын. Ведь его друг не пошел спасать, а он — я даже слов не найду таких, как вас благодарить за то, что вы вырастили такого сына, верного Родине и себе».

«Верен Родине и себе». Да, пожалуй, именно эти слова выражают нравственную суть того, что сделал Анатолий Мерзлов. Сделал, потому что видел в этом своем тракторе частицу народного достоинства, то есть в конечном счете частицу Родины, и, оставаясь верным себе, не мог поступить по-другому.

Видимо, так!

Письма, полные нравственной поддержки, написанные самыми простыми и добрыми, идущими от сердца словами, идут и идут со всех концов страны в семью Мерзловых...

Но как бы сильна ни была эта нравственная поддержка, все равно отцовское и материнское горе остается неутешным, и это тоже надо помнить, думая о горькой цене подвига, совершенного их сыном.

Когда-то, в те времена, когда я впервые был в Михайлове, я писал в одном из своих фронтовых стихотворений:

Мать будет плакать много горьких дней, Победа сына не воротит ей...

И вспомнил эти строки сейчас. К несчастью, это правда. Так это и есть...

Константин СИМОНОВ

Николай ПЯСКОРСКИЙ

Во время боя к выстрелам привыкают. В тишине от выстрела вздрагиваешь. Сорок лет назад редкая семья не получала конверта с короткой вестью: «Убит...» Война зашла в каждый дом. Мы стояли в те годы насмерть, и глаза наши были сухими. Сегодня одно известие о погибшем солдате нас будоражит. За что сейчас умирают солдаты?

В один день в разных концах Земли погибли двое парней, американец и русский. Американец погиб во Вьетнаме. Русский погиб в Алжире. За что погибли солдаты?

«За что?» — спрашивает американская мать, госпожа Кан. Материнский крик отчаяния опубликовали газеты: «Мне очень трудно написать это письмо. Мое сердце разрывается на части между любовью к своей стране и любовью к правде и справедливости... В далеком Вьетнаме наши юноши убивают вьетнамцев, а вьетнамцы убивают наших юношей».

Мать русского парня живет в селе около Шепетовки. Слезы у всех матерей одинаковы. Ответы на вопрос: «За что?» — разные.

В Москве я встретился с алжирцем Буджемой Уабади. Мы сидели на третьем этаже московского дома и говорили об Алжире и Шепетовке. Буджема рассказал:

«Вы знаете, конечно, какой была наша война. Мы решили победить или умереть. Чтобы нас задушить, французы сделали эту полосу. Страшная полоса. Тысяча двести километров на западе вдоль границы с Марокко, шестьсот километров — на границе с Тунисом. Железные столбы — колючая проволока — мины. Колючая проволока — мины — ток высокого напряжения — артиллерийские и пулеметные гнезда и опять мины. Французы не жалели денег на эту полосу, и она удалась. Никогда на земле не строили такого мощного военного заграждения. Французы думали: никто из алжирцев не уйдет за границу, никто из алжирцев не вернется через границу с винтовкой в руках. Французы думали переловить и задушить всех патриотов. Ночами мы все-таки проходили эту страшную полосу. Мы подрывались на минах, но проходили. Мы не боялись смерти и потому победили. Мы уже давно не стреляем. Мы выращиваем пшеницу и

апельсины. Но полоса вдоль границы осталась: железные столбы, колючая проволока и мины. Двенадцать миллионов мин. У нас населения двенадцать миллионов. На каждого алжирца приходилось по мине».

Потом я встретил офицера, прилетевшего из Алжира в Москву. Его зовут Казьмин Лев Алексеевич. Разговор состоялся за чашкой кофе на Шереметьевском аэродроме. Чемоданы прилетевшего были покрыты алжирской пылью — два дня назад он слышал, как рвутся мины.

«Я хорошо знаю эту полосу, заросшую бурьяном. Да, двенадцать миллионов мин. Я видел мальчишку из города Ла Каль. Омар... забыл фамилию. Мальчишка без рук. Я видел людей на костылях, видел могилы. Мины пролежали в земле более пяти лет. Но это надежные мины. Они еще двадцать лет будут срабатывать безотказно. Заблудился путник, старуха пошла за коровой, мальчишка полез в бурьян. Мальчишки везде любопытны. Двадцать тысяч убитых и раненых... Много хороших земель заросло бурьянами. Западные специалисты сказали: «Разминировать? Очень большая работа и очень опасная. Стоит она...» — и назвали огромные деньги.

Тогда обратились в Москву. Советский Союз немедленно послал в Алжир специалистов. Я тогда был в этой группе. Посмотрели: да, работа будет тяжелая и опасная. Мне пришлось руководить этой работой.

Работа как на войне. Каждый день из городка Ла Каль машина увозит группу наших минеров. Каждый день кто-нибудь из них может не вернуться. К полосе нельзя подступиться без техники. Работают танки. Работают катки, тягачи. Потом идет пеший солдат с миноискателем. Мины разные. Большие и маленькие. Мины, которые рвутся в земле, и мины, которые прыгают и взрываются над землей. Танк идет, подминая железные заграждения, под танком рвутся мины. Танк вздрагивает, покрывается копотью и следами осколков, но продолжает ползти. Танк останавливается, когда мина рвет гусеницу. Сидишь в танке, кажется, небольшого калибра снаряды непрерывно наступают на машину. Глохнешь от содроганий брони. Но больше всего донимает жара. Обычно на солнце — пятьдесят градусов. В танке — под шестьдесят. Мало кто знает, что значит шестьдесят градусов в

танке. Работаем сорок минут, потом перерыв. А потом снова метр за метром — по минам. Сплошной гул разрывов, копоть. Горят бурьяны, в сильный ветер загорается хлебное поле. Тушим, ремонтируем танки и снова шаг за шагом по минам. За танком пускаем катки. Опять взрывы. Потом осторожно с миноискателем идет человек, как на войне после боя. Как на войне, минер не должен сделать ошибки. Есть места, где алжирская полоса идет по болотам или скалам. Танку там не пройти. Человек остается один на один с минами. В Алжир послали самых опытных, самых смелых. Уже на многих километрах, которые мы прошли, растет пшеница, пасутся овцы, мальчишки могут ходить где им вздумается. Мы были осторожны. И все-таки в нашем деле смерть всегда тебя караулит».

Николай Пяскорский... Лев Алексеевич хорошо знал солдата. Они часто вместе сидели в танке, вместе дышали копотью и сладковатым дымом взрывчатки. Они вместе делали утром зарядку, прежде чем сесть в машину и поехать «на линию». Солдат Пяскорский был самым спокойным» и самым знающим. Когда в части, где он служил, спросили: «Кто поедет в Алжир?» — он первым сказал: «Я поеду». В Алжире к командиру пришла старуха. Ее корова зашла на минное поле. У старухи ничего не было, кроме этой коровы. «Кто возьмется помочь старухе?» Пяскорский сказал: «Я пойду». И он вывел корову с минного поля. Старуха упала на колени целовать солдатские руки.

Пяскорский обезвредил десять тысяч мин. Но одна мина стерегла солдатскую жизнь.

«Это случилось утром. Николай с миноискателем шел вдоль полосы. В десяти шагах был его друг Виктор Толузаров. Николай слушал шорох в наушниках и, отыскав мину, ставил красный флажок. Двенадцать флажков... А потом с танка увидели взрыв, какого не ожидали...

Это была даже не ошибка минера. Это была случайность, которую не упреждают ни опыт, ни осторожность. Когда имеешь дело с двенадцатью миллионами мин, это почти неизбежно...»

На всей земле все люди одинаково дорого ценят жизнь. Все люди одинаково понимают благородство и бескорыстие. Ничего не может быть бескорыстней и благородней этой жертвы ради сотен других человеческих жизней. Отдать солдату последний долг пришли

пастухи, крестьянки, жители города, старухи и парни в белых алжирских рубашках. Они мало что знали об этом солдате. Для них он был человеком из Советской России. Это был случай, когда, отдавая солдату почести, люди с благодарностью и любовью думали о стране, пославшей его.

Солдат вечным сном спит на родине у дороги из Шепетовки в село Городище. Блестят под солнцем натертые сапогами и колесами камни. Когда Николаю было семнадцать лет, он начал работать. Он мостил эту дорогу, подгоняя друг к другу угловатые камни. Эту дорогу но скоро сотрут колеса и крестьянские сапоги. Пять километров дороги от села в Шепетовку, в ту самую Шепе-товку, где жил Николай Островский.

На могилу солдата чьи-то руки каждое утро приносят полевые цветы. Это не один человек. Это проходят по мощеной дороге разные люди и кладут на могилу цветы. Школа, где он учился, названа его именем. Сельская улица названа его именем. Портрет его в Шепетовке висит рядом с портретом Островского. У солдата люди учатся быть сильными.

Минувшей весной без него цвели вишни у дома под соломенной крышей. Этим летом в Алжире без него созрели пшеница и апельсины. Этим летом на десять годов постарела женщина, Пяскорская Федосья Филипповна, — мать солдата.

«Он любил ловить рыбу. Бывало, скажет: «Мама, я сейчас», и побежит к пруду по этой дорожке».

Почему-то он больше всего запомнился матери бегущим по дорожке к пруду. У матери за одно лето потемнело лицо. У отца за одни сутки, пока лежала на столе алжирская телеграмма, голова стала белой. Отец не уронил слезы. Он сам минер. Прошел войну до Берлина, ранен. Отец знал, как умирают минеры.

Спелые сливы склонили ветки в садах Городища. Светлыми фонарями светятся в листьях осенние яблоки. В Алжире созрели апельсины и хлеб. Одно солнце наливает плоды в разных концах Земли. Под этим солнцем блестят камни мощеной солдатом дороги...

Две матери, проснувшись утром, вытирают слезы. Два солдата на Земле погибли в один день. Американец погиб во Вьетнаме. Русский погиб в Алжире. Слезы по сыновьям у всех матерей на Земле

одинаковы. Но ответы на вопрос: «За что погибли солдаты?» —
неодинаковы.

Василий ПЕСКОВ

Владимир ТОКМАНЬ

Коммуны возникали сразу после революции, как ответ миллионов бедняков селян на призывы к объединению. Люди хотели чистоты отношений. Коммунары верили в светлое будущее и смело соединяли свой труд. И не их вина, а беда времени, что не смогли они достичь того братства, которое рисовалось в народных мечтах, видениях утопистов и получило научное обоснование в коммунистическом учении.

Участники первых коммун были истинными коммунистическими рыцарями, без страха и упрека. Они делились с ближним хлебом, солью, последней рубашкой.

И как весну нельзя представить без подснежников, так и двадцатые годы мы не можем представить без героических и романтических коммун.

Преданность общему делу, поддержка ближнего, самоотверженный труд, безвозмездная работа, сопереживание всем бурным страстям века — это коммуны. Все касалось коммунаров, все было близко их сердцу, их мысли и чувству. Они болели «человечьей болью» за все трагедии мира.

Эта сопричастность осталась в наследство их детям. Уже не было коммун, но генетический фонд революции порождал достойное продолжение.

Вот почему пареньку из глухой сумской деревушки Володе Токманю были понятны ветры века, нравственный кодекс коммуны, ее революционный дух он усваивал не только из книг, но и из семейных традиций.

Отец Владимира, Илларион Токмань, был первым председателем хоружевской коммуны «Спартак». Хотя коммунары ютились в бараке и имели один общественный погреб, жили они весело и открыто. Радости и напасти, постижение дружбы и невзгоды эпохи — все познал председатель. Но время не разочаровало его. Работал, думал, растил детей. Образование Иллариона Токманя по современным меркам, возможно, было и невелико, но книги он любил, приучал к ним и детей. Семейные чтения вслух в сочетании с отцовскими

рассказами о революции, схватках с кулаками, первых красных обоях оставляли в душе сельского мальчишки незабываемые впечатления, порождали восторг, желание совершить что-то героическое во славу страны. Это были первые уроки осознанной любви к Родине, к социалистическому Отечеству, которое начиналось для него здесь, в небольшом селе.

Владимир и сам пристрастился к чтению — все книги в сельской библиотеке прочитал.

Трудные послевоенные годы: на столе у учителя чадит керосиновая лампа, ребята пишат отточенной соломкой на краях газет. Казалось, бедность загубит любую фантазию, любую мечту принизит до куска хлеба. Но учитель рисует им величественную картину будущего страны, говорит о завтрашнем дне... И видит на исхудалых детских лицах восторг соучастия. Прекрасный мир врывается в тесные, маленькие хоружевские классы, будоража школяров, требуя от них личного вклада.

И наверное, это первое впечатление от бескорыстного служения людям подтолкнули Володю поступить в Сумской пединститут. Позднее он посвятил учителям свои стихи:

*О був бы я
людством!
Не зважив.
на крики б —
На всіх бы
строкатых знаменах
держав
Десь поряд з гербами
Два слова великих —
«Учитель» і
«Мати» я б там
написав!*

Сколько еще добрых слов мы недосказали нашим сельским учителям, взрастившим добрые и полезные всходы. Эти слова по праву можно адресовать Хоружевской школе, позволившей своему

выпускнику уверенно учиться в Сумском пединституте, а позднее на историческом факультете Харьковского университета.

Славен и горд город Харьков и по рабочему основателен. Недаром стал он первой столицей Советской Украины, город-интернационалист, город труда, науки, молодежи.

Здесь, в боевом комсомольском братстве Харьковской областной организации, получил закалку организатора и пропагандиста молодой Володя Токмань, не раз добрым словом вспоминая эту незаменимую школу.

Комсомол был для него частью жизни. Без него он не представлял себя и ему отдавал все помыслы и силы.

Его комсомольская биография началась рано. Уже в школе обратили внимание на смышленного и серьезного паренька, который с беззаветной готовностью и взрослой вдумчивостью выполнял любые общественные поручения. В вузе он стал комсомольским вожаком. И в вузе товарищи по Союзу молодежи, не колеблясь, доверили ему хлопотную и трудную должность секретаря комитета комсомола.

Никто не удивился, когда в 1959 году Владимира Токманя пригласили на работу в Харьковский обком комсомола. Здесь прошло шесть лет его напряженной, полнокровной, боевой комсомольской жизни. Выражаясь сегодняшней терминологией, он прошел все ступеньки комсомольской лестницы: был инструктором, заведующим лекторской группой, заместителем заведующего отделом пропаганды, а затем секретарем обкома комсомола. Истинный труженик и доблестный рыцарь славного комсомольского воинства!

Бывший первый секретарь Николаевского обкома комсомола, ныне ученый-историк, Василий Немятый, человек неумной энергии и невероятной настойчивости, собрав в очередной раз небольшой коллектив на аппаратную учебу, внимательно посмотрел на молодых обкомовских руководителей и сказал: «Вот если выстроить в ряды все 80 тысяч комсомольцев области, то мы в первой шеренге, а если колонну построить, то ты, — он указал на второго секретаря, — вторым должен стоять, а ты, — посмотрев на секретаря по пропаганде, — третьим, а весь обком в первой десятке. И если вы будете идти не в ногу, плестись кое-как, то и 80 тысяч пойдут так же». Никому не хотелось подводить весь строй, плестись кое-как. Не хотел

идти не в ногу и Володя Токмань. Учился комсомольской науке упорно и терпеливо.

«Комсомольская работа — это партийная работа среди молодежи, — сказал как-то на семинаре активистов секретарь райкома партии. — Конечно, тут есть кому поправить, подсказать, порассуждать вместе с тобой! Но сколько же нужно знать, сколько уметь, как чувствовать!»

Ты служишь идее. Значит, должен досконально знать и понимать законы марксизма-ленинизма. Надо ли говорить с двадцатитрехлетним парнем о диалектике, о всепроникаемости ее в нашу жизнь, об умении мыслить и работать осознанно? Надо. Необходимо учиться познавать сложность, многозначность, противоречивость жизни.

В обкоме ему как-то сказали: «Володя, не надо выдумывать. Давай попроще. Говори работникам: «Сделай то-то и так-то» — и все будет в порядке». Он не согласился: надо всем вместе помозговать, подумать о результатах, сравнить с теорией и действовать наверняка.

Хотя что касается простоты человеческой, то удивительно, как не изменился он от первых своих студенческих шагов в университете до последнего солидного редакторского кресла.

Была в нем внутренняя культура, которая ни разу не подвела его в общении с людьми. Естественно, культуре общения, этике приходилось учиться. Он спокойно, ровно и тактично держал себя с колхозниками и учеными, дипломатами и ветеранами войны, иностранцами и космонавтами, артистками балета и «элитарными» поэтами. Пытливым взором внимательного хоружевского хлопца отмечал стиль, манеру ведения разговора, умение общения. С юмором вспоминал, как один руководитель на берегу Донца пытался завязать непринужденный разговор с девушкой — инструктором ЦК комсомола: шлепнул ее по голой коленке и весело сказал: «Откуда комар прилетел убитый — оттуда жених будет».

Девушка, покраснев от такой бесцеремонности, едко отчеканила: «Я очень рада, что он прилетел не с вашей стороны». Все посмеялись, руководитель ходил как в воду опущенный. И бормотал: «С этими московскими барышнями надо быть деликатным, видите ли». А деликатным надо быть со всеми.

Главное, к чему стремился Владимир, — овладеть умением работать. В Отделе пропаганды и агитации он избрал руководством к

действию своеобразную формулу: «Видеть, знать, уметь». Познать то, что недоступно поверхностному взгляду, что скрыто за внешним благополучием, проникнуть в суть явлений, уловить невидимые социальные, психологические связи, знание которых поможет принять единственно правильное решение.

Понять настроение комсомольского секретаря, найти нужный тон разговора со строителями ударной, почувствовать фальшь внешнего благополучия бумаг и протоколов, заметить новое и важное в непримечательном на первый взгляд явлении.

А это требует немалых знаний, умения сравнивать. Едешь в республику, район, область — почитай областные, республиканские, районные газеты, журналы, просмотри протоколы пленумов и бюро. Поинтересуйся, кто из великих людей жил, творил в этих краях, что писал о них. Не приезжай в область туристом. Не считай, что знание московских новостей может заменить информацию об истории, экономике, культуре, сегодняшних заботах края, в который ты едешь.

Очень непростое дело — быть секретарем обкома комсомола по пропаганде. Если у остальных сфера влияния определена более или менее четко, то здесь, кажется, стихия дел безбрежна, бурливо опасна, на первый взгляд не оформлена. И бывает, подхватит тебя «мероприятийное» течение, закрутит в водовороте каждодневных дел и несет, несет, не давая опомниться. Движение быстрое, голова кругом идет, а чуть спадет круговерть, оглянешься — продвижения никакого. Приглядится секретарь к опытным коллегам, видит, что и они «на мероприятия» работают, и они вышестоящие решения стремятся выполнить, но у них заметна своя линия, система. Умеют они рассмотреть новое, держат под контролем свои заботы, увлекают весь аппарат обкома на интересное пропагандистское дело. Позже становится ясно, что сделать это можно только с помощью актива и «привлечения умов» своих братьев по аппарату (Володя любил и слово «сратники» — боевая комсомольская рать).

Вступив в 1965 году на московскую землю, Володя понял, что надо снова и снова учиться не покладая рук, не останавливая в движении свою мысль, шлифуя и совершенствуя свой стиль, отказываясь порой от того, что было естественным в обкоме.

— Работу в Центральном Комитете комсомола начинаешь без особых сомнений и внутренней тревоги, — говорил Токмань. — Выполняешь вроде бы ту же обкомовскую работу, но только в более широких масштабах. Но через месяца два-три начинаешь чувствовать нехватку фундаментальных общественно-политических знаний, понимаешь, что надо бы опереться и на психологию и на педагогику, углубиться в историю КПСС и комсомола, представлять современное состояние отечественной и зарубежной философии, изучить экономику отдельных регионов и всей страны.

Впоследствии коллеги-соратники напишут о нем: «Он много знал, но, кто работал с ним рядом, никогда не видели его высокомерным: его знания были богатством для людей, с которыми он общался».

В своих заметках о комсомольском работнике Владимир как-то полемически задиристо написал: «Ответа на то, каким должен быть комсомольский работник, не существует, а если он и есть, то ничего не значит». Конечно, он имел в виду однозначный ответ.

Учиться надо многому, но единых правил тут нет, и должно быть ясно, что каждый вырабатывает свои приемы, методы.

Действительно, судьбу и характер комсомольского работника не вычертишь по сетевым графикам, а факторов, влияющих на них, сотни. Думалось ему, что есть свое место и для мастерства, профессионализма, но ничем не заменишь вдохновения, призвания, таланта работы с молодыми людьми. И среди комсомольских работников попадаются унылые и безразличные чиновники. И они не все на одно лицо. У безынициативности, безразличия тоже свой стиль, умение замаскироваться. Помните, в «Целине» у Леонида Ильича Брежнева есть такой тип, который в ответ на все задания быстро и четко отвечал: «Зроблю!» Проходил день, второй, а дела не было. Есть другой тип «безразличника». Этот все согласовывает, увязывает и доводит согласование до абсурда — в итоге проходят сроки, необходимость, лопаются терпение, на дело уже махнули рукой, а работничек все согласовывает.

И самая худшая порода комсомольского руководителя — это человек, не любящий, не умеющий и не желающий что-либо решать. Это о его стиле работы говорит народная мудрость: «положить под сукно», отодвинуть «в долгий ящик». Рассказывали ему, как в одном обкоме, зная нерешительность секретаря, подчиненные шли к нему с

вопросами, которые решать не хотели. Секретарь начинал согласовывать, советовал не торопиться с решением, а комсомольские хитрецы уходили довольные в душе, но с огорченными лицами: «Решить не можем. Не рекомендовано».

Володя всегда серьезно, с огоньком относился к любым комсомольским мероприятиям. Благодаря его участию, многие из них превращались в настоящие праздники. Так было и с зональными семинарами пропагандистов, организованными ЦК ВЛКСМ. И поныне ответственные работники в Магадане и Хабаровске, Фрунзе и Архангельске при встрече со своими бывшими коллегами по комсомолу, говорят: «А помнишь... Все-таки это была прекрасная встреча умных, талантливых идеологов, молодых пропагандистов».

Осенью 1967 года он провел семинар в Архангельске. Здесь все удалось: яркие лекции, жаркие дискуссии, интересные «круглые столы».

После лекций, как писала 24 сентября газета «Северный комсомолец», зал устроил докладчикам овацию: они предусмотрели все, что может интересовать их слушателей. С удивлением и доброй завистью журналисты отметили: «Работа зонального семинара закончилась в восемь вечера, и участники его договорились встретиться на следующий день в восемь утра. Всем бы слушателям архангельских политклубов и кружков такую тягу к знаниям! Чтобы не отпрашивались с занятий, не торопили время, глядя на часы».

Блестящим завершением семинара стала поездка пропагандистов на Соловецкие острова. Долго ехали мимо лесопилок и складов бревен. Когда с севера потянул легкий туман, пароход был уже в море. Неожиданно завыла сирена, мощные прожекторы выхватили из тумана катера. И над морем прозвучал торжественный голос диктора: «Здесь от рук белогвардейцев геройски погибли наши отцы и деды. По-большевистски сражались и геройски умирали. Они ушли в глубины моря, но навсегда останутся с нами. Вечная им слава! Почтим их память!» Торжественная минута скорби, когда закачались под протяжные звуки пароходного гудка на темной волне венки из живых цветов, запомнилась ребятам на всю жизнь.

Утром показался сказочный Соловецкий монастырь — крепость и духовный центр, пристанище культуры, с многочисленными летописями, книгами. Библиотека монастыря по своим временам была

одна из крупнейших в Европе. Здесь, по преданию, бывал атаман Кудеяр, здесь возникла не одна «хула» на царскую и помещичью несправедливость. Здесь, на далеком северном острове, кипела жизнь, бушевали страсти, тянулась тонкая нить культуры.

Потом была экскурсия по озерам, вырытым еще монахами, по местам, где бывали Горький и Пришвин. Трапеза в бывшем доме митрополита, в лощине, где вызревали не только огурцы и картошка, но помидоры и даже персики.

Пребывание на Севере, прикосновение к памятникам нашей истории (Володя ездил еще и в Холмогоры, на родину М. Ломоносова) оставило глубокий след, заставило задуматься, поставило новые вопросы...

Все это родило записку отдела «Воспитание на примере исторических памятников». В наше время, когда принят «Закон об охране памятников» и дело это стало всенародным, такая записка никого бы не удивила, а тогда к ней отнеслись недоверчиво.

Иногда о человеке говорят — прирожденный пропагандист. Что это? Дар, умение, наука? Способность красиво излагать известные мысли, умело объяснить происшедшее? Истинный пропагандист действительно должен много знать, владеть многочисленными профессиональными приемами и, конечно, быть убежденным марксистом-ленинцем.

Многое в работе пропагандистов ясно, изучено, но многое предстоит переложить на практику сегодняшнего дня.

Партийная наука усиленно занималась дальнейшим изучением теоретических основ пропаганды в условиях развитого социализма. В Академии общественных наук при ЦК КПСС была создана кафедра теории и методов идеологической работы, стали проводиться систематические исследования, защищаться первые диссертации. Центральная комсомольская школа преобразовалась в Высшую комсомольскую, с научными подразделениями, также изучающими эти проблемы.

В осмыслении процессов, происходящих в период развитого социализма среди молодежи, принял участие и Токмань, Первый шаг — диссертация «Роль идеологической работы в развитии социальной активности молодежи на современном этапе коммунистического строительства». Он защищает ее в Харьковском университете.

Материалы диссертации, документы архивов, стенограммы научных конференций, сочинения философов и текущие выступления общественных деятелей — все классифицировалось, конспектировалось в его небольшой квартире на Университетском проспекте. Вместе с такими же пытливыми, пытающимися докопаться до корня ребятами он провел ряд социологических исследований в Иванове и Харькове, Горьком и Тарту, Свердловске и Курске. Вначале это было необходимо для обоснования очередного пропагандистского документа, определявшего подход к формированию и развитию социальной активности молодых, потом стало теоретическим обобщением, поводом для дальнейшего изучения и принятия решений.

В ту пору бурно спорили, так ли нужны социологические исследования в нашей работе. Одни их вообще отрицали, другие чуть ли не заменяли ими всю практическую работу с комсомольцами. «Конечно, никакие исследования работу не заменят, — часто говорил Володя. — Надо просто бывать в организациях, знать, чувствовать, чем живут ребята. Вот это и будет твоё исследование. Пропагандист, конечно, не может не видеть, не изучать и не предлагать варианты решения возникающих и окружающих нас проблем».

Одно важное качество выработалось у Владимира с годами. Умение поддерживать те дела ребят, которые вырастают в перспективное направление работы, сделать эти дела интересными для других, придать им идеологическое звучание.

В. Токмань искренне радовался каждому успеху комсомольских организаций в идеологической работе и умел горячо поддерживать ценные начинания. В 1965 году он с бригадой ЦК ВЛКСМ выезжал в Ивановскую область, изучал опыт комитетов комсомола по воспитанию молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. Многие встречи с комсомольским активом превращались в душевный и откровенный разговор о проблемах воспитания юношества, здесь часто рождались идеи, которые обретали долгую жизнь в комсомольской практике. Опыт ивановцев был вынесен на обсуждение VIII пленума ЦК ВЛКСМ и получил одобрение. А потом Владимир не упускал случая поинтересоваться делами ивановских комсомольцев, помогал советом, участием, энергичной помощью. Спустя несколько лет интересная работа ивановцев получила глубокий и всесторонний анализ на

страницах его книги «Восхождение к идее». Тысячи комсомольских организаций приобрели хорошую возможность изучить этот опыт и применить его на своей практике.

В начале 60-х годов во время своих выступлений комсомольские лекторы и пропагандисты нередко приводили цитату разоткровенничавшегося американского идеолога, который в поисках результативного направления идеологического воздействия на молодое поколение нашей страны призывал добиваться, чтобы в будущей войне среди советской молодежи не было Матросовых, Космодемьянских, Гастелло и молодогвардейцев.

Не впервые идеологи капитализма ставят перед собой иезуитскую цель: разорвать связь поколений, лишить молодежь исторической памяти, девальвировать такие понятия, как героизм, добро, готовность к самопожертвованию, любовь к Родине.

1968 год. Капиталистический мир потрясла буря революционных выступлений. В первых рядах шла молодежь. Капитализм кинулся спасать от «зловредных» идей коммунизма молодое поколение. Здесь не брезговали ничем. На свет божий были извлечены бывшие молодежные лидеры — ренегаты типа И. Пеликина, бывшие теоретики марксизма, а на деле ревизионисты, анархисты и прочие.

В молодежное движение мира выплескивались одна за другой новомодные теории. Необходимо было дать теоретический бой многочисленным проявлениям буржуазной идеологии. И надо оказать, что коммунистические и рабочие партии, прогрессивные союзы молодежи проявили в эти годы большое внимание к проблемам молодежи. Молодежный псевдомарксизм получил достойную отповедь в книгах советских публицистов и ученых. Внес свою скромную лепту в это и молодой философ Владимир Токмань, написавший боевую и наступательную книгу «Восхождение к идее».

«Буржуазной пропаганде приходится перегруппировывать силы, обеспечивать «прикрытие» своих боевых «порядков», чтобы удержать на поверхности и оправдать вложенный в нее капитал», — писал он в главе «Многомерная диверсия». Он проанализировал целую систему акций «прикрытия», теоретических концепций, установок, всевозможных схем и стереотипов поведения, психологических тестов, предложенных западными теоретиками. В том числе и теми, с

которыми ему приходилось сталкиваться во время дискуссий в США, Англии, Франции, ФРГ и других странах.

Сын коммунара и участника Великой Отечественной, воспитанник комсомола, коммунист Владимир Токмань знал великую преемственность поколений, знал, что в 60-х годах так же, как и в 20-х, молодежь верна ленинским идеям, молодые коммунисты-ленинцы были всегда непримиримы к тем, кто выше всего ставит «вещные», «зрелищные» и прочие «ценности» подобного порядка, неспособные сделать человека личностью. С врагом, модернизирующим свои пропагандистские приемы, приходилось бороться беспощадно. В своей книге он напишет: «Слов нет, опасность от этой адской работы для нас немалая. Но и противники наши в большинстве своем теперь вынуждены если не понять, то почувствовать, что имеют дело с людьми многоопытными и бывальными, которые к тому же на их удивление целеустремленно следуют «в духе строго определенного направления». И до последней минуты шел он в этом нашем «строгом направлении», подготовив статью в журнале «Смена». Статью он уже не увидел. Заместитель главного редактора, его товарищ В. Луцкий направил гранки жене с припиской:

«Это последние при жизни отлитые в металл строчки, написанные Володей. Покажи дочкам. Пусть берегут. Озаглавили мы их «Диалог между поколениями». Жизнь продолжается. Диалог тоже. И мы живы. А значит, работаем дружно, в меру своих способностей, с токманевским оптимизмом».

Трудно сказать, когда появилось это стремление к перу. Конечно, сыграли тут свою роль и «стенгазетные» опыты, и первые публикации в районной и университетской газетах. А потом уже была серьезная работа над стилем, над словом и образом.

«Пропагандист должен быть всегда журналистом, а журналист — пропагандистом», — говорил Володя.

Поэтому предложение пойти работать в журнал «Сельская молодежь» он принял с интересом.

По традиции журнал «Сельская молодежь» привлекал на свои полосы известных и молодых писателей. Журнал имел непосредственный выход на широкую молодежную аудиторию и требовал простого и ясного стиля, который к литератору приходит с

годами напряженного труда или же прорезается сразу как свидетельство глубинного таланта. Недаром одну из первых публикаций в издании молодых сельских читателей, тогда называвшемся «Журналом крестьянской молодежи», поместил М.А. Шолохов.

Здесь, в журнале, Владимир и проходил большую школу мастерства журналистики, приобщился к литературным делам, часто встречался с молодыми и уже входившими в силу писателями. Здесь же продолжалось жадное познание и освоение жизни, поездки по стране, встречи с партийными и комсомольскими работниками, молодыми механизаторами, агрономами, доярками, мудрыми деревенскими стариками. Журнал в это время активно боролся за повышение культуры села, улучшение его быта, приобщение школьников к труду земледельца.

Ему, сельскому жителю, были близки и понятны боли российского Нечерноземья. Он не мог согласиться с обвинениями некоторых критиков, которые видели в повестях и рассказах А. Яшина, В. Белова, В. Лихоносова, Е. Носова, В. Астафьева и других писателей, остро и нелицеприятно говоривших о проблемах нечерноземского села, только «патриархальщину», «воспевание деревенского быта», «неумение взглянуть на мир панорамно».

Володя старался в полной мере взвалить на себя всю ношу ответственности, развивая профессиональные навыки, искать те средства выражения, которые были наиболее близки молодому сельскому читателю. Подготавливая к печати материал, он проявлял интерес к философии, социологии, психологии, разработкам науки по публикуемому вопросу, хотя и касался вроде бы сугубо сельских тем: культуры земледелия, быта села, деревенского клуба. И в этом изучении он опирался на опыт и знания людей.

Запомнились его встречи и беседы с космонавтом В. Волковым. Веселые, общительные, они обсуждали рукопись Владислава, проблемы дальних космических полетов, практическое использование, связь космонавтики с сельским хозяйством. Позднее, когда обоих не стало, отмечалось поразительное сходство их натур и характеров, хотя и были они разные по профессии и темпераменту.

Работа, встречи, мысли, люди — это жизнь журналиста, которая ему была очень по душе. И поэтому, уйдя на ответственную работу в

ЦК ВЛКСМ, он снова вернулся через три года в журналистику, чтобы возглавить новый студенческий журнал.

Журнал ждали давно. В предложениях на семинарах комсorghов, резолюциях комсомольских конференций, высказываниях студенческого актива уже много лет звучало пожелание организовать выпуск студенческого журнала. Хотя это казалось очень отдаленной перспективой, варианты, пожелания, макеты обсуждались в ЦК комсомола чуть ли не ежегодно, тем более что в издательстве «Молодая гвардия» уже выходил альманах «Студенческий меридиан». Летом 1974 года вопрос о создании журнала был решен Центральным Комитетом партии. И с первых шагов, еще без штата и заместителей, художника и ответственного секретаря проектировал Владимир будущие номера журнала.

Новый журнал назвали «Студенческий меридиан», подчеркнув преемственность с его собратом альманахом, начавшим выходить вначале как газета студенческих строительных отрядов на целине. Были у него и более дальние предшественники. Журнал «Красное студенчество» (позднее «Советское студенчество»). Преемственность вроде существовала, но журнал, конечно, пришлось создавать заново. У каждого периодического издания должно быть свое лицо, говорится в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». И это, казалось бы, было ясно и раньше, но добиться осуществления этого не так легко. Вроде бы понятна ориентация «Студенческого меридиана», ясна его аудитория, но как легко сбиться на «студенческое зубоскальство», на легкость экзаменационного юмора или бетон академической непогрешимости. И одно дело разработать программу, а другое — подобрать коллектив и обеспечить ее профессиональное исполнение.

Через полтора года его коллеги по работе напишут: «Наш главный редактор был Главным человеком в редакции — это достается не по должности, а по характеру».

Наверное, можно смело сказать, что это был лучший год творческой работы Владимира.

Идеи приобретали очертания, замыслы находили воплощение. Была радость первого номера, в котором было опубликовано приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, и жажда работы, творчества, общения. Были и неприятности. Огорчался,

но никто его не видел раздраженным, крикливым, выходящим из себя. Каких трудов это ему Стоило! Каких нравственных усилий!

Приходил вечер: неторопливая беседа в одном из кабинетов издательства «Молодая гвардия», омывающее душу щебетание младшей дочери Катюшки, тихая ласка старшей Виты, возня на коллективной даче, вечерний турнир шахматистов, бильярдистов или преферанс (что делать: любил!), и снова ровный, светлый, спокойный, порождающий у людей уверенность, желание работать, веру в справедливость и нужность своего дела.

Дела литературные интересовали его не только подолгу службы, он пытался искренне проникнуть в таинство писательского дела. Подолгу беседовал в журнале «Сельская молодежь» с Виктором Астафьевым и Феликсом Кузнецовым, любил приходить на встречи в издательство, где часто читал свои поэмы Егор Исаев, возражал против редакторской правки Василь Быков, разыгрывал в лицах донские встречи Василий Шукшин, сцены из саратовской сельской жизни рассказывал Михаил Алексеев.

Особенно его поразила встреча с Леонидом Максимовичем Леоновым в январе 1973 года.

Встреча была дружеская, как говорится, без протокола. На Володю большое впечатление произвело мышление писателя, мудрость его слов и наблюдательность. «Думать, думать надо, — сурово требовал, обращаясь к молодым литераторам, писатель. — Мало думаем. Надо каждому человеку хотя бы час в день по-настоящему подумать о том, что вокруг него происходит». Володя, преодолевая смущение, стал говорить о приближающемся рубеже — начале третьего тысячелетия нашей эры — и спросил у Леонида Максимовича, не хочет ли он написать о будущем. Писатель хитро прищурился и сказал: «Нужен мандат. Достаньте мне мандат». Один из солидных собеседников, его друзей, перебил: «Какой тебе мандат, ты великий писатель, классик...» — «Спасибо тебе. С одной стороны, вот и приятно, а с другой — нужен мандат». И, иронически поглядывая, продолжил: «Наше писательское дело самое простое. Например, сапожнику для работы нужны шило, дратва, гвозди, кожа, ножи, передник, молоток, колодки и другие вещи, а нам чернила за 17 копеек, бумага и ручка. И глядишь — памятник уже стоит! — Помолчав, добавил: — А вот Чехову памятника в Москве нету... Нет, мандат

надо...» Ясно, что не о бумажке, даже не об официальном документе говорил великий писатель, а о разрешении совести, ответственности перед народом и историей. Многое становилось понятным позднее, но в тот же вечер, придя домой, Володя сделал короткую запись беседы, поразившей его воображение и мысль.

Он дружил со многими писателями. Немало лет встречался с Филиппом Ивановичем Наседкиным, человеком поистине героической судьбы. Наседкин прошел путь от секретаря сельской ячейки до секретаря ЦК ВЛКСМ и комиссара Главвсеобуча СССР. В начале войны потерял зрение. Казалось, началась темная, безжизненная ночь. Но, стойкий боец комсомола с многолетней закалкой, Филипп Наседкин проявил мужество, волю и стремление продолжить свою творческую жизнь на службе партии, комсомолу. Он посвятил себя литературному труду, написал несколько книг. Особенно любил Володя книгу Ф.И. Наседкина «Великие голодранцы», где в описании неутомности сельских комсомольцев двадцатых годов, их жажды знаний, борьбы за лучшую жизнь эхом отзывались отцовские рассказы, всплывали картины из собственного детства. Владимир был одним из инициаторов присуждения Филиппу Ивановичу премии Ленинского комсомола. Писал о нем. Выразительны строчки из его публикации «Версты революции» в журнале «Сельская молодежь»:

«...Ненависть к врагу, жгучая и бескомпромиссная, конечно же, одна из главных нравственных черт деревенских комсомольцев тех лет. Но она, если можно так сказать, черта вторичная, производная, а главная — это все-таки доброта, любовь к братьям по классу, доброта волнующая, требующая всех сил для борьбы. Мне даже трудно сказать, чего враги больше всего боялись и боятся сейчас: ненависти нашей или нашей доброты».

За этим чувствовалось и кредо автора статьи. Яркая, богатая событиями жизнь комсомольского журналиста была содержательной и интересной, порождала богатые творческие планы: в дверь «стучались» новые статьи, стихи, литературный сценарий, политически острая книга о тридцатилетних, международные заметки. Все это сохранилось дома в записных книжках, набросках, выписках. Но осуществить планы уже не было дано судьбою...

Наверное, в каждом творческом человеке, внимательно всматривающемся в мир, живет поэтический дар, и это вдохновенное

умение видеть красоту мира, осветить его внутренним светом души, сделать этот взгляд на всю жизнь близким и родным рождается в детстве. Но только редкие одаренные натуры проносят этот дар через всю жизнь.

Стихия поэзии окружала Володю на тихой Сумской земле, в ее природе, на небольших лугах, полях.

Позднее пришла она и из книг, тогда запоем читал он русских и украинских поэтов. Конечно, близок был ему мир поэзии Тараса Шевченко с его тонким лиризмом, бунтарством и щемящей любовью к родной земле и народу. Он знал многих украинских поэтов, на память цитировал их, из советских особенно любил Владимира Сосюру и Василя Симоненко. Несколько стихотворений последнего он перевел, хотя опубликованы они были после смерти. С особой любовью переводил проникновенные строчки о первом землепашце:

*Первым был не господь
и не гений,
был простой человек —
не пророк.
Он ходил
на земле зеленой
и хлеб,
между прочим,
пек.
И не смог
заслужить монумент он,
тот наивный франк
иль дулеб.
Не нашел почему-то
момента,
и не взял он
патент на хлеб.
Божья мудрость
старела от времени,
раскрошил ее
грозный час.
Хлебом*

*каждый питался гений,
чтобы разум его не угас.
Пусть над нашей землей буря
завывает, ломает, рвет —
человека простого мудрость
вечно в хлебе простом живет.*

Но и потом, в университете и в Москве, понимая, что многое не успел познать, с утра до вечера читал русских и зарубежных классиков. «Нет, по-видимому, ничего величественнее русской литературы XIX века, — восхищался, перечитывая Достоевского, Гоголя, Тургенева. — Невидная эпоха, а сильнее Возрождения! А талант Пушкина нам очень нужен будет и при коммунизме, и тогда, возможно, разгадают основу его вдохновенной гражданской лирики». И прочитал не очень известные ранние стихи царскосельского лицеиста.

*О жизни час! Лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме любое привиденье,
Мне дорого любви моей мученье —
Пуускай умру, но пусть умру любя!*

Стихотворение в тот момент воспринималось как тонкая и прозрачная пушкинская лирика. Но как знать, почему читал их тогда парень из Сумщины? Какую искру высекала она в его душе? Куда тянулась нить прозренья?

«Если есть что-то главное для нас, комсомольских пропагандистов, — говорил он, — то это книга». Беседу с новыми кадрами он всегда начинал так: «А что вы читали из последних книг?» И потом вел деликатную дискуссию о сюжете и герое, чем иногда приводил в замешательство собеседника, лишь понаслышке знавшего о новинке. «Ребята, всем нам надо находить время читать, учиться, — спокойно требовал он. — Ведь если ты постоянно работаешь над собой, читаешь — и в практических вопросах жизни быстрее разберешься. Хотя читать надо в «системе»: времени мало, но ведь не

обойдешься без философии, и экономику мы, комсомольские руководители, знать обязаны, психология, педагогика для нас ключ в работе, за достижениями науки и техники следить надо, а что можно понять без исторического сопоставления?» И совершенно свято относился к художественной литературе: «Без нее мы в жизни почти ничего не постигнем», и часто приводил слова Достоевского: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное».

Музыка, песня — душа народа. А у каждого народа она своя, складывающаяся веками. Песни детства и юности... Мало сказать, что Владимир любил их. Он жил ими, восторгался и очень хотел, чтобы они нравились всем. После любого хорошего исполнения с гордостью обращался к русским, азербайджанцам, белорусам: «Ну как?» И уж никто не мог не выразить восхищения, не подтянуть при исполнении второй и третий раз. «Песня — наше знамя», — не стеснясь выпренности слов, написали на семинаре секретарей. «Кто не знает русской, вообще народной, революционной песни, тому в комсомоле делать нечего», — с улыбкой продолжал он беседу. Ну а если кто-то не знал песен Отечественной, то Владимир доставал у своих знакомых песенник и каждый раз, когда пели, с мягкой настойчивостью протягивал «молчуну» книжечку.

Володю очень беспокоило безголосое пение, легкий вульгаризм и бездумье, звучавшие как с эстрады, так и в обиходе.

«Мало, мало песен наших, — говорил он. — Да и пишут все какие-то не мелодичные, не на наш лад. А вот запоешь песню Дунаевского, так подтянуться хочется, в шеренгах праздничных идти. Правда ведь, «легко на сердце от песни веселой».

«Хорошо бы собираться в каждой организации хотя бы раз в неделю и петь свои песни. Не увлекаться слепками с зарубежных опусов. Устраивают же эстонцы и латыши народные музыкальные праздники, и нам нужно проводить ежегодные певческие праздники комсомола!» Умел Владимир дружить. У него была способность «мукой мучиться» за дела друзей. Иногда казалось, что ему везло: повсюду окружали хорошие и порядочные люди, работа всегда была интересной, семья сложилась прекрасная. Но происходило это не по воле случая. Да, люди вокруг были хорошие, но ведь он и не тянулся к плохим. Никого он не отталкивал, но друзей выбирал сам и даже, как какой-то нравственный магнит, притягивал своим сопереживанием,

соучастием, идейным горением и спокойной уверенностью в предназначении человека.

Конечно, лабиринт жизни сложен. Были у него и пристрастия, были люди, к которым, как казалось, он относился некритически. Работа была интересна, но ведь и в ней были неизбежны спутники уныния: не пошедшие в дело материалы, неэффективные командировки, неквалифицированные указания; столкнувшись с подобными трудностями, можно набросить на себя личину обиженного, непонятого. Но он служил делу добросовестно и самозабвенно. Это не было самозабвение токующего глухаря, для которого не существует ничего, кроме его голоса и страсти. Нет, он зорко вглядывался в мир, соотносил дело, которым занимался, с общим движением общества, с его потребностями и потенциаль. Его вдохновение питалось целью.

Все это соответствовало его мировоззрению, а отсюда набор средств и поэтапное выполнение дела, которое каждый раз приносило удовлетворение, рождало оптимизм, качество, которое его отличало. Психологи отмечают, что у человека удовлетворение, психологическая разрядка наступают в результате исполненного дела. Психологическая тяжесть — это следствие «невыполненных дел». Володя стремился каждый день, месяц, год выполнять какую-нибудь задачу, и не одну. Поэтому всегда у него было какое-нибудь исполненное дело, что давало удовлетворение достигнутым сегодня и устремление в завтрашний день.

О его самоотверженности в дружбе ходили легенды. В любое время дня и ночи он мог подняться и поехать выполнять любую работу, если это было нужно другу.

Особенно этот дар проявлялся у него по отношению к тем, кто был близок его мировосприятию.

Да, он не навязывал своих мыслей, они находили созвучие в чувствах человека. Сопоставлял, «просеивал», помогая утвердиться, радовался найденному решению и соперничал в неудаче.

Город Обнинск ему нравился, он стремился туда каждый раз, когда представлялась возможность. Наверное, в таких городах и надо жить, чтобы «делать» науку. Тут не разрывают мысль суета, толчея, гам, не коверкают ее, но заглушают пробуждающуюся, тянущуюся еще к неясному, но законченному оформлению идею.

Случай свел его в 1973 году на рыбалке с молодыми сотрудниками НИИ медицинской радиологии кандидатами и докторами наук Анатолием Цыбом, Борисом Бердовым, Михаилом Синюковым, Олегом Гапонюком и другими обнинцами. Энергичные, веселые, хозяйственно-расторопные, прихватившие с собой все необходимое «для краткосрочной рыбалки и долговременного отдыха», они за какие-нибудь двадцать минут в лесу, по берегу Рузы развернули две палатки, провели электрическое освещение, разожгли костер и портативный примус, вытащили спальные мешки и включили мелодичную музыку. «Вот настоящая механизированная колонна отдыха, — восхищался Володя. — Пора и нам освободиться от диктатуры сервиса. Учиться все делать самим».

— Бивак готов. Просим к дискуссии, — воскликнул кто-то, забивая последний колышек. И с неукротимой удалью ринулись на московских гостей, втягивая их в научные, политические, экономические и нравственные споры. Потом переключились на уху, украинское сало, чудесное закарпатское вино. Сыпались шутки: «Толя, у вас дома противоестественный союз. Жена делает вино (она у него винодел), а ты врачуешь от запоев». Толя отбивается: «Закарпатское вино сугубо лечебное».

Расправившись с проблемами глобальными, предложив миру вечерние научно обоснованные решения, все захотели помериться силой в острословии. Все им было доступно: и крепкий деревенский юмор, и научный парадокс, и тонкая ирония. Был еще час громоподобных стихов Егора Исаева, который как был в легкой рубашечке в издательстве, так и поехал провести ночь у костра с хорошими людьми. Аплодисменты и хохот вспугивали уже успокоившихся в глуши деревьев пичуг.

— Ребята, тихо, хватит балагурить, — сказал умелый хирург, лауреат медали И. Пирогова, блестящий, самозабвенный рыбак Борис Бердов, — взгляните на небо — и вперед, на рыбалку.

Все сразу затаили дыхание и молча смотрели на то изумительное царство перемен, которое называется рассветом и видеть которое городскому жителю почти не дано, потому что солнце выходит у него из-за крыши соседнего дома, а не из-за далеких глубин горизонта, вызывая своими лучами жизнь на всех высотах.

Острые красные лезвия прорезали небо, задержались на высоких и каких-то особенно тонко-прозрачных облачках. Вверху уже торжествовал день, а здесь, внизу, была еще и не ночь, но какая-то неясность, которая вот-вот должна была рассыпаться, размыться, исчезнуть в прибрежных камышах. «Какая радость это — рассвет! — Володя помолчал и продолжил: — Наверное, все-таки лучшее время дня, недаром наши батьки, предки вставали с рассветом, от него в тебя входит сила на все сутки!» Кто-то потянулся к спальным мешкам, но Володя в тот день уже не ложился, он рыбачил, собирал грибы, готовил костер и все время расспрашивал о трудной, ответственной и самой человеческой работе медиков, ученых и врачей, людей, стоящих у порога сущего, каждый день встречающихся с трагедией и преодолевающих ее во имя жизни. «Наш принцип не науку делать на людях, а людей лечить. Вылечим — наука сама придет, — сказал Олег Гапонюк. — Конечно, не все ведь от нас зависит. Ведь бывает, что болезнь в такой стадии, что ничем не поможешь. Но бороться надо до последнего конца и даже без шанса», — спокойно в тот вечер говорил Анатолий Цыб, ныне уже директор института.

Володя, который не раз посещал институт, восхищался атмосферой настоящего человеколюбия и научного братства, царившего там, истинного служения больному. Все тут было полнокровно, без фальши. Научные сотрудники и нянечки, руководители лабораторий и медицинские сестры по-настоящему исповедовали законы Гиппократовы. И еще тут кипели научные дискуссии, работали кружки политпроса, забрасывались «десанты» в подшефные колхозы, все сотрудники с пониманием и внутренним удовлетворением занимались благоустройством родного города, делая его еще краше. Без спеси, но научно обоснованно выполняли они свои обязанности исцелителя, ученого и гражданина. Владимир восхищался ими, гордился, не предполагая, что завершит свой путь именно там, среди них.

В Московском институте ему определили срок — месяц, потрясенные горем друзья — доктора в Обнинске — отмерили три месяца, он сражался семь. Его оружием были только дух и воля, да еще любовь к семье, друзьям, добрым людям. Находясь на последней жизненной черте, уже все понимая, он стремился не досадить, не

доставлять боль тем, кто боролся за него, боролся с безнадежно малыми шансами.

Невзирая на обострение болезни, напряженно работал над вторым изданием книги «Восхождение к идее». «Перо мое еще не столь крепко, — писал он в издательство, — но мало-помалу крепнет... Хожу. Читаю. Думаю. Надеюсь на скорую встречу». Ему посчастливилось увидеть свою работу. Долго с волнением поглаживал корешок книги, весело улыбался.

Превозмогая боль, шутил, читал, интересовался редакционными новостями, советовал, играл в шахматы и... делился планами на будущее. Что это было? Неистребимое желание жить, вера в счастливый исход или желание успокоить близких?

Собрав силы, отпросился и приехал на защиту диссертации жены Валентины. По дороге в Москву с друзьями собирал полевые цветы, и долго стоял букет добрым и грустным голубым напоминанием о том, едва ли не последнем, радостном дне. Хотя был еще Новый год дома, с веселыми тостами.

Он шутил, и, казалось, трагедия отступала. Приезжали в Обнинск друзья, писатели и поэты выступали в институте и, воздав должное самоотверженному труду медиков, спрашивали у докторов: «Можно ли что-нибудь еще сделать?» Не получив ответ, собирались вместе: думали, гадали, искали выход.

Всех объединило горе...

Запомнился один из последних дней.

Е.М. Тяжельников, в те времена первый секретарь ЦК ВЛКСМ, позвонил на квартиру (в марте Володя уже окончательно вернулся домой), сообщил, что за активное участие в организации работы студенческих строительных отрядов Владимир Токмань награжден орденом Дружбы народов. Володя подтянулся, и присутствовавшие увидели, что он воспринял весть о награде с высоким достоинством и удовлетворением.

Говорить было тяжело, но он попросил передать благодарность и сказал, что будет бороться, чтобы еще принести пользу обществу и людям. И боролся буквально до последнего вдоха.

* * *

Он был счастливым, у него была великая Родина, прекрасная семья, верные друзья, любимое дело. Он ясно видел цель в жизни. Он хотел жить, работать, радоваться. И все у него получалось, как получается у советских людей, желающих и умеющих достичь цели. Уйди из жизни человек, проживший в два раза больше, может быть, можно было бы сказать: «Он сделал свое дело». Про Владимира Токманя этого оказать нельзя. Он не сделал до конца своего дела. Он не сделал всего, что мог. Он хотел, должен был сделать еще очень многое. Но судьба не отвела ему и сорока лет...

На тихом московском кладбище звучали слова, похожие на клятву:
— Дорогие друзья! Мы собрались сюда, чтобы открыть памятник дорогому нам человеку, который своим служением людям, заботой о близких, работой во имя нашего общего дела снискал уважение и любовь, оставил глубокий след в людях, в их мыслях, в их душе. От него исходил постоянный, ровный свет дружбы и добра, который облагораживал, успокаивал, крепил партийную веру, насыщал человечностью, учил любить и ненавидеть. «Восхождение к идее» назвал он свою книгу. Постоянным восхождением к людям была его жизнь. Он шел к ним, и они окружали его. Здесь только небольшая часть его друзей, но их значительно больше, тех, кто делал с ним важнейшее партийное дело, дело нашего Ленинского комсомола, утверждая объективность, принципиальность и истину в советской науке и журналистике.

Этот замечательный памятник ухватил миг раздумья, устремленности в будущее и того мягкого, поистине токманевского доброжелательного состояния, когда кажется, что все в жизни хорошо, все утрясется — ведь рядом такой друг.

Здесь только миг его состояния. И хотя миг этот обобщенный, все мы помним Владимира Илларионовича в тысячах прекрасных и возвышающих и вдохновляющих случаях.

Памятник — от слова «память». Наша память удержит его в жизни всем лучшим, что мы можем сделать для людей, для дружбы, для нашей Родины. Казалось, время ослабит боль, но она увеличилась, и она требует дела. Наша память — это служение людям, это утверждение идеи коммунизма, это доброта к тем, кто нас окружает, это ненависть к врагам. Сейчас ясно, что надо спешить делать Дело,

ибо требовательно и доброжелательно смотрит на нас наш друг Володя Токмань».

Валерий ГАНИЧЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО К МОЛОДЫМ В.П. Виноградов	1
Василий АЛЕКСЕЕВ Игорь Ильинский	4
Виталий БАНЕВУР Юрий Пахомов	24
Николай СОКОЛОВ-СОКОЛЕНКО Виктор Пронин	37
Николай ОСТРОВСКИЙ Георгий Яковлев	51
Борис ДЗНЕЛАДЗЕ Илья Мухадзе	61
Гани МУРАТБАЕВ Сейлхан Аскараров	73
Макар МАЗАЙ Илья Пешкин	97
Паша АНГЕЛИНА Ким Костенко	125
Иван СИДОРЕНКО Геннадий Хлебников	142
Виктор ТАЛАЛИХИН Григорий Гладких	157
Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Владимир Успенский	165
Александр МАТРОСОВ Иван Легостаев	178
Лиза ЧАЙКИНА Ирина Шведова	189
Юрий СМИРНОВ Вячеслав Лебедев	203
Клава НАЗАРОВА Борис Костин	226
Олег КОШЕВОЙ Владимир Замлинский	236
Зинаида ПОРТНОВА Анатолий Солодов	249
Людмила ПАВЛИЧЕНКО Борис Лавренев. Виктор Пронин	264
Имант СУДМАЛИС Яков Бородавский, Иван Музыкантик	287
Марите МЕЛЬНИКАЙТЕ Бронислав Урбанавичус	303
Василий РАГУЗОВ Борис Чубар	310
Юрий ГАГАРИН Виталий Севастьянов	326
Севиля ИАЗИЕВА Элеонора Абаскулиева	338
Борис ГАЙНУЛИН Борис Костюковский	350
Надежда КУРЧЕНКО Геннадий Бочаров	373
Михаил МОРОЗ Эмма Луканская	410
Владимир ГРИБНИЧЕНКО Виктор Соколов	419
Анатолий МЕРЗЛОВ Константин Симонов	437
Николай ПЯСКОРСКИЙ Василий Песков	447
Владимир ТОКМАНЬ Валерий Ганичев	450
СОДЕРЖАНИЕ	467

notes

Примечания

1

Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45. с. 236

«Народная гвардия» — охранные войска меньшевистского правительства

3

Сейчас Краснодар

4

Сейчас Махачкала — главный город Дагестана.

Сейчас Орджоникидзе — центр Северной Осетии

Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 72.

Бичико — мальчик. Принятое у грузин ласковое обращение старшего к младшему.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. т.44, с. 388–389

Ленин В. И. Полн. собр., соч., т. 39, с. 304

10

Бала — мальчик.

Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 307.

«Арыстан» означает «Лев».

Главное управление металлургической промышленности.

Н. Бусе — в то время секретарь ЦК комсомола Латвии.

Это описка Иманта: его судили 13 апреля.

Сметоновцы — это приверженцы бывшего президента литовской буржуазной республики Сметоны, который бежал за границу и в 1942 году сгорел при пожаре своего дома в США.